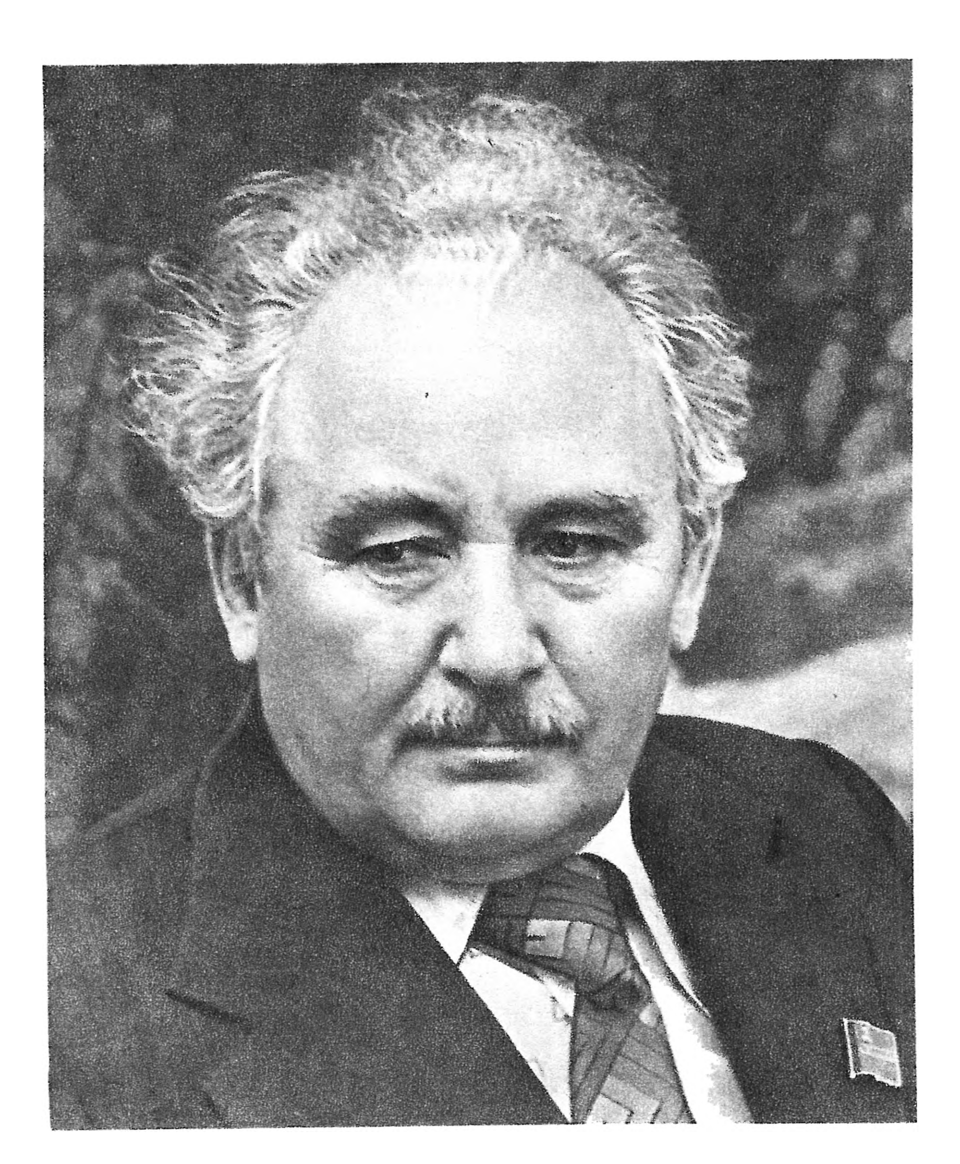
*Иван Стаднюк*

# Война

Война
Иван Стаднюк



*Иван Стаднюк*

# ВОЙНА

*роман*

**КНИГИ 1—3**

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Министерства обороны СССР
Москва — 1982

Р2
С77

С $\frac{70302\text{-}100}{068(02)\text{-}82}$ без объявл. 4702010200.

*Мы погибли бы,*
*если б не погибали.*

*Фемистокл*

# КНИГА ПЕРВАЯ

## 1

Федор Ксенофонтович оказался единственным пассажиром в купе, поэтому можно было сидеть в сумерках, не зажигая света, и с грустным наслаждением ощущать свое одиночество. Устремив глаза в открытое окно, дышавшее упругой свежестью, он устало смотрел, как уплывал в белую ночь Ленинград, бледно мерцая электрическими огнями. Не хотелось даже пошевелить руками, чтобы расслабить пояс на гимнастерке, словно из боязни всколыхнуть теснивший грудь холодок, уже начавший постепенно таять.

Каждый раз, как только надо было куда-то уезжать, оставляя семью, генерал-майор Чумаков испытывал гнетущее чувство тоски и тревоги. А военная служба — это частые расставания, и порой на долгое время. Никак не привыкнуть к ним, не научить свое сердце безмятежности, хотя позади уже много дорог, в висках немало серебра, а на малиновых петлицах золото первых генеральских звезд.

В этот отъезд у Федора Ксенофонтовича был совсем неожиданный повод для грусти и для тревоги, которые тяжестью залегли в сердце и заставляли с горестью размышлять о том, что жизнь негаданно позволяет делать открытия даже там, где их давно не предполагаешь да и не хочешь предполагать.

Ехал Федор Ксенофонтович в Москву в общем-то по обычному для военного человека делу — за назначением на новую должность. И хотя перемена места службы, места жительства всегда волнует и доставляет немало хлопот, связанных с предстоящим переездом семьи, но на сей раз, как никогда раньше, генерал Чумаков покидал жену и дочь с неспокойной душой.

Чуть больше года назад, когда Федор Ксенофонтович вернулся с финского фронта, они с Ольгой Васильевной торжественно отметили двадцатилетие своего супружества и шестнадцатилетие дочери Ирины. Несмотря на годы, Ольга не отпускает его сердце на покой: одним взглядом, одной улыбкой словно заново раздувает в нем юношеский жар скрытой за сдержанностью характера любви к ней. Эта любовь, как временами казалось Федору Ксенофонтовичу, размывает в нем волю и способность отдавать главные силы службе, гасит желания, которые, возможно, и являются подлинным мерилом глубины его сердца, устремлений ума и совести.

Познакомились они с Ольгой еще в двадцатом, когда он, Федя Чумаков, лихой кавалерист, приехал с Южного фронта в Москву в военную академию для прохождения ускоренного курса обучения. Однажды явился, как было приказано старостой группы, домой к профессору военной истории Нилу Игнатовичу Романову, чтобы взять в его библиотеке учеб-

ные пособия. Но профессора дома не оказалось, зато встретил там юную его племянницу Олю, большеглазую, нежноликую, умевшую вести непринужденный разговор с такой милой веселостью, что с того необыкновенного дня и плавится в сладкой боли потрясенное солдатское сердце... Долго не мог поверить в свое счастье, не мог постигнуть, как это он, бывший сельский парень, взял в жены такую красивую девушку.

Прошло время, перебродил хмель молодости, житейская обыденность притушила восторженные порывы, но любовь осталась нерастраченной; прижилось в их семье тихое счастье, наполненное заботами друг о друге и об Ирине — славной девчушке, а сейчас уже девушке, которая сумела повторить и как-то по-особому, с уклоном в чумаковскую породу, дерзко утончить в своем облике красоту матери.

Только сейчас простился с ними на перроне, еще будто слышались их нежные и такие милые, родные голоса. Но почему же томит эта смутная тревога?..

В первые годы после того, как они поженились, он испытывал ту неуемную восторженность, когда, казалось, невозможно было терпеть разлуку. Всегда возвращался из командировки или с работы домой, будто на крыльях летел, и задыхался от счастья близкой встречи. Ему льстило, что, куда бы ни забрасывала его судьба — в самый отдаленный гарнизон или опять в столицу, в академию, — ни одна из жен сослуживцев или однокашников по учебе не могла соперничать привлекательностью с Ольгой. Но это иногда и пугало: ведь знал, что среди мужского племени есть злые бесы, не терпящие чужого счастья и не ведающие запретных порогов. И не только знал, а не раз наблюдал, как на праздничных вечерах или в библиотеках (Ольга Васильевна окончила библиотечный институт) вокруг его жены увивались гарнизонные хлюсты. А случалось, и весьма солидные люди... Но не было у него повода ревновать жену. Он, познавший жизнь со многих сторон, будто умел видеть и слышать сердцем. Ольга всем своим поведением являла олицетворение верности. Всегда ощущал ее ласкающие взгляды, будто осыпавшие искрами его душу, понимал ее мимолетную улыбку на подвижных губах...

Нет, никогда не имел он оснований упрекать в чем-либо жену. Однако временами досадовал на ее, может, неосознанное, безвинное, но все-таки кокетство. Старался не обращать внимания на то, что Ольга постоянно помнила о своей привлекательности, что глаза ее всегда искали зеркало. Но раздражался, когда на людях жена нет-нет да и сверкнет по сторонам темно-синими тревожащими глазами или поведет ими с нарочитой ленивой медлительностью. И если поймает на себе чей-то восхищенный взгляд или заметит, что вокруг нет женщин краше и наряднее ее, сразу будто светлеет лицом, оживляется, делается еще внимательнее к мужу, еще приветливее, то и дело беспричинно обнажая в улыбке ровные белые зубы. Тогда в нем поднимается вихрь протеста: ему вдруг начинает казаться, что в поведении Ольги все напускное и манерное, даже это любовное внимание к нему. Иногда он не сдерживался и попрекал ее, на что она в ответ, на мгновение изумившись, тут же весело хохотала и, поигрывая гнутыми бровями, говорила всякие нежные глупости; казалось, сама мысль о том, что муж ревнует, забавляла и даже радовала Ольгу. А дома потом насмешливо выговаривала ему, что он лишен рыцарских наклонностей, не умеет с юмором смотреть на женские слабости, не хочет понять, что красивая женщина для того и красива, чтобы возбуждать к себе любопытство и своей красотой нести добрым душам радость, а завистливым — огорчения.

Позавчера вечером произошел между ними неожиданный для Федора Ксенофонтовича и поразивший его разговор. В конце ужина Ольга

отодвинула от себя тарелку, устремила на него чуть грустные глаза и вдруг заговорила каким-то непривычным голосом:

— Вот ты меня, бывает, ревнуешь по пустякам и без всякого повода... — Она внимательно начала рассматривать длинные ногти на своих руках. — А знаешь ли, Федор, что до того, как мы с тобой познакомились, у меня был молодой человек?..

— Как это понимать? — спросил он после напряженной паузы, не в силах постигнуть смысла услышанного. Его больше поразило не само признание, а виноватость в чуть побледневшем лице жены.

— Был знакомый паренек... Жених...

— Ты его... любила?

Расширившиеся глаза Ольги обдали Федора Ксенофонтовича холодным светом, и она, будто сожалея, что затеяла этот разговор, нехотя ответила:

— Вообще-то он мне нравился... Потом его взяли на фронт бить Колчака... И вдруг ты вскружил мне голову. — Ольга неожиданно засмеялась тем знакомым смехом, который всегда умиротворял его.

Он постарался не поддаться чарам ее смеха и спокойно, даже слишком спокойно, так, что удивленно взметнулись длинные ресницы над ее глубокими темно-синими глазами, спросил:

— Почему же ты скрывала?

— Я не скрывала... Нечего было скрывать.

— Ты потом держала перед ним ответ? — Федор Ксенофонтович сам испугался своего вопроса, заметив, как в лице Ольги промелькнуло что-то чужое: ему погрезилось, что он сейчас услышит от нее какое-то страшное признание.

Но Ольга вдруг опять расхохоталась, всплеснула руками. Тут же она умолкла, с ее лица медленно сползла улыбка, делавшая ее очень красивой, и посмотрела на него с какой-то набожной серьезностью.

— Как ты мог подумать?.. — тихо произнесла Ольга. — Клянусь счастьем Ирины, я в жизни, кроме тебя, никого не любила.

Он не знал, что ответить, и спрятал глаза. Ольга вдруг заплакала.

В это время в передней раздался звонок. Ольга вскочила со стула и выбежала на кухню. Федор Ксенофонтович отправился открывать дверь.

Пришла Ирина. Не пришла, а веселым вихрем ворвалась в квартиру. Чмокнула отца и затараторила о том, что у них в пятницу выпускной вечер и что поэтому все девчонки помешались на новых платьях, а мальчишки бесконечно совещаются, как понезаметнее принести в школу на этот вечер выпивку.

Обычно в такие минуты, когда дочь возвращалась домой и выкладывала свои школьные новости, Федор Ксенофонтович всегда исподволь любовался ее веселой подвижностью и восторженностью. Во всем ее облике и поведении уже угадывалось скорое рождение того великого женского начала, для объяснения сущности которого никто никогда не найдет точных слов, хотя без него не приходит ни настоящая любовь, ни материнство, хранящее бессмертие и силу рода человеческого. Всегда поражался неуемной энергии Ирины, умевшей одновременно есть кашу, напевать новую песенку, косить глаза на себя в зеркало, рассказывать что-то матери да еще пришлепывать под столом подошвами комнатных туфель. Но на этот раз все внимание Федора Ксенофонтовича было устремлено на кухню: в ушах еще стояли всхлипывания Ольги.

— Как поживает наша мама? Где она? Почему не выходит встречать свою ненаглядную дочь? — Ирина сыпала вопросами и, не дожидаясь на них ответов, уже вертелась перед зеркалом, снимая с себя берет и поправляя коротко остриженные волосы.

— Я, как всегда, на посту, доченька, — послышался спокойный и даже веселый голос Ольги Васильевны.

Федор Ксенофонтович оторопело оглянулся и увидел, что жена вносит в столовую чашки с чаем. Ни следа слез, ни тени раздраженности на ее лице. Федору Ксенофонтовичу стало не по себе от такого самообладания.

Расставляя на столе чашки, она смерила мужа будто оценивающим взглядом; тут же, картинно опустив глаза, снисходительно хмыкнула, чуть шевельнув уголками губ и раздув ноздри тонкого, прямого носа, а затем, давая понять Ирине, что они с отцом продолжают ранее начатый разговор, произнесла:

— Так я тебе не досказала. — Ольга посмотрела на Федора Ксенофонтовича предупреждающе. — Сегодня днем иду я по Невскому, и вдруг меня окликают. Оглядываюсь — он! Сергей!..

— Ты о ком? — сам не зная для чего, спросил Федор Ксенофонтович, хотя сразу же понял, о ком велась речь.

В сузившихся глазах Ольги мелькнула укоризненная насмешка.

— Да о нем же, о том бывшем парне!.. — И она загадочно засмеялась. — У него сейчас седины в голове больше, чем у тебя... Доктор наук, инженер! А рядом с ним, вижу, жена... Бедный Сережка! И где он ее выкопал, такую некрасивенькую?

Федор Ксенофонтович, будто сдаваясь, присел к столу.

— Так что, Федя, — продолжила Ольга Васильевна, коротко вздохнув, — жди в воскресенье к обеду гостей.

— Я на рыбалку в воскресенье собрался! — вскинулся Федор Ксенофонтович, чувствуя, что не может совладать с раздражением.

— Пожертвуй, Федик, рыбалкой... — Ольга посмотрела на него с мольбой. — Я ведь их уже пригласила. Познакомитесь...

За окном вагона гулко зашумели фермы моста, по которому проходил поезд. Только сейчас Федор Ксенофонтович заметил, что Ленинград остался позади, в бледных сумерках белой ночи.

Не пришлось ни на рыбалку поехать, ни нежданных гостей встречать. До воскресенья еще два дня, а он уже по срочному вызову в пути.

«Ты, Феденька, обязательно звони, — вспомнилось, как наказывала жена, когда они шли вдоль поезда к мягкому вагону. — Завтра вечером позвони из Москвы, потом из Минска... А в воскресенье, где бы ты ни был, обязательно позвони! Слышишь?»

Это «слышишь» почему-то кольнуло в груди, прозвучав, как какое-то предостережение. Он понял: Ольга хочет, чтобы он позвонил именно тогда, когда она будет принимать гостей.

Впереди, рядом с носильщиком, шла, размахивая сумочкой, Ирина и стригла по сторонам глазами. Это тоже легло тяжестью на сердце: не нравилось Федору Ксенофонтовичу, что дочь переняла привычку матери поглядывать на людей, будто с вызовом спрашивать их: «А видите, какая я красивая?!»

Кто-то постучался в купе, вспугнув мысли Федора Ксенофонтовича. Взвизгнула дверь, и в образовавшуюся щель заглянула проводница.

— Чаю хотите? — спросила она.

— Благодарю вас, поздно, — ответил Федор Ксенофонтович.

Дверь задвинулась, и он уже начал думать о службе, о том, что в спешке не мог по обычаю устроить проводы-вечеринку, перенося ее на то время, когда приедет забирать семью. Уехал, словно в командировку.

Все случилось нежданно. Еще сегодня утром генерал-майор Чумаков совещался в кабинете командующего: ломали головы, как продолжить начатое недавно укрепление командного звена войск округа.

Покачивание вагона, монотонный перестук колес и стремительная темная река ночного леса за окном — все это сливалось в своеобразное безмолвие, рождающее неторопливый и непоследовательный поток мыслей... Мелькнула и тут же угасла прощальная напутственная улыбка командующего. А не будет ли упреков вслед? В такой спешке сдавал дела, подписывал акты. Не успел подготовить командующему представления в наркомат на двух командиров дивизий. Попросил, чтобы это сделал заместитель... А если говорить правду, нет у Федора Ксенофонтовича уверенности, что молодые командиры полков Афанасьев и Вихрев, хоть люди они и толковые, уже смогут командовать дивизиями.

А как он сам, генерал Чумаков? Справится ли с механизированным корпусом? Дело ведь новое. Впрочем, не совсем новое: еще в тридцать втором году были созданы в Красной Армии такие соединения. Но в тридцать девятом, то ли не очень пристально всмотревшись в особенности и трудности войны в Испании, то ли еще по каким причинам, решили, что более мелкими бронеформированиями удобнее будет маневрировать в бою... А жизнь — тетка суровая и мудрая — заставила вскоре спохватиться. Сам Федор Ксенофонтович корпел над иностранными и отечественными материалами, обобщал опыт действий германских танковых групп в Западной и Юго-Восточной Европе; потом выступил со статьей в журнале. Заметили... Неделю назад позвонил ему из Москвы маршал Шапошников, который ныне руководил строительством оборонительных рубежей и укрепленных районов вдоль западных границ. Борис Михайлович сказал похвальные слова о статье и попросил сформулировать на бумаге, с учетом маневренных действий германских войск в наступательных операциях, основные принципы контрдействий обороняющейся стороны, с тем чтобы это учитывать при сооружении укрепрайонов. Такое поручение польстило самолюбию Федора Ксенофонтовича. Он несколько ночей с упоением сидел за письменным столом и сейчас везёт с собой небольшой трактат, чтобы вручить его маршалу...

Да, заметили, видать, прогрессивные взгляды генерала Чумакова на современное оперативное искусство и, наверное, решили: раз ты такой ярый сторонник крупных механизированных соединений, формируй одно из них и командуй.

Но почему такая экстренность? Сегодня утром, когда Федор Ксенофонтович вернулся в свой кабинет, зазвонил телефон прямого провода. Снял трубку и услышал голос подполковника Рукатова, работника Управления кадров Красной Армии.

«С новым назначением вас, Федор Ксенофонтович! — приторно-учтивым голосом заговорил Рукатов.— Шифровку с приказом наркома получили?»

«Нет, не получил. А что за назначение?»

«Телеграмма послана. Вам, дорогой Федор Ксенофонтович, завтра утром надлежит быть в Москве. Вы назначены командиром мехкорпуса, так что поздравляю!»

Как же это так вдруг? Почему такая скоропалительность?.. Федор Ксенофонтович не мог собраться с мыслями. Верно, не очень давно в наркомате спрашивали, как он отнесется к тому, если ему предложат корпус в Западной Белоруссии или на Украине. Но ничего конкретного.

«Мне нужно время, чтобы сдать дела здесь», — подавляя в себе смятение, сказал он в телефонную трубку.

«Надо успеть, товарищ генерал. Приказ! — Подполковник Рукатов уже говорил таким тоном, будто он живое олицетворение этого приказа. Но тут же со смешком заметил: — Наше дело — передать, мы тут, в Москве, люди маленькие, исполнители, так сказать».

На душе стало скверно. Понимал: было неприятно, что именно Рукатов сообщил ему о приказе.

Алексей Рукатов... 1925 год. Далекий городишко Заполье, барачные казармы, прижатые хвойным лесом к реке, просторный песчаный плац в жарком сиянии солнца... Там впервые и встретился с Рукатовым Федор Ксенофонтович, присланный в Заполье сформировать и возглавить стрелковый полк.

В расположении роты Рукатова он во всем увидел порядок. Только отчего такая общая угрюмость на лицах обитателей казармы? Поначалу Федор Ксенофонтович не придал этому значения, решив, что своим внезапным приходом смутил бойцов. А потом стали поступать рапорты взводных командиров с просьбой перевести их от Рукатова в другие подразделения. Чумаков вызвал командира роты.

И сейчас Федору Ксенофонтовичу помнятся ничего не выражавшие, неподвижные глаза Рукатова. «Почему не ладите со взводными?» — «Они контрики, товарищ комполка!» — «Доказательства есть?» — «Постараюсь добыть, товарищ комполка!» — «Почему рота отстает в боевой подготовке?» — «Сплошные симулянты, товарищ комполка!»

Федор Ксенофонтович решил было, что, может, такие ответы отчасти вызваны односложностью его вопросов, и, устыдившись своей прямолинейности, завел с Рукатовым разговор, тоже, в общем, элементарный, о том, что значит быть начальником над многими, самыми различными по характерам, умственным способностям и образованию людьми. Разговора не получилось. В неподвижных глазах Рукатова, будто выглядывавших из нор, проступал страх, иногда мелькала какая-то мысль, тогда зрачки его скользили в сторону, а губы шевелились, и казалось, командир роты сейчас выскажется, но... мысль в глазах тут же угасала, и все кончалось вздохом и коротким обещанием: «Будет исправлено, товарищ комполка!»

Чумаков так и не сумел вывести Рукатова из столбнячного состояния.

Во время показных занятий по тактике батальонный командир поручил Рукатову командовать головной походной заставой на марше батальона. И Чумаков еще раз убедился, что на простейшие вводные Рукатов не умел принять никакого решения. Выпятит грудь, выпучит глаза и испуганно-надрывным голосом вопит: «Вперед, за мной!..» А куда «за мной», каким боевым порядком, на какой рубеж, с какой задачей — об этом он в паническом рвении забывал даже подумать.

Федор Ксенофонтович взмолился перед штабом дивизии: замените неспособного командира роты. Оттуда с раздраженным назиданием ответили: «Способные сами не рождаются, учите».

И вот однажды пришел в полк приказ: откомандировать трех лучших ротных на переподготовку. Поколебался Федор Ксенофонтович и поступился своей совестью, правда, утешаясь слабым аргументом: пусть Рукатов поучится всерьез. Ожесточившись, подписал на него довольно туманную, но, в общем, положительную характеристику.

Спустя полгода Рукатов торжественно припожаловал в полк с назначением на должность командира батальона. Выписку из приказа о назначении Рукатова Федор Ксенофонтович читал с тем изумлением, которое почти отнимает дыхание. Возмущенный до бешенства чьей-то, как показалось, злой шуткой, он позвонил в штаб дивизии, но... последовал неотразимый по своей логичности ответ: «Вы же сами рекомендовали его как лучшего командира роты на учебу!»

Все тогда случившееся Чумаков воспринял как тяжкое возмездие судьбы за проявленную беспринципность. Рукатов вступил в командование батальоном.

Федору Ксенофонтовичу сейчас вспомнился тот далекий Рукатов-комбат, вспомнились с таким ясным воскрешением в памяти картины полковой жизни, что в купе запахло разморенным на солнце сосновым лесом, который сплошной стеной охватывал военный городок. И будто слышался на раскаленном песчаном плацу голос командира батальона Рукатова. Переполненный ощущением своей власти, своей исключительности и важности, Рукатов держался перед подчиненными с подчеркнутой раскованностью. В его поучениях, указаниях сквозила такая дремучая узость ума и знаний, такое пренебрежение к подчиненным, что Федор Ксенофонтович, когда слышал все это, приходил в отчаяние. Ведь, как правило, командирами становились лучшие ребята — цвет народа! А тут вдруг... И жалко было обманувшегося в своем призвании Рукатова, и стыдно за него, и надо было спасать дело. Ротные командиры за какой-нибудь месяц почернели от «общения» с новым начальством.

Не сразу удалось спровадить Рукатова из полка. Прощаясь с ним, Чумаков сказал все, что думал о его способностях, характере, и посоветовал никогда не занимать командных должностей. Но тот остался самим собой: опять какие-то курсы, опять где-то служба, потом женитьба на великовозрастной и некрасивой дочери знакомого Федору Ксенофонтовичу командира полка... Видать, еще не один начальник избавлялся от Рукатова, «выдвигая» его то на учебу, то еще куда-нибудь. Иначе никак не попасть бы ему в академию...

В 1937 году Рукатов, не подозревая, что Чумаков находился в то время в Испании, попытался свести с ним счеты. Один знакомый чекист, с которым Федор Ксенофонтович встретился после возвращения, доверительно рассказал об анонимных письмах с тяжкими обвинениями, предъявляемыми ему, бывшему командиру запольского полка, а затем слушателю военной академии Чумакову. За убогим содержанием этих обвинений перед Федором Ксенофонтовичем замаячила знакомая и уже зловещая фигура Рукатова. Чумаков сказал о своей догадке чекисту, и тот с удивлением подтвердил: действительно, в некоторых доносах среди свидетелей «контрреволюционной деятельности» командира полка Чумакова упоминалась и эта фамилия.

А в прошлом году, приехав в Наркомат обороны, Федор Ксенофонтович столкнулся с Рукатовым в лифте. Уже подполковник, раздобревший, краснолицый, с благородной сединой на висках. Обрадованно жал руку генералу, говорил какие-то слова, а глаза, как и прежде, были неподвижные, настороженные, будто живущие своей самостоятельной жизнью. Узнал Федор Ксенофонтович, что Рукатов, как тот выразился сам, «столоначальник» в Управлении кадров. Не хотелось в это верить, ибо в армии существует святой своей непреложностью закон: «на кадры» назначать самых дельных, мудрых и абсолютно во всем порядочных людей. Но, может, изменился человек, набрался ума-разума?..

Как бы то ни было, но хорошо, что до него, генерала, Рукатов уже не сможет дотянуться. Знал Федор Ксенофонтович, что любой командир, где бы он ни служил, ходит в страхе божьем, если считает, что где-то «в кадрах» сидит человек, которому известны какие-то его слабости или грехи: трудно тогда бывает с повышением в звании, в продвижении по службе, зато легко попасть в Кушку или еще куда-нибудь подальше. Тягостное это чувство.

«...Лучшее лекарство от оскорблений — забвение». — Федор Ксенофонтович, включив в купе свет, начал раздеваться, чтобы лечь спать.

Уже засыпая, сморенный всем, что свалилось на него в этот трудный день, припомнил горькую истину: опасайся того, кто тебя боится, и помни, что подлая душа всегда предполагает самые низкие побуждения в самых благородных поступках.

К началу рабочего дня Федор Ксенофонтович уже был в Наркомате обороны. Не хотелось, но надо было начинать со встречи с Рукатовым: в ведении «кадровика» находится «личное дело». В этой папке с подшитыми и пронумерованными бумагами запечатлена вся жизнь Федора Ксенофонтовича — от рождения, от первого дня службы в 1914 году рядовым пехотного полка до настоящего времени.

Войдя в кабинет, где, судя по столбику фамилий на дверях, должен был находиться подполковник Рукатов, Федор Ксенофонтович увидел несколько столов, загроможденных папками, и за каждым столом — склоненную над бумагами голову.

Из-за раскрытой створки шкафа выглянул на стук двери Рукатов. Лицо его рассекла широкая улыбка.

— Заходите, дорогой Федор Ксенофонтович! — Рукатов опрометью кинулся навстречу с протянутой, чуть подрагивающей рукой. — Здравия желаю, товарищ генерал! Вот, товарищи, знакомьтесь, мой бывший командир полка... Я вам рассказывал.

А глаза, глаза Рукатова! Когда-то он уже видел такое выражение глаз... В их селе Чернохлебовке, что под Харьковом, как-то оказался бродячий цирк. На выгоне сколотили помост, и при великом стечении народа началось представление. Всех поразил фокусник, тащивший изо рта несметное количество лент. Потом фокусник, посмотрев на ребятню, сидевшую у самого помоста, поманил пальцем двенадцатилетнего Федьку Чумака, как звали его в Чернохлебовке. Когда похолодевший Федька поднялся на помост, фокусник поднес к его лицу шляпу и умоляюще зашептал: «Говори, что пустая, пятак получишь». В шляпе лежали два куриных яйца, и Федька скривил в ухмылке губы. Но вдруг увидел перед собой глаза фокусника — настороженные и кричащие такой мольбой и мукой!.. А на лбу — мелкие росинки пота. «Говори, что пустая», — с дрожащей улыбкой упрашивал он. Федьке до слез стало жалко фокусника. Повернувшись к толпе и опустив глаза, он сказал: «В шляпе ничого нема».

Что потом сделал фокусник, Федор Ксенофонтович уже не помнит... Сейчас он увидел точно такие глаза у Рукатова. И еще заметил, что все в кабинете с превеликим любопытством наблюдали за их встречей.

Генерал, испытывая мучительную неловкость, стал по очереди здороваться со всеми за руку. А подполковник Рукатов, обращаясь к сослуживцам, не унимался:

— Прямо скажу, в люди меня вывел Федор Ксенофонтович! Век не забуду!

— Не преувеличивайте, товарищ подполковник, — с жесткой улыбкой заметил Чумаков, усаживаясь на стул, предложенный Рукатовым.— Всех нас в люди вывела армия.

— Верно говорите, товарищ генерал, но прямо вам скажу: вы молодцом выглядите, хоть поседели заметно, — без всякой последовательности перевел разговор Рукатов. — А я сдал, списали меня со строевой и вот доверили кадры. Трудная это работа, судьбы людей решаем, а от этих судеб зависит боевое могущество армии...

— Так какой у нас план действий? — нахмурившись, перебил его Федор Ксенофонтович. Заметив ухмылки сослуживцев Рукатова, с неприязнью подумал: «Догадываются же, что за фрукт с ними работает, а терпят...»

— Значит, так.— С лица Рукатова смыло улыбку, и он уставил перед собой остекленевший взгляд. — Сейчас я вас сопровожу к началь-

нику нашего отдела, а он уже по инстанции... Командира корпуса может пожелать принять и нарком.

— А где хоть штаб корпуса дислоцируется? — поинтересовался Федор Ксенофонтович.

— Там где-то, в Барановичской области. — Рукатов беспомощно оглянулся на сослуживцев.

— В Крашанах, — подсказал кто-то.

Когда шли по мрачному коридору, Рукатов вдруг таинственно зашептал:

— Федор Ксенофонтович, если хотите, можно вас оставить в Московском округе. На такой же должности!.. Я ведь в курсе: у вас Ольга Васильевна почками хворает, а дочка, кажется, десятилетку должна была окончить...

«Все знает, подлец» — с досадой подумал Чумаков.

— Я начальству говорил, — преданно добавил Рукатов. — Стоит вам только намекнуть...

— Нет, товарищ Рукатов. В армии должностей себе не выбирают.

Остановились у двери с табличкой «Полковник Микофин С. Ф.».

— Семен Филонович? — удивился Чумаков, указывая на табличку.

— А вы разве не знали, что он мой начальник? — каким-то вдруг деревянным голосом ответил Рукатов, и даже в полумраке коридора можно было разглядеть его помертвевшие глаза. — Мы именно к нему. Он ждет.

Федор Ксенофонтович все понял и решительно открыл дверь.

За столом сидел постаревший и полысевший Сеня Микофин... полковник Микофин... Сколько лет не виделись!

Микофин поднял голову и тут же, засветившись радостью, вскочил:

— Заходи, дружище! Жду не дождусь!

Обнялись, расцеловались.

— Можете быть свободны, — сказал Микофин Рукатову, не глядя на него.

— Ты давно работаешь в наркомате? — не мог прийти в себя от такой неожиданной встречи Чумаков.

— Уже два года. И все удивляюсь, почему не заходишь. Бываешь же в Москве?

— Не знал, что ты тут!

— Как не знал?! А Рукатов?.. Он о тебе мне все докладывает... Слушай, Федор, ну и удружил ты мне с этим Рукатовым!

— Я? Каким образом?

— В позапрошлом году прислали мне его в отдел на вакантную должность. Знакомлюсь с «личным делом», читаю характеристику, подписанную тобой еще в двадцать пятом. Ну, думаю, раз Федя Чумаков хвалит, значит, человек стоящий. Воспитанник твой, батальоном под твоим началом командовал. Вот и взял. А оказалось, дрянь человек, будем увольнять из армии.

— Мать моя родна-ая! — Федор Ксенофонтович отмахнулся рукой и зашелся удушливым смешком. — Помилуй меня бог от таких воспитанников! Я горючими слезами плакал от него!..

Не чаял генерал Чумаков, что ему придется еще немало и с большой горечью размышлять над тем, откуда берутся рукатовы, рождаются ли они как закономерность в сложностях человеческого бытия, всплывают ли на поверхность в особых условиях, когда поток жизни устремляется по новому руслу, взвихривая все дремлющее на пути, или ими становятся духовные уродцы, наглеющие при попустительстве общества... Сложна и извилиста иная судьба человеческая.

# 3

Осененный деревьями Гоголевский бульвар томился в солнечном жару июньского дня. Генерал Чумаков, выйдя за могучую стену, отделявшую строгий комплекс зданий Наркомата обороны от бульвара, покосился на манящую тень за решетчатой оградой и вытер вспотевший затылок. Хотелось немного посидеть на бульваре, собраться с мыслями. Пошел вверх, к Арбатской площади, то и дело отвечая на приветствия военных, подождал, пока прогрохотал мимо трамвай, и повернул к памятнику Гоголя; великий писатель в глубокой скорби размышлял над всем, что постиг и чего не постиг в суетности отшумевшей для него жизни.

Присел на крайнюю скамейку, затененную наполовину, снял фуражку и закурил. Итак, сегодня вечером Сеня Микофин провожает его в Минск. В наркомате разговоры свелись к одному: комплектование корпуса личным составом, по донесениям из штаба округа, через месяц заканчивается, хуже дело с оружием и техникой, но к осени округ должен получить все, что надо.

Когда Чумаков был на приеме у начальника Главного автобронетанкового управления Красной Армии генерал-лейтенанта Федоренко, то спросил у него как бы между прочим:

— Яков Николаевич, чем вызвана такая спешка с моим назначением? В течение нескольких часов я должен был успеть сдать дела.

— Разве? — Федоренко с удивлением вскинул брови. — Тебя должны были предупредить. Это непорядок. — Он что-то записал в календаре. — Но ехать к месту службы надо безотлагательно... Тревожно на границе.

— А как же понимать недавнее сообщение ТАСС? — не удержался Чумаков.

Яков Николаевич помолчал, подумал и будто с неохотой заговорил:

— Сообщение ТАСС — это акция внешнеполитического курса государства... Ты же знаешь известную формулу, что война есть продолжение политики иными средствами. Пока нет войны, от нас, военных, требуется одно: крепить боевую мощь и быть наготове, но... не демонстрировать ни своих опасений, ни своей подготовки. Избегать каких бы то ни было конфликтов. Даже случайный выстрел на границе с нашей стороны может рассматриваться как провокация.

Потом Чумаков направился к маршалу Шапошникову, чтобы доложить о том, что статья уже готова. Но только переступил порог приемной, как увидел маршала, выходящего из своего кабинета. Озабоченный, с хмурым лицом, Борис Михайлович куда-то спешил. Торопливо поздоровавшись с Чумаковым, взял у него папку с десятком страниц машинописного текста, поблагодарил и, узнав, что тот сегодня уезжает в Минск, попросил завтра обязательно позвонить ему оттуда...

Даже в тени бульвара было душно. Рядом на скамейке, смахнув с нее соломенной шляпой невидимую пыль, уселся розовощекий старик с газетой в руках. Федор Ксенофонтович заметил, как старик, разглаживая белые усы, косит на него любопытствующий взгляд, и понял, что тот сейчас попытается затеять разговор. А генералу было не до разговоров. Перед отъездом он еще должен побывать в магазине военной книги, в редакции журнала «Военная мысль» и навестить Нила Игнатовича Романова — своего старого учителя, профессора и генерала, которому обязан еще и тем, что в его доме познакомился с Ольгой. Чумаков очень любил встречаться с профессором, любил вести с ним доверительные разговоры о всевозможных проблемах и сложностях жизни. И так уж повелось, что в каждый приезд в Москву Федор Ксенофонтович обязательно

хоть час, да находил для встречи со стариком — то ли у него дома, то ли на кафедре в академии.

Федор Ксенофонтович, бросив недокуренную папиросу в урну, поднялся со скамейки и направился к ближайшему телефону-автомату. Набрал знакомый квартирный номер. Ответила старенькая супруга профессора — Софья Вениаминовна. Назвав себя и поздоровавшись, Федор Ксенофонтович услышал в ответ сдержанный плач.

— Тяжко хворает наш Нил Игнатович, — сквозь слезы жалобно рассказывала Софья Вениаминовна. — Лежит в госпитале в Лефортове и велел никого к нему не пускать. Но ты, Феденька, поезжай... Умирает...

— Как он? — упавшим голосом спросил Чумаков у пожилого врача, прежде чем зайти в палату к Нилу Игнатовичу.

— Лучше... Какая-то потрясающая ясность мысли, — задумчиво ответил врач. — Но мне это не нравится...

В палате устойчиво пахло лекарствами, хотя огромное окно было раскрыто настежь и в него заглядывала влажная зелень ухоженных деревьев госпитального парка. Казалось, что лекарственный запах источали голые стены палаты, белые спинки кровати, на которой лежал под простыней профессор Романов, белая тумбочка у его изголовья.

Может, именно от этой наполняющей комнату белизны усохшее лицо Нила Игнатовича Романова казалось таким болезненно-бледным, даже пепельным. Седые усы профессора поредели и потеряли живой блеск, нос истончился, и было удивительно, как держится на нем изящное старомодное пенсне. Старческие водянистые глаза светились под стеклами мудрой грустью и осознанной отрешенностью.

Да, генерал Романов, доктор военных наук, крупнейший знаток истории войн и военного искусства, подводил итоги жизни. Федору Ксенофонтовичу это было ясно, и он с чувством искренней и глубочайшей скорби понимал, что видится с Нилом Игнатовичем в последний раз.

Что сказать этому дорогому человеку, чем утешить или хотя бы на время развеять его, возможно, уже неземные мысли?

— Устал я от жизни, — понимая смятенность чувств своего нежданного гостя, с какой-то будничностью сказал профессор и утвердительно шевельнул лежавшей поверх простыни сморщенной рукой. — Не хочется ни печалиться, ни видеть никого... даже близких... Нет, тебе рад. — И он глянул на Федора Ксенофонтовича такими вдруг проницательными глазами, что тот нисколько не усомнился в его словах. — С тобой поговорить можно обо всем, что еще держит меня на этом свете. Понимаешь?.. Вся моя жизнь прошла в размышлениях. И сейчас кажется, что многого еще не высказал... Спасибо тебе, Федор, что пришел. А вот твоя Ольга пусть извинит меня. — Старик позабыл, что Ольга Васильевна не в Москве, а в Ленинграде. — О чем говорить с племянницей перед уходом в мир иной?.. Ты — другое дело... Ты часть меня, в тебе будут жить мои знания... Я всех своих талантливых учеников помню и люблю... Именно талантливых... — Нил Игнатович примолк, будто обозревая учебные аудитории, заполненные военным людом. — Если в группе находилось хотя бы два-три таких слушателя, мне уже было интересно читать лекцию. Я начинал сызнова воспроизводить историю, искать все более четкие толкования военно-философских вопросов, все глубже вглядываться в давно отшумевшие войны и подчас видеть в них такое, что у самого мурашки по спине... Не помню, кто изрек, что история войн — это во многом история человеческого безумия... Согласиться с такой мыслью целиком нельзя, ибо история вместе с тем заключает в себе опыт человечества и разум веков. Нет предела ее глубинам, нет в ней границ для поиска мыс-

ли, если только история, историческая наука вообще (ты запомни это, Федор!), не унижает себя до того, чтобы искусственно служить современным враждованиям и злопамятствам... А на тернистом пути человечества бывали случаи, когда иные влиятельные особы от государства, от политики или от науки обходились с историей, как с гулящей девкой. И она затем в назидание человечеству жесточайше мстила им, возводя над гробницами незримые памятники позора... Вот так обращается сейчас с историей Адольф Гитлер — удивительнейший шарлатан двадцатого века!.. Со смелостью необыкновенной он выкроил из истории Германии перчатки по своим рукам и в этих перчатках, не боясь обжечься, толкает германский народ на путь безумия... Историю же России рассматривает через уменьшительные, да еще закопченные стекла, а все блистательные страницы нашего прошлого, все великие начала нашей культуры, которые не в силах затмить угаром национал-социалистского бреда, пытается объяснить сопричастностью к ним германцев.

— Вы утомляете себя, Нил Игнатович, — воспользовавшись паузой, заметил Чумаков. Острое ощущение близкой утраты теснило ему грудь, и от этого было трудно вникать в смысл всего, что говорил профессор.

— Верно, утомляю, — согласился Нил Игнатович. — Но другого случая поговорить о том, что болит, поговорить именно с тобой уже не будет... Ведь я, милый мой, ждал тебя. Знал, что навестишь... Знаю, что и старый мой коллега и друг маршал Шапошников пожалует... А может, и обманываюсь. Время для него сейчас тяжкое... Ты зачем в Москве?

— Получил новое назначение. Еду командовать механизированным корпусом в Западную Белоруссию. — Чумаков почему-то умолчал, что был сегодня у маршала и что поговорить с ним не удалось.

— В Западную Белоруссию?.. Значит, на фронт. — В глазах профессора сверкнули печальные огоньки, а в голосе прозвучала строгость. — Война — не сегодня-завтра. Так что Ольгу и дочку с собой не бери.

— Так уж и война! — усомнился Федор Ксенофонтович. — Войны, конечно, не избежать, но раз есть договор с Гитлером... И сообщение ТАСС на прошлой неделе... Германия будто бы соблюдает условия пакта.

— Война стучится в нашу дверь, дорогой мой Федор. — Профессор пристально посмотрел на Чумакова. — Помимо того что я начальник кафедры академии, я еще и друг милейшего человека Бориса Михайловича Шапошникова. Много в Генштабе моих учеников... Заглядывают к старому профессору, да и меня к себе на совет зовут.

— Есть сведения? — озадаченно спросил Федор Ксенофонтович.

— Сведения надо уметь черпать из происходящего... — Нил Игнатович улыбнулся с болезненной благосклонностью. — Ты понимаешь, почему мы пошли на заключение предложенного Гитлером пакта о ненападении?

— Чтобы выиграть время...

— Это — дважды два... Разве тебе не известно, что Чемберлен и Даладье нацеливали Гитлера на СССР, делали все возможное, чтобы натравить Германию на нас? И топили в дипломатической мякине все наши предложения о том, чтобы общими усилиями надеть на Гитлера смирительную рубашку.

— Может, мы неумело предлагали? — Федор Ксенофонтович с чувством неловкости подумал, что он, генерал, редко размышлял над такими, казалось бы, простыми вещами.

— Нет, умело и последовательно... Когда Гитлер распял Австрию, стало ясно, что он вот-вот покончит с Чехословакией. И мы предложили созвать конференцию Америки, Англии, Франции и Советского Союза... Старый поборник англо-германского содружества Невилл Чемберлен вознегодовал в ответ и, заявив, что не оспаривает права Германии на гос-

подствующее положение в Восточной и Юго-Восточной Европе, стал летать на поклон и за советами к Гитлеру.

— И Франция повела себя не лучшим образом, — заметил Федор Ксенофонтович. — Я имею в виду ее невыполненный договор о взаимопомощи с Чехословакией.

— Там все сложнее. — Профессор, помолчав, продолжил: — Мы тоже договор не смогли выполнить, хотя уже были сгруппированы на Украине силы, чтобы бросить их на помощь Чехословакии. В Праге отказались от нашей помощи: их буржуазия надеялась найти счастье в браке с немцами. А Франция не собиралась выполнять свои договорные обязательства под предлогом, что не стоит помогать тем, кто сам в решительную минуту не защищается.

— А ведь верно, — заметил Федор Ксенофонтович. — Абиссинцы защищались, испанцы боролись, а гордая нация гуситов склонила голову перед немцами.

— Нация здесь ни при чем... Она готова была защищаться всеми средствами. Чехословацкая армия ждала приказа. Но верхушка крупной буржуазии во имя своих интересов согласилась поступиться интересами республики и нации. Франция на этом и сыграла... Затем с марта тридцать девятого года между нами, Францией и Англией велись переговоры. Ничего, как ты знаешь, из них не вышло. — Нил Игнатович отпил глоток боржома из стакана, стоявшего рядом на тумбочке, и, устремив взгляд в потолок, снова продолжил: — Когда нависла угроза над Польшей, мы предложили заключить англо-франко-советский военный союз... Чемберлен, конечно, ответил отказом, а некоторые французские, английские и американские газеты опять завопили, что настал час создания «Великой Украины» во главе со Скоропадским и, разумеется, под эгидой Германии. Понимаешь?

— Понимаю.— Чумаков горько усмехнулся. — Вот, мол, господа немцы, прямой вам путь на восток. Только не угрожайте нам... Так и созрела ситуация, которая вынудила нас подписать с Германией пакт о ненападении.

Наступила длительная пауза. Казалось, Нил Игнатович утерял нить своей мысли. Но он вдруг вздохнул и как бы заключил:

— Но цена этому пакту... На Восемнадцатом съезде Сталин напрямик предупредил, что надо соблюдать осторожность, чтобы не позволить втянуть в военные конфликты нашу страну. Да и в речи Молотова после воссоединения с нами западных областей Украины и Белоруссии не для красного словца сказано, что вопросы безопасности государства встали очень остро. Потом финская кампания и восстановление Советской власти в Прибалтийских республиках... В своевременности всего этого не усомнишься... Теперь, когда наши границы отодвинуты на запад, нужен могучий заслон вдоль них с приведенными в боевую готовность оперативными группировками войск в ближнем, но... не в ближайшем тылу...

Федор Ксенофонтович был удивлен, что старый профессор, находясь уже на смертном одре, так ясно мыслит и рассуждает с той взволнованной заинтересованностью, которая, казалось бы, никак не должна соответствовать состоянию его духа.

А Нил Игнатович, зажмурившись, о чем-то задумался. Но тут же, повздыхав, заговорил опять, не поднимая немощно желтоватых век:

— Пакт о ненападении и торговое соглашение с Германией дали нам время. И мы надеялись, что если Гитлер и решится на войну с Советским Союзом, то не ранее весны сорок второго года. А он решился сейчас. Генштаб располагает важными сведениями.

— Так почему же ничего не предпринимают? — Чумакову не хотелось верить в услышанное, таким оно казалось невероятным.

— Предпринимают... Давно предпринимают, — будто самому себе ответил Нил Игнатович, все еще не открывая глаз. — С востока перебрасываются армии... Но мы сейчас, как задержавшийся на дистанции бегун: время на исходе, а финиш далеко... Трудная это дистанция. Развиваем автомобильную, авиационную, артиллерийскую промышленность. И сделано немало... Самое же главное: капиталистический мир рассечен надвое — это достижение необыкновенное!.. Могло же случиться иначе: нам грозило остаться один на один со всей военной мощью капитализма... А ты говоришь, ничего не предпринимают.

— Но мы же к войне не готовы! — Федор Ксенофонтович взвешивал сейчас только то конкретное, что имело отношение к уже незамедлительным военным действиям. — Я знаю, ведется перевооружение, подтягиваются к границам войска, проводятся большие учебные сборы, равнозначные частичной мобилизации... Но это далеко не исчерпывает мер, которые нужны в предвидении близкого военного вторжения на нашу землю!

— Очень близкого. — Нил Игнатович открыл глаза, и Чумаков увидел в них страдание. — Но я полагаю, что Сталин да и Генштаб все еще надеются сдержать Гитлера. Они заняли не новую в истории взаимоотношений между враждебными государствами позицию: не давать повода для войны. Обязательства по торговому соглашению наверняка выполняются нами аккуратно, у нас даже закрыли миссии и посольства стран, которые Германия прибрала к рукам... А это, сам понимаешь, что значит. Мы принимаем все меры, чтобы на границе было спокойно, несмотря на провокации и на то, что по ту сторону концентрируются войска. Сообщение ТАСС... это последняя, так мне думается, попытка облагоразумить Гитлера. Последний пробный шар... Хорошо, если хоть войска наших западных округов тайно приведены в боевую готовность.

— Какая там готовность! — Федор Ксенофонтович досадливо вздохнул.— Все делается по ранее утвержденным планам; укрепрайоны на старой границе в Белоруссии разоружены, а близ новой только развертываются строительные работы. Войска, которые передвигаются к границам, полагают, что это в учебных целях, и даже боекомплектов при себе не имеют.

— Вот-вот.— Лицо Нила Игнатовича перекосила жалкая улыбка.— Конечно, Сталин прекрасно понимает, что, объяви открытую мобилизацию, — завтра же война; подчини работу железных дорог только передвижению армии — война; отдай приказ приграничным войскам сняться с мест расквартирования и занять боевые позиции — немедленно Германия начнет войну. А нам бы еще год времени... Вот и делается все возможное, чтобы заставить Гитлера упустить время. И в этом, разумеется, есть смысл... Но удастся ли?.. Я хорошо знаю закономерности процессов и психологических аспектов, связанных с подготовкой войн. Азартный охотник — а Гитлер именно таков — никогда не отпустит натянутую тетиву лука впустую. Обязательно пошлет стрелу в цель, если не успеть перерубить тетиву либо не прикрыть цель щитом. Бывают исключения, когда идет подготовка к войне без решительных намерений, а лишь для политико-экономического шантажа. Монголы, как мы знаем, еще в тринадцатом веке не раз демонстрировали подготовку к сражению, а затем ретировались, когда узнавали, что противник силен... Да и в период метафизического толкования военного искусства, если говорить уже собственно о войне, некоторые теоретики строили на этом основании принципы стратегии. Вспомним хотя бы труд прусского офицера Генриха Бюлова «Дух новейшей военной системы», где он доказывает, что задача стратегии — достичь целей войны без сражения.

— Ллойд тоже исключал генеральное сражение, считая его следствием ошибок, — заметил Федор Ксенофонтович и тут же ощутил смущение, ибо показывать профессору Романову свои познания военной истории — это все равно что ребенку храбриться перед великаном.

— Верно, — согласился Нил Игнатович. — Но сейчас другие времена...— Он умолк.

— Неужели Гитлер все-таки решится воевать с Западом и Востоком одновременно? — нарушил молчание Федор Ксенофонтович. — Неужели войны Фридриха Великого, а затем первая мировая война с ее пресловутым планом Шлиффена не научили Германию, как опасно вести боевые действия на два фронта?

— В наших кругах многие рассуждают точно так же. — Профессор горько усмехнулся. — Получают по самым различным каналам донесения, что Германия приготовилась к нападению, и разводят руками: мол, не может быть, чтобы Гитлер и его генералы не понимали рискованности такого шага. А иные «стратеги» объясняют стягивание Германией сил к нашим границам даже тем, что Гитлер боится агрессии со стороны Советского Союза.

— Ну, это уж глупость очевидная. — Чумаков махнул рукой.

— Ты, конечно, не читал «Майн кампф»? — неожиданно спросил профессор и сам же ответил: — И не мог читать. В ней Гитлер весьма отчетливо излагает свою точку зрения насчет России. Я на память помню его слова: «Когда мы говорим о новых землях в Европе, мы должны в первую очередь думать о России и подвластных ей пограничных государствах. Кажется, сама судьба указывает нам путь в этом направлении...» Вот так-то... Еще в двадцатые годы в Ландбергской тюрьме, куда Гитлера упрятали за попытку захватить власть в Баварии, он писал эту свою книгу и уже тогда нацеливал острие германской военщины на «дикий Восток»... А о военных действиях на два фронта... Трудно сказать, что думает Гитлер. Гесс, видимо, не зря полетел в Англию. Но если и не состоится англо-германский сговор, Гитлер надеется, что после молниеносных побед во Франции, Норвегии, Польше, на Балканах его армиям будет под силу и Советский Союз.

— И вы, Нил Игнатович, полагаете, что уже наступил этот роковой час?

— Возможно, не я один полагаю... — Профессор вздохнул. — Но... после этих арестов в армии многие предпочитают быть только исполнителями предначертаний свыше: пусть, мол, за меня решают другие. Выдвигать свои собственные концепции — недолго попасть в паникеры, в провокаторы или еще найдут какую формулу... Ты, Федор, только не делись этими мыслями ни с кем... Пусть они уйдут со мной, как плод моих размышлений и догадок...

— Зачем вы о себе с такой обреченностью, Нил Игнатович?..

Профессор будто не расслышал вопроса Чумакова.

— И может случиться, что я ошибаюсь или ошибаются те люди, что делятся со мной, — продолжал он. — О чем же я?.. А, о разведданных. Понимаешь, Федор, Генштабу известно о передвижениях почти каждой немецкой дивизии к нашим границам. Но витает смертный страх перед дезинформацией. Некоторые генштабисты твердо убеждены, что Гитлер пытается переброской армий на восток ввести в заблуждение Англию, и верят, что Германия вот-вот начнет вторжение на Британские острова... В нашем разведывательном управлении концентрируется вся информация, стекаются очень важные сведения, но часто их берут под сомнение... Бывает, докладывают правительству важные факты, а в конце делают осторожные оговорки. Разведывательные сведения поступают по разным каналам, подчас противореча друг другу. А если б каждый командующий

постоянно получал не просто разведдонесения, но и выводы из них, трезвую оценку военной ситуации, обобщение фактов, это повышало бы боеготовность... Месяц назад ходил я со своими размышлениями в один кабинет... Дали понять, что Иосиф Виссарионович войны не хочет, стало быть, надо думать о том, как ее избежать, а не взвинчивать ему нервы всевозможными сведениями и догадками о намерениях Германии. Словом, намекнули, что я догматик старой школы, и посоветовали хранить свои мысли при себе... Но я не стал их хранить. Изложил на бумаге и послал лично Сталину.

— Ох, молодец вы, Нил Игнатович! — с радостным удивлением воскликнул Чумаков. — Ну и как? Ответа нет?

— Был ответ... Позвонил мне домой Поскребышев, сказал, что Иосиф Виссарионович хочет поговорить со мной. Когда моя Софья ответила, что я в госпитале, велел кланяться и передал благодарность товарища Сталина за письмо. Просил позвонить им после выздоровления...

По шелохнувшейся занавеске на распахнутом окне и по тому, что от дуновения воздуха острее запахло лекарствами, Федор Ксенофонтович понял, что кто-то приоткрыл дверь в палату. Оглянулся и увидел немолодую высокую няню в белом халате. Она сделала ему требовательный знак, что пора заканчивать свидание. Но Нил Игнатович, смежив веки, продолжал говорить:

— Очень мне хотелось узнать мнение Сталина по поводу моих размышлений... Сложилась такая обстановка, что только чудо может изменить развитие событий. Или я чего-то не учитываю, в чем-то ошибаюсь... А может, действительно ошибаюсь, Федя? — Старый профессор посмотрел на Чумакова с какой-то детской надеждой в водянистых глазах.

— Мне трудно судить, не зная истинного положения дел. — Федор Ксенофонтович виновато улыбнулся. — Все в этом мире находится в естественной связи причин и следствий. И Сталин как выдающийся марксист понимает это лучше нас и понимает, что ничего свыше предопределенного нет и быть не может. На всякие события можно и нужно влиять. Я очень верю в трезвый рассудок Сталина, в дальновидность Политбюро и правительства.

— Как бы я хотел ошибиться! — Нил Игнатович вздохнул. — Может, действительно Гитлер, придвинув к нашим границам войска, предъявит какой-нибудь ультиматум?.. Может, он зарится на Западную Украину и Западную Белоруссию, на прибалтийские земли, если не на большее?.. И прежде чем показать ему кукиш, можно начать сражение между дипломатами и выиграть время? Потом, в преддверии осени, Гитлер не решится начинать войну. Кто знает, может, Сталин на это надеется?..

Профессор немощной рукой снял пенсне, положил его поверх простыни и повернул бледное лицо к стене.

— Счастья тебе, Федор, — сказал он вдруг ослабевшим голосом. — Только, если окажешься на войне, помни, что ты в академии не зря изучал мой предмет. Знание истории военного искусства поможет тебе с пониманием закономерностей войны решать многие вопросы, позволит многое видеть в истинном свете и оценивать по истинной значимости...

## 4

Жена полковника Микофина лечилась где-то на Кислых Водах, и Семен Филонович один принимал у себя дома генерала Чумакова. Пили водку и пиво, закусывали селедкой, маринованными огурцами и помидорами, салом и яичницей с колбасой.

Микофины жили в коммунальной квартире, и за столом Чумакову

было слышно, как по коридору пробегали ребятишки, шаркали чьи-то ноги в шлепанцах, из кухни доносилось шипение примуса.

Сквозь открытую балконную дверь в комнату заглядывало повисшее над соседними крышами вечернее, но еще жаркое солнце. Лучи его высветили стены в лиловых обоях, пронзили розовый бокастый абажур над столом, зажгли полированный буфет в углу. Все в комнате светилось и лоснилось, даже помидоры на столе будто горели изнутри. В квартире пахло чайными розами, засохшими в вазе на буфете, но Федору Ксенофонтовичу казалось, что он улавливает в этом посмертном дыхании цветов лекарственный запах, преследовавший его сегодня с госпитальной палаты. Может, потому, что так много говорили сейчас о профессоре Романове.

— Нет, старик в своих опасениях забывает о главном... — За дверью пробухали тяжелые шаги, и Микофин снизил голос: — А главное в том, что мы успели обезвредить грандиозный заговор... Понимаешь, что нам грозило? Красная Армия с самого верха до самых низов оказалась в руках врагов народа!

Федор Ксенофонтович вздохнул, потянулся за папиросой, а Микофин со слепой убежденностью разглагольствовал:

— Клубок стал разматываться от нашего военного атташе в Лондоне Путна. Нити заговора держали в своих руках Тухачевский, Егоров и Гамарник. Во все военные округа — понимаешь, во все! — они продвинули командующими, членами военных советов и начальниками политуправлений своих людей, а те, в свою очередь, втянули в заговор многих нижестоящих...

— Но почему же стольких сейчас оправдывают?.. Значит, есть такие, которые пострадали безвинно?

— Не без того... В большую бурю, когда в лесу валятся гиганты, многим окружающим деревьям тоже не устоять. И тут ничего не сделаешь. Лучше пусть в невод попадет всякая рыбешка, ее потом можно опять выбросить в воду, но чтобы ни один хищник не остался на воле. Это закономерность борьбы... Многовато сейчас возвращается оттуда, но никуда не денешься: заговор существовал...

— Не знаю, — задумчиво произнес Федор Ксенофонтович и брезгливо пососал папиросу. — Во всяком случае, не в таких масштабах.

— Тебе что-нибудь известно? — насторожился Микофин.

— Нет... Я просто очень близко был знаком с некоторыми из обвиненных. За иных и поручиться мог бы, если б помогло мое поручительство... Никакие они не враги. На меня ведь тоже катали доносы.

— Слишком доверчив ты, Федор. О вражеской работе не то что друг, а брат или жена могут не подозревать.

— Так зачем же многих жен куда-то упрятали? Да и детей?..

— Наверное, для того, чтобы не обивали пороги большому начальству. Знаю я одну такую старушку. Извела нас письмами.

Микофин горько засмеялся и побежал на кухню варить кофе, а Федор Ксенофонтович стал размышлять о том, что судьба все-таки смилостивилась над ним и даже усилия Рукатова не привели к роковой черте, хотя, если б пристальнее всмотреться в послужной список генерала Чумакова, был повод заподозрить и его в связях с теми, кого сейчас называют врагами народа. Многие из арестованных когда-то были его сослуживцами или друзьями по учебе в академии.

Даже с Якиром был знаком Федор Чумаков...

В тридцатом году, когда он, выпускник академии, был направлен в Харьков, в штаб Украинского военного округа, его, только начавшего

работать в оперативном управлении штаба, вдруг вызвал командующий — Иона Эммануилович Якир. Войдя в кабинет командующего, Чумаков увидел за столом моложавого, лобастого человека с приветливым лицом и густой темной шевелюрой, с четырьмя ромбами в малиновых петлицах. Это и был Якир. Он поднял голову, посмотрел на Чумакова изучающим взглядом и легко встал из-за стола. Не дослушав рапорт, подал руку. Сели друг против друга за длинный стол, покрытый зеленым сукном.

— Товарищ Чумаков, — заговорил Якир, — я знаю, что вы превосходно окончили академию, имеете командирский опыт. Скажите, что вы думаете о будущей войне?

Чумаков шевельнул плечами, не сумел скрыть своего удивления.

— Понимаю, — упредил Якир. — Одной фразой на такой вопрос не ответить, тем более что вопрос поставлен общо.

— Конечно, — растерянно усмехнулся Чумаков. — Этот вопрос, как и ответ на него, состоит из многих слагаемых.

— Меня вот что интересует: вы можете предполагать, что в случае войны нам придется вести боевые действия не только на территории врага, но, возможно, и на нашей территории?

— Безусловно, — с убежденностью ответил Чумаков. — При нынешней маневренности войск можно создавать перевес сил на самых неожиданных направлениях.

— Верно. Посему не исключена и партизанская борьба... Исходя из этого, Народный комиссариат по военным и морским делам дал нам указание наряду со многими мерами приступить к подготовке руководящих партизанских кадров. Это, разумеется, строжайшая военная тайна.

— Понимаю, — кивнул Чумаков.

— Мы уже создали школу, подобрали надежных людей и приступили к их обучению. — Якир помедлил, оценивающе вглядываясь в лицо Чумакова. — Вы не могли бы прочитать небольшой курс лекций из истории партизанского движения? Конечно, и с рассмотрением в историческом аспекте тактики действий партизан в тылу врага.

— Пока все свежо в памяти, товарищ командующий, — с готовностью ответил Чумаков. — Недавно сдавал госэкзамены по истории войн и военного искусства.

— Романову Нилу Игнатовичу?

— Так точно.

— Тогда справитесь. — В глазах Якира промелькнули молодые огоньки. — Я тоже когда-то учился у Нила Игнатовича... Что бы вы считали нужным включить в программу?

— Если минимально, — Чумаков чуть помедлил, раздумывая, — то можно вспомнить о крестьянской войне Ивана Болотникова, обстоятельнее — о том, как Наполеон, придя в Москву, оказался в ловушке, которую устроили ему Кутузов Тарутинским маневром войск, а Денис Давыдов — действиями партизан. И о партизанской борьбе в гражданскую войну... А над тактикой войны в тылу врага надо размышлять с позиций современной военной техники.

— Тоже верно, — согласился Якир. — Вы обязательно познакомьтесь с Ильей Григорьевым — есть у нас такой весьма опытный специалист по подрывному делу. Он очень серьезно занимается тактикой партизанской борьбы.

Чумаков впервые увидел инженера Григорьева, когда вместе с начальником партизанской школы зашел в комнату, где тот проводил занятия. Отдав рапорт начальнику, Григорьев указал Чумакову свободное место за столом, приняв его за нового слушателя школы. Чумаков присел на стул и уже через минуту действительно почувствовал себя учеником. Григорьеву было не больше тридцати. У него волевое лицо

с крупными чертами, спокойные, много видевшие глаза. Он неторопливо рассказывал о разных видах взрывчатки, о капсюлях-детонаторах, замыкателях, фитилях, взрывателях, как о живых существах, со своими особыми характерами, привычками, капризами. Чертил на доске мелом схемы, конструировал на столе мину-малютку. Все казалось очень интересным, простым и верилось, что, возьмись Илья Григорьев делать сейчас мину из ножки табурета, из карандаша или куска мела, сделает тут же.

Потом они познакомились.

Григорьев оказался весьма общительным человеком, одним из тех, с кем уже вторая встреча приносит радость. Покоряли его убежденность в правильности собственных взглядов и умение со спокойной последовательностью отстаивать их. В первой же беседе с Чумаковым он обстоятельно доказал, что в тактике партизанской борьбы главным надо считать взрывы мостов, железных дорог, военно-промышленных сооружений, уничтожение транспортных средств, линий связи, штабов, складов боеприпасов и горючего. Не согласиться с этим было нельзя, и Чумаков, готовясь потом к лекциям, углубленно размышлял, как должны действовать партизаны, осуществляя ту или иную операцию.

Дороги их разошлись неожиданно. Илья Григорьев уехал с группой будущих партизанских командиров на практические занятия, а Чумакова в это время перевели в Московский округ начальником штаба дивизии.

Началась испанская эпопея. Военный советник Иоганн, он же Федор Чумаков, не раз слышал о дерзких налетах республиканских подрывников во главе с неким Рудольфом на тыловые коммуникации фашистов. Они взрывали мосты, пускали под откос воинские эшелоны, нападали на автомобильные колонны. И когда об этом заходила речь, всегда восторженно называли имя Рудольфа.

В один из июльских дней 1937 года под Сарагосой, в седой от пыли и зноя оливковой рощице, где размещался командный пункт стрелкового полка, к Чумакову явился знаменитый Рудольф, чтобы договориться о переходе в тыл врага через линию батальонов группы подрывников. Увидели друг друга и замерли с открытыми от удивления ртами. Перед Чумаковым стоял Илья Григорьев с коричневым от загара лицом, в запятнанном шоферском комбинезоне и выцветшей пилотке.

Первую минуту разговаривали восторженными междометиями, ахали да охали. Радовались встрече, как мальчишки. А потом, когда улеглось возбуждение, наступили тревожные раздумья. Чумаков и Григорьев уже знали об арестах на родине и о том, что осуждены и расстреляны (как враги народа) многие военачальники... Трудно было поверить в это.

Никто еще тогда из простых смертных точно не знал, где правда, а где неправда. Впереди ждала томящая душу неизвестность...

Когда Микофин внес в комнату дымящийся кофейник, Чумаков сказал, продолжая прерванный разговор:

— Думаю, что меня сия чаша миновала только благодаря тому, что я находился в Испании.

— Ерунда! — запальчиво возразил Микофин. — Был бы в чем виноват, не пощадили б и тебя. Можешь мне верить: я два года занимаюсь кадрами и кое-что успел повидать...

Из коридора донесся басовитый телефонный звонок — продолжительный и нервный.

— Дают Ленинград, — уверенно сказал Микофин. — Иди.

Федор Ксенофонтович догадался об этом и сам, ибо так звонят только с междугородной станции. Он торопливо поднялся, загремев стулом,

и широким шагом вышел в коридор. Только снял трубку, как тут же услышал нетерпеливый и приглушенный расстоянием голос Ольги:

— Да, да!.. Квартира слушает!

— Здравствуй, это я. — Федор Ксенофонтович с недовольством покосился на многочисленные, шеренгой выстроившиеся вдоль коридора двери, из которых, будто невзначай, выглядывали любопытные.

— Феденька, здравствуй, милый! Я целый вечер не отхожу от телефона! — затараторила Ольга. — У тебя все в порядке? Я почему-то нервничаю.

— У меня все нормально... Но очень плохи дела Нила Игнатовича. Тяжело болеет... — Федор Ксенофонтович хотел было рассказать о посещении госпиталя, но, расслышав, как заохала, запричитала Ольга, ощутил необъяснимое раздражение и грубовато сказал: — Твои охи ему ничем не помогут! Надо ждать самого плохого. Позвони Софье Вениаминовне, поддержи старенькую.

— Непременно, Феденька, непременно... Ох, боже мой!..

— Слушай дальше!.. Сейчас я выезжаю в Минск, а двадцать второго, в воскресенье, уже буду на месте, в Крашанах... Это небольшой городишко в Западной Белоруссии.

— Не забудь же позвонить, как приедешь!.. Слышишь?

— Слышу! А если не дозвонюсь, передай твоим гостям привет.

— Почему ты сердишься, Федор? — В голосе Ольги просквозила слеза. Не дожидаясь его ответа, она опять заговорила быстро, словно боясь, что он не дослушает: — Не откладывай с нашим переездом! Я уже все продумала, какие вещи отправить багажом, какие взять с собой. Ирина будет готовиться в институт там...

— Ирина дома?

— Ну какой же ты!.. У нее сегодня выпускной вечер!

— А-а, верно... Ну, желаю тебе всего...

— И тебе, Феденька!.. Звони и скорее забирай нас! Целую тебя, милый...

Не дослушав последние слова Ольги, Федор Ксенофонтович повесил трубку и вернулся в комнату, заполнившуюся теплым запахом кофе.

— Поговорил? — спросил Микофин.

— Спасибо, все в норме, — устало ответил Федор Ксенофонтович; он вытер платком влажный затылок и, присаживаясь к столу, придвинул к себе чашку с кофе. — Давай по последней. Стременную, как говорят казаки.

— Стременную так стременную. — Микофин наполнил рюмки и, дружелюбно глядя на своего гостя, прочувствованно изрек: — За твою, Федор, новую судьбу!

— Бойся судьбы тогда, когда она расточает ласки, — с ухмылкой сказал Федор Ксенофонтович и притронулся своей рюмкой к рюмке Микофина.

— К чему это ты? — с удивлением спросил Микофин. — Твоя военная судьба не очень-то щедра. Некоторые наши сокурсники уже армиями командуют.

— Да я так, вообще, — нехотя ответил Федор Ксенофонтович и, взглянув на часы, начал застегивать воротник гимнастерки. — Пора трогаться на вокзал.

— Не торопись, Федя. У подъезда ждет машина, — успокоил Микофин. — Только в машине лишнего не говорить.

— Да обо всем уже переговорили. — Федор Ксенофонтович отхлебнул кофе. — Так ты полагаешь, что не стоит придавать особого значения словам нашего Нила Игнатовича?

— Нил Игнатович анализирует только события, но он не чувствует атмосферы, в которой эти события происходят. — Микофин со значительностью посмотрел на собеседника. — Нам, кадровикам, наверняка сказали б, как надо напутствовать людей, которых отправляем в приграничные части... Подготовка к войне — это не тайная вечеря. Ее не скроешь.

— В том-то и дело, что Гитлер ведет подготовку на глазах у всего мира.

— Значит, не та подготовка и не с теми намерениями, если Генштаб не бьет тревогу.

Взглянув на часы, Чумаков поднялся.

— Поехали. Люблю иметь запас времени...

## 5

Только одни сутки позади, а Ленинград уже казался в далекой временно́й дымке. И уже для генерала Чумакова вторая дорога после Ленинграда. Поезд Москва — Минск набирал скорость.

Все, что услышал Федор Ксенофонтович в Наркомате обороны и в Генштабе, от Нила Игнатовича и от Микофина, — все это рождало гнетущую сумятицу чувств, далеко отодвинув, сделав мелкими и смешными все иные тревоги. Хотелось быстрее вырваться из душного вагона и оказаться близ границы, в штабе корпуса, в незнакомом городишке Крашаны.

Казалось, что там все станет яснее и не будет томить мучительная мысль о том, что большие войны всегда восходят весной.

В Минске, на перроне, Федора Ксенофонтовича ждала приятная неожиданность. Когда он вышел из вагона, к нему подошли высокий худощавый полковник в танкистской форме, с длинным, слегка морщинистым темноватым лицом, и боец в новеньком синем комбинезоне.

— Товарищ генерал Чумаков? — со сдержанной улыбкой спросил полковник, приложив руку к фуражке.

— Да, — с удивлением ответил Федор Ксенофонтович.

— Разрешите представиться, товарищ генерал-майор. Полковник Карпухин!.. Степан Степанович. — И, чуть подавшись к Чумакову, тихо добавил: — Ваш начальник штаба. А это, — кивнул на бойца, — водитель вашей машины красноармеец Манджура.

Манджура покраснел от смущения, но приосанился, лихо откозырял и звонко щелкнул каблуками сапог.

Федор Ксенофонтович с радостью пожал руки полковнику и красноармейцу.

— Как узнали о моем приезде, Степан Степанович?

— Приехал вчера по делам в штаб округа, зашел к кадровикам, а они сказали, — ответил Карпухин. — Вот и решил встретить. А как же иначе?

Шофер, подхватив чемодан генерала, понес его через вокзальное здание к машине, а Чумаков и Карпухин неторопливо пошли вслед за ним.

Федор Ксенофонтович обратил внимание, что на перроне и в вокзале много командиров, сержантов, бойцов.

— Что за великое переселение? — спросил он, с интересом оглядываясь по сторонам.

— В отпуск мчатся, — ответил полковник Карпухин. — До опровержения ТАСС отпуска были отменены, а сейчас разрешили.

У Федора Ксенофонтовича тоскливо заныло сердце: ему вспомнился разговор с профессором Романовым.

Привокзальная площадь встретила веселым перезвоном трамваев, предвоскресной хлопотливостью людей, ярким солнцем, во всю мочь палившим с голубого и чистого неба.

Был субботний день 21 июня, последний мирный день. Но об этом знали с полной определенностью только по ту сторону границы. Даже томившиеся в лесах от напряженного ожидания немецкие диверсанты, заброшенные на нашу территорию в форме командиров Красной Армии, пограничников и работников милиции, точно не ведали, когда наступит этот тяжкий для советских людей час. Они ждали парольного сигнала по рациям.

Попасть на прием к командующему округом с утра генералу Чумакову не удалось, и он, пренебрегая условностями, начал вместе с полковником Карпухиным хлопотать в разных отделах и управлениях штаба о нуждах формирующегося корпуса. А в середине дня опять направился к командующему — генералу армии Павлову.

В приемной Федора Ксенофонтовича встретил щегольски подтянутый, в сверкающих коричневым блеском ремнях порученец. Почтительно, извиняющимся тоном он сообщил генералу Чумакову, что в кабинете командующего находятся на докладе начальник штаба округа генерал-майор Климовских и начальник оперативного отдела генерал-майор Семенов.

— Подождете или прикажете доложить? — спросил у Чумакова.

— Обожду, пока командующий освободится. — Федор Ксенофонтович повесил на стоячую гнутую вешалку фуражку и, окинув безразличным взглядом обширную приемную, расслабленно опустился на стул. Ему хотелось встретиться с генералом армии Павловым один на один, хотелось по всей уставной форме доложить о своем назначении на должность командира механизированного корпуса и посмотреть, как встретит его однокашник по академии и соратник по боям в Испании.

Испания... Тяжелый, удушливый зной, «наступление огнем» — пальба из окопов без передышки, пока не кончались боеприпасы, а со временем куда более серьезные бои, удачи и поражения.

Чумаков, он же военный советник Иоганн, не раз встречал там на разных участках фронта командира танковой бригады Павлова... Всего лишь четыре года прошло с тех пор! Много это или мало, если командир бригады уже успел стать генералом армии, командующим военным округом, и не простым округом, а особым, одним из самых крупных?.. За это время он, Федор Чумаков, переступил только единственную, хотя и нелегкую ступеньку — от полковника до генерал-майора.

Нет, не зависть притронулась к сердцу Федора Ксенофонтовича. Он ощутил тревогу... Ведь не так это просто вчерашнему командиру бригады или даже в недавнюю финскую войну командиру корпуса вдруг увидеть на петлицах своей гимнастерки пять звезд генерала армии!.. Целых пять, хотя уже только две[1] возводят командира в иной, высший ранг, свидетельствующий о его воинской зрелости и огромном опыте, добытых на трудных дорогах многолетней армейской службы. Каждый, кто удостаивается первых генеральских звезд, особенно первых (такова уж природа характера военного человека), будто обновляется душой и телом, приобщается к особенным людям, наделенным высочайшей властью и окруженным глубоким почетом в армии и народе. И такой человек, испытывая бездну радости и гордясь генеральским званием, старается делом

[1] До введения в Советской Армии погон генерал-майоры носили в петлицах по две золотые звездочки. *(Прим. авт.)*

и словом, каждым своим шагом соответствовать этому высокому и почетному званию, памятуя, что оно ко многому обязывает.

Но как же чувствует себя простой смертный, если судьба вдруг с такой стремительностью вознесла его к полному и наивысшему созвездию генеральских отличий, сверх которых уже рукой подать до самой ослепляющей — маршальской звезды, обвитой золотом лавровых листьев? И могут ли эти отличия заменить ему то многое, не выстраданное в нелегкой армейской службе, в напряженных штабных и полевых учениях и в тиши академических аудиторий, где в своей разнообразной совокупности неторопливо постигаются глубины военного опыта, постепенно созревает полководческий талант? Или Дмитрий Григорьевич Павлов отмечен особой одаренностью, позволившей ему в кратчайший срок настолько постичь вершины военного искусства и так подготовить свой характер, что не дурманит ему голову многозвездная высота, на какую вознесся, что уже способен он управлять множеством войсковых организмов, составляющих единую многоликую ратную силу, именуемую военным округом, который на четыреста пятьдесят километров в приграничную ширь и до трехсот километров в глубь Белоруссии раскинул объединенные в три общевойсковые армии десятки дивизий, корпусов и самых различных частей специального назначения?.. Родился ли из отважного командира Павлова полководец Павлов?.. И понимает ли новый генерал армии, что он лично ответствен за боеготовность одного из самых мощных авангардов Красной Армии, заслоняющего собой главные ворота в Советское государство?

Многих подобных выдвиженцев знает Федор Ксенофонтович. Конечно же, это самые подготовленные и волевые командиры. Тут уж ничего не скажешь: немало пришлось приложить усилий, чтобы в армейском многолюдье найти наиболее способных, дабы облечь их высокой властью и возложить на них большую ответственность. Генерал Чумаков не может без улыбки вспоминать, как иные из нежданно-негаданно взлетевших на непомерно высокий пост долго чувствуют себя «не в своей тарелке». Бывает, что поначалу больше размышляют над тем, как лучше внешне соответствовать своему новому положению — изысканностью формы, своеобычной манерой поведения и общения с подчиненными... И подчас проходит немало времени, а человек как бы пребывает при должности, будто играет чужую, плохо отрепетированную роль, благо другие чины службы ревностно исполняют все необходимые функции по ранее установившемуся, затвержденному инструкциями порядку. А вот новому командиру или начальнику сразу возвыситься над должностью, стать ее живой плотью, стать мозговым центром для всех окружающих и с пониманием своей ответственности, без промедления начать делать дело с вызывающей уважение естественностью — на это не у каждого хватает уверенности и разума.

Внимание Федора Ксенофонтовича привлекла лежащая рядом на подоконнике газета, сложенная так, что в глаза бросался заголовок: «Сообщение ТАСС». Взял ее в руки, развернул, пожелтевшую на солнце, сухо шуршащую. Это были «Известия» от 14 июня.

Подавил вздох, стал уже в который раз читать знакомые строки. Сейчас, после разговора с Нилом Игнатовичем Романовым, каждая фраза официального сообщения отдавалась в сердце тоскливой болью.

ТАСС опровергал муссируемые в иностранной печати слухи о «близости войны между СССР и Германией», о том, что Германия будто бы предъявила Советскому Союзу претензии территориального и экономического характера, а Советский Союз в ответ якобы сосредоточивает свои военные силы у границ с Германией. В заявлении ТАСС высказывалось предположение, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропа-

гандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в расширении и развязывании войны. Высказывалось также предположение, что «...происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям...».

Как же человеку, не искушенному в значимости дипломатических межгосударственных демаршей с политическими целями, постичь главнейший смысл происходящего и предугадать, что сулит ему день грядущий?.. Как справиться с непокорно вопрошающей мыслью?.. Неотвязно звучат в памяти слова: «...переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах... связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям...» А фантазия во всем богатстве красок безудержно рисует, как по ту сторону границы, в балках и оврагах, в лесах и перелесках, накапливаются фашистские войска... «...Надо полагать, с другими мотивами...» Глаза еще раз скользнули по газетной строке.

Размышляя над прочитанным и глядя в газету, будто силясь найти там что-то самое главное, Федор Ксенофонтович не заметил, как бесшумно открылась дверь кабинета командующего и из нее с папками в руках вышли генералы Климовских и Семенов.

Климовских, чопорно подтянутый, с приветливым, холеным лицом, увидев уткнувшегося в газету генерала Чумакова, остановился, хотел было подойти к своему старому знакомому, но озабоченный Семенов неуловимым жестом высказал нетерпеливость: мол, ждут дела поважнее, и Климовских, еще раз взглянув на Федора Ксенофонтовича большими темными глазами, зашагал по мягкой ковровой дорожке к выходу. Может, полагал, что поговорит с Чумаковым в другой раз, не ведая, что другого раза уже никогда для него не будет...

Порученец успел побывать в кабинете Павлова, и, выйдя оттуда, сказал Чумакову:

— Командующий приглашает вас.

Федор Ксенофонтович поймал себя на том, что при словах порученца слишком заторопился. И тут же с недовольством мысленно приказал себе: чтоб ни робости, но и ни панибратства — командующий есть командующий.

Вошел в кабинет уверенно и увидел Павлова, поднимающегося из-за стола ему навстречу. Всем своим величественным видом тот будто излучал сияние: лоснилась гладко выбритая, массивная голова, празднично сверкали на груди Золотая Звезда Героя, три ордена Ленина и два ордена Красного Знамени. Павлов вышел на середину кабинета и с доброй улыбкой на жестковатом, с крупными чертами лице широко распахнул для объятия руки.

— Товарищ генерал армии... — начал было Чумаков, но Павлов, притронувшись пальцами к щетинке усов, дружески засмеялся.

— Ну, полноте, Федор Ксенофонтович!.. Знаю, что назначен командиром мехкорпуса. Жду... Рад видеть.

Обнялись, пытливо и дружелюбно посмотрели друг на друга. Федор Ксенофонтович, усаживаясь в предложенное кресло, успел отметить, что в мужиковатости ширококостной фигуры Павлова теперь появилась и некоторая респектабельность — форма сидит на нем ладно, а знаки различия — будто родился с ними.

— Значит, опять судьба-индейка свела старых солдат? — Павлов, сдержанно посмеиваясь, грузновато уселся за стол. — А я увидел твою статью в журнале о механизированных войсках — порадовался. Спраши-

вал у наших, где ты служишь. Никто ничего толком... А потом докладывают приказ о твоем назначении к нам на корпус.

— Извини, Дмитрий Григорьевич, что я прямо к тебе один... Начальника автобронетанкового управления нет...

— О чем разговор! Хоть поговорим без свидетелей... Кого из наших «академиков» или «испанцев» встречал?

— Вчера навещал в госпитале Нила Игнатовича Романова. Тяжко болеет.

— И я слышал, что болеет. — Павлов вздохнул, у его губ легли горькие складки. — Однажды встретил его в Генштабе... Беспокойный старик. На все у него свои собственные концепции, свои исторические аналогии, всех предостерегает...

— Нил Игнатович убежден, что война уже на нашем пороге. Сказал мне: на фронт едешь.

— Так уж и на фронт! — Павлов криво усмехнулся, а Федор Ксенофонтович вспомнил, что и сам он примерно этими же словами ответил профессору.

Помолчали, думая, кажется, об одном и том же. Лицо Павлова сделалось озабоченным, у светлых, посуровевших глаз стали заметнее морщины.

— Обстановка, конечно, напряженная. — Он вздохнул. — Немцы стягивают к нашим границам силы... Уже который месяц не прекращаются провокации. Все стращают нас... Но мы надеемся, что наши дипломаты сделают свое дело.

— А если дипломаты промахнутся?

— Почему же?.. Вот и сообщение ТАСС от четырнадцатого числа. После него немцам политически невыгодно нападать на нас.

— А если нападут?

— Не посмеют! А потом, учти: подготовку к войне против СССР, сроки ее начала никому не скрыть. На то и существуют Генштаб Красной Армии, разведка... От нас же требуется главное: согласно планам обучать людей, вооружаться, переходить на новую технику. Для этого нужно немалое время. И, как требует нарком обороны, не поддаваться на провокации, не давать Германии повода объявить нас перед всем миром агрессором.

Федор Ксенофонтович внимательно слушал Павлова, всматривался в его лицо, пытаясь понять, как глубоко убежден командующий в том, что говорит, есть ли в его словах собственное понимание военно-политической ситуации, собственные выводы, сделанные после взвешивания всех данных, которыми он имеет возможность располагать. Чумакову было приятно, что высокое воинское звание и большой пост не давят на Павлова: он держит себя вполне свободно, судит о положении дел, кажется, с пониманием своей ответственности. Может, испытывает некоторую неловкость, что он вот уже генерал армии, возглавляет округ, а Чумаков так далеко отстал. Но ведь и высоких наград у Павлова сколько! А за каждой из них — ратные дела...

— Скажи, Дмитрий Григорьевич...— Генерал Чумаков чуть подался вперед, словно боясь упустить что-то во взгляде, в выражении лица Павлова. — А ведь можно доукомплектовываться, вооружаться, переходить на новую технику и в то же время держать наличествующие силы в боевом, развернутом состоянии?

— В боевом, но не в развернутом, — сухо ответил Павлов и, задумавшись на мгновение, будто весь потускнел. Потом продолжал: — Когда была получена майская информационная сводка, в которой указывалось, что Германия в течение всего марта и апреля усиленно перебрасывает к нашим границам войска, я с разрешения наркома отдал командующим

армий распоряжение о порядке действий по обороне пограничной полосы на случай чрезвычайных событий. Каждому соединению, каждой части поручена оборона определенных позиций. По тревоге они должны будут немедленно занять эти позиции и стойко удерживать их... Но только по сигналу боевой тревоги, — подчеркнул Павлов. — А начни сейчас выводить войска на рубежи и развертывать окопные работы — немцы тут же зазвонят, что мы собираемся нападать. И учти, это не только моя точка зрения.

— Тогда я чего-то не понимаю. — Чумаков вздохнул и захрустел пальцами. — Я знаком с планом мобилизации и развертывания войск в случае войны.

— Я тоже, как ты понимаешь, знаком, — обидчиво заметил Павлов. — Приказа о вводе плана в действие не поступало.

— Там указывается, — продолжал Чумаков, будто не расслышав последних слов Павлова, — что в случае начала войны расположенные в западных районах войска должны сдержать первый натиск врага, разбить его контрударами и отбросить за линию границы... Так?

— Ну, а как же еще? Наша оборона должна носить активный характер. — Павлов с раздражением посмотрел в лицо Чумакова. — Это значит — контратаковать и опираться на укрепрайоны и линию полевой обороны вдоль границы.

— И в это время, — спросил Чумаков, — должно происходить стратегическое развертывание наших главных сил?

— Совершенно верно... Это азы стратегии!

— Но мы-то разве успеем осуществить прикрытие этого развертывания, если заблаговременно не займем боевые позиции? — Заметив, как при этих словах Павлов нетерпеливо пристукнул рукой по столу, Федор Ксенофонтович добавил: — Ведь немцы действительно сосредоточивают войска вдоль границы.

— Это еще неизвестно, с какой целью они их сосредоточивают. — Павлов перевел взгляд на стену, где распласталась огромная карта Белоруссии, подумал и, посмотрев на Чумакова, сказал: — Но дело даже не в этом. Вот приедешь в свой корпус, все увидишь сам... Тебе известна задача корпуса согласно плану прикрытия?

— В общих чертах.

— Сейчас у нас все в общих чертах. — Павлов еще больше посуровел. — Твой механизированный корпус в случае начала военных действий должен развернуться во втором эшелоне армии, которая своими главными силами, находясь в первом эшелоне округа, будет прикрывать свой участок границы. Так?

— Так.

— А какие силы ты будешь развертывать? Твой корпус только формируется. Его танковые дивизии укомплектуются новыми танками, в лучшем случае, в течение этого года. В корпусе больше половины красноармейцев первого года службы. Артиллерийские части получили пушки и гаубицы, а снарядами еще не обеспечены. Тягачей же совсем нет... Автомобильный парк пока настолько мал, что способен поднять не более четверти личного состава... Я уже не говорю, какого еще вооружения и техники не хватает... Округ в целом только на полдороге к боеготовности: укрепрайоны в стадии строительства, авиация в должной мере не обеспечена ни новыми самолетами, ни полевыми аэродромами для рассредоточения. Все это там... известно. Но в случае чего воевать будем!.. Есть боеспособные дивизии!

Зазвонил один из телефонов, и Павлов порывисто снял трубку.

— Да, слушаю!..

Докладывали из штаба 10-й армии о вторжении немецкого самолета в наше воздушное пространство, о передвижениях войск по ту сторону границы, о захваченном диверсанте.

— Ясно... Ясно... Слышал!.. Не у вас первых! — Павлов недовольно хмурил брови. — Выдержки больше!.. Больше выдержки!

Когда он положил трубку, Федор Ксенофонтович спросил у него:

— Я не очень затрудню, если попрошу связаться с Москвой, с маршалом Шапошниковым?

— Борис Михайлович будет о чем-то хлопотать для тебя? — насторожился Павлов.

— Нет. — Чумаков усмехнулся. — Маршал просил меня позвонить... по одному вопросу.

Не прошло и минуты, как Наркомат обороны был на проводе. Маршала Шапошникова в своем кабинете не оказалось. «Поехал в госпиталь навестить больного», — доложил дежурный по его приемной.

Федор Ксенофонтович досадливо вздохнул. Разговор с Павловым тоже нарушился. Командующий округом молчал, глядя на Чумакова отсутствующим взглядом. Затем едко усмехнулся какой-то своей мысли и спросил:

— Ты, Федор Ксенофонтович, когда-нибудь сидел голым... на раскаленной сковородке?

— Слава богу, не приходилось. — Чумаков засмеялся.

— А мое кресло сейчас напоминает эту самую сковородку. — Павлов поднялся и протянул для прощания руку.

## 6

Нил Игнатович лежал на спине, уставив неподвижные глаза в потолок. Но сквозь стекла пенсне потолка не видел, а только туманную белизну, в которой расплывался верхний край высившейся над его койкой стены. Зеленый плафон посреди потолка виделся тоже размытым пятном в подсиненной белой мари. Туманная белизна, кажется, окутала и самого Нила Игнатовича, навевая дремотное безразличие. В нем брезжило слабое желание снять пенсне, чтобы взгляд его старых, дальнозорких глаз ощутил реальность линий, очертивших потолок и мягкую зелень плафона. Но все медлил подтянуть к лицу руку, словно для этого не хватало сил или не хотел потревожить лежавшую на груди газету и ее шорохом нарушить убаюкивающую тишину. Нилу Игнатовичу мнилось, что и сам он размыт в этой надвинувшейся на него белизне, что тело его растаяло в печальной старческой утомленности, которая залегла где-то возле головы, источая чуть внятный звон. А в глубине этого зыбко плывущего звона вяло и нестройно ворочались его мысли и одна за другой будто бы лениво струились сквозь стекла пенсне в белое марево потолка вместе с его взглядом.

Странное и тягостное это состояние, когда ты наедине со своим одиночеством и со своей старостью...

И вдруг Нил Игнатович с тоской подумал о том, что вот так, в подкравшейся дреме, незаметно улетучится и угаснет в безмолвии какая-то, может, самая главная, еще державшая его на белом свете мысль и он уже никогда не вернется из небытия. От этого в груди шевельнулся холод, возвратив ему ощущение телесности. Нил Игнатович с испуганной торопливостью поднес руку к лицу и снял пенсне.

Палата сразу же обрела знакомые очертания. В потолочных углах над окном сгустились тени, а в распахнутом окне с раздвинутыми занавесками вновь появились верхушки деревьев, облитые горячим солнцем.

Нил Игнатович повернулся на бок и переложил с койки на стул газету. Совсем недавно на этом стуле смиренно сидела его старенькая жена Софья Вениаминовна. Будто уловил тонкий запах французских духов «Коти» и увидел диковинный флакон, хранящийся дома с незапамятных времен. И услышал ее голос, сделавшийся к старости почти детским... Ага! Вот она, главная мысль! Софья сказала, что опять звонил Борис Михайлович Шапошников и обещал сегодня же навестить его в госпитале... Не забывает маршал своего старого учителя. А ведь дел и забот у него бездонная пропасть. Милейший Борис Михайлович! На всех у него хватает доброты в сердце... Светлая голова... Не многие, наверно, так понимают военную стратегию и оперативное искусство — через характер эпохи и уровень общественной мысли... А что касается истории, то он умеет всматриваться в нее, как в бессмертные глаза человечества...

Потом Софья Вениаминовна, теребя сухими пальцами полуоторванную пуговицу белого халата, накинутого на узкие плечи, говорила ему что-то будничное и незначительное, пряча в потускневших глазах скорбь и смирение. Нил Игнатович был благодарен ей за то, что она не старалась вселять в него надежду на выздоровление, но и не давала воли своей печали. Расспрашивала, о чем вчера рассказывал ему Федор Ксенофонтович Чумаков, говорил ли, где будет учиться его дочка Ирина. Нилу Игнатовичу вспомнилось, что Софья заговорила об Ирине уже не впервые, и только сейчас понял, что ей хотелось узнать, как он отнесется к тому, если Ирина вдруг поступит в какой-нибудь московский институт, будет жить у них... Теперь у нее, Софьи... А ему, наверное, нет возврата домой. Останется Софья одна... Был еще сын Толя, да не вернулся с финской войны...

Финская война кровоточит страшной раной в сердце Нила Игнатовича. Толя... Капитан Анатолий Нилович Романов погиб еще при штурме линии Маннергейма. Была у Толи жена, красивая Зина, но уже через год после гибели мужа успела обзавестись новой семьей, и Нил Игнатович вспоминать о ней не любит, полагая, что скороспелое второе замужество Зины оскорбляет память о его сыне и изобличает мелкость ее души.

Думать о Толе тяжело... Вынянчил его с пеленок, дорожил им, как бесценным сокровищем, в которое вкладывал все доброе, чему научила его жизнь, что постиг в собственных исканиях, сомнениях, заблуждениях. Толя стал зеркалом его совести, мерилом его понимания устремлений нового поколения.

Воспоминания о сыне подкатили к сердцу всегда пугающую горячую боль. И не унять ее никакими лекарствами. Скорбь не внемлет рассудку. А скорбь — матерь всякой сердечной боли... Начал гасить ее силой разума, напряженным размышлением о несоизмеримости судьбы человека как личности и судьбы огромной державы, объединяющей миллионы судеб и предопределяющей пути в будущее, по которым пойдет человечество.

Но, конечно же, сын Анатолий, его гордость и надежда, мог бы остаться в живых, если б не эта война с Финляндией. Но ее нельзя было избежать, поскольку она была запланирована империалистическим миром против мира коммунизма, — это Нил Игнатович хорошо знает, как и знает, какая опасность таилась в ней для Советского Союза.

И Нил Игнатович погружается в размышления над тем, что и как было, а перед глазами уже не белый потолок, а контуры материков, морей и океанов, с причудливыми линиями межгосударственных границ.

Вот она, Финляндия, загадочная страна лесов и озер. Что тебя, северная суровая соседка, получившая независимость из рук Ленина, толкает к нашим недругам и влечет в пучину раздоров? Нил Игнатович видит, как из Хельсинки тянутся нити связей в Лондон и Париж, Берлин

и Вашингтон... Вот английский генерал Кэрк, знаменитый военный практик и теоретик, хозяйничает в финском генеральном штабе, поучая финских генералов и офицеров, как на английский манер реорганизовать финскую армию, как вдоль границы с Россией подготовить плацдарм для нападения на нее... И вот в казначейство Финляндии течет золото из банков Англии, Франции, Германии, Швеции, США. Это золото должно превратиться в неприступный вал железобетонных и гранитных сооружений, пересекающий Карельский перешеек, в аэродромы, в ведущие к советским границам дороги... Нил Игнатович видит на потолочной карте, как тело Финляндии покрывается лишаями аэродромов. Сорок военных аэродромов при всего лишь двухстах семидесяти самолетах!.. Над Ленинградом грозно изогнулась трехполосная девяностокилометровой глубины линия Маннергейма...

В Европе бушует война, угрожая еще многим государствам и менее пока Советскому Союзу, подписавшему пакт о ненападении с Германией. А в столицах главных мировых держав озабочены тем, чтобы поскорее повернуть войну в сторону СССР. И в Финляндию зачастили иностранные военные министры и начальники генеральных штабов. Только накануне советско-финского конфликта там побывали генерал Кэрк, уже ставший главнокомандующим английской армией, военный министр Швеции Шельд, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал Гальдер... А сколько всяких военных «миссий» и специальных посланцев! И у всех одна тайная, но неотложнейшая задача — столкнуть Финляндию с Советским Союзом, разжечь на севере очаг войны, чтобы затем объединенными усилиями раздуть его в огромный пожар, в котором должно погибнуть Советское государство. Эта война, по замыслам Лондона, Парижа и Вашингтона, должна была смешать планы Гитлера на Западе и сделать его сообщником в походе против красной России.

А советское руководство взывало к разуму Финляндии. Велись переговоры, чтобы принять меры для обоюдной безопасности. И был бы жив Толя... капитан Романов. Сидел бы сейчас у его изголовья, и ему, Нилу Игнатовичу, куда легче было бы умирать, оставляя на белом свете частицу своего сердца, продолжателя своей фамилии... Но все случилось поиному. У истории свои превратности. Реакционные правители Финляндии Каяндер, Эркко, Таннер, Маннергейм не захотели внять голосу разума. Не уклоняясь от переговоров, они провели всеобщую мобилизацию и развернули свои войска на границе с СССР. Их замысел был прост: отказав Советскому Союзу во всех его предложениях, быстрее спровоцировать войну и сковать главные силы Красной Армии на линии Маннергейма до подхода союзных войск, а затем превосходящими силами перенести военные действия на советскую территорию.

Не многие понимают, какая беда висела тогда над нами. Не многие еще имеют возможность оценить решительность Советского правительства, когда в тайном нарастании событий близилась трагическая кульминация. Пройдут десятилетия, и иные историки и мемуаристы Запада будут лить слезы по поводу того, что Красная Армия обрушила невиданной силы удар на «маленькую Финляндию» и будут блудливо отводить глаза от фактов, свидетельствующих, какую щедрую помощь военной техникой и снаряжением получала Финляндия от Англии, Франции, США, Швеции, Норвегии, Италии, Германии... Будут стыдливо умалчивать и о том, что тот удар Красной Армии по могучей линии маршала Маннергейма был сокрушающим ударом по воплощенной в ней силе великих покровителей Финляндии, которые, надеясь на неприступность чудо-линии, деловито готовились к «горячей» антисоветской весне 1940 года.

Свежо все это в возбужденной памяти Нила Игнатовича. Сердце еще не забыло о тревоге, которую испытал он, когда в Генштабе познакомил-

ся с информацией оттуда... Уже шла финская война — тяжелая война, с немалыми потерями... И стало известно, что 19 декабря 1939 года высший военный совет союзников — Англии и Франции — принял решение о нападении на Советский Союз; к 16 января 1940 года разработка плана нападения была завершена.

Снова четко проступает на потолке, будто на фотографической бумаге в проявителе, карта. Нил Игнатович видит, как оживают на ней синие стрелы с остро отточенными наконечниками; взяв начало в глубинах Англии и Франции, они пересекают Северное море, Норвегию, Швецию и хищно устремляются через Финляндию к советским границам... Именно так планировалось перебросить английские и французские войска для войны с СССР.

Вторжению на территорию Советского Союза с севера должно было сопутствовать нападение с юга — со стороны Балкан и Ближнего Востока. Эту южную операцию французское правительство поручило готовить генералу Гамелену и адмиралу Дарлану. В Черное море должна была войти англо-французская эскадра и нанести удары по советскому побережью. Предполагалось и то, что в помощь Франции должны были выставить ни много ни мало, а целых сто дивизий Югославия, Румыния, Греция и Турция! Маршал авиации Митчел, командующий английскими воздушными силами на Ближнем Востоке, получил от своего правительства указания о нанесении ударов по Баку и Батуми...

Перспектива грядущей войны поставила перед Советским правительством задачу невероятной сложности. На Политбюро приглашались полководцы, дипломаты, историки. Во что бы то ни стало надо было избежать столкновения с объединенными силами капиталистического мира.

Из глубокого анализа обстановки выкристаллизовывался единственно правильный выход: как можно скорее поставить Финляндию перед необходимостью заключения мирного договора с Советским Союзом. До весны военный конфликт должен быть исчерпан...

Но война в заснеженных лесах Карело-Финского театра оказалась строгим и бескомпромиссным экзаменом. Пришлось жестоко расплачиваться за пробелы в выучке войск и штабов, за недостаток опыта у многих командиров соединений, назначенных на эти посты только накануне войны, за неувязки в снабжении фронта и в работе автомобильно-дорожной службы.

И все-таки Красная Армия сделала, казалось, невозможное. В условиях суровейшей зимы и глухого бездорожья линия Маннергейма была сокрушена. Противник был охвачен железными клещами в районах Выборга, Кексгольма и Сортавалы. Путь в центральную часть Финляндии и к ее столице был открыт. Финское правительство согласилось на предложение СССР о мирных переговорах.

Начавшиеся 1 марта 1940 года переговоры привели в ярость покровителей Финляндии. Англия и Франция почти в ультимативной форме потребовали от Таннера немедленно обратиться к ним с просьбой о вооруженной помощи. В финско-советских переговорах появились тревожные паузы. Но уже не было никаких пауз на фронте: Красная Армия продолжала наступать, поставив финскую армию на грань катастрофы. И финскому правительству ничего не оставалось, как подписать договор и приказать своим войскам прекратить огонь; была бита главная козырная карта, на которую, затевая опасную игру, надеялись сильные мира капитализма.

Но и после того как был потушен очаг войны на севере, великие державы Запада не отказались от задуманного. Весь март командование английской и французской армий уточняло детали предстоящих военных действий против Советского Союза. В апреле французское правительство

трижды заслушивало доклад генерала Вейгана о готовности к нападению на СССР. И срок нападения был намечен: на конец июня или начало июля. Влекла наших недругов заманчивая надежда, что и нацеленный на Францию удар Германии будет тоже перемещен на Восток...

А Советское правительство, заключив пакт с Германией, продолжало высветливать в тайных потемках межгосударственных отношений путь для своей страны, для своего народа, надеясь выиграть время, чтобы подготовиться к грядущим битвам, если они будут навязаны.

Но как определить на этом пути роковые столбы, отделяющие мир от войны?..

Картины недалекого прошлого и размышления о нем утомили Нила Игнатовича. Он, словно сделав какую-то неотложную, трудную работу, закрыл глаза и опять почувствовал себя бестелесным, куда-то плывущим среди мрака и тихого звона. Ему казалось, что он еще чего-то не додумал, чего-то не выполнил, но уже не мог сосредоточить свои ставшие непослушными мысли: они ускользали, растворялись или дразнили издалека — недосягаемые, округло-неухватистые. Попытки угнаться за какой-то очень нужной мыслью еще больше утомляли его, и он покорился своему бессилию...

Проснулся Нил Игнатович от ощущения странной неловкости и смутного беспокойства. Сквозь щели глаз увидел белый халат, облегавший чье-то крупное тело. Открыл глаза и узнал маршала Шапошникова. Борис Михайлович, ссутулившись, сидел рядом на стуле и смотрел на Нила Игнатовича с грустной задумчивостью.

— Ох ты боже мой! — Нил Игнатович слабо вскинулся, нащупывая немощной рукой пенсне на простыне. — Генерал-майор спит, аки неразумный младенец, а маршал сидит возле него и караулит!..

Борис Михайлович скорбно улыбнулся одними уголками губ и погладил исхудалую руку профессора.

— Ну, здравствуйте, батенька мой... Какой же я для вас маршал? Это вы для меня генералиссимус науки.

Не в такие уж далекие дореволюционные годы, когда Шапошников учился в академии Генерального штаба русской армии, Нил Игнатович Романов вел там курс военной истории; потом Романов преподавал в академии имени Фрунзе, которую несколько лет возглавлял Борис Михайлович, где их и сблизила общая борьба против всякого рода вульгаризаторства в теории и практике военного дела, упрощенчества в толковании стратегии и оперативного искусства.

— Не прибедняйтесь, Борис Михайлович. — Нил Игнатович с искренним почтением взглянул на маршала. — Я из леса военной истории так и не выбрался, а вы, постигнув океан знаний, стали истинным жрецом стратегии. Помню, как вы планировали бросок наших армий на помощь Чехословакии, а потом план помощи Франции на случай нападения на нее Гитлера. Превосходно!..

— Какой толк от этих планов?.. — Шапошников вздохнул и нахмурился. — Не понадобились... А было время, когда имелась возможность раздавить Гитлера... Не захотели Англия и Франция. У них другие цели... Вот и пожинаем плоды — вначале они, а теперь наш черед...

При этих словах Нил Игнатович положил руку на колено Бориса Михайловича и посмотрел в его лицо.

— Когда? — после напряженной паузы спросил он. — Если, конечно, не секрет.

— Какой там секрет, тем более от вас. — Но маршал непроизвольно оглянулся на дверь. — Доносили о многих сроках... Теперь ждем завтра.

— Я так и знал, двадцать второе июня... — Нил Игнатович задумчиво посмотрел в потолок. — Гитлер хочет переплюнуть Наполеона...

В этот день в восемьсот двенадцатом Наполеон пересек Неман... Но помнит ли Гитлер, что через три года в тот же самый день Наполеон отрекся от престола?..

— Любопытно... — Борис Михайлович покачал головой.

— И заметьте, — Нил Игнатович снова повернул голову к маршалу, — в прошлом году именно двадцать второго июня капитулировала Франция и было подписано Компьенское перемирие. Односторонне верит Гитлер в судьбу. Ну как, милый мой маршал, выстоим?

— Выстоим... — В тихом голосе Бориса Михайловича зазвучало что-то трагическое. — Выстоим, если иметь в виду потенциальные возможности.

— А если их не учитывать?..

— Что вы, батенька мой? — Шапошников вяло засмеялся. — От вас такого вопроса не ожидал.

— Почему же?.. У Франции тоже были немалые возможности...

— А-а, вы о стратегической инициативе?.. Мы не Франция. И потом, вторая мировая война уже сколько длится? — Борис Михайлович отвел взгляд, подсчитывая. — Без малого двадцать два месяца. Все это время мы готовимся не вообще, а в предвидении прямой агрессии против нас. Сделали очень много! Я имею в виду подготовку военно-экономического потенциала, увеличение армии, подготовку новых командных кадров, разработку современных образцов оружия и техники. Но есть предел всяким возможностям. — Борис Михайлович горестно развел руками и продолжил: — Мобилизационный план перестройки промышленности на случай войны, который мы приняли, рассчитан на вторую половину этого и на весь будущий год. А события нас опережают... Базу для производства новейшего вооружения создали, а наладить само производство еще не успели... Только-только начали выпуск новых танков, новых самолетов, новых образцов артиллерии. Да еще затянули инженерно-оборонительные работы в предполье, за которые я теперь в ответе. Границы ведь отодвинулись... Не закончили комплектование соединений в приграничных округах... И головотяпства немало. Правительство и ЦК приняли уйму важных решений, направленных на укрепление нашей военной мощи. Мы эти решения восторженно приветствуем со всевозможных трибун, а дело делаем не всегда быстро и хорошо.

— А армия небось горючими слезами плачет по новому оружию, — с укоризной заметил Нил Игнатович.

— В том-то и дело!.. Или возьмите проблему старших и высших командиров... Ее быстро не разрешишь.

— Ох, дорогой Борис Михайлович, это еще вопрос, какая проблема является проблемой...— Профессор Романов чуть оживился, в глазах его мелькнула и тут же растаяла тень упрека. — Очень страшно, особенно в канун неизбежной войны, когда на постах главных военачальников, ну, пусть не на всех, могли оказаться или прямые враги — предатели нашего дела, мнящие о другом лике жизни и прельщаемые надеждами на еще большую власть, или просто люди без достатка ума, без чувства долга, снедаемые гигантским самомнением...

— Все это верно, батенька мой. — Маршал вздохнул и устремил невидящий взгляд в окно, на верхушки деревьев. — Давно известно, что высокие места делают ничтожных людей еще ничтожнее, а великих — еще более великими. Но, отделяя ничтожных от великих, надо пуще всего бояться ошибок... Ведь мы с вами, малые ли, великие ли, но все-таки бывшие царские, могли тоже показаться ничтожными... Уцелели... А скольких достойных людей не миновала горькая чаша сия!.. Слава богу, что опомнились и уже с тридцать восьмого начали исправлять трагические ошибки.

— Да, в той ситуации ошибиться в человеке — значило перечеркнуть его судьбу. — Нил Игнатович вздохнул. — А виноватым — поделом. Виноватые ведь тоже были, как было «шахтинское дело», предательство Троцкого и Бухарина, убийство Кирова... И трагедия безвинных берет начало в виновности виноватых... Однако виновность виноватых никогда не оправдает трагедию безвинных... Но история уже не раз свидетельствовала о непостоянстве обращенных в прошлое суждений и оценок... История знает и такие примеры, когда во времена всеобщего высокого верования иные люди меняли свои воззрения; однако же в века сомнений каждый держался своей веры... Страшно, когда те, которые меняют или склонны менять свои верования, вдруг берут верх над постоянно верующими. Не дай вам бог дожить до такого.— Последние слова Нил Игнатович сказал протяжно, словно простонав. — Раньше утверждали, что вера есть смирение разума. На самом же деле вера — это сила рода человеческого и залог его бессмертия... Но мы уклонились... Это, кажется, не тот случай, когда могут позабыть об истоках зла и о тех, кто так широко расплескал его. Ведь никакая сталь никаких сейфов не устоит перед стремлением человечества к правде. Правда имеет обыкновение подниматься даже из пепла. Рано или поздно она скажет, кто виноват, а кто невиновен, а также направит указующий перст на тех, кто по злой ли воле, в чаду ли безумия или тяжких заблуждений повинен в трагедии невинных.

Нил Игнатович умолк, закрыл глаза и будто стал прислушиваться к отголоску своих растворившихся в тишине слов. А Борис Михайлович с тоскливой грустью смотрел на его строгое и неподвижно-мертвенное лицо.

— Что-то мы с вами увлеклись сложными анализами, Нил Игнатович, — сказал маршал после затянувшейся паузы, и в его словах прозвучало желание сменить тему разговора. — Вы так меня атаковали вопросами, что я не успел спросить, как вы себя чувствуете.

— Спасибо, голубчик. Чувствую, как должен чувствовать. — Нил Игнатович подавил вздох. — Но человек так создан, что ничто не мешает ему постигать истину. Даже страдания... Я так понял, что Гитлер упредил нас в развертывании сил. А мы?

— Мы? — переспросил Борис Михайлович. — Нам пока приказано не давать повода для агрессии в надежде оттянуть ее начало. Но меры все-таки принимаем. Скрытно выдвигаем из глубин страны пять армий: Ремезова, Ершакова, Конева...

— Герасименко и Лукина, — продолжил перечень Нил Игнатович.— Об этом я знаю. Знаю и о развертывании управлений двух фронтов, о приведении в боевое состояние флотов... А что делается там, в приграничных округах? Я же помню, голубчик, как вы с Жуковым настаивали держать главные силы в районах старых границ, а к новым границам предлагали выдвинуть части прикрытия для обеспечения развертывания главных сил в случае нападения...

— Не согласились с нами. — Борис Михайлович прерывисто вздохнул.

— Не согласились...— горестно повторил Нил Игнатович. — Не согласились с такими светлыми головами...

— Нил Игнатович, зачем вы так?..

— Я, голубчик, имею право на все. — Профессор Романов улыбнулся жалкой, почти детской улыбкой, в глазах его промелькнуло снисходительное упрямство. — Война подтвердит нашу с вами правду...

— Лучше бы не подтверждала. — Маршал сокрушенно махнул рукой. — Поэтому стараемся хоть исподволь улучшать в приграничных округах группировки. Ну, и надеемся на рассудительность командующих

округами и командармов. Они, надо полагать, понимают, что армия для того и существует, чтобы быть в постоянной боевой готовности. А тем более когда со стороны границы дышит грозой.

В коридоре вдруг послышался приближающийся глухой топот. У дверей шаги замерли, и тотчас же раздался тихий стук. Вошел дежурный по госпиталю — молоденький военврач в полевой форме под белым халатом и с противогазом через плечо.

— Товарищ Маршал Советского Союза! — срывающимся голосом обратился он. — Вас срочно просят к телефону!..

Борис Михайлович поднялся со стула и с неуверенностью сказал:

— Я постараюсь вернуться, Нил Игнатович.

— Не надо, голубчик... У тебя дела, — грустно ответил профессор.— И я устал... Прощай...

Когда за маршалом Шапошниковым закрылась дверь, Нил Игнатович напряг слух, чтобы по его шагам определить, спокойно ли идет маршал к телефону. Но шагов не расслышал, будто там, за порогом госпитальной палаты, разверзлась пустота. Он вдруг явственно ощутил эту пустоту, наполненную тихим звоном, только уже не за дверью, а вокруг себя, ощутил бездну, среди которой куда-то плыла, чуть покачиваясь, его невесомая койка с его невесомым телом. Он вслушался в необыкновенную легкость своего тела и, подивившись столь необычному состоянию, хотел придержать на себе простыню, чтоб она не соскользнула куда-то в пустоту. Но не ощутил ни своих рук, ни своего тела.

«Вот оно, пришло», — с отчетливой ясностью, спокойно подумал он.

Профессор Романов умирал от старости, от изношенности организма, он это понимал и относился к смерти без страха и смятения. Сейчас ему стало ясно, что он уже мертв, что продолжает еще пока жить его мозг, растрачивая последнюю энергию на осознание того, что с ним происходит... Вдруг он почувствовал, как шевельнулось в груди сердце и будто растаяло. «Неужели еще не конец?» Вскоре сердце шевельнулось опять — медлительно, без натуги... И затихло на пол-ударе... Нил Игнатович затаил дыхание, чтобы прислушаться к своему сердцу, а когда через какие-то мгновения попытался перевести вздох, легкие не послушались его, будто из палаты исчез воздух...

Была еще суббота, 21 июня 1941 года...

## 7

«С чего же все началось?..» — задал сам себе вопрос генерал Чумаков.

Привычка искать несколько отвлеченные подступы к проблеме, которой занята его мысль, осталась у Федора Ксенофонтовича со времен бдений над академическими программами. Сейчас Чумаков сидел на скамеечке под сенью клена во дворе штаба округа и размышлял. За решетчатыми воротами на солнцепеке он видел свою эмку, возле которой возился перед дальней дорогой в Крашаны красноармеец Манджура. Полковник Карпухин еще где-то бегал по отделам штаба, утрясая и согласовывая многочисленные вопросы, связанные с укомплектованием корпуса личным составом, расквартированием частей, снабжением... И Чумакову ничего не оставалось, как терпеливо коротать время в размышлениях, ибо, если говорить по чести, он сам тоже должен был заниматься этими важными делами, но вникнуть в них еще не успел.

Недавняя беседа с генералом армии Павловым натолкнула его на мысль о том, что свое знакомство с работниками штаба корпуса, а возможно, и командирами частей он начнет с доклада. Именно с самого

элементарного доклада о том, что такое фашистская Германия, почему сейчас с ее стороны нависла военная угроза. Конечно, проще простого напоминать о боеготовности приказами и требовательностью. Но совсем другое дело, когда люди будут глубинно понимать, что война действительно неизбежна, будут видеть истоки этой неизбежности. Да, он сделает доклад. Инструктивный. Пусть затем командиры повторят его перед своими подчиненными.

Федор Ксенофонтович достал из планшетки тетрадь, выдернул из кожаного гнезда карандаш и, набрасывая тезисы, словно окунулся в мир давно отшумевших событий, звучавших в его памяти после академии свежо, картинно и рельефно, хотя на чистую бумагу ложились только краткие заметки.

Оглянулся на тот этап первой мировой войны, когда стенания измученных народов стали заглушать гром пушек, а революционный шторм — сотрясать троны правительств. Это привело к тому, что в ноябре 1918 года в Компьенском лесу, под Парижем, в вагоне главнокомандующего союзными вооруженными силами маршала Фоша, было подписано перемирие между Германией и союзными державами.

А в июне 1919 года мир узнал о Версальском договоре, согласно которому Германия лишалась всех колоний.

После Версаля вспыхивали жестокие дебаты в парламентах государств, которые считали себя обделенными. Спешно создавался на границах с Советской Россией «санитарный кордон» из малых стран с реакционными правительствами.

Итак, Версальская система явилась причиной нового раздора.

«Что же потом? — задумался Чумаков. — Потом капиталистический мир был захлестнут общим кризисом — таков результат первой мировой войны и победы Великого Октября».

Потерпевшая крушение Германия, а также обиженные при дележе военной добычи Италия и Япония начали требовать нового передела мира. Старые же колониальные державы — Англия и Франция — и наиболее молодая, но могучая капиталистическая страна — США не только не собирались потесниться, а и сами были не прочь прихватить новые территории. Завязывалась ожесточенная тяжба за мировое господство.

А рядом вставало на ноги Советское государство. Буржуазный мир с особой силой почувствовал, что он давным-давно хромает на оба колена и никогда не был царством разума и свободы. А большевизм, вознесясь над планетой, все больше разжигал зовущее пламя неугасимого духа свободы и с героическим непокорством дерзостно утверждал начало новых начал.

Это был еще не виданный историей вызов старому миру, миру, который готов был служить богу и Мамоне, лишь бы леденящий вихрь революции не нарушал его мнимого благополучия. Старому миру чудилось, что большевики без разбора крушат верования, обретенные человечеством в тысячелетних исканиях, уничтожают религию с ее вечной скорбью и надеждами на откровения, с ее символами, олицетворяющими все прошлое.

Столько великих мыслителей всех времен посвятили свою жизнь созданию миропонимания, священных законов бытия и собственности, а теперь в России поднялась в сумерках безумия чернь, чтобы разрушить все, не дав взамен ничего.

Старый мир не мог с этим мириться. Надо было удушить Россию, пылавшую в огне гражданской войны...

Федор Ксенофонтович вдруг почувствовал, что мысль его застопорилась. Он взглянул в сторону решетчатых ворот и увидел красноармей-

ца Манджуру, который напряженно смотрел на него, не решаясь побеспокоить.

— Вы что-то хотите сказать?

Манджура вытянулся и, печатая шаг, подошел ближе. Вскинув правую руку к пилотке и прищелкнув каблуками, со смущением попросил:

— Товарищ генерал, разрешите пойти пообедать!.. А то ехать далеко.

— Конечно, пообедайте. — Федор Ксенофонтович с упреком подумал о полковнике Карпухине, который должен был позаботиться о шофере.— Куда вы пойдете?

— Столовая тут рядом.

— А деньги у вас есть?

— Есть, товарищ генерал.

Манджура ушел. Федор Ксенофонтович снова окунулся в прошлое.

Шло время, утверждая правду и разоблачая ложь. Могучий пресс истории с жестокой закономерностью до рокового предела сжимал пружины социальных противоречий старого мира. Над Европой стала восходить черная планета новой войны. Дельцы и политики в высоких рангах государственных деятелей молебственно воздевали к черной планете руки, алчно указуя перстами на Восток.

Притязания лишили сна многих правителей: они без устали размышляли и рассуждали о желаемых приобретениях, не заботясь о том, что грядут потери. Иные с притворной восторженностью протягивали друг другу руку, пряча за спиной отравленный кинжал. По произволу деспотов утверждались дурные законы. Продажность и алчность развращали целые государства.

Таковы, в общем, краски, которые история спешно наносила на гнилое полотно диорамы межгосударственных взаимоотношений в буржуазном мире.

О Германия! Поверженная в первую мировую войну, она уже тогда носила в своем растерзанном теле бациллы реваншистского брожения...

— Нет-нет, надо ехать только на озера! — услышал невдалеке от себя Федор Ксенофонтович. — Ни на Свислочи, ни на Птичи не клюет!

Он оглянулся и увидел в тени под соседним кленом дымивших папиросами командиров и понял, что разговор у них идет о завтрашней рыбалке.

— Ох, братцы, а на Нароче что делается! — оживленно начал рассказывать майор с медным от загара лицом. — Судак свирепствует! В прошлое воскресенье меня чуть кондрашка не хватила: это же ужас! Никакая леска не выдерживает!

— До Нароча далеко, — спокойно заметил высокий и длиннорукий старший политрук в кавалерийской форме. — Треба, хлопцы, базироваться на лесных бочагах.

Кто-то из рыбаков заметил незнакомого генерала, и они, переморгнувшись, отошли, к огорчению Чумакова, подальше. Федор Ксенофонтович тоже любил побаловаться рыбалкой, и ему было интересно узнать, какие же здесь виды на рыбную ловлю. Напряг слух, даже подвинулся на край скамейки, но теперь до него доносилось только бормотание — то приглушенное, то временами возвышавшееся, и он вдруг уловил в слившемся воедино течении мужских голосов какой-то ритм, а еще через мгновение сквозь этот ритм пробилась мелодия, будто рыбаки закрытыми ртами гундосили, повторяя одну и ту же знакомую песенную строку: «Калинка, калинка, калинка моя...» И опять: «Калинка, калинка, калинка моя...»

«Калинка» вдруг замерла: командиры, бросая в урну окурки, потянулись друг за другом со двора.

«Устал я», — подумал Федор Ксенофонтович и вспомнил комнатку в академическом общежитии, в которой ютились они когда-то с Ольгой. Вот там, в пору многочасовых сидений над книгами перед экзаменами, он и заметил за собой эту странность — улавливать в человеческих голосах музыку. Однажды Федор Ксенофонтович корпел, кажется, над схемой сражения при Гросс Эгерсдорфе, когда в Семилетней войне, в кампании 1757 года, русская армия преподнесла первый хороший урок Фридриху Второму. Чертил расположение русских и прусских войск, размышлял о том, как оформлялась и развивалась линейная тактика. Рядом на диване сидела, вышивая, Ольга. Видя, что он работает только карандашом и линейкой, она о чем-то начала рассказывать, а он, занятый своим, никак не мог вникнуть в смысл ее слов, хотя милый голос Оли журчал безумолчно. И вдруг его слуха коснулась песня! Он явственно различил, как говорок жены выливается в прозрачное сопрано и будто где-то рядом начали выбивать серебряные молоточки:

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...

Пораженный Федор Ксенофонтович усмехнулся про себя и отложил карандаш, полагая, что дозанимался до галлюцинации. А в неумолчном говоре жены опять послышалась знакомая мелодия:

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...

И он тут же, раскинув руки до хруста в плечах, подпел ей:

Сени новые, кленовые...

Ольга подняла на него удивленные глаза, потом заулыбалась и с нежностью сказала:

— Бедненький, утомился мой академик.

А ему опять в ее голосе послышалось:

Ах вы, сени, мои сени...

Потом он стал замечать, что почти у каждого человека речь окрашена в определенные интонации, и если в них вслушаться, не вникая в смысл слов, то рождается музыка — иногда известная или сходная с чем-то знакомым, а чаще совершенно новая, и, умей он записывать музыку, наверное, получалось бы что-то своеобразное. И дочка Ирина, когда выросла, впитала в свой говор мамины «Ах вы, сени...». В голосе же Нила Игнатовича, если вслушаться, иногда прорывается мелодия «Взвейтесь, соколы, орлами...».

Воспоминание о профессоре Романове вернуло его к мысли о докладе, который он задумал. И Федор Ксенофонтович, просмотрев в блокноте последние наброски, оборвавшиеся с вторжением рыбаков, снова стал размышлять... Да, история, как и оперативное искусство, — стихия, в которой мысль Чумакова парит свободно и легко...

Реваншизм правящих кругов Германии сразу же после первой мировой войны породил фашистские организации. В 1919 году появилась гитлеровская, наименовавшая себя «национал-социалистской». Финансовые воротилы Америки и Англии, оказавшись в удушливой атмосфере экономического кризиса, быстро уловили, что германская монополистическая буржуазия, мечтая о реванше, жаждет золотого ливня кредитов для своей ослабленной военной промышленности. И пролился золотой дождь долларов и фунтов стерлингов над Германией... Сквозь этот ливень и шум железных всходов слух разума мог различить, как в ворота Европы стучится новая война.

В 1930 году Советскому правительству стало известно о вояже германского банкира Шахта в Америку, где он убеждал тамошних финансовых тузов в целесообразности установления в Германии фашистской диктатуры.

Через год советские дипломаты узнали, что в Гарцбурге состоялось сборище заправил германской экономики, политики и армии, где было принято решение передать власть в их государстве фашистам.

Итак, Германия была подведена к краю пропасти.

— Манджура! — вдруг раздался за воротами голос Карпухина.

Федор Ксенофонтович посмотрел в ту сторону и увидел возле эмки полковника. Он огляделся по сторонам, затем подошел к Чумакову и недовольно сказал:

— Куда-то шофер запропастился.

— Ушел обедать!

— Мог подождать!

— Я разрешил. Боец должен быть сыт... А что, можно уже ехать?

— Нет, — ответил смутившийся Карпухин. — Надо подскочить к Дому Красной Армии и вытащить с совещания артснабженца.

В это время у машины замаячил Манджура.

— Я прошу вас потерпеть, Федор Ксенофонтович, — извинительно сказал Карпухин, оглядываясь на легковушку. — Дел невпроворот. Чтоб потом не приезжать.

— Хорошо, хорошо, — согласился Чумаков, стараясь не потерять главной нити своих размышлений.

Да, но как же с Версальским договором, ограничивающим Германию в праве создавать крупные вооруженные силы?

А его начали топтать еще в 1932 году, когда США, Англия, Франция и Германия подписали соглашение, которое разрешало последней иметь вооружения, равные со своими партнерами. Затем состоялись новые политические акции, направленные на укрепление Германии.

Весной 1933 года по инициативе фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини на повестку дня встал «Пакт четырех», который должен был создать объединенный фронт Германии, Англии, Франции и Италии против Советского Союза.

Пятнадцатого июня 1933 года «Пакт согласия и сотрудничества четырех держав» был подписан. К счастью, английский и французский парламенты, увязшие в сложных внутренних раздорах, не ратифицировали его.

Германия «обиделась» на своих партнеров и вышла из Лиги наций, тут же заключив соглашение с панской Польшей, мечтавшей о завоевании Украины.

Версальский договор в результате политики США, Англии и Франции постепенно превращался в мыльный пузырь. Осенью 1937 года член английского кабинета лорд Галифакс отбывает в Германию «на охоту», от имени нового премьера Чемберлена ведет там секретные переговоры с Гитлером, предлагая ему вернуться к созданию направленного против СССР «Пакта четырех». Переговоры продолжились в Лондоне, Париже, Вашингтоне, Берлине. Вскоре пала Австрия, став областью германского рейха. Потом поползло по Европе зловоние мюнхенского сговора...

Подошел полковник Карпухин с бумагами-заявками, которые требовалось подписать, и Федор Ксенофонтович спрятал тетрадь в планшетку. Мог ли он знать, что не суждено ему подняться на трибуну для задуманного им доклада?..

Еще никто не знал, что родит завтрашний рассвет...

Стоял знойный день 21 июня 1941 года, то самое преддверие трагического воскресенья, к которому из грядущих десятилетий люди часто будут обращать вопрошающие взоры.

Москвичи в этот день жили обыденными хлопотами и готовились к выходному дню. Солнце поднималось все выше, щедро исторгая горячие лучи на улицы, на дома и скверы столицы, на златоглавую и зеленую кремлевскую высоту.

Но если бы камню могли передаваться напряжение ищущей человеческой мысли, острота беспокойства о судьбе государства и тяжесть ответственности за эту судьбу, то приметное своей чеканной архитектурой здание правительства СССР за Кремлевской стеной даже под палящим солнцем стыло бы в ледяном ознобе.

В одном из главных кабинетов этого здания за массивным столом сидел, углубившись в бумаги, заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров и нарком иностранных дел СССР.

Многие годы Молотов был главой правительства. А полтора месяца назад, когда на Западе стала громоздиться туча войны и было неизвестно, надвинется ли она и разразится ударами пушечного грома или пока только бросит зловещую тень на советско-германские отношения и родит политико-дипломатический вихрь, Председателем Совета Народных Комиссаров был назначен Сталин, авторитет которого был беспредельным. Это, по мнению Советского правительства, позволяло, сосредоточив в одних руках всю полноту государственного и партийного руководства, подчинить жизнь страны подготовке к обороне с учетом пока еще не ясной на этом отрезке времени военно-политической ситуации, а также максимально сократить длину дипломатических каналов общения с Германией на высшем уровне, если обстановка продиктует необходимость такого общения.

Однако и теперь ни дел, ни забот у Молотова не убавилось. Тот же кабинет, тот же стол, те же документы, приемы наркомов, дипломатов, ответственных работников ЦК и Совнаркома...

Сегодня на столе документы особые. Вот адресованное Сталину письмо премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля... Это второе письмо — первое было в прошлом году...

Молотов посмотрел на часы: через десять минут надо идти к Сталину, а из Берлина ничего утешительного. Сегодня ранним утром советскому посольству в Берлине передан по телеграфу текст вербальной ноты, которую советский посол должен был без промедления довести до сведения имперского министра иностранных дел Германии фон Риббентропа. Последняя попытка... В своем заявлении Советское правительство решительно требовало от германского правительства вразумительных объяснений в связи с концентрацией германских войск вдоль границ Советского Союза и предлагало незамедлительно обменяться мнениями о состоянии советско-германских отношений. Но, как уже дважды сообщили по телефону из советского посольства в Берлине, ни Риббентропа, ни его заместителя Вейцзеккера не могут разыскать. Очень похоже, что руководители министерства иностранных дел Германии умышленно уклоняются от встречи с советскими дипломатами.

Если это так, значит, надо ожидать самого плохого.

Молотов опять взглянул на часы: скоро к Сталину...

Кажется, нет границ тому, что подчас способен в мгновение объять человеческий разум. В одной мысли может быть спрессована целая эпоха, судьба народа, дыхание отшумевших десятилетий. Такая мысль, вспых-

нув, вмиг высвечивает всю глубину родивших ее истоков, открывает перед воображением все древо событий, всколыхнув в сердце и сознании волны пережитого и перечувствованного за годы... Подобная мысль мелькнула в памяти наркома, неся в себе целое напластование истории, когда он еще раз взглянул на письмо английского премьера...

Год назад, когда в кабинете Сталина шло очередное заседание Политбюро, завязался разговор по поводу назначения нового посла Англии в СССР Стаффорда Криппса.

— Весьма интересно, — озадаченно сказал тогда Сталин, прохаживаясь по кабинету, заложив руки за спину. — Консерватор Уинстон Черчилль присылает в Москву своим послом виднейшего лейбориста... Очень интересно... Это что же, английский вариант Вильяма Буллита?

Буллит с 1933 по 1936 год был послом США в Советском Союзе, а затем — послом во Франции. Дипломат по положению и лютейший враг Советского Союза по сущности своей, Буллит клеветал и сеял неверие, делая все возможное для военно-политической изоляции СССР и для столкновения его с западными державами. Это тот самый Вильям Буллит, который, уже будучи послом в Париже, цветами встречал французских правителей Даладье и Бонэ, когда они возвращались из Мюнхена, где запродали Гитлеру Чехословакию.

В ответ на слова Сталина Молотов вслух прочел справку, в которой приводились высказывания Стаффорда Криппса в печати и в парламенте о Советском Союзе, а затем сказал:

— Полагаю, что Криппс не сродни Буллиту. Похоже, что он политик трезвого рассудка и дипломат без тройного дна. Во всяком случае, прямой враждебности к нам с его стороны пока не замечалось.

— Ну что ж, время покажет. — Сталин с сомнением пожал плечами. — Но я убежден, что Черчилль затевает какую-то крупную игру. Так что будем ждать событий и готовиться к дипломатическому поединку с Черчиллем.

Это было в первой половине июня 1940 года.

А в конце июня того же года Стаффорд Криппс передал Сталину секретное письмо от Черчилля — первое письмо. В нем глава английского кабинета с приметной искренностью ратовал за установление между Англией и СССР взаимовыгодных отношений, давал понять, что Германия, стремясь стать властелином Европы, не может не угрожать интересам Советского Союза, и изъявлял готовность обсуждать с Советским правительством проблемы, связанные с агрессивными действиями Германии.

Это письмо обсуждали поздно вечером в кабинете Сталина.

— Ну, что я говорил? — спросил Сталин, оглядев членов Политбюро и спрятав в прищуре глаз ироническую искорку.

— Считаешь, что игра начата? — ответил вопросом на вопрос Ворошилов. — Но до игры ли Черчиллю после Дюнкерка, где английский экспедиционный корпус понес такой урон и потерял все вооружение и технику?.. Да еще когда немцы так жестоко бомбят Англию... Потом, у нас немало сведений, подтверждающих, что Гитлер не прочь заключить с Англией перемирие. Почему же Черчилль делает шаг навстречу нам, а не Гитлеру?.. Тут надо все взвесить.

— Необходимо всегда помнить, — с привычной для всех выразительностью ответил Сталин, — что серьезная дипломатия опирается только на факты, ибо даже один факт может оспорить авторитет ста философов... Я в данном случае тоже опираюсь на факты плюс на интуицию и еще на исторические параллели. — Сталин, сидя за столом, придвинул к себе большую хрустальную пепельницу и постучал трубкой о ее край.

Затем спичкой выгреб нагар, взял из открытой пачки «Герцеговина Флор» две папиросы и, разломив их, заправил табаком трубку. Он делал все это неторопливо, будто с удовольствием. И в то же время глаза его невидяще смотрели куда-то поверх трубки, а губы подергивались в чуть заметной улыбке; казалось, Сталин вел с кем-то бессловесный спор. Потом он снова заговорил:

— Не будем возвращаться в далекие времена. Мы знаем, кто такой Черчилль. И не будем отделять Черчилля от английской политики вообще...

Сталин раскурил трубку, несколько раз затянулся, и к открытому окну, в котором виднелось звездное небо, поплыли космы сизого дыма.

— Что же получается? — Он пристукнул ребром руки по столу. — Давайте еще раз пройдемся по этапам наших взаимоотношений с Англией. Ну, начнем хотя бы с захвата Германией Австрии. Мы тогда поняли, что нависает угроза над Чехословакией, а затем дальнейшее проникновение немцев на Восток, и мы, как вы помните, настоятельно предложили созвать конференцию Англии, Франции, СССР и Америки. Кто это предложение пустил под откос, как не Англия?.. Далее. Кто оказал давление на Францию, чтобы она в случае нападения Гитлера на Чехословакию не предоставляла военной помощи последней?.. Англия! Кто явился повивальной бабкой мюнхенского сговора?.. Она же! Кто уговаривал чехословацкое правительство не просить у нас военной помощи перед угрозой немцев? Опять Англия... Ведь именно в Лондоне родились планы отторжения Гитлером Украины от Советского Союза, да и сама идея господствующего положения Германии на востоке и юго-востоке Европы всячески там поощряется. — Сталин поднялся из-за стола, не спеша прошелся по кабинету, глядя себе под ноги, а затем остановился и, посмотрев прищуренными глазами в угол потолка, опять заговорил: — Что же далее? Далее правительство Англии, убедившись, что политика умиротворения Германии не стоит выеденного яйца, да еще слыша частые требования Гитлера возвратить немцам их бывшие колонии, предложило нам подписать англо-франко-советскую декларацию об обеспечении взаимной безопасности. Мы, конечно, согласились... Гитлер, видя, что против него зреет единый фронт, струсил. А англичане тут же отказались от декларации!.. Почему? А потому, что они не собирались ее подписывать. Им надо было продемонстрировать Гитлеру свою возможность соглашения с нами... Продемонстрировали, а дальше не пошли. Больше того, показали, что Советский Союз их усилиями оказался в изоляции и Германия смело может нападать на него. Верно я говорю?

— Совершенно верно! — заметил маршал Ворошилов. — А еще вспомни эти бесплодные переговоры перед нападением Германии на Польшу! Если бы мы тогда заключили с англичанами и французами военный союз и дали гарантии, как обусловливалось проектом договора, всем восточноевропейским странам, расположенным между Балтийским и Черным морями, не посмел бы Гитлер напасть на Польшу и не было бы нынешней трагедии Франции.

— А кто был могильщиком договора о таком военном союзе? — с распаляющимся негодованием спросил Сталин. — Англичане! Так почему же мы должны сейчас верить в искренность Черчилля, этого старого нашего друга в кавычках? Почему? Что он хочет сказать этим письмом?.. Несомненно, строит какую-то политическую ловушку!

Да, сомнения и настороженность Сталина брали начало в туманном море лживой и коварной буржуазной дипломатии, над которым непрестанно дули холодные ветры злобной антисоветской пропаганды. Трудные времена... Раньше человечество черпало мудрость из опыта целых столетий, а теперь каждый год приносил столько противоречивых собы-

тий и ставил правительство перед столькими неожиданными проблемами, что даже самым тщательным анализом было почти невозможно извлекать постоянно действующие правила дипломатической стратегии.

А если обратить взор в позапрошлый — тридцать девятый — год, к тем, казалось, уже далеким дням, когда Германия еще не нападала на Польшу, на Францию, не бомбила Англию, когда между Советским Союзом и Германией даже и не предполагалось пакта о ненападении... Только один мысленный взгляд, а за ним — безбрежное поле дипломатических битв, напряженные поиски путей, гигантский труд анализа, выверки фактов и ситуаций для определения истинных замыслов правителей государств, с которыми советское руководство совместно пыталось выковать железные наручники, чтобы надеть их фашистскому милитаризму.

Когда в марте 1939 года начались переговоры между Англией, СССР и Францией, советские дипломаты, как всегда, повели себя согласно международным правовым нормам и нравственному порядку. Другая же сторона, особенно Англия, стала опираться на произвол, двоедушие и отвержение. Она попыталась возложить на Советский Союз такие обязательства, которые бы неизбежно вовлекли его в войну с Германией, в то же время сама не давала гарантий помощи Советскому Союзу, требуя таких гарантий для себя в случае устремления германской агрессии на Запад.

Советское правительство разгадало провокационный замысел Англии и Франции — во что бы то ни стало вовлечь СССР в войну с Германией — и выдвинуло на рассмотрение участников переговоров проект соглашения с конкретными взаимными обязательствами. Но, проделав целый каскад хитроумных дипломатических маневров, Англия и Франция уклонились от подписания соглашения.

Тем временем висевшая над Европой туча германской агрессии все больше наливалась свинцом. Куда погонят ее ветры фашистской политики? Было похоже, что в сторону Польши, а потом, может, и дальше, на Восток. Обеспокоенное этим, Советское правительство предложило Англии и Франции отбросить дипломатические маневры и безотлагательно провести в Москве переговоры военных миссий, чтобы выработать конкретные меры надежной коллективной безопасности. Англия и Франция согласились, но, будто в злую насмешку, включили в состав своих миссий генералов и адмиралов, давно находившихся в отставке либо занимавших в вооруженных силах незаметные должности. И появились они в Москве только через шестнадцать дней! При этом еще выяснилось, что главы делегаций даже не получили от своих правительств полномочий для подписания соглашения.

В Кремле недоумевали: что означает такое откровенное двуличие в межгосударственных отношениях?

Но переговоры начались сразу же по прибытии военных миссий — 11 августа 1939 года. А когда делегации стали обсуждать, какие вооруженные силы выставит каждое государство, если потребуется оказать друг другу помощь в борьбе с агрессором, под маской добродетели обнаружилось жалкое лицемерие Англии и Франции. В ответ на заявление члена советской делегации Шапошникова о том, что Советский Союз готов выставить против агрессора сто двадцать пехотных и шестнадцать кавалерийских дивизий, пять тысяч орудий, девять — десять тысяч танков, пять — пять с половиной тысяч боевых самолетов, член английской делегации генерал Хейвуд назвал только пять пехотных и одну механизированную дивизии...

Ворошилов, возглавлявший советскую военную миссию, регулярно докладывал Политбюро о неутешительном ходе этих странных переговоров, с горячим негодованием высказывая догадку, что наши «гости»

стремятся не столько прийти к соглашению, сколько прощупать нашу военную мощь.

Воистину бесстыдство в политике — последняя ступень порочности правительства. Оказалось, что в то время, когда в Москве заседали военные миссии, обсуждая меры по обузданию устремлений Гитлера к мировому господству, в Лондоне, за закрытыми дверями кабинета министра внешней торговли Хадсона, тоже велись переговоры. Хадсон и Гораций Вильсон — доверенное лицо премьера Чемберлена — сговаривались с представителем Германии, неким Вольтатом, о разграничении «жизненного пространства» между Англией и Германией, о захвате новых рынков, включая «рынки» России и Китая, о возможности подписания англо-германского договора о ненападении. Круг этих переговоров замыкался в Берлине, где Риббентроп и представитель командования военно-воздушных сил Англии барон де Рипп обсуждали военные вопросы.

Советскому руководству стало известно и о том, что в эти дни в германское посольство в Лондоне зачастили государственные мужи Англии...

И произошло то, чему неминуемо надлежало произойти. Переговоры военных миссий в Москве стараниями английского и французского правительств ни к чему не привели. К тому же по науськиванию из Лондона правительства Польши и прибалтийских стран враждебно отнеслись к военной конвенции коллективной безопасности. В итоге западные державы еще и еще раз дали понять Германии, что она имеет полную возможность беспрепятственно использовать «балтийский коридор» для прыжка на Советский Союз. И в то же время ей предлагалось вместе с Англией сколотить антисоветский военный блок.

Это были горькие дни для Советского правительства, тем более что оно было очень хорошо осведомлено, насколько Гитлер боялся создания системы коллективной безопасности в Европе. Во время англо-франко-советских переговоров Германия тайком от Англии не один, не два, а целых пять раз — через советского поверенного в делах в Берлине Астахова и через своего посла в Москве графа Шуленбурга — делала попытки достигнуть соглашения с Советским Союзом! Третьего августа Риббентроп, не скрывая, что Германия ведет тайные переговоры с Англией, заявил Астахову, что «немцам было бы легче разговаривать с русскими, несмотря на различия в идеологии, чем с англичанами и французами», и предложил подписать советско-германский секретный протокол, который разграничил бы интересы обеих держав по линии «на всем протяжении от Черного до Балтийского моря». 14 августа немецкий посол в Москве граф Шуленбург по поручению своего правительства еще раз поставил вопрос о заключении договора между Германией и Советским Союзом и заявил, что Англия и Франция «...вновь пытаются... втравить Советский Союз в войну с Германией. В 1914 году эта политика имела для России худшие последствия. Интересы обеих сторон требуют, чтобы было избегнуто навсегда взаимное растерзание Германии и СССР в угоду западным демократиям».

Советское правительство отклонило все эти предложения.

А германское руководство, ведя переговоры с Англией, все-таки не решалось на дальнейшее сближение с западными державами. Англия и Франция, обладавшие обширными колониями и большим влиянием в системе капиталистических держав, стояли на пути германского капитализма к мировому господству. Союз с ними теперь не устраивал Гитлера, а в гарантии, которые они ему обещали, он не верил и, боясь, что западные соседи при первом же удобном случае прорвутся в Рур — индустриальное сердце Германии, не спешил развивать агрессию на Восток. Кроме того, фашистские руководители, видя, что Англия и Франция непрерывно идут им на уступки, уверовали в их слабость, а со слабыми, как изве-

стно, воевать легче. Перспектива же войны с Советским Союзом пугала Гитлера, тем более что еще не был подготовлен широкий плацдарм для нападения на СССР.

Двадцатого августа 1939 года, когда английские представители сорвали переговоры военных миссий в Москве, Гитлер опять пытался достигнуть соглашения с Советским Союзом. Через свое посольство в Москве он прислал Сталину телеграмму, в которой сообщил, что между Германией и Польшей может «каждый день разразиться кризис». А это означало, что неизбежно военное столкновение Германии с Советским Союзом. «Поэтому я еще раз предлагаю Вам, — писал Гитлер, — принять моего министра иностранных дел во вторник 22 августа, самое позднее в среду 23 августа. Имперский министр иностранных дел будет облечен всеми чрезвычайными полномочиями для составления и подписания пакта о ненападении...»

Итак, либо неминуемое начало войны с Германией летом 1939 года — и эта война грозила превратиться в «крестовый поход» объединенных сил капиталистического мира против СССР, либо соглашение с Германией.

Советское правительство сочло благоразумным пойти на соглашение.

Двадцать третьего августа Иоахим фон Риббентроп прилетел в Москву. В тот же день в Кремле начались переговоры по выработке текста советско-германского пакта о ненападении сроком на десять лет. Риббентроп был несколько удручен атмосферой сдержанности, царившей на переговорах, и всячески пытался доказать, что наступает новая эра в германо-советских отношениях — эра дружбы и полного взаимопонимания. Он даже предложил записать это в преамбуле договора. На предложение имперского министра Сталин сухо ответил:

— Советское правительство не могло бы честно заверить советский народ в том, что с Германией существуют дружеские отношения, если в течение шести лет нацистское правительство выливало ушаты помоев на Советское правительство.

Прошло почти два года... Два выигранных в дипломатических битвах года позволили сделать очень многое. Но все-таки войны, кажется, не избежать. Сегодня, 21 июня 1941 года, — грозный порог, за которым разверзлась кромешная неизвестность.

В Наркоминделе лежали донесения, в которых утверждалось, что именно завтра, 22 июня 1941 года, фашистская Германия нападет на Советский Союз. Шифровки сообщали, какие военные силы на советско-германской границе сосредоточило немецкое командование.

Подобные бумаги, только с менее конкретными сведениями, поступали уже не раз и не два, начиная с 1940 года. Лежали шифровки, поступавшие от наших разведок — агентурной и войсковой, от дипломатических работников и командования пограничных войск, лежали обзоры выступлений иностранной прессы и радио, лежали документы с сообщениями, полученными по самым разным, подчас непредвиденным каналам. Во многих таких бумагах указывалось на грядущую германскую агрессию и точные сроки ее начала. Но те сроки уже прошли. Гроза не грянула...

В первых числах марта этого года поступила шифровка с изложением беседы заместителя государственного секретаря США Сэмнера Уэллеса с советским послом в Вашингтоне Уманским. Америка тоже предупреждала Советское правительство об агрессивных по отношению к СССР намерениях Гитлера, о которых сумела узнать ее разведка... А между прочим, наркому иностранных дел было известно, что этот самый Уэллес еще совсем недавно, в феврале прошлого года, прибыв из-за океана, курсировал между Лондоном и Парижем, Берлином и Ри-

мом, беседовал там с главами правительств и тузами деловых кругов, убеждая их прекратить военные распри в Европе между «своими» с тем, чтобы создать объединенный антисоветский блок.

Девятнадцатого апреля на стол легло адресованное Сталину письмо Черчилля, переданное английским послом Стаффордом Криппсом... Вот оно, это письмо. Черчилль пишет, что он «получил от заслуживающего доверие агента достоверную информацию о том, что немцы после того, как они решили, что Югославия находится в их сетях, то есть после 20 марта, начали переброску в южную часть Польши трех из находящихся в Румынии пяти бронетанковых дивизий... Ваше превосходительство легко оценит значение этих фактов».

Две недели Стаффорд Криппс пытался попасть на прием к Сталину или Молотову. Сталин, не зная, что английскому послу поручено передать ему личное послание от Черчилля, не пожелал встретиться с ним и посоветовал Молотову тоже уклониться от встречи.

— Пока нам неизвестны истинные намерения Гитлера, не будем усложнять отношения с ним, — сказал тогда Сталин. — Встречу с английским послом в тайне не сохранишь. Больше того, я подозреваю: англичане намеренно хотят продемонстрировать Гитлеру, что ведут с Советским правительством тайные переговоры... Они мастера провоцировать. И уж если мы пошли на закрытие у себя дипломатических миссий стран, поглощенных Германией, не будем вступать в контакты на высшем уровне с послом государства, которое находится в состоянии войны с Германией.

Впрочем, письмо Черчилля ничего нового не прибавляло к тому, что было известно Советскому правительству. «Три танковые дивизии...» В поступающих донесениях называются многие десятки дивизий... С западной границы занесен меч... Сталин полагает, что еще не поздно заставить Гитлера мирно опустить его...

## 9

В просторном кабинете со сводчатым потолком и стенами, обшитыми панелью из светлого дуба, прохаживался по ковру и дымил трубкой невысокий, коренастый человек в полувоенном костюме и сапогах. Его лицо, его трубка были знакомы, наверное, всем людям на планете. Неспокойный прищур глаз в тяжкой задумчивости, сухие и жесткие губы под седеющими рыжеватыми усами. Кажется, что в усах запуталось облачко табачного дыма, а в глазах навсегда поселилась озабоченность.

Несколько шагов от письменного стола в направлении дверей, вдоль другого стола, длинного, покрытого зеленым сукном, за которым проводятся заседания, несколько шагов назад.

Было похоже, что Сталин, оторвавшись от дел, смертельно утомивших его, сейчас ждал чьего-то прихода. И действительно, в кабинет вошел Молотов.

Сталин встретил Молотова вопросительным взглядом.

— Ничего нового, — поняв тревогу Сталина, сказал Молотов. — Только сейчас созванивались с Берлином, в ставке Гитлера какое-то важное совещание, и все там.

— На сообщение ТАСС тоже не отреагировали, — не спрашивая и не утверждая, произнес Сталин.

— Да, товарищ Сталин... Вся мировая пресса кипит, а немцы даже не опубликовали нашего сообщения, — ответил Молотов. — Это ничего хорошего не сулит.

— Если ни Гитлер, ни Риббентроп не находят нужным хотя бы изворачиваться, — в словах Сталина зазвучало раздраженное беспокойство, — да еще уклоняются от встречи с нашим послом, — это очень дурной признак.

— Американские и английские газеты все изощряются в описании наших приготовлений к нападению на Германию. Приводятся подробности, какие-то факты.

— Вот видишь! — Сталин взмахнул рукой с зажатой в ней трубкой. — Как же можно верить их предупреждениям?.. Предупреждают нас об угрозе агрессии, а сами занимаются провокациями, чтобы как можно быстрее эту агрессию развязать.

— Я вот сейчас сидел над документами, — раздумчиво заговорил Молотов, — и вспомнил о прошлом. Все время лезет в глаза двойная игра англичан, которую они ведут с нами.

— Не только с нами, а и с Германией! — уточнил Сталин и прислушался к доносившемуся перезвону курантов на кремлевской башне. — Мы давно разгадали главную формулу их политики. То они все время ставили дилемму перед Гитлером: или нападай на Советский Союз, или мы сговоримся с ним и раздавим Германию. А для убедительности вели с нами переговоры. Чем не двойная игра?.. А теперь, когда рухнула Франция, когда грозит вторжение Германии на Британские острова, Англия предупреждает нас об опасности. Ведь совершенно ясно, что эти предупреждения не продиктованы искренностью... Начнись поход Германии против Советского Союза — это спасение для Англии.

— Да, логично, — согласился Молотов, — если вспомнить, что совсем недавно Англия вместе с Францией добились выдворения нас из Лиги наций, а наш конфликт с Финляндией едва не использовали для нападения на Советский Союз с севера и с юга.

— Вот-вот! — Сталин оживился и, пососав трубку, выдохнул облако дыма. — Давай анализировать дальше. Вспомни лето тридцать девятого. Англия подписывает договор о взаимопомощи с Польшей, а когда через несколько дней Гитлер нападает на Польшу, она и пальцем не шевельнула! А почему?.. Надеялась, что, перешагнув через Польшу, германские войска пойдут дальше на Восток. Более того, находясь в состоянии войны с Германией, Англия и Франция могли тогда одним ударом поразить своего противника в самое сердце!.. Ведь основные силы немецких войск были заняты в Польше, а на линии Зигфрида стояло всего каких-нибудь два десятка немецких дивизий резервистов, тогда как французы имели больше сотни дивизий!.. И сколько дивизий английского экспедиционного корпуса!.. Не решились. Не захотели. Им важно было сохранить силы Германии для нападения на СССР... Мы раскололи их блок, избежали войны на два фронта: на Востоке силой оружия и гибкостью политики укротили Японию, а на Западе получили гарантии от Германии.

Сталин поднял руку, собираясь что-то еще сказать, помедлил, подбирая слова...

Все факты и события, занимавшие его сейчас, давно уже в своей причинной связи подвергались разносторонним анализам, рассматривались в дискуссиях на Политбюро. Но сейчас Сталину надо было еще раз все обдумать, чтобы принять единственно правильное решение. И он продолжал снова и снова разгадывать причинные связи всего происходящего.

— Элементарная логика свидетельствует о том, что англичане не отказались от своей старой тактики — раздавить нас руками Германии. Но зачем же тогда они предупреждают нас?.. И далее... Мы правильно обратили внимание на то, что в тот день, когда перелетел Гесс, Германия

прекратила воздушные налеты на Великобританию. И опять загадка... С одной стороны, Черчилль шлет мне личное послание, в котором предупреждает об агрессивных намерениях Гитлера, поступают шифровки из Лондона от посла Майского о его беседах с Кадоганом и Иденом, они тоже предупреждают об опасности; Антони Иден даже обещает военную и экономическую помощь... А с другой стороны, англичане принимают у себя Гесса, несомненно, доверенного Гитлера, и ведут через него сговор с Германией... Какой же все-таки вывод? Посылая нам предупреждение, господин Черчилль наверняка надеется, что у Советского правительства нервы не выдержат и мы приведем в движение весь наш военный механизм. Тогда у Адольфа Гитлера будет прямой и оправданный повод начать против СССР превентивный поход... Но готов ли Гитлер к такому походу? Пусть даже если Англия дает ему гарантии безопасности с запада... Или англичане надеются, что к Гитлеру присоединятся буржуазные страны Европы и Америка?.. Может, я чего-то не учитываю, но думаю, что Гитлер, нависнув над нашими границами всей ударной силой своей армии, намерен предъявить какие-то претензии, вплоть до территориальных... — Сталин умолк, устремив взгляд в окно, будто споткнулся на этой мысли. Потом заговорил опять: — Есть серьезное основание полагать, что так и будет... Значит, надо втянуть Германию в переговоры, надо во что бы то ни стало выиграть хотя бы два-три месяца... Любой ценой!.. А если бы год!.. Мы бы успели завершить многое из того, что наметили и что уже делаем...

Он подошел к открытому окну и, сдвинув легкую штору из белого шелка, долго всматривался куда-то ввысь. Может, виделся ему Урал с дымящими трубами заводов? Может, перед мысленным взором проходили тяжелые железнодорожные составы с новыми танками, самолетами, пушками, минометами, снарядами, автоматами? Ведь только-только пошли первые эшелоны, только стал налаживаться поток... Сколько раз заседало Политбюро ЦК, обсуждая задачи обороны страны и проблемы перевооружения армии! Сколько раз на этот длинный стол выкладывали самые различные образцы стрелкового оружия! Сколько перебывало здесь наркомов, конструкторов, оружейников, директоров предприятий! И сколько споров, сомнений, огорчений, радостей... Вот совсем недавно в кабинете звучал голос наркома черной металлургии Тевосяна. Кипуче-деятельный, способный привлекать людей, заряжать их верой и энергией... Державного масштаба человек. Сумел обеспечить оборонную промышленность металлами высочайшего качества. Способные, деловые люди сделают свое дело. Талантом конструкторов Кошкина, Морозова и Кучеренко — людей неусыпного поиска — создан танк Т-34, лучшая боевая машина... А чародей броневой защиты профессор Емельянов внедрил литье танковых башен... Создано еще невиданное оружие — реактивные минометные установки... А энергия людей, их удивительный организаторский дар!.. Много их, поднявшихся после Октября из народных недр и сейчас засверкавших самобытными дарованиями, готовых отдать все свои силы для укрепления первого в мире государства рабочих и крестьян. Ученые-артиллеристы Грабин, Иванов, Шавырин, Петров, авиаконструкторы Поликарпов, Петляков, Яковлев, Лавочкин... Только-только явственно обозначились успехи, раздвинулись горизонты, наметились перспективы мирного и безопасного существования государства, как уже туча войны застилает солнце... Или, может, туча развеется?

— Ну, хорошо, — нарушил тишину Молотов. — Давай, товарищ Сталин, отбросив все прочее, будем опираться на наши собственные сведения... Не доверять им у нас нет никаких оснований. Да еще не только это молчание немцев в ответ на наше сообщение ТАСС, а и нежелание принять нашу вербальную ноту...

Сталин опустил глаза и, пройдя за письменный стол, уселся в жесткое кресло. Молча снял трубку телефона, набрал номер. И сразу же услышал знакомый голос генерал-майора Дронова — одного из руководителей разведывательного управления:

— Слушаю вас, товарищ Сталин.

Сталин заговорил, больше утверждая, чем спрашивая:

— Если мне не изменяет память, Гитлер намечал более десятка сроков нападения на Францию... И отменял нападение, как сообщала разведка, в последнюю минуту.

— Да, Браухич запугивал Гитлера погодой, — срывающимся голосом подтвердил генерал Дронов. — Первый срок был на двенадцатое ноября тридцать девятого, а вторжение началось после многих новых сроков в мае прошлого года.

— А подготовленная высадка в Англию? Сколько раз намечалась?

— Много... На конец августа, затем на конец сентября, а по последним данным, должна была уже осуществляться этой весной.

— Чем же объяснить такое поведение Гитлера? — Сталин, положив телефонную трубку, вопросительно посмотрел на Молотова. — Нерешительностью или осторожностью?

— Мы давно догадываемся, да и имеем кой-какие факты, что Гитлер ищет пути к примирению с Англией... А насчет сроков нападения на СССР, — Молотов присел к столу и притронулся рукой к откидному календарю, — то военные из нашего посольства в Берлине, как помнишь, сообщали уже две даты: четырнадцатое мая, а потом пятнадцатое июня... Наш военный атташе во Франции передал, что война начнется в последней декаде мая. Я не говорю об остальных шифровках... Теперь донесения о завтрашнем дне, весьма убедительные.

— Гитлер напоминает мне трусливого купальщика, которому и хочется нырнуть в холодную воду, и страшно. То ногой ее попробует, то рукой. Но наступает момент, и все-таки ныряет. — Сталин помолчал, потом, медленно чеканя слова, продолжил: — Гитлер, конечно, нырнет, но в кипяток... Войны нам не избежать. А к войне у нас еще не все готово. Нам еще многое надо сделать. Может, поэтому Гитлер и спешит?

Да, эти догадки были близки к истине. Еще год назад Гитлер настаивал начать войну против СССР осенью 1940 года. Но Кейтель и Йодль доказали ему, что германские вооруженные силы к этому сроку не успеют подготовиться. На следующем совещании, 31 июля 1940 года, начало войны было намечено на весну 1941 года.

— Больше откладывать нельзя, — заявил потом Гитлер, обсуждая план «Барбаросса». — Время работает на противника. В сорок первом году вермахт должен решить все континентальные проблемы в Европе, так как после сорок второго уже будет поздно.

Но догадки еще не сама истина. И Сталин все размышлял.

— А раз мы не готовы к войне, — говорил он, — значит, надо как можно дольше держать себя так, чтобы у Гитлера были связаны руки... Ну, допустим, что он вероломно нарушит подписанный с нами пакт. Допустим... Но как тогда Германия будет выглядеть в глазах мирового общественного мнения? — Знакомый грузинский акцент Сталина усилился. — Как отнесутся к такому вероломству те же Япония, Италия, Румыния, Болгария, с которыми Германия заключила договоры? Какая тогда цена и всем соглашениям с ними?.. Я полагаю, как уже не раз говорил, что Гитлер сделает все возможное, чтобы спровоцировать нас, чтобы не Германия, а Советский Союз предстал перед всем миром как агрессор. Вот тогда он, возможно, двинет свои армии на Восток... Но мы постараемся не поддаться на провокации. На сей счет, как ты знаешь, маршал Тимошенко и наш Генштаб получили указания.

Молотов поднялся, подошел к столу, за которым сидел ссутулившись, словно под тяжестью, Сталин, и тихо спросил:

— Ты полагаешь, что германская армия не посмеет нарушить нашу границу?

— Нет, я так не полагаю, — после тягостной паузы с чуть заметным раздражением ответил Сталин. — Я просто не убежден до конца, что Гитлер отважится на прямую агрессию. — Он снова замолчал, сунув в рот трубку. Энергично пососал ее, выдохнул струю дыма, нервически шевельнув при этом усами. — Давай еще вот над чем подумаем... Мы только два месяца назад подписали пакт о нейтралитете с Японией. Япония — друг Германии и партнер по разбою. Зачем ей было заключать с нами пакт, если Гитлер собирается так скоро напасть на СССР? Разве Гитлеру, коль он собирается идти на нас войной, не выгодно, чтобы и на Востоке висел над нами меч?

— Да, но когда Гитлер предложил нам подписать пакт о ненападении, он тоже не советовался с Японией. И ты помнишь, чем это кончилось — ухудшением отношений между ними и уходом японского правительства в отставку.

— Однако это не помешало Японии тоже подписать с нами соглашение. — Сталин засмеялся и погладил крупной ладонью свои жесткие рыжеватые усы. — Но я опять о том, о чем уже говорил: противоположность социальных систем все-таки не исключает наличия минимума моральных норм в отношениях между государствами. Согласно этим нормам государства должны выполнять свои договорные обязательства, иначе многоликое международное общество существовать не сможет. Нападение на нас Германии без малейшего повода с нашей стороны явится одновременно и наглым вызовом международному общественному мнению... Так неужели Гитлер настолько циничен и глуп, чтобы начать агрессию, не позаботившись о мотивах, которые можно выставить в свое оправдание перед другими народами?

— Гитлер — зарвавшийся авантюрист! — сказал Молотов. — От него можно ждать всего.

— Тем не менее нам сейчас очень важно знать, как будет реагировать германское правительство на наше последнее заявление.

— Приглашение Шуленбургу прибыть в Кремль уже послано.

— Надо поставить перед ним вопросы напрямик, помимо того, что написано в вербальной ноте. И потребовать, чтобы он по своим каналам срочно связался с Риббентропом.

— Да, я так и мыслил нашу встречу, — ответил Молотов.

К заблуждению ведет много дорог, а к истине только одна. Надо было найти единственно правильную...

## 10

Нарком иностранных дел в своем кабинете перечитывал вербальную ноту, адресованную германскому правительству, которую советское посольство в Берлине до сих пор не может передать Риббентропу и с содержанием которой надо как можно быстрее познакомить германского посла в Москве графа Шуленбурга. На отдельной странице были выписаны вопросы, которые Молотов намеревался поставить перед Фридрихом Шуленбургом.

Это, кажется, был первый случай в практике наркома иностранных дел СССР, когда он с таким напряженным нетерпением дожидался приезда посла чужого государства. Поступили новые сведения, что война не сегодня-завтра... Удастся ли завязать переговоры с германским прави-

тельством и в ходе их еще раз попытаться предупредить или хотя бы отсрочить нападение германских армий?.. Надо использовать все возможности.

Графа Фридриха Шуленбурга ни в посольстве, ни на квартире не оказалось: изволят отдыхать где-то на природе... Но сможет ли сделать что-либо германский посол, если Гитлер стянул огромные силы к нашим границам с решительными намерениями и действительно отважился начать войну?..

При воспоминании об Адольфе Гитлере Молотов словно ощутил в своей руке его вялую, потную руку и увидел его самого, зловеще-неприметного и обманчивого, как трясина под мхом. Нездоровая серость лица Гитлера, вздувшиеся веки над горящими от скрытого возбуждения глазами — весь его изменчивый облик: увертливый или тупо-упрямый взгляд, порывистые движения, вспышки азарта или вдруг наплывающая на лицо апатия — будто таил в себе какую-то пустоту, угрожающую тем, что она способна внезапно заполняться самыми неожиданными, сумасбродно броскими, на коварных подпорках устремлениями, идеями, мыслями.

Их встреча с Адольфом Гитлером состоялась в ноябре прошлого года в Берлине, в имперской канцелярии. Гитлер, стремительно выйдя на середину своего огромного кабинета, пожимал руку главе Советского правительства Молотову, напряженно всматриваясь в его лицо.

Не всегда легко в государственной политике сопоставлять явления и факты с теоретическими положениями и вскрывать причинно-следственные связи явлений. Но еще более непросто взвешивать целесообразность уже сделанного и намечаемого, когда зримо надвигающиеся события вдруг кричаще противоречат добытому в тщательном анализе опыту и в зеркале глубоко выверенной теории отражаются в совершенно неправдоподобном и нежелательном виде. Как же во множестве неожиданно нависших фактов и признаков вовремя успеть найти зерна, заключающие в себе истину? Как сейчас, на пороге кромешной неизвестности, успеть постигнуть все, если это не удалось сделать в относительно спокойном течении межгосударственных отношений на протяжении хотя бы года?

Впрочем, о каком спокойствии может идти речь? Советское правительство жило многими тревогами в еще предшествовавшие прошлогодним берлинским переговорам времена. Уже тогда было известно, что вопреки условиям пакта о ненападении Германия без консультаций с Советским правительством начала группировать военные силы близ наших границ, в том числе в Румынии и в Финляндии, стала оказывать дипломатическое давление на Болгарию, нарушала договорные сроки поставок оборудования в СССР.

Сталин с особой пристальностью всматривался во все, что происходило не только в Германии, но и в воюющей с ней Англии. Он был убежден, что ключ к разгадке дальнейшего поведения Германии хранится в Лондоне. Этой же точки зрения придерживались все члены Политбюро. Казалось, нетрудно было постигнуть тайные надежды Черчилля. Но действительно ли тревожные признаки приготовлений Германии на нашей западной границе — результат упований Лондона?.. Значит, новый военно-политический курс Гитлера?..

В прошлом году на одном из заседаний Политбюро мучительно искали ответы на эти и многие другие вопросы. Тем более что никогда не забывали: благоразумная недоверчивость — мать безопасности... Крайне нужна была встреча сторон на самом высоком уровне.

— Но Москва не осквернит свою землю тем, чтобы на нее ступил Гитлер и чтобы на ней ему оказывали какие бы то ни было почести, —

сказал тогда Сталин. — Советское правительство также не унизится до того, чтобы просить Гитлера принять нашу делегацию в Берлине.

— Надо заставить их, чтобы они сами добивались встречи, — сказал кто-то.

— Верно, — согласился Сталин. — Раз Гитлер предложил нам пакт о ненападении, он пойдет на это, если хоть немного понимает, что в политике надо уметь уступать необходимости.

И вскоре германское посольство в Москве ощутило вокруг себя холодок отчужденности, стало испытывать некоторые затруднения в сборе информации о проблемах, интересующих Германию. В то же время зарубежная пресса все чаще начала публиковать такие сообщения своих московских корреспондентов о советско-германских отношениях, которые не могли не насторожить Гитлера, тем более, как потом стало известно, что Германия имела и другие основания опасаться недовольства СССР, ибо тайно готовилась вступить в тройственный союз с Японией и Италией.

За несколько дней до того, как мир должен был узнать о заключении военного пакта между Германией, Италией и Японией, на прием к главе Советского правительства попросился поверенный в делах Германии Вернер фон Типпельскирх, заменявший в Москве во второй половине лета прошлого, тысяча девятьсот сорокового, года германского посла графа фон Шуленбурга, который уехал на лечение. Советское правительство уже ждало этого запоздалого визита.

Молотов прекрасно понимал, что каждая произнесенная им фраза на этой встрече со всей интонационно-эмоциональной окраской будет подробно передана Гитлеру. С холодной непроницаемостью выслушал он сообщение фон Типпельскирха о том, что Германия вступает в военный тройственный союз с Японией и Италией. Сквозь словесную вязь временного поверенного в делах Германии явственно проступало желание успокоить Советское правительство тем, что новый военный блок, рождение которого на днях закрепится подписанием соглашений, направлен якобы против США, а не против СССР, и, более того, при желании Советского правительства ось Берлин — Рим — Токио может пройти... через Москву.

Молотов не выразил ни удивления, ни возмущения. Спокойно, с нотками назидания сказал, что этим своим шагом Германия грубо попирает советско-германский пакт, согласно одной из статей которого Берлин обязан заблаговременно знакомить Советское правительство с текстом любых заключаемых Германией международных соглашений.

— Вы правы, господин премьер, — смятенно ответил фон Типпельскирх. — Но мой фюрер, учитывая то, что Германия находится в состоянии войны, не нашел возможным... Поверьте, в таких условиях не всегда удается придерживаться норм протокола...

— Есть и другие прецеденты, — снова заговорил Молотов, видя замешательство фон Типпельскирха,— не менее глубоко затрагивающие интересы Советского Союза... Я имею в виду сохраненное от нас в тайне соглашение вашего правительства с правительством Финляндии относительно размещения германских войск на финской территории. — Молотов глянул в лежавшую на его столе бумагу и назвал финские порты и точное количество германских войск, выгрузившихся там. — Нам также неизвестны задачи вашей военной миссии в Румынии.

Типпельскирх беспомощно пожал плечами, вытер платком вдруг вспотевший лоб и ответил, что не готов к разговору о проблеме, затронутой господином премьером.

— Избегать ссор легче, нежели прекращать их, — бесстрастно напутствовал уходящего Типпельскирха Молотов. — Поддерживать же добрые отношения между государствами, не устранив взаимного недоверия, все равно что строить пирамиду вершиной вниз.

Как и следовало ожидать, вскоре Гитлер обратился к Сталину с просьбой, чтобы лично он или глава правительства приехал в Берлин.

Делегацию в Берлин было поручено возглавить Председателю Совета Народных Комиссаров СССР Молотову. Уже по одному этому германское правительство могло судить о серьезности, с которой Москва отнеслась к предстоящим переговорам. В Кремле еще не знали, какие «сюрпризы» готовит германская столица посланцам Москвы, но перед делегацией уже стояла четко сформулированная задача: в переговорах с Гитлером и его приближенными разгадать их тайные упования, заглянуть под маску их лицемерия и рассмотреть истинное лицо политики сегодняшней Германии. Короче говоря, надо было приложить максимум усилий, чтобы обеспечить Советскому Союзу хотя бы несколько лет мирной жизни... Трудная это была задача, имея в виду, что Гитлер, сочетающий в политике насилие с коварством и хитростью, умел прятать истину за отвлечения.

И вот дымное, моросливое утро 12 ноября 1940 года. Дипломатический поезд прибыл на Ангальтский вокзал Берлина. Долговязый Иоахим фон Риббентроп, имперский министр иностранных дел, обратился к советской делегации с напыщенными словами приветствия. А Молотову при всей серьезности и ответственности его миссии было если не смешно, то, во всяком случае, его будоражило забавное воспоминание, всплывшее при виде Риббентропа. Никто не мог бы догадаться, чем была вызвана на Ангальтском вокзале чуть заметная под рыжеватыми усами улыбка советского посланца. Вслушиваясь в чеканные слова Риббентропа и глядя в его рыхловатое лицо, он на какое-то мгновение мысленно увидел свой кабинет в Кремле, где они втроем — Сталин, Молотов и Риббентроп — вели одну из бесед после подписания пакта о ненападении. Беседа в общем-то была уже беспредметной, ибо Риббентроп нес откровенную ересь, говоря о том, что залог безопасности Советского Союза не в крепости Коминтерна, а в дружбе с нацистской Германией, что подписание германо-советского пакта — только начало великих свершений, перед которыми склонят головы государства всего мира.

Сталин и Молотов, слушая болтовню Риббентропа, только выразительно переглядывались и снисходительно посмеивались, понимая, что никакая дискуссия сейчас неуместна.

Потом Риббентроп спросил, позволительно ли ему будет прямо из кабинета Молотова поговорить по телефону с рейхсканцлером. Через несколько минут Берлин был на проводе. И тут же Риббентроп дал им повод развеселиться всерьез: имперский министр восторженно начал объяснять Гитлеру, что находится в Кремле в личном кабинете главы Советского правительства, говорит по его личному телефону и сидит за его личным столом в обществе Иосифа Сталина и что беседа проходит при полном взаимопонимании и открывает великие перспективы на будущее.

Когда Риббентроп закончил разговор с Гитлером и, замешкавшись в кресле, посмотрел на Сталина счастливыми от избытка чувств глазами, тот с откровенной иронией сказал ему:

— Господин министр, мы обеспокоены вашими словами, которые услышал Берлин, что вы сидите в кресле главы Советского правительства и за его столом... Вдруг Западная Европа зашумит завтра на весь мир, что вы захватили власть в Кремле?.. Такого удара Коминтерн не перенесет.

Риббентроп, не уловив иронии, вскочил с кресла, выбежал из-за стола и начал горячо уверять, что, если в Берлин пожалует господин Сталин или господин Молотов, он обязательно сделает так, что они поговорят по телефону с Москвой, сидя в наивысочайшем кресле Германии—

кресле самого рейхсканцлера Адольфа Гитлера, в кабинете его имперской канцелярии.

— Ну, если так, тогда другое дело. — Сталин сдержанно засмеялся и бросил на Молотова уже не веселый, а недоуменный взгляд, который как бы вопрошал: «Неужели такой уровень мышления, такая мелкость духа у главного гитлеровского дипломата?»

Как ни странно, но этот эпизод утвердил в Молотове непреходящее ироническое отношение к Риббентропу, который был главной персоной среди высших чинов нацистского рейха, встречавших советскую делегацию.

Впрочем, впереди встреча с Гитлером. Что сулит она?.. Удастся ли угадать истинные планы этого откровенного авантюриста, взявшего на себя смелость распоряжаться судьбами народов Западной и Юго-Восточной Европы, питая к ним недоверие, презрение, а то и лютую ненависть? Удастся ли обуздать его хоть на какое-то время?..

Удивляло и настораживало все происходившие после церемониала на привокзальной площади. Уже во дворце Бельвю, где поместили советскую делегацию, все до смешного напоминало пародию на чинное театральное представление... За завтраком седовласый церемониймейстер-метрдотель с золотой цепью на черном фраке, лакеи и официанты в расшитых золотом ливреях и белых перчатках словно не прислуживали гостям, а играли хорошо отрепетированную пантомиму... Таким был и выход из дворца для поездки в имперскую канцелярию: советскую делегацию встретила дробь многочисленных барабанов, не умолкавшая даже тогда, когда черные лимузины уже мчались по длинной липовой аллее...

С не менее нелепой помпезностью была обставлена встреча с Гитлером. Перед самым кабинетом Гитлера большой круглый зал заполнили высокопоставленные чины рейха; теснясь в стороны, встретили делегацию поклонами и льстивыми улыбками. У высоких дверей кабинета стояли два рослых эсэсовца в черной парадной форме; по чьему-то таинственному сигналу они вдруг четко повернулись друг к другу лицом, сделали по шагу назад, объединенным толчком распахнули дверь в кабинет и, прильнув спинами к косякам, выбросили правые руки вверх, давая проход под сенью фашистского приветствия.

В эти мгновения члены советской делегации всей глубиной мысли ощутили противоестественность происходящего. Не дурной ли это сон, что они вынуждены принимать почести фашистов, самых лютых врагов коммунизма, вынуждены будут пожимать руку их фюреру?.. И не являются ли все эти почести злой, утонченной насмешкой фашистов над высокими представителями коммунистического мира?.. Ну что ж! Они парламентеры во вражеском стане. Молотову вспомнились слова Сталина на заседании Политбюро, где обсуждались задачи этой поездки: «Товарищ Молотов, я тебе не завидую... Трудная миссия... Но история нас не осудит, если дипломатическими маневрами мы вырвем для советского народа несколько лет мира...»

Кабинет Адольфа Гитлера был огромен, как танцевальный зал. В его конце и чуть в углу — большой, сверкающий полировкой стол. Сидевший за ним человек в военной форме зеленовато-пепельного цвета, с Железным крестом на груди казался карликом. Он секунду-другую будто не замечал вошедших и неотрывно смотрел на какие-то бумаги, лежавшие перед ним, затем резко поднял голову и, словно не ожидал входа делегации, вскочил с суетливой поспешностью...

Трудно было сдержать улыбку, так все здесь было театрально-фальшиво, рассчитано на внешний эффект. Но зачем? Удивить? Подавить мнимым величием? Продемонстрировать признаки устоявшейся государственности?

Гитлер быстрыми шагами вышел из-за стола, на середине зала встретил вошедших и молча стал пожимать всем руки... В зале появились Риббентроп, личный переводчик Гитлера Шмидт и советник германского посольства в Москве Хильгер...

Трижды встречалась делегация с Гитлером. Переговоры с ним представляются сейчас Молотову как одна бесконечно длинная и трудная дискуссия, в которой оппоненты заостряли внимание на совершенно противоположных проблемах. Гитлер долго и темпераментно разглагольствовал о том, что утвердившаяся на двух островах маленькая Англия завладела почти половиной мира и настал час, когда надо ликвидировать эту несправедливость... Молотов не высказывал своего отношения к этому. А Гитлер, между тем, продолжал: Англия вот-вот будет сокрушена Германией окончательно, и надо позаботиться о ее колониях, разбросанных по всей планете... Молотов молчал.

— Исходя из этого, — развивал Гитлер свою мысль, — Советский Союз мог бы проявить заинтересованность к югу от своей государственной границы в направлении Индийского океана. Это открыло бы Советскому Союзу доступ к незамерзающим портам...

Жгучая ирония клокотала в груди Молотова, и надо было напрячь силы, чтобы обуздать ее и не дать вырваться наружу саркастической улыбке. Внимательно вслушиваясь в лающий голос Гитлера и извилисто струящийся поток его слов, глядя в горящие глаза собеседника, он думал о том, что глаза деспота привлекают только рабов, подобно тому, как взгляды змеи чаруют птиц, делающихся их жертвой. Молотов угадывал в глазах Гитлера другие тайные надежды... Надо было распознать их суть, выверить истинность замыслов этого человека с обманчивой позой. И во что бы то ни стало не позволить втянуть себя в переговоры по поводу участия в разделе мира. Даже в разговоры!.. Возможно, только этого и добивался Гитлер. Возможно, ему всего и нужно было связать Советское правительство участием в переговорах о разделе сфер влияния с тем, чтобы потом, тайно или явно, сделав этот факт достоянием правительств других государств, оставить Советский Союз в полной изоляции.

И Молотов спокойно и бесстрастно отвечал:

— Мы не видим смысла обсуждать подобного рода комбинации. Советское правительство заинтересовано в обеспечении спокойствия и безопасности тех районов, которые непосредственно примыкают к границам Советского Союза.

На второй день атмосфера переговоров еще больше накалилась. Советский представитель без обиняков ставил перед Гитлером вопросы, связанные с безопасностью СССР, и требовал от германского правительства объяснения относительно его планов, касающихся Финляндии, Румынии, Болгарии, Греции. Гитлер изворачивался, его глаза горели, лицо покрывалось фиолетовыми пятнами, огромные ноздри угреватого носа раздувались, как у загнанной норовистой лошади. Он надеялся хитростью заполучить ключи от внешней политики СССР, но ничего не выходило.

— Давайте лучше обратимся к кардинальным вопросам современности, — убеждал Гитлер, стараясь продолжить разговор более мирно.— После того как Англия потерпит поражение, вся Британская империя превратится в гигантский аукцион в сорок миллионов квадратных километров! — Он помедлил, наблюдая, какое впечатление произвели на главу Советского правительства его слова. — Здесь для России открывается путь к действительно теплому океану. До сих пор меньшинство в сорок миллионов англичан управляло шестьюстами миллионами жителей империи. Надо покончить с этой исторической несправедливостью. Государствам, которые могли бы проявить интерес к этому имуществу несостоя-

тельного должника, не следует конфликтовать друг с другом по мелким, несущественным вопросам. Нужно без отлагательств заняться проблемой раздела Британской империи. Тут речь может идти прежде всего о Германии, Италии, России и Японии. Советскому Союзу не возбранялось бы присоединиться к нашему тройственному пакту...

— Все это я уже слышал вчера, — сдержанно ответил Молотов и снова повел разговор о проблемах европейской безопасности.

Гитлер был вне себя.

## 11

Ожидая приезда германского посла, Молотов думал о том, что, если немецкие войска готовы сейчас к нападению на Советский Союз, значит, уже тогда, в ноябре прошлого года, это решение было принято Гитлером. Значит, советская делегация не допустила просчетов, не дала возможности германским дипломатам изобразить Советский Союз перед всем миром как государство, якобы заинтересованное в чужих территориях. Значит, если действительно вот-вот начнется война с Германией, можно надеяться, что Советский Союз не окажется в одиночестве.

Рядом тихо зазвенел внутренний телефон, и Молотов, вырываясь из вязкого плена воспоминаний, поднял трубку.

— Что нового? — спрашивал Сталин.

— В Берлине все так же, а Шуленбурга нет в городе, послали за ним.

— Боюсь, что наши усилия уже не имеют смысла. — Голос Сталина прозвучал подавленно.

Молотов промолчал, ощутив, что телефонная трубка в его руке словно похолодела.

— Жуков сейчас звонил... — медлительно продолжил Сталин. — К пограничникам Киевского округа перебежал немецкий фельдфебель...— Наступило молчание, и Молотов услышал, как Сталин будто с ожесточением пососал мундштук. Затем, шумно выдохнув табачный дым, сказал: — Если этот фельдфебель не подосланный провокатор, то завтра утром немцы начинают против нас военные действия.

Молотов даже позабыл, что говорит по телефону, — с такой близкой явственностью звучал чуть сдавленный голос Сталина и слышалось его неспокойное дыхание.

Сталин умолк. Молчал и Молотов. Потом, чуть запинаясь, спросил:

— Что будем делать, товарищ Сталин?

— Приходи на Политбюро. Сейчас прибудут Тимошенко с Жуковым.

Поговорив по телефону с Молотовым, Сталин откинулся на спинку кресла и устремил взгляд в противоположный край своего кабинета. В открытые окна сквозь раздвинутые, ниспадающие от потолка до пола портьеры в кабинет вливалась вечерняя духота, неся в себе еле уловимые запахи разомлевших под солнцем кремлевских газонов и лужаек.

О чем сейчас думал этот человек, судьба которого далеко не обыкновенна даже в исторических измерениях? В какие временные дали, в какие глубины сложностей бытия человечества устремлен его взгляд? Может, пронзительная мысль мучительно пыталась найти в безбрежье океана международной политики тот коварнейший риф, который он не сумел заметить? И сейчас сердце заплескивал яд горечи от несбывшихся надежд. А может, ему слышался прошлогодний звон колоколов по всей Германии?..

Медными волнами плыла тогда над фатерландом торжественная песнь колоколов, возвещавшая о вступлении немецких войск в поверженный Париж... Ровно год назад, 22 июня, французское правительство подломило перед Гитлером колени и подписало акт о перемирии. Гитлер героем-победоносцем под восторженные вопли берлинцев возвращался с фронта в свою столицу... Потом, 19 июля, на заседании рейхстага прозвучала его речь. В ней он, глядя в лицо своему народу и по волнам эфира призывая в свидетели весь мир, исторгал в молитвенном экстазе клятвы о дружественных чувствах Германии к России.

«Германо-русские отношения окончательно установлены! — торжественно вещал Адольф Гитлер. — Основанием для этого было то, что поддерживаемые определенными маленькими государствами Англия и Франция подсовывали Германии завоевательные намерения в тех районах, которые лежат вне каких бы то ни было германских интересов... Ни Германия не сделала ни одного шага, который завел бы ее за пределы областей ее интересов, ни Россия такового не предпринимала. Надежда Англии путем создания какого бы то ни было нового европейского кризиса достичь облегчения своего собственного положения, поскольку речь идет о взаимоотношениях между Германией и Россией, является ложной».

Нет, не мог Сталин верить этой сладкой лжи. Он ведь хорошо знал иную сокровенную исповедь фашистского фюрера — его книгу «Майн кампф» — черный гимн нацизма, знал, с каким явным вожделением Гитлер зарился на богатые пространства России. Но в этой прошлогодней речи было очень важным для Сталина признание Гитлера перед лицом всего мира, что Англия и Франция натравливают Германию на СССР.

Весьма нелегкой была партийно-государственная повседневность Сталина в последние годы. Все чаще и чаще вторгались в нее грозные тревоги... Иногда эти тревоги казались призрачными, но в эти июньские дни они стали главной болью его сердца и немилосердным палачом его разума. Да, быть или не быть войне, развертывать или нет в боевое положение армию — об этом, казалось, вопрошающе кричали даже стены кабинета Сталина, этот тяжелый и тревожный вопрос светился в глазах почти каждого, кто переступал порог его кабинета... Все полагали, что будет так, как решит он, Сталин, — великий марксистский философ, историк, дипломат, умеющий держать руку на пульсе врагов и друзей. Он знает больше, видит дальше, мыслит глубже.

Но понимал ли сам Сталин, что эта искренняя вера в его проницательность и дальновидность побуждала иных, даже крупных, деятелей и мыслителей больше порой заботиться не о самостоятельных поисках истины, а о том, как бы не разойтись с видением вождя, которое, конечно же, суть самой истины?!

Может, вспомнился сейчас Сталину начальник разведывательного управления Генерального штаба — бритоголовый, низкорослый генерал с чуть настороженными глазами на круглом, розоватом лице? Двадцатого марта генерал представил доклад со сведениями первостепенной важности. В нем давалась почти зримая картина будущего вторжения немецких войск на советскую землю. В докладе указывалось, что между пятнадцатым мая и пятнадцатым июня механизированные колонны германских войск под командованием генерал-фельдмаршалов Бока, Рундштедта и Лееба, нанеся внезапные удары, должны затем развивать наступление в направлениях Ленинграда, Москвы и Киева. Но этот же документ заканчивался сделанным начальником разведуправления выводом, в котором звучала уверенность:

«Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки».

В начале мая нечто подобное докладывал и нарком Военно-Морского Флота. В присланном им документе сообщалось о том, что четырнадцатого мая должно было начаться вторжение германских войск на территорию СССР... Налеты авиации на Москву и Ленинград...

А вывод наркома гласил:

«Полагаю, что сведения являются ложными и специально направлены по этому руслу с тем, чтобы проверить, как на это будет реагировать СССР».

Названные в обоих документах сроки войны миновали, а провокации продолжаются. Как же относиться к новым сведениям? А если в самом деле кто-то испытывает нервы Советского правительства? Английская или немецкая разведки?.. Если немецкая, то что же значат активные приготовления германской армии к высадке на острова Великобритании? Советская агентура добыла убедительные подтверждения этих приготовлений: напечатанные статусы о немецкой оккупации английских городов, в том числе и Лондона, сведения о появлении в немецких войсках, даже в тех, которые сосредоточены близ наших границ, переводчиков английского языка, о подготовке «оцепления» на Ла-Манше и Па-де-Кале и о формировании авиадесантного корпуса для выброски его над Англией... Зачем тогда немецкому руководству стремиться к тому, чтобы Советские Вооруженные Силы были приведены в боевую готовность и выдвинуты к западной границе?.. Если же все наши тревоги вызваны усилиями английской разведки, то это еще как-то объяснимо: Англия стремится сорвать вторжение немецких войск на свои острова. Но как тогда понимать предупреждение Черчилля?.. И как понимать поведение немцев и их нежелание откликаться на наши миролюбивые жесты?.. А может, главная опасность таится на Востоке?..

Каждый вопрос рождал вопросы, противоречащие друг другу.

Конечно же, приведи неделю назад войска приграничных округов в боевую готовность и разверни первые эшелоны по плану прикрытия, не стоять бы сегодня вопросу: быть или не быть войне? Она уже полыхала б, и, кроме того, многочисленные недруги Советского Союза во всю мочь вопили бы, что он является ее факельщиком.

Впрочем, когда опасность великой войны уже гипнотизирующе смотрит в глаза человечества, кто возьмет на себя смелость и ответственность утверждать, что лучше, а что хуже?.. И это одна из причин, породивших гнетущую неопределенность... Не у многих хватает смелости категорически отстаивать свои суждения перед гигантским авторитетом Сталина...

Видимо, действительно случилось так, что непререкаемый авторитет Иосифа Сталина явился, как это ни парадоксально, причиной заблуждений и нерешительности военачальников первой величины... Авторитет одного человека взял верх над волей и разумом других... Сталин, вероятно, уже и сам с горечью размышлял об этом. И скорбел, что не оправдались его надежды, что никакие усилия не отвратили страшную беду... Интуиция на сей раз тоже сослужила плохую службу. Гитлер ведь его, Сталина, боится!.. Боится его воли и силы загадочного характера, боится его образованности и таланта мыслителя, боится его авторитета среди народов и правительств... Двадцать первого декабря 1939 года Гитлер и Риббентроп прислали Сталину поздравление с шестидесятилетием. Многое прочитал Сталин между строчек этого поздравления!..

Шло время, возрастала угроза на Западе, но Сталин все-таки надеялся выиграть хоть год, полгода, чтобы успеть нарастить силу Красной Армии, которая с 1939 года количественно выросла в два с половиной раза. Все внимание Центрального Комитета партии и правительства — производству вооружения и боевой техники! Уже начали поступать новые самолеты и танки, транспортные средства и новые образцы артилле-

рии. Нужно было продлить мир! Для этого по решению Политбюро и Совета Народных Комиссаров СССР Сталин и взял на себя всю полноту власти в государстве, всю тяжкую ношу ответственности перед народом и историей. Полагали, что если Германия не увязнет в войне на Западе и повернет на Восток, то не хватит у нее времени в этом же году развернуть против СССР боевые действия, да и верили, что Советскому правительству удастся втянуть Германию в переговоры.

А может, это еще и удастся сделать? Может, беда, распростерши крылья, все-таки не взлетит, а только, нависнув тенью войны над нашими границами, заговорит не голосом пушек, а словами ультиматума о каких-то притязаниях Германии?.. Ультиматум — еще не война. Ультиматум — повод для встреч и переговоров, во время которых можно осмотреться и успеть исподволь принять решение...

В кабинете Сталина появился его бессменный секретарь Поскребышев. Нездоровая желтизна его лица, тусклые и впалые глаза говорили о постоянных ночных бдениях и напряженных заботах.

— Тимошенко, Жуков и Ватутин, — тихо доложил он.

Какие-то мгновения Сталин отсутствующим взглядом смотрел на вошедшего, словно был не в силах вырваться из плена гнетущих видений, затем, будто очнувшись, утвердительно кивнул.

Поскребышев вышел звать посетителей, которых Сталин ждал, видимо, с волнением, ибо ему предстояло немедленно принять такое решение, от которого зависело очень многое...

Сквозь распахнутое окно косым полотнищем падало в кабинет солнце, образуя на ковре багровое, будто тлеющее пятно. В широком луче лениво плавали причудливо витые клубы табачного дыма — то сизые, то голубые. Когда в кабинет вошли Тимошенко, Жуков и Ватутин, луч раздробился, заиграл золотом на их шевронах и на звездах в петлицах. Малиновые генеральские и маршальские лампасы, высокие хромовые сапоги тоже как бы стали живыми и горящими, и в кабинете словно посветлело. Но не были светлы лица вошедших, хотя солнечный луч подчеркивал гладко выбритые, будто отполированные головы Тимошенко и Жукова. Лица маршала и генералов были сосредоточенно-сумрачными, выражающими чувства подавленности и решительности.

Сталин вышел из-за стола, пожал руку маршалу Тимошенко, генералу армии Жукову и генерал-лейтенанту Ватутину. Затем, подняв голову и испытующе глядя в лицо высоченному Тимошенко, тихо спросил:

— А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы спровоцировать конфликт?

— Нет, — твердо, с какой-то самоотрешенностью ответил маршал, на этот раз не испытывая неловкости оттого, что смотрит на Сталина сверху вниз. — Считаем, что перебежчик говорит правду. Его показания подтверждаются многими другими сведениями.

Заложив руки за спину, Сталин опустил голову, словно разыскивая что-то на ковре, затем вернулся к столу, сел в кресло и взял лежавшую в пепельнице трубку, но закуривать не стал, а устремил прямой задумчивый взгляд вначале на маршала Тимошенко, затем на Жукова и Ватутина.

Нарком обороны, начальник Генерального штаба и его заместитель. Мозг и воля вооруженных сил. В их власти немедленно привести в движение многомиллионную рать.

Тимошенко и Жуков — очень разные внешне, но весьма схожие своей какой-то значительной суровостью, цепкой восприимчивостью ума, силой натуры, отличающейся грубоватой прямотой. Такие цельные харак-

теры рождаются в тяжкие времена социальных потрясений из числа тех, кто впитывает все лучшее, присущее его народу.

Храбрость в боях за Советскую власть явилась определяющей сутью становления и Тимошенко и Жукова как личностей. Оплодотворенная идеей, она придала этим личностям своеобычность, твердость и целеустремленность. Став борцами за святое дело революции, Тимошенко и Жуков мужественно преодолевали трудный путь дальнейшего формирования, пройдя через огонь битв, через многие годы последовательного и глубокого постижения в службе и учебе норм и законов жизни армии и искусства ее боевого применения — от подразделений до высших войсковых формирований, включая затем их несметную совокупность.

Маршал Тимошенко стал народным комиссаром обороны только после недавней финской войны, но уже успел сделать многое в перестройке системы боевого обучения войск, укрепления дисциплины и в насыщении армии новейшим вооружением. С его приходом на пост наркома армия во всех своих звеньях почувствовала твердую руку. Жесткие нововведения маршала воспринимались безропотно, ибо слишком очевидна была их целесообразность перед лицом зримо грядущей войны.

Генерал армии Жуков лишь с января этого года занял пост начальника Генерального штаба. Несколько раньше пришел в Генштаб генерал-лейтенант Ватутин — спокойный, мыслящий с неторопливой обстоятельностью, постигший глубины военной теории и практического командирского опыта.

Молчание становилось мучительно-тягостным. В это время в кабинет стали входить члены Политбюро — Калинин, Молотов, Ворошилов, Микоян... То ли потому, что все сегодня уже встречались со Сталиным или перезванивались по телефону, за руку не здоровались, а, кивнув, проходили к длинному столу, занимавшему справа вдоль стены обширную часть кабинета, и молча усаживались на стулья. Тревожное, напряженное безмолвие: все знали, о чем пойдет сейчас речь.

Привычными движениями пальцев Сталин сломал две папиросы и заправил табаком трубку. Несколько раз пососал черный мундштук, затем, взглянув на трубку с брезгливым раздражением, положил ее в пепельницу. Выпрямившись в кресле, обвел собравшихся долгим взглядом и, обращаясь к членам Политбюро, как-то очень буднично и спокойно пересказал последние сообщения с границы.

— Что будем делать? — после небольшой паузы глухо спросил он.

Все молчали. Всем было ясно, что наступил критический час в жизни государства. И этот беспредельно трудный и совершенно ясный вопрос требовал не просто ответа, а ответа-решения.

Вновь скользнув глазами по сосредоточенным и словно потемневшим лицам членов Политбюро, Сталин повернулся к маршалу Тимошенко и повторил вопрос с некоторой строгостью:

— Что будем делать?

— Надо немедленно дать директиву о приведении всех войск приграничных округов в полную боевую готовность! — ответил народный комиссар обороны, сдерживая волнение.

— Читайте! — сказал Сталин, выразительно посмотрев на красную папку, которую держал наготове генерал армии Жуков, сидевший между Тимошенко и Ватутиным.

Жуков открыл папку, встал и, чеканя каждую фразу, громко и внятно, будто отдавая приказ командующим округами и армиями, начал читать проект директивы. Коренастый и крутогрудый, он всем своим видом — волевым, чуть выдающимся вперед подбородком, смелым разлетом бровей над глазами, смотревшими жестковато и требовательно, твердой интонацией голоса, привыкшего приказывать, — как бы олице-

творял высшую и непреклонную власть в армии. Чувствовалось, что, читая документ, Жуков почти воочию видит, как поэшелонно развертываются в боевые порядки фронты и армии, как занимает огневые позиции артиллерия и изготавливаются к боевым действиям авиационные полки.

Когда Жуков окончил читать, Сталин опустил голову, забарабанил пальцами по столу и после короткого раздумья сказал:

— Такую директиву сейчас давать преждевременно, может быть, вопрос еще уладится мирным путем. — Он посмотрел в сторону сидящих за столом членов Политбюро, как бы ожидая от них поддержки. — Надо дать короткую директиву, — развивал мысль Сталин, заметив, как Ворошилов утвердительно кивнул, — в которой указать, что нападение может начаться с провокационных действий немецких частей. Войска приграничных округов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений.

Жуков нетерпеливо и вопросительно-тревожно посмотрел на маршала Тимошенко. Тот понял его и обратился к Сталину:

— Товарищ Сталин, время не терпит... Разрешите здесь же приготовить новый проект директивы.

— Конечно, — согласился Сталин и, переждав, пока Жуков и Ватутин торопливо выходили из кабинета, чтобы в соседней комнате засесть за срочную работу, спросил у Молотова: — Когда будет германский посол?

— В двадцать один тридцать, товарищ Сталин, — ответил Молотов.

Жуков и Ватутин вернулись в кабинет довольно скоро: время действительно не терпело.

— Разрешите доложить? — спросил генерал армии, приблизившись к столу Сталина.

— Читайте. — Сталин кивнул.

Жуков раскрыл на приподнятых руках папку и, возвыся голос, начал читать:

— «Военным советам Ленинградского Военного Округа, Прибалтийского Особого Военного Округа, Западного Особого Военного Округа, Киевского Особого Военного Округа, Одесского Военного Округа... Копия: Народному комиссару Военно-Морского Флота...»

Далее в директиве указывалось, что в течение двадцать второго — двадцать третьего июня возможно внезапное нападение немцев на фронтах всех перечисленных выше округов и что нападение может начаться с провокационных действий. Перед войсками ставилась задача, не поддаваясь ни на какие провокационные действия, в полной боевой готовности встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников.

Жуков сделал паузу, посмотрел на Сталина, на маршала Тимошенко и, переведя дыхание, твердо и спокойно изрек:

— Приказываю...

Это «приказываю» прозвучало как удар, отсекший мирное течение жизни. Впрочем, мир, как состояние человечества, подталкивался на плаху там, на Западе, всей мощью фашистских войск, нависших над границами Советского Союза. Здесь же, на кремлевской высоте, этому противились всей силой разума, вкладывая даже в приказ о боевом развертывании армий возможность избежать войны.

Немая тишина кабинета словно сделалась прозрачной, в ней с холодной категоричностью гремели увесистые, будто отлитые из тяжелого металла, слова приказа:

«а) в течение ночи на двадцать второе июня сорок первого года скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе;

б) перед рассветом двадцать второго июня сорок первого года рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать;

в) все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредоточенно и замаскированно;

г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов;

д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить.

Двадцать первого июня сорок первого года».

Жуков умолк, присел на стул, покосился на Сталина, а тот, чуть помедлив в раздумье, протянул руку к Жукову, взял у него раскрытую папку, положив ее на столе перед собой, начал внимательно перечитывать написанный от руки документ, держа наготове красный карандаш. Когда дошел до фразы «Задача наших войск не поддаваться ни на какие провокационные действия», сделал из точки запятую и дописал: «могущие вызвать крупные осложнения».

Когда закончил читать, спросил у членов Политбюро, все ли согласны с директивой войскам, и, не услышав возражений, передал папку маршалу Тимошенко.

— Подписывайте, и с богом.

Директиву подписали Тимошенко и Жуков. Генерал-лейтенант Ватутин тут же увез ее в Генеральный штаб для передачи в штабы военных округов.

## 12

Ровно в двадцать один час тридцать минут в кабинет заместителя Председателя Совнаркома и наркома иностранных дел вошли германский посол граф фон Шуленбург, его переводчик — советник немецкого посольства Хильгер и советский переводчик. Молотов вышел из-за стола навстречу дипломатам, пожал им руки.

Граф Шуленбург был в черном фраке, от него пахло сигарой, коньяком и загородной свежестью. Всем своим видом, непринужденностью он старался демонстрировать безмятежность и некоторое удивление неурочным приглашением в Кремль. Но за напускной беспечностью посла Молотов уловил в его глазах, в голосе, в жестах подавленность. Сухопарый Хильгер тоже как-то неестественно сутулился, таил в глазах растерянность и даже испуг, будто не Германия грозила войной Советскому Союзу, а наоборот.

Пригласив немецких дипломатов сесть, Молотов прочел им заявление Советского правительства, которое сегодня утром было передано советскому послу в Берлине, и выразил удивление, что ни имперский министр господин Риббентроп, ни его первый заместитель статс-секретарь барон фон Вейцзеккер до сих пор не нашли времени принять представителей советского посольства. Молотов просил германского посла без малейшего промедления связаться со своим правительством и довести до его сведения заявление Советского правительства. Далее он спросил, не смог бы господин Шуленбург сказать, какие у Германии есть претензии к Советскому Союзу, чем объяснить слухи о близкой войне между Германией и СССР, а также почему германское правительство никак не отреагировало на миролюбивое сообщение ТАСС от 14 июня.

Слушая все это, Фридрих Шуленбург горестно вздыхал, беспомощно разводил руками, явственно давая понять, что он не готов к таким переговорам, так как не имеет указаний из Берлина.

Молотов с сожалением смотрел на немецкого графа. Шуленбург — старый немецкий разведчик; еще в царской России был германским консулом где-то на Кавказе, немного говорил по-русски. Так и оставался он высокопоставленным чиновником, не поднявшись до мудрого политика и осведомленного дипломата.

Сделав усилие над собой, Молотов еще попытался задавать вопросы. Но, увидев в глазах Шуленбурга отчужденность, поспешил закончить встречу.

Шуленбург и Хильгер уехали, возможно и сами не ведая, что через несколько часов снова окажутся в этом кабинете.

Где-то после трех часов ночи на даче Молотова раздался телефонный звонок. Трубку поднял дежурный. Звонили из Наркомата иностранных дел...

Дежурный разбудил наркома и доложил, что ему надо приехать в Кремль: германский посол Шуленбург требует немедленно принять его для передачи очень важного и неотложного меморандума германского правительства.

Что это мог быть за меморандум, Молотову было ясно. Он позвонил Сталину.

Вскоре Молотов был уже в Кремле, в своем кабинете, и молча всматривался в бледное лицо немецкого посла. Граф Шуленбург держал в трясущихся руках бумаги и, стоя, читал вслух текст меморандума Гитлера. Выговаривая срывающимся голосом каждую фразу в отдельности, он затем пережидал, пока советник Хильгер пересказывал ее по-русски... Трудно было германским дипломатам: в меморандуме Гитлера излагались нелепейшие обвинения в адрес Советского Союза. Будто бы он, Советский Союз, ведет усиленную концентрацию войск на германской границе, будто бы советские солдаты и самолеты вторгаются на германскую территорию.

Шуленбург, вынув из кармана платок, уже не прятал его, часто вытирая обливающееся холодным потом лицо. А у сухопарого Хильгера нервы совсем не выдержали: пришлось прервать чтение, пока советник пил воду, стуча зубами о стакан.

Тяжело давалась Шуленбургу и Хильгеру каждая новая фраза — плод грубого, топорного вымысла, сочиненного в Берлине. В меморандуме утверждалось, что «главное командование русских на различных участках германской границы готово в любой момент начать агрессивные действия», что «большевистская Москва готова нанести удар с тыла национал-социалистской Германии» и что заветная цель Гитлера — «спасти всю мировую цивилизацию от смертельной опасности большевизма и проложить путь к действительному социальному подъему в Европе...».

В кабинете Сталина тем временем собрались члены Политбюро, нарком обороны Тимошенко и начальник Генерального штаба Жуков. Сталин молча прохаживался по ковру. Все ждали появления Молотова.

Тяжкое это было время... К нему часто будут обращать взор летописцы, философы и златоусты всех континентов. Найдутся среди них и такие, которые позволят себе судить о событиях тех дней без должного понимания их сложной трагичности и рассматривать их с позиций некоего философско-исторического дальтонизма. А иные, стыдливо позабыв о бывших своих верованиях и публичных утверждениях, станут искать маятник «нового» времени и нередко скрип флюгера на чужой

крыше принимать за голос истины. Эти люди при определенных гарантиях безопасности для себя, когда страх за свое благополучие не смущает их сердца, скоры на первое слово и на сомнительное дело. Они ревностно начнут высекать своими перьями искры из колеса истории и выдавать их за лучи правды. Глядя в прошлое через призму своего распаленного воображения, они будут замешивать истину на лжи и на собственном невежестве, преподнося плоды трудов своих как озарение гениев, воссоздающих подлинную и всеобъемлющую историю.

Но, к великому счастью истории, неодолимы те силы, которые защищают истину.

## 13

Ирина Чумакова никогда раньше не замечала, что Венера в вечереющем небе горит таким весело-голубым, вызывающе ярким огнем. Вечерняя звезда... Невозможно оторвать глаз от далекого загадочного светила! И этот угасающий субботний день тоже какой-то необыкновенный, наполняющий сердце несмелой, тихой радостью и счастливой тревогой.

Нева дышала теплотой уходящего июня и свежестью северных озер. Давно слинял багрянец заката на ее беспокойной глади. А Ирина и Виктор стояли на набережной и глядели, как сквозь белую ночь безмятежно и безучастно ко всему струилась река, чуть колебля в потрясающей глубине одинокую планету. Виктор, впрочем, больше смотрел на Ирину. Его темные глаза выражали сумятицу чувств: счастье, восторг, мольбу... И голос у него приглушенный, взволнованный; в его звучании слышалось еще что-то смущенно-мальчишеское и уже по-мужски решительное. В каждой фразе Виктора — беспомощность оттого, что все так случилось, отчаяние, что близится час разлуки; и такая нежданно-самоотверженная доверительность! Ирина краснела, прятала глаза от его умоляющих глаз, но все-таки прощала казавшиеся стыдными слова о любви, которых бы не потерпела, произнеси их так напрямик Олег Вербицкий.

Бедный Олежка! Он и не подозревал, почему Ирина не захотела встретиться сегодня с ним... Только вчера был шумно-торжественный выпускной вечер в школе. Только сегодня при восходе солнца разбрелся с Невского их бывший десятый «Б». Ирину провожал домой Олег Вербицкий и робко говорил о вечной дружбе, верности, о том, какое было бы счастье, если б они прошли всю жизнь вот так, рука об руку.

Ирина слушала Олега с чувством виноватости перед ним и думала о летчике-лейтенанте Викторе, который неизвестно как оказался на их выпускном балу. Летчик поразил всех своей ладностью, красными шевронами на рукавах, голубыми в золотых позументах петлицами с красными кубиками и серебристыми пропеллерами.

Ирина не особенно восхитилась лейтенантом. К армейской форме она привыкла с детства. Отец ее, всю жизнь военный, сейчас генерал. Но лейтенант озадачил тем, что, появившись в зале, стал кого-то высматривать среди девушек; увидев ее, радостно и растерянно заулыбался и чуть заметно кивнул. Ирина смутилась, подумала: может, случилось что и лейтенант пришел за ней по поручению отца, хотя отец еще позавчера вечером уехал к новому месту службы, и сделала навстречу летчику неосознанный шаг. Лейтенант подошел, в это время заиграла музыка, и он протянул руку, приглашая к танцу. Все, кто наблюдал за этой встречей, решили, что Ирина и лейтенант давно знакомы.

Лейтенант действительно сказал:

— Я вас знаю. Вы Ирина Чумакова. Меня зовут Виктором. Мне давно... Я давно ищу случая поговорить с вами...

По интонации его голоса, по румянцу, пробившемуся на щеках сквозь густой загар, Ирина поняла, что он очень смущен, взволнован, заметила даже легкую испарину на его высоком лбу.

— Я выгляжу круглым дураком, правда? — как бы извиняясь, спросил он. — Ну и пусть!.. Я вам все расскажу. Другого выхода у меня не было, вот я и пришел.

Ирина уже смотрела на Виктора с нетерпеливым любопытством. Что за объединяющая их тайна вдруг пролегла зыбким мосточком между ними?

Танцевали вальс. Ирина сразу почувствовала уверенность, с какой Виктор кружил ее. Постепенно улетучивалась тревога, было даже смешно, что дрогнуло в испуге сердце, когда Виктор кивнул ей головой. Как хорошо, что сделала ему навстречу шаг!.. Ну и пусть сердится Олег, ее верный рыцарь, с которым два года сидела за одной партой. Пусть шушукаются девчонки. Она будет вот так, смеющимися глазами смотреть в эти несмело зовущие, восторженные глаза, в его мужественное, загорелое лицо, такое чистое и юное.

Потом Виктор приглашал Ирину танцевать еще и еще. Она ловила на себе завистливые и осуждающие взгляды подруг, видела, что долговязый Олег Вербицкий, не вынимая рук из карманов, с напускной веселостью что-то рассказывал окружившим его ребятам и нарочито не обращал на нее внимания.

После очередного танца к Виктору подошел один из дружков Олега, что-то шепнул ему, и они вышли из зала. Исчез и Олег. Ирина сделала вид, что ничего не заметила, ей даже льстило, что сейчас где-то в коридоре или на лестнице стоят друг против друга, как петухи, Олег и Виктор... Тревожилась только, чтобы не было скандала, и боялась, что после объяснения с Олегом Виктор больше не подойдет к ней и она не узнает о том, несомненно, очень важном, что должен был сказать этот симпатичный лейтенант.

Но Виктор подошел к ней сразу же, как появился в зале, чуть побледневший и возбужденный. Заиграла музыка, и они привычно вошли в круг. Виктор тотчас же заговорил:

— Меня предупредили, что я раздражаю своим присутствием одного вашего поклонника.

— А вы не обращайте внимания, у меня много поклонников, — не без кокетства, чтобы скрыть тревогу, ответила Ирина.

Виктор, будто не расслышав ее слов, сумрачно заметил:

— Он ревнив больше самого Отелло: требует поединка. Я намерен держать себя, как вы скажете.

— А что я должна сказать? Я не знаю.

— Тогда я не отойду от вас до конца вечера и провожу домой. Потом буду с ним драться, хотя лейтенантам это не к лицу. Но он сам желает драки.

— Не надо, умоляю вас! — испуганно зашептала Ирина. — Не надо омрачать такой праздник! Он мой добрый товарищ, а мы с вами впервые встретились....

— Тогда я завтра... нет, это уже сегодня, в семь вечера жду вас у памятника Петру. — Виктор с повелительной мольбой смотрел в тревожную синеву ее глаз. — Иначе мы никогда больше не встретимся. Я в воскресенье на рассвете улетаю. Прошу вас, не отказывайтесь.

— Хорошо, — шепнула она упавшим голосом. — Только уходите без драки.

Чуть побледневший, он покидал зал под насмешливыми взглядами ребят, столпившихся вокруг Олега.

И вот теперь эта встреча на гранитном берегу Невы, этот тихий субботний вечер, не похожий ни на один из вечеров в ее жизни. Ирина узнала, что лейтенант Виктор Рублев послезавтра улетает куда-то далеко от Ленинграда. Он впервые увидел ее, когда два месяца назад десятиклассники приезжали в их летную часть на экскурсию. После того Виктор несколько раз караулил Ирину у школы, но она всегда появлялась на улице вместе с подругами или с Олегом Вербицким.

Вот и все. Никакой тайны. Когда лейтенант Рублев узнал, что надо прощаться с Ленинградом, он решил: сейчас или никогда.

— Если б не улетал, я не посмел бы вот так, сразу, сказать, что люблю. Не сердитесь.

Она не сердилась, хотя была чуть-чуть разочарована. Бог знает, чего только не передумала, спеша на это свидание. Ей грезилось нечто необыкновенно-захватывающее, от чего знобко передергивались плечи; Виктор чудился рыцарем из какой-то сказки, которую, может, сама она подсознательно сочиняла все свое девичество. Очень хотелось поверить, что он ее любит. Но как поверить? Он видел ее только издали...

И все-таки Ирина слушала сбивчивые слова Виктора с замиранием сердца, будто возносилась на страшную высоту, будто уже близилось что-то вечно ожидаемое ею, чуть знакомое по призрачным грезам, по летучим снам. Она даже не вникала в смысл его слов, а сердцем ловила их чистую теплоту и искренность. Удивительно, что вчера еще ничего не было: не было Виктора, не было этой радостной вознесенности и чуть обжигающего щеки стыда...

Что она ему ответит? Нельзя же не сказать каких-то слов, хотя ничего не хотелось говорить, нельзя рассмеяться ему в лицо, как не раз делала, когда ей лепетали о любви школьные донжуаны. Виктор — взрослый, двадцатитрехлетний парень, летчик, лейтенант... Это не напускающий на себя важность желторотый Олежка, который больше, чем она, любит мороженое и конфеты... И она уже не девочка-школьница. Сегодня, вероятно, впервые в жизни Ирина по-настоящему почувствовала себя взрослой и сейчас неосознанно испытывала благодарность к Виктору за то, что именно он пробудил в ней это чувство, и она посмотрела на мир, на себя, на Виктора будто другими глазами — без мимолетности, с радостью за свою взрослость и с робким чувством какой-то серьезной обязанности перед жизнью.

— Ирина, почему вы молчите?.. О чем вы думаете? — Виктор горячечно всматривался в ее точеное лицо, стараясь угадать, что кроется за вспыхнувшим румянцем, за переменчивым блеском темно-синих глаз, смущенной полуулыбкой, залегшей в уголках ее четко очерченных, ярко-свежих губ, над которыми по краям трогательно золотился пушок.

— Все так неожиданно и странно... — Она вздохнула.

— Я понимаю, — торопливо и с тревогой перебил ее Виктор. — Я не требую никаких слов... Прошу об одном: разрешите писать вам и надеяться, что мои письма не будут безответными. На бумаге тоже можно многое сказать...

— Хорошо. Пишите мне пока на почтамт, до востребования. А потом я пришлю вам более точный адрес. Я еще не решила, где буду продолжать учебу — в Ленинграде или в Москве.

— Почему?

— У моего отца такая профессия, что он больше трех-четырех лет не работает на одном месте. — Ирина умышленно умолчала, что отец ее генерал, дабы Виктор думал, будто его лейтенантское звание для нее в диковинку. — А Москва всегда ближе ко всем местам.

Держась за руки, они шли по Марсову полю. Виктор рассказывал о себе, о своем древнем городишке Спасске на Оке, о годах учебы в летном училище, расспрашивал, почему она хочет стать именно инженером. Потом не без плохо скрытого хвастовства распространялся о жизни летчиков, полной необыкновенных приключений и опасностей, а Ирина, слушая его, думала о другом. Окажется ли Виктор именно тем самым избранником сердца?.. Ведь она... не любит его. Еще не любит. С ним приятно, он красивый, он нравится... Но любить, испытывать мучительную страсть, знакомую по книгам, фильмам, спектаклям? Нет, такого у нее нет, да и это приходит, наверное, не сразу. И что это за странная надобность любить?.. Человек любит человека... Но она еще не стала человеком в том смысле, в каком ее учили смотреть на человека в школе, дома, всюду, вокруг. Человек — сеятель добра, творец и созидатель. А что посеяла она? Что умеют ее руки, на что способен ее разум, что принесет она людям?.. Нет, она пока что просто красивая девушка, даже очень красивая (она знает это). И только...

Ирина посмотрела на Виктора и увидела, что его лицо освещено радостью. Он ответил на ее взгляд неожиданными словами, придав им таинственность:

— На нас многие смотрят... Оглядываются. Я знаю почему.

— Почему? — удивилась Ирина.

— Мы... заметные... Понимаете, я говорю о... той привлекательной броскости, которая никому поодиночке не дается, даже такой красивой девушке, как вы. А мужчине тем более. А вот когда вдвоем... Есть такое хорошее слово: гармония. Это как один цветок — еще не букет, а один звук — не музыка... Впрочем, вы и сама — уже потрясающая песня!.. А я... пусть буду вашим музыкальным сопровождением... Хорошо? — И он, радуясь необычности вдруг родившихся, а может, позаимствованных откуда-то мыслей, не ощущая их банальности, засмеялся весело, заразительно, по-мальчишески.

Потом, после небольшой паузы, заговорил уже серьезно, с ноткой грусти:

— Нет, верно... Вот гляжу на людей, которые засматриваются на нас, и знаю, что они думают... Они угадывают, что я бесконечно счастлив рядом с вами и чувствую себя очень глупо от этого счастья, потому, может, и глупости болтаю. Но никто не подозревает, что я будто держу живое серебро в ладонях. Вот-вот проскользнет между пальцами — поминай как звали... Боюсь верить в свое счастье, боюсь его потерять...

Ирина с любопытством посмотрела на гуляющих по Марсову полю. Навстречу по неширокой песчаной дорожке плыл пестрый говорливый поток: парами, одиночками, группами; юные, молодые, пожилые, старые. Многие действительно смотрели на них. Но что особенного? Ирине даже нравилось дразнить своей красотой парней и девушек; в их восторженных или завистливых глазах она будто черпала какую-то силу, будто делалась от их блеска еще красивее и независимее. Однако сейчас ей было по-особому приятно, что ее видят рядом с этим лейтенантом. В то же время напыщенные слова Виктора запоздало рождали необъяснимую тревогу, и она почувствовала тесноту в сердце... Нет-нет, в его словах, конечно же, не чванливое самолюбование, а чистая искренность.

— Мне пора домой, — неожиданно для себя произнесла Ирина. — Я должна... мне надо подумать, разобраться во всем... Виктор, я вам очень благодарна за этот вечер... Я буду ждать ваших писем.

Они расстались за квартал от ее дома. Ирина опасалась, что возле парадного ее подкарауливает Олег. И пошла через проходной двор, чтобы попасть домой с черного хода. Встречаться с Олегом не хотелось

ни на секунду, чтобы ничем не замутить тайные и неясные чувства, которыми была переполнена.

И все равно увидела Олега. Он стоял у тополя, росшего в углу двора, смотрел на темное окно ее комнаты и плакал. Да, плакал, прижавшись щекой к шершавому стволу дерева.

В ней шевельнулась жалость, и Ирина хотела кинуться к своему школьному другу. Но вовремя сообразила: Олег никогда не простит себе, что показал ей свои слезы... Придавленная и виноватая, она попятилась со двора на улицу и с парадного поднялась на второй этаж. Открыла дверь, зашла в квартиру и бесшумно нырнула в свою комнату. Зажгла свет и, чтобы Олег увидел ее, встала перед выходящим во двор окном.

«Милый, добрый Олежка, — с жалостью подумала о нем. — Верный рыцарь моего отрочества... Как мне дороги твои слезы!.. Спасибо тебе... Прости, что я не могу утешить твое любящее сердце... Невеста твоя еще в куклы играет... Прости и прощай...»

Постучалась и тут же вошла мать. Остановилась в дверях — девически стройная для своих сорока лет, как всегда, красивая — и устремила на дочь укоряющие, заплаканные и тем не менее прекрасные глаза. Горькие складочки у губ, выражение душевной боли на иконописном лице напугали Ирину.

— Что случилось, мамочка?

— Где ты пропадаешь?! — Ольга Васильевна заплакала навзрыд. — Умер Нил Игнатович...

— Умер?!

— Позвонила Софья Вениаминовна... — Мать говорила сквозь всхлипывания, прикладывая к глазам платок. — Мы сейчас уезжаем в Москву... А тебя все нет.

— Уезжаем?.. — Ирина только тут заметила, что ее шифоньер открыт, а на стуле возле него собранный мамой чемодан.

— Посмотри сама, что еще из твоего надо взять... Надолго ведь едем...

— Почему надолго?

В кабинете отца зазвонил телефон, и мать заспешила из комнаты, на ходу бросая дочери слова:

— Нельзя Софью Вениаминовну оставлять одну... Кроме нас, у нее больше никого нет.

Ошеломленная, растерянная, Ирина присела на кушетку, отупело прислушалась к телефонному разговору за стеной и поняла, что звонили с вокзала от дежурного военного коменданта: билеты им приготовлены.

Внезапное известие о смерти близкого человека всегда потрясает, сметает все иные мысли и чувства, ввергает в пучину душевной боли и скорби. И даже если умирает просто знакомый, весть об этом вызывает протест и напоминает, что всех, в том числе и тебя, ждет этот рубеж.

Нил Игнатович был для Ирины не очень близким, но и не просто знакомым человеком. «Двоюродный дедушка». Ирина видела его всего лишь несколько раз, когда они бывали в Москве проездом, при переводах отца к новым местам службы. Сейчас Ирина была еще в таком возрасте, когда чужую смерть не связывают с собой. Но это известие — именно сегодня, в этот вечер, в первый вечер ее вольного девичества, когда к ее сердцу прикоснулось волнующее чувство ожидания любви, — это известие показалось ей невероятным, противоестественным.

«Как же теперь я буду получать письма от Виктора?» — некстати мелькнула в ее голове эгоистическая мысль, но тут же угасла.

В комнату вернулась мама, как-то смущенно посмотрела на Ирину,

затем отвернулась к раскрытому шифоньеру и, начав перебирать в нем оставшиеся Иринины платья, сказала:

— Доченька, с нами поедет в Москву Сергей Матвеевич, так что ты не удивляйся.

— Кто это?

— Ну, тот, которого мы завтра ждали в гости.

## 14

Хотя впереди путь неблизкий, выехать из Минска генералу Чумакову удалось только вечером. Задержались потому, что у полковника Карпухина оказалась целая гора дел в штабе округа.

Эмка резво мчалась по ровной дороге в сторону границы, прямо на зависшее над зубчаткой далекого леса солнце, огромное и красное. Зрелище заката всегда захватывало Федора Ксенофонтовича. Незаметно для себя прервав разговор с сидевшим на заднем сиденье Карпухиным, он завороженно всматривался в спокойную красоту клонящегося к горизонту светила, испытывая немой восторг, будто приобщаясь к праздничному таинству. Горизонт казался чистым и прозрачным, но солнечный диск еще задолго до того, как прикоснуться к краю земли, начал срезаться, будто подтаивать снизу... Вот уже не хватало целой краюхи у солнца: чистое небо прятало в своих вечерних далях стены невидимых облаков, за которые и садилось светило. Вскоре над темной гребенкой лесов осталась висеть ровно отсеченная половина солнечного диска, и было похоже, что там, над дальними далями, плывет к земле купол гигантского ярко-красного парашюта... Вот купол делается все меньше и меньше, оседая за невидимую черту, и все явственнее тускнеет над ним небо. А краски земли вокруг неуловимо наливаются мягким бесцветьем...

Мерное гудение мотора, быстрая езда, разлитый вечерний покой над колосящимися полями, над темными рощами и перелесками, простершимися за обочинами дороги, и сама дорога, убегающая прямо в закатное небо, — все это навевало благостность и умиротворение. Куда девались дневные тревоги...

Долго ехали молча, словно убаюканные густеющими сумерками, в которых все больше тонуло пространство. А когда вечер уступил место ночи, глаза уже неотрывно смотрели на покатую блеклую спину дороги, с которой фары сильными лучами, будто золотыми метлами, смахивали темень.

Впереди туманный отсвет электричества. Вскоре показался городишко. Пересекавшая его дорога была, видимо, главной улицей, ибо, когда въехали в город, пришлось сбавить скорость: прямо на освещенной магистрали гуляла молодежь, прохаживались парочки.

За городишком ночь стала гуще. Не заметили, когда пересекли старую границу, затем свернули на грунтовку. В машине терпко запахло пылью...

То и дело попадались мосты, мосточки, мостики: много речек, речушек, ручейков несут воды через земли Белоруссии, обогащая эти земли и обогащаясь от них...

Генерал Чумаков досадовал, что у Карпухина не оказалось с собой карты. Чувствовал себя будто с завязанными глазами. Странное это ощущение, знакомое только военным людям, когда в ночной дороге не ведаешь, где ты находишься и какое расстояние отделяет тебя от места, куда едешь. Временами даже чудится, будто стоишь на одном месте, а из темноты в лучах фар на тебя наплывает незнакомый проселок.

Полковник Карпухин сообщил, что до Крашан, где размещался штаб корпуса, осталось часа два езды.

Эмка вкатила в какое-то местечко. В центре его, на плохо освещенной площади, водитель Манджура заметил колодец и попросил у генерала разрешения остановиться, чтобы долить в радиатор воды и дать мотору небольшую передышку.

Подъехали, вышли из машины. Манджура побежал к ближайшему дому попросить ведро, а Чумаков и Карпухин, задымив папиросами, решили размяться по узенькому тротуару, выложенному из цементных плит с насечкой. Минут через пять услышали сзади вопль Манджуры:

— Стой, зараза!.. Стрелять буду!

Когда, взволнованные, прибежали на голос, увидели, что их водитель сидел верхом на изгороди, отделявшей площадь от большого сада, и кому-то кричал в темноту:

— Стой, гад! Стреляю!..

Но стрелять у красноармейца было не из чего.

Полковник Карпухин, не понимая, что произошло, выхватил из кобуры пистолет, тоже метнулся к изгороди, но за ней — непроглядная чернота ночи.

— Хулиганье несчастное! — почти сквозь слезы рассказывал Манджура. — Я залил радиатор, отнес хозяйке ведро, возвращаюсь, а он уже удирает.

— Кто?

— А разве я знаю? В военном. Проткнул все четыре колеса — и деру.

Только теперь Чумаков и Карпухин расслышали, как из колес эмки с шипением выходит воздух, и разглядели, что машина оседает.

Некоторое время стояли растерянные, недоумевающие. Из ближайших домов стали выходить разбуженные криками люди.

Никто не мог ничего объяснить.

В комплекте эмки было лишь одно запасное колесо. Клеить три остальных было нечем, да и потребовалось бы для этого немало времени.

Полковник Карпухин вопросительно посмотрел на генерала. Чумаков в ответ пожал плечами и сказал:

— А позвонить в Крашаны можно? Чтоб прислали какой-нибудь транспорт.

— Можно, — певуче ответила стоявшая в калитке двора полураздетая молодица. — Почта вон за углом. А то и заночевать есть где. Для военных у нас всегда место найдется.

— Так это она и продырявила колеса, чтоб ночевать остались! — с хриплым хохотком заметил топтавшийся рядом приземистый дедок.

Но Федору Ксенофонтовичу было не до шуток. В сердце закрадывалась смутная тревога.

Оставив Манджуру у машины, Чумаков и Карпухин подошли к почте. Под светящимся окном увидели военный мотоцикл с коляской.

— Номер не наш, — с сожалением сказал Карпухин, осмотрев мотоцикл.

Поднявшись на крыльцо, вошли в небольшую комнату, перегороженную фанерной стенкой с тремя окошками; за одним из них сидела перед коммутатором молоденькая телефонистка, она же и телеграфистка. А по эту сторону, у низенького почтового стола, дремал на табуретке майор с черными петлицами инженерных войск. При виде вошедших майор вскочил, принял стойку «смирно» и кивком седеющей головы отдал честь. Его фуражка с черным околышем лежала на столике, рядом с банкой клея и чернильницей.

Лицо майора было коричневое от загара, огрубелое, в нижней половине отяжеленное, нос крупный, чуть нависший над тонкими губами, брови выгоревшие, почти незаметные, а под ними глубоко сидящие, настороженные глаза. Может, эти цепкие, мгновенно сбросившие дрему глаза, покрасневшие от усталости, и заставили Федора Ксенофонтовича обратить внимание на майора. После того как полковник Карпухин деловито попросил телефонистку срочно соединить его с Крашанами и назвал позывной военного коммутатора, генерал Чумаков заговорил с майором:

— Садитесь, пожалуйста, товарищ майор... А вас что, служба или личные дела здесь держат?

— Служба, — с готовностью ответил майор и присел на табуретку лишь после того, как генерал и полковник уселись рядом на крашеную скамейку со спинкой.

— Мотоцикл ваш? — включился в разговор Карпухин.

— Мой.

— Что-то я номера такого у нас не помню.

— Мы дорожники фронтового подчинения, — пояснил майор. — Мостами занимаемся...

— Позвольте, что значит «фронтового подчинения»? — удивился Федор Ксенофонтович.

Майор отвел глаза в сторону, будто смутился, потом посмотрел на телефонистку и, понизив голос, ответил:

— Ну, в смысле окружного подчинения... Сами понимаете... Штаб округа в любой час может стать штабом фронта. Время такое...

Федор Ксенофонтович с досадой подумал о том, что майор из дорожного батальона с большей определенностью говорит о близком начале войны, чем говорил командующий округом.

— Вам что-нибудь известно? — спросил он, требовательно глядя на майора.

— Нас предупредили, что надо быть готовыми, — уклончиво ответил майор и посмотрел на наручные часы. — Я жду звонка из Белостока от наших. Там, может, уже что-нибудь известно.

Ни генерал Чумаков, ни полковник Карпухин и в мыслях не могли держать, что перед ними сидел один из множества переодетых немецких диверсантов, заброшенных в приграничные районы. И самое удивительное, что «майор» им почти ничего не врал. Он действительно входил в отряд, который приготовился к диверсиям на дорогах предполагаемого отступления частей Красной Армии как раз в полосе корпуса, который ехал принимать Чумаков. «Майор» действительно ждал звонка из Белостока от своих, ибо до начала войны диверсантам было запрещено вести переговоры по рациям, и, как в насмешку над нашей беспечностью, они пока пользовались телефонной связью, взаимопроверяя, как удалась заброска на советскую территорию диверсионных отрядов на разных участках.

— Крашаны!.. Крашаны!.. — монотонно ворковала за перегородкой телефонистка.

«Майор» снова посмотрел на часы и сказал то ли со вздохом облегчения, то ли с досадой:

— Назначенное мне время истекло. Звонка уже не будет. — Затем повернулся к окошку, за которым сидела телефонистка: — Девушка, если ответят Крашаны, спросите, пожалуйста, заодно, есть ли у них связь с Белостоком.

Телефонистка в это время как раз установила связь.

— Крашаны?.. Тамарочка, ты? Не спи, миленькая, дай мне линию для военного начальства. — Она с любопытством повела в окошко кра-

сивыми глазами на генерала Чумакова.— Соедини, золотце, с «Черепахой»... Что?! На повреждении?.. А Белосток?.. Ясненько.

Выдернув из гнезд коммутатора шнуры, телефонистка с сожалением посмотрела на военных и, подперев маленьким кулачком нежный подбородок, участливо спросила:

— Что будем делать? «Черепаха» на повреждении, а с Белостоком тоже почему-то связи нет...

— Ну и порядки! — с укоризной произнес Федор Ксенофонтович.— Тут колеса дырявят, там линия не работает...

— Чертовщина какая-то! — сумрачно ответил Карпухин и обратился к телефонистке: — Пожалуйста, продолжайте вызывать «Черепаху».

— А что с колесами? — заинтересовался «майор», поднимаясь и надевая фуражку.

Когда Карпухин, не скрывая гнева, объяснил ему, «майор», поразмыслив и как-то оценивающе посмотрев на генерала Чумакова, неуверенно сказал:

— Я еду в направлении Крашан... Могу, товарищ генерал, вас завезти.

— А двоих? — ухватился за это предложение полковник Карпухин.— Возьмите нас двоих... Как ваша фамилия?

— Птицын... Не могу двоих, у меня за рулем боец. А коляска, пожалуйста, в вашем распоряжении. — Он посмотрел на генерала выжидающе-настороженными глазами.

— Нет, это не дело. — Федор Ксенофонтович поморщился и перевел взгляд на Карпухина. — Как, Степан Степанович?.. Явиться в незнакомый штаб среди ночи одному, объясняться...

— Может, мне смотаться за машиной, — с готовностью предложил Карпухин.

Чумаков призадумался, затем поднял к глазам руку с часами и ответил:

— Это займет много времени... Я не думаю, чтобы связь долго отсутствовала.

Телефонистка, внимательно прислушивавшаяся к разговору военных, снова начала вызывать «Черепаху», а «майор» Птицын, надев фуражку и приложив руку к козырьку, спросил:

— Разрешите быть свободным, товарищ генерал?

— Пожалуйста.

Щелкнув каблуками, «майор» вышел.

Если б можно было увидеть из освещенной комнаты почты ее крыльцо, окутанное сумраком ночи! На нем в напряженной нерешительности остановился «майор» Птицын, он же Владимир Глинский — бежавший во время гражданской войны за границу отпрыск русского графа. Противоречивые чувства волновали сейчас Глинского. Конечно, недурно было бы привезти в лес, на базу своей абвергруппы, если не генерала, то хоть этого долговязого полковника. Впрочем, нет. Пленные свяжут отряду руки... Можно, конечно, разрядить сейчас в них свой пистолет и успеть скрыться: благо, водитель уже сидел в готовности за рулем мотоцикла...

Глинский медленно начал спускаться с крыльца. Надо было спешить в лес, где его люди дежурили у включенной рации. Пока не поступил по радио условный сигнал, пока по ту сторону границы в отмеченных на картах деревнях не запылали пожары — знак для начала действий абвергрупп, — было запрещено совершать диверсии или убийства. Иначе события могли сложиться, как в прошлом году во Франции: некоторые группы поспешили начать в тылу французов разрушитель-

ную работу, а срок вторжения германских войск был перенесен. И многие поплатились жизнью.

А может, радисты уже и приняли сигнал, если нарушилась телефонная связь? Глинский оглянулся на светящееся окно. Однако тут же ему подумалось, что дорога на Крашаны все равно будет под контролем диверсантов: никуда генерал не денется.

Глинский сел в коляску мотоцикла и зло зашипел на водителя — рослого рыжего парня в красноармейской форме:

— Это ты над колесами их машины поработал?

— Я.

— Черт тебя побери! Почему без приказа?

Генерал Чумаков и полковник Карпухин услышали, как под окнами взревел мотоцикл, затем его клекочущий рокот стал удаляться.

Федора Ксенофонтовича клонило ко сну, и он откинулся на спинку скамейки, закрыв глаза.

— Крашаны... Как «Черепаха»?.. Как «Черепаха»? — доносился из-за перегородки мягкий, убаюкивающий голос телефонистки.

Дрема была хоть и напряженно-чуткой, но в ее сладком тумане потерялось ощущение времени. Генерал Чумаков несколько раз вырывался из вязкого покоя, с трудом открывая глаза, и видел застывшего на табуретке с потухшей папиросой в губах Карпухина: полковник тоже дремал. Трудно сказать, как скоро в этом сонном безвременье послышался шум подъехавшей машины... Хлопнула дверца, затем затопали шаги на ступеньках крыльца почты. Федор Ксенофонтович стряхнул с себя сон и увидел на пороге красноармейца Манджуру.

— Товарищ генерал, машина готова! — доложил он, и в усталом голосе его прозвучали радость, облегчение и виноватость.

— Каким образом? — удивился полковник Карпухин, торопливо поднимая упавшую на пол фуражку.

— Тут недалече шофер из МТС живет, — пояснил Манджура. — Пришлось побеспокоить.

Генерал Чумаков поднялся и озабоченно спросил:

— А связи с «Черепахой» так и нет?

— Даже Крашаны больше не отвечают, — с удивлением и тревогой ответила телефонистка. — Такое впечатление, будто оборвалась линия.

Простившись с этой милой девушкой, все вышли на крыльцо и увидели, что уличные фонари потушены. Ночь наливалась пепельной бледностью, в которой зачинался рассвет; мирно дремавшие дома напротив обрели очертания, а сад за изгородью, куда удрал ночью проткнувший колеса человек, уже не был пугающе-таинственным, хотя в глубине его еще теснились сумерки. Пустынная улица, рассекавшая городишко, показалась более широкой, чем ночью, а ее убегавший на восток конец будто утыкался в самую зарю, полыхавшую ярко и безмолвно. Было похоже, что там, по далекому краю неба, прошлись гигантские плуги, оставив за собой кровавые борозды.

В машину усаживались молча и неторопливо, словно стыдились своей поспешностью напомнить друг другу о беспомощности, которую испытали ночью. Но эту неторопливость будто взялась наверстать эмка. Она побежала по веерной брусчатке с упругой резвостью и вскоре вынесла их за окраинные домики, на ровный грунтовой шлях, простершийся меж седыми от тяжелой росы лугами. Где-то впереди угадывалась речка, ибо луга там раздвинулись еще шире, размашисто открывая простор, над которым светлеющее на западе небо гасило последние звезды.

Обычно, когда Федору Ксенофонтовичу приходилось впервые ехать по незнакомой земле, он всегда испытывал радость новизны и какого-то

открытия для себя, поражаясь неповторимости и многообразию ландшафта и красок. Но сейчас эта радость была вытеснена тревогой, которая родилась, может, еще в Москве или в Минске, но особенно остро прикоснулась к сердцу этой ночью, когда кому-то понадобилось продырявить колеса их машины и когда выяснилось, что нарушена телефонная связь. Тревога эта не позволила сосредоточить мысли на том, с чего он должен будет начать свою деятельность командира механизированного корпуса, хотя свои обязанности, структуру и задачи корпуса Федор Ксенофонтович знал как нельзя лучше, ибо сам принимал участие в их разработке, в практическом и теоретическом их обосновании.

Механизированный корпус виделся ему как самое подвижное оперативно-тактическое соединение, способное, если учитывать угрозу нападения, намертво удерживать рубежи в оперативной глубине до подхода главных сил армии, наносить стремительные и сокрушительные контрудары по прорвавшимся подвижным группам врага, решать в составе армии задачи прорыва фронта и разгрома противника на всю глубину его обороны. И конечно, самостоятельные действия по открытым флангам и тылам противника и преследование... Но все это в будущем... Все это окажется возможным лишь тогда, когда две танковые и одна механизированная дивизии, составляющие корпус, будут полностью... ну, пусть хотя бы на три четверти, укомплектованы людьми и боевой техникой. Однако и этого еще мало: надо обучить штабы и подразделения, для чего также потребуется время...

Шофер Манджура выжимал из машины все, что мог, и столбы линии связи, мелькавшие за обочиной, будто отсчитывали скорость, с которой эмка мчалась по дороге. Когда проскочили небольшую рощу, Федор Ксенофонтович не поверил своим глазам: за мостком, что пересекал впереди дорогу, столбы лежали на земле — подпиленные, с разбитыми чашками-изоляторами, с поникшими, порубленными проводами.

— Вот вам и причина отсутствия связи! — с волнением воскликнул полковник Карпухин. — Чья работа? Надо бы остановиться да посмотреть.

Но не остановились: и так было ясно, что здесь поработала опытная вражеская рука... И от сознания этого недалекий лес справа уже таил в себе опасность, а пустынность дороги тоже казалась угрожающей. Однако все-таки не хотелось верить, что этот зловещий след — признак войны, что враг уже где-то рядом!

Выехали на пригорок, и Федор Ксенофонтович вдруг заметил над горизонтом какое-то черное ожерелье. Оно будто неподвижно висело в рассветном небе. И уже не отрывал от него взгляда: догадался — самолеты. Много самолетов.

— И вон левее тоже летят, — сказал тихо.

Беспокойно заворочался на заднем сиденье Карпухин. Пригнув голову над передней спинкой, он вглядывался в небо и будто простонал:

— Немцы... Неужели действительно война?.. Или очередная провокация?..

— Война, — сумрачно сказал Чумаков. Он теперь видел и слева армаду машин в подрумяненной выси. Еще минута — и передний косяк сверкнул огнями. Это отразились в стеклах кабин лучи восходящего солнца, еще невидимого с земли.

— А может, наши? — неуверенно высказал предположение Карпухин.

В груди Федора Ксенофонтовича тоже шевельнулась надежда: вдруг это учения нашей авиации? И он притронулся рукой к локтю Манджуры:

— Остановитесь.

Машина замедлила бег и остановилась на обочине. Все вышли на дорогу. Самолеты грохотали уже почти над головами. Высвеченные лучами солнца из-за горизонта, они больше не казались черными. Чернели только кресты в белой обводке на желтоватых крыльях.

— Идут на Минск, — прошептал генерал Чумаков. — Будем надеяться, что наблюдательные посты не дремлют.

## 15

К Крашанам подъезжали, когда взошло солнце. Небольшой городишко раскинулся в долине за поросшей кустарником неширокой речкой Морошей, которая сейчас была покрыта облачками нежно-голубого, почти прозрачного тумана. Крыши домов на возвышенности за речкой, и их белые стены, и окна, выглядывавшие из густой зелени деревьев, мирно светились и розовели в утренних лучах, и сама зелень тоже будто была облита живым, веселым золотом.

Справа над Крашанами воткнулся в небо стрельчатый костел, а за ним виднелись здания военного городка. Там же находился и штаб корпуса.

На предельной скорости машина мчалась по безлюдным улицам. В Крашанах еще никто не знал, как ничего не знали и в военном городке.

Когда эмка подлетела к шлагбауму, навстречу проворно выбежал сержант с раскосыми глазами — дежурный по контрольно-пропускному пункту. Узнав штабную машину и увидев начальство, он поднял шлагбаум. Эмка проехала под ним и тут же остановилась. Из нее выскочил полковник Карпухин и, не отвечая на приветствие сержанта, кинулся в будку, где был телефон.

Сидя в машине, Федор Ксенофонтович слышал, как Карпухин взволнованно спрашивал оперативного дежурного, есть ли какие-нибудь приказы, шифровки, распоряжения. Тут же полковник вышел из будки и доложил генералу Чумакову:

— Проводная связь со штабом армии и штабами дивизий не работает. Рацию забивают непроходимыми помехами. Никаких приказов не поступало.

— Объявляйте боевую тревогу гарнизону, — распорядился Чумаков.

Карпухин опять исчез в проходной будке; оттуда стал доноситься его высокий и властный голос. Начальник штаба не только объявлял боевую тревогу, но и приказывал поднять «В ружье!» гарнизонный караул, усилить посты, выслать на линии вооруженных связистов, снабдив их боевыми патронами.

«Молодец», — одобрительно подумал о Карпухине Федор Ксенофонтович.

Над военным городком зазвучали, взрывая тишину, резкие сигналы горна, а когда эмка подкатила к зданию штаба, возле казарм уже выстраивались в колонны штабные подразделения, выезжали из гаражей грузовики. Было четыре часа утра.

От Крашан до границы километров девяносто. И это расстояние поглощало уже сотрясавшие и небо и землю громы войны, которые внезапно обрушились на советские пограничные посты, на полевые биваки саперных и рабочих батальонов в полосе строившихся оборонительных сооружений, на передовые части, располагавшиеся в досягаемости снарядов тяжелой артиллерии. Фашисты напали по всем правилам внезапности. Но в Крашанах об этом еще не было известно, хотя, повинуясь при-

казу только что прибывшего командира, гарнизон военного городка колоннами быстро уходил из местечка к заранее намеченным местам сбора — в заросшие кустарником овраги над речкой Морошей.

Генерал Чумаков в сопровождении Карпухина и встретившего их рапортом «никаких происшествий не случилось» оперативного дежурного — сверкающего новенькой формой и начищенными хромовыми сапогами капитана — зашел в кабинет, на дверях которого красовалась табличка: «Командир части». В кабинете увидел двухтумбовый стол, телефонный аппарат на столе, железный шкаф в углу и большую карту Европы на стене.

«С чего начинать?» — подумал Федор Ксенофонтович.

Воздух в кабинете был затхлым, и полковник Карпухин подошел к окну, чтобы открыть его. В это время стекла в рамах вдруг тихо и дробно зазвенели: откуда-то издалека докатился приглушенный грохот. Карпухин на мгновение замер с поднятой к окну рукой, потом, щелкнув задвижкой, толчком распахнул рамы, и все услышали грохот отчетливее — уже не протяжный, а сотканный из отдельных взрывов.

— Боюсь, что бомбят штаб армии, — тихо проговорил Карпухин. — Или аэродром... А зенитчики наши проходят сборы на окружном полигоне под Минском — осваивают новую оптическую технику.

В кабинет вместе с далекими раскатами вливалась свежесть.

— Связь, Степан Степанович!.. Нужна связь с командующим и с дивизиями! — Генерал Чумаков требовательно, кажется, с мольбой посмотрел на полковника Карпухина, на растерянного оперативного дежурного.

Карпухин кинулся к стоявшему на столе телефону, а капитан выбежал из кабинета к своим аппаратам.

— Карту мне с дислокацией! — повелительно крикнул вслед оперативному дежурному Федор Ксенофонтович, видя в окно бегущих с разных сторон к зданию поднятых по тревоге штабных командиров.

Как же быть? Что ему, генералу Чумакову, делать сейчас, если он даже не успел отдать и довести до сведения командиров дивизий и начальников служб приказ о своем вступлении в должность командира корпуса? Как поступить, если нет никаких указаний из штаба армии, если отсутствует связь с дивизиями? Их штабы, как это было видно на испещренной условными знаками карте, которую ему только сейчас расстелили на столе, находятся на разных расстояниях от штаба корпуса. Механизированная дивизия — на северо-западе в сорока километрах, танковые — чуть ближе. Полки дивизий тоже далеко друг от друга. Не сразу соберешь их в один кулак. Да и получится ли кулак, если все они пребывают в стадии формирования, если в корпусе не насчитаешь и сотни танков. И тем не менее надо что-то предпринимать, хотя ничего конкретного об обстановке не известно. Действительно ли напали немцы? Или только небывалое провокационное вторжение их авиации? Если же напали, то как широк участок вторжения? И с какой целью — провокация или... война?.. В войну верить не хотелось.

Рассматривая по топографической карте расположение частей и соединений армии, в состав которой входил его корпус, генерал Чумаков обратил внимание на флажок, нанесенный красным карандашом в глубине леса северо-западнее Крашан.

— Это что, командный пункт корпуса? — с надеждой спросил Федор Ксенофонтович у полковника Карпухина, указывая на карту.

— Так точно, — ответил Карпухин. — В лесу, северо-западнее Крашан. Там еще не все готово, но линии связи подведены, есть законсервированная рация.

В это время близко послышались тяжелые, тряхнувшие стены взрывы. Донеслось гудение моторов.

— Самолеты!.. Немецкие!.. — раздался за окном чей-то осипший голос.

— Всем покинуть помещение! — приказал генерал Чумаков, быстро складывая карту.

Из здания штаба торопливо выбегали командиры. Многие — с папками в руках, некоторые, надрываясь, тащили железные ящики с документами. А над военным городком уже разворачивалась группа немецких бомбардировщиков.

Генерал Чумаков, полковник Карпухин и еще несколько командиров только успели добежать от штаба до небольшого, заросшего деревьями кладбища, примыкавшего к костелу, как послышался свист, такой знакомый Федору Ксенофонтовичу по войне в Испании.

— Ложись! Бомбы! — скомандовал генерал Чумаков, падая в канаву, окаймляющую кладбище.

Содрогнулась от ударов пятисоток земля, больно ударили по барабанным перепонкам тяжелые взрывы...

Прижавшиеся к земле люди не видели, как в дыму и пламени разваливалось штабное здание, рушились казармы, дома, в которых жили семьи командиров.

Когда самолеты пошли на второй круг, со стороны жилых зданий донесся надрывный женский вопль — безумный, повергающий всех, кто его услышал, в ужас...

Еще 18 декабря 1940 года в ставке фюрера был утвержден план «Барбаросса» — решительный документ с категоричными формулировками. В нем, в частности, указывалось:

«Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии... Основные силы русских сухопутных войск, находящихся в Западной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого передвижения танковых клиньев. Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено.

Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русские военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать налеты на имперскую территорию Германии.

Конечной целью операции является создание заградительного барьера против Азиатской России по общей линии Волга — Архангельск. Таким образом, в случае необходимости последний индустриальный район, оставшийся у русских на Урале, можно будет парализовать с помощью авиации».

И вот началось... От Черного и до Баренцева моря советская граница содрогнулась от артиллерийских залпов... Первыми под них попали пограничники. 152 германские дивизии пошли в наступление. Армады бомбардировщиков устремились в глубь советской территории... Враг достиг оперативной и тактической внезапности...

Основные силы были сосредоточены в группе армий «Центр», перед которой была поставлена задача — неожиданным уничтожающим ударом массированных сил танков, пехоты и авиации расколоть советский фронт стратегической обороны и молниеносным броском выйти к важнейшим центрам Советского Союза. Директивой на осуществление плана «Барбаросса» предписывалось:

«Группа армий «Центр», сосредоточив свои главные силы на флангах, раскалывает вражеские силы в Белоруссии. Подвижные соединения, наступающие южнее и севернее Минска, своевременно соединяются в

районе Смоленска и, таким образом, создают предпосылки для взаимодействия крупных сил подвижных войск с войсками группы армий «Север» с целью уничтожения сил противника, находящихся в Прибалтике и в районе Ленинграда.

В рамках этой задачи по указаниям командования группы армий «Центр» танковые группы и армии выполняют следующие задачи.

2-я танковая группа, взаимодействуя с 4-й армией, прорывает вражеские пограничные укрепления в районе Кобрина и севернее и, быстро продвигаясь на Слуцк и Минск, во взаимодействии с 3-й танковой группой, наступающей в районе Минска, создает предпосылки для уничтожения войск противника, находящихся между Белостоком и Минском. Ее дальнейшая задача: в тесном взаимодействии с 3-й танковой группой как можно скорее захватить местность в районе Смоленска и южнее его, воспрепятствовать сосредоточению сил противника в верхнем течении Днепра, сохраняя тем самым группе армий «Центр» свободу действий для выполнения последующих задач.

3-я танковая группа во взаимодействии с 9-й армией прорывает вражеские пограничные укрепления севернее Гродно, стремительно продвигается в район севернее Минска и во взаимодействии с наступающей с юго-запада на Минск 2-й танковой группой создает предпосылки для уничтожения сил противника, находящихся между Белостоком и Минском. Последующая задача 3-й танковой группы: тесно взаимодействуя со 2-й танковой группой, ускоренными темпами достигнуть района Витебска и севернее, воспрепятствовать сосредоточению сил противника в районе верхнего течения Двины, обеспечив тем самым группе армий свободу действий в выполнении последующих задач.

4-я армия, нанося главный удар по обе стороны Брест-Литовска, форсирует реку Буг и тем самым открывает дорогу на Минск 2-й танковой группе. Основными силами развивает наступление через реку Шара у Слонима и южнее, используя успех танковых групп, во взаимодействии с 9-й армией уничтожает войска противника, находящиеся между Белостоком и Минском. В дальнейшем эта армия следует за 2-й танковой группой, прикрывая свой левый фланг со стороны Припятских болот, захватывает переправу через реку Березину между Бобруйском и Борисовом и форсирует реку Днепр между Могилевом и севернее.

9-я армия во взаимодействии с 3-й танковой группой наносит главный удар северным крылом по группировке противника, расположенной западнее и севернее Гродно, используя успех танковых групп, стремительно продвигается в направлении Лиды, Вильнюса и уничтожает совместно с 4-й армией силы противника, находящиеся между Белостоком и Минском.

В дальнейшем, следуя за 3-й танковой группой, выходит на реку Западная Двина у Полоцка и юго-восточнее его...»

Не менее грозные задачи разработали стратеги немецкого генерального штаба группам армий «Юг» и «Север», а также отдельным армиям.

Группа немецких армий «Юг» получила согласно плану «Барбаросса» задачу наступать усиленным левым флангом в общем направлении на Киев, имея впереди подвижные части; ее общая задача состояла в том, чтобы уничтожить советские войска западнее Днепра и захватить переправы через Днепр в районе Киева и южнее, создав тем самым предпосылки для продолжения операций восточнее Днепра.

Группе армий «Север» надлежало уничтожить советские войска, действующие в Прибалтике, и захватом портов на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, лишить красный флот его баз...

И еще были взяты на вооружение изуверство, изощренное коварство, обман и жестокость. Целая тайная армия специально подготовленных

головорезов, одетая в форму командиров и политработников Красной Армии, советской милиции и войск НКВД, снабженная искусно подделанными документами и деньгами, вооруженная автоматическим оружием, сделанным на германских заводах по советским образцам, была заброшена накануне войны в тылы советских войск. В ее задачу входило уничтожить как можно больше командиров и политработников Красной Армии, вывести из строя к началу боевых действий проводные средства связи, перехватить и уничтожить делегатов связи между вышестоящими и нижестоящими штабами, нарушить электроснабжение, захватить или взорвать мосты и оборонные предприятия, склады боеприпасов и горючего, сеять перед фронтом наступающих немецких войск панику, распускать провокационные слухи, наводить немецкую авиацию на цели, сообщать германскому командованию о перемещении советских войск.

Все, казалось, учла верхушка третьего рейха и все поставила на карту «молниеносной» войны против Советского Союза.

Девятого января 1941 года, совещаясь в своей ставке с высшими чинами вермахта, Гитлер детальнейше рассмотрел стратегические аспекты и условия, благоприятствующие агрессии против СССР. Полагаясь на свою осведомленность и прозорливость, он с восторженной уверенностью жонглировал факторами, которые играли на руку Германии. Гитлер доказывал, что Красная Армия является «глиняным колоссом без головы», следовательно, в Европе нет силы, способной противостоять Германии, ибо Англия пока не имеет возможности осуществить вторжение на Европейский континент. Франция повержена еще в прошлом году, в балканских странах «изменение обстановки не в пользу Германии исключено». Норвегия тоже находилась прочно в руках немцев. Не до вмешательства в европейские дела будет и Соединенным Штатам Америки, ибо война Германии против Советского Союза и его быстрый разгром развяжут руки Японии для действий в Азии и на Тихом океане.

Итак, все было взвешено фашистами, раздвинуты все военно-политические, социальные и дипломатические шторы, за которыми простиралось близкое будущее, видевшееся Гитлеру радужно-сверкающим. Тем более что действительно удалось ввести в заблуждение советское руководство по поводу истинных сроков начала войны.

И пошел гулять по земле пожар, настолько гигантский, какого история человечества еще не видела. Все, кажется, сулило фашистской Германии близкую, небывалую победу, открывало широкие пути к завоеванию мирового господства и утверждению нацизма на всей планете. Уже был подписан смертный приговор целым народам и народностям.

## 16

Как это трудно — дать начало многим началам, когда рушится с неба смерть, а вокруг пылают дома, кричат раненые, мечутся обезумевшие от ужаса полураздетые дети и женщины!.. И когда ты при этом сам не защищен ни от страха, ни от пуль и осколков, а от тебя ждут решений и спасительных действий — тех самых, которые и явятся началом многих начал.

Трудно бы пришлось Федору Ксенофонтовичу, если б не полковник Карпухин, не полковой комиссар Жилов — заместитель по политчасти, не военинженер первого ранга Лавров — заместитель по технической части... И первый медицинский пункт, и первые грузовики под раненых и для семей начсостава, и первые боеприпасы, отправленные в овраги над речкой Морошей, где сосредоточились штабные подразделения, и первые де-

легаты связи, умчавшиеся в дивизии с приказом поднять полки по боевой тревоге, вывести их из военных городков в скрытые места и ждать дальнейших распоряжений. И еще многое первое, что было сделано и с чего начиналась для них война...

С чем сравнить эти напряженные до предела часы душевной сумятицы? Уже один только Карпухин, жена и двое детей которого остались под развалинами дома, — уже один он будто являл для Федора Ксенофонтовича некое мерило драмы, постигшей это воскресное утро... О Карпухин, Карпухин!.. Из какого сплава у него сердце, из каких нитей нервы?.. Лучше бы, не стыдясь никого, зарыдал... А он только потемнел лицом, да в глазах его засветились пугающие мертвой неподвижностью огоньки... Сделавшимся незнакомым голосом Карпухин продолжал отдавать распоряжения, следуя указаниям генерала Чумакова и исходя из непрерывно назревавших целесообразностей.

Надо было принять решение, выдвигать ли управление корпуса на командный пункт, в лес, северо-западнее Крашан, или все-таки ждать приказа командующего армией. Федор Ксенофонтович решил, что надо ждать приказа. Да и надеялся, что вот-вот заработает связь. Ведь группы связистов давно отбыли на линии.

Но держать штаб под ударом в пылающем военном городке нельзя. Поэтому собрали оставшиеся грузовики, часть машин возвратили из оврагов — места сбора по боевой тревоге, и вскоре штабная автоколонна уже покидала Крашаны, держа направление к тем же оврагам над тиховодной Морошей, где в зеленом половодье крушинника, бузины, черемухи успели перед воздушным налетом укрыться подразделения связистов, разведчиков, саперов, химиков.

Генералу Чумакову надо было еще знакомиться с остальными начальниками служб корпуса, с работниками отделов, командирами штабных подразделений. И он распорядился собрать командный состав.

Полковник Карпухин и здесь никому не перепоручил своих обязанностей. Стоя перед не столь многочисленным строем, он хрипловатым голосом объявил приказ о вступлении в должность прибывшего командира корпуса, а затем, вскинув правую руку под козырек, зашагал медленно на правый фланг и стал во главе строя. Теперь предстояло говорить генерал-майору Чумакову. На него были устремлены сумрачные глаза людей: не зная толком, началась ли настоящая война, они уже побывали под бомбежкой, увидели смерть и кровь, а у иных, как и у полковника Карпухина, сердце перекипало в невыносимой боли, которую не усмирить силой разума.

Не стал Федор Ксенофонтович рассказывать, как полагалось в таком случае, о своем прошлом. Два боевых ордена Красного Знамени и медаль «XX лет РККА» на его широкой груди кое о чем свидетельствовали. Заметил только, что это четвертая война, в которой он участвует.

— А что действительно началась война, вряд ли приходится сомневаться, — с тихой внятностью сказал генерал Чумаков и настороженно прислушался, пытаясь определить, откуда донеслись гулкие перекаты тяжелых взрывов. Задержал глаза на поднимавшемся в стороне за речкой шоссированном шляхе; сегодня на восходе солнца, но будто бы уже очень давно, въезжал он по нему в Крашаны, а сейчас там виднелись движущиеся на восток машины, повозки и пешие — с узлами, чемоданами, колясками, тачками, велосипедами...

В это время послышался нарастающий гул моторов. В оврагах, рождавших многоголосое эхо, трудно было определить, с какой стороны наплывает рвано пульсирующий рокот. Строй стоял в развилке оврага лицом к речке, и все увидели, как справа за ней, на далеком сгорбившемся шоссе, вдруг врассыпную бросились люди, остановились машины, и от

них тоже побежали за обочины темные фигурки. И тут же из-за бугров вырвались на бреющем полете бомбардировщики. В носовой части каждого самолета закипели вспышки пулеметных очередей, а из-под брюха устремились к земле темные капли бомб. На шляху и на обочинах взметнулись взрывы, вспыхнули и зачадили черным дымом грузовики.

Все произошло так неожиданно и так поразило своей страшной абсурдностью, что Федор Ксенофонтович не сразу сообразил скомандовать строю: «В укрытие!» Впрочем, война только что пришла и еще не приучила рыть щели без всякого промедления. Именно об этом подумал с досадой генерал Чумаков, торопливо распустив строй и приказав всем немедленно маскироваться. Сам он тоже встал в тень орешника и с бессильной яростью и стыдом от своей беспомощности наблюдал, как немецкие самолеты, кружа над дорогой, бомбили и расстреливали беззащитных людей. «Где же наши?! Где наши самолеты?..» Подумал о том, что, если бомбардировщики сейчас налетят на овраги, у него нечем прикрыть штаб: зенитчики проходили учебные сборы на окружном полигоне, а полагаться на две установки счетверенных пулеметов несерьезно.

Еще не успел растаять в груди холодок от этой мысли, как напротив, за речкой, где берег тоже заплеснуло густым высоким кустарником, хлопнул выстрел, и в небо с шипением взметнулась красная ракета, затем еще выстрел ракетницы — и в небе поплыл второй клубок красного огня. Оставляя за собой дымные следы, ракеты описали над Морошей дугу и сгорели прямо над оврагами. Федор Ксенофонтович не сразу сообразил, что бы это значило.

Стоявший рядом полковой комиссар Жилов первым понял, что за речкой — вражеский сигнальщик, и, обращаясь сам не зная к кому, надрывно закричал:

— Огонь по кустам на том берегу! Огонь по сигнальщику!

Откуда-то вынырнул полковник Карпухин. Опять Карпухин!.. Он подбежал к закиданному ветвями броневику и, оттолкнув замешкавшегося сержанта, нырнул в лязгнувшую при ударе о борт дверцу. Еще несколько секунд, и ствол турельного пулемета вздрогнул, повернулся в ту сторону, откуда только что были пущены сигнальные ракеты, и хлестнул длинной очередью...

Бомбардировщики или не заметили ракет, или израсходовали все бомбы. Оставив на шляху несколько чадящих костров и усеяв трупами обочины, они с облегченным гулом потянули на запад. А возбужденное воображение Федора Ксенофонтовича услужливо рисовало картину бомбежки и обстрела с воздуха корпусного управления в этих оврагах.

Из бронеавтомобиля выбрался полковник Карпухин и, вытирая платком взмокшее лицо, устремил нахмуренный взгляд за речку — вначале напротив, на кусты, а потом вправо, на далекий взгорок, рассеченный дорогой.

— Степан Степанович, — обратился к нему Чумаков, — сейчас же на тот берег взвод разведчиков! Пусть прочешут кустарник. И приказ всем: приготовиться к выезду на командный пункт.

Карпухин пошел выполнять распоряжение, а Федор Ксенофонтович уже развернул карту-пятикилометровку, словно надеясь разрешить мучившие вопросы. Но на карте только квартирное расположение частей и штабов. Где и как они встретят врага? Что происходит на границе? Если действительно немцы вторглись на нашу территорию, то конфигурация границы на карте в полосе армии уже кое о чем говорила генералу Чумакову. Конечно же, следуя испытанным приемам стратегии, немцы в первую очередь попытаются замкнуть белостокский выступ со всеми сосредоточенными там советскими войсками. Это значило: надо

ждать мощных концентрических ударов с севера на Гродно и с юга на Брест. И если у немцев наметился успех, удар с севера пройдет своим острием как раз по расположению его корпуса. А может, все сложится по-иному? Может, из-за того, что этот прием слишком «заезжен» в военной литературе, особенно в сочинениях Клаузевица «О войне», где приводится множество классических примеров из истории войн о нападении подобным образом на расквартирования неприятельских сил, может, хотя бы поэтому немцы разработали иной замысел оперативного маневра?

Но очень уж заманчиво для них расположены наши войска в белостокском выступе! Ведь обороняться в таком полумешке, если вместе с отвлекающей фронтальной атакой немцы нанесут охватывающие фланговые удары, невероятно тяжело. Тяжело, однако можно!.. И наверняка все это предусмотрено директивой Генерального штаба, наверняка штабы соединений армии уже не раз отрабатывали примерные действия согласно оперативному плану обороны...

Машины, сбросив маскировавшие их ветви, выезжали по отрогу оврага к дороге и выстраивались в колонну. В это время вернулись с противоположного берега Мороши разведчики.

По-юношески стройный лейтенант с возбужденным лицом захлебывающейся скороговоркой доложил командиру корпуса:

— Товарищ генерал! Вот, нашли! — И протянул поднятую в кустах гильзу от ракетницы. — Нашли еще следы мотоцикла с коляской! Ведут к лесу! Разрешите преследовать!

— Не разрешаю, — с сумрачной задумчивостью ответил Федор Ксенофонтович, рассматривая прессовку русских литер на шляпке гильзы.

— Мы его на краю света разыщем! — Большие глаза лейтенанта на почти детском лице горели азартом охотника.

— Не разыщете, товарищ лейтенант. — Федор Ксенофонтович с досадой бросил на землю гильзу. — Да и не до этого сейчас...

Вскоре овраги над Морошей опустели. Автоколонна проехала по Крашанам, уже напоминавшим растревоженный муравейник, вышла на западную окраину местечка и, оттеснив пестрый, еще не очень густой поток беженцев, свернула с магистрального тракта вправо на безлюдный песчаник и, набрав, как было приказано, нужные дистанции между машинами, устремилась на северо-запад, в направлении селения Варичи, за которым на опушке леса было подготовлено место для командного пункта корпуса. Впереди колонны, взметнувшей в небо пыль, мчались мотоциклисты с пулеметами на колясках, затем два бронеавтомобиля разведчиков, за ними шли машины командования корпуса, отделов штаба, а основную часть растянувшейся вереницы составляли грузовики штабных подразделений.

Генерал Чумаков ехал в легковушке один: Карпухин умчался на мотоцикле в голову колонны. Водитель Манджура, виртуозно объезжая почти невидимые в пыльной кисее выбоины на песчаной дороге, часто высовывался из эмки и опасливо осматривал небо. Федор Ксенофонтович тоже тревожился, как бы во время марша не налетели самолеты, которые то и дело проходили по сторонам на восток и на запад. Но, видать, все дороги в приграничье курились сейчас пылью... И еще неотступно томило генерала чувство какой-то собственной вины, будто он не предпринял чего-то важного, крайне необходимого. Может, надо было ему самому поехать в штаб армии, представиться командующему, на месте выяснить обстановку? Эта мысль появилась сразу же, как только штаб корпуса направился из военного городка в овраги над Морошей. Но

за этой мыслью следовала другая: вдруг поступит приказ, а он в это время будет колесить где-то по дорогам в поисках штаба.

Приказ... Какой? Какую задачу может поставить командующий перед корпусом, который, как недостроенный корабль: есть четко обозначенный каркас, есть частично подготовленные материалы и вооружение, а иные подвозятся, но военного корабля с обученной командой еще нет...

И вдруг Федор Ксенофонтович понял, откуда рождается в нем чувство виноватости. Ведь он больше сейчас размышляет именно над тем, что корпус еще не сформирован, что решать серьезные боевые задачи он не в состоянии и что ему, генералу Чумакову, не под силу, даже если вынудит к этому обстановка, реализовать предназначения механизированного корпуса — именно те, которые он с такой доказательностью разрабатывал в своих статьях... Ну, а если поступит приказ идти навстречу врагу?.. Надо же искать какую-то форму организации наличных сил, растворенных в многоликом, но пока еще не сформировавшемся организме войскового соединения.

Эти размышления будто разбудили в нем титаническую потребность творчества. Он как бы увидел перед собой механизированный корпус развернувшимся на исходном положении для контратаки, увидел его полнокровным, каким должен быть по штатному расписанию, с четырьмя сотнями новейших танков... Но тут же боевые порядки двух танковых и одной механизированной дивизий поблекли перед его мысленным взором. Федор Ксенофонтович вспомнил справку, данную ему полковником Карпухиным, о наличии боевой техники и личного состава и силой воображения заставил себя увидеть неукомплектованные дивизии, увидеть в боевых порядках всего лишь девяносто танков, в большинстве своем устаревших, изношенных, со слабым вооружением — тех самых, которые использовались как учебные и которые в скором времени должны были быть заменены танками КВ и Т-34 — первоклассными боевыми машинами. Впрочем, они тоже имеются в корпусе — до двух десятков. И все-таки надо собирать силы в кулак, надо, может быть, свести корпус в дивизию, а в танковых полках иметь всего лишь по одному, но полнокровному батальону, по одному мотострелковому батальону и одному артиллерийскому противотанковому дивизиону. Истина где-то близко. Необходимо посоветоваться с Карпухиным, начальниками служб, с командирами дивизий и полков. Надо преобразовать танковые дивизии так, чтобы они стали мобильными боевыми группами, способными обеспечить взаимодействие танков и пехоты...

Шедший впереди броневик вдруг мигнул красным сигнальным огнем, затормозил и тут же снова набрал скорость, оставив позади себя непроницаемую тучу клубящейся пыли. Но Федор Ксенофонтович рассмотрел слева на стыке дороги и малонаезженного проселка группу людей возле трех мотоциклов с колясками: кто-то махал эмке рукой, требуя остановки. Манджура сбавил скорость, и генерал Чумаков узнал полковника Карпухина.

— Сверните, — приказал Федор Ксенофонтович Манджуре и, когда эмка остановилась, торопливо открыл дверцу, ступил на запыленную мураву. Тут же увидел такое, что к горлу подступила тошнота: в коляске ближнего мотоцикла, скорчившись, полулежал мертвый боец; его лицо и комбинезон на груди были в сплошной кровяной корке, передняя часть мотоцикла и коляски тоже залита кровью, которая, пропитав темной краснотой осевшую на нее пыль, превратилась в затвердевшие сгустки. Близ мотоцикла стоял, вытянувшись в струнку, старший лейтенант с перебинтованной головой, из-под его синего распахнутого на груди комбинезона выглядывали бархатные петлицы танкиста со знаками различия. Старший лейтенант напряженно смотрел на генерала Чумакова и, ка-

жется, с нетерпением ждал, когда ему разрешат сказать что-то очень важное и безотлагательное.

У второго мотоцикла, на коляске которого был закреплен ручной пулемет, стоял невысокий худощавый капитан с серым от пыли лицом и держал в руках пакет с рыжими нашлепками сургучных печатей.

— Делегаты связи, — кивнув на мотоциклистов, пояснил деревянным голосом полковник Карпухин. — Из штаба армии и из нашей танковой дивизии полковника Вознюка. Искали нас на капе.

— На капе? — переспросил Федор Ксенофонтович, ощутив, как ворохнулось в груди сердце: значит, надо было выезжать не в овраги, а сразу в лес. Но тут же, подавив в себе гнетущий упрек, взял протянутый капитаном пакет с сургучными печатями и, дрожащими руками вскрывая его, спросил, указывая на убитого мотоциклиста: — Под бомбежку попали?

— Нет, нарвались на диверсантов, товарищ генерал, — ответил старший лейтенант. — Возле самого командного пункта корпуса... Они там дожидались вашего приезда.

Генерал Чумаков вскинул изумленные глаза на старшего лейтенанта:

— Это ваши догадки?

— Одна тактика у фашистов, — вмешался в разговор Карпухин. — Штаб дивизии Вознюка растрепали. Полковник Вознюк убит... Наш делегат связи до дивизии не добрался.

Федор Ксенофонтович уже вскрыл пакет, содержание которого его сейчас интересовало больше всего на свете: там приказ командарма... Но услышанное было таким невероятным, что он, чувствуя, как покрывается пóтом, опустил руку с пакетом.

— Расскажите генералу. — Полковник Карпухин кивнул делегату связи танкистов.

Старший лейтенант переступил с ноги на ногу, судорожно сглотнул слюну, пересиливая подкативший к горлу спазм.

— Возьмите себя в руки, — спокойно приказал Чумаков, чувствуя, как к горлу подкатывается комок. — Как это случилось?

Старший лейтенант, смущенно вытирая покатившиеся по грязному лицу слезы, начал рассказывать:

— У нас между штабом дивизии и квартирами командиров протекает речечка. — В словах его звенела боль и словно обида на кого-то.— А через нее проложен пешеходный мосток... Ночью диверсанты разобрали его и рядом в кустах устроили засаду... Кто-то на восходе позвонил на квартиру полковнику Вознюку, говорят, из штаба корпуса, и полковник приказал дежурному играть тревогу... Ну, командиры начали сбегаться к мостку, а он разобран... Когда прибежал и полковник Вознюк, из кустов в упор открыли огонь...

Липкая роса выступила на лбу генерала Чумакова. Он тихо спросил:

— Много людей погибло?

— Девять убито и одиннадцать ранено.

— Диверсанты ушли безнаказанно?

— Нет... Рядом караульное помещение... Дежурная смена караульных перестреляла диверсантов. Их было четверо на двух мотоциклах. Все в нашей форме...

Федор Ксенофонтович резко, будто с обидой, отвернулся от старшего лейтенанта, сделал несколько шагов в сторону, достал из пакета бумагу, нетерпеливо развернул ее и прочитал четкий машинописный текст на бланке командующего: «Ввиду обозначившихся со стороны немцев массовых военных действий командующий Зап. ОВО приказал поднять войска и действовать по-боевому. Командованию механизированного

корпуса немедленно вскрыть оперативный пакет и действовать согласно директиве Генерального штаба по плану прикрытия...»

Когда с приказом ознакомился и полковник Карпухин, он посмотрел на генерала Чумакова чуть ли не со страхом: начальнику штаба было тоже хорошо известно, что на вскрытие этого пакета нужно распоряжение Председателя Совнаркома СССР или наркома обороны.

— Где наши секретчики? — спросил Чумаков, хотя и сам понимал бесплодность своего вопроса: рядом по дороге машина за машиной проходила колонна управления корпуса.

— На марше, как и все, — ответил Карпухин. — Но как же с пакетом? Не имеем права!

— Поехали на командный пункт, будем вскрывать, — решительно ответил Чумаков. — И примите меры против диверсантов.

Полковник Карпухин тут же умчался на мотоцикле вперед, обгоняя по обочине дороги колонну, а Федор Ксенофонтович стал сверяться по карте капитана, доставившего приказ командующего, где находится штаб армии, и расспрашивать, что известно об обстановке...

На КП, в рубленом, почерневшем от времени доме лесника, кроме Чумакова и Карпухина собрались на совет заместитель командира корпуса по политчасти полковой комиссар Жилов и начальник особого отдела Евсеев, в малиновых петлицах которого тоже сверкали четыре шпалы. Все прочитали приказ командующего армией, все понимали, что война началась в непредвиденных условиях. Но как решиться попрать строгие и категорические слова, напечатанные на красном пакете?.. Надо бы хоть по телефону получить подтверждение приказа. Но связи со штабом армии как не было, так и нет.

— Беру ответственность на себя, — сказал Федор Ксенофонтович.

— Нет уж, товарищ генерал, — спокойно возразил полковой комиссар Жилов. — Дело серьезное, я тоже беру ответственность на себя. А особый отдел пусть зафиксирует наше решение документом.

Никто не возразил.

Когда вскрыли пакет и ознакомились с задачей корпуса согласно директиве Генерального штаба, с огорчением убедились, что директива предусматривала возможности механизированного корпуса, полностью укомплектованного личным составом и боевой техникой. Корпусу указывались маршруты выдвижения в направлении государственной границы и рубежи, с которых он должен наносить контрудары по атакующему противнику.

Все сочувственно и тревожно смотрели на генерала Чумакова, понимая, что он сейчас должен решать тягчайшую задачу. А Федор Ксенофонтович, смяв в себе растущее раздражение, размышлял над тем, что ему надо обязательно побывать в штабе армии, но только после того, как он примет решение о выполнении директивы, пусть задачи в ней и непосильны для корпуса. Пока его штаб будет готовить общий приказ, а войска выходить на исходное положение, нужно дать командирам дивизий предварительное распоряжение о маршрутах и времени выступлений, о подготовке транспорта и боеприпасов, о разведке маршрутов и рубежей развертывания.

## 17

Вчера, в тихий субботний вечер, Миша Иванюта на попутном грузовике приехал в это маленькое местечко. В километре от него на запад, вокруг бывшей панской экономии, разросся военный городок, в котором

дислоцируется мотострелковый полк. Прогулявшись пешком до военного городка, Миша предъявил на контрольно-пропускном пункте свои документы, пересек плац в окаймлении песчаных дорожек и зеленых клумб, зашел в здание штаба. Здесь он как-то чрезмерно торжественно представился старшему лейтенанту с красной повязкой на рукаве — дежурному по полку:

— Младший политрук Иванюта!.. Ответственный секретарь газеты «За боевой опыт»!

Дежурный, хотя его загорелое и обветренное лицо выглядело мрачноватым, оказался словоохотливым парнем. Он выпрямился перед Мишей, окинул его изучающе-ироническим взглядом и, не пряча улыбочки, переспросил:

— Ответственный секретарь?.. А разве бывают безответственные или малоответственные? Или недостаточно ответственные?..

Миша смутился, ибо действительно слово «ответственный» не было записано в его удостоверении, но он, представляясь кому-либо, всегда прибавлял к своей должности это слышанное в гражданке звучное определение.

Однако смутить Мишу Иванюту — еще не значит вышибить из колеи. Помедлив, собираясь с мыслями и пережидая, пока чуть остынут вспыхнувшие щеки, он пошевелил плечами, шире расправляя грудь, и с деликатно-извинительной официальностью ответил:

— Товарищ старший лейтенант, как дежурный по части, вы вправе проверить у меня документы... А вопросы... Вопросы буду задавать вам я. — Миша сделал чуть заметное ударение на «я». — Как представитель вышестоящего штаба.

Наступила очередь смутиться дежурному. Он не стал проверять у младшего политрука документы, зная, что это уже сделано при входе того на территорию части, а затем при входе в помещение штаба, но, чтобы сгладить неловкость, деланно засмеялся:

— Журналисты, они и есть журналисты! В карман за словом не полезут. — И, посерьезнев, с готовностью представился: — Старший лейтенант Колодяжный!.. Слушаю вас, товарищ политрук.

Миша, вполне удовлетворенный исходом пикировки, деловито рассказал, что прибыл собрать материал для газеты о воскресном отдыхе красноармейцев, а в понедельник побывать на тактических занятиях, чтобы затем помочь кому-нибудь из лучших сержантов написать статью о действиях стрелкового отделения в наступательном бою.

— Ничего из этого не получится. — Колодяжный со снисходительной улыбкой развел руками. — Почти весь полк отсутствует. Два батальона со связистами и саперами отбыли на артиллерийский полигон для участия в опытном армейском учении, а остальные — на строительстве укрепленного района.

Такой неожиданный поворот обстоятельств никак не устраивал младшего политрука Иванюту. Ведь срывалось не только первое задание редактора, но и мог рухнуть его, Мишин, первый в жизни отпуск!..

— Завтра же воскресенье! — Миша с неосознанной надеждой смотрел на дежурного по части. — Какие могут быть учения?

— Значит, могут, если назначили, — ответил старший лейтенант Колодяжный и торопливо схватил трубку зазвонившего телефона.

Присев к столу, дежурный деловито записывал в журнал чьи-то приказы, четко отвечал на какие-то вопросы, а Миша, придавленный безвыходностью своего положения, углубился в тоскливые мысли о родных Буркунах... Целых три года не был там!.. Три года не ходил по знакомым до слез улицам села, не слышал вечерних песен девчат и хлопцев, три года не видел Марийку... Но, может, лучше никогда бы и не увидеть

ее... Не дождалась Марийка Мишу — вышла замуж за Федоса Овчара. Но в это не хотелось верить... Нет, разумом понимал, а сердце не верило, не могло смириться...

А между тем Миша Иванюта пребывал в состоянии того хмельного безрассудства, которое присуще многим юношам его возраста, уже успевшим достичь в жизни, по их разумению, чего-то весьма существенного и блистательного, дающего возможность устремляться сердцем за самыми дерзновенными своими мечтаниями, не задумываясь над тем, что каждый новый день все более широко раздвигает границы этих мечтаний и окрашивает их в цвета все более яркие, подчас фантастические. Только три недели назад Миша окончил военно-политическое училище и стал вполне самостоятельным человеком. Он, как истинный уроженец села, знающий цену добротной одежде, да еще увенчанный знаками власти и почета, с трепетным благоговением впервые надел новенькую командирскую форму. В малиновых петлицах его зеленой габардиновой гимнастерки засверкали красной эмалью по два кубика, а на рукавах, в золотом бисерном окаймлении, заалели крупные звезды. Гимнастерку туго перехватывал в тонкой талии скрипучий, коричнево лоснящийся широкий ремень с золотисто-медной пряжкой, а от ремня на плечи взметнулись великолепные своей изящностью портупеи, которые перекрещивались на спине и опять сбегали к ремню, придерживая на боках: справа — пристегнутую к кольцам кобуру с наганом, слева — полевую сумку. А галифе на Мише!.. Чистая или почти чистая шерсть темно-синего цвета!.. О сапогах уже и говорить не приходится... Хромовые!.. Всегда вспыхивающие синеватым огнем, когда прогуляется по ним бархотка, которую Миша носил при себе.

Итак, Михаил Иванюта после окончания училища получил звание младшего политрука и в свои неполные двадцать два года неожиданно для себя был назначен секретарем газеты в мотострелковую дивизию, которая располагалась в приграничных районах севернее Белостока. Впрочем, на газетную работу Миша попал не совсем случайно: в училище он был редактором еженедельной радиогазеты и членом редколлегии курсантской многотиражки. Это и сыграло роль в определении его будущего, в то время как почти всех остальных выпускников училища послали политруками рот и батарей.

Должность секретаря дивизионной газеты казалась Мише необыкновенно высокой и почетной хотя бы потому, что в дивизии она единственная (не то что должность политрука, кои — в каждой роте, в каждой батарее!). И это немаловажное обстоятельство позволяло начинающему журналисту размышлять о себе с таким восторженным самодовольством, которое даже невозможно было скрыть от окружающих. Ему казалось, что теперь нет для него ничего недоступного. Вот попросил, например, у редактора отпуск — пожалуйста, езжай...

Через неделю, одну только неделю, Миша мог бы увидеть Марийку... При этой мысли сердце его замирало, а перед глазами словно накатывался туман.

Миша даже не заметил, что дежурный по полку закончил телефонный разговор и, склонив набок голову, продолжал что-то записывать. Не отрываясь от журнала, старший лейтенант Колодяжный, будто между прочим, сказал:

— Учения начинаются завтра в восемь утра... А газетчику полагается быть там, где самые главные события. — Колодяжный, закончив писать и отложив в сторону ручку, поднял на Мишу вопрошающие глаза.— Так я понимаю или нет?

— Конечно, так, — неуверенно согласился Миша, еще продолжая находиться в плену своих размышлений.

— В пять утра на полигон идет наша машина...

Миша вдруг сообразил.

— И я могу с ней поехать?! — спросил он с радостью.

...И вот младший политрук Иванюта коротал ночь на приготовленной для него кровати в казарме связистов. Несмотря на распахнутое окно, возле которого стояла кровать, было душно, к тому же во второй половине ночи взвод связистов зачем-то подняли по тревоге, и Миша после суматохи и галдежа в казарме уже не мог как следует заснуть. Сквозь дрему вслушивался в голоса, доносившиеся из коридора и со двора. И не мог понять, наяву это или пригрезилось: говорили, что где-то повреждены линии связи, выведена из строя электростанция, для чего-то поднят в ружье караул...

Миша повернулся на спину, открыл глаза. В окно заглядывало синее предрассветное небо с редкими гаснущими звездами. И будто плеснуло с неба в сердце жаром: подумал о том, что через неделю он во что бы то ни стало будет в Буркунах... Что же он сделает?.. Застрелит Федоса?.. О, с каким бы наслаждением он это сделал!.. Или себя застрелит... Пусть Марийка наплачется над его гробом, пусть в рыданиях побьется грудью и лицом о сухую землю его могилы...

Миша вздохнул и натянул на голову простыню, будто стараясь укрыться от муки, разрывавшей его грудь... Как же могла Марийка решиться на такое? Чем заворожил ее Федос Овчар? Он же на целых пять лет старше Миши! И как должен будет Миша держать себя перед людьми, чтобы не вызвать у них ни жалости, ни насмешек?.. Но ничего, он сумеет! Буркуны еще увидят, каков есть Миша Иванюта! А Марийка не дождется, чтобы он хоть словом или взглядом попрекнул ее. Плевать Мише на Марийку и на ее Федоса! Пусть живут себе, как знают, ему до них дела нет. Миша появится в селе в новой танкистской форме серо-стального цвета, которую шьет ему сейчас лучший портной в гарнизоне!.. Буркуны еще ничего подобного никогда не видели на своих улицах! Командирская парадная форма — это не какой-нибудь гражданский костюмишко, пусть из самого лучшего материала, даже белый, из чистой шерсти!

О, Миша тоже знает, что такое хороший костюм! Но лучше бы не знать и не пережить того, что пережил он четыре года назад. Лютому врагу своему не пожелал бы такого.

Когда ему было шесть лет, умерла мать. Отец, уже немолодой к тому времени, не стал вторично жениться, и домашнее хозяйство легло на плечи двенадцатилетней сестренки Гафийки и его, Мишины, плечи. Особенно трудно было зимой, когда Гафийка ходила в соседнее село в семилетку... Потом Гафийка сбежала в Киев, на рабфак, а подросший Миша пас колхозных телят.

В родных Буркунах была лишь четырехклассная школа, и Мише пришлось заканчивать десятилетку далеко от дома. Гафийка к тому времени выбилась в учительницы, вышла замуж и работала в селе под Черниговом. К ней и переселился Миша. А в Буркуны, к отцу, приезжал только на летние каникулы.

После девятого класса наступил в жизни Миши тот час, когда он уже стал смотреть на себя как на вполне состоявшуюся личность и далеко не простую, хотя бы потому, что не в пример своим сверстникам из Буркунов напечатал в районной газете два стихотворения, уже побывал в Киеве и Чернигове и, следовательно, повидал, как ему думалось, немало света. Прочитал много книг, о каких в Буркунах и слыхом не слыхивали. В любовных письмах, которые Миша писал Марийке в Буркуны, появились такой мудреный слог и такие блистательные метафоры и

сравнения, что Марийка, читая вместе с подругами Мишины послания, обливалась от умиления и счастья слезами, не подозревая, что ее возлюбленный бессовестно перелицовывал и беззастенчиво присваивал себе лирические излияния героев из произведений украинской писательницы Ольги Кобылянской.

Словом, Миша уверовал в себя, как в человека, совсем непохожего на других хлопцев из Буркунов. Но вот люди в Буркунах об этом никак не могли догадаться. Жили они своими обыденными заботами и хлопотами, не ведая, что где-то под Черниговом восходит яркая звезда их земляка Михаила Иванюты... И Миша, снедаемый жаждой признания, начал задумываться над тем, как бы в очередной приезд в Буркуны раз и навсегда обратить на себя внимание людей.

Долго он ломал голову над этой непростой проблемой. Хотел даже отваром скорлупы грецкого ореха вымыть голову, чтобы начисто вылезли волосы: в Буркунах полное облысение считали признаком великой учености. Но опасался, что лысым он не понравится Марийке... Проще всего, конечно, появиться в селе с орденом на груди. Но где его возьмешь?.. А еще бы лучше — с орденом и в белом костюме. Белые костюмы были в моде.

Короче говоря, в летние каникулы Миша решил появиться в Буркунах хоть пока и без ордена, но зато в белоснежном костюме из льняной рогожки.

Это казалось почти несбыточной мечтой, но помог счастливый случай. В районной газете, куда Миша неутомимо носил свои вирши, освободилось место литсотрудника. И Мише предложили во время каникул поработать в этой хлопотливой должности, надеясь на то, что бойкий паренек сумеет снабжать редакцию хотя бы фактами для информационных обозрений. Но Миша показал себя способным на большее. Разъезжая на велосипеде по селам района, он затем писал очерки, репортажи, фельетоны в таком обилии, что секретарь редакции за голову хватался, вычеркивая из них к месту и не к месту ярко выписанные пейзажи с красочными восходами и закатами, почти не уступающими тем, которые пламенели на лучших страницах книг все той же чудо-мастерицы Ольги Кобылянской... Ответственный секретарь искренне уговаривал Мишу идти после десятилетки в журналистику, предрекая ему будущее короля среди волков — газетчиков районного масштаба.

А Мише пока всего-навсего нужно было заработать себе на белую экипировку... И к середине каникул она у него появилась — новенькие, по последней моде, белые брюки и белый пиджак, остроносые белые парусиновые туфли и белая фуражка с белым козырьком.

С нетерпеливым ожиданием ехал Миша в родные Буркуны, известив о дне своего приезда только Марийку. Пуще самой дорогой драгоценности берег в пути свой потертый чемоданишко, в котором с величайшей аккуратностью был уложен белый костюм. А сердце всю дорогу немым криком кричало от нетерпения: скорее бы приехать! Вот позади трудная пересадка с поезда на поезд в Киеве. Впереди, через пять часов езды, — Винница!.. Там еще одна пересадка — на узкоколейный поезд, и еще через час он уже увидит в зелени левад Буркуны: поезд там не останавливается, но на подъеме замедляет ход, и Миша, как это делают многие, соскочит на ходу с подножки вагона. Марийка будет его встречать...

Конечно, к этому времени он уже должен быть в белом костюме.

Долго не раздумывая, Миша взял свой чемоданчик и, протискиваясь через битком набитый вагон, направился к уборной. Вскоре он вышел оттуда белоснежно-сверкающий, смущенный оттого, что на него устремили удивленно-озадаченные взгляды многие пассажиры, в большинстве дядьки и тетки, тесно сидевшие на скамейках, на корзинах, сундучках,

Место Миши уже оказалось занятым каким-то старичком, и он остался стоять в проходе, боясь прикоснуться к чьему-нибудь узлу.

Когда поезд подходил к Фастову, рядом освободилась вторая полка. Миша проворно забросил на нее чемодан и, убедившись, что голая поверхность полки сверкает чистотой после того, как ее долго полировали бока предыдущего пассажира, ловко забрался туда сам, предварительно сняв пиджак. Улегся на спину, расправив на себе брюки, накрылся пиджаком, хотя в вагоне стояла густая духота; лежал, боясь пошевелиться, чтобы не измять на себе белое, пахнущее свежестью великолепие, с волнением размышляя о скорой встрече с родным селом, вслушивался в неумолкаемое татаканье колес. Потом на него навалилась сонливость, и вскоре Миша будто окунулся в сладкое небытие...

Проснулся от толчка останавливающегося поезда, не сразу сообразив, где он и что с ним. Только вдруг ощутил неизъяснимую тревогу.

— Какая станция? — испуганно спросил он у пассажиров.

— Гнивань, — ответил снизу старичок.

На Мишу будто плеснули кипятком: проспал Винницу! Он суматошно соскочил с полки, схватил свой чемодан и с гулко бьющимся сердцем выбрался из вагона.

Была вторая половина дня. С выцветшего от жары неба ярко и безмятежно светило солнце. А на душе у Миши темно: хотелось вопить от досады — через час в сторону Буркунов отправится узкоколейный поезд. И никак теперь не успеть на него: пассажирские в обратную сторону будут только вечером.

Надоумил кто-то из железнодорожников: от водокачки сейчас пойдет на Винницу паровоз...

Миша побежал по междупутью к далекому паровозу, спотыкаясь о шпалы и бугорки шлака. Не замечал, что его белые туфли становились серо-пятнистыми.

Пожилой чумазый машинист, когда Миша торопливо изложил ему свою просьбу, посмотрел на него с веселым недоумением, затем охотно предложил:

— Садись, студент! Мой паровоз таких чистеньких еще не возил.

В тесной будке паровоза было трое — бросавший в топку уголь худощавый кочегар с черным лицом, машинист, успевавший открывать кочегару заслонку ревущей огнем топки и выглядывать в окно на путь, и Миша, стоявший сбоку, неправдоподобно белоснежный в этом тесном и угарном царстве черноты. Обреченно и уже почти безразлично посматривал он на свои туфли, переступая с ноги на ногу, когда на них сыпалась с переполненного тендера угольная крошка, потревоженная лопатой кочегара. Старался только ни к чему не прикоснуться, чтобы уберечь костюм, который заметно покрывался серым налетом.

Машинист, уловив на лице Миши страдание, смилостивился. Он достал откуда-то чистенькую газету, протянул ее Мише и, открыв узенькую дверцу — проход из будки, ведший вдоль котла к передней части паровоза, — сказал:

— Чемодан оставь здесь, а сам иди вперед и садись на газету. Там чище и ветер пыль с тебя сдует.

Здесь, на маленькой площадке, в самом носу паровоза, и пристроился Миша, принимая на себя прохладный напор воздуха, наблюдая, как стремительно неслась навстречу железнодорожная линия. Ехать было приятно и весело. Только уже в Виннице, когда под колесами загремели станционные стрелки, на Мишу обрушился снесенный ветром от водокачки фонтан брызг. И там, где на костюме устоялась угольная пыль, вспыхнули серые звезды пятен...

Миша успел на узкоколейку. Растерянно-счастливый, сидел он у открытого окна небольшого вагончика и подставлял бок солнечному ветру, надеясь, что пятна на пиджаке высохнут и поблекнут.

Томительно тянулось время, но вот поезд после короткой стоянки в Вороновице тяжко поднялся по крутой дуге, пересекавшей знакомый лес, почему-то именовавшийся Бобковым, и Миша увидел, как замаячили высокие вековые липы, сторожившие въезд в Буркуны. Когда поезд поравняется с ними и начнет на подъеме сбавлять скорость, можно уже будет выходить на площадку. Не заметил бы только проводник: прыгать на ходу поезда запрещалось.

Хорошо, что Миша сел недалеко от выхода. Он взял чемодан, миновал уборную и нажал на ручку двери. Дверь не поддалась... Подергал.

— Не старайся, хлопец, проводница на ключ дверь заперла, — сказала стоявшая на выходе чернобровая молодица. — Это чтоб не прыгали в Буркунах.

Миша будто захлебнулся ставшим вдруг густым воздухом и ощутил, что вспотел от головы до пят. А в окне уже замелькали деревья крайних левад. Что делать? Ехать пятнадцать километров до следующей станции? И тут же вспомнил, что, когда был мальчишкой, видел, как какой-то дядька перебирался на ходу поезда из крайнего окна вагона на площадку.

Миша рванул на себя дверь уборной, нырнул в тесную каморку и закрылся. Окно открыто. Его отделяет от площадки тоненькая стенка... Миша встал на унитаз, протолкнул в окно чемодан, высунулся вслед за ним по пояс и бросил чемодан на площадку. Затем, прихлопнув узенькую, пахнущую мазутом планку ветровика, стал выбираться сам. Еще усилие, еще, и он уже сидит на откидной металлической перекладине над ступеньками вагона.

Когда соскочил на площадку и взялся за ручку чемодана, почувствовал, что руки испачканы чем-то липким. Взглянул на них... Мазут! А потом увидел такое, отчего в голову ударила дурманящая темнота: он увидел безобразную черную полосу, размазанную на пиджаке по всей груди и по правой штанине от паха до коленки... Оказывается, мазутом были смазаны петли ветровой планки... Боже, до чего ж ты немилосердный!.. Разве может человек в один день перенести сразу столько наказаний!..

Миша видел, как по левую сторону площадки мелькали лица хлопцев и девчат, вышедших к поезду, слышал их голоса...

Делать было нечего. Взяв в руки чемодан, Миша нырнул под перекладину, встал на нижнюю ступеньку вагона и резко оттолкнулся от поручней назад. После короткой пробежки вслед за поездом перемахнул через кювет и, пока задние вагоны скрывали его от гулявших по ту сторону пути хлопцев и девчат, с трусливой прытью побежал в чьи-то огороды, к недалекой темно-зеленой стене конопляника...

Отлеживался в чужой конопле до темноты, терзаясь от горя и от мыслей о своей неудачливости.

Давно это было. Сейчас младшему политруку Михаилу Иванюте даже смешно вспоминать о тех своих переживаниях. В какое сравнение может идти дешевенький белый костюм с парадной танкистской формой!..

Миша с мстительным наслаждением будто посмотрел на себя глазами Марийки. «Пусть погрызет локти, подлая дивчина!»

## 18

Небо, перечеркнутое в окне проводами, погасило последние звезды, поголубело и сделалось еще более высоким. Часов у Миши не было, и он, стряхнув воспоминания о Марийке, беспокойно заворочался на жесткой

кровати. Хотелось крикнуть дневальному, спросить, который час, но рядом спали солдаты-связисты, недавно вернувшиеся с какого-то срочного задания. И Миша, опередив мысль о том, что надо вставать, дабы не проспать идущую на полигон машину, начал торопливо одеваться.

Через несколько минут он уже прохаживался по пустынному плацу перед зданием штаба, с нетерпением дожидаясь, когда появится грузовик или хотя бы выйдет на крыльцо дежурный по полку.

Вдруг сонную тишину вспорол странно клекочущий в небе шорох. И тут же в конце плаца, у отгороженного штакетником автопарка, взметнулся в клубах дыма огонь. Страшной силы взрыв словно выдернул у Миши из-под ног землю и слился с новыми взрывами: грохочущие всплески пламени и дыма покрыли автопарк, спортплощадку между казарменными зданиями и сами здания. Будто огненный ураган ворвался на территорию военного городка...

Миша, еще не понимая, какая сила кинула его на пыльный плац, вскочил на ноги и только тогда услышал свист осколков. Теперь он упал на землю сам и, видя, как выбежал из штаба старший лейтенант Колодяжный, растерянно закричал ему:

— Куда они стреляют? Тут же люди!

Мише почему-то подумалось, что он проспал машину и уже начались на артиллерийском полигоне учения. Но вдруг понял, что до полигона далеко, а снаряды летят со стороны близкой границы... Неужели война?.. Но ни сам ответить на этот вопрос, ни спросить у кого-нибудь не мог, потому что вокруг взметнулась уже непроницаемая огненно-черная стена взрывов, и Миша будто окунулся в кошмарный сон. А ведь он считал, что прекрасно знает, что такое снаряды и свистящие осколки. Много читал о войне, видел фильмы, слышал рассказы участников боев... Но чтобы вот так, с вулканическим грохотом вздыбливалась в небо, как ему казалось, вся земля, а небо, задохнувшись в дыму и пыли, рушилось на землю, чтобы везде стало тесно какой-то ужасающей теснотой, когда не найдешь себе места ни за стеной дома, ни в канаве, ни под деревом, когда не знаешь, куда себя деть от брызжущих камнями оседающих стен, от падающих груд земли, валящихся деревьев, от полыхающего огня и давящего на каждую клетку твоего существа, ревущего тысячами громов смерча.

И Миша, будто потеряв рассудок и чувство времени, метался в вихре разрывов между развалинами казарм, горящими машинами, падал в воронки, какое-то время в беспамятстве отлеживался в них. И, как только новый тяжелый взрыв ухал поближе, он опять, не отдавая отчета, что с ним делается, куда-то бежал, спотыкаясь о бездыханные, растерзанные осколками тела, огибая страшные своей темной краснотой лужи крови, содрогаясь от несущихся со всех сторон человеческих криков.

Ощущение чудовищного мешка с насмерть обжигающими стенками, пронизываемого со всех сторон тысячами ищущих только тебя одного осколков, — это непередаваемо страшное ощущение не выпускало Мишу из своих тисков, лишив возможности размышлять, управлять собой, что-то предпринимать... Слишком уж неожиданно появилась перед глазами многоликая и беспощадная смерть. Ни опомниться, ни понять смысла случившегося, ни даже смириться с тем, что вот так, на пороге чего-то настоящего, большого, вдруг — насильственный и свирепый толчок в пропасть небытия. И было только одно вопящее в нем желание — вырваться из этого удушливого, грохочущего и воющего осколками мешка и устоять перед внезапно разверзшейся пропастью, чтоб хоть на мгновение передохнуть от холодного страха смерти, оглядеться и без панической горячности что-то понять — очень важное и очень нужное

В густом надсадном грохоте артиллерийского налета Миша не слышал, как взрывались бензобаки пылающих в автопарке грузовиков. Но оттуда дохнуло таким жаром и смрадом горелой резины и краски, что он будто чуть-чуть опамятовался и начал как-то управлять своими суматошными перебежками, стараясь удалиться от кипящего в огне автопарка. Когда перебегал через спортплощадку, тяжелый взрыв страшной силой обрушился на него откуда-то сзади, толкнул в затылок и в спину гигантской горячей подушкой, отчего Миша несколько метров пролетел над землей, успев удивиться необычности своего полета и уже с покорным безразличием подумать, что это и есть его последнее мгновение... А когда упал на газон и оглянулся, то увидел, что спасся чудом: снаряд разорвался совсем рядом, угодив в яму с опилками для прыжков в длину, поэтому осколки не изрешетили Мишу, а ушли в земляные стенки и вверх. С неба на него посыпалась земляная крошка и густой дождь опилок. Только теперь Миша заметил, что где-то потерял свою новенькую фуражку, но тут же в каком-то отупении позабыл о ней, может, потому, что увидел, как из пелены дыма, будто из сновидения, вырвалась группа бойцов с карабинами в руках, с противогазами через плечо и куда-то стремительно побежала мимо него. Миша вскочил на ноги и кинулся вслед за красноармейцами, словно боясь потеряться в этом клокочущем громами аду.

Опомнился от вдруг наступившей тишины и увидел себя лежащим на картофельном поле среди окученной ботвы, рядом с тяжело переводившими дыхание красноармейцами — почерневшими, закопченными. На некоторых нечисто белели, успев запылиться, или кровянились свежие повязки. Все с испугом, с болью и с каким-то горьким недоумением смотрели на пылающий и дымящийся невдалеке военный городок, вернее, на то место, где недавно был городок. Снаряды там больше не рвались, но зато со стороны границы плыл тугой, приглушенный расстоянием грохот, и явственно ощущалось, как подрагивала земля, будто половицы в доме, когда за стеной толкут в ступе зерно.

К своему изумлению, Миша Иванюта увидел, как из городка через картофельное поле бойцы толкали две длинноствольные полковые пушки семидесятишестимиллиметрового калибра и два передка с зарядными ящиками. А левее, прямо из клубов дыма, начала выбегать густая цепочка пехотинцев. Значит, не всех и не все сокрушили снаряды, как это ему показалось.

— Взвод, встать! — вдруг услышал он рядом с собой непомерно громкий для наступившей тишины хрипловатый голос. Оглянулся и увидел сержанта — кряжистого, угловатого, с испачканным лицом и перебинтованной головой, который, вскочив на ноги и опираясь на карабин, старательно отряхивал брюки. По его команде начали подниматься залегшие в ботве красноармейцы. Миша тоже торопливо встал, чувствуя неловкость, что следует команде младшего по званию. А когда еще вспомнил, что на голове нет фуражки, да подумал о том, что этот сержант, эти бойцы могли видеть, с какой панической прытью он, младший политрук Иванюта, уносил ноги из-под обстрела, совсем ему сделалось не по себе, и, чтобы как-то скрыть неловкость, он с напускной деловитостью спросил:

— Какую задачу выполняет взвод?

Но сержант даже не повел бровью в его сторону, а начал неторопливо, тыкая перед собой пальцем, пересчитывать бойцов.

Миша смутился, оценив молчание сержанта как осуждение его нелепого вопроса.

— А где Артюхов и Борин? — опять очень громко обратился сержант к красноармейцам.

— Артюхов остался в команде спасать раненых, — ответил плечистый крепыш, в руках которого Миша увидел ручной пулемет.

— А Борина осколком... — сказал красноармеец с забинтованной поверх гимнастерки ниже локтя рукой. Голос его при этом осекся, а белесые глаза сделались, кажется, совсем белыми. — Срезало насмерть...

— Что вы там шепчете?! — снова, еще громче, закричал сержант.— Где Артюхов и Борин?!

Только теперь младший политрук Иванюта понял, что сержант оглох от контузии. И пока боец-пулеметчик кричал сержанту на ухо об Артюхове и Борине, Миша пытливо скользнул взглядом по лицам красноармейцев, будто не веря, что и они все побывали сейчас в том страшном огненном мешке, из которого каким-то чудом вырвался он.

Да, не надо было быть большим психологом, каким, впрочем, Миша Иванюта пока не был, чтобы многое прочесть в облике этих молодых ребят, нежданно-негаданно увидевших, переживших и перечувствовавших все, что и он. Но им, видать, пришлось куда тяжелее, потому что они не только укрывались от огня, а, повинуясь командам, спасали оружие, боевую технику, выносили раненых, перевязывали друг друга — делали свое трудное, хотя и обычное, солдатское дело.

Красноармейцы уловили на себе непраздно вопрошающий взгляд незнакомого младшего политрука и озадаченно стали посматривать на него. А когда Миша встретился с глазами сержанта — недоумевающими и таящими надежду, понял, что от него чего-то ждут.

— Товарищ младший политрук! — обратился к нему сержант все тем же громким и высоким голосом. — Что это?! Немцы напали?! Война?!

Миша не очень уверенно, однако утвердительно качнул головой и посмотрел в небо, где, купаясь в ярких лучах утреннего солнца и оглашая все вокруг давящим гулом, шел на восток большой косяк самолетов. Не ведающие, что такое бомбежка, красноармейцы тоже начали смотреть на них с любопытством, пока самолеты не скрылись за космами дыма, поднимавшимися над военным городком.

Уже были рядом полковые пушки, толкаемые расчетами, уже выбежавшая из городка цепочка бойцов на ходу перестроилась в колонну по два и продолжала бежать куда-то дальше. Наперерез им заспешили красноармейцы во главе с контуженным сержантом. А Миша Иванюта все не мог решить, что ему делать, куда податься и как быть с таким досадным обстоятельством, что он, младший политрук, оказался без фуражки и в каком-то нелепом одиночестве. Подумал было, что, может, стоит вернуться в городок да побродить по тем местам, где он прятался от артналета, но будто опять услышал страшный вой снарядов, раскалывающие землю взрывы и увидел рушащиеся стены зданий... Нет, все идут на запад, наверное, к месту сосредоточения по тревоге... А он один побредет в обратную сторону? Что могут подумать о таком младшем политруке?..

И Миша Иванюта, впервые определивший, что немногочисленный уцелевший гарнизон военного городка выдвигается на запад, следовательно, действует по чьёму-то приказу, тоже зашагал в ту сторону, наблюдая, как по росной ботве впереди него задвигалась долговязая тень. Значит, солнце только-только начало подниматься.

А на западе не переставало греметь и бухать...

## 19

Огневой налет был страшен и губителен своей смерчевой внезапностью, массированностью удара по заранее разведанным целям и площадям. На глубинные объекты — аэродромы, воинские гарнизоны, автобро-

нетанковые и артиллерийские парки, склады горючего и боеприпасов — густо обрушили бомбовые грузы армады фашистских бомбардировщиков. Моторизованные части германского вермахта, сконцентрированные на главных направлениях и обладавшие большим преимуществом, двинулись в стремительную атаку.

«...Я ни на секунду не сомневаюсь в крупном успехе», — писал Гитлер в письме, адресованном Муссолини, за день до начала войны.

Да, успех, несомненно, был достигнут, хотя и не тот, который имел в виду Гитлер. Немецкие войска вынудили прикрывавшие границу советские части принимать бой в районах расквартирования и в тех же группировках, в которых они находились до начала вражеской агрессии. Советскому командованию пришлось очень нелегко при организации оперативного противодействия начавшим развивать наступление германским армиям. Целые войсковые подразделения, части и даже соединения, вступая в единоборство с фашистами, оказались на том отрезке круговой черты, где происходящее было последним, что случилось в жизни их солдат и командиров... Никто не хотел умирать. Но и никто не хотел хоронить веру в бессмертие Советской державы. И ее бессмертие советские воины утверждали в тот черный июнь своей смертью...

Будто меч из дурного сна, страшный своей бесплотной неосязаемостью, жестоко отсек прошлое и с грубым насилием отодвинул его куда-то в небытие. Одно только сегодняшнее утро и начало знойного дня... А уже бездна пролегла между таким обжитым минувшим и непонятно устрашающим настоящим, которое зыбко простерлось в загадочный мрак грядущего. Миша Иванюта ощутил трагичность случившегося всеми своими потрясенными чувствами. Да, на широкой дороге жизни разверзлась пропасть... Где-то, недосягаемо далеко за ней, виднелся безоблачный вчерашний день с его несбывшимися надеждами и желаниями.

Знобяще томила тревога, томило напряженное ожидание... И неотступно преследовал вопрос: «Почему все случилось вот так, непонятно?.. А может, ничего страшного? Ведь это граница... А позади огромная страна с огромной армией! Да и здесь какая силища, если собрать ее в кулак...»

Миша будто бродил в поисках ответа на мучившие его вопросы, уже позабыв о себе и о том, что в заклубившемся смерче событий ему нужно подумать о своем месте, нужно приниматься за свое дело дивизионного газетчика.

Возможно, в этот первый полдень первого дня войны в нем взяло верх начало воителя — врожденное или привитое в училище. Постепенно улетучивался страх, рассеивалось помрачение души; даже не хотелось верить, что утро в военном городке с ужасающим сонмом огня и грохота, с дыханием смерти в лицо было не кошмаром, а минувшей явью. Вспоминая, как метался он между разрывами снарядов, Миша уже стыдливо посмеивался над самим собой и удивлялся, что мог так перетрусить... Сейчас все выглядело не столь уж страшным. Даже начинало разбирать любопытство: грянула настоящая война!.. Чего же тем фашистам надо?.. Ну, пусть попробуют... Узнают силу и Красной Армии и своего пролетариата... Наверняка немецкий рабочий класс уже выходит на баррикады... Сокрушающие удары с фронта и революционный пожар в тылу... Не собирался Миша Иванюта побывать в Берлине, а теперь придется... Интересно, скоро ли?.. Через неделю, а может, через три?.. Только зря, наверное, согласился он пойти в газету. Люди будут воевать по-настоящему, громить фашистов, ходить в атаки, совершать подвиги... Даже ордена будут получать...

С этими мыслями младший политрук Иванюта шагал вдоль увала по ржаному полю, пологий склон которого, переливаясь волнами, спадал к ярко-зеленой полосе травянистого берега сверкающей под солнцем речушки. Этот берег с сочной травой и с такой картинной реченькой размашисто охватывал чуть сгорбившееся над ним поле, а затем на повороте исчезал где-то в распадке. Здесь, на увале, в высокой ржи, молчаливо окапывались красноармейцы, прибывшие из недалекого военного городка и еще откуда-то. Миша был новичком в дивизии и не мог знать, где еще в ближайших местах дислоцируются воинские части, как и не мог знать, по чьему приказу выдвинуты сюда эти не столь многочисленные подразделения и кто именно избрал для оборонительного рубежа это духмяное хлебное приволье... Многого еще не знал младший политрук Иванюта — даже того, что сверкающая внизу золотой чешуей речушка именовалась на топографических картах Иглицей.

Видя, как бойцы окапываются, Миша подумал о том, что высокая рожь будет мешать им вести прицельный огонь, хотя совсем не верилось, что именно здесь может произойти настоящий бой — над этой неприметной и тихой речушкой, в этом дремотно-спокойном поле, где воздух напоен таким парным настоем трав. Однако где-то не так уж далеко на западе будто ворочались громы. Их протяжный обвальный гул Миша ощущал и ногами — так бывало в детстве, когда осенью отец опрокидывал над открытой пастью глубоченного погреба о тридцати глиняных ступеньках воз с картошкой; погреб с протяжной басовитостью гудел своей утробой, а земля под босыми ногами стоявшего рядом Михайлика чуть подрагивала.

Прикоснувшись мыслью к далекому полусиротскому детству, Миша не расслышал, как из окопа в окоп прокатилась вдоль увала команда — расчистить сектор обзора и обстрела. Увидел только, как уже началась эта поражающая своей противоестественностью косовица: бойцы, выйдя из окопов, приседая и раскорячиваясь, стали размахивать перед собой саперными лопатками или прикладами карабинов, сшибая густую, дозревающую рожь и нещадно топча ее тяжелыми сапогами. У Миши перехватило дыхание... Но у одного ли него?.. Сколько среди этих будто под тяжестью полусогнувшихся «косцов», которые в своем противоестественном усердии все дальше и дальше уходили по склону вниз, было крестьянских сыновей, понимавших, что они не только рушат чужой труд, а и поднимают руку на самое святое из всего, что рождает земля по велению человеческого разума и при его усилиях... Но понимали, наверное, и другое: пришла беда, опрокинувшая все привычные понятия... Сзади красноармейцев оставалось изувеченное поле, жалко торчащие обезглавленные и изломанные стебли... Картину жестокого опустошения окаймляла разрытая земля, зияющая окопами и чернеющая свежими холмиками брустверов.

Впереди, в группе командиров, Миша Иванюта узнал старшего лейтенанта Колодяжного — того самого дежурного по полку, с которым он только вчера вечером познакомился и который обещал сегодня утром отправить его на полигон. Командиры о чем-то говорили, и Миша заспешил к ним с намерением расспросить Колодяжного об обстановке и посетовать на то, что все здесь делается не совсем так, как велит устав и как делалось на тактических занятиях и учениях. Нет глубокого эшелонирования боевых порядков, нет боевого охранения впереди. Идя вдоль линии ячеек, он нигде не слышал, чтобы кто-нибудь из командиров ставил перед бойцами задачу. А он бы, младший политрук Иванюта, начинал именно с этого. Он назубок знал все пункты приказа в их уставной последовательности, умел, согласно этим пунктам, сочинять вводные для любого вида боевых действий на самой различной местности, днем или

ночью, умел принимать решения за командира, вплоть до батальона, а может, и полка, и развивать мысленно динамику боя на всех его этапах. Учебно-полевая практика у Иванюты ведь не маленькая, а выпускная экзаменационная оценка по тактике — самая высокая!..

Младший политрук Иванюта подходил к командирам. Уже издали приметил его старший лейтенант Колодяжный и дружелюбно подмигнул, как доброму знакомому. И в это время кто-то из наблюдателей во все горло завопил:

— Воздух!.. Самолеты противника!

— Воздух! — разноголосо покатилось вдоль окопов и там, внизу, по цепи «косцов».

Шестерка самолетов уже делала боевой заход, а люди на возвышенности с любопытством глазели на нее, ничего не предпринимая. Вдруг кто-то из командиров опомнился и энергично скомандовал:

— Ло-жи-и-сь!.. Прекратить движение!

Команда была явно запоздалая, однако не лишняя. Красноармейцы, сбивавшие рожь, одни кинулись к своим окопам, а другие залегли там, где застигла их команда. Миша Иванюта, видя, что старший лейтенант Колодяжный и другие командиры побежали к свободным ячейкам, тоже вскочил в ближайший окопчик, вырытый для стрельбы с колена, скорчился в нем и, повернувшись лицом вверх, стал наблюдать за самолетами.

Ведущий бомбардировщик первым сорвался в крутое пике и с пронзительным ревом стал падать прямо, как показалось Мише, на его окоп. И будто тяжелый пресс начал втискивать тело в землю. Самолет рос на глазах, увеличиваясь в размерах, его высокий нарастающий вой набирал все больше силы и делался нестерпимым. Миша отчетливо видел в прозрачном решетчато-округлом носу бомбардировщика две головы в черных шлемах; летчики, кажется, тоже видели Мишу... От брюха самолета оторвалось несколько темных капель. Это же бомбы!.. Самолет, показав на дымчато-желтых крыльях черные кресты в белых угольниках, вышел из пике и взмыл вверх. А вместо него уже падал вдогонку свистящим бомбам второй самолет. Миша зажмурился, сжался в комок. Вокруг загрохотало с такой ужасающей силой, что на какие-то мгновения он будто окунулся в небытие, ощущая при этом ворвавшийся в окоп вихрь — горячий и смрадный от сгоревшего тротила.

И даже сквозь поднявшуюся пыль Мише опять были видны в округлом носу падающего на него бомбардировщика немецкие летчики. Вот же они, вот! Миша впервые вспомнил о своем нагане. Одним нервным движением выхватил его из кобуры и, закусив губу, прицелился в выпуклую решетку носа... В горячке не заметил, как расстрелял весь барабан, а самолет, уронив бомбы, уже выходил из пике, будто улепетывая от очередного самолета, сорвавшегося из поднебесной крутизны.

«Эх, карабин бы!» — обожгла Мишу мысль, и тут он вспомнил, что рядом, в окопах, бойцы с винтовками, ручными и станковыми пулеметами! И тотчас будто увидел своего преподавателя по тактике полковника Чернядьева, который требовательно спросил у него: «Ваше решение, курсант Иванюта?»

Миша, когда в стороне отгрохотала серия взрывов, чуть высунулся из окопа и сколько было мочи закричал:

— Внимание!.. Слушай мою команду!.. По воздушной пикирующей цели!.. Прицел три!.. Упреждение один корпус!.. Залпом!.. Пли!..

— Пли-и!.. — покатилось от окопа к окопу.

Залпа не получилось, но вдоль увала вначале жидко, а потом дружнее затрещали выстрелы. Зататакал где-то один пулемет, затем второй... Пикировавший самолет, тут же поспешив сбросить бомбы, с отворотом вышел из пике и набрал высоту.

— Ага, не нравится? — услышал Миша из соседнего окопа торжествующий голос Колодяжного. — Молодец, младший политрук!

Миша не сразу понял, что последние слова обращены к нему, а когда понял, то не обрадовался им: со стороны дороги прикатилась другая команда:

— Прекратить огонь! Экономить боеприпасы!

Передавалось еще какое-то распоряжение, но оно заглохло в своей невнятности где-то на середине гребня, ибо «юнкерсы» — это были именно они — продолжали бомбежку.

— Не стрелять! Экономить патроны! — опять передавалось по цепи.

Однако уже невозможно было укротить жажду бойцов дотянуться пехотным огнем до самолетов. Стрельба хоть и ослабла, но не прекращалась, тем более что, может быть, в эти минуты во многих сердцах впервые остро всколыхнулась ненависть. Ведь бомбы делали свое ужасающее дело: появились первые убитые и раненые. До Мишиного слуха долетел чей-то приглушенный расстоянием крик, от которого бросило в дрожь:

— Пристрелите!.. Братцы, добейте меня!.. Родненькие, добейте!..

Над ржаным полем нырнул в пике шестой, последний самолет, тогда как первые, сделав разворот, уже начинали пикировать на недалекую дорогу, прятавшуюся в долине.

«Эх, наших бы «ястребков» сюда... Где же они?..»

Окопы продолжали огрызаться огнем. Миша даже заметил, что к несущемуся с воем самолету протянулись дымчато-сизые нити трассирующих пуль, выпущенных чьим-то пулеметом. Возможно, их увидели и немецкие летчики, потому что, сбросив бомбы, они продолжали пикировать навстречу трассам, чтобы, как подумалось Мише, накрыть новой серией бомб пулеметное гнездо... Вот самолет все ниже... Уже отчетливо видны лица летчиков в обрамлении черных шлемов. Миша еще успел заметить, как в распахнутые створки бомбового люка вывалился целый рой бомб и что самолет при этом вздрогнул, будто на мгновение остановился в воздухе, а затем, покачнувшись, лег на крыло и так, в полуопрокинутом виде, продолжал падать.

Миша вдруг понял, что «юнкерс» неуправляем, что сейчас он врежется в землю, и ощутил неодолимое желание выскочить из окопа и отбежать хоть немного в сторону... Но поздно... Руки непроизвольно обхватили непокрытую голову, и сам он сколько было сил вжался в дно ячейки. И будто оказался на телеге, мчащейся по булыжнику: так затрясся под ним окоп; земля и небо словно раскололись на части от обвального, раздавившего, кажется, все пространство грохота.

Не увидел Миша самого впечатляющего: взорвавшиеся близ окопов бомбы дохнули могучей тугой волной навстречу падающему самолету, опрокинули его вверх брюхом, и бомбардировщик, странно виляя опустившимся вниз хвостом, как-то избочась, пронесся над склоном, где залегли во ржи «косцы», и врезался в зеленый берег Иглицы, гулко громыхнув всеми своими металлическими внутренностями и тут же потеряв всякое подобие крылатой машины.

## 20

Когда младший политрук Иванюта, опамятовавшись и отряхнув с себя крошево земли, выглянул из окопа, то увидел, как по кочковатому склону с бурыми пятнами свежих воронок бежали к реке, размахивая руками, десятки красноармейцев — из дальних окопов, до которых бомбежка не дотянулась. Мише тоже нестерпимо захотелось побежать к самолету да поглазеть на него, такого грозного минуту назад, посмотреть на летчиков, живых или мертвых, — загадочных и уже до предела нена-

вистных людей, но в это время Миша увидел другое: далеко за речкой, на необозримом поле, где в мареве палящего зноя плавно волновался низкорослый сизый овес, замаячили темные фигурки людей. Они брели по колено в овсяном половодье со стороны темнеющего леса большими группами, между которыми виднелись группки поменьше.

«Немцы», — трепыхнулась мысль.

Людей за речкой разглядел не только младший политрук Иванюта. Справа и слева, далеко и близко послышались нервно-торопливые, тревожно-громкие или приглушенные расстоянием команды:

— Противник с фронта!..

— Приготовиться к бою!..

— Занять окопы!.. К бою!..

— Минометчикам приготовиться к открытию огня!..

В небе утихал рокот «юнкерсов»: вторым заходом пробомбив дорогу в лощине и оставив там два витых столба дыма, они теперь на большой высоте уходили на запад. После отгремевших взрывов воцарилась тишина, и, может, поэтому даже отдаленные и смутные команды доносились с той внятностью, какая и возможна только в безмолвном поле.

Услышав повелительные возгласы, бойцы, в азартном порыве бежавшие к обломкам самолета, остановились, затоптались на месте, а затем, подхлестнутые словами «противник с фронта», с еще большей прытью повернули назад. Устремились к своим окопам и «косцы», так и не успев примять рожь до самого берега.

На линии обороны все пришло в движение. Поспешно углублялись ячейки, прилаживались на брустверах карабины и пулеметы, в ручные гранаты вставлялись запалы, громче застонали раненые и проворнее засуетились возле них санитары.

Миша Иванюта, досадуя, что не имеет надежного оружия, вспомнил, что и в барабане его нагана одни пустые гильзы. Надо было их вытолкнуть из отверстий и вставить хранимые в кармашке кобуры последние семь патронов. Только начал выталкивать шомполом гильзы, как услышал над собой извиняющийся голос:

— Товарищ младший политрук, разрешите занять свой окоп.

Миша поднял голову и увидел темноликого и горбоносого старшину в линялой гимнастерке, на которой и петлицы с четырьмя рубинового цвета треугольничками в каждой тоже были выцветшие. Поблескивая чуть раскосыми степными глазами, старшина держал в одной руке карабин, а второй прижимал к левому боку чем-то набитую полевую кирзовую сумку с брезентовым, перекинутым через плечо ремешком.

— Одну минуточку, — удрученно ответил Иванюта, прокручивая барабан нагана и вгоняя в его гнездо патроны. Из окопа вылез только после того, как сгреб в подоле гимнастерки стреляные гильзы и спрятал их в карман.

— Гильзы не к чему хранить, — с усмешкой сказал старшина. — Чай, не на стрельбище вышли.

Иванюта промолчал, вглядываясь за речку, где на овсяном поле еще больше замаячило человеческих фигур.

— Товарищ младший политрук, — умащиваясь в окопе, спросил старшина, — а я вам медальон вручил?

— Какой медальон?

— Ну, смертельный... На случай, если убьют...

— А если я не из вашей части? — с проблеском какой-то заинтересованности спросил Иванюта.

— Это не имеет значения. — И старшина полез в сумку. — Приказано всем раздать... Только не забудьте заполнить ярлык, а то в случае чего...

Миша отсутствующим взглядом рассматривал очутившийся в его руках ребристый пенальчик из черной пластмассы. В ушах его навязчиво звучали слова старшины: «А то в случае чего...» Он знал, что в медальоне лежит скрученный в трубочку ярлык, что его надо заполнить, написать данные о себе и адрес, по которому пошлют извещение «...в случае чего...». Но не стал развинчивать медальон. Осмотрелся и увидел Колодяжного. Старший лейтенант с каким-то тупым напряжением на лице всматривался поверх окопного бруствера в сторону овсяного поля. Словно почувствовав на себе взгляд Иванюты, он нервно повернулся к нему.

— Ты что, у тещи на блинах? — обозленно крикнул Колодяжный и, указав на лежавшую рядом с его окопом лопатку, раздраженно добавил: — Скорее окапывайся!

Миша будто даже обрадовался такому неотложному делу. Поблизости от ячейки Колодяжного он начал быстро рыть окоп, стараясь отмахнуться от неспокойных и противоречивых мыслей. И в самом деле, все здесь при своих подразделениях, знают свою задачу, а он как праздный наблюдатель. Начнется сейчас бой, а при нем только наган, и он при нагане. Семь патронов... Ни стрелок и ни командир... Если убьют, в редакции ничего не узнают. И он ничего не будет знать, что это за такой внезапный бой. Ведь пехоты — кот наплакал, ни танков не подтянули, ни артиллерии...

А люди на овсяном поле все ближе и ближе. Целая туча!.. Хорошо, если в бою добудет оружие. А если нет? Ведь он превосходно владеет штыком!..

Земля была рыхлой, работал Миша споро, и окоп делался все глубже, а бруствер перед ним — все выше. И вместе с тем росло гнетущее беспокойство, ощущение своей ненужности здесь и понимание, что ничто измениться не может. Миша ни за что не уйдет с этого места, да и некуда уходить, ибо нет и не может быть иного дела, которое могло бы показаться для него важнее, чем то, которым он сейчас занят. Вдруг Мишу ехидной иглой пронзила мысль: «А не трусите ли вы, товарищ младший политрук Иванюта?»

Эта мысль словно одним ударом перечеркнула и отбросила все его сомнения. Он повернулся к Колодяжному и с упрямой требовательностью сказал:

— Старший лейтенант, у меня только наган... Прикажи своим, чтоб гранатами со мной поделились.

— У меня тоже, кроме пистолета, ничего нет, — угрюмо ответил Колодяжный и, отвернувшись в сторону, кому-то закричал: — Что там делают минометчики?! Почему не открывают огня?!

И вдруг с левого фланга, со стороны дороги, покатилась от окопа к окопу команда:

— Отставить «К бою»! Не стрелять!..

— А-а, это наши отступают, — высказал догадку Колодяжный, пристально всматриваясь за речку.

Так и оказалось. Толпы людей, в большинстве мирные жители, рабочие отрядов, строивших укрепления, и среди них военные — легкораненые или остатки разгромленных подразделений, которые первыми приняли на себя удар врага, — поскольку дорога за лесом делала огромный крюк, устремились через поля напрямик, боясь, что их настигнут прорвавшиеся немецкие танки. Перед Иглицей они подались влево, к мосту, и потекли через линию обороны пестрым, нескончаемым потоком.

Миша Иванюта, бросив свой окоп, тоже направился было к мосту, чтобы побеседовать с кем-нибудь из тех, кто уже побывал в бою. Но в это время над головой скользнул клекочущий шорох, будто с конька железной крыши сорвалась плоская глыба льда; тотчас же сзади во ржи

ахнул взрыв, а за ним прогрохотал еще целый обвал снарядов... Миша и не опомнился, как снова оказался в своем окопе. А справа и слева покатилось разноголосье команд:

— К бою!

— Танки с фронта!

— Приготовиться к открытию огня!..

Далеко за речкой, там, где в овсяное поле мысом вдавался лес, Миша увидел курящуюся пыль, из которой сверкнули вспышки. Воздух над окопами взвыл, но снаряды легли где-то у дороги. Вскоре можно было различить, что действительно идут танки, что они, на ходу растекаясь вправо и влево, выстраиваются в боевой порядок для атаки.

Заметались на овсяном поле темные фигурки оставшихся беженцев. В панике шарахнулись они в стороны, будто от надвигающегося пламени. В это время из шлейфов пыли, вздымаемой гусеницами, выскочили мотоциклисты и, обогнав танки, начали охотиться за людьми. Приглушенные расстоянием, доносились очереди их пулеметов. Из-за танков вслед за мотоциклистами устремились вперед бронетранспортеры с пехотой. С их бортов тоже ударил шквал огня по мечущимся в смертном страхе людям. Миша, затаив дыхание, не отрывал глаз от двух будто летевших над полем белых пятнышек. Догадался: косынки... Судя по стремительности, это бежали девушки. За ними гнался мотоцикл с двумя седоками... И ничем не помочь на таком расстоянии!

Вскоре поле будто поглотило беженцев, не маячили больше над колышущейся зеленой ширью и белые косынки...

Немцы приближались быстро. С высоты увала четко просматривался гигантский клин, острие которого составляли мотоциклисты и бронетранспортеры с пехотой, а основание — несколько эшелонов танков и орудий сопровождения.

Мише Иванюте не хотелось верить в неотвратимость боя. И может, потому не хотелось, что уж слишком неравные силы; было совершенно очевидно: не сдержать залегшим в окопах красноармейцам эту накатывающуюся в облаках пыли и в грохоте пальбы стальную лавину. И вообще все происходящее казалось чудовищной неправдой... Дальний огневой налет на военный городок... Бомбежка... И вдруг — танки... А с нашей стороны ни самолетов в небе и ничего другого, похожего на то, как раньше мыслился отпор врагу... Неужели вот так, не успев ничего толком понять и ничего не сделав, можно умереть?..

Со стороны дороги вдруг послышались резкие пушечные выстрелы. Им вторили где-то в тылу, во ржи, отрывистые хлопки минометов. Первые же взрывы мин разметали мотоциклистов, заставив их шарахнуться в стороны друг от друга. А первые снаряды уже нашли первые цели: было хорошо видно, как замерли на месте два передних танка... Но это лишь только начало боя. Снова выплеснулись из стволов танковых пушек короткие огненные вспышки. И гребень будто закипел и задымился. Грохот этого кипения, пыль, смрад, высшая степень томительного напряжения и инстинктивный страх — все это казалось невыносимым. И Миша Иванюта, подогнув будто ватные ноги, присел на дно окопа. Надо было чего-то ждать. Но чего именно, он пока не знал, придавленный тягостным ощущением непоправимого.

Он выглянул через бруствер только тогда, когда услышал, что без всякой команды поднялась над окопами ружейно-пулеметная пальба, которая в своей нестройной густоте показалась даже внушительной. Увидел, что бронетранспортеры с пехотой, разделившись на группы, уже перемахнули через речушку и ползли по склону вверх. А танки, продолжая палить из пушек, почему-то повернули левее, в ту сторону, откуда еще изредка стреляли наши орудия и где находилась дорога.

«Гранатами надо, гранатами!» — мелькнула у Миши мысль, когда он увидел, что прямо перед ним, обойдя обломки самолета, начали подминать рожь три бронетранспортера. И даже не заметил, как эта мысль будто обрела голос.

— Гранатами их, гадов! — закричал он, кинув нетерпеливый взгляд на окоп старшего лейтенанта Колодяжного.

Увидел, что Колодяжный, успев где-то раздобыть винтовку, старательно щурился и посылал вперед пулю за пулей.

— Слышишь, старший лейтенант!.. — Миша орал во все горло, наливаясь злостью почему-то на Колодяжного. — В каждый кузов — по гранате!..

Колодяжный что-то крикнул ему в ответ, затем, отложив в сторону винтовку, начал целиться в бронетранспортер из ракетницы.

«Рехнулся от страха», — подумал Миша и ощутил, как внутри него рождается приступ нервного хохота. Проследил глазами, как ракета описала над полем дугу и упала позади бронетранспортеров, и тут же увидел, что бронетранспортеры остановились. С их бортов посыпались на землю солдаты, разбегаясь в стороны. Некоторые из них, будто споткнувшись, падали и больше не поднимались.

Цепь немцев образовалась довольно густая. Приставив к животам автоматы, они с ходу ударили по гребню склона таким ливнем пуль, что стрельба из окопов сразу же утихла. В это время раздался высокий голос Колодяжного:

— Гранаты к бою!

— Гранаты к бою! — со звенящей лихостью закричал и Миша. Может, повинуясь привычке или даже инстинкту, выработанному на тактических занятиях в училище, он затем, как и полагалось в подобных ситуациях, протяжно скомандовал: — Приготовиться к контратаке-е!

И тут же с радостью отметил, что команда его услышана.

— К контратаке-е!.. К контратаке-е!.. — перекатисто понеслось вдоль окопов.

Эта команда будто смахнула оторопь, которая охватила бойцов перед градом замелькавших над их головами хищных светлячков — трассирующих пуль. Стрельба из окопов опять усилилась. Ахнули взрывы первых гранат, брошенных преждевременно и поэтому не долетевших до атакующих немцев.

Удивительно, что пробежавший по жилам озноб словно смыл страх. Положив руку с наганом на бруствер, Миша старательно целился в коренастого, широкоплечего солдата в каске, с засученными рукавами, который с шага уже переходил на бег, что-то крича и держа перед собой плюющийся огнем автомат. Выстрел отдался толчком в руку, но... немец продолжал бежать... Вот цепь еще ближе... Из окопов, описывая крутые траектории, полетели гранаты — теперь уже точно по цели. Их взрывы вздыбились такой густой стеной, что атакующие вдруг залегли и тоже начали выхватывать из-за поясов гранаты с длинными рукоятками. Из наших окопов опять полетели, кувыркаясь в воздухе, зеленые «бутылочки».

— Пора! — крикнул Миша в сторону окопа Колодяжного и даже сам не понял, какая сила выбросила его на бруствер. Став в полный рост, не без картинности и показной дерзкой лихости, он, возвысив голос, изо всех сил скомандовал:

— В контратаку-у!.. За Родину! За Сталина! Впере-е-ед!.. За мно-ой!..

Краем глаза увидел, как из окопов будто высунулись грудные показные мишени: так бывает на стрельбище. Но тут же мишени ожили и превратились в фигуры полного роста. Больше Миша не оглядывался и,

оттолкнувшись от бруствера, который резко осел под сапогом, кинулся вперед. Он не увидел, что выскочившие из окопов красноармейцы, прежде чем устремиться в контратаку, швырнули в залегшую цепь немцев по гранате. И когда там взметнулись десятки взрывов, Миша на мгновение остановился, будто грудью наткнулся на преграду. А немцы — вот же они, вот... Уже некоторые привстали на колени и выдергивали шнуры из рукояток гранат. Даже рассмотрел в золотистой оправе очки на бледном лице солдата, который, направив в его сторону автомат, ударил длинной очередью трассирующих пуль. Мише показалось, что все пули летят ему в лицо: их светлячки, издавая злобные взвизги, куда-то исчезали прямо перед глазами, оставляя только острый запах сгоревшего пороха, а на зубах — привкус металла.

— Ур-ра-а! — закричал рядом Колодяжный, обгоняя младшего политрука Иванюту.

И все поле будто взорвалось боевыми, ликующими кличами.

— А-а-а!.. — неслась по склону вниз живая, разъяренная лавина, ощетинившись штыками.

Миша Иванюта с этого мгновения словно утратил чувство реальности, и будто время для него остановилось. Перед ним мелькали перекошенные страхом чужие лица, трещали автоматные очереди, гремели взрывы гранат, раздавались предсмертные вопли и хрипы. А он, когда понял, что его наган уже не стреляет, вырвал из рук тяжело раненного, в пепельного цвета мундире, солдата черный незнакомый автомат, но не сразу сообразил, как поставить его на боевой взвод. Когда оттянул на себя боевую пружину с ударником и прицелился в удиравших к речке гитлеровцев, автомат изрыгнул короткую очередь и умолк: в магазине кончились патроны.

Потом в его руках оказался уже другой автомат, а за голенищем сапога — запасной магазин. С удивлением оглянулся на Колодяжного, который оттолкнул его в сторону от запылавших бронетранспортеров; Миша так и не понял, почему они загорелись. Но размышлять было некогда, потому что уцелевшие немцы, вздымая фонтаны брызг, кинулись в речку и по ним надо было стрелять.

Потом появились танки. Всего лишь три танка с черными крестами на башнях! Видимо, это из числа тех, которые, проутюжив огневые позиции артиллеристов и минометчиков, прорвались к дороге. Они завернули на выручку своей мотопехоте и ударили по контратакующим с тыла.

В открытом поле человек против танка беспомощен... Только немногих спасла та самая рожь, которую не успели положить на землю «косцы». Когда танки, оказавшись сзади, на линии окопов, застрочили из пулеметов, а потом начали давить гусеницами заметавшихся по склону красноармейцев, Иванюта, Колодяжный и с ними еще с десяток бойцов, выбежав к речке, круто повернули вправо, прячась за рожь, стеной стоявшую вдоль берега. Так они бежали сколько было сил до того места, где берег на изгибе порос черноталом. Нырнули в тучную, курчавую зелень, упали на болотистую землю и, с трудом переводя дыхание, стали прислушиваться, нет ли погони.

## 21

Близилось время, когда Молотову надо было покинуть кабинет Сталина. Политбюро поручило ему от имени Советского правительства обратиться по радио к народу с заявлением о свершившемся нападении немецко-фашистских войск.

Сталин то прохаживался вдоль стола, за которым сидели озабочен-

ные члены Политбюро, то останавливался, больше обычного дымя трубкой. Иногда он, взмахнув рукой, задавал вопросы, но никому их не адресуя, словно разговаривая сам с собой о чем-то мучительном, не сообразующемся с его понятиями.

По всему было видно, что Сталину нелегко. Казалось, он еще не верил до конца в случившееся. Или будто надеялся на чудо и ждал, что вот-вот раздастся звонок из Генштаба и ему доложат, что никакой войны нет, что немцы затеяли невиданную провокацию и теперь надо улаживать сложный, с далеко идущими последствиями кровавый конфликт.

Пройдя к своему рабочему столу, он спичкой вычистил над пепельницей трубку.

— Да, не хватило времени, просчитались в сроках, — сказал он таким тоном, словно лишь только сейчас утвердился в этой истине. — А ведь взвешивали, казалось, буквально все и демонстрировали свою искренность в стремлении к миру. Мы не собирались ни на кого нападать и следовали известному правилу, согласно которому искренность в политике и дипломатии есть матерь правды и вывеска честных людей... Однако на какое-то время позабыли, что у них и у нас — разные меры веса, разная правда и разное понятие о честности... Вот и просчитались... Но Гитлер, вероломно нарушив договор, просчитался решительно во всем!.. Он будет уничтожен!.. Если даже Гесс действительно добился каких-то гарантий от Черчилля, фашистскому фюреру не на что надеяться!.. Не на что! Хотя и нам придется очень нелегко...

Куранты на кремлевской башне как раз отбивали без четверти двенадцать, и над Красной площадью плыл мягкий, мелодичный перезвон, когда из Спасских ворот один за другим выехали два закрытых лимузина. Во втором, на заднем сиденье, откинувшись на зачехленную белой парусиной спинку, сидел Молотов. Лицо его было мрачно, глаза под пенсне, таившие тяжесть тревожных мыслей и отравлявшую сердце горечь, суровы. Ехал он на Центральный телеграф, в здании которого, со стороны переулка, находилась радиостудия.

Лимузины пересекли Красную площадь, затем Манежную. И когда въехали на улицу Горького, Молотов, оторвавшись от трудных мыслей, вдруг увидел, как на тротуаре справа весело теснились в сторону прохожие, уступая дорогу свадебному кортежу, звенящему гитарами и песней. Впереди шли невеста, в белом платье, с сияющим лицом и опущенными глазами, и жених, высокий, красивый парень с широкими плечами молотобойца.

Молотов содрогнулся от мысли, что москвичи еще ничего не знают!.. Люди продолжали жить своими радостями, обыденными заботами и светлыми, как у этих счастливых молодоженов, надеждами... А через несколько минут он известит страну о войне, и все померкнет вокруг, жизнь будто остановится на месте, чтобы затем повернуть свой бег в другую, простершуюся за порог неизвестности сторону!.. Сколько же слез прольют женские и детские глаза!.. Какой взметнется вихрь человеческих чувств!.. А для всех вот таких невест и женихов этот день обернется тяжким днем печали и прощания, может быть, навсегда...

И когда уже сидел он в студии перед микрофоном, ощущая на себе из-за квадратного стекла операторской испуганные и любопытные взгляды людей, которые вели передачу его выступления на все радиостанции Советского Союза, когда взволнованно произносил суровые фразы, осуждавшие клику кровожадных фашистских правителей, призывавшие советский народ к сплочению и единству, чтобы обеспечить победу

над врагом, ему вспоминались веселые и беззаботные лица тех рабочих парней и девчонок на улице Горького... Да, у них есть что защищать от поработителей... Заключительные фразы он произнес как утверждение веры, которая в конечном счете имеет право только на торжество: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

От Центрального телеграфа до Кремля — дорога короткая, но опять успел увидеть незабываемое: будто не по этой улице он ехал меньше часа назад. Люди — одни куда-то спешили с взволнованными лицами, другие стояли группками и возбужденно разговаривали, третьи, видимо еще ничего не знавшие, с удивлением оглядывались по сторонам, не в силах постигнуть, что произошло и почему так много женщин прикладывают к глазам платки...

Когда вошел в кабинет Сталина, тот в это время разговаривал по телефону с кем-то из военного руководства.

— Выясняйте и докладывайте! — строго выговорил Сталин и положил трубку на аппарат. Помолчал, всматриваясь в лицо Молотова и напряженно о чем-то думая, затем со сдержанным недовольством произнес: — Вот видишь, а ты предлагал, чтобы по радио выступал я... Они до сих пор ничего не знают! — Сталин имел в виду того, с кем разговаривал по телефону. — Ничего конкретного не знают, что делается на границе!.. Павлов не имеет связи даже со штабами армий!.. Говорит, опоздала в войска директива... Почему опоздала?! Почему так поставлено дело, что она опоздала?! А если б мы вовсе не успели дать директиву? Разве армия без директивы не должна находиться в боевой готовности?! — Сталин вышел из-за стола и быстрее обычного зашагал по кабинету, с гневом продолжая говорить, будто оправдываясь: — Разве я должен приказывать своим часам, чтобы они шли?! Разве надо напоминать сердцу, чтобы оно не останавливалось?!

Возвратившись к столу, Сталин взял карандаш и что-то записал в календаре. Потом снова возвысил голос:

— Пришлось послать Павлову нянек — маршалов Шапошникова и Кулика... А ты предлагал, чтобы я выступал!.. Мне еще придется выступать!..

Рабочий день в Кремле продолжался, первый военный день, когда воспаленные мысли всех были обращены туда, в приграничные области.

Ни Сталин и ни кто другой в Кремле еще не понимал той ужасающей трагичности, с которой началось для наших войск вторжение врага. Да и не могли пока понимать, не ведая, как все произошло, особенно там, в предполье Западного Особого военного округа. А случилось то, что кроме оперативной внезапности агрессии фашистам в полной мере удалась и тактическая внезапность, принесшая нам тяжкие потери.

Разумеется, в своих суждениях никто не может претендовать на категоричность. Можно лишь высказывать догадки. Но совершенно ясно одно: тактическая внезапность позволила противнику добиться более значительных, чем это могло быть, успехов на важнейших оперативных направлениях и в конечном счете достигнуть стратегической инициативы. Кризисная ситуация поначалу усугубилась еще и тем, что наша предвоенная теория не разрабатывала способов организации и ведения стратегической обороны, хотя и не отрицала ее как закономерного вида вооруженной борьбы.

Правительство СССР и Центральный Комитет партии, делая все возможное для организации отпора агрессору, вместе с тем чутко прислушивались к жизни планеты. Как реагирует человечество на смертельную

схватку двух социальных систем?.. Есть ли у мирового пролетариата возможность хотя бы провозгласить свое отношение к тому, что над первым в мире пролетарским государством нависла такая серьезная угроза?.. Наконец, как ведут себя буржуазные правительства, и в первую очередь правительство Англии, пребывающей в состоянии войны с Германией?.. Ведь именно двоедушие Англии, наследственное коварство потомка рода Мальборо — Уинстона Леонардо Спенсера Черчилля — с их политикой науськивания Германии на Советский Союз породили в Европе туманную атмосферу, в которой трудно было разглядеть мнимые и истинные опасности.

Первые сообщения, поступившие в Москву по дипломатическим каналам, гласили, что политические круги английской столицы вздохнули с облегчением, узнав о нападении Гитлера на СССР. «Воскресенье, 22 июня 1941 года, надо считать днем спасения Англии...»

Уинстон Черчилль в этот «день спасения» находился в своей официальной загородной резиденции Чекерс, хотя предыдущие субботы и воскресенья, боясь налета на Чекерс немецких бомбардировщиков или выброски десантников-террористов, он проводил у богатого приятеля Рональда Три в поместье Дитчли. Известие о вторжении фашистов в пределы СССР Черчилль воспринял как щедрый и неоплатный дар божий и вечером 22 июня выступил по радио с речью, которая прозвучала так, будто премьер-министр имел возможность приготовить ее заблаговременно. В этой речи Уинстон Черчилль выразил коренные интересы своего народа и известил мир о том, что Англия выступает на стороне Советского Союза в войне с Германией. Перед лицом всего человечества Черчилль признал, что, выступая на стороне России, Англия спасает и себя. «...Вторжение Гитлера в Россию — это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова... — говорил он. — Поэтому опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же, как дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, — это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара».

Но чтобы у врагов коммунизма не осталось сомнений насчет истинного отношения Черчилля к общественному строю в СССР, он в этой же речи провозгласил: «За последние двадцать пять лет не было более последовательного противника коммунизма, нежели я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое сказал о нем». Иначе говоря, Черчилль не скрывал своей ненависти к Советскому Союзу, но поскольку, если последний потерпит поражение, Гитлер может повернуть свои силы против Англии, то Англия, чтобы спасти себя, готова помогать Советскому Союзу в его борьбе против Германии.

В этой же речи Черчилль не постеснялся и пролить крокодиловы слезы. Он говорил: «Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли... Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся — да, бывают времена, когда молятся все, — о безопасности своих близких... Я вижу десятки тысяч русских деревень... где существуют исконные человеческие радости, где смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина...»

Утром 23 июня Сталин читал речь Черчилля... Это было второе военное утро, сменившее вторую бессонную ночь...

Конечно же, легче устремлять ищущую мысль в будущее, когда знаешь, что в войне, временные границы и накал ожесточенности которой еще трудно измерить, твое государство не одиноко. Пусть даже неизвестно, какие деяния могут стоять за словами английского премьера, который до этого приложил немало стараний, чтобы толкнуть нацистскую военную машину в сторону Советского Союза...

Долго сидел Сталин, вчитываясь в округлые фразы, переведенные с английского. Что думал он, считавший себя в политике и дипломатии стороной, диктующей и творящей законы? Где витали его мысли, привыкшие опираться в теории на истинность, подтвержденную жизнью, или на авторитет аксиом, рожденных мудростью великих мыслителей?

За длинным столом сидели члены Политбюро; перед каждым из них тоже лежал текст речи английского премьер-министра.

Сталин наконец поднял голову. Глаза его сверкнули болезненной желтизной, а под усами на губах дрожала едкая ухмылка; и в то же время на усталом лице его промелькнуло какое-то смятение. Постучав кончиками пальцев по столу, он заговорил:

— Кто тот первый человек на земле, который сказал неправду?.. И интересно, по поводу чего он солгал впервые?..

Все смотрели на Сталина с недоумением и тревогой.

— Ты что, не веришь в это заявление? — чуть заикаясь, спросил Молотов, в упор глядя в его лицо.

— Дело не в этом: веришь, не веришь... Я верил и в правдивость последнего письма Черчилля ко мне, где он сообщал о переброске немцами в южную часть Польши трех бронетанковых дивизий... Однако я был убежден, и очень твердо убежден сейчас, что стараниями Черчилля нечто подобное, но о передвижениях Красной Армии, получил и Гитлер. Его тоже предупреждали об опасности... с нашей стороны... И то, что мы не сдержали Гитлера и сегодня воюем, — это в какой-то мере победа Черчилля... Ведь до сих пор английское правительство держит в строгой тайне, зачем к ним прилетел Гесс и какие они ведут с ним переговоры... А при честной политике об этом уже должен знать весь мир. Ну, хорошо, пусть не мир... Мог же Черчилль, если он так искренне заботился о нашей безопасности, сообщить нам, какую задачу поручил Гитлер Гессу?.. Чтоб мы знали истинную цену договора, заключенного с Германией?.. Это, вероятно, могло бы повлиять на нашу оценку всех предупреждений, в том числе и Черчилля, о намерениях Германии напасть на нас.

Сталин умолк, отодвинул от себя страницы с текстом речи английского премьера и устремил сумрачный взгляд в какую-то другую бумагу, лежащую у него на столе.

— Так какова же твоя точка зрения, товарищ Сталин? — нарушил наступившую тишину маршал Ворошилов. — Как мы должны относиться к заявлению Черчилля?

— Как относиться? — Сталин будто ждал этого вопроса. — Разумеется, мы будем приветствовать это заявление. Но мы не можем не задумываться и над тем, в каких ситуациях, при каких обстоятельствах капиталистическое государство может подать руку помощи социалистическому государству... В данном случае имеются в виду капиталистические государства — Англия и Соединенные Штаты Америки... Да, они придут нам на помощь, но не раньше и не позже, чем создастся любая из трех следующих ситуаций... Первая: когда мы как государство окажемся на грани гибели... Они поспешат нам тогда на помощь, боясь, что Германия, победив Советский Союз, поставит на повестку дня завоевание Великобритании... Вторая: когда им покажется, что мы обескровлены и можем согласиться на перемирие, если вдруг Германия его нам предложит... Ну, а третья ситуация... О ней говорить рано. Это будет тогда, когда Красная Армия разгромит армию Гитлера. Тогда армии Англии и США ринутся на Европейский континент, — с одной стороны, чтобы добивать фашистов, с другой стороны, главным образом заботясь о том, чтобы нигде в Западной и Юго-Восточной Европе не утвердился социализм...

Генерал Чумаков сделал все, что было в его возможностях, и даже сверх возможного. На что же надеяться теперь? Что предпринять? На какой шаг решиться?..

Только третий день идет война, а позади будто нескончаемая удушливая вязь тьмы и света, грохота и кровавой сумятицы, бездна пережитого и передуманного, увиденного и свершенного. Кажется, уже потрачены все без остатка силы и в груди ломит от ощущения безысходности. Но высший судья человека — его разум, охватывая происходящее, не хотел смириться с тем, что верх берут захватчики.

Есть ли в вековых закромах военной мудрости то единственное озарение, которое, снизойдя на добро, способно в этих тяжких условиях неравенства помочь добру выстоять перед столь чудовищным злом?.. Голос мудрости был нем в своем бессилии. Корпус генерала Чумакова уже дрался в тылу врага.

Свой наблюдательный пункт Федор Ксенофонтович обосновал на пологой крутизне ската, поросшего мелким осинником. Здесь когда-то был лес, отступивший теперь на вершину гребня и нависавший сзади, разбегаясь вправо и влево стеной медностволых сосен. Приникнув глазами к стереотрубе, генерал Чумаков видел, как далеко впереди, за зеленым размашистым лугом, на чуть всхолмленной равнине, горели танки его корпуса и горели немецкие танки вперемежку с броневиками и бронетранспортерами: там затормозилась атака врага. А справа, вдоль дороги, сколько видел глаз, темнели обломки немецких бронемашин, мотоциклов и тоже дымились коробки танков. Это еще до атаки фашистский головной отряд нарвался на кинжальный огонь артиллерийского полка танковой дивизии. Случилось так, что Федор Ксенофонтович, получив данные от своих мотоциклистов о приближающейся по дороге бронированной колонне врага, успел выбросить ей навстречу половину своей подвижной ударной группы — десятку тридцатьчетверок; она с дальнего расстояния обстреляла немцев и, не приняв боя, отпрянула назад. Немцы вначале развернулись для тарана, но, не встретив сопротивления, опять свернулись в колонну. И вот результат: чудовищная каша из немецкого железа и человеческих тел. Это было утром, после чего артиллерийский полк, израсходовавший все снаряды, отошел по приказу Чумакова на восток: хорошо, если его не перехватили бомбардировщики и если удалось где-то по пути залить горючим баки грузовиков, буксировавших пушки...

Сейчас враг снова наседал. Наши устаревшие танки Т-26 и БТ-7 могли в лучшем случае действовать из засады или против пехоты. Но и у них на исходе снаряды и горючее, а помощи ждать неоткуда... Федор Ксенофонтович видел, как далеко слева, среди бугорков, приближенных к глазам окулярами стереотрубы, вспыхивал то один, то другой его танк, а от них убегали темные фигурки танкистов. Так приказал он, генерал Чумаков. Приказал драться до последнего снаряда, до последнего патрона, давить врага гусеницами и таранить броней, а когда кончится горючее, снимать пулеметы, поджигать машины и уходить в лес. Другого выхода не было, как не было сил поверить в реальность происходящего. Будто вьюга клокотала в груди.

Вторые сутки механизированный корпус генерала Чумакова вел бой с превосходящими силами немецких танков и мотопехоты. Третий день авиация врага с рассвета и до темна с воем сирен пикировала на совершавшие марш-маневры колонны или на боевые порядки сражавшегося корпуса. Вот-вот снова появятся над полем боя бомбардировщики.

Держаться дальше нет никакой возможности. Связь со штабом армии отсутствует с позавчерашнего вечера...

Третий день идет война...

Что же произошло за эти страшные три дня?

Если бы генералу Чумакову было приказано сделать в условиях мирных будней только лишь сотую долю того, что успел он проделать со своим штабом за какие-нибудь первые десять — двадцать часов после начала войны, он посчитал бы отдавшего такой приказ ничего не смыслящим ни в работе штабов, ни в возможностях и назначении крупного механизированного соединения... А теперь сместились все общепринятые в руководстве войсками понятия, перечеркнуты все выверенные практикой нормативы времени, отводимые хотя бы на элементарные расчеты, на выдвижение частей в исходное положение и совершение маршей, на не предусмотренное никакими уставами сведение штатных подразделений в произвольные ударные группы и на их боевое развертывание.

Вслед за первым приказом командующего армией, когда был вскрыт пакет, последовал второй приказ, требовавший как можно быстрее выдвинуть дивизии корпуса на рубеж по восточному берегу реки Нарев, занять оборону в полосе Уздола — Качиборы и отразить наступление противника, прорвавшегося через оборону передовых частей прикрытия.

Это была уже хоть какая-то ясность, позволявшая размышлять предметно в поисках решений и действовать с пониманием цели. Первым делом наметил новые маршруты дивизий в сторону Нарева и выбросил по ним во главе со штабными командирами наспех усиленные механизированные отряды. Их задача — закрепиться на возвышенностях вдоль Нарева, а также оседлать пересекающие реку дороги и, ведя разведку противника, удерживать занятые рубежи до подхода своих главных сил.

А тем временем с жестокой категоричностью проводилась мобилизация всех транспортных средств: войсковых и оказавшихся под рукой «народнохозяйственных», заблаговременно приписанных к корпусу на случай войны. С огромной перегрузкой усаживали на машины и на броню танков пехоту и, несмотря на свирепствующую в воздухе авиацию, неся от нее потери, выбрасывали полки по дорогам и проселкам вслед передовым отрядам, пробиваясь сквозь потоки беженцев и заслоны диверсантов.

Хорошо, что генерал Чумаков вовремя выдвинул свой командный пункт на направление танковой дивизии полковника Вознюка, погибшего от рук диверсантов. Когда колонны дивизии приближались к Нареву, ее передовой отряд уже сдерживал натиск прорвавшихся на восточный берег немецких танков... И грянул встречный бой... По массированности вражеских атак, по активности авиации Федор Ксенофонтович определил, что именно здесь, у селения Качиборы, наносится один из тех ударов, который, по замыслу командования противника, должен венчаться вклинением в оперативную глубину обороняющихся. Пришлось перенацеливать сюда артиллерию из соседней дивизии, создавать на этом участке сравнительно мощный танковый резерв и непрерывно маневрировать им...

Эх, если бы все заблаговременно, если бы сплошная линия обороны да побольше снарядов и горючего!.. Да хоть какое-нибудь прикрытие с воздуха или несколько дивизионов зенитной артиллерии!.. Авиация врага кроме ударов по наземным целям, конечно же, непрерывно вела разведку и доносила своему командованию о передвижениях советских войск, о занятых рубежах и незанятых участках...

И, несмотря ни на что, части корпуса генерала Чумакова стояли насмерть. Горели наши танки, но горели и немецкие, таяли наши силы, но и вражеские солдаты усеивали своими телами землю Западной Белоруссии.

В первый день войны временами появлялась связь со штабом армии. Штаб запрашивал об обстановке, а у штаба требовали хотя бы снарядов

и горючего. Вечером, когда село солнце и затих бой, когда дивизии корпуса генерала Чумакова, удержав свои рубежи, начали перегруппировываться, чтобы с рассветом отразить новые удары врага, поступил приказ: оставить на Нареве заслоны, а основные силы корпуса повернуть на север, навстречу прорвавшимся со стороны Гродно немецким танкам. Это показалось невероятным...

Федор Ксенофонтович, сев в броневик, поехал в штаб армии — вслед за мотоциклом связи, экипаж которого знал ближайшую дорогу. За броней было нестерпимо душно и пыльно, и генерал, посадив на свое место, рядом с водителем, башенного стрелка, высунулся из люка башни, подставив лицо и грудь в расстегнутой гимнастерке упругой струе воздуха. Это, кажется, были первые минуты, когда он за этот день, а вернее, за сутки чуть расслабил нервы. Но не отвлечься мыслям от войны. Даже сквозь рокот мотора броневика были слышны взрывы, небо прочеркивали светящиеся пунктиры трассирующих пуль, то там, то здесь взлетали над полем, над лесом ракеты, по дороге все шли и шли на восток раненые и беженцы, ехали подводы, машины. Ночной воздух был пропитан терпким запахом пыли и удушьем пожарищ.

Командный пункт армии располагался в пятнадцати километрах югозападнее Белостока, на опушке небольшого леса. В палатке генерал-майора Голубева, командующего армией, горела электрическая лампочка от автомобильного аккумулятора. Голубев сидел за столом над развернутой картой. А рядом — мрачный лобастый генерал-лейтенант Болдин, заместитель командующего фронтом. Перед ними стояли два штабных командира, усталые, запыленные, и, глядя на свои карты, которые растянутыми гармошками свисали с их рук, докладывали, дополняя друг друга, итоговую обстановку, сложившуюся на фронте армии к исходу дня — первого дня войны.

Голубев и Болдин, видимо, слышали, как генерал Чумаков объяснялся при входе в палатку с часовым и порученцем командарма, поэтому его появление их не удивило. Голубев, плечистый, могучего сложения, скользнул по лицу Федора Ксенофонтовича каким-то затравленным взглядом, крепко пожал руку и указал на свободную табуретку. Болдин же, с которым Чумаков был знаком еще по академии, улыбнулся ему одними глазами под чуть вспухшими веками, устало поднялся навстречу. По-братски обнялись, понимающе и горестно посмотрели друг на друга.

— Молодец, Федор! — с привычной хрипотцой сказал Болдин. — Корпус твой не подкачал... Но дела наши очень плохи... Садись и слушай.

Командиры продолжали доклад, а Голубев, не отрываясь от карты, синим и красным карандашами делал на ней пометки — размашисто и крупно, и одно это уже значило, что речь идет о событиях немалых масштабов. Федор Ксенофонтович косился на испещренную знаками карту командарма, слушал доклад штабистов-оперативников, и перед ним постепенно вырисовывалась тяжелейшая ситуация в полосе их обороны.

...Целых три армейских корпуса немцев при массированной поддержке авиации навалились своей ударной силой на прикрывавший левый фланг армии пятый стрелковый корпус! В первые же часы боя, оказав врагу упорное сопротивление, дивизии пятого корпуса понесли крупные потери. Немцам удалось нависнуть с юга над белостокским выступом, и генерал-майор Голубев, чтобы преградить им путь, развернул на реке Нурец тринадцатый механизированный корпус генерала Ахлюстина, который, как и его, Чумакова, корпус, имел только небольшое количество слабеньких танков старого образца... В центре, против первого стрелкового корпуса, немцы бросили кроме наземных сил несметное количество авиации, стараясь воспрепятствовать отходу каких-либо частей на восток. Когда врагу удалось глубже вбить в нашу оборону свои танковые

клинья с юга и расколоть ее с запада, на реке Нарев вначале был развернут шестой механизированный корпус генерал-майора Хацкилевича, затем, правее, — корпус Чумакова. А сейчас нависла смертельная угроза еще и с севера. Прорвавшись из сувалкского выступа на Гродно, немецкие танковые группы устремились на юг, в тыл советским войскам, оборонявшим белостокский плацдарм.

Разобравшись в обстановке, Федор Ксенофонтович, когда в палатке они остались втроем, уже не стал, как намеревался раньше, доказывать, что его дивизии понесли потери, что на исходе горючее и боеприпасы и что, если снять корпус с рубежа обороны, враг здесь беспрепятственно устремится на восток, рассекая белостокскую группировку на всю ее глубину. Он уже знал, что командующий фронтом Павлов приказал Болдину создать конно-механизированную ударную группу из двух-трех механизированных корпусов и одной кавалерийской дивизии, развернуть ее фронтом на север и контратаковать прорвавшиеся со стороны Гродно вражеские части, преградив им путь на Волковыск.

Приказ есть приказ. Его надо выполнять, хотя отдан он, и это совершенно очевидно, без доподлинного знания обстановки, в какой оказались войска, без понимания тех преимуществ, которых удалось достигнуть немцам в итоге внезапного нападения превосходящими силами. Но и не будь этого приказа, ничто не изменилось бы. Федор Ксенофонтович очень хорошо понимал, что любой маневр, равно как и стойкая оборона удерживаемых позиций, уже никак не сможет заметно улучшить в нашу пользу общую ситуацию. Поздно думать и об отводе частей на восток, учитывая полное господство противника в воздухе, его несравнимые преимущества в маневренности хорошо оснащенных танковых групп. Сила и мобильность на стороне врага. Значит, все действия советских войск должны быть подчинены только одной задаче: как можно больше сковать вражеских сил и как можно дольше задержать их на месте с тем, чтобы там, в тылу, на востоке, войска вторых эшелонов и армий, выдвигаемые из глубины страны, успели на каком-то рубеже образовать стабильную линию фронта. Где будет этот рубеж? На старой границе! На Березине! Конечно же, не дальше...

Этой ночью, оставив заслоны на Нареве, корпус генерала Чумакова свернулся в колонны и начал выдвигаться на север... Федору Ксенофонтовичу вспомнилось, как отдавал он приказ майору Никитину остаться со своим мотострелковым полком на месте и прикрыть ведущую на восток главную дорогу в оставляемой корпусом полосе.

— Задача ясна, — буднично, словно речь идет о незначительном деле, ответил майор Никитин, глядя прямо в глаза генералу. — Будем держаться...

Федор Ксенофонтович понимал, что оставляет Никитина и его полк на верную гибель. Понимал это и Никитин. Но ни один мускул не дрогнул на лице майора; только решимость в нездоровом блеске глаз и сквозящее в голосе чувство трагической необходимости...

Разговор этот происходил в лесу, в штабной палатке, ярко освещенной аккумуляторной лампой. На задней стене палатки висела карта с нанесенной обстановкой, и генерал-майор Чумаков, водя по ней прутом-указкой, знакомил командиров частей и начальников служб штаба с обстановкой в полосе армии и с задачей, которая поставлена перед корпусом.

Когда майор Никитин вышел из палатки, к карте протолкался полковой комиссар Жилов и, как-то не очень кстати взяв под козырек, обратился к Федору Ксенофонтовичу:

— Товарищ генерал! — Жилов, по-военному ладный, но какой-то нахохлившийся, требовательно смотрел на Чумакова. — Прошу прощения...

Я не знаю, с чем встретится корпус завтра, а Никитин с полком примет на себя главный удар. Разрешите мне остаться с ним!

Федор Ксенофонтович будто споткнулся во время бега, вмиг потеряв нить мысли, которую начал было развивать у карты. Смотрел в крупное, открытое лицо Жилова, начавшее под его суровым взглядом слегка бледнеть, и думал о том, что все эти тяжкие дни он постоянно чувствовал рядом с собой присутствие политработников, которое было каким-то неназойливым; так здоровый человек ощущает свое сердце — больше сознанием... В атмосфере постоянного напряжения политработники как бы придавали окраску настроениям людей. И не беседой, не лозунгами. Только личный пример, конкретная деятельность, постоянное нахождение в наиболее горячих местах... Ведь сегодня же сам Жилов затеял с ним разговор: «Не придумали еще настоящей формы для политработников... Особенно для такого случая». — «Что вы имеете в виду?» — «Нам бы сейчас огромные звездищи — на грудь и спину! Чтоб форма на комиссаре и на политруке красным кличем пламенела!» — «Это слишком. И так диверсанты свирепствуют». — «Зато если кто-нибудь оробеет перед врагом или паникнет, живая звезда даже издали укротит страх». — «Хотите быть ходячими боевыми знаменами?» — «А что? Цвет знамени и цвет звезды одного, пролетарского, происхождения и, как боевые символы, зовут к одной цели». — «И еще бы вам говорящие репродукторы вместо фуражек!» — со смехом сказал тогда Чумаков. А вот сейчас он охладил пыл полкового комиссара Жилова.

— Не советую, — ответил ему со сдержанным раздражением. — В полку есть свои политработники. А вы как мой заместитель по политической части обязаны, я повторяю, обязаны быть там, где главные силы корпуса. Могу вам гарантировать, что нам будет не легче, чем майору Никитину в его полку.

Жилов потупился, отошел от карты и затерялся в группе командиров...

Сколько же раз в эти дни видел Федор Ксенофонтович, как перед неотвратимостью смертельной угрозы люди словно бы отрешались от самих себя и, будто не ведая страха перед гибелью, хотя страх смерти живет в каждом, вершили свой воинский долг!..

Вчера, перед вечером, когда приутих бой, через боевые порядки немцев прорвался грузовик незнакомой марки. В огромном кузове с высокими бортами полно красноармейцев. Мчались по дороге мимо оторопевших немцев, в упор палили в них из пулеметов и автоматов, в большинстве трофейных, и во всю глотку кричали «ура». А когда вскочили в лес, Федор Ксенофонтович, шедший в это время к опушке, чтобы пробраться на наблюдательный пункт, даже задохнулся от изумления: он увидел за рулем грузовика... слепого шофера-сержанта с кровоточащей повязкой на выбитых глазах! Рядом с ним сидел старший лейтенант, который, как оказалось, держа руку вместе со слепым шофером на руле машины, командовал ему, где и как поворачивать, где тормозить, а где давать полный газ.

— Старший лейтенант Колодяжный! — представился он генералу, выскочив из кабины остановившегося на лесной дороге грузовика. — Помощник начальника штаба по разведке мотострелкового полка!..

— Младший политрук Иванюта! — прямо из кузова звонко отрапортовал юноша, у которого щеки были пунцовыми от возбуждения. И добавил: — Военный журналист!

Журналисту особенно обрадовался подошедший полковой комиссар Жилов: ему нужен был человек, способный заменить погибшего инструктора политотдела, который вел журнал политдонесений.

Начался разговор:

— Откуда у вас этот грузовик?
— Захватили у немцев!
— Где добыли автоматы?
— Отняли у немцев!
— Почему кричали «ура»? Не в атаку же шли.
— Чтоб свои не обстреляли.

На всякий случай представитель особого отдела начал проверять у Колодяжного и Иванюты документы. Но в это время на недалекой опушке поднялась стрельба, послышались крики:

— Немцы! Окружают!
— Автоматчики прорвались на капе!

Страшен подобный крик, особенно в лесу, когда трудно сразу оценить обстановку и принять правильное решение. Надо действовать мгновенно, иначе паника...

— Всем к бою! — скомандовал генерал Чумаков.

— Эй, окруженцы, за мной! — зычно закричал старший лейтенант Колодяжный.

С бортов грузовика посыпались красноармейцы и устремились вслед за Колодяжным и Иванютой к опушке, где стрельба все усиливалась.

Трофейные автоматы тут же сослужили добрую службу. Услышав знакомую дробь, отчетливо-своеобразную, немцы решили, что столкнулись со своими, и, начав выкрикивать предупреждающие слова, беспечно пошли на сближение. Хорошо поработала группа «окруженцев». Прибавилось трофейных автоматов и так необходимых магазинов с патронами...

Старшему лейтенанту Колодяжному и его бойцам была поручена охрана командного пункта. Полковой комиссар Жилов, наблюдая потом из траншеи, в которой стояла тренога со стереотрубой, как они окапывались, сказал стоящему рядом генералу Чумакову:

— Странно... Никогда не задумывался над различием между моральным духом и нравственным состоянием.

— И к какому же выводу пришли? — спросил Федор Ксенофонтович у полкового комиссара.

— Вывод на поверхности лежит. Моральный дух сейчас у врага высок. Сила на его стороне, он теснит нас... Но боевой дух бывает и у волка, когда ему мнится легкая добыча. А вот нравственное превосходство, несмотря ни на что, на нашей стороне. Мы защищаемся от бандитов, умираем за свою землю, за свою свободу, за ленинские идеи. И пока в наших сердцах живет это святое чувство, мы непобедимы.

— Верно. — Федор Ксенофонтович засмеялся, силясь вспомнить, где же он читал эти знакомые рассуждения о сущности нравственной победы. — Но хорошо бы еще при нашей непобедимости живыми выбраться из этой мышеловки...

И вот этот бой в окружении, разделившийся на многие очаги, уже близится к трагической развязке. Все больше Т-26 и БТ-7 горит на всхолмленной равнине за лугом. Как же уловить тот момент на последней грани возможного, когда надо будет давать залп в небо из ракетниц — сигнал к отходу в спасительный лес за спиной?.. Что же потом?.. Только не плен!.. Смертный час?.. Это не самое страшное, хотя смерть единственно непоправима. Кто окажется рядом в роковую минуту?

Федор Ксенофонтович, подавив вздох, оторвался от стереотрубы и, ощущая легкое головокружение, оглянулся по сторонам. Увидел полковника Карпухина, смотревшего в бинокль поверх бруствера траншеи. Карпухин за эти дни словно отвык разговаривать и смеяться. Резкий, требо-

вательный голос полковника теперь, кажется, только и пригоден был для отдачи команд и распоряжений. И жесты, движения Степана Степановича словно бы наполнены какой-то желчной энергией, раздражительностью, вроде все он делал со зла. Карпухин будто даже усох, уменьшился в объеме и росте, усталые глаза его светились сердитым умом, а хищно косящий рот таил готовность в любую минуту исторгнуть команду или ругательство. Но удивительно, что сквозь эту странную трансформацию стало проглядывать в немолодом полковнике что-то юношеское — в порывистости движений, в легкости, с которой вымахивает он из окопа на бруствер, и еще в чем-то необъяснимом.

Из-за поворота траншеи вышел полковой комиссар Жилов. Поправляя на груди черный ребристый автомат, ремень которого был перекинут через плечо, Жилов, не скрывая тревоги, сказал:

— В балке за дорогой опять накапливаются танки. Не продержаться нам до ночи... Пора уходить в лес.

Федор Ксенофонтович давно чувствовал приближение минуты, когда надо будет окончательно смириться с тем, что корпус как боевая единица перестал существовать. А значит, и он, командир корпуса, уже не командир... Генерал без войска. Нет сил смириться с такой мыслью. Будто сам себя заживо погребаешь, но все не веришь, что сделаешь это до конца... Да, отчаяние не щадит и генералов... Слова Жилова прозвучали для Чумакова как некоторое оправдание пусть не существующей, но все-таки вины, томившей его сердце.

Глядя на Жилова долгим и болезненным взглядом, Федор Ксенофонтович как-то мимолетно подумал, что у всех политработников есть некая общность в характерах и даже во внешности, некое заметное свечение ответственности за все на свете... Верно ведь, сколько в эти дни видел он на самых лобных местах комиссаров и политруков! И под бомбежкой на дорогах, где из разрозненных отступавших групп бойцов формировали они роты, и в передовых отрядах, отправлявшихся навстречу врагу, и в заслонах, которые закапывались в землю, чтобы погибнуть, но хоть на время задержать немцев, и впереди контратакующих цепей... Будто с началом войны их количество удесятерилось в войсках. Кроме политработников корпуса, кто еще не встречался на боевых перекрестках!.. Инспектора и лекторы Главного управления политпропаганды Красной Армии и отдела политпропаганды округа, стажеры из Военно-политической академии имени Ленина, военные корреспонденты... Никто из них не спешил воспользоваться своим правом покинуть опасную зону, все были при каком-то деле...

— Да, пора, — после мучительной паузы сказал генерал Чумаков и обратился к Карпухину: — Играйте, Степан Степанович, отходный марш.

Карпухин тут же в нише траншеи покрутил ручку телефона и кому-то приказал:

— Ракеты в зенит! Колодяжный, решайте задачу маскировки!

Впереди за лугом в разных местах взметнулись в небо красные ракеты, а по линии луга заструились дымки дымовых шашек. Когда ветер поднял над полем дым и образовалась непроглядная завеса, Чумаков первым выбрался из траншеи и молча зашагал к лесу, будто этот уход не означал самого страшного: сдачу врагу позиций. За генералом пошли Карпухин, Жилов, несколько командиров-оперативников, младший политрук Иванюта. В конце склона, откуда надвигалась дымовая завеса, замаячила цепь охранения, которой командовал Колодяжный, справа и слева потянулись к лесу связисты, разведчики, саперы.

Когда до опушки уже было рукой подать, случилось непредвиденное. В лесу, в стороне просеки, вдруг поднялась пушечная и пулеметная пальба, донесся рев танковых моторов. Вдоль опушки побежали вправо,

что-то неистово крича, красноармейцы, несшие охрану тылов. Тут же на опушке показались танки — один, второй... десятый... Немецкие! Об этом свидетельствовали черные кресты с белыми каймами на их броне...

— Быстрее в дым! — закричал Карпухин. — За мной!

Все круто повернули назад и по пологому склону изо всех сил побежали навстречу надвигавшейся на лес дымной туче. Федор Ксенофонтович расстегнул на ходу кобуру и выхватил пистолет. «Только не плен!» — пульсировала в голове мысль. Он оглянулся назад и увидел, как два танка, переваливаясь на кочках, устремились вслед за ними.

По косогору бежало человек двести. Все старались поскорее достичь дымовой завесы, а потом леса, который за лугом изгибался темной подковой. Успеть бы пересечь луг да проскочить болотце!..

А сзади ревели моторы, строчили пулеметы, оглушительно ахали пушки, над головами взвизгивали пули... Вот и некошеный луг, густая трава достигала колен... Бежать тяжело... А тут еще ветер угнал дым... Где же танки?..

Только бы успеть до того крыла леса, только бы успеть! Неподвижно-загадочный издали, устрашающе-угрюмый, лес в этой атмосфере сверхчеловеческого напряжения, страха и мучительного позора, что вот так приходится отступать по своей земле, сулил спасение или грозил гибелью, как и тот, что остался позади. Здесь, среди полей и перелесков, на топких лугах и бочажных болотах, — кругом подстерегала смерть или плен. Лес мог встретить огнем автоматов, пулеметов, пушек — в упор кинжальным ударом и танковой атакой. Но мог и объять тишиной, поглотить этих отчаявшихся в удушье кровавой неразберихи, ожесточившихся до самозабытья людей, укрыть их и затерять в своей дикой безбрежности, чтобы затем снова вернуть каждому самого себя, способного трезво мыслить, снова управлять собой и что-то предпринимать...

Под ногами зачавкало болото, потом сапоги стали проваливаться сквозь травяную корку. Кажется, у Федора Ксенофонтовича уже не было сил дышать...

Лес встречал спокойствием. Барахтавшаяся на болотистом лугу толпа редела, растекаясь по опушке и вкладывая в этот неистовый рывок последние силы, заставляя свои легкие еще хоть минуту не задохнуться окончательно, а сердце не разорваться.

Генерал Чумаков добежал до леса в полном изнеможении. Перевалился через канаву и, не чувствуя под собой ног, сделал несколько десятков шагов среди густого подлеска, затем упал лицом в траву у пахнущего плесенью корневища. Из груди рвался сухой, свистящий хрип. Рядом упали Жилов, Карпухин, Иванюта, Колодяжный, так и не потерявшиеся в дымной и грохочущей сумятице.

— Подайте кто-нибудь голос... — хрипло проговорил генерал Чумаков. — Всем собраться в двух... нет, в трех километрах... на запад.

— На-а за-а-пад? — с трудом переводя дыхание, переспросил Карпухин.

— Может, на восток? — недоумевал Жилов.

— На запад! — сердито повторил генерал. — На востоке перехватят!.. Они теперь нас не оставят.

Ближе других к генералу оказался старший лейтенант Колодяжный. Он измерил Чумакова почтительно-удивленным взглядом, затем с трудом поднялся на ноги и, продолжая тяжело дышать, с неожиданной силой пробасил:

— Слушай приказ!..

Вокруг, среди жидкого подлеска, лежали люди. В надсадном дыхании высоко и часто вздымались под темными от пота гимнастерками их плечи.

— Слушай приказ! — зычно и властно повторил Колодяжный. — Всем собираться в трех километрах строго на запад!.. Передать команду по цепи!..

В лесу зазвучали немощные и осипшие от бега голоса, повторявшие на разные лады приказ.

## 23

Шестой день шла война. Шестые сутки абвергруппа Владимира Глинского, одетая в форму военнослужащих Красной Армии, не знала ни сна, ни отдыха, пребывая в том судорожном напряжении, какое, видимо, испытывали бы волки, окажись они в зыбком человечьем обличье среди охотников. Все вокруг горело, рушилось, неподвижно висела пыльная кисея над дорогами, по которым текли колонны беженцев, брели разрозненные группы красноармейцев, ехали машины с ранеными. Уныло-мутное и неглубокое небо с редкими облаками, будто до одури опившееся всем, что поднималось в него с земли, то и дело исторгало из своих далей косяки самолетов и казалось оглохшим от их рева, от взрывов бомб и человеческих воплей, словно ставших в эти дни голосом земли.

Несмотря на надежность документов, якобы выданных штабом фронта «майору Птицыну», возглавлявшему отряд особого назначения, диверсанты чувствовали себя в прифронтовой сумятице скверно: с первого же дня вторжения сломался график их «действий по рубежам». Учитывая опыт войны с Францией, предполагалось, что на восток хлынут колонны в беспорядке отступающих советских войск, перед которыми надо будет взрывать мосты, вызывая скопления многотысячных масс и радируя об этих скоплениях абверкоманде при группе немецких армий. Но колонн не было. По радио получен приказ: мостов не взрывать, русские обороняются до последнего солдата; мосты потом потребуются для прохождения немецких войск...

Все происходило не так, как было на репетициях за рельефными картами. Ведь предусматривалось, что сегодня, на шестой день войны, немецкие армии должны были уже далеко оставить в своем тылу Минск и продвинуться за Березину, а они только вчера сломили сопротивление красных в районе Слонима, но пробиться дальше танковыми колоннами сквозь их расстроенные порядки пока не сумели. А диверсантам стоять на месте нельзя, они должны все время быть в движении, все время создавать видимость каких-то активных и целеустремленных действий, чтобы ни у кого не вызвать подозрений. Приходилось то и дело занимать оборону у мостов, объясняя любопытствующим и патрулям НКВД, что по приказу фронта охраняют их от немецких парашютистов.

Слухи о переодетых парашютистах уже разнеслись по всей Белоруссии. При въезде в города и городишки устраивались проверки документов. Видимо, какие-то абвергруппы или одиночные агенты были разоблачены. Группе же Глинского пока везло. Она в поте лица поработала за несколько часов до начала войны над уничтожением линий связи, потом взорвала в Белостоке склад горючего, перехватила и уничтожила шестерых делегатов связи. Откатываясь постепенно на восток, сеяла панику, распространяла слухи о выброшенных впереди авиадесантах и о прорыве немецких танков. К имевшимся мотоциклам у нее прибавилось, как и намечалось, три грузовика с запасом бензина, которые этой ночью удалось захватить под Городеей. Правда, грузовики доставляли много хлопот, ибо их при каждой остановке облепляли беженцы.

Сегодня абвергруппа с рассвета патрулировала дороги между Миром и Столбцами. Ожидался наконец прорыв немецких танков к Миру, и диверсантам было приказано в случае большого скопления советских

войск на переправе через Неман взорвать на мосту мотоцикл, коляска которого начинена толом. Но танки где-то задержались, а дорога словно кипела: по ней тянулись вереницы женщин и мужчин, стариков и детей. Шли и ехали раненые, особняком брели все те же группы бойцов, которые отбились от своих подразделений и сейчас искали «пункт сбора». Для диверсантов серьезной работы пока не было.

Но где же танки? Почему нет отступающих войск? Эти вопросы волновали Владимира Глинского еще и потому, что он знал то, чего не знали другие: на запасных путях каждой группы немецких армий стояло наготове по нескольку эшелонов химических боеприпасов.

Если немцы не сумеют опрокинуть дивизии Красной Армии силами своих сухопутных войск и авиации, можно ждать применения химического оружия. Тогда несдобровать и диверсантам...

И вдруг вечером радист принял приказ: «Через Новогрудок на Мир движется большая автоколонна русских, в которой замечены штабные и специальные машины. Остановите ее в междуречье Сервечь — Уша и приемом «клин» оттесните на север к болотам за Сулой. Любой ценой продержать колонну до утра».

Задача была предельно ясной. Прием «клин» диверсанты не раз отрабатывали на практических занятиях...

Шесть мотоциклов из девяти пришлось втащить в кузовы грузовиков. В каждый грузовик село по семь диверсантов, остальные шесть оседлали три оставшихся мотоцикла. Грузовики тут же умчались навстречу колонне русских. Сзади них неторопливо ехали мотоциклисты — в коляске переднего восседал Глинский в форме майора советских инженерных войск и с автоматом ППД на груди. Навстречу, в сторону Столбцов, как и по всем другим дорогам, тянулись нескончаемые вереницы людей, повозок, машин. Когда позади остался Мир, диверсанты на мотоциклах умышленно отстали от своих грузовиков и свернули влево на пустынный проселок, петлявший между запыленным кустарником. Когда отъехали с полкилометра от дороги и остановились, радист настроился на условленную волну. Минут через сорок поступил сигнал от ядра группы, уехавшего на грузовиках: все идет по плану, автоколонну встретили, разминулись с ней и заняли место для вклинения, как только колонна повернет назад.

Теперь наступило время действовать Глинскому. Для начала надо заставить русских развернуть колонну.

— Бросайте гранаты, — тихо приказал Глинский своим молчаливым сообщникам, усаживаясь в коляску мотоцикла. Его загорелое лицо, как каждый раз перед опасностью, чуть побледнело, приобрело серый оттенок.

Диверсанты, развернув мотоциклы к дороге, начали кидать в кусты гранаты.

...Недалекие взрывы за кустарником всполошили беженцев. Неизвестная опасность всегда страшнее зримой. Люди отпрянули за дорогу. Начали останавливаться и редкие машины, водители которых заметили впереди что-то неладное. Ехавшие в кузовах встревоженно завертели головами, глядя по сторонам, готовые горохом сыпануть на землю, если появятся самолеты.

В это время с просеки вырвались один за другим три мотоцикла.

— Немцы!.. Танки!.. — истерично закричал с переднего загорелый майор в фуражке с черным околышем. Это был Глинский.

— Танки! — смятенно понеслось вдоль дороги. — Немцы!

Паника — болезнь стремительно-заразительная. В иных ситуациях она способна мгновенно парализовать волю многих людей, словно лишив их рассудка. Вот и сейчас весть о приближении немецких танков кинула

людей в поле с высокой рожью, в лощину, подступавшую к недалекому лесу. Машины начали суматошно разворачиваться.

Владимир Глинский, уцепившись обеими руками за скобу над подпрыгивающей коляской, со злорадством наблюдал, как паника, опережая диверсантов, волнами катилась все дальше. Бешеная скорость мотоцикла не мешала Глинскому примечать перекошенные страхом желто-землистые лица заметавшихся женщин и мужчин.

«Получайте, скоты, чернь ничтожная! — с мстительным наслаждением думал он. — Вот и весь ваш героизм, о котором вы только в песнях поете!»

Дорога, сколько видел глаз, дымилась под колесами машин, которые уже неслись в обратную сторону, чтобы свернуть на первый же проселок, ведущий на восток. Это было диверсантам на руку, ибо весть о якобы прорвавшихся к Миру немецких танках первыми принесут в автоколонну русских не они. Но вскоре им навстречу вырвались из клубов пыли два мотоцикла с ручными пулеметами на колясках. Водитель переднего поднял руку, требуя остановиться.

— В чем дело?! — строго спросил Глинский, когда мотоциклы табунком сгрудились на обочине.

— Товарищ майор, — обратился к нему молодой лейтенант в синем комбинезоне, в защитных очках. — Мы разведка воинской части. Разрешите узнать, откуда вы следуете?

— Откуда следуем, там нас уже нет, — резко ответил Глинский. — Заворачивай, лейтенант, оглобли, а то попадешь в лапы к немцам. Сзади танки!

— Вы сами лично видели?

— Видели... Даже считали. Это входит в наши обязанности. К Миру прорвалось больше двухсот немецких танков.

Лейтенант, чуть побледнев, оглянулся на экипаж второго мотоцикла, не зная, видимо, какое принять решение.

— Разворачивайтесь! — Глинский уже приказывал.

— Товарищ майор, но я имею задание разведать...

— Разворачивайтесь и следуйте за нами! Я сам доложу вашему начальству о танках.

Пока велся этот разговор, дорога сделалась совершенно пустынной. Глинский подумал о том, не лучше ли пропустить разведчиков, расстрелять их в спину, но тут же решил, что это неразумно, ибо там, в колонне, могут обеспокоиться их отсутствием и заподозрить неладное.

Лейтенант подчинился приказу строгого майора, и не прошло и двадцати минут, как они все вместе уже подъезжали к большому населенному пункту. В тени окраинных домов длинной улицы Глинский увидел нескончаемую вереницу автомашин. Впереди два броневика, легковой автомобиль и специальные машины с фургонами, а дальше грузовики с солдатами, командирами, с какой-то кладью. Вдоль колонны прохаживался и толпился военный люд, а впереди, рядом с броневиком, стоял в окружении нескольких командиров коренастый, опоясанный ремнями полковник. Глинский понял, что их уже ждут, ибо с высокой ветлы у крайнего дома спускался наблюдатель, откинув бинокль на ремешке за спину.

Глинский выскочил из коляски и со строгой деловитостью представился полковнику:

— Майор Птицын, из оперативной группы начальника инженерного управления фронта, — а затем с волнением доложил о двухстах немецких танках, которые он вместе со своими подчиненными видел лично, и о том, что дорога на Столбцы перехвачена вражеской мотопехотой.

Полковник потребовал предъявить документы. Глинский доставал их из нагрудного кармана с полным равнодушием к ним, прося при этом полковника, если работает его рация, срочно передать данные о противнике в штаб фронта.

Документы не вызвали у полковника подозрений, как и не было у него повода усомниться в сведениях о танках, ибо перед началом марша он был предупрежден о возможности прорыва немцев со стороны Барановичей, да и наслышался уже от других «очевидцев», которые недавно промчались здесь на машинах, не успев проскочить через Мир на Столбцы.

Дальше события развивались именно так, как и предполагали диверсанты. Колонна перестроилась и двинулась на север. Грузовики с диверсантами в это время уже следовали вместе с ней, почти у самой головы. Не доезжая Сервеча — притока Немана, колонна взяла вправо, на полевую дорогу, ведшую на восток. Сумерки настигли ее по другую сторону верховья Немана. К этому времени Глинский, который пересел в кабину своего переднего грузовика, уже знал, что это отводится в тыл штаб мотострелковой дивизии, еще не успевшей сформироваться. Вместе со штабом следовали и его спецподразделения. Глинский держал на коленях топографическую карту, внимательно сличал ее с местностью, стараясь к тому времени, как наступит темнота, наметить наиболее удобную точку, где он остановит свои три грузовика, а сзади них, как и полагается согласно правилам передвижения военных колонн, затормозят все остальные машины, растянувшиеся на несколько километров. Когда голова колонны уйдет по избранному командованием маршруту далеко вперед, Глинский поведет остальную часть машин в другом направлении. Благо что водители строго соблюдают правило — следовать за идущей впереди машиной; но жалко, что не попадут в ловушку самые передние автомобили — с главным начальством.

И вот уже ночь, полыхающая в разных концах заревами. Колонна шла с соблюдением правил светомаскировки. Только машины, прокладывавшие маршрут, цедили тонкие струйки синего света на узкую дорогу из затемненных фар. Карта, которую Глинский освещал электрическим фонарем, подсказывала ему, что скоро должна быть развилка дорог, и он приказал своему шоферу тормозить... Все дальше и дальше уходила голова колонны. Минута — и ее словно не было на дороге. Только клубящаяся пыль. Выждали еще минут пять, напряженно прислушиваясь к тому, что делалось сзади... Все спокойно... Теперь вперед...

Вскоре Глинский увидел развилку.

— Влево, — приказал шоферу.

Дорога все круче заворачивала на север, огибая присульские болота. Глинский торжествовал. Еще через какое-то время его грузовик остановился на обочине. Мимо проследовали остальные две машины с диверсантами: они знали свое дело. За ними потянулась вся колонна, в которой никто ни о чем не подозревал.

Глинский пережидал, пока пройдут все машины, чтобы пристроиться им в хвост. Вскоре рядом с его грузовиком остановились три знакомых мотоцикла с диверсантами.

— Обгоняйте колонну и разведывайте дорогу, — приказал им Глинский. — Держать наготове ракетницы на случай встречи со своими.

Минут через пять после того как мотоциклы с диверсантами умчались вперед, с хвоста все движущейся колонны вдруг раздались гудки машин. Затем они начали приближаться, перекатываться от грузовика к грузовику, обгоняя колонну. Вот уже загудели машины, проходившие мимо Глинского, потом заревели гудки впереди. Словно передавалась звуковая эстафета. И колонна остановилась среди теплой тьмы. Справа

и слева подступала к дороге тишина полей, нарушаемая растревоженными голосами, хлопками дверец кабин.

— Всем разойтись вдоль колонны, — тихо приказал Глинский замершим в кузове диверсантам, еще не понимая, что произошло. На всякий случай и сам отошел подальше от грузовика и стал жадно, с нарастающей тревогой прислушиваться к разговорам и ко всему, что делалось вокруг.

К голове колонны промчались по обочине два мотоцикла с пулеметами на колясках. Мелькнуло мимо Глинского знакомое лицо лейтенанта-разведчика. И это особенно насторожило: ведь моторазведка двигалась впереди бронеавтомобилей... Неужели обнаружили исчезновение колонны?

— Что означают гудки машин? — спросил Глинский у командира, который остановился рядом, прикуривая от спички папиросу.

— Приказ остановить колонну, — ответил тот, сверкнув в темноте белками глаз. — Сбились, видимо, с маршрута.

Вдруг впереди послышались крики, затрещали выстрелы, зататакали автоматы, веером устремились над полем светлячки трассирующих пуль. Глинский похолодел: в колонне, кроме как у переодетых диверсантов, ни у кого не было автоматов.

Внезапная стрельба словно разбудила всех. С кузовов машин посыпались красноармейцы, послышался лязг оружия.

— Всем собраться у своих машин! — начала перекатываться вдоль колонны команда.

Будто в поисках своей машины, Глинский все дальше уходил от грузовика к хвосту колонны. Он понял, что их разоблачили, хотя и не мог догадаться, как это произошло. Нестерпимо хотелось рвануться в поле, в ночь, подальше от колонны, но боялся, что тут же получит в спину пулю.

Стрельба вдруг вспыхнула впереди него — туда только что ушли его люди.

— В колонне диверсанты! — послышался чей-то взвинченный голос.

И совсем рядом, по другую сторону грузовика, кто-то кому-то приказывал:

— Задерживать всех, кто с автоматами! При малейшем сопротивлении стрелять. У них за старшего тот майор.

Глинскому показалось, что на него устремились сотни пар глаз. Бросать автомат уже было поздно, и он, вскинув его, не сознавая еще, что делает, застрочил во все стороны, завертелся волчком и метнулся через кювет в темноту. Охваченный ужасом, он бежал изо всей мочи, пересиливая странный паралич, когда, будто во сне, отнимаются ноги. Похолодевшей спиной чувствовал, как в него целятся десятки винтовок, и ждал рокового удара. И верно: сзади загремели выстрелы, и он услышал, как зацвинькали над головой пули. Но продолжал бежать, рассекая грудью и лицом жесткие волны колосьев. Когда отбежал, казалось, далеко, когда колонна растворилась где-то в густом сумраке, вдруг острой болью обожгло правую ногу выше колена. Глинский захромал, но не остановился, вкладывая последние силы в это неожиданное бегство. И только тогда, когда почувствовал, что легкие уже отказываются дышать, а сапог сделался тяжелым от натекшей туда крови, упал на землю и сквозь бешеный стук сердца и хрип легких стал вслушиваться в приглушенную расстоянием замиравшую стрельбу.

Чуть передохнув, он, гонимый страхом, пополз еще дальше, в глубь поля. Только после того как машины, зашумев моторами, развернулись и ушли по дороге обратно, Глинский замер на месте, вслушиваясь в обступающую его тишину. Потом достал из полевой сумки индивидуальный пакет и начал перевязывать прямо поверх галифе простреленную ногу.

Ощущая, что спина его все еще хранит холод страха, он пытался охватить мыслью происшедшее. Как могли красные разоблачить их в этом людском муравейнике? Кто еще уцелел из его абвергруппы? Неужели никто?.. Тогда Владимиру Глинскому несдобровать. Рука абвера карает жестоко, тем более что его могут заподозрить в измене.

В измене? Кому?.. Немцам?

Глинский бинтовал ногу, стараясь сделать повязку тугой, чтобы остановить кровотечение, и чувствовал, что мысли его затухают, не успев разгореться, словно он боялся заглянуть себе в душу. На него навалилось безразличие, необъяснимое отвращение к себе, желание уйти от вопросов, которые рождались словно в стороне от него и тут же требовательно стучались в его голову и в сердце, а он все старался отмахнуться, не решаясь посмотреть на них в упор. Легче было превратиться в червяка, уйти в землю, чтобы никогда больше не увидеть неба, чем отвечать на вопросы, еще не созревшие, не оформившиеся, но уже с жестокостью напоминавшие о себе и словно говорившие о том, что не уклониться от них, как не уйти от самого себя.

Неожиданно перед его мысленным взором всплыли лица генерала и полковника, которых он встретил на почте в ночь накануне войны, вспыхнуло и угасло лицо лейтенанта-разведчика. Вспомнилась строгость в облике полковника, проверявшего у него документы. И кажется, впервые он подумал о них о всех как о сильных русских людях, на которых поднял руку с мерзким, тайным, чужим оружием. Как же случилось, что он пришел на эту землю как лютый ее враг? И как ему теперь быть, когда вокруг разверзлась неизвестность?.. Но почему же неизвестность? Немцы завоюют Россию, и он вернется в поместье отца, откопает свои драгоценности... А что потом?

Глинскому не хотелось ни думать, ни жить, ни ощущать эту ночь с зависшими над ней тусклыми звездами, с далеким лаем собак и сухим позваниванием колосьев над головой. Он лег на спину, закрыл глаза и вздохнул так, словно вырвалась из груди его живая душа.

Вспомнилось далекое, вспомнился отец...

## 24

Старый граф Святослав Глинский еще от родовитых его предков перенял убеждение, что человек бывает прекрасен или в первозданной темноте своей в рамках трудового и житейского опыта, или познав науки до самых вершин, когда разум свободно и гордо парит над сложной суетностью бытия, а постигшее законы красоты сердце способно черпать радость из распыленной в жизни поэзии, пластики и гармонии. Пороками же, по мнению графа, поражена только средняя часть человечества — именно та, которая лишь прикоснулась к учению и культуре, но дальше не пошедшая из-за умственной несостоятельности или вытекающей из нее постыдной бедности.

Исходя из такого воззрения, помещик Святослав Глинский делал все возможное, чтобы никто из крестьян, работавших на его землях, и не помышлял об учении, дабы не обрел губительно-низменных чувств. Но был граф неслыханно щедр и даже расточителен в расходах на образование своих сыновей — Николая и на год младшего Владимира. С самого малолетства к ним были приставлены выписанные из-за границы гувернеры и учителя, обучавшие их французскому и немецкому, хорошим манерам и музыке. Росли сыновья, радуя почтенных родителей способностями, благочестием и благочинием. К своей зрелости, как и подобает обладателям наследственного дворянского титула, они уже имели уни-

верситетское образование: Николай — экономическое, Владимир — юридическое. Связи и знакомства отца, а также родовитость их фамилии гарантировали им высокие карьеры при царском дворе или в министерствах. К октябрю семнадцатого Николай уже успел год прослужить в Петрограде, ступив на стезю благородной деятельности во имя процветания царской династии и отечества, а Владимир только еще определялся на должность в губернской судебной палате, дабы начать, как никто до него, укреплять в народе веру, что власть олицетворяет собою волю божью, утверждает законы добра и справедливости, по которым собственность является святой неприкосновенностью, а ее обладатели — главная опора государства, коей законы эти благоволят.

Взрыв Октября сотряс не только всю Россию. В революционном приливе народного возмущения стали рушиться складывавшиеся столетиями верования, представления о добре и зле, господствовавшие понятия о прекрасном и уродливом. Единое отечество словно ударом молнии было расколото надвое. Трещина, взяв начало от разрушенного фундамента старой государственности, прошла по народным глубинам и родила новые начала: народный фундамент новой государственности и вихрь гражданской войны над ним.

Граф Глинский с негодованием убедился, что те самые люди, которые виделись ему прекраснодушными и непорочными в своей исконной темноте, в забитости, вдруг собрались под красные флаги в вооруженные скопища и вопреки всем установлениям и законам обратили ужасающий гнев против своих благодетелей, которые давали им возможность добывать хлеб насущный и оберегали от тлетворного влияния просвещения.

Когда в Воронежской губернии все чаще начали полыхать зарева пожаров над барскими усадьбами, Святослав Глинский спешно вызвал в свое родовое поместье обоих сыновей. Под покровом ночи состоялся семейный совет, на котором было решено, что Николаю и Владимиру не к лицу бездействовать в тяжкую для отечества годину: надо брать в руки оружие. Затем отец, вручив сыновьям по кошельку с золотыми червонцами, в их присутствии разделил пополам все остальное свое богатство в золоте, драгоценных камнях, гербовых бумагах и, сложив одну половину в облитый воском дубовый бочонок, закопал его на краю усадьбы под вековой липой, а свою половину в стареньком саквояже положил под сиденье уже запряженного фаэтона. Затем, когда были оседланы две лучшие кобылицы из графской конюшни и когда Николай с Владимиром появились перед отцом при оружии, он благословил их на ратные дела в святой борьбе против большевиков и проводил на шлях, дав наставления, как лучше пробраться в низовья Дона. Этой же ночью граф вместе с супругой укатил в Лиски, чтобы оттуда поездом добраться до Ростова.

Неизвестно, долго ли буйствовал бы в смятенных мыслях Святослав Глинский, если б вдруг убедился, что всю жизнь ошибался в своих воззрениях на причинность человеческих пороков. Но, несомненно, сердце его не выдержало б, узнай он, что его высокообразованные и воспитанные в благородных традициях русского дворянства сыновья вскоре свернули с большака в ближайшую дубраву, дождались, пока не проехали на Лиски родительский фаэтон и сопровождавшая его бричка с охраной, а затем вернулись на край усадьбы под старую липу. Откопали бочонок с драгоценностями, разделили их пополам, а затем, таясь друг от друга, зарыли каждый свою долю в только им известных местах.

Докатился слух, будто Николай Глинский пал в одном из боев под сабельным ударом буденновца. Канул в неизвестность старый граф Святослав. А Владимир, кажется, до самого дна испил горькую чашу. После гражданской войны судьба забросила Глинского-младшего в Париж, ни-

щего, обездоленного, вынужденного черным трудом зарабатывать на кусок хлеба, хотя где-то там, на родине, воронежская земля хранила богатства, которых хватило бы безбедно прожить целую жизнь. Лютая ненависть к большевикам придавала Владимиру сил, а неумолчный внутренний голос не уставал твердить, что несчастье приводит к отчаянию только слабые умы, а возвышенные души укрепляет.

И он крепился, верил, ждал... Его терпение согревалось надеждами, что простой народ, та самая чернь, взявшая силой необузданной стихии в свои руки власть, не сумеет этой властью распорядиться. Ибо власть — это гигантская машина, рычаги которой должны приводиться в согласованное движение многими тысячами высокообразованных умов. Пусть даже осталась в России часть людей, обладающая тайнами управления. Но не будет же она служить черни, массам рабочих во главе с Лениным и его помощниками. Не будет же она утверждать на священных землях Руси несправедливость, именуемую диктатурой пролетариата. И Глинский ловил каждую строчку в газетах, где писалось о большевиках, о красной Москве. Благо хорошо знал французский и немецкий. Даже стал интересоваться статьями о Ленине и его науке, пытаясь понять, какую же ошибку совершили бывшие правители России, почему не успели утопить в крови народный бунт и удержать в своих руках власть.

Французские, немецкие и иные ниспровергатели ленинизма, ссылаясь на открытые гениальными умами законы цивилизованного мира, предвещали скорую гибель государства, строящегося на противоестественных ленинских воззрениях. Они сравнивали ленинизм с лубочно-красочным и обманчиво звенящим обручем, который катится с горы и увлекает за собой толпу... Бегущий под уклон обруч и толпа, бегущая за ним, неуправляемы. Их трудно остановить. Но стоит только пустить рядом с обручем зайца, как толпа заулюлюкает и, позабыв об обруче, устремится за зайцем. Это закон движения толпы... Значит, все дело в зайце, в какой-то новой идее. Ее должен родить просвещенный Запад и спасти Россию от губительного пути.

Идеи рождались одна за другой, но они не имели ни крыльев, ни ног. Пришлось засылать в Советский Союз диверсантов и убийц. Но и это не приносило желаемых результатов. Оставалось последнее — надеяться на военную интервенцию в страну Ленина.

Шло время. Улетучивались одни надежды, приходили другие. Когда в Советском Союзе кончился нэп, буржуазные теоретики стали уповать на старую интеллигенцию. Убедится, мол, она, что в Советском государстве перспективы ее ограничены сегодняшним днем, месячной зарплатой, что заработанный ею рубль полностью расходуется на котлету и калоши, а прибыли никакой не приносит, и кончится ее сотрудничество с Советской властью. А с интеллигенцией, дескать, шутки плохи: она знает, что при любом строе общество должно состоять из двух слоев — из тех, у кого больше обедов, чем аппетита, и тех, у которых больше аппетита, чем обедов; и если власть не учитывает аппетитов интеллигенции, то последняя начинает оглядываться по сторонам в поисках, кому бы повыгоднее запродать душу и на кого опереться в борьбе с неугодной ей властью.

А жизнь разматывала нить времени по своим законам. По Франции прокатилась волна безработицы. Первыми были вышвырнуты на улицу многие белоэмигранты, и в их числе — работавший истопником в мастерской резиновых изделий юрист, граф Владимир Святославович Глинский.

Самое трудное было — добывать деньги для оплаты крохотной комнатки. Пришлось продать все, что еще сохранилось, — золотое кольцо, часы, костюм. Однако наступил момент, когда молодой граф оказался без квартиры. Стал ночевать у товарищей, у знакомых, но и этому был пре-

дел. Началось бродяжничанье. Появилась опасность встреч с полицией, которые обычно кончались для людей без состояния и без родины арестом, лишением картдидантите — паспорта — и отсидкой в тюрьме. После тюрьмы бродяге вручали волчий билет — де сорти — и предлагали в течение двух недель покинуть страну.

Глинский, будучи юристом, покопался в законодательстве Франции и нашел старый закон, гласивший, что любое лицо, имеющее при себе пять франков, не может считаться бродягой, пусть у него даже нет ни жилья, ни работы. Пять франков, конечно, деньги немалые для безработного, но их можно было скопить, делая людям мелкие услуги.

Впрочем, Глинскому удалось заработать и на своем открытии. С тех пор в его паспорт была напрочно вклеена пятифранковая купюра. Уже не страшно было ночевать в парках, под мостами, в подъездах чужих домов.

Потом Владимир Глинский начал сотрудничать в милюковской газете «Последние новости». Главная тема его писаний — страдания русских беженцев на чужбине и проклятия по адресу большевиков. А однажды его воображение пленил яркий плакат, на котором французский легионер стрелял во льва. Плакат призывал добровольцев записываться в иностранный легион и сулил безбедную жизнь и невероятные приключения. И через какое-то время Глинский оказался в Марокко в качестве легионера третьего полка, того самого, который еще в 1855 году вместе с дивизией зуавов генерала Боске первым ворвался на Малахов курган. И один из аксельбантов, которые носил теперь русский граф, как раз и означал, словно в насмешку над ним: «За Севастополь».

Служба в легионе — целая одиссея: участие в марокканской войне против фанатичного войска племени рифов, которое во главе со своим вождем Абдель Кримом напало на Испанское Марокко, затем изнурительные погони по Сахаре за бандами туарегов, которых их вождь Бель-Касен водил в набеги на почтовые и торговые караваны, затем подавление восстания племен дзуров в Сирии...

Судьба оказалась благосклонной к Владимиру Глинскому. Бывший русский граф будто прожил целую жизнь среди смертельных опасностей и невероятных трудностей. Невредимым возвратился он в 1935 году в Париж — еще не старый, с небольшим запасом денег. Устроился на работу в белоэмигрантский журнал. Через два года случай свел его с немецким журналистом Мюллером. От Мюллера впервые услышал он о великом будущем, уготованном немецкой нации во временах не столь далеких и в пространствах далеко не абстрактных. Мюллер разбудил в Глинском надежду. На его столе, служившем для холостяцких трапез и творческих мук, появились новые книги. Много книг! Шопенгауэр и Ницше, Гитлер и Гинденбург, Гофман и Бетман-Гольвег...

О, в них содержались уже не «зайцы», на которых когда-то так надеялись белоэмигранты! Германия, только Германия положит конец большевизму! Старый немецкий дух снова пробьется, если он и должен будет пройти через горнило страстей и страданий, — с религиозной убежденностью разъяснял Глинскому в своих писаниях Поль фон Гинденбург. Германия, которая воспринимала и творила столько неисчерпаемых ценностей человеческой цивилизации и культуры, до тех пор не погибнет, пока в ней жива будет вера в ее всемирно-историческую миссию.

Гитлер же с непреклонным фанатизмом доказывал, что эта вера жива в Германии. И Глинский верил Гинденбургу, Гитлеру и молился на Фридриха Ницше, который без всякого труда внушил ему, что война необходима для государства так же, как раб для общества. Ведь как все превосходно просто: война создала рабство; в страдании и трагедии люди создали красоту; надо людей глубже погрузить в страдания и в траге-

дию, чтобы удержать в них чувство красоты... Итак, желание войны — это здоровый инстинкт любого государства. Человеческий ум, возбужденный войной, творит чудеса!

Глинский был рад знакомству с журналистом Мюллером, хотя потом оказалось, что тот вовсе не журналист. Но именно благодаря ему граф Глинский через несколько месяцев переехал в Германию и как последовательный противник большевизма получил возможность направить свою ненависть на конкретные дела с далеко идущими целями.

В Германии Глинский попал в школу абвера, которая готовила шпионов и диверсантов для действий на территории Советского Союза.

Вначале его, как юриста, заставили тщательно изучить советское законодательство, а потом он уже и сам преподавал красное правоведение, продолжая одновременно проходить общий курс обучения и исподволь постигая систему разведывательно-диверсионных и карательных органов фашистской Германии.

В начале июня 1941 года в местечке Сулеювек, близ Варшавы, на базе бывшей разведывательно-диверсионной школы «восточного направления» обосновался оперативный штаб «Валли» ведомства Канариса. От него потянулись нити к немецким армиям, выдвигавшимся к границам Советского Союза. При армиях начали функционировать полевые оперативные органы абвера — абверкоманды и подчиненные им абвергруппы, которые накануне войны были заброшены в приграничные области Советского Союза. Одной из таких абвергрупп и командовал Владимир Глинский, значившийся по врученным ему документам майором Красной Армии Птицыным.

## 25

Глинский почувствовал, что лежит затылком на чем-то твердом, угловатом, причиняющем боль, и казалось, сквозь эту твердость в голову заплывал вместе с болью нарастающий гул. Открыл глаза, и на него навалилось бездонное и слепящее небо, раздробленное густыми стеблями ржи со склоненными усатыми колосьями. Еще не успел понять, почему он лежит здесь, как вдруг явственно услышал грохот моторов и увидел на рваном лоскуте неба шестерку бомбардировщиков с темно-красными звездами на крыльях. Они прошли низко. А над ними в голубой прозрачности утреннего неба разворачивались для атаки два длиннотелых, похожих на стрекоз «мессершмитта». Глинский с сонным безразличием подумал о том, что впервые видит советские бомбардировщики и что для какой-то элементарной гармоничности не хватает в небе советских истребителей. И тут же, словно рожденные его воображением, кажется, прямо из ржи, вырвались два тупорылых самолетика. Задрав обрубленные носы, они свечой ушли в небо наперехват «мессершмиттам». Это удивило Глинского, и он опять почувствовал угловатый комок под затылком, понял, что проснулся, что небо с самолетами не грезится ему, и, словно чего-то испугавшись, рывком приподнялся на руках. Рвущая, нестерпимая боль вдруг пронзила, кажется, все его тело, и перед глазами поплыли темные в зеленых искрах круги, и к горлу подступила тошнота. Он тут же вспомнил все, что с ним произошло, и застонал уже не только от боли, но и от своей полной беспомощности. Позабыв о самолетах, о воздушном бое в поднебесье, со страхом рассматривал засохшее темно-коричневое пятно на повязке поверх галифе. Неподвластная нога казалась чужой, будто прикипевшей к земле, а боль толчками рвалась в ней где-то выше повязки.

В это время с неба упала захлебистая дробь пулемета и донесся тонкий, нарастающий на вираже вой мотора. Глинский с мукой посмот-

рел вверх и увидел, что наискосок к земле неслась сверкающая в лучах солнца «стрекоза», оставляя за собой дымную тропу. Но падал не только «мессершмитт». Откуда-то из невидимой Глинскому слепящей глубины сорвался и горящий тупорылый самолетик. Он стремительно прокладывал через небо расплывчатую рыжую черту. Глинский даже не успел заметить, когда из самолетика вывалился летчик; только вдруг увидел прямо над собой вспыхнувший белый купол и темную фигурку человека на концах строп.

В каком-то паническом страхе, не соображая, что и зачем он делает, Глинский схватился за лежавший под рукой автомат, привычным движением взвел спуск и начал целиться в спускающегося парашютиста. Летчик хорошо видел лежащего во ржи Глинского, видел еще что-то в стороне, куда бросал встревоженные взгляды. Заметив направленный на него автомат, он судорожно прикрылся правой рукой, отпустив одну стропу и неестественно перекосив тело. Глинский нажал на спуск, автомат громко клацнул железом, но выстрела не последовало: патронный диск был пуст. Суматошно отшвырнув автомат, он схватился за кобуру пистолета. Летчик, быстро приближаясь к земле, тоже рванулся рукой к кобуре на боку.

И вдруг где-то совсем недалеко, сзади Глинского, послышался звонкий молодой баритон:

— Не стреляй! Тут свои!..

Летчик, гулко ударив сапогами о землю в десятке метров от Глинского, устоял на ногах. Увядшее белое полотнище купола волнисто легло рядом с ним на рожь.

— Беги скорее сюда! — снова послышался близкий голос.

Летчик, отстегнувшись от парашюта, выхватил пистолет и отбежал в сторону от Глинского.

— Давай к нам! — нетерпеливо звал его чей-то голос.

— А этот разве не ваш? — настороженно спросил летчик.

Через минуту Глинского окружили Иванюта, Колодяжный и несколько красноармейцев. Здесь же стоял спустившийся на парашюте молоденький темноглазый лейтенант в летной тужурке; это был Виктор Рублев, тот самый, что за день до начала войны прогуливался в Ленинграде над Невой, бережно ведя под руку Ирину Чумакову и несмело говоря ей слова любви. Сейчас он пугливо оглядывался по сторонам, вопросительно присматриваясь к встретившим его на земле людям.

— Кто такой?! — недоуменно спросил старший лейтенант Колодяжный у лежащего во ржи майора с перебинтованной ногой.

— Не видишь? — сердито ответил Глинский; ему казалось, что раздраженный тон быстрее заставит этих людей отнестись к нему с доверием. — Разве на нас с тобой не одинаковая форма?

— Форма-то одинаковая. — Лейтенант Рублев поднял с земли автомат, вынул из него диск и, убедившись, что диск пустой, сказал: — А если б были патроны? В упор в меня целился!

— Я ж думал, что ты немец! — Глинский извинительно сморщился, будто очень страдал от своей ошибки. — Прости, браток... Помогите, ребята!.. Со вчерашнего дня здесь помираю. Погнался от дороги за диверсантом и поймал пулю в задницу, а колонна ушла.

— Сам-то, случайно, не диверсант? — недоверчиво спросил младший политрук Иванюта.

— Так за каким же хреном я бы тут валялся в тылу у немцев?! — возмущенно закричал на него Глинский и вычурно выматерился. — Ну, тогда пристрелите! Я же шага сделать не могу!

Когда Глинского подняли под руки, он увидел совсем рядом лес, который вчера в темноте не разглядел.

Война полыхала уже седьмой день...

Генерал Чумаков вел свою группу на восток стремительными бросками с пережиданиями, с обходами ночью через поля, луга и болота, а днем сквозь лес. Карта и компас, непрерывная разведка и храбрость бойцов, помощь местных жителей и боязнь немцев отрываться от дорог и населенных пунктов — все взял на свое вооружение отряд. После того как перестал существовать корпус Чумакова, минуло четыре ночи и три дня. Шли от сумерек до рассвета, затем шестичасовой отдых в густых чащобах под охраной сторожевых постов и секретов, разведка окрестностей, диверсии на дорогах и добывание пищи. Бывало, шли и днем, если встречались болота, перелески, глухие луга и при этом явно не грозила опасность столкнуться с противником. Полковник Карпухин по всем правилам боевого устава организовал службу походного охранения с головными и боковыми дозорами, с наблюдателями за воздухом.

Федор Ксенофонтович обратил внимание на то, что у него, как и у большинства в отряде, постепенно будто спадало напряжение, несмотря на подстерегавшие со всех сторон опасности. А возможно, напряжение уже становилось привычным состоянием, которое не имело грани между физическим и психическим. Впрочем, Федор Ксенофонтович лично для себя объяснял это состояние постепенно утверждавшимся чувством свободы действия, когда ты по своему усмотрению волен предпринимать то, что подскажет твой ум, твоя оценка создавшейся ситуации. Ты в ответе за всех, а в своих командирских решениях подотчетен только себе. Тебя не ограничивают в выборе маршрута рамки боевой задачи и нормативы времени. Твое войско готово делать все, что готов и ты... Нет, состояние это не из легких для генерала, когда гнут к земле мысли о происходящем, гложет чувство вины, пусть не личной, однако и личной, ибо ты в ответе перед людьми за всю армию; не покидают мысли, что там, в приграничных сражениях, не все, может, сделано так, как нужно, не все силы употреблены разумно. И неизвестность будущего тяжким грузом давит на сердце. Что ждет впереди? Удастся ли пробиться к своим? Как сложились там события?..

Разведчики слышали в одной деревне, что немцы захватили Минск. Невероятно! А Федор Ксенофонтович надеялся на укрепления за старой границей. Вел отряд почти напрямик, отвергая мысль Карпухина пробиваться на юг, к Припяти. Ведь там, в Пинских болотах, не развернешься. Немцы наверняка надеются, что именно туда, где нет путей для танков, устремятся разрозненные подразделения советских войск и постараются их оттуда не выпустить.

Размышлял Федор Ксенофонтович и над тем, что сейчас в лесных безбрежьях Белоруссии бродит много окруженцев. Если собрать их всех воедино, разделить на отряды, снабдить оружием, взрывчаткой, радиосвязью — и задымятся коммуникации немцев! Не сумеет тогда наступать их армия, если нарушить ее питание боеприпасами и горючим!

Может, поэтому немецкие самолеты непрерывно барражировали над Налибокской пущей и над другими лесными массивами? Вчера вечером два «мессершмитта» засекли движение на опушке, куда вышел отряд, и кинули наугад по нескольку мелких бомб. Пострадало три красноармейца, не уберегся и сам Федор Ксенофонтович. Бомба взорвалась вверху, в кроне сосны, и острая боль обожгла щеку ниже левого уха, полыхнула громом в голове. Чумаков зажал ладонью рану и почувствовал под пальцами горячий, с зазубринами хвост осколка, засевшего в связке челюстных мышц. Кровь почему-то потекла из уха.

Осколок словно впаялся в кость — вытащить его, казалось, невозможно. Ни санитара, ни фельдшера в отряде не было, да и наступала ночь. Генерал забинтовал рану вместе с осколком и, пересиливая страш-

ную боль в голове, будто рождавшуюся в неумолчном звоне, повел отряд дальше.

...На войне люди забывают, что дни имеют свои названия. В это утро никто и не подумал о наступившем воскресенье — втором военном воскресном дне. А Федор Ксенофонтович вспомнил об этом случайно, когда пожилой врач, к счастью, оказавшийся в группе окруженцев, влившейся ночью в отряд, заметил, готовясь к несложной операции:

— Товарищ генерал, ничего обезболивающего у меня нет. Вы можете потерять сознание.

— Как-нибудь воскресну, — невесело пошутил Федор Ксенофонтович и вдруг вспомнил: — Сегодня же воскресенье!

Он сидел на пне, неторопливо разбинтовывал голову и посматривал на разлегшихся вокруг в траве бойцов и командиров. Позади трудная ночь: отшагали километров сорок. Даже семижильный полковник Карпухин спал мертвецким сном, положив под голову свернутую плащ-палатку.

В это самое время к Чумакову и подвели Глинского, который держал раненую ногу на весу, а руками обхватил шею младшего политрука Иванюты и незнакомого летчика-лейтенанта.

— Вот пополнение, товарищ генерал, — весело доложил Колодяжный, кивнув на Глинского.

— Вы? — удивился Федор Ксенофонтович, узнав майора, которого он встречал на почте по пути в Крашаны.

— Так точно, товарищ генерал! — Глинский заулыбался. — Майор Птицын прибыл волей судьбы в ваше распоряжение.

— А это кто? — Федор Ксенофонтович перевел взгляд на лейтенанта в летной тужурке.

— Лейтенант Рублев! — представился тот, поддерживая Глинского.

— Сшибли его сейчас немцы, — пояснил Иванюта.

— Я тоже сшиб! — Рублев сердито покосился на младшего политрука.

— Товарищ генерал, — сконфуженно заговорил Колодяжный, доставая из кармана пистолет, взятый у Глинского.— Вы знаете этого майора?.. Мы чуть не приняли его за диверсанта.

— За диверсанта? — Чумаков улыбнулся сквозь боль. — Майор, конечно, нам не подарок. Нести ж его придется... Но при условии, если он действительно знает диверсионное дело.

Все смотрели на генерала с недоумением, а сквозь загар на лице Глинского проступила бледность.

— Вы умеете, товарищ майор, — обратился к нему Федор Ксенофонтович, — ставить фугасы, минные ловушки, сооружать замыкатели?

— Я все умею, товарищ генерал! — Глинский оживился, поняв, о чем идет речь. — Фугасы с самыми различными и простыми взрывателями — натяжными, действующими от давления, самовзрывные. Гранаты, любой снаряд, мины — все сгодится! Даже невзорвавшаяся бомба.

— Очень хорошо! — удовлетворенно сказал Чумаков и вновь невесело усмехнулся, видя, как Колодяжный всовывает в кобуру майора его пистолет. — Назначаю вас, майор Птицын, инструктором по подрывному делу.

Затем, пересиливая боль, Чумаков отодрал от раны присохший бинт и, повинуясь жесту врача, лег на расстеленную плащ-палатку. Им постепенно овладевала тревога, а может, и страх — затаенный, упрятанный под внешним спокойствием и замедленностью движений. Ему было не по себе оттого, что этот седоусый доктор с темными, сухо горящими сквозь старомодное пенсне глазами сейчас выдернет осколок и вдруг вместе с осколком навсегда уйдет из его звенящей болью головы сознание — он умрет, не подозревая о своей кончине, и для него так и оста-

нется неизвестным, как же сложится война, где и когда немцы наткнутся на стену того характера Красной Армии, который ковался все эти годы.

Как тяжело от холодивших сердце мыслей и как жестко под головой, будто лежит она не на шинельной скатке, а на раскаленном камне!

— Ну что ж, начнем, товарищ генерал, — услышал Федор Ксенофонтович и увидел над собой сверкнувшее зеленью пенсне, отразившее листья орешника, заметил рядом на плащ-палатке флакон с одеколоном, бритву с коричневой рукояткой и черные шоферские плоскогубцы. — Наберитесь сил...

Какое знакомое лицо... Кого доктор напоминает? Эти усы, пенсне, сизоватый в прожилках нос... Зачем-то подошли, остановившись над ним, четыре дюжих солдата. До чего же высокие! И как пахнет болотной гнилью от их сапог...

Смоченный одеколоном ватный тампон огнем обжег ниже уха. От прикосновения пальцев доктора Чумаков ощутил, с какой прочностью засел в скуле осколок... А это еще зачем?.. Один солдат, смущенно пряча глаза, уселся ему на ноги; два других, разведя в стороны его руки, намертво прижали их к земле; четвертый, став у изголовья на колени, могучими шершавыми ладонями стиснул виски.

— Эй, вы, не очень-то! — с жалкой беспомощностью пошутил Федор Ксенофонтович. — Не забывайте, что я генерал!

— Боль, к сожалению, не щадит и генералов, — суховато заметил доктор.

Федор Ксенофонтович вдруг вспомнил: доктор очень похож лицом на Нила Игнатовича Романова. Жив ли еще дорогой профессор?.. Или...

Возле уха обожгло такой болью, что зубы непроизвольно скрежетнули. Почувствовал, как на затылок сбежала, защекотав кожу, теплая струйка.

— Терпите! — услышал Федор Ксенофонтович и понял, что доктор, сделав бритвой разрез, пытается зажать плоскогубцами хвост осколка. В голове от прикосновения железа к железу загрохотало, будто там сталкивались каменные глыбы.

С обреченностью успел подумать, что не побороть телесную боль силой рассудка, как вдруг эта самая боль навалилась на него со всей своей страшной беспощадностью. В голову, будто разламывая ее на части, ворвался огненный рев. Федор Ксенофонтович, вскинувшись всем телом, надрывно застонал, но уже не слышал своего стона и не ощущал самого себя. Свет для него померк, и сам он будто растворился в клекочущей тьме.

...Как же он оказался здесь, перед чеканным фасадом здания военной академии, где провел целых пять лет — долгих, трудных и радостных? Федора Ксенофонтовича почти не удивляло, что здание академии, взметнувшись со сказочной величественностью ввысь, теряло свои верхние этажи где-то в белесо-голубом небе, среди редких облаков, похожих на выбеленные солнцем острова. Окна здания, отсвечивая тревожно-торжественной голубизной, смотрели на Чумакова с устрашающей загадочностью. А по гранитным плитам фасада в молчаливой задумчивости плыли вверх и вниз, как пустые гробы, бездверные кабины такого привычного, давно знакомого ленточного лифта. Многие тысячи командиров вознес этот лифт к вершинам военной науки... Где они сейчас?.. Лифту ведь полагается быть внутри корпуса, а он вот снаружи, но и этому ничуть не удивился Федор Ксенофонтович.

Но почему его так тревожит живой и хмурый блеск окон? Почему ощущается какая-то странная неизбежность?.. Что за роковая черта ждет его впереди, которую надлежит переступить?.. Вдруг открылась

массивная, с бронзовым отливом дверь академии, и на пороге встал знакомый седоусый доктор в старомодном пенсне и с плоскогубцами в руке. Как оказался доктор здесь? Ведь он там, на западе Белоруссии, где земля сейчас, подплывая кровью, стонет под бомбами и снарядами, под сапогами и гусеницами врага... Да нет же, это не доктор, а Нил Игнатович Романов!.. Но почему же не рад он встрече со своим лучшим учеником? Из-под пенсне сухо, зло поблескивают глаза, а седой ус напряженно подергивается, будто профессор сейчас исторгнет ругательство.

«Пойдем, — строго сказал Романов. — Мы тебя дожидаемся». Он взял Федора Ксенофонтовича за руку, и они легко взлетели вверх, вдоль пустых кабин-гробов лифта. Федору Ксенофонтовичу вспомнилось, что он множество раз вот так летал во снах, ощущая легкость в теле и восторг в сердце. Но сейчас такого восторга не было, а только гнетущая тяжесть. Где-то в нем рождалось чувство неоплатной вины, будто совершил он нечто ужасно постыдное, несоизмеримо большее, чем в силах совершить один-единственный человек.

Этаж за этажом уносятся вниз, а они все летят, сопровождаемые пасмурным свечением окон... И вот академическая вершина в предзимней свежести — просторный зал с бестелесными стенами, увешанный огромными рытыми коврами... Нет, это же не ковры, а полотнища топографических карт с диспозициями войск... И амфитеатр кресел. В них сидят и испытующе смотрят на него какие-то очень знакомые люди, излучая сияние боевых доспехов, высших наград и воинских отличий.

Карты на бестелесных стенах вдруг словно размываются туманом, и Федор Ксенофонтович начинает понимать, что это поля сражений русских войск!.. Вон ведет по ковыльной степи свою рать Святослав, утверждая силу Киевской Руси... А вон среди лесов, в белесом мареве ледяной равнины Чудского озера, душат в смертных тисках псов-рыцарей полки Александра Невского... Рядом еще какая-то битва... Да это же поле Куликово! Мамаево войско усеяло грудами своих тел всю землю от Красного Холма до Красивой Мечи... В синей дали сверкает Полтава золотыми куполами; на холме стоит Петр Первый и с усмешкой смотрит, как в смертном страхе убегает с Украины в Турцию шведский король Карл XII. А вон дымится сражение при Кунерсдорфе, где русская армия утверждает свое превосходство над прусским войском Фридриха II... Далее виднеются пространства, на которых славят силу русского оружия Румянцев, Суворов, Кутузов. В этих пространствах берут начала тысячеверстные пути, по которым прошел победоносными походами Александр Суворов...

А вот и дороги Наполеона, ведущие в Россию и из России! Дымкой старины подернуты города и села, реки и поля, леса и перелески. Раскинулась в мудрой задумчивости Бородинская земля... Мертвой петлей затянулась на шее Бонапарта дорога от Бородина, через Москву на Тарутино: по ней провел Кутузов свою армию.

Федор Ксенофонтович догадывается, что профессор Романов тяжко попрекает его этими уроками истории.

«Зачем это вы, Нил Игнатович? — с болью в сердце говорит он ему.— Мне ли не знать об этих победах?..»

Молчит и гневно хмурится старый профессор; глаза его устремлены куда-то вбок. Федор Ксенофонтович тоже переводит туда взгляд и видит бескрайние просторы, где отполыхала гражданская война. Нет, это уже не поля, а именно карты, и на них, будто живой кровью, пульсируют стрелы — направления ударов Красной Армии по войскам Антанты, Колчака, Деникина, Врангеля...

«Зачем все это?» — снова с мольбой в голосе спрашивает Чумаков у профессора.

Нил Игнатович берет его за руку и ведет по длинному проходу между кресел амфитеатра, в котором сидят безмолвные люди. Федор Ксенофонтович узнает их! Вот выпучил на него глаза Карл XII, измеряя Чумакова надменным и оценивающим взглядом... А вот и сам Наполеон Бонапарт выставил вперед тяжелый подбородок и всем своим видом как бы являет окаменевший вопрос. Из-за его спины тревожно смотрит последний из Гогенцоллернов — германский император Вильгельм II.

В Федоре Ксенофонтовиче вдруг пробуждается любопытство. Он пристально всматривается в лица людей, которые с огнем и мечом ходили в русские земли, замечает в их глазах какое-то смятение... Конечно же, они должны жаждать повержения России Гитлером!.. Или нет? Может, их раздраженное самолюбие заставляет взирать на Гитлера с холодным небрежением? Еще бы! Во главе великой Германии стал ефрейтор и тщится сделать то, что оказалось не под силу Наполеону Бонапарту!..

Вдруг Федору Ксенофонтовичу стало не по себе. Ему подумалось, что где-то здесь можно увидеть и тех, кто славил русское оружие и гнал захватчиков с русской земли.

«Да, они здесь», — строго сказал ему профессор Романов, как-то угадав его мысль.

«Не надо, Нил Игнатович, — взмолился Федор Ксенофонтович. — Я не готов к ответу!»

«А к чему вы готовы, товарищ Чумаков?» — раздался вдруг чей-то очень знакомый голос.

Федор Ксенофонтович оглянулся и вдруг увидел, что нет никакого зала с давно ушедшими из жизни людьми, нет старинных стен академии, излучающих живые картины прошлого. Есть только пустынная Красная площадь и он, стоящий перед Мавзолеем Ленина по стойке «смирно», как стоял, бывало, во время парадов. Конечно же, все это ему приснилось! Кроме Красной площади. А в ушах все звучал знакомый вопрошающий голос.

«Я готов умереть во имя Родины!» — ответил Федор Ксенофонтович.

«Этого мало!»

«Я готов повести за собой войско, которое отдаст жизнь за Родину!»

«Этого тоже мало! Надо, товарищ Чумаков, повести войско и победить!..»

Федор Ксенофонтович почувствовал, что чьи-то пахнущие одеколоном руки бинтуют ему голову, открыл глаза и увидел лицо врача над собой.

— Вот и все, и хорошо, товарищ генерал, — успокаивающе сказал врач. — Рана несерьезная, хоть жевать вам пока будет трудно. Заштукатурил ее дня на три стрептоцидовым порошком.

— Долго все это длилось? — спросил Федор Ксенофонтович.

— Пять-шесть минут, — ответил врач, завязывая концы раздвоенного бинта. Затем поправил пенсне и встал. — Полежите часик-другой.

Федор Ксенофонтович с удивлением подумал о том, что за такое короткое время беспамятства он успел увидеть пространный и довольно связный сон. Вспомнил, что вчера во время дневного отдыха в Налибокской пуще, когда ему не спалось, действительно он долго размышлял над тем, что Россия видела многих завоевателей, много пролила крови и натерпелась лиха, а ее величие от столетия к столетию возвышалось. И вот не угасли мысли бесследно — вернулись в сказочном построении, возбудили картины битв, рожденных воображением, еще когда он постигал историю военного искусства.

Невдалеке от того места, где отлеживался генерал Чумаков, врач уже взялся за Глинского, уложив его под кустом орешника на раскатанную шинель.

— Придется разрезать, товарищ майор, ваше роскошное галифе,— с сожалением сказал врач. — Нога распухла. Или, может, все-таки попробуем его снять?

Глинский дал стащить с себя брюки. Кто-то из бойцов тут же взял их, затем прихватил сапог с надрезанным голенищем и пошел к недалекому ручью отмывать с них кровь, вызвав удивление Глинского тем, что это было сделано без чьего-либо приказания. Вслушиваясь в слова врача, который объяснял, что рана в ноге сквозная, кость не задета, он осматривался по сторонам, веря и не веря во все происшедшее и в свою удачу. А ведь этого генерала и храпевшего вон под елью полковника он мог тогда, на почте, пристрелить. Значит, судьба еще не повернулась к нему спиной. Теперь надо ждать случая, надо присмотреться к людям. Неужели не найдется в отряде хоть один, который, поняв безвыходность их положения, видя их обреченность, не согласится тайком уйти из леса с его запиской и обратиться к первому встречному офицеру немецкой армии? Нужно передать радиограмму в полевую абверкоманду армии или в штаб «Валли», сообщить свои координаты и маршрут отряда. Тогда окупится его провал в штабной колонне русских. Тут, по всем признакам, находится командование более крупного соединения... Но вдруг не удастся? Вдруг этот генерал сумеет провести отряд к своим, и он, граф Глинский, кадровый абверовец, окажется на той стороне?.. Не ускакать же из отряда на одной ноге! «Майор нам не подарок. Нести его придется»,— вспомнились слова генерала... И понесут, скоты! Вон их сколько! Кругом выставили сторожевые посты. Еще и диверсии против немецкой армии затевают... Что за люди? На что они надеются?..

Вопросы, встававшие перед Глинским, заводили его в тупик. Чего-то он не мог постигнуть. Что-то очень важное он не понимал. И не мог всмотреться в души этих загадочных людей, этих русских. Ведь они совсем не похожи на тех, которые вставали в его воображении — покрытые коростой невежества, темные в устремлениях и желаниях...

Вечером отряд генерала Чумакова снова двинулся на восток, в гремящую и сверкающую войной ночь.

## 26

Ирина Чумакова сошла с троллейбуса на остановке у кинотеатра «Художественный». Отсюда до входа в метро «Арбатская» всего лишь несколько десятков шагов. Именно там ей назначил свидание подполковник Рукатов. Да, да, тот самый Алексей Алексеевич Рукатов, «столоначальник» из управления кадров. Именно с ним должна встретиться сейчас Ирина, не зная и не ведая о том, что ее отец, генерал Чумаков, относится к этому Рукатову с омерзением, как к человеку, который по нелепому и случайному стечению обстоятельств носит звание старшего командира. Впрочем, если б Ирина и знала об отношении отца к Рукатову, ничего бы не изменилось: на эту встречу ей все равно надо было прийти, хотя смешно и стыдно, что он, такой солидный и немолодой, пытается за ней ухаживать.

В светлом батистовом платьице, с накинутой на плечи оранжевой косынкой, в новых туфлях, Ирина выглядела празднично-нарядной и, как обычно, привлекала к себе взгляды встречных прохожих. В другое время она, ощущая эти удивленно-восторженные взгляды, не преминула бы тайно порадоваться им, поразмышлять о том, что очень приятно быть красивой. Она бы еще выше подняла небольшую, с аккуратной прической голову, придав лицу беспечность и безразличие ко всему. Но сейчас ничего не замечала вокруг и будто не осознавала, куда и зачем идет.

Сердце ее изболелось за эти дни до того, что в груди будто вырос холодный черный камень.

Война... Весть о ней внезапно обрушилась в день их приезда на похороны Нила Игнатовича... Похороны были торопливые, малолюдные, хотя и с воинскими почестями: играл военный оркестр, во время панихиды звучали прощальные речи представителей академии, где много лет проработал Нил Игнатович Романов, а на Ваганьковском кладбище строй красноармейцев дал три залпа из ружей.

После похорон тяжело заболела Софья Вениаминовна — старенькая супруга покойного профессора. Ирина с мамой днями и ночами попеременно дежурили у ее постели. А тут еще известия с фронта, от которых сердце замирало в страхе. Немцы захватили почти всю Прибалтику и бóльшую часть Белоруссии, идут жестокие бои на Украине... Где отец?.. Жив ли?.. Все получалось не так, как предполагала Ирина; почему-то Красная Армия не гонит фашистов на запад и отец ее в ряду других генералов не ведет под боевыми знаменами полки в сторону Берлина.

Софья Вениаминовна, проболев несколько дней, умерла тихо и незаметно: уснула после дневного чая и не проснулась.

Эти вторые похороны доставили всем много мучительных хлопот. Как ни горько об этом думать, но, оказывается, одно дело — схоронить умершего генерала и совсем другое — генеральскую жену, да еще в дни, когда грянула война, обрушив на людей тяжкие беды. Хорошо еще, что мать Ирины, Ольга Васильевна, догадалась позвонить в Наркомат обороны другу отца и ученику профессора Романова полковнику Микофину. Сам Микофин помочь ничем не смог, но, как и на прошлые похороны, прислал очень деятельного и очень важного подполковника. Это и был Рукатов, с которым Ирине потом суждено было познакомиться ближе.

После вторых похорон мать уехала в Ленинград, чтобы снять со сберкнижки деньги и перевезти в Москву кое-какую одежду. И почему-то там задержалась. А Ирина, одна, хозяйничая в чужой квартире, которая теперь должна была стать ее родным домом, осталась со своей неусыпной тревогой о судьбе отца, о невозвращающейся матери. Иногда ее навещало и воспоминание о летчике Рублеве; он тоже где-то там, на западе, воюет с немцами. Правда, две встречи с Виктором не успели родить в ней сколько-нибудь серьезных чувств, и даже его лицо не очень четко сохранилось в памяти. Но осталась смутно волнующая временами тоска, как неуснувшая жалость о чем-то утраченном, радостном и светлом.

Неторопливо пройдя мимо кинотеатра к входу в метро, Ирина поднялась по нескольким ступенькам и остановилась у ребристой колонны. Посмотрела в сторону недалеких зданий Наркомата обороны: стены их были грубо исполосованы бурой и темно-коричневой краской, чтобы, как она догадалась, затруднить наблюдение с воздуха; на стеклах окон, как, впрочем, и во всех зданиях, окружавших Арбатскую площадь, белели наклеенные крест-накрест полоски бумаги — это тоже на случай бомбежки. Ирина перевела взгляд на прохожих, пересекавших площадь между станцией метро и Гоголевским бульваром; среди них много в военной форме... Она тоже скоро наденет гимнастерку, зеленую юбку и кирзовые сапоги, как девушки, которых видела сегодня на Можайском шоссе: они не спеша вышагивали посредине дороги, держа в руках канаты, закрепленные на подбрюшье огромного, как морское чудище, баллона с газом для аэростатов воздушного заграждения. И никаких теперь для Ирины институтов — не то время. Она ни за что не останется в Москве, а пойдет на фронт, поближе к отцу, к лейтенанту Виктору Рублеву... Только побыстрее бы приехала из Ленинграда мать да услышать от подполковника Рукатова что-нибудь утешительное об отце.

С Алексеем Алексеевичем Рукатовым Ирина уже встречалась дважды после похорон Софьи Вениаминовны. Дважды после этих печальных свиданий он провожал ее домой на Можайское шоссе, рассказывая по пути о тяжких событиях на фронте. Как-то странно и витиевато рассуждал он о жизни, вздыхал, жаловался на то, что не сложилась его личная судьба. Но узнать что-нибудь об отце Рукатову пока не удавалось. Обещал сегодня... Ирина опять посмотрела в сторону Гоголевского бульвара и стала размышлять о том, что в жизни много странностей. Вот Алексей Алексеевич Рукатов... Ему лет сорок, если не больше, а ей только восемнадцатый... И вот ухаживает... В отцы же годится!.. Даже перед прохожими стыдно... Или этот дальний-предальний родственник Сергей Матвеевич, который тоже приезжал на похороны Нила Игнатовича... Смотрел на маму такими глазами, что Ирина покраснела. И все «Оленька», «Олюнька»... Сам отец так ее не зовет. Что-то от нее, Ирины, скрывают... Нет, она заставит маму рассказать правду...

Но что могла бы рассказать Ольга Васильевна Ирине? Каждый человек ведь имеет начало своей судьбы, какие-то ее маяки, по которым, если оглянуться в прошлое, ярче видно прожитое...

Неожиданная встреча на Невском проспекте с Сережей Романовым, теперь неузнаваемо солидным и самостоятельным Сергеем Матвеевичем, воскресила в памяти Ольги Васильевны Чумаковой те далекие и полузабытые дни, когда ее все звали еще просто Оленькой...

Сергей Матвеевич Романов и Ольга Васильевна находились в том трудно осязаемом мыслью родстве, которое в народе именуют «седьмая вода на киселе». Он был внучатым племянником Нила Игнатовича Романова по линии отца, она же приходилась родной племянницей жене Нила Игнатовича по линии матери. Именно благодаря этому, казалось бы, малозначительному обстоятельству и познакомились больше двух десятков лет назад Оля и Сережа. Знакомству предшествовали тяжелые для Оли события: смерть отца, продажа дома, в котором она выросла, расставание с родной гимназией и переезд из Воронежа в далекую и незнакомую Москву к маминой сестре Софье Вениаминовне.

В Москве их временным пристанищем оказалась дача Нила Игнатовича в Сокольниках.

А весной на соседней даче появилась семья Матвея Степановича Романова — инженера-путейца, родного племянника Нила Игнатовича, а в этой семье — девятнадцатилетний Сережа, студент университета... Соседи, да еще дальние родственники... Естественно, что Оля и Сережа подружились и вскоре будто окунулись в какой-то особый мир своих интересов, бездумного веселья, прогулок по чужой для Оли и пугающей ее сутолокой Москве.

Хотя Оля была на три года моложе Сережи, она сразу же взяла верх над ним — застенчивым, малоразговорчивым и медлительным. Со стороны было даже смешно наблюдать, как высокий и худой юноша, прежде всегда ходивший с сонными глазами, терпеливо повиновался шустрой девчушке с тонкими руками и светлой, вечно куда-то летящей косой. Оля сразу же почувствовала свою власть и понукала им, как только могла. Может, все началось с того, что в одно из первых воскресений, когда на обе дачи съехалось много людей и было решено отобедать всем вместе, Оля заставила Сережу помогать ей сервировать стол. И он, к изумлению своей матери, полнотелой и круглоликой Татьяны Павловны, послушно разглаживал на столешнице белую скатерть, расставлял большие и малые тарелки, раскладывал ножи, вилки, салфетки. Оля с превеликой серьезностью учила его, с какой стороны ставить рюмки, а с какой — бокалы, без дела и по делу гоняла к буфету и на кухню. А он в своем прилежном и возбужденном послушании весь светился радостью и готовностью

сделать все, что только Оля пожелает. Мать Сережи, понимающе наблюдая за сыном, умильно качала головой и так, чтобы услышала это Оля, обронила напевно и сладко:

— Лучшей невесты для Сереженьки и желать не надо.

Оля с детской наивностью посмотрела на Татьяну Павловну радостно-изумленным взглядом, нисколько не смутившись, полагая, что так и должно быть, поскольку она приводит всех в восхищение, и что эти слова обязывают ее к еще большему. Шли дни, и Оля с возрастающей деловитостью стала распоряжаться Сережей, как собой, — его временем, свободой, настроением, желаниями, вкусами. И он, беспредельно счастливый, охотно переносил это сладкое рабство и еще больше поощрял этим добродетельно-тираническую активность своей всеми признанной невесты.

Оля немного говорила по-французски и потребовала, чтобы Сережа непременно брал у нее уроки. И он, без толку изучавший французский с учителем, а затем постигая его без всякой надежды на успех в университете, через неделю-две, к неописуемому восторгу своей маменьки, за обеденным столом уже бойко обменивался с Олей несколькими французскими фразами... Еще в большем восторге от этого была сама Оля: она обожала Сережу и не менее обожала себя, трепеща от гордости и счастья.

Не было конца выдумкам Оли. Ее неукротимая энергия, очаровательность ее восторгов придавали всей дачной жизни, всему окружающему какой-то особый смысл, порождали праздничное веселье, интересную занятость.

Иногда в минуты наивысшего возбуждения, когда Олин смех был слышен далеко за пределами дачного участка или когда перебранка с Сережей, в которой Оля всегда была нападающей и, безусловно, правой стороной, достигала высокого накала, ее подзывала мать и тихо говорила успокаивающие, добрые слова. Однажды она сказала с затаенной грустью и тревогой:

— Оленька, доченька моя, пощади себя... Не растрачивай без надобности свою доброту. Тебе еще долго жить...

Оля тут же сникла, испуганно и жалостливо глядя на мать — исхудалую, бледную, с печальными глазами, будто видящими нечто такое, чего ей, Оле, никак не увидеть. Оля знала о болезни матери, всегда старалась быть послушной и заботливой, но не могла понять причины тревоги в ее словах. И тем более не догадывалась, что скоро останется круглой сиротой. Мать так и запомнилась ей — сидящей в кресле с черной шалью на голове поверх шапочки, из-под которой выглядывали уложенные в тугой узел светло-каштановые волосы... Умерла она в конце лета.

После смерти матери Олю забрали в свою семью Софья Вениаминовна и Нил Игнатович. И Сереже, чтобы повидаться с невестой, приходилось ездить почти через всю Москву. Оля теперь стала несколько иной: сиротство укротило ее веселость, и будто обмелел ее смех. И она привыкла к мысли, что после того, как Сережа окончит университет, они поженятся, и по-прежнему помыкала им, как хотела, сама поражаясь иногда своему сумасбродству и удивляясь Сережиному многотерпению, послушанию любому ее капризу или вздорному желанию. И со временем наступило то, что неминуемо должно было наступить: Сережа пылал к ней чистой и горячей юношеской страстью, а она почувствовала, что встречи с ним все меньше приносят ей радости; она любила его словно чужого ребенка, которого вырастила и научила всему, что умеет сама... Однако, когда весной двадцатого года Сережу отправляли на фронт, она искренне, как он того потребовал, дала клятву, что будет ждать его до самой смерти. И нисколько не сомневалась, что сдержит обещание, ибо всем же было известно: Сережа Романов — ее жених, а она его невеста...

И вот нежданно-негаданно в ее жизнь ворвался лихой кавалерийский командир, лучший из учеников Нила Игнатовича, Федя Чумаков!.. И словно проснулась от детского сна, будто впервые поняла, что она взрослая и очень красивая девушка. И еще поняла совершенно неожиданное: она же по-настоящему никогда не любила Сережу! А поняв это, потянулась к Феде, ни от кого не тая своих чувств. Остался Сережа где-то в ее детских забавах — милый, добрый, послушный Сережка...

Вскоре с одобрения Нила Игнатовича и благословения Софьи Вениаминовны Оля вышла за Федю замуж. И только время от времени в ее душе возникало чувство вины перед нечаянно обманутым Сережей. Но потом уснуло и это чувство...

Прошло более двадцати лет, и вдруг встреча на Невском. Как обрадовалась ей Ольга Васильевна! Нечто подобное испытывают сентиментальные взрослые люди, вдруг найдя любимую игрушку своего далекого детства или свою первую школьную тетрадь. Мысленно посочувствовала Ольга Васильевна Сереже, что у него не очень-то привлекательная жена с удивительным именем — Аида. Но тут же прониклась к ней горячими симпатиями, чего, возможно, не случилось бы, окажись Аида красивее Ольги. А когда Ольга Васильевна еще узнала, что у Аиды нет в Ленинграде ни одной знакомой, ни портнихи, ни шляпницы и что Сережа очень озабочен судьбой сына Пети, который рвется в военно-морское училище, а его не принимают из-за строгостей медицинской комиссии, она поняла, что крайне нужна этим славным людям. И взяла с них слово, что они обязательно придут к Чумаковым в гости, что муж ее, Федор, сумеет помочь Пете поступить в училище, а сама она займется с Аидой всем, что относится к дамским туалетам. Разумеется, Ольге Васильевне также хотелось, чтобы Сережа познакомился с ее Федей — дважды орденоносным боевым генералом, увидел красавицу Иришу и понял, что она счастлива и никакого осуждения с его стороны не заслуживает...

Однако жизнь распорядилась по-своему. Внезапный отъезд Федора Ксенофонтовича, затем смерть Нила Игнатовича... Правда, Сергей Матвеевич тоже поехал с ней и с Ириной в Москву, на похороны.

Никаких обстоятельств прошлого не знала Ирина, кроме того, что Сергей Матвеевич — внучатый племянник покойного Нила Игнатовича Романова и друг маминой юности... Но почему мама задержалась в Ленинграде? Ведь вчера должна была обязательно приехать!

## 27

Подполковник Рукатов спешил закончить рабочий день, хотя границ такового теперь не существовало: кадровики, как и все в Наркомате обороны, засиживались в кабинетах до поздней ночи.

Он бережно взял из ящика стола кожаную полевую сумку, в которой были припрятаны четвертинка водки, бутылка ликера, бутерброды и плитка шоколада, осторожно, чтобы не булькало в бутылках, пристегнул ее к кольцам ремня и поднялся из-за стола. Но только сделал несколько шагов, как из сумки послышалось предательское бульканье. Рукатов в испуге замер на месте и в позе великого мыслителя приложил палец ко лбу, будто что-то вспоминая. Затем, с опасением косясь на занятых делами сослуживцев, медленным шагом выплыл из кабинета.

Все последние дни Алексей Алексеевич был сам не свой. На похоронах Нила Игнатовича он приметил необыкновенной красоты девушку — Ирину Чумакову, а через несколько дней судьба свела с ней уже на похоронах старушки Романовой. И Рукатова будто околдовали. Все

кругом только и жили новостями с фронтов, часами простаивали у карты, разгадывая замыслы немцев и внутренне ужасаясь их быстрому продвижению на восток, а он, тоже, конечно, не оставаясь безразличным к военным событиям, все время думал об Ирине, мысленно видя ее перед собой — недоступно красивую и горделиво смотрящую на мир.

Ему даже не хотелось вспоминать о своей жене Зине, загостившейся с детьми в Сталинграде у матери. Не хотелось думать и о полковнике Гулыге, отце Зины, который где-то западнее Минска, как и генерал Чумаков, остался в окружении, и вряд ли ему теперь, как и многим другим, кто не выскользнул из немецких клещей, суждено уцелеть.

Вчера Рукатов позвонил в Сталинград, вызвал к телефону Зину и посоветовал ей, учитывая военную обстановку, не спешить возвращаться в Москву. И теперь по утрам он дольше обычного задерживался у зеркала, рассматривая свое чуть одутловатое, румяное лицо, выбривался с небывалой тщательностью и старательно приглаживал на голове смоляные волосы, чтобы прикрыть на макушке рано пробившуюся плешь.

Выйдя на улицу, еще дышавшую, несмотря на предвечерье, зноем, Рукатов с деловито-озабоченным видом зашагал к Арбатской площади.

— Сегодня или никогда, — тихо сказал он сам себе, ощущая, как сердце его куда-то падает. И неожиданно подумал: «Была бы она лучше дочерью дворника, а не генерала...»

Сколько сомнений, страхов, рассуждений из-за этого! А вдруг выберется из окружения Федор Ксенофонтович? И как поведет себя Ольга Васильевна, когда узнает, что он ухаживает за Ириной?.. Хорошо, что хоть полковник Микофин уехал в штаб Западного фронта. А Ольга Васильевна должна понять, что в такое грозное время внезапная любовь имеет право на безрассудство и на снисхождение судьбы... Ведь в молодости судьба обошлась с ним не лучшим образом: служил он тогда в оторванном от мира гарнизоне и, казалось, искренне полюбил Зину — дочку командира полка. Потом понял, что никакой любви нет ни у него, ни у нее, но с командиром полка шутки плохи: нельзя было сразу же разводиться с его дочерью. А потом появились дети. Да и рушить семью — значит вредить своей карьере.

Теперь же, когда он, чем бы ни занимался и какие бы вести ни приходили с фронта, все время думает об Ирине, теперь он решился на все! Пока не приехала Ольга Васильевна, он честно объяснит Ирине, что она держит в своих руках не только свою собственную судьбу, но и судьбу матери. Он скажет ей всю правду: Федор Ксенофонтович попал в окружение, и, если не погибнет, плена ему не миновать. А там разбирайся: добровольно он сдался или нет. А закон суров. За сдачу в плен отвечают и близкие родственники. Он спасет их от ответа. Пока ничего не известно, Ирина возьмет его, Рукатова, фамилию, а Ольга Васильевна станет членом их семьи. Такое благородство должен оценить и сам Микофин.

Рукатов еще издали заметил знакомую оранжевую косынку и, не чуя под собой ног, с захлебывающимся сердцем мчался вперед. Вскоре он горячо пожимал Ирине руку, млея от того, что прикасается к этому совершеннейшему живому чуду.

— Ну что, Алексей Алексеевич? — Ирина смотрела на него с мольбой и страхом. — Хоть одно слово: папа жив?

— Жив. — Рукатов нахмурился и опустил глаза. — Но есть некоторые подробности.

— Какие?!

— Разговор не для улицы. — Он посмотрел на Ирину многозначительно и загадочно.

— Где же? — В голосе Ирины прозвучала тревога.

— Или у вас дома, или у меня, — ответил Рукатов, хотя приглашать

девушку к себе и не собирался, ибо в доме на Пироговке, где он жил, была коридорная система и пройти незамеченным было невозможно.

— Зачем же дома? — В глазах Ирины промелькнуло смятение. — Давайте посидим на бульваре.

— Ирочка... — Рукатов постарался придать своим словам как можно больше задушевности. — Разговор очень важный.

— Вы пугаете меня, Алексей Алексеевич...

— Я не хочу вас пугать... Но я обязан откровенно поговорить с вами об очень серьезных обстоятельствах... Случилась беда...

Заметив, как побледнело лицо Ирины, он поспешил успокоить ее:

— Нет-нет... Не самая страшная беда, какая может случиться в это грозное время, когда там... гибнут тысячи...

— Но отец жив?!

— Жив Федор Ксенофонтович. Жив. Давайте не будем терять время. Я вам все расскажу, но только дома — у меня или у вас.

Ирина, ощущая озноб и содрогаясь сердцем от предчувствия чего-то ужасного, все-таки подумала, что приглашать к себе в дом мужчину, когда нет мамы, неудобно, и уже решилась было согласиться ехать к Рукатову, но он, точно уловив состояние девушки, вовремя упредил ее:

— Ах, дьявол!.. Я позабыл!.. У меня нет телефона, а нам обязательно надо позвонить в Ленинград Ольге Васильевне.

— Зачем?

— Поехали к вам, все узнаете.

Воля Ирины противилась разуму, но иного выхода она не видела, и вскоре они ехали троллейбусом на Можайское шоссе. Сошли у кладбища и пешком отправились на недалекую 2-ю Извозную улицу, где в четырехэтажном доме находилась квартира покойного профессора.

Когда Ирина, повозившись с замками, открыла наконец дверь и пропустила Рукатова в темную прихожую, к его ноге прикоснулось что-то живое. От неожиданности в груди Алексея Алексеевича будто что-то оборвалось, и в голову со звоном ударила кровь. Он отшатнулся назад, но в это время Ирина, захлопнув дверь, включила свет, и Алексей Алексеевич увидел у своих ног огромную кошку пепельного цвета. Она уже с мурлыканьем терлась о ногу Ирины.

— Что за зверь? — оправившись от испуга, спросил Рукатов.

— Это Мики, любимица покойной Софьи Вениаминовны, — грустно ответила Ирина, — ангорской породы.

Алексей Алексеевич присел на корточки и протянул к кошке руку, но та попятилась, зашипела и угрожающе подняла лапу, выпустив кривые и острые когти.

— Не трогайте, она чужих не любит, — предупредила Ирина и прикрикнула: — Мики, на место!

Кошка двумя прыжками достигла открытой двери, ведшей в кабинет, и скользнула вверх, кажется даже не прикасаясь когтями к ее белой окраске. Будто взлетела на дверь и вытянулась на ее верху. Рукатов с удивлением смотрел на кошку, поражаясь, как она может лежать на таком узком торце. Он только сейчас разглядел, что глаза у нее ясно-голубые, но в них такой звериный блеск, что берет оторопь.

Ирина, сдернув с плеч косынку, пригласила Алексея Алексеевича войти в кабинет-столовую, но он задержался в прихожей, удивляясь, что, кроме того места, где была вешалка, все стены и простенки между дверями были заставлены застекленными шкафами с книгами. В кабинете, куда он вошел с опаской, ощущая над головой злой взгляд Мики, тоже высились вдоль стен застекленные полки с книгами. Здесь был еще огромный резной буфет, рядом с ним — полированный стол, развернутый наискосок к дивану, прильнувшему к стене высокой спинкой. А в углу,

у широкого окна, стоял заваленный рукописями и книгами письменный стол. Внимание Рукатова привлек чернильный прибор из позеленевшего металла. Между двумя чернильницами — боевыми колесницами — стоял с копьем в руках воин, облаченный в железный шлем и кольчугу. Рядом с чернильным прибором — телефонный аппарат.

Сзади над письменным столом висели в рамках групповые фотографии. Подойдя к ним, Алексей Алексеевич среди многих узнал Фрунзе, Буденного, Ворошилова, Куйбышева, Шапошникова... И на каждой фотографии — строгое седоусое лицо Нила Игнатовича.

В груди Алексея Алексеевича шевельнулся страх оттого, что он только по своей прихоти оказался в этой удивительной квартире и хочет стать причастным к этим фотографиям и, следовательно, к людям, что запечатлены на них. Потом он снова повернулся к столу, и его взгляд упал на листок откидного календаря. Там было написано угловатым и нетвердым старческим почерком: «Звонили от Сталина. Иосиф Виссарионович благодарит за письмо и желает побеседовать с Нилом Игнатовичем». Ниже был записан номер телефона.

Рукатов еще и еще перечитывал эти две фразы, написанные, видимо, рукой покойной Софьи Вениаминовны, постигая их более глубокий смысл, чем заключали сами слова и цифры номера телефона. С опаской покосился на сверкающую черноту телефонного аппарата... Неужели вот прямо сюда звонили от Сталина?.. И стоит набрать этот номер... Он почувствовал противную слабость в ногах и подкатившую к сердцу тошнотную волну... Это же головы не сносить в случае чего!..

Непослушными ногами отошел от стола, будто от края пропасти. Ему показалось, что в комнате колеблется желтоватый туман, а вместе с туманом качается и он. Рукатов непроизвольно ухватился за книжную полку, пальцы его притронулись к панели радиоприемника, стоявшего в проеме между полками.

— Почему не сдали приемник? — спросил он у потерянно стоявшей у двери Ирины и будто обрадовался, что можно вести разговор совсем не о том, ради чего сюда пришел. — Могут быть серьезные неприятности. — И тут же подумал: «Какие там неприятности, если в эту квартиру сам Сталин звонит».

— Как же мы можем сдавать чужие вещи? — словно из пустоты донесся до него голос Ирины.

Алексей Алексеевич, все еще пребывая в состоянии крайней потерянности и уже думая не столько о рухнувших надеждах, сколько о том, как деликатнее выбраться из этого опасного положения, щелкнул включателем приемника.

Вскоре послышался треск атмосферных разрядов, а после того как Рукатов покрутил рычаг настройки, в комнату ворвалась не очень чистая русская речь:

«...Доблестные войска фюрера полностью завершили пленение частей Красной Армии, окруженных западнее Минска и в Прибалтике. Немецкие армии ведут успешное наступление в направлении Ленинграда, Москвы, Киева...»

Рукатов нервно нажал на выключатель, и приемник умолк.

— Я думал, что это Москва, — виновато сказал он, оглянувшись на замершую в дверях Ирину. Заметив ее испуг, он, овладев наконец собой, начал успокаивать: — Врут!.. Они еще и до Смоленска не дошли.

— Но западнее Минска отец... — чуть внятно сказала Ирина.

Рукатов уже знал, как себя вести. Он отошел от приемника и, прижимая рукой к бедру сумку, чтобы не булькали злополучные, теперь ненужные бутылки, остановился перед Ириной.

— Ирочка... — И тут же поспешно поправился: — Ирина Федоровна.

Я, как друг вашего отца, все время интересуюсь его судьбой. Если верить слухам, у вас страшная беда... Федор Ксенофонтович...

— Что с отцом?! — У Ирины задрожали губы.

— Болтают, что он сдался в плен... Но ради бога, не спешите верить! Пока не будет официального подтверждения. Вот я и решил...

В это время в передней зазвенел над дверью звонок, но Ирина, словно оглохшая, продолжала стоять посреди комнаты: лицо ее побелело, а большие глаза налились слезами. Звонок в передней зазвенел нетерпеливее, и она, опомнившись, выбежала. До Рукатова донесся хлопок двери и оживленный голос Ольги Васильевны:

— Здравствуй, Ирочка!.. Мы Петю Романова устраивали в морское училище. Поэтому и задержалась... Что с тобой, доченька?

— Мама, — послышался плач Ирины. — У нас Алексей Алексеевич...

Ольга Васильевна стремительно вошла в комнату и, позабыв поздороваться, остановилась перед Рукатовым, словно задохнувшись. Ее расширенные глаза, под которыми вдруг заметно обозначились темные полукружия с морщинками, смотрели на него с нарастающим напряжением.

— Убит?! — вдруг вскрикнула Ольга Васильевна. Рот ее перекосила гримаса ужаса.

— В плену... — тихо, сквозь слезы произнесла Ирина. — Алексей Алексеевич говорит, что папа сдался...

Ольгу Васильевну будто кто толкнул в грудь. Она отпрянула от Рукатова, глядя на него побелевшими глазами.

— Это ложь! — Голос Ольги Васильевны прозвучал с таким надрывом, что Мики с испугом спрыгнула с двери на диван и вздыбила шерсть. — Этому я не верю...

— Я тоже не верю! — Рукатов испуганно ежился под ее негодующим и в то же время кричащим от страха взглядом. — Так сказали те, кто пришел оттуда.

— Этого не может быть!.. Федор никогда... — И Ольга Васильевна зарыдала, обняв подошедшую к ней Ирину.

— Я и пришел лично сказать, чтоб вы не спешили верить, — Рукатов через силу выговаривал непослушным языком успокаивающие слова. — Мало ли чего наболтают паникеры!..

Он уходил отсюда, как в чаду, ненавидя себя и этот чужой, вдруг ставший для него страшным дом. Его душу ломило предчувствие надвигающейся опасности, пока еще ему неизвестной и тем более грозной.

Через несколько дней, уже не в силах бороться со страхом, который снежным комом нагромождался в воспаленном воображении, Рукатов стал настойчиво справляться о генерале Чумакове у всех, кто держал связь с Западным фронтом. И вдруг от знакомого оператора из Генштаба услышал, что командир корпуса Чумаков со своим штабом и остатками спецподразделений пробился на Березине из окружения. Тут же Рукатов позвонил Ольге Васильевне и, сдерживая волнение, радостно сообщил:

— Не подтвердились слухи, Ольга Васильевна!

— И не подтвердятся, — холодно ответила она.

«Уже знает!» — с досадой и тревогой подумал Рукатов.

А она бесстрастно продолжала:

— Мой муж в плен никогда не сдастся. Запомните это.

— Почему вы так со мной, Ольга Васильевна?! Я же с доброй...

— Потому, — устало перебила она, — что о генерале Чумакове пока ничего не известно. И распускать о нем вздорные слухи я не позволю.

— Ольга Васильевна!.. — исступленно закричал в трубку Рукатов, но в ответ услышал частые гудки.

Он начал было вновь набирать нужный номер телефона, однако еще звучавший в ушах сухой и враждебный голос Ольги Васильевны будто

остановил его. Рукатов нерешительно положил телефонную трубку и долго сидел за своим столом в странной окаменелости, размышляя над чем-то очень трудным. Когда после обеденного перерыва в кабинет начали возвращаться сослуживцы, он взял лист чистой бумаги и стал писать рапорт с просьбой немедленно отправить его в Действующую армию. Рукатову казалось, что сейчас для него самое безопасное место — на фронте.

Лес на возвышенности восточнее Чаусов, где расположился штаб Западного фронта, ничем не отличался от многих других лесов, которыми так богата земля Белоруссии. Под густыми кронами его деревьев теснились палатки, шалаши, стояли забросанные ветвями машины; кругом виднелись вырытые в земле щели на случай бомбежки, в разные стороны тянулись подвешенные к стволам деревьев телефонные провода.

По лесной дорожке неторопливо прогуливались маршал Шапошников и генерал Чумаков. Федор Ксенофонтович, на голове которого под фуражкой белела повязка, рассказывал Борису Михайловичу о приграничных боях, о тактике немцев, об окружении.

Маршал слушал Чумакова внимательно, задавал вопросы, часто вздыхал и посматривал на собеседника с грустью и добротой.

Впереди, через дорожку, куда-то спеша, прошла группа командиров с вещмешками и шинельными скатками на плечах. Среди них Федор Ксенофонтович узнал подполковника Рукатова. Шевельнулось неосознанное желание окликнуть его, но тут же угасло. Командиры скрылись в зеленом половодье подлеска.

На повороте к палатке оперативного отдела маршал и генерал остановились. Борис Михайлович взглянул на часы и, прощаясь, сказал:

— Да, батенька мой, не предусмотрели мы, что немцы сразу навалятся такими силами... Но воевать надо. Сейчас мы нащупали их главные операционные линии и по мере поступления резервов вяжем на них узелки. Оправляемся от первого потрясения.

Федор Ксенофонтович будто мысленно увидел эти линии с кровавыми узлами на них. Хотелось уточнить у маршала, какое, по его мнению, они будут иметь продолжение, куда нацелят немцы свои удары в дальнейшем. Но неотступно мучил другой немаловажный вопрос. Что было бы, если бы успели заблаговременно ввести в действие оперативный план, тот самый, который ему, Чумакову, известен? Что было бы тогда?.. Он предписывал в случае угрозы войны произвести в стране мобилизацию и все отмобилизованные войска сосредоточить у западных границ. Как бы все сложилось, если б это было сделано?.. Даже при условии, что немцам не удалась бы внезапность?.. Ведь при нашей, пока слабой оснащенности танками, авиацией, артиллерией да и зенитными средствами нам на первых порах все равно долго не устоять перед рассекающими ударами танковых колонн врага... Неужели могли остаться без резервов?.. Но задать маршалу этот вопрос не решился. Может, потому, что было страшно услышать утвердительный ответ, а может, опасался показать свою недостаточную осведомленность: мало ли бывает проектов оперативных планов...

— А что впереди? Когда может быть перелом? — Чумаков с робостью посмотрел в потемневшее от усталости лицо маршала.

— О сроках судить трудно. — Борис Михайлович подал на прощание руку. — А перелом будет. И верх наш будет.

— Ну, в этом никто не сомневается.

— Вот поэтому и будет, что никто не сомневается. — Лицо маршала посветлело в доброй улыбке. — До новых встреч, батенька мой. И берегите себя. Вам еще предстоит очень многое...

# КНИГА ВТОРАЯ

1

Если б кто-нибудь предрек Сергею Матвеевичу Романову те мучительные сложности, какие встанут на его пути в ближайшие дни, он, Сергей Матвеевич, вполне серьезный и здравомыслящий человек, принял бы такого прорицателя за ненормального. И тем не менее это случилось, ничего изменить невозможно, ибо из дня идущего не воротишься в день вчерашний.

Началось все обыденно: его единственный сын Петя, в прошлом году отчисленный по болезни с первого курса военно-морского училища, заметно поправил свое здоровье и, как следовало ожидать, вознамерился вернуться на флот. Стать морским волком — была самая высокая мечта Пети, волновавшая его чуть ли не с младенчества. Сказалось в этом и влияние матери: ведь все ее родословное древо уходило корнями в глубины истории русского морского флота, сам легендарный адмирал Нахимов, по утверждению Аиды, был ветвью этого древа.

Решив помочь сыну вернуться на стезю морской жизни, Аида начала хлопотливо готовиться к поездке в Ленинград, взяв в военном госпитале, где она работала хирургом, отпуск. А накануне отъезда решительно объявила Сергею Матвеевичу: «Отец, ты едешь с нами! Тебе будет легче, чем кому-либо иному, уладить Петины дела».

Последние годы жили они в крупном городе на Волге, где Сергей Матвеевич Романов занимал видный пост главного инженера моторостроительного авиационного предприятия. Именно в эти дни шла там доводка нового двигателя бомбардировщика перед пуском в серийное производство, и главный инженер Романов, разумеется, не имел возможности отлучиться, тем более по личным обстоятельствам. Но Аида и слышать не хотела его отговорок: ничего, мол, невозможного не бывает, у тебя есть заместители, помощники, а судьба сына — дело немаловажное. Сергей Матвеевич догадывался: такая настойчивость жены объяснялась еще и нежеланием оставлять его без присмотра, ибо Аиде недавно донесли, что видели, как поздним вечером возле драмтеатра ее муж усаживал в свою служебную машину молоденькую актрису. Нечто подобное действительно было. В начале июня они мужской компанией собрались на директорской даче сыграть в преферанс. Пулька за пулькой — засиделись. Один из партнеров, муж той самой актрисы, опомнился первым: время, мол, позднее, и его в театре ждет жена. Вот Сергей Матвеевич и согласился выручить товарища: подвез к театру, а потом уж обоих — домой.

Назавтра Аида встретила вернувшегося со службы мужа хмурым молчанием. Не без труда выяснил он причину ее немилости и со смехом

рассказал, как все было. Аида будто бы и поверила ему, но вместе с тем насмешливо пригрозила:

«Имей в виду, мой дорогой, я хирург. Уличу в неверности, тогда пеняй на себя...»

От такой «шуточки» Сергей Матвеевич передернул плечами, как от озноба.

И вот Сергею Матвеевичу надо было искать выход из положения: и в Ленинград нельзя не ехать, и завод нельзя оставить. Пошел к директору. Тот, конечно, не решался в столь горячую пору отпустить главного инженера и не знал, как помочь Сергею Матвеевичу. Во время их разговора позвонил из Москвы нарком авиационной промышленности Шахурин. После того как директор ответил на его вопросы, Сергей Матвеевич, отчаявшись, попросил трубку. Нарком, выслушав его просьбу, вначале удивился, а потом строго сказал:

«Сейчас нам дорог не только каждый день, а даже каждый час! Завод запускает в серийное производство новый мотор! А главный инженер будет отсутствовать? Это же преступление!..»

Сергей Матвеевич молча вышел из директорского кабинета и в приемной увидел Аиду. Она все поняла по его расстроенному виду и молча прошествовала к директору, а Сергей Матвеевич, ожесточившись, поспешил в цех — подальше от греха. Там его уже суматошно разыскивали, чтобы позвать к телефону. Звонил директор.

«Ладно, как-нибудь постараемся обойтись без тебя, — сумрачно сказал он. — Исчезай на неделю, но чтобы ни одна живая душа... Понял?..»

И на свою беду или счастье, пока неизвестно, отбыл Сергей Матвеевич в Ленинград, не чая, что ждет его там встреча со своей юностью, с Оленькой... с Ольгой Васильевной Чумаковой...

А ведь казалось, миновала вечность. Еще в двадцатом расстался с ней, своей невестой, уехав на фронт, а потом узнал, что Оля изменила данной ему клятве и вышла замуж за некоего Федьку Чумакова — молодого кавалерийского командира, «академика», способнейшего ученика Нила Игнатовича Романова. Вернувшись с фронта, Сергей зверем заметался по Москве, сжимая в кармане рукоятку нагана и сгорая от мстительного желания разыскать Олю и ее муженька, чтобы безжалостно порешить их на месте. Но Федор Чумаков уехал из академии на стажировку в какие-то далекие края и увез туда же свою молодую жену.

Долго и тяжко болел душой Сергей Романов. А когда обрел равновесие, то начал хлопотать о переводе из университета в инженерно-экономический институт, чтобы стать не преподавателем физики и математики, а инженером широкого профиля, как советовал ему премудрейший Нил Игнатович Романов.

Невыносимая обида на Ольгу, отравляющая сердце ревность и униженность как бы прибавили ему сил. Он учился с ожесточением, одновременно занимался в научном кружке изобретателей, поставив перед собой задачу сконструировать такой необыкновенный двигатель, чтобы этому двигателю удивился весь мир и чтобы слава о его создателе докатилась до Ольги...

Время и молодость — хорошие лекари от любовных потрясений. Да еще если появились студенческие заботы, новые друзья, если научный кружок в самом деле вывел на увлекательную дорогу технических поисков и если опять дрогнуло сердце от прикосновения новой любви: он встретил Аиду. И Сергею показалось, будто он в конце концов избавился от тяжкого недуга.

С тех пор отшумело много весен. Давно сложилась у него хорошая семья. И первая юношеская любовь, пылкая и трепетная, развеявшаяся во времени, вспоминалась Сергею Матвеевичу пусть с грустью и умиле-

нием, но все реже и реже. Об Ольге размышлял он со снисходительной иронией: почему-то думалось, что кочевая жизнь по далеким военным гарнизонам, постоянная бытовая неустроенность, заботы домохозяйки истомили ее, издергали, омещанили, отторгли от культуры, от прежних возвышенных интересов и Ольга стала теперь дебелой теткой — подурневшей, поглупевшей и еще черт знает какой. Во всяком случае, такое сложилось у него мнение, когда, приехав несколько лет назад в Москву в командировку и навестив Нила Игнатовича Романова, он почерпнул от Софьи Вениаминовны кое-какие скудные сведения о ее племяннице. Где-то в душе Сергея Матвеевича смутно таилось желание увидеть Ольгу, но рассудок подсказывал другое: лучше не встречаться, пусть в его памяти живет та далекая, словно из дивной сказки, милая, розовощекая девушка с темно-синими колдовскими глазами, ласковой, радостной улыбкой, куда-то все время летящей косой и таким по-особому нежным голосом, что, когда этот голос воскресал в его памяти, сердце заходилось. Да, пусть живет в нем ее милый, уже несколько расплывчатый образ и пусть живут радостные воспоминания о первой любви и первых страданиях. Ему было страшно, что все это тайное богатство его души может рассыпаться в прах, если он увидит Олю постаревшей и совсем-совсем иной...

И вот неожиданная встреча на Невском... Боже мой, он, кажется, проснулся от долгого, бесцветного сна и наконец возвратился в сверкающую красотой и манящую надеждами жизнь. Разумом не в силах был постигнуть случившегося, да в волнении и не мог углубиться в свои мысли. Он видел перед собой Олю, ту далекую, полузабытую Оленьку, ради которой когда-то готов был отказаться от отца и матери, от самого себя, готов был стать ее тенью, ее рабом, это была именно та самая его Оля, его невеста, только еще более красивая, расцветшая во всю силу женской привлекательности. С немым восторгом глядел он в ее радостные глаза, в ее вспыхнувшее румянцем самое прекрасное на свете лицо и ощущал, как в нем вскипает все прежнее, оказывается, никуда не девшееся, не погасшее.

А рядом стояла его жена и настороженно посматривала на незнакомку. Он представил Аиде Ольгу, назвав ее родственницей. И это было правдой: Оля доводилась родной племянницей жене Нила Игнатовича Романова.

Расстались с Ольгой, приняв ее приглашение прийти в воскресенье к ним в гости. С той минуты Сергей Матвеевич ни о чем больше не мог думать. Рассудок подсказывал, что проснувшаяся любовь оглупляет его. Понимал, что Ольга — не какая-нибудь пустая бабенка, да и он тоже не юноша, ему перевалило за сорок, и все-таки он был бессилен противиться чувственному влечению, только сейчас поняв, что тоска по Ольге все время дремала в нем, томила его все эти годы, а память стойко хранила в своих тайниках те далекие весну и лето, когда они познакомились и она стала его невестой... И почему-то ему верилось, что теперь все будет только так, как он пожелает и решит. Ведь не зря же возродилось в нем все прошлое и так яростно слилось с тем новым, что вспыхнуло и заполыхало... А как она, Ольга? Ведь не беспричинно лучились ее глаза, цвела улыбка и переливался лаской голос...

Было жутко и радостно. Боялся отвечать на встававшие перед ним вопросы. Нет, не отмщения он жаждал, не попранное самолюбие владело им — эти чувства давно в нем умерли. Сейчас он болел той тяжкой возвратной болезнью, которая в его возрасте без следа уже не проходит. И ни на что спасительное невозможно было надеяться, хотя во всех трудных случаях жизни Сергей Матвеевич всегда на что-то уповал. Впрочем, еще светила одна маленькая надежда, связанная с визитом в семью Ольги. Он полагал, что после знакомства с ее мужем генералом Чумако-

вым чувство мужской солидарности и долг элементарной порядочности, возможно, возьмут верх и подавят другие чувства. Но Федор Ксенофонтович неожиданно отбыл куда-то в Западную Белоруссию. Визит к Чумаковым не состоялся еще и потому, что в конце субботнего дня в номер гостиницы «Европейская», где остановилась семья Романовых, позвонила Ольга и сообщила прискорбную весть о смерти Нила Игнатовича Романова. В тот же вечер она с дочерью Ириной уезжала в Москву.

Сергей Матвеевич запечалился и, не кладя телефонной трубки, начал умолять Аиду поехать вместе с ним на похороны, прекрасно понимая, что она не сможет этого сделать из-за сына. В другое время он и сам не поехал бы хоронить столь далекого родственника, пусть и глубоко почитал генерала Романова, виднейшего представителя их фамилии. Но сейчас... И сам внутренне содрогнулся от того, что, услышав о смерти не чужого ведь человека, начал убиваться по нему все-таки с долей притворства, понимая, что представляется возможность какое-то время побыть рядом с Ольгой.

И Сергей Матвеевич, озадачив Аиду своей ранее не выказываемой привязанностью к покойному Нилу Игнатовичу, уехал на вокзал.

Когда сели в поезд, он, взглянув на опечаленную и подурневшую от слез Ольгу, почувствовал себя гадко. Было стыдно перед самим собой, перед оставленной в Ленинграде Аидой, которая искренне встревожилась переживаниями мужа и даже всплакнула, пряча в нагрудный кармашек его пиджака успокаивающие таблетки. Сидя в купе мягкого вагона напротив Ольги, он страшился мысли, что та вдруг догадается об истинной причине его поездки в Москву... И замкнулся, поугрюмел, терзаемый совестью и недобрыми предчувствиями. Не было разговора о прошлом, не донимали друг друга расспросами, хотя в купе они были только втроем. Дочь Ольги — Ирина, юная и красивая до неправдоподобия, — молча сидела у открытого окна и, размышляя о чем-то своем, немигающими глазами смотрела, как за вагоном наливалась синевой белая ночь.

Ольга горевала о покойном Ниле Игнатовиче и овдовевшей Софье Вениаминовне, вспоминая, как они когда-то заменили ей отца и мать. А Сергей Матвеевич все больше страдал от сгущавшегося в душе мрака. Утром, когда они вышли из вагона, Ольга заметила его потемневшее, осунувшееся за ночь лицо и, взяв под руку, с певучей лаской сказала, словно ребенку:

— Милый Сереженька, зачем ты так убиваешься?.. Ну что поделаешь? Нил Игнатович прожил дай бог нам столько!..

У Сергея Матвеевича от стыда навернулись слезы. И в то же время просквозившая в словах Ольги жалость к нему и сам ее голос, звучавший для него по-особому нежно, с новым непокорством взвихрили присмиревшую было страсть. Сергей Матвеевич обреченно подумал, что уже никакая сила не облагоразумит его. Он, казалось, был готов на любую глупость, на подлость, на подвиг, на самопожертвование. Даже во время похорон Нила Игнатовича он не мог отвести горевшие восторгом глаза от Ольги, от ее побледневшего, трогательно обрамленного черной газовой шалью лица. Веки ее были опущены, и лишь иногда она поднимала затуманенный печалью взгляд. А когда встречалась со взглядом Сергея Матвеевича, глаза ее чуть прояснялись, и он читал в них тихий укор. Она как бы старалась успокоить его, робко просила не смотреть на нее так, не страдать, не мучиться. Похоже, что Ольга стала догадываться...

На Ваганьковском кладбище она держала под руку старенькую и совсем дряхлую Софью Вениаминовну, которая, кажется, не понимала, где она и что происходит вокруг. Старушка потухшими глазами спокойно смотрела перед собой и словно пыталась что-то вспомнить.

Там, на кладбище, когда над свежим могильным холмом, обросшим венками из цветов, троекратно ударил ружейный салют красноармейского почетного караула, Сергей Матвеевич обратил внимание, что на похоронах не видно никого из большого военного начальства. Это удивило его и огорчило. Намерился было спросить об этом у румянолицего подполковника, который стоял подле Ирины, дочери Ольги, и часто приглаживал рукой смоляной чуб, прикрывавший розовую плешину, как вдруг услышал сзади разговор двух мужчин.

— Слухи, наверное, — неуверенно проговорил один.

— Нет, не слухи. — Другой голос звучал озабоченно. — Выступал по радио Молотов. Война!

— Война?! — Сергей Матвеевич всем телом резко повернулся к шептавшимся.

— Да, война, — спокойно отозвался румянолицый подполковник (это был Рукатов), деликатно отводя чуть в сторону Ирину, чтобы дать дорогу запоздалым венкам. Потом посмотрел на Сергея Матвеевича так, будто он один знал истину, и, надевая фуражку, пояснил: — Сегодня на рассвете напали немцы...

Страшная весть поначалу не ужаснула Сергея Матвеевича. Он устремился оживленной мыслью к западным границам и с усмешкой подумал о том, какую задали немцы работу Красной Армии на лето — придется колотить их и гнать до Берлина, а то и дальше... И шевельнулось тщеславное чувство: теперь новые авиамоторы на деле покажут свою живучесть; в них немалая доля и его труда!

Воспоминание о моторах холодной иглой пронзило грудь. Даже пот выступил на лбу: началась война, на заводе идет на поток новый двигатель бомбардировщика, а главный инженер где-то в бегах... Это же — трибунал!.. Надо срочно звонить директору.

На какое-то время Сергей Матвеевич потерял из виду Ольгу. А когда огляделся, увидел ее между Ириной и подполковником Рукатовым. Ольга беззвучно плакала, прикладывая к глазам платочек. Подошел к ней ближе и удрученно сказал:

— Оля, мне надо отлучиться. Война...

— Я знаю, — с трудом проговорила Ольга: всхлипы сдавливали ей горло. — Мой Федя, наверное, уже воюет...

Только тогда Сергей Матвеевич вспомнил, что генерал Чумаков уехал на границу... Посмотрел на заплаканную Ольгу долгим беспокойным взглядом.

— Я потом позвоню Софье Вениаминовне, — сказал он и затерялся в редеющей, вдруг заспешившей с кладбища толпе.

Он приехал в гостиницу «Москва», поднялся на пятый этаж, где находился большой трехкомнатный номер, постоянно абонируемый их авиационным предприятием для своих многочисленных представителей. Получил у дежурной по этажу ключ и прошел в пустые комнаты.

В кабинете он подсел к телефону и рядом с телефонным аппаратом увидел знакомый откидной блокнот для заметок. На открытой странице чьим-то косым, нервным почерком было написано: «Кто встретит главного инженера Романова С. М., передать ему, что он должен срочно явиться к наркому авиапромышленности т. Шахурину». И дата: «21 июня».

Не сразу дошло до сознания Сергея Матвеевича, что эта запись касается именно его. Еще раз перечитал написанное. А когда наконец понял, тревожно ворохнулось сердце: ведь, кроме Аиды, никто не знает, что он из Ленинграда поехал в Москву... Что случилось? Зачем он мог понадобиться наркому? Сообщили, может быть, о том, что он, Романов,

ослушался его приказа? И как все это связано с тем, что сегодня началась война?

В другое время при таком стечении обстоятельств он начал бы искать самое первое звено цепочки событий: позвонил бы Аиде, потом своему директору, а уж затем, с пониманием обстановки, явился бы пред грозные очи наркома. Но сейчас — война!.. Его недавние душевные муки, вновь вспыхнувшая любовь к Ольге — все это вдруг заметно померкло, отодвинулось в сторону, потому что грянула война, а он, главный инженер оборонного предприятия, оказался в такое время не на боевом посту.

Сергей Матвеевич придвинул к себе телефон и решительно набрал номер приемной наркома Шахурина, готовясь к трудным объяснениям и, быть может, к нелегким для себя последствиям. Но телефон приемной был занят — послышались частые гудки.

«А что, собственно, случилось?» — задал себе вопрос Сергей Матвеевич, положив трубку. Он словно увидел перед собой наркома — коренастого, плотного, с легкой улыбкой на чистом, округлом лице. Совсем недавно, когда Сергей Матвеевич докладывал на коллегии о готовности их предприятия к серийному производству нового двигателя для бомбардировщика, эта улыбка Алексея Ивановича Шахурина была особенно приветливой, какой-то вдохновенно-поощрительной, она, кажется, отсвечивалась и в его ясно-серых, почти голубых, глазах, всегда пытливых, требовательных и таящих в себе уверенное разумение дела, неуемность и твердость характера. А как сейчас встретит нарком? И он будто увидел, что улыбка Шахурина погасла, уступив место строгости, за которой просматривались все те же собранная энергичность и неприятие покоя.

Ну, пусть вопреки запрету он, Романов, отлучился. Так ведь дело-то оставил в надежных руках. Его заместитель хоть сейчас может стать главным, а именно такой наказ Шахурин и давал Сергею Матвеевичу, когда назначал его на этот пост: «Подготовишь себе там смену — вернем в Москву».

Быть может, в самом деле он вновь понадобился в Москве? Имя Сергея Романова широко известно в мире авиастроителей. Еще когда высота наркома и не грезилась Алексею Шахурину и когда он занимал пост начальника научно-исследовательского отдела Академии имени Жуковского, инженер Романов работал под его началом и среди заметных величин был не на последнем месте. Шахурин хорошо знает, как свободно и уверенно чувствует себя Романов в коварном и увлекающем безбрежье инженерии вообще и в моторостроении особенно, как умеет он зажигать соратников своей идеей и дерзко делать первые шаги в неизвестное.

Ведя мысленную полемику с наркомом и наливаясь раздражением, которое заметно гасило его тревоги, Сергей Матвеевич снова решительно потянулся к телефонному аппарату, но тут, словно обжегшись, испуганно отдернул руку, ибо в этот момент раздался пронзительный звонок.

Это звонила из Ленинграда Аида. Она, оказывается, уже была осведомлена о делах мужа: к ней, в номер гостиницы «Европейская», дозвонился директор завода и сказал, что Сергея Матвеевича срочно отзывают в распоряжение Наркомата авиапромышленности. Директор, узнав, что Сергей Матвеевич отбыл из Ленинграда в Москву на похороны профессора Романова, пообещал разыскать его по телефону и в столице. Теперь Аида уточняла, нашел ли директор Сергея Матвеевича, и настаивала на немедленном его приезде в Ленинград, чтобы скорее завершить устройство Пети в училище. Вот и все. И никаких иных сложностей.

Но куда же прочит его руководство наркомата?..

# 2

Через полчаса Романов уже был в управлении кадров. Там ему сказали, что коллегией наркомата он рекомендован на пост директора авиазавода, но какого — неизвестно: с началом войны обстановка резко усложнилась, и попасть в этот день на прием к наркому не представлялось возможным. Во всяком случае, по просьбе Сергея Матвеевича, ему позволили отлучиться на неделю из Москвы для устройства личных дел, при условии, что он каждый день будет звонить кадровику, который его курирует.

Сергей Матвеевич уезжал в Ленинград, даже не позвонив Ольге и не попрощавшись с ней. Чувствовал, что тиски, сжимавшие сердце, чуть-чуть ослабли: в Ленинграде он уладит дела Пети, потом с Аидой приедет в Москву и отсюда отправит ее домой, а Ольга тем временем уже уедет из Москвы. И на этом все оборвется. А там новые заботы и тяжкий каждодневный труд. В их кругах считается, что получить под свое начало авиационное предприятие — это равносильно быть причисленным к лику святых великомучеников, на которых благоговейно взирают все нижестоящие и с которых дерут семь шкур вышестоящие, контролирующие и получающие продукцию завода. Все зависит от того, хватит ли у директора сил и ума не только давать план, но и поставить дело таким образом, чтобы продукция завода, согласно конструкторской мысли, возносила авиаторов высоко, далеко и бережно сажала на землю, будучи могучей, выносливой и послушной. Если же из авиации начнут поступать жалобы, считай, что родился ты под самой несчастливой звездой: с тебя спросят на бюро обкома, на коллегии наркомата, в ЦК партии, в кабинете Сталина...

На второй день Сергей Матвеевич уже был в Ленинграде, начав обивать пороги военно-морского начальства, чтобы определить Петю. Все были заняты неотложными делами, связанными с войной, от Сергея Матвеевича отмахивались или раздраженно советовали обратиться в ближайший военкомат и записать сына добровольцем на фронт. Никакая предприимчивость Аиды не давала результатов. И вдруг, когда почти все надежды на успех растаяли, в их гостиничном номере раздался телефонный звонок. Трубку взяла Аида и услышала голос Ольги Васильевны Чумаковой.

— Приехали?! — обрадовалась Аида, вспомнив, что Ольга обещала через своего мужа помочь Пете определиться в училище.

— Приехала, справлюсь с делами — и опять в Москву. А где ваш бессовестный Сережа?

— Здесь.

— Как же ему не стыдно! Как вы, Аида, живете с таким неотесанным мужланом? После похорон Нила Игнатовича исчез — и как в воду канул!.. Ни звонка, ни привета. А мы ведь вслед за Нилом Игнатовичем похоронили и Софью Вениаминовну... Представляете, что я перенесла, как настрадалась, намучилась?.. Кого сейчас может тронуть смерть старушки, если там, у границы, идут такие бои!..

Положив трубку, Аида набросилась на Сергея Матвеевича:

— Как ты мог не пойти на поминки Нила Игнатовича?! Почему уехал из Москвы, не позвонив этой чудесной женщине? Почему не поинтересовался самочувствием Софьи Вениаминовны? Как тебе не стыдно! Как теперь посмотришь Ольге в глаза?!

Упреки жены Сергей Матвеевич выслушал довольно спокойно, соглашаясь с каждым ее словом.

Вскоре появилась и сама Ольга Васильевна, а с ней в гостиничные комнаты словно ворвались лучи утреннего солнца и бодрящая душу

свежесть. Любовно взглянув на Аиду, чмокнула ее в губы, стремительно прикоснулась щекой к щеке Сергея Матвеевича, пахнув на него нежным ароматом духов, потрепала рукой жесткий чуб Пети, задумчиво рассматривавшего у стола альбом с репродукциями картин Эрмитажа, и с ходу за дело:

— С Петей не получается?.. Получится! — Тут же подошла к телефону, села на краешек стула, как школьница.

Воркующим голосом кому-то доказывала, что война никого не освобождает от долга дружбы, кого-то мило просила, с кем-то чуть-чуть кокетничала, заговорщически подмигивая при этом Аиде, которая не отрывала от Ольги восхищенного взгляда.

А Сергей Матвеевич, уйдя в соседнюю комнату, со счастливой грустью смотрел в окно на зелень сквера, в котором, как он слышал, будет воздвигнут памятник Пушкину, и размышлял над тем, что ни гениальные поэты, ни великие ученые, ни знаменитые полководцы — никто не волен избавить себя от самого святого, бессмертного чувства на земле — любви. Он подумал и о том, что появление сейчас Ольги — это чуть ли не рок, указующий перст судьбы, не принявшей его решения принести в жертву грозному времени и долгу гражданина свою прилетевшую из юности любовь — нерастраченную, испытанную сомнениями разума и муками сердца.

Через несколько дней Петя, светясь от счастья, перекочевал в какое-то подразделение военно-морского училища, а они — Сергей Матвеевич, Аида и Ольга — в до отказа набитом вагоне уезжали в Москву. На троих удалось захватить одно место для сидения в купейном вагоне.

Ночь была напряженно-тревожной. На остановках да и во время движения поезда слышались ужасающие гулкие разрывы бомб, из окна временами было видно, как нервно полосовали небо светлые мечи прожекторов, как пронзали высь бегущие золотые строчки трассирующих пуль и взбухали колючие букеты разрывов зенитных снарядов. Но война из окна вагона пока еще воспринималась как нечто не совсем реальное.

После очередной остановки поезда, каких было немало, Ольга Васильевна позвала в купе Аиду, чтобы та села на ее место и отдохнула, а сама протиснулась в коридор и стала к окну. Сергей Матвеевич, ощутив прикосновение ее плеча и уловив знакомый запах духов, непроизвольно глубоко вздохнул, будто простонал. Услышав его вздох, Ольга еще теснее прижалась к нему плечом и с лаской сказала:

— Не надо, Сереженька, с такой безнадежностью. — В ее словах вместе с тем просквозила чуть уловимая ирония.

— А разве у меня может быть какая-нибудь надежда? — Не уловив иронической нотки, Сергей Матвеевич покосился на Ольгу и даже в потемках рассмотрел ее красивый, необычайно нежный профиль и огромные блестящие глаза.

Он ждал, что она ответит, но она напряженно молчала, как бы непроизвольно подчеркивая этим молчанием все звуки битком набитого ночного вагона. Чей-то старческий голос монотонно рассказывал о прошлой войне с немцами, кто-то о чем-то спорил, кто-то кашлял. Где-то заходился в плаче ребенок, стонала бабка. Кто-то протискивался мимо них, обдавая запахом табака и перегара. Им становилось то теснее, то свободнее, то жарче, то прохладнее. Эти голоса, эта давка как бы отгородили их от всего мира. Сергею Матвеевичу временами чудилось, будто и нет никого вокруг, только он и она, ее горячее плечо, ее трогательно-нежный профиль, ее умолкший, но звучащий в его сердце голос...

Правда, было невозможно совсем отгородиться от близкого постанывания бабки, как от живой человеческой боли, но вскоре и она исчезла: коридорная толчея втиснула старушку в открытую дверь купе, и Аида,

хоть и чувствовала разбитость и усталость в ногах, усадила ее на свое место, а сама протолкалась к окну, где стояли муж и Ольга.

Ни Ольга, ни Сергей Матвеевич не заметили возвращения Аиды. Оба молчали. Аида уже начала было забываться в дреме, как вдруг ее слуха коснулся грустный, с какой-то слишком обнаженной болью голос мужа:

— Неужели в тебе все умерло ко мне?

«О чем он?» — сбросив дрему, подумала Аида. И вдруг заговорила Ольга — чуть слышно, с необъяснимой горечью:

— Сережа, не надо об этом... Я тебя очень прошу...

Аида, кажется, перестала дышать, еще не мыслью, а чувством постигая далеко не простое значение услышанного.

Сергей тут же ответил Ольге:

— Я знаю, если скажу тебе все, что испытываю в эти дни, после встречи с тобой, ты начнешь твердить мне о долге, о порядочности, об обязанностях. Так ведь? — Он взглянул на Ольгу.

— Ты не ошибся, — суховато ответила Ольга. — Я даже больше скажу...

— А как же мне быть с тем немаловажным обстоятельством, что и я человек? Неужели у меня нет долга перед самим собой, перед своей судьбой, перед званием человека? Почему я не волен выполнить самую главную обязанность перед самим собой, а потом уже думать о долге и обязанностях перед другими?..

Аида почувствовала, как ее муж стал дышать глубже и чаще, в его голосе появилась знакомая ей хрипотца, и это значило, что близится высшая степень его волнения. А он тем временем продолжал:

— Почему я не должен поступать по велению моих чувств и обязан обрекать себя на жизнь без любви? — Сергей Матвеевич требовательно посмотрел на Ольгу.

Ольга молчала, устремив глаза в звездное небо над темным лесом, вплотную подступавшим к мчащемуся поезду. Сергей Матвеевич, кажется, потерял уже надежду, что она откликнется, и Аиде показалось, что Ольга не хотела продолжать разговор, как вдруг она заговорила:

— При желании все можно оправдать... Особенно если умеешь логически мыслить... Убийца и тот находит оправдание своим ужасным поступкам. — Ольга повернулась к Сергею Матвеевичу лицом и продолжала со сдерживаемым волнением: — Сережа, ведь если б не встретился мне Федя, я бы, наверное, вышла замуж за тебя. Клянусь, была бы верной тебе женой, но... может, все-таки по обязанности... Я только потом поняла, что мы с тобой играли в любовь, не зная, что это такое. Во всяком случае — я... А Федя воспламенил во мне истинное чувство, настоящее, ну... такое, о существовании которого я и не подозревала... — Ольга, наверное, заметила, как при этих словах губы Сергея Матвеевича будто превратились в каменную складку, и примолкла. Тут же потускневшим голосом спросила: — Может, не стоит об этом?.. Впрочем, ты должен знать, иначе не успокоишься... Так вот, дорогой мой, каждый человек к чему-то предназначен. Ты — к созданию каких-то машин, а я — к любви... Да-да, и это не пошло, не банально, ибо я имею в виду любовь только к единственному моему избраннику, к нему одному — со всеми его славными и дурными чертами, но присущими только ему одному, с его умом, с его добротой, бескорыстием, незлобивостью и еще с его трудной солдатской судьбой, которую он любит и ради которой живет, видя в этом свой главный долг человека, отдавая ей все самое сильное в себе, а мне оставляя свои слабости, как лекарке... И я счастлива, что нужна ему, что любовью своей врачую его боли и даю ему радость и силу...

Сергей Матвеевич не перебивал Ольгу да уже и не вникал в смысл напевного течения ее слов, улавливая в их сливающемся музыкальном звучании взволнованную и чистую искренность. Старался силой мысли сбросить навалившуюся на него огромной тяжестью тоску, подавить боль в груди и найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы пусть частично, но разрушить это великолепно построенное в ее воображении здание любви и верности.

Он не заметил, что Ольга умолкла, а когда опомнился, поймал себя на том, что не знает, как продолжать разговор. И произнес первое, пришедшее на ум:

— Ты сказала: все можно оправдать... вот и оправдала... Но почему же ты, Оля, при этих своих благороднейших принципах поглядываешь на мир далеко не ангельскими глазами? — Проговорил и ужаснулся своим словам, прозвучавшим гаденько и мелко.

— Ты хочешь сказать — поглядываю на мужчин? — Ольга, к его удивлению, не обиделась, а наоборот, оживилась. — И Федя на меня всегда злится за это... — Она нежно засмеялась, будто увидела перед собой своего ненаглядного Федю. — Ему я не сознавалась, а тебе могу... Конечно, в том, что ты вдруг растревожил в себе старое, и я немало виновата. Прости меня, Сережа, за это. Перед многими мужчинами, даже весьма солидными, так сказать, личностями, я была виновата... Но так ли уж сильно?! — Она прикоснулась рукой к его груди и снисходительно засмеялась. — Меня просто бесит и обижает самоуверенность и непостоянство иных мужиков! И каюсь, я не одного из таких самонадеянных индюков сводила с ума — будто нечаянным взглядом или безвинной улыбкой... Не ради забавы, поверь, а во имя веселой для меня мести за обманутых ими женщин, за их жен.

Если бы Сергей Матвеевич или Ольга в эту минуту оглянулись, то увидели бы, как, зажав платком рот, от окна, где они стояли, пробиралась Аида. Плечи ее сотрясались от рыданий.

Поезд замедлил ход и вскоре замер. Наступила та напряженная и сторожкая тишина, которая бывает только ночью в стоящем вагоне, когда слышен любой шорох и даже легкий вздох. Вот и сейчас послышались чьи-то сдавленные всхлипы, но в эти дни людской плач никого не удивлял, напоминая лишь о войне. Впрочем, война и сама напоминала о себе всполохами пожаров, кровянивших за окном край темного неба, грохотом далеких и близких бомбежек.

Вскоре поезд снова деловито татакал колесами, с шумом пронзая упругую и свежую сырость ночи. Сергей Матвеевич ощущал своим плечом теплое плечо Ольги и после услышанного от нее чувствовал себя так, словно не мог продышаться и наладить размеренный ритм толчков своего сердца. Хотел заговорить, но мешала горькая сухость во рту и в горле. Наконец решился и, наклонившись к Ольге, хрипло и горестно прошептал:

— Самое прекрасное в тебе — глаза и улыбку — ты превратила в орудие мести...

— Нет, — почти зло ответила Ольга. — Самое прекрасное в человеке — его ум и сердце.

— Ну хорошо, — примирительно сказал Сергей Матвеевич, — а за какие провинности ты мстишь мне?..

Ольга промолчала, потом тихо засмеялась и ответила не то в свое оправдание, не то в его осуждение:

— О тебе, признаться, я думала лучше... И не забыла о своей давней вине перед тобой. Поэтому не знала, как держаться, чтоб понять, простил ты меня или нет... Ну вот, а получилось плохо... Но разве сейчас до этого?

В Москву приехали в первой половине дня, когда над городом уже стоял давящий, душный зной. На Ленинградском вокзале, среди сутолоки и галдежа, прощались с Ольгой, заспешившей в свое новое пристанище — квартиру покойных стариков Романовых, где ее дожидалась дочь Ирина. Сергей Матвеевич был озадачен тем, как Аида, обливаясь слезами, ошалело целовала Ольгу, словно навечно расставалась с самым дорогим для нее человеком. А когда Ольга растворилась в толпе, Аида, к удивлению мужа, будто лишилась слуха и речи...

Сергей Матвеевич должен был отправить ее домой на Волгу. Переезжали на Павелецкий вокзал, добывали там через военного коменданта билет, а затем он усаживал ее в поезд, уходящий в сторону Саратова. Аида все молчала и хмурилась, а он, теряясь в тревожных догадках, делал вид, что не замечает ее дурного настроения. Попрощались будто и не холодно, но без слов. Он задержался у открытого окна вагона, напротив ее места в купе. Аида выглянула только тогда, когда поезд тронулся. Скорбно, одними губами улыбнулась, тая в невидящих глазах недвижную, какую-то гневную печаль, и сказала:

— Позвони мне, когда решатся твои дела. — Потом словно проснулась, кинулась к окну, и по ее щекам крупными горошинами потекли слезы.

Поезд набирал ход. Сергей Матвеевич, натыкаясь на провожающих, продолжал идти рядом с вагоном, вглядываясь с необъяснимым волнением в лицо жены.

Он мысленно видел ее потом все время, пока ехал с вокзала до гостиницы «Москва», чтобы в «заводском» номере побриться, сменить сорочку и отправиться в наркомат. И чем больше думал о странном и непривычном настроении Аиды, тем сильнее охватывало беспокойство.

В знакомом номере гостиницы никого не застал, но по чемоданам в передней и гостиной, по туалетным принадлежностям в ванной комнате понял, что людей тут битком. Сразу же позвонил в наркомат. Его звонку в управлении кадров обрадовались и попросили срочно перезвонить наркому Шахурину.

И вот долгожданный разговор.

— Дорогой Сергей Матвеевич, время, сам знаешь, какое, — энергично чеканя фразы, говорил в трубку нарком. — Мы представили тебя на директора сибирского филиала авиамоторного завода. Но сначала придется строить его и вести монтаж эвакуированного с запада оборудования. Согласия твоего не спрашиваю: это приказ. Война!..

— Понятно, Алексей Иванович.

— Не сегодня-завтра состоится решение Политбюро по этому поводу. Так что никуда не исчезай. — И нарком положил трубку.

Ну что ж, рано или поздно Сергей Матвеевич ждал подобного назначения. Но в каком месте Сибири будет этот завод? По телефону на такой вопрос не ответят.

Он будто увидел, как на необъятном пространстве начинают вырастать корпуса цехов завода... И вдруг это мимолетное видение вытеснила вновь встревожившая мысль: «Ольга! Это Ольга что-то успела сказать Аиде по бабьей слабости! Но что и зачем?!» Почувствовав, как размеренными толчками застучала в висках кровь, начал резкими поворотами диска на телефонном аппарате набирать знакомый номер.

Откликнулась Ирина. Голос ее прозвучал не то с унынием, не то с какой-то отрешенностью:

— Вас слушают...

— Ирочка, здравствуйте! Это Сергей Матвеевич! Почему вы такая грустная?..

— Да так... Есть причина...

— Понимаю и не спрашиваю. Можно Ольгу Васильевну?

Ирина почему-то тяжело задышала в трубку, затем после томительной паузы приглушенно сказала:

— Сергей Матвеевич, а нельзя попозже? Маме сейчас очень плохо.

— Что случилось?! Заболела?!

— Нет... Наш отец, говорят, попал... в плен... к немцам. — Затем послышался плач Ирины, который тут же утонул в частых гудках.

Чудовищно!.. Сергей Матвеевич, столько размышляя об Ольге, ни разу в эти дни не подумал о том, что с генералом Чумаковым может случиться там, на фронте, непоправимое...

Да, всякое происходит на белом свете. Иногда в житейском море человека застигает столь неожиданный ураган страстей и обстоятельств, что порой надо быть немного сумасшедшим, чтобы выбраться из него. Сергей Матвеевич Романов помнил эту несуразность еще со студенческих времен, но полагал, что она может касаться кого угодно, только не его. В эти дни Сергей Матвеевич чувствовал себя особенно скверно. Будто проснулся в дурманящих сумерках и не знал, что грядет после них — утро и радостное сияние дня или холодящий душу мрак ночи. Корил себя, что в такое время, когда идет война, в его сердце находится место для столь личного и далекого от того, чем живут сейчас все.

Из номера он отлучался только для того, чтобы спуститься на первый этаж и купить в вестибюле свежие газеты с сообщениями о событиях на фронтах. Ждал с напряженным нетерпением звонка из наркомата и подсознательно — от Ольги.

## 3

Война пожирала человеческие жизни, рушила судьбы, рождала небывалую сумятицу в душах, сеяла страх, меняла лик всего сущего. Боль и ненависть слились воедино... Но глубина страданий не поддается измерениям... Муки матери, потерявшей детей, тоска умирающего юноши, подкошенного пулей, трагедия командира, на глазах которого погибла его семья и гибнут его солдаты... Не объять все это мыслью и чувством... А как поведать о смятении полка, дивизии, корпуса — тысяч и тысяч людей, ошеломленных внезапным нападением, бомбежками, ураганами артиллерийского огня, растерянных, но не сломленных, зарывшихся в землю и с зубовным скрежетом встречающих накат очередной лавины немецких танков? И у всех одна мысль: остановить врага, выстоять, а если и расстаться с жизнью, то прежде успеть узнать, как держатся товарищи слева и справа, развернулись ли войска в тылу? И как там, в Москве, в Кремле?.. Известно ли Сталину, что случилось и как все происходит?..

Да, о Москве и Кремле думали в те дни с тревогой, болью, надеждой и верой.

А как он?.. О чем думал в эти трагические дни Сталин?

Многие, кто встречался тогда со Сталиным, видели, что он, ни на минуту не отстраняясь от внезапно навалившейся уймы вопящих о своей суровой неотложности дел, с упорством размышлял над причинами всего случившегося. Об этом свидетельствовали и его упреки в адрес военных руководителей. Никак не мог понять он, как случилось, что несколько драгоценных часов, отделявших субботний вечер 21 июня — момент подписания директивы Главного командования о приведении в боевое состояние войск прикрытия — от момента начала войны 22 июня, не были использованы для немедленного поднятия всех сухопутных, авиационных и противовоздушных частей по боевой тревоге. Москва знала о грозящей опасности, командование приграничных соединений тоже ведь не было слепым... А вот же случилось... Пока шифровали директиву в Генштабе,

передавали ее по телеграфу в округа, пока там ее расшифровывали, все, кто имел власть скомандовать армиям «В ружье!», теряли драгоценное время.

Но что могли изменить эти несколько часов? Не очень многое, тем более что и сама директива Главного командования предписывала войскам всего лишь скрытно занять вдоль государственной границы огневые точки укрепленных районов, а авиации рассредоточиться и замаскироваться на полевых аэродромах. Штабы согласно этой директиве еще не получили права в полном объеме ввести в действие план прикрытия.

А если б и получили? Ведь сколько надо было времени, чтобы разбросанные по всей территории приграничных округов войска вывести на исходные позиции, развернуть и построить для боя?!

Застать войска врасплох — наполовину выиграть сражение... Немцам представилась возможность всеми силами напасть на первый эшелон наших армий прикрытия, не приведенных в боевое состояние, потом во встречных боях обрушиться на начавшие марш вторые эшелоны этих армий, а затем вступить в сражение с войсками вторых эшелонов округов.

Всю сложность оперативной обстановки, решавшей судьбу первого стратегического эшелона советских войск, Главное командование понимало еще смутно, постигая ее в большей мере интуитивно. Но, несмотря на то что клубок грозных событий стремительно наматывался и нельзя было взять в руки его изначальные нити, Сталин уже понял, что напрасна была его надежда хоть на время сдержать фашистского диктатора, пока Красная Армия коренным образом перевооружается, приходила ему мысль и о том, что советская военная теория серьезно не занималась проблемами крупных оборонительных сражений.

Во многих исследованиях и документах утверждалось, что первые операции начального периода войны хотя и могут проводиться крупными группировками войск, однако они еще не явятся решающими операциями со вступлением в действие основной массы вооруженных сил...

Полагая согласно теоретическим постулатам, что главные силы агрессора могут развернуться и вступить в бой не раньше чем через две недели после начала приграничных сражений, советское Главное командование соответственно и строило планы обороны страны. На еще более неверном базисе строило свои планы немецкое командование: развернув крупнейшие военные группировки в один стратегический эшелон, оно надеялось в несколько дней перемолоть силы советских войск первого стратегического эшелона и открыть пути для беспрепятственного продвижения к Ленинграду, Москве и в Донбасс.

Двадцать шестого июня утром Молотов пришел в кабинет Сталина и принес выработанные Наркоматом иностранных дел СССР проекты документов, связанных с первыми шагами Советского правительства по укреплению контактов со странами, против которых воюет Германия. Среди них — предложение правительству Великобритании заключить союз в борьбе против фашистской Германии и проект Соглашения о совместных действиях.

Сталин сидел за столом утомленный, с потемневшим от бессонных ночей лицом. Перед ним стоял недопитый стакан чаю, в котором плавала долька лимона.

— Чрезвычайного ничего?.. — спросил он, вскинув на Молотова ожидающе воспаленные глаза.

— От нас мир непрерывно ждет чрезвычайного, — невесело ответил Молотов, положив перед Сталиным папку с документами и раскрыв ее.—

Завтра возвращается в Москву английский посол Стаффорд Криппс и с ним приезжает военно-экономическая миссия. Вполне возможно, что у англичан пока нет конкретных предложений о создании военного союза. Придется начинать нам хотя бы вот с таких предварительных шагов.

Сталин, не поднимая глаз, придвинул к себе документы и начал читать. Они были изложены кратко и четко.

— И когда мы сможем сесть с англичанами за один стол? — Сталин исправил синим карандашом какое-то слово и закрыл папку. Взяв стакан, отхлебнул из него.

— Многое зависит от того, какие полномочия дал Черчилль своему послу, — ответил Молотов. — Ведь англичане могли бы уже предложить нам союз... Выжидают. Наблюдают за развитием событий на фронтах... Во всяком случае, пока ты как глава Советского правительства во всеуслышание не скажешь своего слова, не дашь оценку нашему положению, каналы дипломатических общений будут действовать не так, как нам надо в этих условиях.

Сталин задумался, вздохнул, затем с легкой досадой сказал:

— Все как сговорились: торопят меня с выступлением... Но надо сначала если не овладеть ситуацией, то, во всяком случае, досконально разобраться в ней!.. События на фронтах нарастают столь стремительно, что изменить положение мы можем только своими собственными силами. Никакой самый реальный союзник, окажись сейчас такой, не успеет прийти нам на помощь. А вот если Черчилль подпишет обязательство, — Сталин постучал указательным пальцем по папке с документами, — не вести за нашей спиной переговоров с Гитлером и не заключать с ним ни перемирия, ни мирного договора — это будет весьма значимо.

— Тут наша дипломатия должна опереться и на твой авторитет, — с чувством неловкости сказал Молотов, опасаясь, что его фраза прозвучит как комплимент, склонности к которым у него никогда не было.

— Какой авторитет?! — воскликнул Сталин. — Откуда ты взял, что Сталин пользуется у капиталистов авторитетом?!

— Ну, может, «авторитет» не то слово, — с улыбкой ответил Молотов, догадавшись, что раздражение Сталина напускное. — Однако известно, что Черчилль и Рузвельт к твоему голосу прислушиваются довольно внимательно. Когда Гитлер осенью прошлого года навязывал нашей делегации переговоры о разделе сфер влияния, нетрудно было уловить, что он учитывал и это. Тебе не хуже меня известно: главы правительств многое знают о достоинствах и недостатках друг друга. На особом счету у них популярность лидера у своего народа и, между прочим, у лидеров других стран.

— Ты полагаешь, что Черчилль ждет моего слова?

— Это само собой разумеется. — Молотов развел руками. — Но еще надо учесть, что буржуазная пресса, пользуясь молчанием нашего правительства, активно вводит свои народы в заблуждение. Клевета льется потоками. Многие уже хоронят нас, правда, без траурной музыки. — Молотов открыл еще одну папку, которую держал в руке, взял из нее газету на английском языке с подколотым текстом перевода и протянул Сталину: — Вот полюбуйся на образчик их работы, один из множества.

В газете под крикливым заголовком была напечатана статья об окончательном разгроме Красной Армии и помещена карикатура, под которой стояла подпись: «Кремлевские заправилы удирают в Сибирь». На рисунке — Сталин, Молотов и Тимошенко, изображенные в прыжке через Уральский хребет; все со шпорами на голых пятках, с болтающимися на боку кривыми саблями, в заплатанных галифе и буденовках.

Увидев карикатуру, Сталин коротко хмыкнул и тут же погасил под усами улыбку. Но его серое от бессонных ночей лицо будто чуть посвет-

лело. Внимательно рассматривал рисунок, на котором он выглядел даже при скорчившейся в броске фигуре долговязым, а Молотов и Тимошенко — низкорослыми, с кривыми ногами.

— Ужас! — Сталин усмехнулся одними глазами. — Если б этот живописец знал, что я ростом гораздо ниже Тимошенко, он бы изобразил меня бог знает как!..

— Тут мы все великаны. — Молотов засмеялся. — В соотношении с Уральским хребтом.

— Ну что ж. — Сталин отодвинул от себя газету и хлопнул по ней рукой. — Они отрабатывают свой хлеб. Но даже не подозревают, что, напомнив своим читателям о наличии у нас за Уральским хребтом пространств более обширных, чем вся Европа, заставят многих из них задуматься: что это за держава — Советский Союз и на кого Гитлер поднял руку? География ведь имеет прямое отношение к большой политике, военной стратегии и судьбам мира. — Сталин снова придвинул к себе газету, посмотрел на карикатуру и засмеялся, казалось, с удовольствием. Потом серьезно промолвил: — Этим борзописцам стоило бы лучше подумать, куда будет удирать Гитлер со своей бандой, когда Красная Армия пожалует в Берлин.

— К сожалению, мы пока не даем буржуазной прессе повода для таких размышлений, — с тенью горечи заметил Молотов. — Пока они тешатся нашими трудностями.

— Пусть потешатся. Тем горше будет похмелье...

— Но при нынешней ситуации в наших международных делах наметилось много мертвых точек.

— У тебя целый наркомат, штаты дипломатов... Обязаны справиться.

Воцарилось молчание. В тишине звякнула ложечка о стакан, который Сталин, вставая из-за стола, переставил на другое место. Он прошелся по кабинету, раскурил на ходу трубку, затем приблизился к Молотову и, словно жалуясь на кого-то, глухо, с усилившимся грузинским акцентом заговорил:

— Значит, Черчилль ждет моего слова... Но что сейчас может сказать Сталин? Никакие мои слова, пока мы не остановили германские войска, не произведут серьезного впечатления на мировое общественное мнение.

— Нужна программа и хотя бы доказательное размышление вслух о нашем военно-экономическом потенциале. — Молотов снял пенсне и, достав из кармана сверкнувший белизной платок, начал протирать им стекла. — Капиталисты тоже считаются с реальными фактами. А наши ресурсы, боевое настроение нашего народа — вещь более чем реальная.

— Необходимо еще взвесить, стоит ли раскрывать наши возможности... А если стоит, то в какой мере... — Сталин устремил на Молотова вопрошающий взгляд. — Мне другое не дает покоя: что думают о нас сейчас там, на фронте?.. И что народ думает?.. — Глаза его вспыхнули золотистым блеском. — Ругают Сталина?..

— Боюсь, что ругают. Но все-таки верят и ждут, что же ты скажешь...

— Надо разобраться... Разобраться не только с точки зрения наших задач. Фашизм — это угроза всему человечеству. — Сталин, прохаживаясь по кабинету, говорил тихо и медленно, будто убеждал сам себя. — Надо измерить всю глубину опасности, реальнее ощутить силу Германии, взвесить наши силы и сказать на весь мир правду. — Он остановился перед Молотовым и продолжил: — Но ты прав, что немедленно нужна четкая программа, нужно весомое слово правительства. Поэтому надо принять на Политбюро директиву Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета партии. Она и должна явиться ближайшей программой дей-

ствия для партийных и советских органов, но пока только прифронтовых областей. Ее лейтмотив — все для фронта, для победы над агрессором! Надо прямо сказать в директиве, что речь идет о судьбе нашего народа, о судьбе Советского государства...

Из Москвы в первые дни войны трудно было увидеть положение на фронтах таким, каким оно являлось на самом деле. Война пахала яростно, глубоко и на огромнейшем пространстве; ее явные и тайные лемеха крушили все живое и служившее для живого, крушили везде, куда простиралось их страшное и беспощадное усердие. С ходу были перепаханы и перестали пульсировать в прежнем ритме важные каналы — большие и малые, несшие в вышестоящие штабы необходимую иформацию, а обратно — приказы и распоряжения. Посланные на командные пункты фронтов высокопоставленные и авторитетные в стране и вооруженных силах представители Ставки пусть и оказали там определенную помощь, но существенно повлиять на развитие событий не имели возможности, особенно там, где командование фронтов потеряло управление армиями, как это случилось, например, на Западном направлении.

Естественно, что и в Кремле атмосфера делалась все тревожнее. Какие бы вопросы ни решались на Политбюро, в Совнаркоме, Президиуме Верховного Совета, неизменно перед всеми стоял главный вопрос: что делается в приграничных областях, удастся ли нашим войскам сдержать натиск германских армий, соответствуют ли принимаемые меры складывающейся обстановке? Руководители партии и государства знали: эти тревоги холодными волнами раскатывались и по всем широтам страны.

Мыслями о невиданном вторжении и его неведомых последствиях томились также аккредитованные в Москве дипломатические представительства, испытывая в связи с военным положением изрядные затруднения в сборе информации для своих правительств. Планета с трепетным вниманием прислушивалась ко всему, что имело хоть малейшее отношение к развернувшейся смертельной схватке.

И советская дипломатическая служба в это трудное время обязана была наиболее полно информировать Политбюро ЦК о реакции правительств и общественности других государств на вспыхнувшую войну, иначе невозможно было определять первоочередные задачи СССР на международной арене. А донесения советских послов стали приходить с запозданиями. Поэтому Наркоматом иностранных дел принимались самые, казалось, неожиданные меры, чтобы Советское правительство не чувствовало себя на международной арене с завязанными глазами...

В эти дни в кабинете наркома иностранных дел или его заместителей побывали главы дипломатических представительств многих стран.

Двадцать четвертого июня, спустя день после речи Черчилля, поступило Заявление президента США Франклина Рузвельта о поддержке Советского Союза в войне с фашистской Германией. На следующий день провозгласило свой нейтралитет правительство Турции, а затем — правительство Ирана.

Буржуазная пресса и радио всего мира кипели страстями. Трубно возвещались ошеломляющие сведения о положении на советско-германском фронте, предсказывались варианты исхода войны и будущего советских республик, строились нелепые догадки о деятельности в эти суровые дни Советского правительства. Многим политикам мира капитализма мнилось, что близкий крах СССР неминуем. Раздавались и трезвые голоса, но их заглушали злобствования, клевета, кликушество. Со злорадством осмеивался договор СССР с Германией, заключенный в 1939 году,

несмотря на то что это был документ об отказе от агрессии, о мире между двумя государствами; к тому же Советский Союз последним обменялся с Германией обязательствами о ненападении, ибо англо-германская декларация от 30 сентября и франко-германская от 6 декабря 1938 года тоже были не чем иным, как пактами о ненападении.

И сквозило между строк буржуазных газет жаркое нетерпение услышать, что скажет о сложившейся ситуации Сталин, чем оправдает он и как объяснит горькие неудачи Красной Армии, которые к тому же непомерно преувеличивались буржуазными «пророками».

## 4

Сталин подошел к открытому окну, выдохнул облако табачного дыма. Было заметно, что его мучили и другие неясности: обычно он не затягивался глубоко, а, подержав дым во рту и ощутив его приятную горечь, тут же выдыхал. Но если волновался или сердился, в нем просыпалась когда-то укрощенная привычка молодости, и он вдыхал дым глубоко, в легкие.

Молотов, видя, что Сталин забылся в размышлениях, поднялся, чтобы уйти.

— Подожди, — сказал Сталин, не поворачиваясь. — Сейчас придут военные с докладом. Послушаем вместе.

Молотов прошелся по кабинету и задержался у соседнего окна. Молчали. За долгие годы совместной работы они узнали друг друга настолько хорошо, что молчание одного из них не смущало другого. Они могли молчать долго, каждый отдаваясь своим мыслям.

Сейчас, когда ожидался приход руководителей Наркомата обороны, Сталин, конечно, размышлял о положении на фронтах, стараясь по давно выработанной привычке точно определить, что до сих пор делалось правильно, а что нет. Ведь шел только пятый день войны, а враг сумел достичь многого. Очень горько было сознавать, что в первые дни после вторжения фашистов Генеральному штабу Красной Армии никак не удавалось составить близкую к истине картину событий в приграничных зонах. Поступали отрывочные, подчас случайные, противоречивые и даже провокационные сведения. Но к концу первого дня войны определилась безусловная, хотя и потерявшая значение истина: излишне было осторожничать и делать в той утренней директиве наркома обороны уточнение, запрещавшее нашим войскам при контратаке переходить государственную границу, а артиллерии — вести огонь по чужой территории. Сталин вспомнил об этом сделанном им уточнении, когда вечером первого дня войны читал проект очередной директивы наркома. В ней уже требовалось от советских войск перейти на главных направлениях в контрнаступление, разгромить ударные группировки врага и перенести боевые действия на его территорию.

...В современных войнах самые первые решения о действиях армий чаще всего определяются заранее разработанными вариантами планов генеральных штабов. Из подобного плана исходил в первый день Отечественной войны и нарком обороны СССР маршал Тимошенко, изучив разведдонесения фронтов и придя к выводу, что гитлеровская армия более всего угрожает двумя главными группировками: на Западном фронте группировкой, наносящей удар в районе Сувалок севернее Гродно, и на Юго-Западном — атакующей со стороны Люблина. На основании такого заключения и при наличии сведений о варшавско-брестской группировке врага была составлена директива войскам — по схеме плана обороны границы. Северо-Западному фронту приказывалось контрударом из района

Каунаса вонзиться во фланг сувалкинской группировке немцев и к исходу 24 июня уничтожить ее во взаимодействии с Западным фронтом, которому, в свою очередь, предписывалось, сдерживая противника на варшавском направлении, с юга нанести механизированными корпусами и бомбардировочной авиацией удар в тыл и фланг вражеским силам, скопившимся на сувалкинском выступе, и к исходу 24 июня овладеть районом Сувалок на оккупированной немцами польской территории.

В основу же замысла действий Юго-Западного фронта была положена система концентрических ударов двумя армиями, несколькими механизированными корпусами и всей фронтовой авиацией по группировке противника, наступавшей на фронте Владимир-Волынский — Крыстынополь, с задачей разгромить ее, перенести боевые действия через границу и к исходу 24 июня овладеть районом Люблина.

Все выглядело в этом боевом приказе разумно и внушительно. Но что-то настораживало Сталина, когда он вчитывался в него. Это был первый день войны. Подняв глаза на маршала Тимошенко, принесшего директиву на согласование, Сталин тогда сказал:

— Вы говорили утром, что командующие фронтами товарищи Кузнецов и Павлов, не доложив вам, уехали в войска. И до сих пор вы не знаете, где они?

— Сегодня связь будет установлена, товарищ Сталин.

— Допустим. — Сталин кивнул. — А вы уверены, что штабы фронтов уже наладили прочную связь с армиями и корпусами? Что, например, происходит в районе Белостока?

Тимошенко после мучительного молчания ответил, что никакими сведениями, дающими повод для серьезного беспокойства, Генштаб пока не располагает.

Между девятью и десятью часами вечера Главный Военный совет директиву одобрил, и она за подписями наркома обороны Тимошенко, члена Главного Военного совета и секретаря ЦК ВКП(б) Маленкова и начальника Генерального штаба Жукова, хотя последний в это время находился на Юго-Западном фронте, была отправлена в войска. А вскоре поступила вечерняя оперативная сводка Генерального штаба. Сталин тут же вслух прочитал ее присутствующим членам Политбюро:

— «Германские регулярные войска в течение 22 июня вели бои с погранчастями СССР, имея незначительный успех на отдельных направлениях. Во второй половине дня, с подходом передовых частей полевых войск Красной Армии, атаки немецких войск на преобладающем протяжении нашей границы отбиты с потерями для противника...»

Размышляя над непостижимостью событий, Сталин подумал о том, что если немцам действительно не удалось в первый день вторжения добиться серьезных успехов, то тем более надо упредить перегруппировку их сил и ввод резервов, надо, не теряя времени, ответить на удар пусть не тройным, но мощным ударом! Значит, последняя директива нашим войскам несомненно правильна, тем более что она исходила из тщательно разработанного Генштабом плана прикрытия, который так и предусматривал: прорвавшегося противника уничтожить силами механизированных корпусов и ударами бомбардировщиков...

А позже, в тот же вечер, Политбюро ЦК ВКП(б) формировало Ставку Главного командования, упраздняя Главный Военный совет. Тимошенко и Жуков в представленном утром проекте постановления о создании Ставки предложили, чтобы Главнокомандующим Советскими Вооруженными Силами был назначен Сталин. Члены Политбюро поддержали это предложение, учитывая, что без ведома Сталина нарком Тимошенко все равно не отдавал войскам приказов оперативно-стратегического порядка. Но Сталин имел свою точку зрения на этот счет.

— Я против того, чтобы сейчас Сталина назначать Главкомом,— сказал он о себе в третьем лице. Свое заявление не мотивировал.

Ставка Главного командования под председательством народного комиссара обороны С. К. Тимошенко начала функционировать 23 июня 1941 года. Пройдет несколько дней, и она с горечью начнет убеждаться, что приказ о контрнаступлении наших войск как попытка ввести в действие план прикрытия не был результатом подлинного знания обстановки. А со временем станет ясным, что, например, Юго-Западный фронт мог достигнуть бо́льшего, если бы упорными боями сдерживал продвижение ударных группировок противника, а силами стрелковых и механизированных корпусов, составлявших второй эшелон, занял прочную оборону в глубине полосы действий фронта по линии укрепленных районов, прикрывавших старую границу.

Случилось же все по-иному, однако в рамках законов войны: если одна воюющая сторона, пусть без учета реальной обстановки, напрягает усилия, которые хоть в какой-то мере содержат в себе зерно разумного, для другой воюющей стороны эти усилия оборачиваются неуспехом. Немцы еще не знали таких потерь во второй мировой войне, какие они понесли от наших контрударов. Приказ о контрнаступлении явился организующим началом крупнейшего приграничного сражения в районах Дубно, Клевань, Берестечко, Луцк, Ровно. Совершив маневр механизированными корпусами, командование Юго-Западного фронта обрушило на прорвавшиеся войска противника мощные удары. Тяжелые потери понесли немцы при столкновении с советскими частями, занимавшими Рава-Русский и Перемышльский укрепленные районы. Враг так и не сумел в первые дни войны развить достигнутый им здесь тактический успех в оперативный прорыв. И только последовавший затем ввод резервов позволил немцам изменить обстановку в свою пользу.

Особенно угрожающе складывались события на Западном фронте. Механизированные корпуса генералов Мостовенко, Хацкилевича и Чумакова несколько дней вели тяжкие, кровопролитные бои, пытаясь сдержать противника, прорвавшегося с сувалкинского выступа, но затем вынуждены были начать отход. В полосах действий других армий противник тоже глубоко вклинился в нашу территорию. Над войсками фронта нависла угроза со стороны Вильнюса, но командование пока о ней не подозревало.

Да, было над чем поразмыслить Сталину.

Молчание затянулось, и Молотов, зная, что в рабочем кабинете его ждут безотлагательные дела, с нетерпением посмотрел на часы. В это время в дверях появился Поскребышев. Сталин повелительно кивнул ему. Поскребышев исчез, и тут же в кабинет вошли маршал Тимошенко и генерал-лейтенант Ватутин — первый заместитель начальника Генерального штаба. Они поздоровались, слегка прищелкнув каблуками сапог, и стали развертывать на зеленом сукне длинного стола большую топографическую карту с нанесенной сводной оперативной обстановкой. Лица Тимошенко и Ватутина казались сухими и резкими от усталости и бессонных ночей, а сквозь замкнутость и притушенность их воспаленных глаз проглядывала внутренняя напряженность.

— Разрешите докладывать, товарищ Сталин? — спросил Тимошенко, выпрямившись у стола во весь свой большой рост.

Сталин ничего не ответил, впившись глазами в полосу Западного фронта оперативной карты, где жирные синие стрелы пронзали пространство от Вильнюса почти до Минска и от Бреста, через Барановичи, тоже к Минску. Лицо его сделалось землисто-серым, четче обозначились побледневшие оспинки. Молча постояв над картой, Сталин вернулся к

своему рабочему столу, взял незажженную трубку, сунул ее в рот и замер.

Только вчера Ставка Главного командования приказала отвести войска 3-й и 10-й армий Западного фронта на рубеж, простершийся от Лиды, через Слоним на Пинск. И вдруг немцы уже оставили этот рубеж далеко позади себя. А когда вчера же принимали решение о создании стратегического фронта обороны по рубежу Западной Двины и Днепра, Сталин, не возражая против директивы, все-таки надеялся, что немцы захлебнутся там, западнее Минска.

— Разрешите докладывать, товарищ Сталин? — каким-то потухшим голосом снова спросил Тимошенко, мучительно глядя в его сгорбившуюся спину.

— Что же докладывать, — очень тихо и сдержанно сказал Сталин, невидящими глазами посмотрев в лицо Молотову. — Что они будут докладывать?.. — Сталин подошел к Тимошенко и Ватутину, поочередно пытливо посмотрел им в лица и глухо спросил: — Значит, Минск под непосредственной угрозой?

— Да, товарищ Сталин, — вдруг охрипшим голосом ответил Тимошенко. — Танковые группы противника, пользуясь своим численным превосходством и хорошим обеспечением с воздуха, глубоко охватили фланги войск Западного фронта, несмотря на тяжелые потери, которые мы нанесли немцам под Гродно, Лидой и во многих местах на барановичском направлении.

— Что же происходит? — Сталин, будто не вникнув в слова наркома обороны, снова повернулся к карте. — Только вчера вы усилили Четвертую армию Коробкова двумя корпусами... Какие результаты?!

— Товарищ Сталин, командование Западного фронта весьма активно маневрирует резервами. — Это заговорил, сдерживая волнение, генерал Ватутин. — Противнику нанесен колоссальный урон! Но Павлов и его штаб допустили ряд просчетов. В первый день войны связь со штабами армий была нарушена. Павлов, естественно, и мы не знали, что делается на левом крыле фронта. А там немцам удалось прорваться и в течение дня продвинуть свои танки на шестьдесят километров... Павлов же принимал меры только по ликвидации прорыва на правом крыле... И допущена еще одна — главная — ошибка при вскрытии оперативного замысла немецкого командования. — Ватутин повернулся к карте. — Свои контрмеры Павлов строил исходя из того, что противник концентрическими ударами со стороны Бреста и Сувалок постарается в районе Лиды замкнуть кольцо вокруг войск фронта. И просмотрел крупную танковую группу, которая вклинилась между Западным и Северо-Западным фронтами.

— Эта группа и прорвалась со стороны Вильнюса к Минску, — пояснил Тимошенко. — Вчера мы пытались остановить продвижение ее колонн ударами с воздуха силами двенадцатой бомбардировочной дивизии. Нанесли урон, но не остановили. Теперь я надеюсь, что немцы разобьют лоб о Минский и Слуцкий укрепленные районы. — Тимошенко притронулся к начертанным в центре карты красным карандашом двум продолговатым овалам. — Мы приняли меры по их усилению. Вступает в дело Тринадцатая армия.

— А что происходит в районах Белостока, Волковыска, Кобрина? — Сталин отвернулся от стола, словно выразил недовольство, что карта ничего ему больше не говорила. — Вы полагали, что немцы замкнут кольцо у Лиды, а они могут замкнуть его восточнее Минска! Это же сколько дивизий в западне!.. Что сообщают штабы армий?

— У Павлова нет с ними постоянной связи, — ответил Тимошенко, тая в сдвинутых бровях и пасмурном взгляде боль и горечь. — Он поте-

рял управление войсками и не успел принять мер к спасению белостокской группировки.

— С вашего Павлова надо строго спросить! — Сталин впервые повысил голос. — За неделю до войны он заверял меня по телефону, что лично выезжал на границу, никакого скопления немецких войск там не обнаружил, а слухи о войне назвал провокационными! И ссылался на свою разведку, которая, по его утверждению, работает хорошо!.. — Умолкнув, Сталин, может, подумал о том, что в ряду других поступивших сведений о грозящей опасности заверения Павлова не имели большого веса, поэтому свои разгневанные мысли устремил на другое: — Почему молчат Шапошников и Кулик?! Мы их послали на Западный фронт не как сторонних наблюдателей.

— Маршал Шапошников заболел, а Кулик уехал в Десятую армию, и сведений о нем нет... — Затем Тимошенко, видя, что Сталин больше не задает вопросов, начал докладывать о положении на других фронтах и о подготовленных им директивах...

Нет, наверное, мучительнее чувства для человека, сосредоточившего в своих руках огромную власть, чем ощущение невозможности разумно и безотлагательно употребить эту власть, предпринять что-то чрезвычайно важное, от чего зависит все самое главное в твоей жизни, в судьбе твоего народа. В последний год Сталин при решении важных военных вопросов более всего опирался на властную твердость Тимошенко, решительность и дерзкое мышление Жукова, на устоявшийся опыт и рассудительность Шапошникова. Но сейчас маршал Тимошенко выглядел несколько растерянным, а генерал армии Жуков находился на Юго-Западном фронте.

Отпустив Тимошенко и Ватутина, Сталин вызвал Поскребышева и приказал ему связаться с командным пунктом Юго-Западного фронта в Тернополе и пригласить к телефону генерала армии Жукова.

— Нужно немедленно вскрывать всю глубину опасности, — с заметным волнением сказал он Молотову, усаживаясь за стол. — Придется Жукова отозвать в Москву.

В это время Поскребышев доложил, что Жуков на проводе, и Сталин, подняв трубку полевого аппарата, стал расспрашивать его об обстановке на фронте, делая при этом на чистом листке бумаги пометки. Видимо, сообщения Жукова не очень расходились с данными утренней сводки Генштаба, которую только что докладывал Тимошенко, и Сталин разговаривал спокойно, даже как-то буднично. Затем, кратко рассказав Жукову о положении на Западном фронте, приказал ему немедленно возвращаться в Москву и положил трубку.

Во время разговора с Жуковым в кабинет вошли другие члены Политбюро. Взглянув на них коротким изучающим взглядом, Сталин вяло усмехнулся и глухо, с какой-то холодной значительностью произнес:

— Вот Жуков заодно и поможет нам разобраться, содержал ли наш оперативный план обороны стратегические ошибки или не содержал. — Видя, что не все поняли его мысль, Сталин с оттенком досады пояснил: — В нашем плане на случай войны наиболее опасным стратегическим направлением считалось юго-западное, то есть Украина. А сейчас события развиваются так, что главным направлением оказывается белорусское.

— А кто автор этого пункта оперативного плана? — насторожился Берия.

Сталин неторопливо поднялся из-за стола и при тревожном молчании всех присутствующих прошелся по кабинету, как бы собираясь с мыслями. Потом он остановился и, растягивая слова, произнес:

— Если действительно подтвердится, что немцы избрали главным стратегическим направлением западное, а не юго-западное, то в этой нашей ошибке надо будет винить товарища Сталина... Да, да, это именно я высказал предположение, что немцы в случае войны будут стремиться в первую очередь овладеть Украиной, чтобы иметь хлеб и нечто к хлебу, а отторгнув Донецкий бассейн, лишить нас угля и заодно отрезать от кавказской нефти... — Сталин на минуту умолк, скользнув вопрошающим взглядом по лицам членов Политбюро. — Но я не помню, чтобы кто-нибудь возражал против этой точки зрения Сталина. Или были иные мнения?..

## 5

В эти же сутки, 26 июня, поздним вечером, Сталин отхлебнул из горькой чаши такую дозу истины, что не всякое сердце способно было вынести ее убивающий яд. Трудно передать глубину потрясения Сталина, когда маршал Тимошенко и генерал Ватутин, пришедшие с вечерней сводкой Генштаба, начали свой нелегкий, второй за этот день, доклад. Более всего Сталина поразили стремительное ухудшение ситуации на Западном фронте, неотвратимо-смертельная угроза Минску, над которым с двух сторон уже вплотную нависли мощные бронированные клешни, и угроза нашим армиям оказаться в полном окружении.

Москва тогда могла только догадываться, какой подвиг сотворили армии Западного фронта, мужественно приняв удар, пусть в очень невыгодных для себя условиях, пусть без должного прикрытия с воздуха, при нарушенных боепитании и взаимодействии. Немецким военным теоретикам и историкам со временем придется долго ломать головы над тем, почему не удался блицкриг, почему рухнули расчеты вышколенных гитлеровских стратегов и как случилось, что германский милитаризм, опираясь на военный потенциал не только Германии, но и оккупированных стран Европы, в первые же недели войны сбился с победного шага, захромал и начал скулить о «загадочности характера русского солдата».

Сталин, разумеется, мог предполагать, что в первые дни войны возможны тяжелые потери наших войск, возможен и территориальный урон, даже значительный. Но чтобы нависла реальная угроза над Минском! Чтоб наши армии оказались в мешке!.. Он спокойно, но с гневными упреками обратился к Тимошенко и Ватутину. Их возражения и аргументы еще больше распаляли его негодование, может, потому, что те меры, которые предлагали до этого нарком и Генеральный штаб, а он, Сталин, одобрял, пока не приносили желаемых результатов. Подготовленные же наркомом новые директивы командующим фронтами теперь вызывали у Сталина недоверие, ему казалось, что и сам Тимошенко не очень убежден в осуществимости своих директив, и эта зыбкость в настроении наркома, кажется, отсвечивала в мудрых и скорбных глазах генерала Ватутина.

В ответ на упреки Сталина побледневшие Тимошенко и Ватутин, пряча обиду, высказали просьбу послать их в войска, на фронт.

— Фронт от вас никуда не уйдет! — резко ответил Сталин и тоже побледнел. — А кто будет в Генштабе расхлебывать сложившуюся на фронтах ситуацию? Кто будет исправлять положение?!

В это время в кабинет вошел генерал армии Жуков, только что прилетевший в Москву с Юго-Западного фронта.

Жуков усталым, слегка охрипшим голосом докладывал о своем прибытии, а все находившиеся в кабинете Сталина с тревожным вниманием

всматривались в его лицо. За эти несколько дней оно заметно изменилось: легли темными лепестками тени под жестко глядевшими глазами, утончились губы, будто расширив разрез рта, потерял округлость чуть выступающий вперед подбородок. Во всем облике Жукова проглядывали не только бессонные ночи, физическая усталость, а и нечто иное, заставлявшее глубже всматриваться в его успевшие много повидать глаза, вслушиваться в осевший голос.

При появлении начальника Генерального штаба Сталин поздоровался с ним кивком и сказал, словно тот был в курсе ранее происходившего здесь разговора:

— Товарищ Жуков, подумайте вместе и скажите, что можно сделать в сложившейся ситуации. — И указал рукой на карту Западного фронта.

Жуков попросил у Сталина минут сорок на изучение обстановки и принятие решения и вместе с Тимошенко и Ватутиным, захватив карты, вышел в соседнюю комнату.

В общих чертах Жуков был осведомлен о положении на Западном фронте из утреннего телефонного разговора вначале с Ватутиным, а потом со Сталиным. Но в течение дня оно еще больше усложнилось. Было ясно одно: оказать реальную помощь нашим одиннадцати дивизиям, которым грозило окружение, невозможно. Другие войска фронта, неся тяжелые потери, продолжали вести трудные оборонительные бои или отступали под ударами превосходящих сил врага. Тимошенко, Жуков и Ватутин понимали, что Минск обречен. Не решаясь прямо сказать об этом Сталину, советовались между собой, как преградить немцам пути к Москве, какими силами создать глубоко эшелонированную оборону, чтобы, измотав противника, затем на одном из рубежей организовать контрнаступление. Таков был их общий замысел, и они предложили Сталину использовать второй эшелон армий из резерва Главного командования для немедленного занятия ими обороны на рубеже река Западная Двина, Полоцк, Витебск, Орша, река Днепр до Лоева, а также одновременно создать двумя резервными армиями заслон на тыловом рубеже по линии Нелидово, Белый, Ельня, Брянск и одну армию выдвинуть в район Смоленска.

Карта Западного фронта, на которой Ватутин тут же, в кабинете Сталина, карандашом набрасывал красные линии будущих рубежей, широко распласталась на зеленом сукне стола, и от него будто разило холодом.

Долго молчал Сталин, с прищуром всматриваясь в карту. Потом прошелся по кабинету и повернулся к Тимошенко, Жукову и Ватутину, которые стояли навытяжку, выжидательно глядя на него.

— Насколько я понимаю, — вдруг тихо, но резко заговорил Сталин, — речь уже идет о создании нового стратегического фронта обороны?

— Совершенно правильно, товарищ Сталин, — будто обрадованно ответил Тимошенко.

Наступила тревожная пауза. Нарушил ее Жуков.

—Товарищ Сталин. — В приглушенном голосе генерала армии чувствовалось скрытое волнение. — Надо исходить из того, что война будет затяжной. Гитлер и его генералитет пошли ва-банк. Нам трудно придется.

— Это очень серьезное заключение, товарищ Жуков, — после тягостного размышления ответил Сталин. — Нам важен не туман гитлеровских меморандумов... Нам очень важно еще и еще уяснить для себя: немцы идут на нас истребительной войной или с какими-то ограниченными целями, например, с территориальными притязаниями?.. Окончательно уяснив этот вопрос, мы более точно определим силы врага, брошенные против нас, определим характер всей войны и задачи нашего народа.

Затем Сталин, поразмыслив, согласился с предложенным ему планом, и, когда военные, попрощавшись, уходили из его кабинета, он сказал им вслед:

— Если мы потеряем Минск, значит, мы уже проиграли очень важный этап войны...

Не претендуя на всеобъемлющие и исчерпывающие обобщения, все-таки позволительно заметить, что среди существующих искусств военное стоит на особом месте в философско-духовных градациях, ибо оно, вероятно, требует от полководцев, оказавшихся перед необходимостью его применения, необычных нравственных качеств и ни с чем не сравнимого напряжения сплавленных воедино мысли и чувства, когда помимо реальных представлений рождаются внутреннее видение и подсознательное ощущение огромного комплекса вещей и явлений, из которых и складывается война. Многое включает в себя этот комплекс: неприятель с оперативно-стратегическими замыслами его командования, наши войска — их положение в данной конкретной ситуации, морально-боевое состояние, техническое оснащение, уровень оперативной подготовки штабов, возможности для маневра резервами, конфигурация передней линии, характер местности, погодные условия и многое, многое другое, подчас относящееся уже к моральным величинам, но обязательно присутствующее в потаенных уголках памяти и сердца полководца, когда тот разрабатывает замысел боевой операции. Истинность таланта полководца определяется гармоническим сочетанием всех его качеств, опирается на мужество его ума и в конечном счете помогает мыслить пространственно, с огромной силой воображения.

Но, видимо, не так просто привести в действие полководческий талант, когда мышление, натолкнувшись на сопротивление реальности, не приобрело активной творческой инерции, уверенности и ощущения истинного соотношения противоборствующих сил... Кто знает, может, переступив порог мира, полководец, взвешивая возможности своих войск, сталкивается с бездной и других трудностей. Ведь не так легко брать на себя ответственность не только за исход боевых операций, за множество человеческих жизней, но и в конечном счете за судьбы народов и дальнейшие пути истории.

## 6

Вчера вечером, 28 июня, Минск оказался в руках немцев. Не хотелось в это верить. Просто не укладывалось в сознании: за неделю войны враг проглотил в полосе Западного фронта обширную нашу территорию. Танковые группы немцев, пусть ценой огромных потерь, все-таки проломили себе дорогу к Минску со стороны Вильнюса и из района Бреста и окружили отчаянно сопротивлявшиеся войска 3, 10 и частично 13-й армий. Что теперь происходит западнее Минска? Сумеют ли вырваться из окружения одиннадцать наших дивизий, обескровленных и измотанных в жесточайших боях?..

В эти дни Сталин, кажется, ни на минуту не оставался в кабинете один. Люди приходили, уходили, члены Политбюро, обсудив тот или иной вопрос, отлучались по неотложным делам, а Сталин все время был здесь — то сидел за своим рабочим столом, то расхаживал по ковру, выслушивая кого-то, размышляя и неторопливо, глуховатым голосом высказывая свои мысли и решения.

На других фронтах обстановка еще не прояснилась. В районе Шяуляя два наших механизированных корпуса встречным ударом нанесли

немцам серьезные потери, на какое-то время парализовали их действия. А что происходит там сейчас — надо ждать донесений. В Западной Украине, в районе Луцка, Ровно, Дубно, Броды, пять наших механизированных корпусов в небывалом встречном танковом сражении тоже изрядно растрепали врага, приостановили его продвижение на восток, однако последние сводки штаба Юго-Западного фронта не содержат ничего утешительного.

Авиация приграничных округов понесла тяжкие потери от бомбовых ударов немцев по аэродромам. Но в первый же день войны силами нашего 1-го авиационного корпуса нанесен ответный удар по Кенигсбергу. В последующие дни советские дальние бомбардировщики побывали над Данцигом, Констанцей, нефтеносными районами Плоешти.

Сейчас в кабинете Сталина кроме нескольких членов Политбюро были наркомы Малышев и Паршин. Они поочередно докладывали, как выполняются принятые постановления Политбюро о минометном вооружении и танковой промышленности, согласовывали некоторые перестановки руководящих кадров в своих наркоматах.

Сегодня лицо Малышева выглядело, как никогда, изможденным, отчего особенно выделялись большие, светящиеся острым умом глаза и в них заметнее вспыхивали искры негодования или сквозила мучительная тревога, когда он, энергично жестикулируя, сетовал на неоперативность поставщиков и прорехи в работе железнодорожного транспорта.

Нарком Паршин — высокий, крупнолицый, — вытирая платком капли пота на открытом лбу, неторопливо сообщал цифры из подекадного графика производства запускаемых в поток реактивных установок БМ-13, коим в скором времени предстояло обрести среди фронтовиков песенное имя — «катюша».

Сталин спокойно и очень внимательно слушал наркомов, часто останавливался возле говорившего, пытливо посматривал на него и задавал короткие вопросы. И все-таки в этом спокойствии угадывалась напряженность и та сдержанность, которая достигается постоянным самоконтролем. Временами его взгляд загорался, отразив вспышку каких-то чувств, и тут же гас под опущенными веками. Присутствующие в кабинете, знавшие Сталина многие годы, понимали: Генерального секретаря гнетут недобрые вести с фронтов — оставлен Минск, а одиннадцать дивизий продолжают западнее Минска борьбу в окружении. Возможно, он мысленно ведет трудную и нелицеприятную полемику с кем-то из видных военных руководителей или сам себе задает вопросы, подчас не находя на них ответов: почему случилось, что Красная Армия, в силу и непобедимость которой он так искренне верил, отступает? Как могло это произойти? Как исправить положение?.. Как развернутся события дальше?

Сталин продолжал расхаживать по кабинету... Его, разумеется, раздражала вопрошающая затаенность в глазах членов Политбюро. Он не знал, что сказать им, как объяснить происходящее на фронтах; сводки о тяжелых событиях в приграничных областях, особенно в Белоруссии, теснили грудь тем холодом, который не унять силой рассудка, не развеять сочувствием близких тебе людей.

Время от времени Сталин устремлял прищуренный взгляд в сторону телефонных аппаратов, стоявших в углу на приставном квадратном столике. Да, он все время ждал новых известий с фронтов, ждал с тревогой и надеждой. Но телефоны безмолвствовали.

Когда наркомы Паршин и Малышев покинули кабинет, Сталин позвонил в Наркомат обороны. Был поздний вечер.

— Что происходит на Западном направлении? — устало спросил он у Тимошенко.

— Я вам доложу, товарищ Сталин, как только направленцы оперативного управления соберут полную информацию и закончат ее обработку.

— Павлова отстранили от командования фронтом?

— Пока нет. Но предписание генерал-лейтенанту Еременко о назначении его командующим Западным фронтом вручено. Он отбыл на фронт.

— Хорошо... Но что там, под Минском? Положение не стабилизировалось?

— Я не готов докладывать, товарищ Сталин...

— Вы обязаны постоянно видеть все как на ладони, товарищ Тимошенко... И держать нас в курсе событий. — Сталин с досадой положил трубку и поднял налитые тоской глаза на оставшихся в кабинете членов Политбюро.

Воцарилось то молчание, которое гнетет не менее дурных вестей.

— Не нравится мне это их неведение, — после раздумья сказал Сталин и снова умолк, погрузившись в какие-то нелегкие мысли. Затем поднялся из-за стола и утвердительно спросил: — А что, если мы поедем сейчас в Генштаб и сами посмотрим сведения с фронтов?..

Из Боровицких ворот вырвались несколько черных легковых автомобилей и напрямик устремились по затемненным улицам.

Массивное здание Наркомата обороны, исполосованное серой и коричневой краской для маскировки, незыблемым утесом возвышалось над площадью. От Кремля сюда совсем близко.

Кабинет наркома обороны Тимошенко находился на втором этаже. Никто не успел предупредить маршала, что в здании наркомата появились Сталин и члены Политбюро. Там, где они проходили — по вестибюлю, лестнице, коридору, — все замирало. Часовые, дежурные, сновавшие между кабинетами с деловой озабоченностью генштабисты, увидев Сталина, останавливались в восторженном оцепенении.

В кабинете наркома кроме самого Тимошенко были Жуков, Ватутин и несколько генералов и полковников из оперативного управления Генштаба. На столах — развернутые огромные карты с нанесенными на них фронтами, разграничительными линиями, обозначившимися направлениями главных и вспомогательных ударов врага... Полковники цветными карандашами переносили со своих карт на карты наркома самые последние данные об изменениях в положении противоборствующих сторон, коротко что-то сообщали генералу, уточнявшему сводную оперативную карту.

В это время в высоких дверях кабинета появился Сталин — в защитного цвета костюме полувоенного покроя, в мягких кавказских сапогах и форменной без цветного околыша фуражке. За ним вошли члены Политбюро.

Лицо Тимошенко, который стоял у стола над картой и разговаривал с Жуковым, медленно налилось бледностью, Жуков умолк на полуслове и, нахмурившись, принял стойку «смирно». Ватутин, вытиравший потную шею, на мгновение замер с платком в поднятой руке.

После короткого замешательства маршал Тимошенко, как и полагалось в подобном случае, вышел на середину кабинета и четко доложил:

— Товарищ Сталин, руководство Наркомата обороны и Генерального штаба изучает обстановку на фронтах и вырабатывает очередные решения.

Сталин, молча выслушав доклад наркома, повернулся к карте Западного фронта, которая распласталась на длинном столе, приставленном к рабочему столу Тимошенко. Через минуту в кабинете никого из военных, кроме Тимошенко, Жукова и Ватутина, не осталось.

А Сталин молчаливо постоял над картой, затем перешел к другой, но тут же опять вернулся к карте Западного фронта... Будто сюда, в центр старой Москвы, из гремящих войной далей стеклись все сложности кровавой борьбы, с ее невероятным напряжением, человеческими трагедиями, страданиями, неразрешимыми вопросами, и заполонили собой эту страшную немоту кабинета.

Кажется, остановилось время... Нет, было похоже, что остановилась в своей поступи сама История.

Изменчивые тени на покрывшемся испариной лице Сталина, подернутые мучительной тоской глаза с набухшими и помокревшими веками никому ничего доброго не предвещали. Все присутствующие в кабинете словно растворились в нахлынувших мыслях и чувствах, понимая, а иные, может, даже постигая интуитивно по-особому опасно-взрывчатую ситуацию. За синими стрелами, которые словно впеклись в карты и обозначили прорывы механизированных войск немцев, Сталин силой цепкого воображения будто бы воочию увидел лязгающие броней танковые клинья и ощутил их грозную прочность.

Он повернулся к Тимошенко и Жукову и, глядя на них недобрыми глазами, с неожиданным спокойствием сказал:

— Ну, мы ждем, докладывайте, пожалуйста, и объясняйте. — Он сделал нажим на слове «объясняйте».

Молотов, стоявший рядом и тоже успевший охватить взглядом на картах глубину вражеских прорывов, видя крайне расстроенное и как-то порыхлевшее лицо Сталина, понимал, что внешнее его спокойствие отнюдь не выражает внутреннего состояния. И самое плохое и непоправимое, что может сейчас произойти, — это смещение руководства Наркомата обороны и Генерального штаба. Ведь гнев — плохой советчик...

Тимошенко, Жуков и Ватутин, кажется, подумали о том же и, как истинные военные, ощутив опасность, внутренне подобрались. Жуков даже шире расправил грудь, а глаза его засверкали обидой и негодованием.

— Товарищ Сталин, — с вымученной извинительностью заговорил маршал Тимошенко, потупив взгляд, как бы смущаясь своего огромного роста перед невысокой, коренастой фигурой Сталина, — мы еще не успели обобщить собранный материал. Многое неясно... Есть противоречивые сведения... Я не готов докладывать.

И тут последовал взрыв.

— Вы просто боитесь сообщить нам правду! — почти закричал Сталин. — Потеряли Белоруссию, а теперь хотите поставить нас перед фактом новых провалов?! Что делается на Украине? В Прибалтике? Вы управляете фронтами, или Генштаб только регистрирует информацию?!

Вспышка гнева Сталина — это была все-таки разрядка. Да и такую резкость он позволял себе не в тех случаях, за которыми могло последовать крайнее решение. Теперь надо ждать скорого затишья и — пусть с чувством неловкости — делового разговора.

Однако Жуков... Ох уж этот начальник Генерального штаба Жуков — само воплощение беспощадной и резкой прямоты и откровенности... Впрочем, он единственный из всех, кто находился сейчас в кабинете наркома, собственными глазами видел фашистскую силищу, был под бомбами, пулями и осколками, видел кровь, смерть, пожарища и муки отчаяния; он, может быть, и имел право на столь бескомпромиссный ответ.

— Разрешите нам продолжить работу! — глядя прямо в лицо Сталину, сказал Жуков.

— Может, мы мешаем вам?! — вклинился Берия.

— Обстановка на фронтах критическая! От нас ждут указаний!.. — Жуков кинул на Берия горящий взгляд. — Или вы сумеете дать их?!

— Если партия поручит, дадим, — обидчиво ответил Берия.

— Это если поручит! — сурово бросал слова Жуков. — А пока дело поручено нам! — Затем начальник Генерального штаба повернулся к Сталину и неожиданно спокойно сказал: — Простите меня за резкость, товарищ Сталин. Мы разберемся и сами приедем в Кремль...

Воцарилось неловкое молчание. Казалось, не миновать нового взрыва гнева Сталина. Но заговорил Тимошенко, стараясь сгладить неловкость:

— Товарищ Сталин, мы обязаны в первую очередь думать, как помочь фронтам, а потом уже информировать вас...

Сталин тут же перебил его:

— Во-первых, вы делаете грубую ошибку, что отделяете себя от нас! А во-вторых, о помощи фронтам, об овладении обстановкой нам теперь надо думать всем вместе. — Затем Сталин обвел печальным взглядом членов Политбюро и, кивнув им, сказал: — Пойдемте, товарищи... Мы, кажется, действительно появились здесь не вовремя...

Никому не сказав ни слова, ни с кем не попрощавшись, Сталин сел в свою машину, и она, выехав со двора Наркомата обороны, направилась в сторону Арбатской площади. За ней устремились две машины с охраной, а следом — машины членов Политбюро. Молотов полагал, что Сталин сейчас поедет в Кремль, что его машина повернет с Арбатской площади к библиотеке имени Ленина, но она пересекла площадь, нырнула в Арбатскую улицу и, пропустив вперед один из сопровождавших автомобилей, понеслась в сторону Киевского вокзала. Другие автомобили, в которых ехали руководители страны, резко набрали скорость и, оставив позади Арбат, устремились в сторону Кремля.

Только машина Берия у Кутафьей башни круто повернула влево и помчалась на Лубянку...

Молотов, уже проезжая по булыжнику Кремля, подумал, что хорошо бы завернуть домой, отдохнуть. Вспомнил, что дома — никого: жена и дочь за городом. А в Кремле, в рабочем кабинете, — неотложных дел целое море, в котором не бывало отливов.

И действительно, в кремлевском кабинете его ждала работа. У неутомимого помощника за вечер в настольном календаре выстроился целый столбик фамилий ответственных работников ЦК, Совнаркома и наркоматов, которых надо было принять по неотложным делам. Лежала на столе депеша от советского посла в США, который сообщал, что в Америке раскрыт крупный германский шпионский центр и уже арестовано около тридцати человек. Другая телеграмма из-за границы информировала советское руководство о том, что петеновское «правительство Виши», распространявшее свою власть на неоккупированную часть Франции и некоторые ее колонии, приготовило к опубликованию заявление о разрыве дипломатических отношений с СССР и одобрило начавшееся формирование отрядов добровольцев для участия в войне против Советского Союза. Все это заслуживало внимания, но было не столь важным в сравнении с грозностью событий на советско-германском фронте.

В кабинет Молотова один за другим вошли Калинин, Микоян, Маленков — молчаливые, озабоченные. Надеялись, что Сталин, уехавший на свою кунцевскую дачу, вот-вот позвонит, скажет о своих намерениях. Но ожидали напрасно. Звонить же самим в этой ситуации желания не было. Хотя повод был: позавчера, когда готовилась директива Совнаркома и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, большинство членов Политбюро, обмениваясь мнениями о событиях на фронтах, пришли к единой мысли, что нельзя откладывать дальше обращение Сталина от имени партии и Советского правительства к народу и Вооруженным Силам. Некоторые члены Политбюро даже сделали свои

наброски для этого обращения. Сегодня утром, когда Молотов передавал эти бумаги Сталину, тот взял их без особого энтузиазма и со вздохом сказал:

— Мудрость есть искусство смотреть на вещи со всех сторон... Мы уже успели осмотреться? Чем будем объяснять народу отступление Красной Армии?

Молотов ничего не ответил. Понимал, что в этих вопросах Сталина — отражение тревоживших его мыслей.

Разумеется, несмотря на позднее время, можно было сейчас позвонить Сталину, сказать, что собрались члены Политбюро и интересуются, как отнесся он к их проекту обращения. Но формальные поводы не всегда являются стимулом к действию... Кроме того, Молотов своим проницательным чутьем угадывал, что Сталин сейчас находится в том непривычном для него состоянии, когда между чувствами и мыслями еще нет единства, когда воля, как сгусток рождающихся желаний, не обрела при размышлениях той известной соратникам Сталина твердости, которую потом ничем не порушить. Не зря Сталин иногда повторял запомнившуюся ему со времен учебы в Тифлисской православной духовной семинарии фразу из Библии: «Без рассуждения не делай ничего, а когда сделаешь, не раскаивайся».

## 7

Ночь с 29 на 30 июня 1941 года, как услышат об этом спустя два года из уст Сталина за обеденным столом несколько человек — военных и невоенных, — оказалась для него немыслимо тяжкой и памятной: «Надо было решаться с пониманием всего, что предстояло...»

...Прежде чем возвысить свою мысль до той степени, когда она окажется способной проложить надежные мостки между несоединимым, она, эта до крайности напряженная мысль Сталина, немало исколесила запутанных и затененных лабиринтов, пробилась сквозь дебри несоответствий, через баррикады противоборствующих суждений и умозаключений, постигнуть которые, казалось, не под силу всем объясняющим законы и формы человеческого мышления наукам, включая и диалектику. Многое она превозмогла, перешагнув через густой частокол понятий и построений, через, казалось, неопровержимые постулаты и аксиомы, сокрушив незыблемости, покоившиеся на будто бы вечных устоях закономерностей. И эти напряженные поиски Сталина были во имя того, чтобы постигнуть случившееся, приподнять завесу над будущим и, прежде чем на что-то решиться, понять всю сущность трагического, поражающего своей неожиданностью. Ведь вся осторожность, вся осмотрительность Советского правительства, все его усилия оттянуть войну не принесли ожидаемых плодов, и война огненными валами покатилась в глубь советской территории. Разве можно было поверить, что прославленная Красная Армия вынуждена сдавать немецко-фашистским войскам город за городом, район за районом?.. Над первым в мире социалистическим государством нависла не мнимая угроза! Кто мог предположить, что созданному Лениным государству предложат «помощь» в пору смертельной опасности Англия и Америка...

А разве можно постигнуть случившееся в Наркомате обороны?.. И дело тут вовсе не в уязвленном самолюбии. Сталин был уже в таком ореоле величия и был держателем такой власти, что прекрасно понимал: Тимошенко и Жуков могли позволить себе резкие слова только в состоянии крайней напряженности. Ведь всему должны быть причины, и эти причины Сталину очень важно было понять... Ну пусть Жуков — резкий,

прямой и крутой характер, — возможно, увидел там, на фронте, такое, что подвели нервы при более широком анализе обстановки... Но Тимошенко!.. Или, может, действительно он, Сталин, своим авторитетом, своим положением в партии и государстве, своим требованием непрерывно информировать его о событиях на фронтах и согласовывать с ним важнейшие директивы войскам сковывает военных руководителей, связывает им руки и не дает возможности разумно употребить полководческие таланты? Так ли это?..

Много, очень много вопросов и неясностей. Все надо осмыслить, постигнуть, взвесить и наметить единственно верный план. Нужны новые начала, новые, самые необходимые решения. При этом Сталину было предельно ясно, что именно от него ждут этих новых начал и решений, именно на него возложено сейчас «нахождение... того самого особого звена в цепи процессов, ухватившись за которое можно будет удержать всю цепь и подготовить условия для достижения стратегического успеха».

Многие часы размышлений Сталин то мерил шагами тонкий ковер столовой, служившей ему здесь, на даче, и кабинетом, то останавливался перед книжной полкой, то присаживался к столу. Сейчас он сидел в конце стола, положив перед собой чистые листы бумаги. На верхнем листе четким, знакомым множеству людей почерком было написано:

«Товарищи! Граждане!

Братья и сестры!

Бойцы нашей армии и флота!

К вам обращаюсь я, друзья мои!

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое двадцать второго июня, продолжается...»

Как бы в поисках дальнейшей мысли Сталин скользнул взглядом по книжным полкам и задержал его на знакомом номере иллюстрированного журнала, стоявшего за стеклом. Всю обложку журнала занимал портрет Сталина.

Протянул руку, взял журнал и с грустной задумчивостью стал рассматривать фотографию. Такие знакомые и в то же время в чем-то незнакомые черты. Фигура с развернутыми плечами казалась рослой, могучей. Лицо чистое, ясное, без единой морщинки, лоб высокий, взгляд из-под чуть прищуренных век добрый, спокойный и уверенный, улыбка, заплутавшаяся в усах...

Усмехнувшись с протяжным вздохом, словно простонав, и подивившись искусству фотомастера, Сталин посмотрел на мраморный столик, где на потемневшем от времени серебряном подносе стояли стакан и бутылка с минеральной водой; над столиком возвышалась резная стенка с зеркалом в серебряной оправе. В зеркале увидел свое склоненное над столом лицо — темное, с воспаленными, отуманенными глазами, таившими в себе нерастраченную мыслительную силу и созревание чего-то очень важного и непростого.

Он снова покосился на тщательно отретушированную фотографию, и его лицо на обложке журнала показалось ему еще более далеким, словно из воспоминаний. И все же какая-то таинственная притягательная сила была явственно заметна в этом портрете. В спокойных чертах, в пытливом взгляде, который, казалось, видел что-то недоступное сейчас даже для самого Сталина, во всем освещенном глубокой мыслью его лице угадывалась не простая значительность, а может, даже величие. Однако когда Сталин пристальнее всматривался в фотографию, в его сердце оседало тревожное чувство.

Снова строго вопрошающе и с оттенком недоумения посмотрел в зеркало, впервые отвлекшись от терзавших его тяжелых раздумий, и ему отчетливо почудилось, что все-таки настоящий, нужный народу и госу-

дарству Иосиф Сталин — именно здесь, на обложке журнала, а там, в зеркале, какой-то близкий ему человек, который помогает мыслить и которого он часто видит то ли во сне, то ли вот так, как сейчас, в глубинах зеркальных отражений.

И еще отметил Сталин, что на портрете нет в его облике того налета бытовизма, который в общем-то принижает каждого человека, назойливо напоминает о временном пребывании на белом свете. Да, на фотографии он дышит нетленностью; Сталину подумалось, что именно так он выглядит, когда сидит с пером в руках за столом и пишет, всматриваясь в закрома своих знаний, свободно и щедро распоряжаясь послушными мыслями, придавая им энергию, с интересом определяя в них новые начала и связи между многогранностью научных понятий и проявлениями жизни, доводя каждую написанную фразу до кристальной ясности. Только в стихии мышления, когда в воображении зазвучат вещественные свойства его раздумий, чувствует он себя счастливым и уверенным в грядущих делах... Конечно, на тысячелетия вперед прав Пушкин, утвердительно и гордо вопрошающий с высокого пьедестала своей гениальной поэзии: «Что же составляет величие человека, как не мысль?»

Да, мысль... Именно сейчас, как никогда, он, Сталин, должен вознестись мыслью над всей грозной реальностью сегодняшнего дня, над всеми несоответствиями момента, чтобы от имени Центрального Комитета с уверенностью сказать всему миру, из чего должна будет сложиться повседневность партии, народа, Советских Вооруженных Сил — повседневность грозная, многотрудная, может, полуголодная и простершаяся в границах времени, пока еще не осязаемых.

Сталин посмотрел на лист бумаги, где чеканными ступеньками легли первые слова его будущей речи. От этих начальных ступенек надо было прокладывать дальние дороги кровавой борьбы, устилая их выкованными партией большевиков духовными монолитами веры, надежды и высокоорганизованной силы. Напряжением всех своих чувств пытался как можно конкретнее вообразить каждый этап пути, который проляжет сквозь пожарища войны. Мысль его при этом непроизвольно обращалась в прошлое, словно старалась из глубины десятилетий масштабно охватить чудовищное нагромождение предстоящих сложностей и препятствий, которых никак не избежать. Все дальше следовал мыслью в улегшуюся, а когда-то взрывчатую стихию прошлого, пока не оказался во временах двадцатидвухлетней давности...

То был наиболее критический момент социалистической революции. Шел июль 1919 года; империалисты двинулись в решающий поход против молодой Советской державы, вложив все свои силы в армию Деникина. Ленин написал в те дни мудрый документ — «Все на борьбу с Деникиным!», который был опубликован как письмо ЦК РКП(б) к организациям партии. Сделав краткий анализ предыдущих попыток империализма свести на нет победу Октябрьской социалистической революции, великий вождь призывал Советскую республику напрячь все силы, чтобы отразить нашествие Деникина и сокрушить его, в то же время не останавливая победного наступления Красной Армии на Урал и Сибирь. Определяя основные задачи момента, Ленин призвал всех коммунистов, всех рабочих и крестьян, всех советских работников подтянуться по-военному и подчинить свои усилия непосредственным задачам войны. Работа всех учреждений перестраивалась на военный лад. Советская республика должна была стать единым военным лагерем.

Сталин ощутил, что в нем пробуждается то долгожданное волнение, за которым появятся самые главные мысли, засквозит в них вещественность, а затем последуют решения. В такие счастливые минуты он чувствовал, как в него вливалась сила, а перед умственным взором словно

расступался туман. Он поднялся из-за стола, раскурил давно потухшую трубку и, пройдясь по комнате, задержался перед книжными полками напротив Собрания сочинений Ленина.

Его внезапно пронзила мысль, кажется, совсем не неожиданная, но ударившая тревожным набатом: «Сейчас ведь речь идет о том, быть или не быть созданному Лениным государству!.. В этом суть, и только из этого надо исходить во всех ближайших решениях и делах...»

Повернувшись к окну, Сталин увидел, что сквозь темноту деревьев дачного сада и леса пробивался рассвет. Но уже через мгновение он не замечал ни окна, ни рассвета, напряженно и властно всматриваясь в свои мысли. Перед ним будто на неохватном, как само воображение, экране начали проходить исторгавшие многозвучье завтрашнего дня картины. Он видел, как из глубин Советской державы движутся резервные армии — шагает пехота, гарцует конница, мчатся танки и самоходные пушки, проходят колонны артиллерии, летят самолеты. И ни конца, ни края этим живым, грозным потокам, льющимся сквозь безбрежье государства, под небом с померкшим солнцем от дымов тысяч и тысяч заводских и фабричных труб... А с запада на восток несутся по рельсам эшелоны с техникой, с заводским оборудованием, сельскохозяйственными машинами, вздымают пыль на дорогах России нескончаемые гурты скота — все на службу обороны страны и ничего врагу, который, как узнали порабощенные им страны Европы, принуждает любые рабочие колеса вращаться в свою сторону... Ничем захватчик не должен попользоваться, везде будет подстерегать его смерть.

Но сколько мук придется перенести советским людям, какое испытать напряжение сил!.. Там, где наиболее трудно, встанут коммунисты...

Сталину почудилось, что в своих мыслях и ярких всплесках воображения он явственно увидел живой и многоликий образ самой войны — Отечественной войны советского народа против фашистских поработителей, увидел, как Советское государство превращается в истинно военный лагерь.

Таяла бессонная ночь. Улеглись в ровные рядки на листы бумаги тезисы будущей речи, которые предстоит обсудить на Политбюро. Но не таяла тревога, связанная с чисто военными делами. Независимо от того, какие известия о событиях на фронтах принесет утро, Сталину, как главе правительства и Генеральному секретарю ЦК, сегодня надо принять важные военные решения и выйти с ними на Политбюро.

«Да, именно военные решения!» — словно убеждая самого себя, размышлял он.

В его памяти опять всплыли годы гражданской войны: тогда он считал себя профессиональным военным, постигая в ходе борьбы все то, без чего нельзя было руководить армией. Но когда стал Генеральным секретарем ЦК, он всего себя отдал политике и строительству социализма.

«Но что значит политик? — с каким-то неосознанным раздражением подумал Сталин, будто укоряя себя. — Для политика главнейшими проблемами классовой борьбы являются именно вопросы войны и мира!»

И точно в подтверждение этого он стал воскрешать в памяти те положения из своих лекций «Об основах ленинизма», которые базировались на военных категориях. Ведь столь важный его политический трактат, как «Стратегия и тактика», не отторгнешь от практики вооруженной борьбы, ибо стратегия и тактика в политике, в классовых битвах во многом принципиально схожи с сугубо военной стратегией и тактикой, хотя последние зависят от первых.

В поисках надежных мостков в сегодняшний день Сталин размышлял над тем, как Ленин и Центральный Комитет РКП(б) определяли тогда на каждом этапе самый решающий фронт и как, преодолевая неверо-

ятные сложности, вместе с органами стратегического руководства создавали на этом главном военном театре превосходство сил и средств. В те времена основным видом боевых действий Красной Армии являлось решительное стратегическое наступление. А ведь сколько ему, Сталину, пришлось потратить усилий, чтобы каждый раз стратегическое наступление приобретало форму ряда последовательных массированных ударов одним или двумя фронтами, причем в стремительном темпе, чтобы не дать врагу передышки и завершить полный его разгром в преследовании.

А если, исходя из этого опыта, посмотреть на сегодняшний день? Пока не будут накоплены и подтянуты крупные резервы, речь может идти только о стратегической обороне, опирающейся на нанесение врагу ощутимых контрударов. Итак, сейчас слово за стратегией...

Найти можно только там, где есть что искать. Сталин искал в своей памяти, своем опыте, во многом почерпнутом из опыта Ленина, в опыте всей партии, искал упорно, прислушиваясь к обостренной интуиции. С годами его знания, естественно, приумножались, усложняя и без того не простой духовный мир, утончая чувства и придавая большую глубину суждениям. В последние годы все, связанное с новейшими военными теориями и доктринами, связанное с эволюцией идей и настроений в военном деле, занимало мысли Сталина. С его участием не раз обсуждались новые способы и формы обороны и наступления, оперативного применения различных родов и видов войск в самых сложных боевых условиях; его кабинет в Кремле, да и этот, на кунцевской даче, в последние годы как бы стал главной высотой, откуда бдительнейшим образом изучалось все, связанное с перевооружением армии, авиации и флота, военно-техническим прогрессом, с задачами обучения войск и штабов и подготовки страны к обороне в целом. Ведь и советско-финская война кое-чему научила. Анализу ее уроков и осмыслению опыта начавшейся второй мировой войны был посвящен в марте 1940 года специальный Пленум ЦК ВКП(б). Его решения легли в основу программы дальнейшей перестройки и перевооружения армии.

В середине января этого года на заседании Главного Военного совета при участии Сталина были вскрыты, казалось, последние ненормальности и просчеты, в том числе и в расстановке руководящих военных кадров. А в апреле 1940 года по инициативе Политбюро ЦК было созвано совещание Главного Военного совета с участием руководящих деятелей партии и государства, на котором вновь обсуждались важнейшие вопросы укрепления армии.

...Главный Военный совет 13 января 1941 года. Этому заседанию предшествовало многодневное расширенное совещание высшего командного состава армии, на котором были заслушаны и обсуждены доклады виднейших военачальников, а затем проведена большая оперативно-стратегическая игра под руководством наркома обороны Тимошенко и тогдашнего начальника Генерального штаба Мерецкова.

Там, в кремлевском кабинете Сталина, Наркомат обороны, по существу, отчитывался перед Политбюро ЦК и перед правительством о состоянии Вооруженных Сил. Сталин в ходе заседания подверг резкой критике некоторых крупных военных деятелей, указал на недооценку ими особенностей будущей войны, на недостатки Полевого устава, на необходимость в век механизированных и моторизованных армий создавать в обороне превосходство сил не только за счет местных резервов, указал на ошибки в формировании соединений и оснащении их танками. Были намечены задачи по дальнейшей механизации и моторизации Красной Армии, а затем принято решение о назначении начальником Генерального

штаба наиболее ярко мыслящего военачальника — генерала армии Жукова — и решение о перемещении ряда командующих военными округами.

К сожалению, не все перемещения командующих военными округами оказались удачными. Мысль об этом тоскливой болью гнездилась в сердце. Сколько раз в эти дни Сталин вспоминал о Павлове, силясь глубже понять степень своей ошибки, когда полгода назад согласился на его назначение в Минск, и пытаясь уяснить объективную меру вины самого Павлова в том, что произошло на Западном фронте. Если даже учесть, что к предвоенным прорехам комплектования и снабжения военного округа Павлов не был причастен, то и тогда мера его вины представлялась Сталину большой: новый командующий и его штаб, горя желанием добиться высоких показателей в повышении выучки войск, спланировали летнюю боевую учебу, лагерные сборы и иные мероприятия без учета угрозы военного нападения, а с началом войны потеряли управление армиями фронта...

И теперь немцы, нащупав здесь слабое место, изо всех сил стараются смять обороняющиеся войска и устремить свои танковые колонны к Москве... Надо укреплять Западный фронт армиями из группы резерва Ставки! Надо немедленно укреплять командование фронтом!.. Чтоб овладеть там ситуацией, нужна фигура, самая заметная в армии: со светлой головой, решительным характером и железной рукой. Может, Тимошенко?.. Именно нарком Тимошенко должен возглавить фронт, прикрывающий Москву! Но слишком много упреков обрушил он, Сталин, на маршала в эти дни. Не чрезмерно ли удручен нарком? Похоже, что и обижен, и даже обозлен... Да и уверенность вроде подточена неудачами на фронтах... Или Жукову вручить судьбу Западного фронта? Жуков ни в чем не уступит Тимошенко!.. Два могучих военных зубра... Но Жуков возглавляет Генштаб. Нет, в столь трудное время нежелательно менять начальника Генштаба. Генеральный штаб — мозг армии. Сталин вспомнил, что так озаглавил свой известный трехтомный труд Шапошников. В 1929 году, когда Борис Михайлович был начальником Штаба РККА, он преподнес Сталину с дарственной надписью свои книги, полукустарно объединив их под одним переплетом.

Сталин приблизился к книжным полкам, уверенно потянулся рукой к широкому зеленому корешку с золотым тиснением. Вот она — «Мозг армии»... Открыл книгу на первых страницах, и тут же прочитал когда-то подчеркнутые им красным карандашом слова:

«...Раз эта драма (война) неотвратима — к ней нужно быть готовым выступить с полным знанием своей роли, вложить в нее все свое существо, и только тогда можно рассчитывать на успех, на решительную победу...»

«Верные слова, — подумал Сталин, — и труд достойный, даже при том, что «дед» Шапошников излишне в нем кокетничает и извиняется перед просвещенным военным читателем...»

Положив книгу на место, Сталин задумался, а затем размеренно, будто с облегчением, произнес:

— ...С полным знанием своей роли... вложить всего себя... только тогда можно рассчитывать на решительную победу.

## 8

На одном из домов по Можайскому шоссе, недалеко от его слияния с Дорогомиловской улицей, еще с майских праздников висел огромный портрет Сталина. Проезжая здесь на машине, Сталин иногда бездумно

скользил взглядом по портрету. И только сегодня обратил внимание, что портрет этот скопирован со знакомой ему обложки журнала.

Вспомнился 1937 год, морозный январский или февральский день. Сразу после приезда в Кремль он принял немецкого писателя-антифашиста Лиона Фейхтвангера. Беседа велась через переводчика. С нелицеприятной прямотой Фейхтвангер, после того как Сталин ответил на его вопросы, заговорил о не знающем меры культе личности Сталина в Советском Союзе. Сталин согласился с этим и в шутку сказал:

«Что поделаешь?.. У рабочих и крестьян такая натура: если любят, так до безграничности, если ненавидят, так идут на баррикады».

«Но зачем на демонстрациях и на фасадах домов сотни тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами?» — спросил Фейхтвангер, видимо, больше интересуясь не существом вопроса, а тем, как Сталин выкрутится из неловкого положения.

Сталин в чуть насмешливой улыбке прищурил глаза, пыхнул в сторону Фейхтвангера облаком табачного дыма и ответил:

«А чтобы этот усатый человек, в случае необходимости идти на баррикады, указывал правильный путь. — Сталин вновь задымил трубкой и продолжил: — То, что слишком большие портреты, — от недостатка вкуса. Трудовой человек строит социализм с таким энтузиазмом, что в область культуры вторгается пока лишь в той мере, в какой требует его дело. Придет время, и простой народ наверстает упущенное. Но должен также сказать, что, когда я вижу множество портретов Сталина, я при этом еще и вижу, что в мускулистых руках подняты те идеи, за которые борется по заветам Ленина Сталин, борется партия большевиков».

«Я и сам тоже пришел к такому выводу, — серьезно произнес Фейхтвангер. — Но случается, когда ваши люди, несомненно обладающие вкусом, выставляют бюсты и портреты Сталина в местах не совсем подходящих. Например, огромный бюст при входе на выставку Рембрандта. По-моему, Сталину под одной крышей с Рембрандтом неуютно».

«В самом деле там выставлен бюст?» — удивился Сталин и помрачнел.

«Да, я видел...»

Наступило молчание. Сталин стал расхаживать по кабинету.

«Дураки, — наконец заговорил он без всякой запальчивости. — Среди интеллигенции есть люди, не сразу пришедшие в наши ряды. Некоторые из них с удвоенным рвением стараются доказать преданность Советской власти. А подхалимствующий дурак приносит вреда больше, чем сотня врагов... Не исключен и злой умысел, чтобы дискредитировать Сталина».

«Только я не хочу быть причиной разбирательства, — просительно заметил Фейхтвангер. — У вас при таких обвинениях грозит тяжкая кара».

«Да, с врагами мы не очень церемонимся, — жестковато заметил Сталин. — Но все-таки я не думаю, что бюст Сталина водрузили специально к выставке Рембрандта. Видимо, он стоял там и до выставки». — И Сталин, подойдя к своему столу, сделал карандашом пометку на календаре.

И сейчас, когда машина мчалась по Арбату, ему вспомнилась первомайская демонстрация, колонны ликующих людей с портретами Ленина, Сталина, членов Политбюро, с транспарантами, лозунгами, цветами. Половодье улыбок, шквал возгласов — искренняя любовь, глубокая вера и преданность народа зримым сверкающим потоком захлестывали трибуну Мавзолея и его, Сталина...

Да, так было... Иначе и быть не могло, ибо тогда пронесшиеся через жизнь народа бедствия, связанные с попранием законности, еще не отождествлялись с именем Сталина. В сознании огромного большинства людей кто угодно мог быть виноватым в жестоких перегибах классовой борьбы, только не Сталин. И когда наступила пора военных испытаний, на-

род, естественно, обращал свои вопрошающие взоры к нему, а он — к народу и его истории...

Кортеж черных лимузинов, в одном из которых ехал Сталин, промчался через Боровицкие ворота на территорию Кремля.

В своем кабинете Сталин посмотрел на висевшие на стене портреты Маркса, Энгельса и Ленина. В это время зашел Молотов. Он поздоровался и с недоумением проследил за устремленным на стену взглядом Сталина.

Кивнув в ответ на приветствие, Сталин, заметив удивление Молотова, усмехнулся и пояснил:

— Прикидываю, где лучше портреты повесить.

— Чьи портреты? — Молотов удивился еще больше.

— Твой да мой.

— Шутишь, Коба! — Молотов коротко засмеялся.

— А чьи тогда? — Сталин с веселым любопытством поглядел на Молотова.

А тот, вспомнив вчерашний острый разговор в Наркомате обороны, засмеялся громче и ответил:

— Может быть, Тимошенко и Жукова?

— Это ближе к истине, — ответил Сталин, посерьезнев. — Портреты Тимошенко и Жукова, может, повесим после нашей победы. А сейчас надо, чтобы мы видели здесь портреты Суворова и Кутузова.

— Да, в этом есть резон, — согласился Молотов.

Оба сели: Сталин — в свое рабочее кресло, Молотов — на стул у стола. Понимающе, с тенью горечи и тревоги посмотрели друг на друга.

— Чаю хочешь? — спросил Сталин.

— Благодарю, — отрицательно качнул головой Молотов. — Чаепитие располагает меня к неторопливым разговорам. А дел пропасть. Во-первых, настоятельно атакует английский посол. Сильно обижается господин Криппс, что ты не торопишься принять его.

— Наша неторопливость, учитывая, что перья летят с нас, а не с Черчилля, не уронит нас в глазах англичан и еще кое-кого...

— Посол дает понять, что Черчилль поручил ему встретиться в первую очередь лично с тобой.

— Пусть еще потомится... Разберемся со своими сложностями, наметим программу действий, потом начнем встречаться с дипломатами.

— И во-вторых, — продолжил Молотов ранее начатую мысль, — сегодня на Политбюро и Совнаркоме надо рассмотреть проект общего мобилизационного народнохозяйственного плана на третий квартал этого года. Иначе заморозим деятельность Госплана.

— Хорошо, — согласился Сталин и начал набивать табаком трубку. — Но давай, товарищ Молотов, все по порядку. Скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что нам надо решительно и немедленно сосредоточивать гражданскую и военную власть в одних руках?

Молотов посмотрел на Сталина с пониманием истоков его тревог и, побарабанив пальцами по столу, раздумчиво ответил:

— Да, эта мысль неоднократно приходила и мне. Надо, чтобы все в государстве глубоко поняли и ощутили, что партия берет на себя полную ответственность за руководство народом и армией в столь тяжелейшие дни. Это пойдет на пользу и высшему военному командованию. У него появится больше уверенности и раскованности в мышлении, в принятии важнейших решений, которые будут обретать силу закона при одобрении... высшей военно-партийной, что ли, инстанцией... Не знаю, как точнее ее наименовать.

— Я помню, как было в ноябре восемнадцатого, — сказал Сталин.— Усложнились дела на фронте, и ВЦИК без промедления учредил Совет

Рабочей и Крестьянской Обороны под председательством Ленина. Нам нужен орган в этом роде, с широкими функциями.

— Совершенно с тобой согласен, — убежденно заметил Молотов. — Так будет легче мобилизовать наши военные и материальные возможности, легче подчинить работу государственного аппарата нуждам фронта... Впрочем, я вижу, ты уже выносил какую-то определенную структуру. — Молотов потянулся рукой к стопке бумаги на столе Сталина. Положил перед собой чистый лист и взял карандаш. — Начнем формулировать проект документа?

За многие годы совместной работы они научились понимать друг друга с полуслова.

— Да, есть у меня наброски в уме, — сказал Сталин и задумчиво посмотрел в раскрытое окно. — Этот орган предлагаю назвать Государственным Комитетом Обороны, или сокращенно ГКО.

Обменивались мнениями, уточняли формулировки, и карандаш в руке Молотова оставлял на листе бумаги строчку за строчкой:

«Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, признали необходимым создать Государственный Комитет Обороны под председательством тов. Сталина И. В.

В руках Государственного Комитета Обороны сосредоточивается вся полнота власти в государстве. Все граждане и все партийные, советские, комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета Обороны».

Когда проект постановления еще раз прочли вслух, Сталин сказал:

— Тебе, товарищ Молотов, быть заместителем Председателя ГКО.

— А кого предлагаешь в члены?

— Это вопрос не такой простой. — Сталин сдержанно засмеялся и пояснил причину своего мимолетного веселья: — Тут, как в одной карточной игре: недобор — плохо, и перебор — не лучше.

— Сравнение сомнительное, — иронически заметил Молотов, — но мысль ясна.

— Думаешь, Сталин боится обидеть кого-нибудь из членов Политбюро? Сейчас не до личных обид.

— Что из этого следует? — Молотов был несколько озадачен.

— Следует поучиться у Ленина, — задумчиво ответил Сталин. — Ночью я перечитывал кое-что... Например, в письме «Все на борьбу с Деникиным!» Владимир Ильич будто для сегодняшнего дня дает нам советы. Разве не современно звучат такие слова Ленина?.. — Отведя в сторону глаза, Сталин начал вспоминать: — «...Всякое раздувание коллегиальности, всякое извращение ее, ведущее к волоките, к безответственности, всякое превращение коллегиальных учреждений в говорильни является величайшим злом...» Верные слова?

— Очень верные, — согласился Молотов. — Если мне память не изменяет, ниже в этом письме Владимир Ильич развивает эту мысль. Он говорит, что дальше абсолютно необходимого минимума коллегиальность не должна идти ни в отношении числа членов коллегии...

— Ни в отношении делового ведения работы, — дополнил Сталин.

— А потом речь идет о стиле работы.

— Да, о стиле. Ленин категорически напоминает, что коллегиальность должна быть сведена к самому краткому обсуждению самых важных вопросов в наименее широкой коллегии, а *практическое распоряжение* учреждением, предприятием, делом, задачей должно быть поручаемо *одному товарищу*, известному своей твердостью, реши-

тельностью, смелостью, умением вести практическое дело, пользующемуся наибольшим доверием... Вот, товарищ Молотов, как учит нас Ленин!

— Наука сия очень ко времени.

— И от нее мы ни на шаг! — Сталин ребром руки слегка ударил по столу. — Сейчас особенно надо сверять наши дела по Ленину. А если кто будет обижаться на жесткость...

— Не привыкать к этому, — перебил его Молотов.

— Верно... Поэтому я предложу на Политбюро ввести в Государственный Комитет Обороны пока только тебя, Ворошилова и Маленкова.— Тут же на чистом листе бумаги под рукой Сталина лег столбик фамилий.

— Понимаю. — Молотов утвердительно кивнул. — Каждый курирует одну из главных сфер.

— Сейчас надо поставить дело так, чтобы все эти сферы слились в цельный организм. И мы должны непрерывно держать руку на его пульсе. А потом дело покажет, кому еще надо быть членом ГКО.

После краткой паузы Молотов со скрытой тревогой спросил:

— Что на фронтах?

— Еще не докладывали. — Сталин взглянул на электрические часы, вмонтированные в стену над входом в кабинет. — Сегодня же, как только утвердим Госкомитет Обороны, примемся за перемещения в военном руководстве.

— Какие перемещения? — удивился Молотов.

Сталин помедлил, раздумывая, переложил с места на место бумаги, лежавшие перед ним на столе. Казалось, что он сейчас скажет что-то особенно важное, выношенное в муках сомнений. И Сталин действительно сказал:

— Думаю, будет правильным, если в этой критической ситуации Западный фронт возглавит лично нарком обороны Тимошенко...

— Сам Тимошенко? — Молотов устремил на Сталина взгляд, в котором сквозило беспокойство.

— Именно Тимошенко. — Сталин загадочно улыбнулся и сунул под усы трубку.

— Иосиф, а не кажется ли тебе, — Молотов не спускал с него напряженного взгляда, — не кажется ли тебе, что военные могут подумать, будто вчерашний конфликт явился причиной для такого назначения?

— Да, к сожалению, могут подумать, — согласился Сталин и досадливо поморщился. — Тем более что действительно вчерашний вечер дал толчок для размышлений на этот счет.

— Вот видишь...

— Но... — Сталин приподнял над столом ладонь правой руки, как бы попросив слушать его дальше, — конфликта ведь, как такового, не было. У нас не возникло разных точек зрения на положение дел... Был нервный разговор, который нас не украшает... Причины его — минская трагедия... Я уверен, что военные воспримут такое решение правильно: на самый опасный фронт едет первый человек в Вооруженных Силах... Чтобы Тимошенко чувствовал там себя увереннее и мы чувствовали себя спокойнее, членом Военного совета будет у него товарищ Мехлис, а первым заместителем — товарищ Буденный, учитывая, что резервные армии Буденного обстановка вынуждает включить в состав Западного фронта.

— В этом плане надо бы побеседовать с Тимошенко и Жуковым, — поразмыслив над услышанным, предложил Молотов.

— А вот это лишнее! — возразил Сталин. — Будем возвращаться ко вчерашнему инциденту, им покажется, что мы действительно придаем ему значение.

— Да, но с Еременко не очень ладно получилось, — вспомнил Молотов. — Он же сегодня вступает в командование Западным фронтом.

— Ничего. Генерал-лейтенанту Еременко не будет зазорно стать одним из заместителей маршала Тимошенко.

— А Ставка?! Ты не забыл, что Тимошенко — еще и председатель Ставки Главного командования?

— Нет, не забыл. — Посмотрев на озадаченного Молотова, Сталин притушил в глазах грустную лукавинку. — Функции председателя Ставки, по логике вещей, механически перекладываются на председателя ГКО... Со временем Ставку мы преобразуем в Ставку Верховного командования.

— Ну, товарищ Коба!.. Вижу, ты серьезно поработал! — Молотов покачал головой.

— Да, поработал, — согласился Сталин, и его утомленное лицо помрачнело и будто уменьшилось. — Принял, как видишь, решение взять на себя руководство военными действиями. Другого выхода не нахожу.

После затянувшейся паузы Молотов спросил:

— Совсем не спал?

— Коль мы оказались в таком положении, кто-то должен мало спать и много думать. — Сталин забарабанил пальцами по столу и, не поднимая набухших желтоватых век, продолжил: — Надо оказать помощь и командованию Северо-Западного фронта: послать туда кого-то из сильных генштабистов.

— Вероятно, речь может пойти о Ватутине? — Молотов пристально посмотрел на Сталина.

— Может быть... Кстати, он сам просился на фронт. — Сталин вскинул на собеседника задумчивый взгляд. — А что?.. Действительно надо послать генерал-лейтенанта Ватутина... Пусть осмотрится, а потом возглавит штаб Северо-Западного...

— Не командующим?

Зазвенел на столе один из телефонов, и Сталин, положив руку на аппарат, ответил Молотову:

— Он превосходный начальник штаба... А потом посмотрим. — И поднял трубку: — Слушаю.

Звонил Мехлис, просил принять его.

— На ловца и зверь бежит, — сказал Сталин, выдохнув облачко табачного дыма.

— Слушаю вас, товарищ Сталин.

— Очень трудно сейчас на Западном фронте. Мы посоветовались и решили, что будет правильно, если вы поедете туда в качестве члена Военного совета.

— Товарищ Сталин, — в голосе Мехлиса послышалось волнение, — вы находите, что я не справляюсь на посту наркома государственного контроля?

— Вопрос поставлен неправильно, — недовольно сказал в трубку Сталин.

— Понял, товарищ Сталин! — Волнение Мехлиса приобрело торжественность. — Кому прикажете сдать наркомат?!

— А не надо никому сдавать, — бесстрастно ответил Сталин. — Нарком Тимошенко будет командовать Западным фронтом, а один из заместителей председателя Совнаркома и нарком госконтроля Мехлис будет у него членом Военного совета.

— Благодарю за доверие, товарищ Сталин! — Голос Мехлиса звучал приподнято.

— Вот это другой разговор, — заметил Сталин и тут же спокойным приказным тоном добавил: — Прибудете на Западный, обсудите на Военном совете, кто там еще, кроме Павлова, виновен в серьезных ошибках...

— Есть, товарищ Сталин!

Сталин положил трубку на аппарат, и в это время в кабинет один за другим вошли члены Политбюро. У всех — усталые, озабоченные лица. Поздоровавшись со Сталиным и Молотовым за руку, они рассаживались за столом, раскрывали принесенные с собой папки с документами.

— Товарищи Тимошенко и Жуков! — доложил, появившись в дверях, Поскребышев, одергивая под широким ремнем гимнастерку.

— Пусть входят. — В звенящей тишине слова Сталина прозвучали с будничным спокойствием. Он поднялся с кресла со знакомой медлительностью.

Тимошенко и Жуков поздоровались со всеми, кивнув головами и прищелкнув каблуками сверкающих сапог. Вид у них был измученный: в потемневших, суровых лицах таилось напряжение, а в глазах — чуть ли не самоотреченность.

Сталин не спеша приблизился к вошедшим, подал руку вначале Жукову, а потом Тимошенко, пахнул из трубки сизым облачком дыма, на мгновение столкнувшись бесстрастным взглядом с их пасмурными взглядами.

— Товарищ Жуков, проверьте, сдал ли Павлов командование фронтом, и доложите мне. — Голос Сталина был, как обычно, ровным, будто при последней встрече с военными он и не вскипал от ярости.

— Есть, доложить о Павлове, товарищ Сталин!

## 9

Пока война не началась, генералу армии Дмитрию Григорьевичу Павлову казалось, что она и не начнется, что ее удастся избежать, хотя обстановка на границе была очень тревожной. Даже на рассвете 22 июня, когда в штабе Западного Особого военного округа расшифровали директиву Генштаба и когда этот запоздалый приказ передали в нижестоящие штабы, Павлов и тогда еще не верил в реальную возможность большой агрессии. Ведь в ту ночь ему опять требовательно напоминали из Москвы: смотри в оба, не дай спровоцировать себя на вооруженное столкновение... Может, война, а может, и нет...

Самым опасным направлением в полосе округа считалось белостокское, и Павлов, не зная, что через полчаса начнется война, вызвал к телеграфному аппарату командующего прикрывающей это направление 10-й армией генерала Голубева. Параллельно с посылаемой шифровкой предупредил его: «В эту ночь ожидается провокационный налет фашистских банд на нашу территорию... Наша задача — пленить банды. Государственную границу переходить запрещается». И согласно той же директиве Генштаба приказал привести войска в боевую готовность...

А когда стало ясно, что все усилия «не спровоцировать» агрессию ни к чему не привели и что, кажется, разразилась самая настоящая, тщательно подготовленная немцами война (это внушительно подтвердил и воздушный налет на Минск), командующий Западным Особым военным округом Павлов понял опасность, перед которой оказались прикрывавшие границу войска трех подчиненных ему армий, и представил объем всего того, что требовалось неотложно предпринять, но на что уже не было времени.

Надо было знать крутой нрав этого сорокачетырехлетнего генерала армии. В своих запальчивых и отрывочных рассуждениях он не щадил никого: ни руководителей Наркомата обороны, которые так настоятельно предупреждали о возможных провокациях, ни себя, что слепо уверовал, будто начало войны должны в первую очередь предугадывать не генералы, а дипломаты и политики, и поэтому в предвидении войны исподволь

не сделал многого, что мог сделать; не миловал командующих армиями, ни разу решительно не ударивших в колокола тревоги; не прощал и своих штабников, которые чутко прислушивались к мнению начальства, а на дышавшие грозой разведдонесения армий смотрели с недоверием. Однако негодование командующего фронтом уже ничего не могло ни изменить, ни упрочить. Чем больше выявлялось виноватых, тем меньше было шансов быстро исправить последствия их вины. Стало ясно, что войска не успели к моменту нападения врага выйти из лагерей или гарнизонов, покинуть полигоны, оставить места работ и развернуться в боевые порядки, оказать агрессору организованное оперативное противодействие.

Штаб Западного фронта по тревоге переехал из Минска в Красное урочище — недалеко от города. Но никакие усилия наладить устойчивую проводную или радиосвязь со штабами армий и корпусов не давали результатов. И Павлов поспешно засобирался туда, на запад, к армиям, а точнее — в 10-ю армию, на участке которой, как он предполагал, разыгрывались главные события и куда ранним утром улетел его заместитель генерал-лейтенант Болдин. Надеялся, что своим личным участием он хоть как-то повлияет на события, предпримет что-то важное и безотлагательное и, наконец, толком разберется, что же случилось.

Чем дальше автомобиль Павлова углублялся на запад, тем плотнее становился на дорогах поток беженцев: пеших, на автомашинах и повозках, с колясками, тачками и велосипедами. Шли и ехали женщины и дети, старики и старухи, подростки и раненые красноармейцы. Слышался разноязыкий говор: русский, белорусский, польский, еврейский.

У мостов через речки и речушки, на развилках дорог и перекрестках, на въездах в города и местечки и на выездах из них нагло орудовали переодетые фашистские диверсанты. А тут еще непрерывные бомбежки с воздуха...

Пробиться на командный пункт 10-й армии было невозможно. В этот день командующий фронтом понаблюдал развертывание некоторых частей второго эшелона, отдал кое-какие распоряжения, наслушался недоуменных вопросов, на которые ответить не мог, и от чувства бессилия, от звучавших в этих вопросах упреков и недомолвок приходил в ярость.

Под вечер его разыскал связной мотоциклист, привезший записку от начальника штаба. Генерал Климовских сообщал, что нарком обороны строго приказывает Павлову немедленно вернуться на командный пункт фронта...

В штабе фронта Павлов застал прилетевшего из Москвы маршала Шапошникова. Борис Михайлович сидел в землянке оперативного отдела и сумрачно всматривался в карту, на которой были нанесены первые, далеко не полные и от этого еще более грозные сведения о противнике.

Появление маршала Шапошникова, а несколькими днями позже приезд маршала Ворошилова приободрили Павлова. Опытные военачальники, они весьма деятельно принялись оказывать ему помощь в разгадывании замыслов противника, в оценке оперативных ситуаций, принятии решений, использовании резервов. Но Павлов не почувствовал облегчения, ибо не мог переложить на маршалов свою ответственность за развитие событий в полосе фронта; он только как бы обрел в них весьма авторитетных свидетелей своей деятельности в этих тяжелейших условиях, когда не было устойчивой связи с действующими войсками и в воздухе господствовала немецкая авиация.

Все дни и ночи первой недели войны были наполнены напряженной штабной работой и тревогами предельного накала. Павлов сидел у аппаратов связи или над картами и документами — в одиночку и с начальником штаба, с начальниками управлений и служб фронта, часто с мар-

шалами Ворошиловым и Шапошниковым. Делали все, чтобы прикрыть подступы к Минску, непрерывно маневрировали резервами, пытаясь связать противнику руки, как можно больше сковать и перемолоть его сил и создать ситуации, которые бы привели немецкое командование к просчетам. Маршал Шапошников употреблял для этого все свои знания, свое умение предвидеть, разгадывать и оценивать.

Достигли только одного: нанесли вторгшейся в пределы Белоруссии фашистской армии чувствительные потери. Однако немецкое командование, хоть и снизило темп наступления, весьма мобильно наращивало силы.

Павлов, да и не только он один, не мог постигнуть истинного положения дел. В его сознании события, стремительно усложняясь, сплавлялись в единый угрожающий поток. Одни труднейшие ситуации порождали другие, еще более опасные, грозящие далеко идущими тяжелыми последствиями. Даже в короткие часы сна не знал он покоя. Только закрывал глаза, как перед ним то ли возникала необозримых размеров рельефная карта, то ли мерещилось пространство с лесами и полями, реками и дорогами, и эту карту-пространство в разных направлениях пронизывали обозначавшие оперативную обстановку живые, как молнии, стрелы — желтые, синие, красные, зеленые, черные. И он мучительно пытался разобраться в их грозном значении, холодея от догадки, что никак не успеет что-то упредить, предпринять что-то очень важное. Просыпался разбитый, измученный и, знакомясь с противоречивыми донесениями из района боевых действий, убеждался, что действительность не сулит ничего утешительного.

А 30 июня утром на командном пункте, который в то время находился в лесу северо-восточнее Могилева, появились генералы Еременко и Маландин — новые командующий и начальник штаба Западного фронта.

Дмитрий Григорьевич сидел за завтраком, когда в палатку вошел генерал-лейтенант Еременко. Они — давние знакомые, и Павлов пригласил гостя к столу, не удивившись его появлению. Но Еременко от завтрака отказался и протянул ему бумагу — предписание наркома обороны.

Прочитав документ, Павлов нахмурился: его поразил не только сам факт смещения с поста командующего фронтом, а и то обстоятельство, что он, генерал армии, Герой Советского Союза, должен сдать фронт всего лишь генерал-лейтенанту, командовавшему до этого корпусом и очень непродолжительное время армией на Дальнем Востоке. К тому же военную академию Еременко окончил лет на десять позже него. Но размышлять над этими пусть горькими, но все-таки малозначащими обстоятельствами было некогда, и Павлов, ничем не выдав своей удрученности, почти равнодушно спросил:

— Начальник штаба тоже снят?

— Да.

— А куда же теперь нас?

— Не могу знать, — с чувством неловкости ответил Еременко, понимая, что происходит сейчас в душе Дмитрия Григорьевича.

Павлов в общих чертах ознакомил нового командующего с обстановкой на фронте, затем приказал оперативному дежурному созвать руководящих работников штаба фронта, а сам направился в палатку маршала Ворошилова.

Климент Ефремович сидел за столом в одной майке, был хмур и неприветлив. По его настроению Павлов понял, что маршал уже знает о смене командующего и начальника штаба фронта, и не стал задавать ему вопросов. Только со вздохом сказал:

— Что может сделать Еременко? Сломит шею, как я сломал.

— Не торопись петь панихиду по себе, — невесело ответил Ворошилов. — Езжай в Москву и доложи обо всем Сталину.

Ворошилов встал из-за стола, сдвинул в сторону карту, над которой сидел, и кивком выпроводил из палатки ординарца, подшивавшего к его гимнастерке свежий подворотничок.

— В чем именно я виноват?! — Павлов не спускал с Ворошилова болезненно-напряженного взгляда.

— Не делал то, что тебе как командующему приграничным округом полагалось делать и что не входило в компетенцию правительства! Надо было в порядке плановых учений собрать войска и привести их в боевую готовность. Почему артиллерия в такое время оказалась на полигонах и с боеприпасами только для учебных стрельб? А как можно было так подставить под удар свою авиацию?.. — Ворошилов умолк, видя, что Павлов побледнел. Затем махнул рукой: — Ладно, не будем об этом. Не время, да и без толку.

— Значит, меня вызывают в Москву, чтобы я держал там ответ? — удрученно спросил Павлов.

— Меня никто не уполномочивал давать тебе какие-либо объяснения, — сердито ответил Ворошилов. — Одно советую: приготовься к трудному разговору в Москве.

## 10

В кабинете Сталина слоился в лучах электрического света ароматный табачный дым, и всем было душно оттого, что для светомаскировки сдвинуты на окнах новые темные шторы. В эти дни Политбюро, кажется, заседало непрерывно.

Неслышным шагом к столу Сталина подошел с красной папкой в руках Поскребышев и положил ее, предварительно раскрыв.

— Шахурина пригласили? — спросил Сталин, чуть склонив голову над папкой.

— Да, — ответил Поскребышев и, кинув взгляд на сидевших за длинным столом членов Политбюро, вышел из кабинета.

Медленно, будто с трудом разбирая написанное, Сталин начал читать вслух сведения о потерях в воздухе и, главным образом, на земле наших боевых самолетов в первый день войны. Они были удручающими... А сколько в последующие дни?

У Сталина, похоже, кровь кипела в жилах от негодования. Он потемнел лицом и как-то съежился. Уже в который раз за последнее время с раздражением думал о генерале армии Павлове... Авиачасти его фронта понесли самые тяжелые потери!.. Как их восполнить? Останется ли у немцев превосходство в самолетах?

Он многое знал о германской авиации. Непрерывно требовал от разведуправления Генерального штаба все новую информацию. Генштабу было хорошо известно, что еще в двадцатых годах Германия, в нарушение Версальского договора, начала тайком конструировать военные самолеты и заключать сделки с заграничными фирмами на их постройку. Уже тогда в разведсводках стало мелькать имя конструктора Эрнеста Хейнкеля. Потом внимание советской разведки привлекла молодая «Самолетостроительная компания в Бамберге» Вилли Мессершмитта. Она будто бы занималась строительством спортивных, учебных и почтовых самолетов. Вскоре после прихода к власти фашистов стало ясно, что спортивные и учебные самолеты Мессершмитта — не что иное, как закамуфлированные боевые истребители, а почтовики — бомбардировщики. Немало знал Сталин и из того, что касалось действовавшего потом в

Испании легиона «Кондор» (он включал в себя и различные части немецких военно-воздушных сил). Испания явилась не только опытным полем боя, на котором Гитлер, погубив тысячи человеческих жизней, испробовал возможность люфтваффе, но и грозным предостережением для других стран и правительств. Кровавая трагедия Мадрида и Барселоны, Герники и Нулеса, над которыми практиковались фашистские летчики, сея смерть и стирая с лица земли села и городские кварталы, должна была кое-чему научить близких и не столь близких соседей Германии. Научила кое-чему... Напомнила известную истину, что один час, употребленный с пользой, стоит многих лет, проведенных в объятиях покоя. И хотя Советский Союз в последние годы не знал ни часа покоя, ему предстояло набирать ту особую скорость, при которой препятствия преодолевают с ходу. Надо было очень спешить, хотя к началу 1939 года число наших самолетных и моторных заводов по сравнению с последним годом первой пятилетки утроилось. Надо было торопиться, несмотря на то что к концу тридцатых годов советская авиация поразила человечество небывалыми перелетами и фантастическими рекордами в воздухе, а также имела лучшие в мире по скоростям самолеты. Стояла задача: как можно быстрее перевооружить советские Военно-Воздушные Силы новой техникой.

В 1939 году Советское правительство приняло ряд важнейших постановлений о реконструкции существующих и строительстве новых самолетных заводов. В 1940 году в аппарате ЦК партии были образованы авиационный отдел и специальная комиссия, которые ежедневно направляли строительство предприятий авиационной промышленности. К концу 1941 года планировалось удвоить число авиационных заводов, умножить число агрегатных и приборных. А в научно-исследовательских институтах, в конструкторских бюро не различали ни дней ни ночей, с рассудительной дерзостью перешагивая через невозможное. На помощь пришли все доступные науки, позволив человеку новыми усилиями разума раздвигать границы известного и доказанного. И уже учитывались не месяцы и даже не недели, а дни и часы, когда речь шла о конструировании, испытаниях, доводках и пуске в серийное производство новых боевых самолетов.

В поисках наилучшего варианта машины воздушного боя соперничала большая группа одаренных конструкторов и инженеров. К сороковому году на суд государственной комиссии был представлен добрый десяток одних только истребителей, претендовавших на серийный запуск. Но в трудных испытаниях взяли верх самолеты молодых конструкторов Микояна и Гуревича, Яковлева и Лавочкина, Горбунова и Гудкова. Их самолеты оказались лучшими. Вне конкуренции проходили бронированный штурмовик — «летающий танк» Ильюшина, пикирующий бомбардировщик Петлякова и бомбардировщик Туполева.

Лозунг «Кадры решают все!» был железным законом, который неутомимо проводили в жизнь на Старой площади, в Кремле и во всех звеньях партийно-государственного аппарата. Кадры решали все... Это ясно как божий день. Но предельная ясность еще не свидетельствовала о легкости задачи. Нужны были усилия — умные, непреходящие, с четким пониманием того, что для великих тревог есть веские причины: мир томился в предчувствии кровавых потрясений.

В 1937 году начальник управления Гражданского воздушного флота Молоков попросил Сталина назначить ему заместителя ввиду увеличившегося объема работы. Выслушав Молокова, Сталин поручил одному из секретарей ЦК подобрать подходящую кандидатуру. Через несколько дней ему назвали Шахурина Алексея Ивановича, парторга ЦК самого крупного в стране авиационного завода. У Алексея Шахурина — рабочее

происхождение, за его спиной инженерно-экономический институт, серьезные самостоятельные шаги как специалиста в коллективе авиационного завода, работа в Военно-воздушной академии имени Жуковского. Много раз Шахурин избирался в руководящие партийные органы.

— Да, кандидатура подходящая, — согласился Сталин, с удовлетворением отметив, что Шахурину всего лишь тридцать два года. — Побеседуйте с ним и назначайте.

Через день-два секретарь ЦК не без смущения доложил Генеральному секретарю:

— Товарищ Сталин, с Шахуриным не получается.

— Почему?

— Приглашал я его к себе и к Молокову посылал на беседу. Просит не срывать его с поста парторга ЦК авиазавода. Работает он там недавно, только освоился, познакомился с людьми... Говорит, для коллектива завода его уход будет непонятен... Вам решать, товарищ Сталин.

— Что же решать? — после паузы раздумчиво произнес Сталин. Он раскрыл папочку, в которой лежала справка об Алексее Шахурине, посмотрел на приколотую к анкете фотокарточку. — Товарищ Шахурин зрело судит о роли представителя ЦК на заводе. И конечно же, надо считаться с мнением коллектива. Молодец, что не соблазнился высоким постом.

— Рекомендует вместо себя двоих товарищей.

— Кого именно?

— Семенова или Белахова — оба из Академии имени Жуковского. Хорошо их характеризует.

— Займитесь ими. Рекомендациям такого человека, как Шахурин, можно верить... — Потом, несколько поразмыслив, Сталин добавил: — Хорошее в нем сочетание: принципиальный партиец, вооруженный комплексом знаний авиатехники... Передайте Шахурину, пусть остается на заводе. А для себя заметим, что не очень надолго.

Первые шаги в своей трудовой жизни Алексей Шахурин сделал на заводе «Манометр» подручным кузнеца. Затем его рабочая молодость наполнилась комсомольскими хлопотами. И напряженной учебой... Где бы потом ни работал — в цехе завода или в лаборатории академии, — всегда его тревоги и радости слагались из двух почти равнозначных величин — из того, что созидали его ум и руки инженера, и из самозабвенного служения общественно-партийному делу. Когда со временем из Военно-воздушной академии Шахурина послали на авиационный завод парторгом ЦК, он не отнесся к этому, как к большой перемене в своей жизни, ибо словно и не покидал родной стихии. Просто начал глубже постигать заботы и характеры новых людей, за которых теперь был в ответе, и направлять партийную работу, ставшую сущностью его жизни.

И вдруг снова вызов на Старую площадь, предложение занять пост одного из руководителей Гражданского воздушного флота. Это несколько нарушило душевное равновесие Алексея Шахурина, даже заставило подумать о себе с некоторым удивлением, но бросать только что начатое дело не счел возможным. И напрямик сказал об этом.

Его оставили в покое, но ненадолго. Через несколько месяцев снова последовал вызов в Центральный Комитет партии.

— Товарищ Шахурин, Центральный Комитет рекомендует вас первым секретарем Ярославского обкома партии, — сказали ему. — Поезжайте на завод и сдайте дела.

— Но сегодня суббота, рабочий день кончился.

— Надо... В понедельник вы должны быть на месте.

— Но я в военной форме. У меня даже нет подходящего гражданского костюма.

— В понедельник вас ждут в Ярославле... До свидания.

«Надо»... В те времена одно это слово набатным кличем поднимало людей с насиженных мест. Надо возводить Днепрогэс!.. Надо строить Магнитку!.. Надо, чтоб на Амуре вырос город Комсомольск! Надо помочь республиканской Испании!.. Надо отстоять рубежи на Халхин-Голе!.. Легионы добровольцев всегда готовы были откликнуться на очередное «надо»: народ пребывал в состоянии духовного и гражданственного обновления. А имена людей, умевших понимать, разделять и, главное, направлять эти окрашенные революционной романтикой страсти в русло прогресса и созидания, начинали звучать в стране как символы воспламеняющей энергии, добра и справедливости.

Так вскоре зазвучало на Ярославщине имя молодого партийного руководителя Алексея Шахурина. А добрая слава человека всегда бежит впереди него. Не прошло и года, как Шахурин стал первым секретарем комитета партии Горьковской области — одной из тех прославленных областей, заводы которой являли собой промышленное ядро государства.

Нелегко быть руководителем крупнейшей партийной организации, направляющей работу этого звенящего сталью механизма, не так просто обеспечивать ритмичное биение пульса десятков предприятий и отвечать за нормальную жизнь сотен тысяч людей. Надо... И пусть нет границ твоему человеческому напряжению, пусть не будет у тебя отдыха, не будет личной жизни... Такое время... Время высочайшего воодушевления — день и ночь, ночь и день; неделя за неделей, месяц за месяцем. Но и нет отупляющей усталости, а есть восторженное чувство твоей личной причастности к историческому созиданию. Потомки могут позавидовать такой наполненности жизни. Индустриализация страны для тебя — не громкое газетное слово, а повседневное увлекательное дело, твоя судьба, твоя партийная биография. В любое время суток звонок из Москвы, из ЦК партии не должен застать тебя врасплох. Ты знаешь, ты обязан знать все, что делается на автозаводе, на «Красном Сормове», на станко- и на многих, многих других заводах, в районах, вузах, учреждениях. Ты отвечаешь не только за Горький, но и за Дзержинск, Муром, Павлов, Арзамас, за сельское хозяйство области, здравоохранение, образование, культуру...

Да, Москва всему голова. Что бы ты ни делал, какое бы решение областной комитет партии ни принимал, всегда мысленно обращаешься к Москве, будто советуешься. Ведь с высот Москвы видно дальше: вся панорама битвы за социализм перед ее глазами. И если ты чего недосмотрел, если в твоем необозримом хозяйстве допущена прореха, Москва не преминет это заметить, ибо область живет не сама по себе, а тысячами нервов связана со всей страной.

Звонок из столицы раздался и в один из январских вечеров 1940 года. Звонил секретарь ЦК.

— Товарищ Шахурин, можете сегодня выехать в Москву? — спросил он после обычных приветствий.

— Да, есть поезд через два часа, — ответил Алексей Иванович. — Но дело в том, что у нас сейчас проходит сессия областного Совета депутатов трудящихся. Я на ней председательствую.

— Скажите, что вы вызваны в ЦК, и перепоручите вести сессию другому. Сегодня же выезжайте...

Если вызывают в ЦК партии и не говорят, по какому поводу, то спрашивать не принято. Шахурин не спросил, обрекая себя на неведение до завтрашнего дня. Но когда на второй день был приглашен в кабинет секретаря ЦК, тоже не сразу узнал причину вызова.

— Сейчас мы с вами поедем к товарищу Сталину, — только и услышал Шахурин.

Недалек путь от Старой площади до Кремля, но Шахурин, волнуясь и теряясь в догадках, многое успел передумать. Вспомнил, как в президиуме XVIII съезда партии, когда Сталин, здороваясь, подал руку, Алексей Иванович назвал ему себя:

«Шахурин из Горького».

«Я вас знаю», — коротко ответил Сталин.

На этом съезде Шахурин выступал с речью и был избран членом ЦК.

Вспомнился совсем недавний «шапочный аврал», как окрестили его в области.

Случилось это 31 декабря часов в десять вечера — за два часа до нового, 1940 года. В кабинете Шахурина раздался звонок из Москвы.

«Сколько тысяч шапок-ушанок, таких, какую носит Сталин, могут срочно сделать в Горьком? — спрашивал все тот же секретарь ЦК. — И рукавиц с двумя пальцами, чтоб было удобно стрелять? Люди на Финском фронте мерзнут».

Ответить на такой вопрос без подготовки Шахурин не мог.

«Часам к двенадцати подсчитайте и позвоните мне. Это будет ваш новогодний подарок Иосифу Виссарионовичу».

Не без улыбки вспоминал Шахурин, с каким трудом пришлось разыскивать ночью людей и, к огромному их огорчению, изымать из веселых новогодних застолий.

Как бы там ни было, а к двум часам ночи в Москву доложили о количестве шапок и рукавиц, которое в ближайшие дни будет изготовлено и отправлено из Горького в действующую армию... Как потом оказалось, это была истинно неотложная задача.

Но зачем теперь вызывают его к Генеральному секретарю?..

Первый раз войти в кабинет Сталина — даже для члена ЦК, секретаря обкома — считалось событием необыкновенным...

— Заходите, вас ждут, — такими словами встретил их в приемной бритоголовый мужчина средних лет, в полувоенной форме. Шахурин знал, что это Поскребышев — помощник Сталина.

Когда вошли в кабинет, за длинным столом уже сидели Ворошилов и Молотов, а Шахурин, поздоровавшись, остался стоять недалеко от дверей, глядя, как из глубины кабинета неторопливым шагом к нему приближается Сталин.

— Здравствуйте, товарищ Шахурин. — Сталин протянул для пожатия руку.

— Здравствуйте, товарищ Сталин. — Шахурин отметил про себя, что они со Сталиным одного роста и взгляды их словно столкнулись, а не встретились.

Сталин, которому, кажется, не понравилось столкновение их взглядов, повернулся кругом и неторопливо направился в глубь кабинета, задумчиво глядя себе под ноги. Но с полпути вернулся и, приблизившись к Шахурину, притронулся указательным пальцем вытянутой руки к его груди.

— Товарищ Шахурин, — медленно заговорил Сталин знакомым глуховатым голосом, — мы имеем намерение назначить вас наркомом авиационной промышленности... Как вы к этому отнесетесь?

От неожиданности Шахурин почувствовал сухость во рту, а язык словно одеревенел. Некстати вспомнились чьи-то слова, будто Сталин не терпел, когда при разговоре с ним отводили взгляд, и, вспомнив об этом, Шахурин тут же почувствовал, что не может справиться со своим собственным взглядом: глаза сделались непослушными, поднять взгляд на

Сталина почему-то было трудно. Но все-таки переборол себя и, глядя в темные зрачки Генсека, сказал:

— Товарищ Сталин, это так неожиданно... Я не готов к такой большой работе... Я не справлюсь, товарищ Сталин.

— Ну вот, не справится! — с усмешкой воскликнул Ворошилов. — С такой областью справляешься, справишься и тут.

— А какую работу вы выполняли в Военно-воздушной академии? — спросил Молотов, с любопытством наблюдая, как Шахурин борется со своей растерянностью.

— Возглавлял научно-исследовательский отдел, — ответил Шахурин.

— А помните, — снова заговорил Сталин, направившись в глубь кабинета, — вы попросили не срывать вас с поста парторга ЦК авиазавода? Мы тогда согласились с вами. Это было правильно... А сейчас нам нужен на авиапромышленность энергичный руководитель, знающий специфику дела.

В это время в кабинет вошел Поскребышев и что-то тихо доложил Сталину.

— Пусть войдет, — ответил Сталин.

В кабинете появился авиаконструктор Яковлев — кряжистый, высоколобый, с непроходящей озабоченностью в глазах под густыми темными бровями. По-военному доложил, что прибыл по вызову.

Сталин поздоровался с ним за руку и, повернувшись к Шахурину, спросил:

— Вы знакомы с товарищем Яковлевым?

— Нет, не знаком.

— Тогда знакомьтесь. — Сталин обратился к Яковлеву, указывая на Шахурина: — Это новый нарком авиационной промышленности... Сколько вам сейчас лет, товарищ Шахурин?

— Тридцать пять.

— Вот видите, какой у нас молодой нарком! — Сталин, сказав эти слова Яковлеву, снова обратился к Шахурину: — А товарищ Яковлев — ваш заместитель по опытному самолетостроению.

Шахурин и Яковлев пожали друг другу руки, а Сталин с чуть приметной улыбкой, искоса наблюдая за их настороженным знакомством, стал вслух вспоминать:

— Еще в двадцать первом году Ленин в одной из статей резко критиковал членов партии, которые не умеют направлять работу специалистов... Таких коммунистов у нас много, писал он, и я бы их отдал дюжинами за одного добросовестно изучающего свое дело и знающего буржуазного спеца. Вот как ставился вопрос! — Сталин вновь приблизился к Шахурину и Яковлеву. — А сейчас мы можем сказать, что не возьмем и сотни буржуазных спецов за одного настоящего нашего спеца-коммуниста...

Алексею Шахурину стало ясно, что вопрос о его назначении решен и дискуссии исключены.

— Товарищ Сталин, разрешите мне поехать в Горький сдать дела? — спросил он.

— Нет, не надо вам ехать, — решительно ответил Сталин, словно ждал этого вопроса. — Ознакомьтесь с новым хозяйством и сами убедитесь, что вам и дня нельзя терять... В Горький поедет представитель ЦК... Кого бы вы рекомендовали там на свое место?

Шахурин, не задумываясь, назвал председателя облисполкома Михаила Ивановича Родионова, коренного горьковчанина. До этого тот работал секретарем райкома партии, а затем третьим секретарем обкома.

С тех пор народного комиссара авиационной промышленности СССР почти ежедневно вызывали в Кремль к Сталину, и Шахурину порой ка-

залось, что не он, а сам Сталин возглавляет авиапромышленность страны, а ему, наркому Шахурину, приходится быть недремлющим оком Сталина и исполнителем его суровой воли, быть его первым заместителем и советчиком по сложнейшим проблемам самолетостроения, быть в ответе за все, не имея права ошибаться. Сказать, что Алексею Шахурину было очень трудно, значит еще ничего не сказать: он будто постоянно решал задачу со многими неизвестными, не укладываясь в отведенное время и содрогаясь под укоряющими взглядами строгих экзаменаторов. Подчас ему мнилось, что судьба по чьей-то злой воле сыграла с ним недобрую шутку, уготовив такое трудное место на земле.

Впрочем, с какой стороны посмотреть на трудности. Разве можно с ними считаться, когда тебе еще далеко до сорока, а ты уже народный комиссар?! Нарком... Что-то легендарное и песенное слышится в этом гордом и звучном слове. Будто крылья выросли у тебя, и верится — все под силу!.. И ум твой вроде по-особому светел, и мысли твои простираются смело и далеко, и ты горд оттого, что доверили тебе огромное дело, что ты причастен к судьбам многих больших людей: ведь рядом с тобой ученые, конструкторы, изобретатели, имена которых либо известны всему миру, либо пока хранятся за семью печатями. И в твоем воображении уже поднимаются на востоке страны громады новых заводов, а в небе проносятся выпестованные при твоем участии новые самолеты, которым предписано летать выше всех, дальше всех и быстрее всех...

Однако каждый прожитый день наркома неумеренно жесток. В сутолоке бесчисленных дел глохнет в сердце радость, ибо слишком тревожно в мире и слишком сумрачны горизонты.

Прошло немногим больше года, как Алексей Шахурин стал наркомом. Авиапромышленность страны сделала многое, но многого не успела: грянула война...

И вот сегодня очередной вызов в Кремль, к Сталину. Обычно в стремительно мчащемся автомобиле легко думалось, словно мысли во время быстрой езды, избавясь от некой вязкости, раскрепощались и свободно парили, а память по странной закономерности подсказывала тронувшие твое воображение картины прошлого — пережитого и виденного. Да, так бывало обычно... Но когда ты едешь в Кремль, где тебя встретит взгляд Сталина, вопросительный и требовательный, мысли твои напряженно обращаются к сегодняшним заботам, а грудь томит тревога: все ли ты сделал так, как надо? Какие вести с фронта, какая информация от секретарей обкомов, которые в пределах своих областей тоже неустанно занимаются авиационной промышленностью? Нет, это не робость, а чувство огромнейшей ответственности. Это — понимание той невероятной тяжести, которую ощущают люди, коим доверено возглавлять партию и государство... Они ведь в первую очередь в ответе перед народом и историей...

За окнами автомобиля погружалась в сумерки военная Москва. Неосвещенные тротуары с редеющим потоком пешеходов, белые бумажные полосы, крест-накрест наклеенные на оконные стекла, настороженная притушенность светофоров, фонари в руках постовых милиционеров — все это словно изымало тебя из реальной жизни.

Представился не столь далекий день, когда Сталин уже как Председатель Совета Народных Комиссаров СССР впервые созвал заседание Совнаркома. И Шахурин будто увидел кремлевский зал заседаний и сидящих в нем наркомов. На трибуне — Сталин. Он говорил тихо, как всегда, неторопливо, точно формулируя мысли, обстоятельно развивая аргументы и лаконично подводя итоги сказанному. Его слегка прищуренные глаза с легкой лукавинкой блуждали по лицам наркомов, а знакомый жест руки с вытянутым указательным пальцем как бы ставил точку

после каждой законченной мысли. Шахурину казалось, будто только он один находился в зале и раздумчивые слова Сталина относились к нему одному. И действительно, взмахнув вытянутым пальцем правой руки, Сталин пристально посмотрел в сторону Шахурина и с улыбкой продолжил разговор:

«Я в последний год почти ежедневно встречаюсь с молодым наркомом авиационной промышленности товарищем Шахуриным. Должен сказать, что от этих встреч я имею определенную пользу. Уверен, что и товарищ Шахурин извлекает пользу из нашего общения...»

Потом, после заседания Совнаркома, когда вышли к машинам, Шахурина взял под руку Петр Иванович Паршин, тогда еще нарком общего машиностроения, и то ли в шутку, то ли с легкой досадой произнес:

«Тебе легко решать вопросы. Ты каждый день встречаешься со Сталиным. А я вот к своему шефу раз в три месяца с трудом попадаю».

«Верно, — подтвердил Шахурин. — Когда бываешь у Сталина, все вопросы решаются быстро...» А про себя подумал, что встречаться со Сталиным каждый день — это, пожалуй, будет потруднее, чем ходить по канату над пропастью...

Но это было в мирное время, в предвидении войны, к которой готовились и которой хотели избежать. Не избежали... Война обрушилась непостижимо тяжким бременем, и сейчас все усложнилось настолько, что некогда отделять раздумья от действий. Они слились воедино и уже обрели стремительный ритм, взявший начало с первых же решений советского партийного и государственного руководства. Набатно взвилась над страной суровая песня, заставив призывно вздрогнуть сердца людей:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Поднялась страна... Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня, воплотив в себе ленинские идеи и указания о защите социалистического Отечества, стала боевой программой для действий, для борьбы. Эту программу развил и конкретизировал по поручению Политбюро ЦК партии И. В. Сталин в своей речи 3-го июля.

Боролась армия, боролся народ, боролась партия, сплотившись в единое целое — великое и сложное, решительное и могучее...

...Когда Шахурин вошел в кабинет Сталина, шло заседание Политбюро. Сталин, сидя за своим столом, говорил об эвакуации промышленности на восток, и Алексей Иванович, слушая, присел на крайний стул. Сталин, увидев его, умолк, заглянул в лежащую под рукой бумагу, потом спросил:

— Товарищ Шахурин, кого вы рекомендуете директором авиазавода в Нижне-Михайловск?

— Романова, специалиста по моторам воздушного охлаждения. — И Шахурин открыл портфель, чтобы достать заготовленные документы. — Главного инженера нашего предприятия на Волге.

— Романова? — с непонятным удивлением переспросил Сталин.

— Да, Романова Сергея Матвеевича. Очень хороший организатор.

— Он имеет отношение к профессору военной истории Романову? — Сталин почему-то вздохнул и посуровел. — К Нилу Игнатовичу?

— Да, они родственники, — ответил Шахурин. — Сергей Матвеевич Романов сейчас в Москве, приезжал на похороны Нила Игнатовича. Я задержал его здесь.

Сталин, потянувшийся было к пепельнице, в которой лежала потух-

шая трубка, вдруг прихлопнул рукой по столу и, пораженный, почти шепотом спросил:

— Профессор Романов умер?..

— Да, нет больше Нила Игнатовича, — подтвердил знавший генерала Калинин. — А с ним ушла целая эпоха в военной науке.

Сталин опустил голову, долго думал о чем-то тяжком. Может, вспомнилось ему письмо профессора Романова, в котором тот с убежденностью доказывал, что Гитлер неминуемо начнет войну против Советского Союза, может, скорбел душой, что не удалось встретиться со старым ученым.

## 11

Ольга Васильевна Чумакова оказалась наследницей всего, что осталось в просторной квартире покойных Нила Игнатовича и Софьи Вениаминовны Романовых, а также крупной суммы денег, частично лежавших в домашнем сейфе, а частично — на сберегательной книжке. Нельзя сказать, что это явилось для нее полной неожиданностью. Незадолго до смерти Софья Вениаминовна обмолвилась, что, поскольку ни у Нила Игнатовича, ни у нее нет никого из близких, кроме Ольги, они еще год назад составили завещание, по которому все принадлежавшее им имущество, все сбережения и ценности после их смерти перейдут в собственность Ольги.

Но где могло быть это завещание, Ольга Васильевна не имела понятия, а наводить справки ей и в голову не приходило, когда там, где пребывал ее муж Федор, лилась кровь, шли тяжелые бои, когда немцы все глубже вторгались на нашу землю, когда слухи один тревожнее другого волнами перекатывались по Москве. А тут еще трудная поездка в Ленинград, а потом нежданный визит подполковника Рукатова со страшной вестью о том, что ее Федор — генерал Чумаков — якобы сдался немцам в плен. Ольга гневно отвергла этот вздорный слух, почти выдворила из квартиры непрошеного соболезнователя, а сама по нескольку раз в день заглядывала в почтовый ящик — ждала весточки от мужа: на дверях своей ленинградской квартиры она приклеила записку для почтальона с просьбой передавать адресованную Чумаковым почту соседям, которым оставила свой московский адрес...

На днях из Ленинграда ей переслали письмо. В конверте оказалась казенная бумага из одной московской нотариальной конторы. В бумаге сообщалось, что гражданке Чумаковой Ольге Васильевне надлежит с соответствующими документами приехать в Москву и явиться в нотариальную контору по делу завещанного ей наследства. В то же утро, когда пришло письмо, в квартиру явилась комиссия в составе старенького домоуправа Бачурина, бравого участкового милиционера и усатого, с изношенным лицом дворника. Бачурин знал Ольгу еще с тех давних пор, когда она, девчонка-сирота, жила здесь, в семье Романовых, заменивших ей отца и мать; отсюда ее выдавали замуж, здесь она, хлопотами покойной Софьи Вениаминовны, была до сих пор не выписана из домовой книги, и домоуправу Бачурину не раз приходилось выкручиваться перед милицейским надзором, строго следившим за соблюдением паспортного режима.

В квартире Романовых Бачурин и его спутники почтительно осматривали обставленные старинной мебелью комнаты, задерживались у развешанных на стенах фотографий, где среди прославленных людей узнавали и покойного Нила Игнатовича. Ольга Васильевна, понимая, что люди эти пришли неспроста, напряженно смотрела на домоуправа Бачурина, узнавая и не узнавая его. И раньше не отличавшийся крупным

телосложением, сейчас он ссутулился и будто бы усох; волосы его, совсем седые, настолько поредели, что сквозь них просвечивала младенчески-розовая кожа. Только темные глаза на морщинистом угловатом лице оставались большими и печальными, как прежде.

Увидев Ирину, Бачурин обрадованно взмахнул своими костлявыми, тяжелыми руками и сдержанно засмеялся, кинув по-отцовски добрый взгляд на Ольгу и пояснив при этом:

— А я вижу: появилась в нашем доме очень знакомая обличьем гражданочка. Никак не мог сообразить, что это ваша дочь! А ведь копия с вас в те годы!..

Участковый милиционер, деловито хмуря брови, с задумчивой озабоченностью постоял у радиоприемника, который полагалось сдать, затем с любопытством осмотрел на письменном столе чернильницы из позеленевшей бронзы — две боевые колесницы, между которыми стоял в кольчуге и шлеме, держа в руках копье, древний воин. Скользнул взглядом по календарю, где на верхнем его листке виднелась старая, сделанная еще рукой Софьи Вениаминовны, запись: «Звонили от Сталина. Иосиф Виссарионович благодарит за письмо и желает побеседовать с Нилом Игнатовичем». Милиционер прочитал эту запись, и его будто кто-то оттолкнул от стола. Очутившись на середине кабинета, он стал вытирать платком вдруг вспотевший лоб, потом покосился на Ирину, кажется, тоже не веря, что ему не померещилось в сумерках затененной квартиры это миловидное юное существо. А потом просяще, словно куда-то заторопившись, обратился к Бачурину:

— Давайте начинать...

— Да, начнем, пожалуй,— согласился Бачурин и виновато посмотрел на Ольгу Васильевну, на Ирину, которые, рядком стоя у дверей кабинета, с тревогой наблюдали за пришельцами. — Согласно закону, дорогая Ольга Васильевна, — объяснил Бачурин, — мы должны соблюсти некоторые формальности: взять под охрану все, что имеется в этой квартире.

— От кого же вы будете охранять? — с искренним недоумением спросила Ольга.

Ее вопрос поставил Бачурина в тупик. Он растерянно посмотрел на участкового, затем остановил взгляд на железном ящике — домашнем сейфе, который стоял в углу на тумбочке под ветвями старого фикуса, росшего в дубовой кадке.

— Там, в сейфе, должен быть пакет, — сказал Бачурин, обращаясь к Ольге. — Сейф открыт?

— Я не знаю.

Бачурин подошел к сейфу и убедился, что он заперт.

— Дайте ключ.

— У меня нет ключа, — растерянно ответила Ольга Васильевна.

— Ключ в столе, в верхнем ящике! — почему-то с раздражением сказал Бачурин. Он подошел к письменному столу, открыл верхний ящик и, порывшись в нем, нашел связку ключей. — Смотрите: вот этот — от сейфа, этот — от кладовки, что в подвале, а этот надо отдать на службу Нила Игнатовича...

Домоуправ Бачурин, оказывается, знал все на свете — в этом доме он всегда был своим человеком. Он подозвал к сейфу милиционера, усатого дворника и Ольгу Васильевну. Позвенев ключами, отпер железную дверцу. Первое, что все увидели, был крохотный пистолет, лежавший на верхней полке сейфа. Участковый милиционер тут же взял его и положил в свою полевую сумку. А в руках Бачурина оказался плотный конверт с сургучной печатью, с надписью «Вскрыть после моей смерти» и подписью Софьи Вениаминовны.

В пакете были завещания, заверенные нотариусом; второй их экземпляр, как поясняла приписка внизу, хранился в нотариальной конторе — в той самой, откуда Ольга Васильевна получила письмо. Нил Игнатович завещал, в случае своей смерти, распорядиться всем имуществом и денежными сбережениями супруге Софье Вениаминовне, которая, в свою очередь, все названное выше завещала единственной их родственнице — племяннице Чумаковой Ольге Васильевне; завещание Софьи Вениаминовны, для верности, что ли, было подписано и Нилом Игнатовичем, а обе их подписи заверены нотариусом.

Бачурин чуть торжественно и громко читал завещание, а Ольга Васильевна, растроганная написанными там словами, молча плакала. Потом из сейфа вынули и положили на газетный столик, зажатый между двумя кожаными креслами, довольно пухлые пачки денег, сберегательную книжку, выставили объемистую шкатулку черного дерева с фамильными драгоценностями Софьи Вениаминовны.

Дворник, будто сошедший с киноэкрана — так картинно топорщились его пышные усы и так чист и наглажен был на нем белый фартук, — потерянно стоял чуть в стороне и всем своим видом как бы говорил: я здесь ни при чем, мне велели — я присутствую, но мне это ни к чему. Когда же на газетном столике появились пачки денег, а в открытой шкатулке сверкнули драгоценности, щеки его вдруг сделались пунцовыми, а в глазах беспокойно вскипели желтые блестки.

— Ангел ты мой, какая красота! — сипло проговорил он.

Ольга Васильевна даже перестала плакать: ее удивил преобразившийся дворник; взглянула на участкового милиционера — и в его нахмуренном взгляде тоже прочла какой-то затаившийся недобрый вопрос и почувствовала себя в чем-то виноватой перед этими людьми. Хотелось объяснить им, что доходы видного ученого генерала Романова уже много лет превосходили расходы его маленькой семьи, а драгоценности перешли к Софье Вениаминовне от ее матери и от бабушки... Но ее сдерживал домоуправ Бачурин, который вел себя совершенно спокойно, будто заранее знал о содержимом сейфа и сейчас удовлетворен тем, что все оказалось на месте. Он еще раз перечитал завещание, затем протянул его участковому милиционеру и сказал:

— Видишь? Подчеркивают: единственная родственница!

— Ну и что? — не понял милиционер. — Значит, и есть единственная.

— Зачем тогда эти формальности? — Бачурин, видимо, начинал сердиться. — Описать все имущество, пересчитать деньги — тут на два дня работы! Ради чего? Все равно через полгода Ольга Васильевна будет всему этому хозяйкой!

— Закон требует ждать полгода, — вяло развел руками участковый.

— Да не найдутся другие родственники!.. Ну, тогда сам и описывай! — Бачурин решительно направился к дверям, ворчливо говоря на ходу: — Мне война и так дел по горло подкинула!

Участковый укоризненно посмотрел на Ольгу Васильевну и поспешил вслед за Бачуриным. Было слышно, как на лестничной клетке они продолжали спорить. А дворник, отыскав в прихожей свою фуражку, поклонился Ольге Васильевне с неожиданной галантностью, улыбнулся какой-то двусмысленной улыбкой и, пригладив рукой усы, сказал, выходя за дверь:

— Мое вам почтение, ангел вы мой...

В квартире наступила неприятная тишина. Ольга Васильевна так и осталась стоять у газетного столика, безучастно глядя на пачки денег, на знакомую с детства шкатулку. Ирина не отрывала глаз от матери, присев в углу кабинета на диване. Казалось, она хотела спросить что-то неот-

ложно важное, но не решалась или не находила слов. Наконец все-таки спросила:

— Мама... Почему ты раньше ни словом не обмолвилась о наследстве?

Ольга Васильевна посмотрела на дочь с недоумением, подошла к дивану и присела рядом с ней.

— Я и сама толком не знала, — сказала она, как о чем-то незначительном.

— Что ты будешь делать с такой уймой денег?

— Не знаю... Надо заказать надгробие покойным старикам... С отцом бы посоветоваться...

Ирина поднялась, несмело подошла к столику и устремила взгляд на содержимое шкатулки.

— Мама, я хочу посмотреть.

— Не надо, — недовольно откликнулась Ольга Васильевна. — Вдруг они вернутся, а мы уже...

— Что «уже»? — удивилась Ирина. — Будто мы чужое присвоили!

— Понимаешь, Ириша... Папа может не одобрить.

— Что не одобрить?

— Зачем нам чужие деньги, чужое добро?..

— Разве бабушка Софья чужая?

— Ну, не чужая... О чем ты говоришь!

— Вот видишь...— Рука Ирины потянулась к шкатулке и взялась за золотую застежку лежавшего сверху и тускло мерцающего жемчужного ожерелья. Приподняв, Ирина осторожно встряхнула им, услышала глухой, почти металлический шорох.

— Жемчуг? Настоящий? — расширив глаза, недоверчиво спросила она у подошедшей матери.

— Настоящий,— тихо ответила Ольга Васильевна.— Тоже по наследству перешел к покойной тете Софье.

Ольге Васильевне вспомнилось, как она, еще девчонкой, однажды в отсутствие Софьи Вениаминовны, надев на себя и это ожерелье, и браслет, и кольца, вертелась перед зеркалом и не услышала, как в квартиру вошли Нил Игнатович и Софья Вениаминовна. Заметив ее смущение, они сделали вид, что ничего особенного в ее выходке не усмотрели. Софья Вениаминовна, поправляя на Оле украшения, стала рассказывать историю каждого — кому прежде в их дворянском роду оно принадлежало.

Более двадцати лет не видела Ольга Васильевна этих драгоценностей и сейчас обратила внимание на то, что их не прибавилось и не убавилось. Стала выкладывать все из шкатулки и показывать Ирине... Вот бриллиантовая брошь в золотой оправе, а вот золотой перстень с бриллиантами. А это изумрудные сережки и сапфировые запонки... А вот золотое колье с лазоревыми глазками бирюзы... Вот платиновые сережки с голубым аквамарином. А этот зеленый камень в заколке — хризолит, а сиренево-синий в броши — аметист... Еще и еще сверкающее, разноцветное великолепие камней, название которых Ольга Васильевна и не запомнила, ленивый блеск золота, матовое свечение жемчуга. Все тяжелое, старинное, будто выкопанное из земли, где пролежало столетия.

Ирина смотрела на драгоценности с любопытством и с некоторым разочарованием. Когда читала в книгах о бриллиантах, о золоте, об их власти над человеком, то представляла себе какой-то необыкновенно выразительный блеск. А тут — просто красивые, сверкающие камешки, втиснутые в оправу из будто заветренного золота,— и ничего особенного!

Перебирая драгоценности, Ольга Васильевна краем глаза следила за лицом дочери и заметила, что Ирина думает о чем-то своем, далеком от лежащей на столе старины. Было, конечно, приятно, что Ирине безраз-

лично это диковинное, пришедшее будто из чужого мира и накопленное неизвестно чьим трудом богатство. Но в то же время тревожила пасмурная задумчивость, в которую дочь часто погружалась в эти дни. Что гложет Ирину, какие заботы вторглись в ее сердце? Но вот так, напрямик, не спросишь, не маленькая ведь. Да и время такое. Не только родная дочь, все вокруг изменилось. Война где-то там, далеко на западе, а здесь, в Москве, многое стало не таким, каким было прежде. Впрочем, внешние изменения не столь уж заметны. Но люди изменились: что-то померкло в них, а что-то, более значительное, стало высветливаться. Ольга Васильевна почувствовала это даже по себе, по Ирине, по спокойному доброжелательству домоуправа Бачурина, соседей. У всех что-то переплавляется в сердце, все заняты одной главной болью — войной...

— О чем задумалась, доченька? — осторожно, будто без особого интереса спросила Ольга Васильевна.

Ирина тем не менее бросила на мать недоуменный взгляд и с досадой ответила:

— Разве не о чем думать?

— Наверное, об экзаменах в институт? — Ольга Васильевна притворилась, что не заметила раздражения дочери. — В этом году большого конкурса в Бауманском не будет. Мальчишек в армию призвали.

— Мама... — Ирина повернулась к ней и, напряженно глядя в глаза, с тенью грусти продолжила: — А ведь я тоже в институт не собираюсь.

— Вот так новости!

— Я на фронт пойду...

— Что?.. Тогда давай вместе!.. — В голосе Ольги Васильевны прозвучала горькая ирония. — Мне тоже найдется дело на фронте! А к осени война закончится, приедем домой героями, а на лестнице нас уже будет дожидаться отец... Скажет: «Ну, встречайте...» И мы откроем запыленную квартиру с затхлым воздухом...

— Мама, я тебе говорю серьезно. — Синие глаза Ирины потемнели, а точеное лицо залила бледность. — Я уже была в военкомате. Мне обещали...

Ольга Васильевна посмотрела на Ирину долгим укоряющим взглядом, пожала плечами и молча отвернулась к окну, дав понять, что она рассердилась не на шутку.

— Мама, я ведь не маленькая и не первый год комсомолка... — Ирина приготовилась к трудному поединку. — Я не имею права отсиживаться дома в такое время.

— Что же ты сказала в военкомате? — с холодной снисходительностью спросила Ольга Васильевна.

— Сказала, что умею перевязывать раны, накладывать шины, сдала нормы на «Ворошиловского стрелка»...

— А об отце сказала?

— Что об отце?

— То, что слышала от этого подполковника... Рукатова.

Слова Ольги Васильевны будто ударили Ирину: она прижала ладони к побледневшим щекам, остановив на матери испуганный взгляд. Потом непослушными ногами подошла к окну, где стояла Ольга Васильевна, припала к ее плечу, и в тишине прошелестел по-детски просительно-жалостливый голос:

— Но это же неправда... Ты сама говорила...

Ольга Васильевна уловила нарастающее в сердце дочери чувство ужаса, но не спешила успокаивать ее, понимая, что сейчас только так можно удержать Ирину от поспешных решений. И с холодной расчетливостью спросила:

— А если правда?

— Ты что-нибудь узнала?! — Ирина уже захлебывалась в слезах, боясь услышать от матери что-то чудовищно страшное.

Внутренне содрогнувшись от жалости к Ирине, Ольга Васильевна порывисто повернулась к ней, обняла, прижала к груди ее голову и тихо заплакала, ощущая жгучую потребность рассказать дочери о своих тревогах и бессонных ночах. Нет, она, разумеется, не могла поверить, что ее Федор сдался в плен или сложил голову, не могла поверить хотя бы потому, что, помимо всего прочего, не представляла себе свою дальнейшую жизнь без него, без ожидания его приезда, без тоски по нему — живому, без всего, из чего складывалась их любовь; ведь она, кажется, только ради него и жила на свете, во имя его важных дел, его душевного покоя и равновесия. И не могла себе вообразить Ирину без отца, как и себя без мужа, хотя понимала, что и с Федором могло случиться то непоправимо жестокое, что случается с людьми на войне. И если судьбе угодно обрушиться на них с Ириной тяжкой бедой, то им надо быть только вместе, только рядом...

— Мама, ты что-то от меня скрываешь? — с мольбой допытывалась сквозь плач Ирина. — Тебе стало что-нибудь известно о папе?

— Ничего не известно, — вытирая слезы, ответила Ольга Васильевна. — Но ты же не маленькая... Все может быть... Слухи не ветер разносит.

— Но ведь наш отец скорее умрет, чем поднимет руки перед фашистами!

— Да, конечно... Но пока мы не узнаем о нем, не ходи в военкомат.

— Я должна подумать.

В это время в прихожей раздался звонок.

— Иди открой, — сказала Ольга Васильевна, а сама заметалась по кабинету, ища взглядом, чем бы прикрыть газетный столик. Под руку подвернулась домашняя куртка Нила Игнатовича, висевшая на спинке кожаного кресла. Ее и накинула поверх пачек денег и драгоценностей. В это время с верхнего торца двери, ведшей в кабинет, соскользнула на пол Мики. Щуря ясно-голубые глаза, огромная ангорская кошка потерлась о ногу Ольги Васильевны и, вспрыгнув на столик, стала укладываться на куртке. Только теперь вспомнила Ольга Васильевна, что здесь, на этом столике, всегда нежила кошку покойная Софья Вениаминовна.

А Ирина, открыв входную дверь, увидела дворника.

— Простите, ангел вы мой. — Дворник, предупредительно улыбаясь, переступил порог и снял фуражку. — Описи делать не велено. Поручено только проследить, чтобы немедленно был сдан радиоприемник.

— Куда же его сдавать? — растерянно спросила Ольга Васильевна. — Да и как поднять такую тяжесть?

— Ангел вы мой! За этим меня и прислали! — Дворник, окинув Ольгу Васильевну ласковым взглядом, привычным жестом разгладил усы и достал откуда-то из-под белого фартука носильные ремни с двумя ручками. — Если позволите...

— Пожалуйста, ради бога! — обрадованно проговорила Ольга Васильевна, снимая с приемника старые журналы. — Буду вам очень благодарна.

Словно нечаянно посмотрев на газетный столик и увидев поверх куртки кошку с пушистой шерстью пепельного цвета, дворник на какое-то мгновение замер от удивления, а потом взялся за дело. Он легко снял громоздкий радиоприемник на пол и начал разматывать носильные ремни. Глаза его в это время оценивающе смотрели то на свисавшую с высокого потолка хрустальную люстру, то на плитки молочно-белого нефрита, которыми был облицован дымоход камина, то перескакивали на тяжелую, с яркой росписью вазу японского фарфора, стоявшую на ста-

ринном секретере красного дерева, то шарили по живописному холсту, заключенному в овальную раму темного дуба, — там в сизой дымке высились горы, а их вершины излучали сияние от восходящего, еще невидимого солнца.

Ремни плотно обхватили желтый глянец приемника, и дворник предупредительно обратился к Ольге Васильевне:

— Надо, мой ангел, чтобы кто-нибудь из вас с паспортом сопроводил меня к почтовому отделению. Там принимают эти штуки.

— Ирочка, прогуляйся, пожалуйста, — сказала Ольга Васильевна дочери, а сама выбежала в прихожую и, взяв со столика под зеркалом свою сумочку, с чувством неловкости спросила у дворника: —Сколько с меня за ваши хлопоты?.. Право, я не знаю... Вы так любезны...

— Прошу вас, не надо, ангел мой! — Лицо дворника светилось искренней добротой, а в глубине глаз плескалась странная, кажется, даже надменная улыбка. — Не беру подаяний...

— Простите, — растерянно сказала Ольга Васильевна. — Ведь такой труд...

Когда она осталась в квартире одна и влажной тряпкой вытирала пыль в проеме между книжными полками, где стоял радиоприемник, ее все не покидала какая-то беспокоящая мысль о дворнике, о его манере держаться. Она будто слышала его сладкий голос: «Ангел вы мой...» — и видела странно таящуюся на дне его глаз улыбку.

От размышлений о дворнике ее отвлекла толстая тетрадь в сером сафьяновом переплете, стоявшая торчком на краю проема в книжных полках, откуда только что убрали радиоприемник. Задетая тряпкой, тетрадь упала, звонко хлестнув сафьяновой гладью по запыленной поверхности полки. Ольга Васильевна взяла тетрадь, с любопытством открыла и на первой странице увидела крупную надпись, сделанную черными чернилами рукой Нила Игнатовича: «Мысли вскользь», — а ниже, в скобках, подзаголовок: «Свои, иногда подслушанные». Перевернула еще страницу и прочла звучащие эпиграфом строки: «Кто не знает истины о своем прошлом, тот недостоин будущего...» И далее:

«Неправда о героическом прошлом народа рождает неверие в настоящее... Такая неправда лишает блеска самые славные свершения настоящего и оскорбляет народные чувства».

Ольга Васильевна грустно улыбнулась, как бы услышав в этих назидательных изречениях живой, скучнопоучающий голос Нила Игнатовича. В них, кажется, была вся суть характера покойного профессора и его главное призвание в жизни: размышлять, добираться до истины и изрекать ее.

Дальше листать не стала, догадываясь, что вся тетрадь заполнена множеством интересных записей, которые надо читать медленно, вдумываясь и постигая смысл, словно небольшими дозами принимать сильнодействующее лекарство. Но когда клала тетрадь на полку, она открылась где-то на середине, и Ольга Васильевна не удержалась — прочла первые попавшиеся строки:

«Если хребет друга может явиться ступенькой, чтобы подняться выше, то нет более надежной ступеньки! Пользуйся!.. Ты один, избранник, а друзья найдутся... Новые друзья — новые ступеньки... Все выше и выше... К сожалению, известны случаи, когда, следуя этой морали, иным персонам удается достигнуть незаслуженных высот, особенно в науке, искусстве, литературе... Верю, что в новом обществе недолга жизнь дутых величин...

Человек!! Если ты воистину Человек, береги друга своего! Ибо самый прекрасный подарок, сделанный людям после мудрости, это — дружба».

Долго и неподвижно стояла Ольга Васильевна, держа в руках тетрадь, размышляя над этими словами, пронзившими ее сердце. Всплыли в памяти страдания мужа, когда его однажды предал друг... Осторожно, словно живое существо, поместила тетрадь на полку за стекло — на самом видном месте, чтобы не забыть о ней...

С трудом заставила себя вспомнить, чем она занималась. Подошла к газетному столику и прогнала Мики с куртки. Кошка, соскочив на пол, со сладким мурлыканьем потянулась и отошла к дивану. Разлегшись на коврике, начала розовым язычком прилизывать вздыбившиеся шерстинки. Ольга Васильевна, отбросив куртку, собрала со столика в шкатулку драгоценности и вместе с деньгами положила в сейф. Туда же сунула пакет с завещаниями. Но запереть сейф не спешила: что-то беспокоило ее. Она оглянулась вокруг, остановила взгляд на тетради, лоснившейся сафьяновым переплетом из-за стекла. Подошла к книжной полке, взяла тетрадь и положила в сейф. Только потом закрыла сейф на ключ и, бряцнув связкой, бросила ее в верхний ящик стола.

Почему-то опять вспомнила дворника, странную загадочность в его сладко-улыбчивом усатом лице и тут же почувствовала необъяснимое беспокойство. И еще подумала, что допустила бестактность: не спросила его имени-отчества.

## 12

Нет, не пал под сабельным ударом буденновца старший сын родовитого помещика из Воронежской губернии графа Глинского, Николай, как донесла об этом людская молва до его младшего брата Владимира, бежавшего после разгрома врангелевской армии за границу. Только канул в небытие сам старый граф Святослав Глинский со своей супругой: поглотили их кровавые водовороты гражданской войны.

В то время как младший Глинский, Владимир, мыкал горе на чужбине, а затем в немецкой разведывательно-диверсионной школе «восточного направления» готовился к «освободительному» походу на Советский Союз, старший Глинский, Николай, успел сменить несколько паспортов, пока обстоятельства не вынудили его найти прибежище в одном из московских домоуправлений и надеть личину бравого дворника — стража чистоты и верного помощника милиции.

Все началось с того памятного сабельного удара во время рубки с буденновцами под станицей Елоховской. Раненный в плечо, Николай Глинский рухнул с коня и потерял сознание. Пришел в себя на чьем-то сеновале, перевязанный, переодетый в простую крестьянскую одежду. Первое, что увидел в косом луче солнца, падавшем сквозь продранную соломенную крышу, был кувшин на коленях у сидевшей рядом девушки. Пока она поила его водой, он рассмотрел ее большие темные глаза под жгуче-черными, чуть надломленными бровями, ее смуглое, гладкое лицо южной красавицы. Впрочем, истинную красоту Анны, дочери богатого казака, на хуторе которого тайком отлеживался Николай, разглядел он позже и, как это ни банально, влюбился; с трепетом ожидал, когда принесет она еду или придет делать перевязку.

За свое спасение деникинский офицер Глинский пообещал богатому казаку не только большую награду. Сгорая в любовной горячке, пообещал и титул графини для его дочери Анны. И сдержал свое слово. Когда залечил сабельную рану и окреп, тайком пробрался в Воронежскую губернию, темной ночью появился близ родного гнезда — бывшего имения Глинских — и в заветном месте на краю усадьбы откопал им же зарытую свою долю отцовских богатств в золоте, драгоценных камнях и гербовых

бумагах (пусть эти бумаги и потеряли ценность при новой власти, но все-таки грели душу надеждой). Потом вернулся на хутор и без лишних свадебных церемоний обвенчался с Анной.

Трудно было утаить от людей, что прижился у них по соседству «недобитый белячок», как нарекли Николая острословы соседней станицы, хотя таких белячков немало таилось и по другим станицам и хуторам. Еще труднее было утолить людское любопытство: чем покорил он красавицу Анну, по которой сохли куда более видные парни?

При встречах со станичниками Николай притворялся больным, будто утратившим память после контузии и поэтому не переносившим долгих разговоров. Под предлогом поездок на лечение часто покидал хутор, слонялся по ближайшим городам и городишкам в надежде встретить своих людей да вместе с ними поразмыслить над тем, как жить дальше. Заодно, по подсказке тестя, выяснял виды на коммерцию.

Но не покидала Николая уже не притворная, а истинная болезнь — острая тоска по прошлому, привычному; скорбел душой, не в силах постигнуть свое будущее. Держаться, не пасть духом помогала ему только Анна, ее влекущая южная красота, ее необузданный характер; чувствовал себя рядом с ней будто в сладком хмелю, хотя внутренне содрогался и краснел от стыда, когда Анна допрашивала его, действительно ли она графиня, и тешилась его утвердительным ответом, а потом по-детски печалилась, что нельзя об этом во всеуслышание сказать людям.

Понимал, что надо как-то заняться образованием Анны, изменением ее привычек и понятий. Но не знал, как к этому приступить. Да и несмотря на ослепленность любовью, сомневался... Сомневался в прочности их брака, пусть он и освящен церковью. Что-то протестовало в тайниках его души. И будто чего-то ждал, надеялся на какое-то избавление. От чего? Он и сам не ведал, боясь всерьез задуматься, что же ждет их с Анной впереди.

Впрочем, о себе он думал напряженно и постоянно. Болезненно размышлял над тем, где и как применить полученное в университете образование, чтобы иметь свое надежное житейское пристанище и чтобы трудом своим если пока открыто и не расшатывать, то хотя бы не укреплять новую власть. И никак не мог смириться, что эта власть заметно набирает силы, что все вокруг, несмотря на разруху, входит в русло вполне разумных норм, а беспокойное прежде людское море начинает испытывать умиротворенность и светиться каким-то весенним обновлением, будто ему, этому морю, стало дышать вольнее и легче.

Зорко следя за всем этим и проникая в него беспокойной мыслью, стал понимать и другое: если главным его чувством становится бешеная ненависть, значит, все-таки рано или поздно он вступит в борьбу. Но пока надо было выжидать, вживаться в непривычные условия, привыкать к новому, далеко не графскому положению. Пытался угадать, сумеют ли большевики в столь трудных условиях обнищания и разорения страны, перенесшей мировую и гражданскую войны, не допустить катастрофических ошибок в экономическом становлении молодого государства. Вчитывался в каждую строчку газет, которые попадали ему в руки. Иногда казалось, что предпосылки для таких ошибок уже создаются — и не только естественными трудностями, но и чьими-то подпольными усилиями. О, если б он несколько раньше разгадал роль Троцкого и его приспешников!.. Ради великих целей можно было б на время перекраситься, надеть чужую шкуру, заговорить чужим голосом, тая свои истинные намерения...

Он не постиг и стратегии Ленина. Вначале не поверил своим глазам, когда прочитал о новой экономической политике, предложенной

вождем пролетариев и принятой X съездом РКП(б). Глинскому показалось, что Ленин чудовищно просчитался и толкает страну на гибельный для большевиков путь. Этот путь, на худой конец, приемлем для него, Глинского, и многих тысяч подобных ему. Казалось, Ленин элементарно не учел буйности силы накопительства, корысти, которые при свободном частном предпринимательстве стихийностью горных обвалов обрушатся на общество и раздавят в нем все утвердившиеся начала социализма.

В самом деле, размышлял Николай Глинский, что произойдет с Советской властью, если владыкой в стране станет частный капитал? А именно так должно случиться, полагал Глинский, если большевики столь неосмотрительно для себя заменяют продовольственную разверстку натуральным налогом. Это приведет к тому, что у крестьян неизбежно создадутся излишки продуктов, они бесконтрольно потекут в город, и, поскольку государство разрешило частную торговлю, разрешило частным лицам создавать или арендовать мелкие предприятия, начнется неподдающийся контролю товарооборот — откроются клапаны для наживы, для конкуренции, для разорения слабых сильными, и ветер финансово-экономической анархии навечно погасит зажженные тем же Лениным маяки на путях к упрочению диктатуры пролетариата и созданию нового общественного строя.

Рассуждая, Глинский пришел к выводу, что все неминуемо случится именно так, как он думал. Поэтому вскоре исчез из хутора и объявился в Ростове-на-Дону. Начал там искать дозволенное властями «коммерческое дело», имея при себе для его начала золотишко. Переехала к нему и Анна, а со временем на одном из малоприметных особнячков близ центра города появилась огромная вывеска: «Антикварный магазин». В нем на стенах были развешаны старинные картины, рамы с инкрустациями, люстры чистого и поддельного хрусталя, зеркала в витых рамах орехового и пальмового дерева, золоченые бра, даже две золоченые клетки для попугаев, какая-то мишура арабесочного вида. На полках, полочках, подставках располагались замысловатых форм тяжелые подсвечники из серебра, статуэтки, вазы, вазочки, агатовые ступки, кабинетные часы в дорогих оправах и многие другие сверкавшие, блестевшие, темневшие сокровища, подчас сомнительного достоинства. В дальнем углу, за стеклянным шкафом с расписными фарфоровыми безделушками, продавались и покупались старинные книги. Вывеска магазина, как и все содержимое в нем, была для Николая Глинского надежной ширмой: за ней он развернул тайную спекуляцию золотом и драгоценными камнями, в которых понимал толк. Разъезжал по городам Дона, Кубани, Кавказа, наводил страх на спекулянтов, сбывавших простакам поддельные драгоценности, а сам не брезговал купить за бесценок якобы искусственный жемчуг или бриллиант.

Когда же накопил немалый капиталец, сторговал двухэтажный особняк с двором, конюшнями, завел прислугу, коней, богатый фаэтон, несколько позже построил тестю паровую мельницу, открыл винный магазин, наладил деловые контакты с иностранными концессионерами: надеялся при их помощи стать тайным вкладчиком надежного заграничного банка или обладателем акций солидной компании.

Широко, капитально размахнулся Николай Глинский! Слыл в Ростове одним из богатейших и приветливейших нэпманов. Не скупился на тайные подарки и взятки нужным людям, был со всеми любезен, обходителен, сговорчив. И чувствовал себя в безопасности. Одно томило душу: не ладилась у них жизнь с Анной. Незаметно перегорела его прежняя страсть, улеглась по-юношески восторженная взволнованность, и он постепенно разглядел в жене обыкновенную бабу, пусть красивую, но со-

вершенно лишенную тех интересов, которыми жил он, примитивную и убогую в своих чувствах и устремлениях. Страдал от ее упреков, что нет у нее детей, понимая, что виноват в этом он, ибо незадолго до революции неудачно упал со скакуна, и, когда лечил травмы, врач предрек ему такую беду в будущем. И совсем расстроился и даже испугался, услышав как-то, что подруги Анны, пустые и никчемные бабенки, открыто величали ее графиней, а она, как узнал потом, с царской щедростью одаривала их то перстеньками с камеей, то украшениями подороже, чем резной оникс.

А потом закралась паническая тревога. Как и предполагал Глинский, нэп уже за несколько лет дал результаты. Расцвела торговля, оживив артерии товарооборота, возродилось сельское хозяйство, получила сырье легкая промышленность, создались условия для развертывания тяжелой промышленности. Но как случилось, что частный капитал не стал властелином положения? Почему все командные высоты оказались в руках социалистического сектора? Как удалось большевикам поставить всю частную торговлю в зависимость от государственной, а также добиться полной монополии внешней торговли?.. Это же чудовищная ловушка для нэпманов, для всех, кто накопил средства и вложил их в торговлю и в промышленные предприятия!

Да, не оправдались так согревавшие врагов Советской власти надежды, что нэп — не тактика, а эволюция большевизма. Новая экономическая политика оказалась гениальным стратегическим маневром Ленина.

Николай Глинский начал понимать, что просчитался, что оказался невольным пособником в упрочении новой власти, что скоро наступит крах всех нэпманов. Надо было не упустить время, ликвидировать антикварный и винный магазины, рассчитать агентуру, поставлявшую ему золото и дорогие камни, продать дом, лошадей, перевести все деньги в драгоценности и исчезнуть из Ростова. Приняв такое решение, поехал в Москву в Главконцеском, где работал один надежный человек, с которым можно было посоветоваться.

Опасения Глинского оправдались. Человек из Главконцескома одобрил его намерения и предложил место в Москве. Но дело предстояло опасное. В столице уже велась работа по организации контрреволюционных сил разных мастей и направлений... Глинский дал согласие принять в этой работе участие и через день распрощался со своей фамилией: ему были вручены новые документы — фальшивый паспорт на имя Антосика Ивана Прокофьевича и удостоверение, в котором значилось, что «Антосик И. П. является старшим инспектором Особой коллегии по надзору за деятельностью Общества взаимного кредита». Под вывеской реально не существовавшей, но имевшей в банке свой счет «Особой коллегии» работала оперативная группа контрреволюционного центра. Эта группа не только выполняла функции связи и координации, но и выколачивала деньги в фонд «коллегии» из многих расплодившихся в двадцатых годах обществ взаимного кредита.

Глинский не успел как следует запомнить свою новую фамилию, а она уже заслонила его от непоправимого и заставила еще больше уверовать в странную власть провидения. Только вошел в вестибюль гостиницы, в которой он остановился, как к нему приблизились двое мужчин в кожанках. Не вынимая рук из карманов, один из них с язвительной иронией тихо спросил:

— Господин офицер деникинской армии граф Глинский?

— Ошиблись, товарищи, — ответил Глинский, чувствуя, как его вдруг охватила тоска.

— Ваши документы. Мы из ОГПУ...

Чуть овладев собой, Глинский достал паспорт:

— Моя фамилия Антосик...

Чудом избежав ареста, в Ростов он больше не вернулся. Через посыльного узнал, что его магазины опечатаны, имущество описано, а Анна, не очень-то таившая, что вышла замуж за графа, содержится под надзором дома как приманка для Глинского.

Из огромных его капиталов при нем осталось несколько дорогих бриллиантов, зашитых в подкладку бекеши, десяток золотых червонцев, пачка советских денег да возможность выколачивать кое-какие долги у своих бывших иногородних агентов, скупавших по его поручению драгоценности.

И начали разматываться тяжелые годы борьбы и страха. Еще и еще менял фамилию, место работы и все уповал на Англию и Францию, которые, по слухам, ходившим среди подпольщиков, вот-вот должны были пойти против СССР войной. В тридцатые годы, после того как НКВД нащупал нити, ведущие к их организации, Николай Глинский несколько лет жил без прописки в Одессе, затем в Харькове. Потом вновь появился в Москве, имея надежные документы на имя Губарина Никанора Прохоровича. Устроился по ним дворником и обитал в небольшой комнатке полуподвального этажа. Следы Анны потерялись вместе с ее отцом, раскулаченным еще в тридцатом...

О том, что грядет война с Германией, Николай Глинский не раз слышал от ныне покойного Нила Игнатовича, когда они, сидя на скамеечке в сквере, вели неторопливые беседы. Обитатели дома не раз с веселым любопытством наблюдали, как дворник и генерал о чем-то спорили или что-то обсуждали...

И вот свершилось. Теперь для Николая Глинского будто солнце начало восходить с запада. Раньше встречал каждое утро молитвой и мысленными проклятиями большевикам, а сейчас — слушанием радиотрансляции последних известий. Они радовали его. Верил, что немцы скоро придут в Москву и тогда вновь настанет его время, время графа Николая Святославовича Глинского!

Нет, у него не было ясного представления о том, с чего он начнет свою новую жизнь после прихода немцев. Многое виделось ему: и государственная карьера в освобожденной от большевиков России, и возврат в его собственность отцовских земель и имения в Воронежской области; там, как ему было известно, ныне какой-то санаторий. Мечталось и о том, чтобы получить карающую власть и рассчитаться со всеми, по чьей вине столько натерпелся за эти годы.

А сейчас, согнувшись под тяжестью приемника и ощущая, как ремни давят на его плечо, Николай Глинский шагал по тротуару малолюдной улицы, слышал, как сзади стучала каблучками Ирина, и размышлял над тем, что любое положение человека в государстве все-таки ничего не стоит по сравнению с нетленными богатствами, если они у него есть. Поэтому хорошо бы с приходом немцев открыть где-нибудь на Арбате или на Тверской ювелирный магазин... И пора наконец обзавестись семьей: ведь ему только сорок восемь... Эх, предложить бы руку и сердце этой роскошной дамочке — родственнице покойных Романовых, которая хозяйничает в их квартире... Мила́!.. Небось не откажется стать графиней?.. А квартира покойного Нила Игнатовича, с ее старинной мебелью, картинами, люстрами, посудой, — одна из приличнейших в доме. И кабинетный сейф, как он сегодня убедился, не зря занимает место... Даже удивительно, что могли до наших дней сохраниться такие драгоценности, в которых эта симпатичная Ольга Васильевна, наверное, ничегошеньки не смыслит! Интересно, останется ли она с дочерью здесь, когда немцы подойдут к Москве? Надо будет постараться, чтобы осталась...

Ирина дробно стучала каблучками, еле поспевая за крупно шагавшим впереди дворником. Еще было утро, политые водой тротуары и мостовая не успели высохнуть и дышали теплой свежестью, смешанной с запахами цветов — тонкими, обновленными, — которые плыли из зеленых дворов 2-й Извозной улицы. Недалеко в переулке стояло кирпичное здание школы, где расположился призывной пункт. Уже вторую неделю здесь очень людно. Трамвай, приближаясь к переулку, замедляет ход и дольше обычного задерживается на остановке.

Дважды приходила Ирина в эту школу. Но оба раза встретили ее там неприветливо: «Надо будет — пришлем повестку! Фронт — это не танцульки!» Тогда она попытала счастья в районном военкомате: сквозь толпу новобранцев пробилась в кабинет к строгому капитану, который, выслушав взволнованную просьбу Ирины послать ее на фронт и вглядевшись в родниковую чистоту глаз девушки, смягчился, со вздохом записал ее фамилию и пообещал помочь, но позже: «Зайдите через недельку, когда отправим призванных по Указу...»

Сейчас Ирина тоскливо думала о том, что неделя тянется очень долго. А фашисты уже захватили Минск, Ригу, прорвались к Пскову и Ленинграду, продвигаются в глубь Украины... Зверствуют, убивают, грабят... Как же это? Разве можно сидеть сложа руки?..

Впереди — переулок, где призывной пункт, и трамвайная остановка. Там, кажется, что-то случилось: люди запрудили весь тротуар и часть мостовой, теснились и в переулке. Толпа росла, в нее вливались спешившие со всех сторон чем-то взволнованные мужчины, женщины, дети...

Дворник, шагавший впереди Ирины, озадаченно оглянулся на нее, сверкнув потемневшими зрачками, и тоже заторопился. Охваченная беспокойством, ускорила шаг и Ирина. Когда она приблизилась к толпе, то была поражена тишиной и напряженной настороженностью, царившей вокруг. Из металлического репродуктора, прикрепленного к столбу, услышала такой знакомый, но не сразу узнанный размеренный голос:

— Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!

«Сталин!» — жгуче пронзила Ирину мысль. Ей почему-то стало страшно: так Сталин еще никогда не говорил. Его голос был тихим, глухим и сдержанно-взволнованным. Сквозь заметный грузинский выговор в микрофон слышалось затрудненное дыхание. Мнилось, что Сталин сейчас скажет нечто невозможное, сообщит о чем-то непоправимом.

— Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое двадцать второго июня, продолжается,— медленно говорил Сталин. — Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений, враг продолжает лезть вперед...

Голос его уже зазвучал ровнее, будто преодолел тяжкую усталость и выбрался на ровную дорогу; в неторопливости слов Сталина ощутимо заплескалась какая-то влекущая к себе сила и уверенное понимание им чего-то пока недоступного для Ирины, крайне важного и значительного.

Сталин с затаенной горечью сообщил о наших территориальных потерях, называл города, которые бомбят фашисты.

— ...Над нашей Родиной нависла серьезная опасность... — сказал он, и Ирине почудилось, что Сталин подавил вздох, и этот его неслышный вздох щемящей болью сжал ее сердце, и она, охваченная жалостью, не сдержала слез, почувствовала, как брызнули они из глаз и, прокладывая горячие дорожки, побежали по стылому лицу. Ирина почему-то позабыла

о репродукторе, и ей казалось, что Сталин говорит, стоя перед толпой, где-то на углу этого деревянного двухэтажного дома, из открытых окон которого высунулись люди, и она, приподнимаясь на носках, вытянув шею и молитвенно сжав на груди руки, силилась посмотреть вперед, но чья-то спина в зеленой гимнастерке заслонила перед ней чуть ли не весь мир.

А Сталин с непреклонной убежденностью продолжал объяснять, что немецко-фашистские войска только на нашей территории встретили серьезное сопротивление и они будут разбиты, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма...

Толпа на улице росла, разбухала, рядом все больше становилось замерших трамваев и машин по обе стороны трамвайных линий. Лица мужчин были сосредоточенными, суровыми, а женщины в большинстве беззвучно роняли слезы. В одном месте речи голос Сталина осекся, и все услышали, как он, звякнув стаканом, глотнул воды. Вроде бы ничего особенного, но этот глухой звон стекла в дрогнувшей руке Сталина отдался в сердцах той нравственно обновляющей болью, которая, кажется, была не похожа ни на одну человеческую боль.

Все земное отринулось от людей, кроме пронзительно-щемящего чувства Родины, над которой нависла опасность... Отрешенно-задумчивые лица, горькие складки губ и недобрая суровость глаз... Люди точно перестали дышать, боясь нарушить тишину. И в этом молчании толпы была какая-то грозная и торжественная сила, ненасытная жажда веры, решительная отторгнутость от всего, что не связано с главной болью, вызванной нападением врага на родную землю.

А он будто не слова изрекал, а клал высочайшей прочности кирпичи, возводя могучую стену святой веры людей. Казалось, все потоки человеческих чувств сливались сейчас в единое русло решимости и самоотречения во имя того, о чем говорил от имени партии Сталин: все подчинить интересам фронта, отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови, обеспечивать Красную Армию всем необходимым, развертывать партизанскую борьбу в тылу врага...

— Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной, — продолжал Сталин с какой-то новой силой прозрения, внушая это прозрение всем, кто слышал его далеко не ораторский голос. — Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма...

Может быть, лишь один человек среди множества людей, замерших у столба, на котором, скособочившись, висел посеребренный колоколец репродуктора, звучавшего ровным и глуховатым голосом Сталина, не испытывал того, что испытывали другие. Этим человеком был Николай Глинский. Речь Сталина смутила его своей спокойной непреклонностью и деловитостью. Для Глинского она звучала так, словно Сталин знал, что среди этой толпы стоит враг, скрывшийся под чужой фамилией, жаждущий погибели Советской власти, и Сталин, не будучи в силах указать на него перстом, объясняет народу, что и как надо делать, чтобы Советская власть все-таки устояла, вопреки желаниям этого врага. И Глинский со страхом начал ловить себя на мысли, что невольно верит: она действительно устоит, эта власть, и все его надежды на возврат старого напрасны.

Противясь магической силе слов Сталина и панически не желая, чтобы в нем осела хоть капелька чужой, противной ему веры, Глинский стал

искоса посматривать на людей, пытаясь уловить в их лицах что-нибудь для себя обнадеживающее. Но тщетно. Вокруг стояли военные, рабочие, работницы, интеллигенты, домохозяйки, студенты, школьники... Глядя на них, Глинский словно листал кричащую смятенными чувствами книгу, и в этих чувствах — тревога, нерушимая вера в слова Сталина, в большевистскую партию и леденящая его, Глинского, сердце решительность... Рядом с собой он увидел Ирину и испугался, что она могла прочесть в его лице и глазах потаенные мысли. Ирина как раз натолкнулась ногой на стоявший на тротуаре ящик радиоприемника и действительно взглянула на дворника, но словно и не приметила мягкой, хищной улыбочки в уголках его глаз. Зато он в ее лице успел прочесть невыразимое ощущение наполнявшей ее радости и даже благоговения; эти чувства пульсировали в ней столь остро и значительно, что из чистой синевы Ирининых глаз будто выплескивалось страдание.

О, он хорошо понимал эту прелестную девушку с чувственными губами, понимал, куда устремлены ее взвихренные жаждой деятельности мысли. Не мог только постигнуть, где, когда и кем было посеяно в ее сердце чувство святого права на возмездие, кто заронил в ее душу веру в неотвратимость этого возмездия и когда именно родилась в ней эта нетерпеливая потребность немедленно карать то, что в ее представлении являлось злом.

Сила и глубина клокотавших в эти минуты вокруг Глинского людских переживаний всколыхнули в нем ненависть и тревогу. Все естество бывшего графа противилось тому, что он сейчас видел, и призывало к каким-то действиям. Но действовать в одиночку он не умел и боялся, а все связи с единомышленниками рухнули еще в середине тридцатых годов... Как же ему быть?..

Да, трудно казаться своим среди чужих. Он был убежден, что достиг вершин утонченного понимания большевистского мира и взаимоотношений людей в нем, верил в непогрешимость своих житейских формул, познанных и выстраданных в незатихающих штормах человеческих страстей. А сейчас вдруг начал понимать: тысячами невидимых перегородок отделен он от России, от ее людей. Давно познавая смысл и сущность их жизни, он, оказывается, глядел вокруг себя незрячими глазами слепца, отуманенного схоластикой собственных несбыточных фантазий. Разве не она внушила ему, что если движение — суть жизни тела, то размышления — суть жизни души? И он размышлял, наблюдая, и, размышляя, наблюдал, с упрямством выискивая тешившие его несоответствия чуждого ему общества. И он глубоко верил, что душа в нем живет пламенной жизнью! И этим утешался. А сейчас вера — его единственное утешение — так неожиданно дала трещину. И Глинский внутренне содрогнулся: не живет ли он с мертвой душой, коль оказалось, что все прошлые мудрствования бесплодны, а надежды тщетны.

Ну и пусть он мертвец!.. Существует ведь и такая непреложная истина: в пору общественных потрясений могут быть опасными даже мертвецы. Если они действуют... Надо искать... Ах как жаль, что в детстве и в университете его больше учили французскому языку, чем немецкому. Но все-таки он кое-что помнит. А если полистать словарь... Да, он встряхнет память, у него хорошие способности к языкам. Он еще заговорит на немецком так, что большевикам не поздоровится!.. Он должен вступить в Москву вместе с немцами. Только так!..

И тут же услужливое воображение стало рисовать перед ним радующие душу картины. Он появляется в немецкой форме, вызывает домоуправа Бачурина... Нет, Бачурин — коммунист, он удерет. А как же эта милая женщина? Вряд ли она и ее красотка дочь останутся в Москве.

Перед ним всплыли грустные и красивые глаза Ольги Васильевны. И будто наяву увидел всю ее — стройную, молодую, сильную; она стоит рядом с Бачуриным у газетного столика, а на нем выставлена из домашнего сейфа шкатулка... с золотом и камнями, которым нет цены.

И Глинского обуяла потребность деятельности...

Ирина прибежала домой взволнованная, окрыленная, полагая, что мать еще ничего не знает о речи Сталина. А Ольга Васильевна встретила дочь счастливыми слезами и скорее потащила на кухню, где был включен репродуктор.

— Второй раз передают! — радостно сказала она Ирине, порывисто обняв ее за плечи.

И так они, обнявшись, как две подруги, простояли, пока речь Сталина не прозвучала до конца, заново переживая каждое слово.

— Теперь-то ты, надеюсь, понимаешь, что мне нельзя отсиживаться дома? — спросила Ирина, с надеждой заглядывая в растревоженные глаза матери.

— Понимаю... И мне нельзя. Но только не на фронт.

— Это почему же?! Нет, мама, ты рассуждаешь так, что отец тебя не одобрил бы!

— Как бы он поступил, это еще вопрос, но, если я тебе мать, будешь делать так, как я тебе велю!

— Ну зачем так, мама?.. Ну, верно, я твоя дочь... Но ведь я дочь и своей Родины...

— Родина пока не требует, чтобы ты непременно шла на фронт!

— Раз требует мое сердце, значит, требует Родина!

— Не надо, Ириша, играть красивыми словами!

— Мама... Клянусь тебе папой — это не слова. Ты только вдумайся: если я погибну, то ты очень настрадаешься, но все-таки останешься жить... Если, не дай бог, с тобой что-нибудь — для меня тоже не придумать горше беды, но... жить придется. А если растопчут Родину, если по Москве будут ходить фашисты, то ни мне, ни тебе, никому из честных людей уже не будет жизни!

— Господи! — Ольга Васильевна посмотрела на дочь с изумлением. — Да с тобой невозможно спорить!

— Вот и не спорь, а наберись мужества перенести все!

— Ну ладно. — Ольга Васильевна махнула на Ирину рукой и успокоительно улыбнулась. — Еще есть время подумать... А я вот о чем тебе хотела сказать: надо деньги и драгоценности, которые по наследству, отдать.

— Кому?

— Не знаю кому. На оборону...

— Ой, верно! — Ирина совсем по-детски всплеснула руками, а потом вдруг сделалась серьезной: — Мама... а можно... я выберу себе маленькую брошечку — на память о бабушке Софье?

— Конечно, можно! А я себе возьму сережки.

— Вот если б на эти деньги и драгоценности танк можно было купить, — мечтательно произнесла Ирина, словно и не спрашивала сейчас о брошечке. — И написать на нем: «Нил Романов. За Родину!»

— Правильно! — радостно засмеялась Ольга Васильевна. — Как я сама не додумалась?

— Нет, нет, не танк! — спохватилась Ирина, вспомнив, что у нее есть знакомый летчик лейтенант Виктор Рублев. — Лучше самолет! «Ястребок»!

— Ладно, — согласилась Ольга Васильевна. — А может, там хватит и на танк и на самолет?

— Вот было бы здорово, если б хватило! — вздохнула Ирина.

А Ольга Васильевна добавила:

— Чтоб и на земле и в небе громил фашистов Нил Романов...

В прихожей вдруг сипло звякнул электрический звонок, и они обе, словно чего-то испугавшись, умолкли, кажется позабыв, что надо идти открывать дверь. Звонок ожил вторично, зазвенев протяжно и нетерпеливо.

— Кто бы это?! — спросила Ирина и побежала в прихожую, а за ней поспешила и Ольга Васильевна.

В дверях, когда ее открыли, стоял Сергей Матвеевич Романов — широкогрудый, высокий, придерживая под мышками какие-то свертки. Его грубоватое, какое-то по-русски крепкое лицо светилось сдержанной улыбкой, большие серые глаза под густыми бровями, на которые сдвинулась шляпа из рисовой соломки, тоже чуть улыбались, но смотрели несколько неуверенно, будто вопрошали, вовремя ли он пришел и нет ли новых вестей о генерале Чумакове.

Шумно здороваясь, Сергей Матвеевич поставил на столик у вешалки бутылку шампанского, положил несколько пачек мороженого и коробку шоколадных конфет.

— С меня причитается! — преувеличенно жестикулируя, оживленно возвестил он и смущенно посмотрел на Ирину и Ольгу Васильевну. — Дождался наконец нового назначения!

— Куда же? — спросила Ольга Васильевна, отправив Ирину на кухню варить кофе.

— Сейчас все по порядку. — Сергей Матвеевич снял и повесил на вешалку пиджак, затем уверенно направился в кабинет — здесь все для него было знакомо и привычно. Усевшись в кресло у газетного столика, неторопливо продолжал рассказ о состоявшемся его назначении и о том, что он завтра уезжает в Сибирь, в Нижне-Михайловск.— Осмотрюсь там, попробую разыскать Аиду...

— Что значит «разыскать»? А где она? — поразилась Ольга Васильевна.

— Призвали на фронт. Она же хирург... — В словах Сергея Матвеевича проскользнула досада. — А ведь у меня в Нижне-Михайловске при авиационном заводе свой военный лазарет будет, и хирурги потребуются.

— Молодец Аида. — Ольга Васильевна мечтательно вздохнула. — Если б я была хирургом, а не библиотекарем, взяла бы Ирину — и тоже на фронт. А одну ее боюсь отпускать.

— Она рвется на фронт?

— Да... Не знаю, что и делать. Вообразила себя санитаркой.

— Санитарки и у меня будут нужны! — Сергей Матвеевич поднялся с кресла и прошелся по кабинету. — И между прочим, библиотечные работники тоже. — Он остановился перед Ольгой Васильевной и озабоченно сказал: — В Ленинград вас не пустят, а в Москве оставаться нежелательно. Война только набирает разбег. Всем надо спешить найти свое место и работать изо всех сил.

Ольга Васильевна стояла перед ним посреди кабинета притихшая, побледневшая и с расширившимися зрачками, в которых притаились печаль, беспомощность и растерянность. И он подумал о том, что все эти дни носил в себе переливчатый звук ее грудного голоса, блеск ее неотразимых глаз, всю притягательную прелесть ее лица, ее стройной фигуры, ее горделивой и свободной походки.

— Я сделаю так, что вы с Ириной получите из военкомата повестки и будете направлены в Нижне-Михайловск...

В кабинете запахло свежесваренным кофе. Вошла Ирина, неся на подносе парующий кофейник и крохотные чашечки с блюдцами.

— Нет-нет! — с напускным весельем воскликнул Сергей Матвеевич, увидев на подносе кофе. — Сначала будем пить шампанское!..

## 14

Это были кризисные дни, когда на авансцене истории разыгрывался острейший акт самой кровавой драмы. История еще не раз заставит человеческую совесть обратить пытливый и требовательный взор к тем грозным дням, дабы напомнить ей, этой временами дремлющей и простодушествующей совести, напомнить во имя погибших, во имя правды и духовного здоровья сущих и грядущих поколений: человечество только потому не лишилось своего прошлого и будущего, не оказалось в тяжком и позорном ярме фашизма, что советский народ имел такие неисчерпаемые сокровищницы искренних верований и убеждений, рожденных новым общественным строем, такие напластования сил и возможностей, коим не было равных.

А тем временем страшные жернова войны день за днем размалывали июль 1941 года. Советским руководителям, потрясенным неудачами Красной Армии в приграничных сражениях, еще многое предстояло постигнуть, но немало уже было постигнуто. Делая все новые и новые анализы и сопоставления, ведущие советские политики и дипломаты как бы заново разглядывали в сумеречном тумане межгосударственных отношений тайные упования правительств главных западных стран, нащупывали самые болезненные узлы противоречий, раздиравших мир империализма, разгадывали истинный смысл проявившихся новых хитросплетений мировой международной политики. И может, впервые с такой ясностью ощутили нервную реакцию правительств тех государств, коим под нависшими тучами фашизма грозила неминуемая национальная катастрофа, подобно той, которую переживали Франция, Чехословакия, Польша... Куда в этих условиях поведут за собой охваченный смятением буржуазный мир его правители? Пожелают ли объединить свои усилия с Советским Союзом, уже сражавшимся один на один с фашистскими полчищами?.. Советское руководство отнеслось к первым благожелательным по отношению к СССР шагам руководителей Англии и США настороженно. Однако понимало, что для вдохновения антифашистских сил на всех континентах очень важно было без промедления возвестить мир о создании антигитлеровской коалиции государств. Возвестить... Но не так-то просто создать военный союз еще вчера полувраждебных государств с разной социальной основой.

Об этих сложностях, несомненно, знала и фашистская верхушка, к тому же опиравшаяся в оценках международных ситуаций на свои военные доктрины, в основе которых лежали постулаты прусского дворянина Карла фон Клаузевица. Он, Клаузевиц, не без понимания особенностей буржуазного общества поучал, между прочим, своих грядущих последователей: «В природе международных отношений заложены факторы такого порядка, которые обусловливают вступление союзников в войну лишь позднее; иногда союзники окажут помощь только для восстановления уже утраченного равновесия».

В этих утверждениях Клаузевица отчетливо просматривалась его приверженность к философии Гегеля, в данном случае к гегелевскому диалектическому методу.

Сталина и прежде занимал Клаузевиц, к взглядам которого о взаимосвязи войны и политики и о применении диалектики к различным

сторонам военного дела не единожды обращался Ленин. Ведь Клаузевиц первый в буржуазной военной науке стал трактовать войну как общественное явление. Но, вскрыв зависимость войны от политики, от общественных условий, он не разглядел ее классовой сущности, погрязнув в идеалистическом понимании самой политики и многого другого, относящегося к теории и практике войны.

Именно в эти дни на письменном столе кунцевской дачи Сталина появился труд Клаузевица «О войне» — два тома в сером дерматиновом переплете, а вместе с ними книги Мольтке, Людендорфа, Ницше, Леера, Дельбрука, Жомини. Рядом лежала стопка бумаг с выписками из последних трудов немецких теоретиков, содержащих концепции современной войны; эти выписки были сделаны по его заданию работниками разведуправления Генштаба. Сталина интересовали вопросы, казалось, не первостепенной важности, учитывая положение на наших фронтах, и далеко не новые для него. Он пытался еще и еще раз уяснить: насколько признает гитлеровская военщина закономерности войны как социального явления? если признает, то в какой мере генералы немецкого вермахта могли исходить из научных исследований, планируя войну против СССР? сколь тесно связаны в стратегических замыслах немецкого генерального штаба и его оценках сил и потенциальных возможностей Советского Союза проблемы чисто военные и социально-экономические?

И только со временем станет ясно, что ничего заурядного не было в этих вопросах Сталина, который хорошо знал труды Энгельса о военном искусстве, знал стройную систему суждений Ленина о войне и политике, да и сам не раз писал о зависимости военного искусства от экономического и политического строя государства и характера войны. В столь кризисной ситуации, когда на карту поставлены судьбы народов и пути истории, для Сталина, принявшего на себя руководство военными действиями, было немаловажным представить себе глубины и принципы военного мышления главного немецкого командования и лично Гитлера, с которыми он, Сталин, вместе с Генштабом, по существу, вступил в стратегическое единоборство. Сталину необходимо было уточнить, насколько в немецких военных кругах стала господствующей точка зрения на войну кумира буржуазной военной мысли Клаузевица, углубленная затем Мольтке, Людендорфом, отвергающая закономерности войны и доказывающая, что основой руководства военными действиями является не наука, а интуиция, вдохновение гения. Война есть «область случайного, — писал Клаузевиц, — область недостоверного... наряду со случайностью, в войне большую роль играет неведомое, риск, а вместе с ним и счастье». Прибавила ли что-нибудь нового к этим, в данном случае идеалистическим, мудрствованиям военная мысль фашистского генералитета, кроме авантюристической идеи «молниеносной войны»?

Пытаясь разгадать истоки воззрений Гитлера на военные операции, понять «психологический механизм», управляющий его решениями в ходе войны, Сталин, как можно полагать, не чурался и поучений знаменитого итальянца Никколо Макиавелли, чей трактат «О военном искусстве» тоже лежал на столе кунцевской дачи. В этой книге Макиавелли, которого Энгельс назвал «первым, достойным упоминания, военным писателем нового времени», поучает, что «особенно важно знать, каков неприятельский полководец и окружающие его...» и что «разгаданный замысел дает победу тому, против кого он направлен».

Будущее покажет, насколько отвлечения Сталина к взглядам военных мыслителей прошлого были целесообразны в пору, когда казалось невозможным прилагать теоретические истины к живым и грозным событиям уже полыхающей войны.

В эти дни все наши фронты в кровопролитных оборонительных сражениях перемалывали наступающие группировки немецко-фашистских войск, создавая условия для концентрации свежих сил и перехвата у врага стратегической инициативы. Боевые действия развернулись на огромнейших пространствах и отличались еще не виданной маневренностью, напряжением и динамичностью. Но перевес в силах был на стороне агрессора. Неся тяжелые потери и оказывая жесточайшее сопротивление, советские войска пятились на восток. На Северо-Западном направлении противнику удалось пробиться к Западной Двине, на Западном — в широкой полосе был прорван стратегический фронт наших войск, а на Юго-Западном враг стремительно наступал в направлении Житомира.

В столь кризисной ситуации надо было принимать крайние меры, мобилизовывать дополнительные силы, вводить в действие крупные стратегические резервы.

И в первой декаде июля из стратегических резервов на Западном фронте вводились в сражения новые армии — 19, 20, 21 и 22-я, в которых насчитывалось тридцать шесть дивизий. В составе девяти дивизий была создана 18-я армия на Южном фронте, а на Северо-Западном заново сформирована 11-я армия. Вскоре на Западное направление будут выдвинуты еще три армии — 16, 24 и 28-я.

Одной из важных мер в эти тревожные дни явилось назначение маршала Тимошенко на пост командующего Западным фронтом. Многих в Москве это озадачило: ведь Тимошенко был наркомом обороны и председателем Ставки Главного командования Вооруженных Сил СССР.

## 15

Сам же Семен Константинович Тимошенко воспринял решение об этом назначении спокойно, с обычной для него суровой сосредоточенностью. Но в душе, однако, ощущал спутанность чувств и угнетавшую его вину, пусть даже косвенную, за поражение в приграничных боях, ибо все то непостижимо-трагическое, что там произошло, вопиюще расходилось с планом прикрытия, за который он был в ответе, как был в ответе и за первые решения о контрударах советских войск, существенно не повлиявших на оперативную обстановку... Сейчас же маршалу предоставили возможность овладеть ситуацией на Западном фронте, и поныне предельно критической — это понимал не только он. Вспоминалось расстроенное лицо и потемневшая глубина зрачков Сталина, когда тот, неожиданно появившись в Наркомате обороны, увидел по карте еще более обострившуюся обстановку на Западном направлении. Воспоминание вызвало у маршала мучительную удрученность своей былой уступчивостью Сталину, который теперь, наверное, его же винит за нее. Сталин проявлял политическую осторожность (что ж, может быть, он по-своему был прав). А они, военные, которые обязаны делать свое дело независимо ни от чего?..

Теперь даже трудно сказать, почему они с Жуковым так и не смогли поколебать Сталина, не сумели убедить его, исходя из сделанных Генеральным штабом и лично ими вскрытий и оценок немецко-фашистских военных группировок, стянутых к советским границам, что война уже на пороге и что Гитлер во имя достижения стратегической внезапности готов, по всей видимости, пойти на вероломство...

Многие, кто часто или редко встречался со Сталиным, кто был близок к нему или далек от него, с оторопью ощущали необоримый предел отношений с ним, словно осязали какой-то чуть ли не таинственный порог, за который нельзя было переступать, или испытывали явственно

сковывающую, будто гипнотическую силу Сталина, усмиряющую загадочность его мышления и знаний, его убежденности. Своими до осязаемости ясными формулами, твердостью своих верований, своими замечаниями, порой остроумными и язвительными, он на каком-то этапе будто замораживал мышление собеседников, превращая его в своеобразное зерцало, отражавшее то, что излагал и утверждал сам Сталин. Это было удивительное, странное по своей психологической сущности состояние, когда иные, глубоко знающие свое дело, уверенные в своих знаниях и выводах люди, придя в кабинет Сталина, нередко как бы разоружались, начинали смотреть на все, особенно на вопросы большой политики, его глазами и ви́дение Сталина, чаще с готовностью, иногда с умирающим в сердце непокорством, уже воспринимали как свое собственное.

Но грянула война. Нарком обороны и начальник Генерального штаба оказались свидетелями того, как переживал Сталин крушение своей уверенности, будто дипломатическими маневрами и соблюдением пактов Договора с Германией он, Сталин, сумеет отвести агрессию, а тем немецким генералам, которые, по его мнению, тайно от своего правительства жаждали спровоцировать военное столкновение, Красная Армия повода не даст.

Маршал Тимошенко, разумеется, чувствовал себя сопричастным к этим неоправдавшимся предвоенным надеждам Сталина, и, когда уезжал из Москвы, им владело одно-единственное, пусть несколько обидчивое, но неутолимо острое, похожее на изнурительную жажду желание: скорее поправить дела на Западном фронте. Ему казалось, что теперь, сосредоточив все свое внимание на одном направлении, он обязательно найдет те самые верные и спасительные решения, которые с развертыванием резервных армий приведут к стабилизации линии фронта и подготовят предпосылки для нанесения контрударов по врагу.

Наркома обороны сопровождали в штаб Западного фронта генерал-майор Белокосков (по должности — генерал-адъютант) и работник оперативного управления Генерального штаба полковник Гречко. Летели наркомовским самолетом Ли-2. В салоне было просторно. Маршал, полуутонув в зачехленном кресле у круглого стола, просматривал свежие газеты. Рядом, на узком диванчике, сидели, о чем-то тихо переговариваясь, генерал-майор Белокосков и полковник Гречко. Ближе к кабине пилотов, прильнув к круглым окошкам, адъютант наркома и начальник охраны наблюдали за небом, в котором шла, охраняя самолет, четверка «ястребков».

Положив на стол газету, маршал отдался казнившим его сердце мыслям. Со стороны могло показаться, что Семен Константинович, склонив массивную бритую голову на руку и полуприкрыв глаза, дремал. Но сон к нему не приходил. Мыслями он был уже там, в штабе фронта и на командных пунктах армий. Мучительно напрягал воображение, пытаясь зажечь в себе устойчивое пространственное ви́дение, которое прежде в накаленной атмосфере боев и учений послушно вспыхивало в нем, озаряя мышление, предсказывало простейшие способы решения оперативных задач, давало ключ к замыслам противника, помогало разумно маневрировать резервами, своевременно улавливать каким-то особым чутьем изменения в обстановке. Да, маршал Тимошенко, не столько по своей военной учености, сколько по природному таланту, умел в сумятице боевых коллизий и в изменчивости оперативных обстоятельств схватывать силой внутреннего зрения наиболее существенное для каждого момента. И сам театр боевых действий обычно проступал перед умственным взором маршала с почти физическим ощущением его объемности, с разбросанными на нем городами, селами и реками, лесами и полями, дорогами, возвышенностями и низменностями. Обладая столь

счастливым даром пространственного ви́дения, словно перед ним простиралась рельефная карта, Семен Константинович одновременно будто обнаженными нервами прикасался к расположенным на этой выпуклой карте армиям, корпусам, дивизиям, пытаясь угадать их силу или слабость, собранность или разобщенность, готовность к маневру, насыщенность вооружением, техникой...

Так всегда происходило с ним раньше. А с началом войны, когда события стали складываться стремительно и в чудовищном несоответствии с тем, как они предполагались в плане прикрытия, когда все преимущества расположения наших армий, имевших задачу в случае агрессии навалиться на врага могучими контрударами, перестали быть преимуществами, маршал почувствовал зыбкость своего внутреннего ви́дения. Нарушилась последовательность восприятия происходящего, а картинность воображения стала размываться или застилалась туманной пеленой из-за невозможности охватить мыслью все сразу — наступательные действия врага и быстро меняющиеся ситуации, в которых оказывались советские войска.

Только карта с нанесенной обстановкой, непрерывно уточняемой, позволила придавать мыслям силу для поисков решений и для нахождения ответов на многие грозные вопросы. Сейчас Семен Константинович пытался объединить в своем воображении знакомые просторы Белоруссии и прилегающей к ней западной части России с оперативной картой, на которую перед самым отъездом из Москвы полковник Гречко нанес последние сведения с фронта. Но никак не мог воскресить в памяти начертания боевых порядков своих обороняющихся армий из-за непрерывной подвижности линии фронта. Они были в эти дни, как контуры облаков в штормовую погоду.

— Давайте-ка еще взглянем на карту, — устало сказал маршал генералу Белокоскову и полковнику Гречко.

Гречко принес плотно сложенную карту и, разворачивая крыло за крылом, будто разбирал ее на составные части. В этом зрелище, когда хорошо сложенная карта с нанесенной обстановкой постепенно раскрывает себя, Семен Константинович всегда улавливал какую-то мимолетную торжественность. Он любил, чтоб карта велась точно и чтоб все начертания и надписи на ней делались твердой и искусной рукой. Маршал при случае даже поучал: «Покажи мне, как ты ведешь карту, и я скажу, какой ты командир». А затем объяснял, что состояние карты, ее внешний вид в значительной мере отражает степень четкости и ясности мышления командира.

Нарком знал, что полковник Гречко, нанося на карту положение противоборствующих сторон, их действия и замыслы командования, чем-то неуловимым, может тональностью линий и штриховок, характером округлостей в начертании стрел — направлений ударов и контрударов, остротой и развернутостью их наконечников, носивших в своей условности далеко не условный смысл, — умел передать в какой-то мере и саму драматичность боевой ситуации на том или ином участке фронта, и вся карта в целом под его рукой как бы обретала живую плоть и душу. Может быть, поэтому начальник оперативного управления Генштаба поручил именно полковнику Гречко вести самую главную — сводную оперативную карту обстановки.

Но если бы с этой картой не надо было каждый день, а то и дважды в сутки ездить на доклад к Сталину!.. Где-то в глубине души, хотя в этом трудно было себе признаться, маршал Тимошенко иногда досадовал на ее, карты, столь прозрачную ясность и четкость. Сталин, только взглянув на карту, уже почти не нуждался ни в каких разъяснениях и, прежде чем выслушать решения наркома, нередко давал волю своим

раздраженным чувствам... Это были тяжкие минуты для Семена Константиновича...

И вот карта улеглась своей серединой на круглый стол и, поддерживаемая по краям с одной стороны генералом Белокосковым, а с другой полковником Гречко, бросила в глаза красные и синие начертания... Все, что было запечатлено на ней: красная обводка приблизительных рубежей наших дивизий, сражающихся западнее Минска в синем вражеском кольце, истекающая кровью в оборонительных боях на Березине 13-я армия генерала Филатова, выходящие из окружения части 3-й и 10-й армий, которые вливались в 13-ю армию, — все рождало гнетущее чувство напряженной неопределенности. И при этом мнилось: что-то очень важное о противнике ускользает от реалистического осмысления. Враг представлялся пока призрачно, но в то же время удручал своими воздушными армадами, своей, казалось, беспредельной возможностью заполонять неохватные территории ударными группировками, пронзать большие пространства довольно разумно нацеленными танковыми колоннами.

Многое из того, что сбежалось на эту оперативную карту, еще не поддавалось расчленению на простое, восхождению от неизвестного к известному и поэтому вызывало тревогу, расплескивало в груди тоскливое чувство неуверенности.

Отстранившись от карты и подавив вздох, маршал вяло махнул рукой: сложите, мол.

Полковник Гречко привычно складывал полотнище карты, а движения его рук постепенно замедлялись.

Тимошенко, обратив на это внимание, вопросительно взглянул в лицо полковника и уловил в его выразительных глазах какую-то беспокойную мысль.

— Вы что-то хотите спросить у меня, товарищ полковник?

Щеки полковника вспыхнули двумя красными пятнами, и он, не отводя сверкнувших скрытым волнением глаз от требовательного, прямого взгляда маршала, смущенно ответил:

— Боюсь быть надоедливым, товарищ нарком...

— На фронт рветесь?

— Так точно, товарищ маршал.

— Вы же только пришли в Генштаб.

— Поэтому и не так трудно будет заменить меня.

— А что скажет Жуков?

— Не знаю, товарищ маршал... Но после академии, учитывая, что идет война, я очень хочу в действующую армию.

Размышляя над услышанным, Тимошенко с грустью смотрел на замершего в ожидании его ответа полковника. Семен Константинович тоже ведь был не стар: ему всего лишь сорок шесть лет. Но на более молодых он смотрел с доброй завистью, внутренне сокрушаясь, что не удалось ему так глубоко, как им, окунуться в недра военной науки. У того же полковника Гречко, при его молодости и проверенной боевой и служебной практикой одаренности, за спиной уже две военные академии — имени Фрунзе и Генерального штаба. А он, маршал и нарком обороны, прошедший через огонь трех войн, тоже, разумеется, обогащенный опытом огромной командной практики, получил теоретическую подготовку только в рамках высших академических курсов и пополнял свои знания неустанным самообразованием.

— Добре, — сказал наконец нарком. — Пойдете в действующую армию... Я поговорю с Жуковым.

— Благодарю за доверие, товарищ маршал!..

В Гнездове, близ Смоленска, куда переместился штаб Западного фронта, уже дожидались приезда нового командующего. Опытному глазу маршала, как только он въехал в дачный поселок, это сразу приметилось: напряженная подтянутость часовых, проворность дежурного командира у шлагбаума на повороте к Красному бору, неестественная безлюдность улицы, чрезмерная деловитость мелькавших кое-где между домами штабников, сочная свежесть зелени, которой были забросаны линии связи.

Кавалькада из трех машин устремилась по асфальтированной дороге сквозь Красный бор, к дому отдыха бывшего Белорусского военного округа — там размещалось руководство Западного фронта. Впереди мчалась эмка охраны, в среднем лимузине — длинном тяжелом «зисе» — ехали маршал Тимошенко, генерал-майор Белокосков и полковник Гречко, а в заднем автомобиле — начальник охранной группы и капитан Никифор Ермак — адъютант наркома с его личными вещами. Показалась ограда. Двое часовых, торопливо раскрыв ворота и прижавшись спинами к вереям, отдали честь — «по-ефрейторски на караул».

За воротами — половодье цветов; о войне напоминали только провода связи, подвешенные к деревьям и опутавшие двухэтажный деревянный дом с мезонином, да щели в земле, вырытые среди кустов сирени и у подножий сосен. Некоторые щели были перекрыты бревенчатыми накатами, обложенными сверху для маскировки лоскутами привядшего дерна, недавно политого водой.

Передняя машина круто развернулась вокруг клумбы и оказалась позади всего кортежа. Автомобиль маршала Тимошенко, сбавив скорость, проезжал у крайнего подсобного домика, приближаясь к дому с мезонином. В это время Семен Константинович увидел генерала армии Павлова. Тот стоял внутри домика перед настежь раскрытым окном, ярко освещенный косым, разбившимся в еловых ветках лучом солнца. Пока машина проезжала мимо окна, маршал успел разглядеть до неузнаваемости изменившееся лицо Павлова, таившее в своей желтоватой землистости печать обреченности; оно было сурово какой-то кричащей суровостью, а страшный взгляд впалых, потерявших блеск глаз отдавал тусклой, будто припорошенной краснотой. Павлов отвернулся от окна и покачнулся. Семену Константиновичу почудилось, что генерал пьян. Маршал тоскливо подумал, что судьба военачальника никогда не бывает так опасна, как в пору, когда он достиг вершин своей военной карьеры. И еще удивился, что Павлов успел столь быстро возвратиться из Москвы. Не добившись там приема у Сталина и у него, наркома, он пока был не у дел. Полученное же Павловым задание формировать танковый корпус из выходящих из окружения групп вряд ли сейчас осуществимо...

Из парадных дверей двухэтажного дома навстречу подъезжающей машине неторопливо вышли маршалы Ворошилов и Шапошников. Впереди них спешил с рапортом начальник штаба фронта генерал-лейтенант Маландин, так как командующий — генерал Еременко — находился в это время где-то под Борисовом. Все — в начищенных хромовых сапогах, в полевой, несколько мятой форме; их лица были потемневшими, осунувшимися, в воспаленных глазах проглядывала физическая и душевная утомленность. С чувством какой-то своей вины отметив это про себя, Семен Константинович вышел из машины и подбадривающе заулыбался суховатой улыбкой. Прервав взмахом руки доклад Маландина, он как бы снял этим официальность встречи и стал дружески здороваться со всеми.

— С приездом, нарком, — подавая руку, хрипловато сказал Ворошилов, метнув из-под нахмуренных бровей неспокойный взгляд.

Маршал Шапошников приветствовал наркома с притушенной радостью, и эта скупая, чуть просветлившая его лицо радость еще четче обо-

значила набухшие мешки под глазами и углубившиеся морщины; Борис Михайлович выглядел нездоровым или чрезмерно угнетенным нравственной усталостью.

По скрипучей лестнице поднялись на второй этаж, наспех перекусили, попили чаю и уселись вокруг стола, на котором генерал Маландин расстелил оперативную карту с нанесенной на нее самой свежей обстановкой. Герман Капитонович был профессионалом-штабистом высшей культуры: еще совсем недавно он возглавлял оперативное управление Генерального штаба. Успев отвлечься от своих бывших забот и глубоко проникнуться трагическими сложностями Западного фронта, сейчас он был чем-то похож на врача, который, выйдя от тяжко больного, с крайней озабоченностью рассказывал о его состоянии своим опытным коллегам, собравшимся на совет. Его худощавое интеллигентное лицо отдавало желтизной, а ввалившиеся глаза были в красных прожилках — следствие бессонных и напряженно-тревожных ночей. Но голос Маландина звучал с внутренней свободой, хоть и угадывались в нем волнение и горечь. С присущей высокообразованному генералу четкостью, сжатостью и последовательностью он излагал все, что было известно о положении, силах и замыслах действующего в полосе фронта противника, о наших обороняющихся и выходящих из окружения войсках, базах снабжения, о выдвигающихся в район боевых действий резервах, неприкрытых флангах фронта; говорил и о штабе, его ослабленных возможностях планировать боевые операции, доводить приказы и распоряжения до войск и обеспечивать их действия.

Когда, выслушав доклад начальника штаба, маршалы начали обмениваться мнениями, в стороне Смоленска послышалась пальба зенитных орудий. Выстрелы были резкие, приглушенные расстоянием, а разрывов снарядов и рокота авиамоторов вовсе не было слышно. Но тут же докатился протяжный ступенчатый гул бомбежки, от которого задрожал под ногами пол и медленно покатился по карте круглый красный карандаш...

Война познается намного глубже при личных ощущениях; «чувственные данные», почерпнутые от других людей и из донесений, не в полную меру помогают оценивать слагаемые происходящего. И все же маршал Тимошенко не без заинтересованности начал разговор с генералом армии Павловым, когда тот спустя некоторое время после приезда наркома в Красный бор пришел к нему на прием.

Зайдя в комнату, где расположился Тимошенко, Павлов по всем правилам, хоть и потухшим голосом, представился, затем четко пропечатал шаг от дверей к столу, чтобы пожать руку поднявшемуся навстречу маршалу. Перед Тимошенко был уже не тот Павлов, которого он мельком увидел несколько часов назад. Побритый, наодеколоненный, посветлевший, подтянутый. Белая каемка подворотничка ровной линией охватывала шею. Только взгляд его был по-прежнему болезненно-острый, смятенный и выражавший какой-то протест.

Уселись друг против друга, не зная, с чего начать трудный разговор.

— Я поспешил вернуться в штаб фронта, как только услышал в Москве, что вы назначены на Западный, — первым заговорил Павлов, вымученно усмехнувшись. — Может, тут сумею убедительнее доложить...

— Что докладывать?.. Надо выправлять положение. — Тимошенко вздохнул от переизбытка тягостных чувств и перевел взгляд с лица Павлова на окно. — Все сложилось так, что трудно поверить...

— Ругает там меня хозяин? — с обидой спросил Павлов, имея в виду Сталина.

— Ругает — не то слово. — По лицу маршала скользнула горькая улыбка. — И не только вас. Всех нас ругает.

— Да уж ясно, если наркома прислал фронтом командовать. — Павлов досадливо хлопнул себя ладонью по коленке. — Может, мне рапорт написать?

— О чем?

— Хочу объяснить, что на моем месте и Суворов ничего не сделал бы.

— Это уж точно. — Тимошенко хмыкнул. — Суворов понятия не имел ни о танках, ни о самолетах.

— А что из того, что я имею эти понятия? — Павлов приложил руку к груди. — Ведь только один механизированный корпус был укомплектован материальной частью! А авиация? Только тридцать процентов самолетов новых конструкций, да и на них еще не научились летать!

— Спокойнее, спокойнее, Дмитрий Григорьевич. — Тимошенко нахмурился. — Все это нам известно. И о необученности людей, и о недостаточности табельных средств связи, и о неподготовленности в инженерном отношении театра военных действий. И все другое известно!.. Но такие потери дивизий, авиации и территориальные потери!..

— Как удержать, если на том же брестско-барановичском направлении против наших семи немцы бросили пятнадцать своих дивизий?! В том числе пять танковых!

— Давайте не будем сейчас заниматься арифметикой. — В голосе Тимошенко зазвучали суровые нотки. — Что бы вы ни говорили, а приграничные сражения проиграны нами. И вы как командующий оказались не на высоте положения.

— Что теперь из этого следует? — Павлов встал.

— Садитесь, — спокойно приказал ему маршал, и когда Павлов сел, голос наркома полился мягче: — Может быть, вы будете удобнее чувствовать себя на Юго-Западном фронте?..

В это время в комнату торопливо вошел чем-то взволнованный генерал Маландин.

— Товарищ нарком, извините, что вторгаюсь без вызова... Тяжелое происшествие.

— Что случилось?

— Наши бойцы случайно застрелили начальника штаба двадцатой армии...

— Да вы что?! Генерала Корнеева?! — Маршал так смотрел на Маландина, словно тот был лично виноват в происшедшем. — Как это так — застрелили?

— У моста через реку образовалась пробка. Корнеев как раз подъехал и стал наводить порядок, — подавленно рассказывал Маландин. — А кто-то пустил слух, что это переодетый немецкий диверсант...

— Сами диверсанты и пустили слух, — негодующе высказал предположение Павлов. — И наверняка они же и застрелили! Это не первый случай, знакомый почерк.

— Вполне вероятно, — согласился Маландин.

Тимошенко помолчал, хмуря брови, потом обратился к генералу армии Павлову:

— Ну вот, Дмитрий Григорьевич, для вас пока и дело... Поезжайте в двадцатую армию, разберитесь, что там происходит, и помогите генералу Курочкину навести порядок. Об обстоятельствах гибели Корнеева доложите письменно... — Умолкнув, маршал продолжал смотреть на Павлова с какой-то трудной мыслью. Возможно, он думал о том, что не к добру Сталин интересовался вчера им. Потом Тимошенко заговорил

вновь: — А тем временем решится вопрос о дальнейшем. Думаю, что вам действительно придется поехать на Юго-Западный командовать мехкорпусом.

Сразу после приезда на фронт маршал Тимошенко не торопился принимать масштабных решений. Он знал, что значительная часть сил стратегического резерва лишь только подтягивалась к намеченным рубежам, и в поисках форм лучшего применения свежих соединений маршалу еще нечего было класть на чашу весов. Он как командующий фронтом не находил пока возможным внушительно сказать какое-нибудь оперативное «да» или «нет», понимая, что на войне закон противоречия приобретает особую силу: жесточайше мстит за расхождения с истинностью в оценках, выводах и решениях. Перипетии военной стратегии, развиваясь по определенным закономерностям, превращают здесь в закономерность также свои неожиданности и превратности. Их угроза всегда теснит грудь полководца, всегда заставляет настороженно всматриваться в действия противника, чтобы угадать ложные, отвлекающие, и главные, направленные на достижение высших замыслов.

Маршал Тимошенко еще в Москве знал, что обстановка на Западном фронте крайне сложная, а наиболее угрожающая — на витебском направлении.

Витебское направление прикрывала 22-я армия генерал-лейтенанта Ершакова. Подойдя с Урала, она при поддержке авиации контратаковала войска третьей танковой группы Гота в районах Дисны и Витебска, нанесла врагу крупные потери и остановила его. Но сейчас рубежи обороны армии растянулись на целых двести километров — от Витебска до Себежского укрепрайона, а против нее наступала огромная силища: два армейских корпуса 16-й армии Буша и оправившаяся от контрудара третья танковая группа Гота; к тому же две дивизии 9-й немецкой армии наседали на ее правый фланг.

Ставка Главного командования понимала, что немцы будут вести против центра 22-й армии сковывающие наступательные действия, а основными силами нанесут концентрические удары, чтобы выйти во фланг и тыл всему Западному фронту. Именно так и начала складываться обстановка, и Ставка перебрасывала на витебское направление 19-ю армию генерал-лейтенанта Конева.

Сейчас стало ясно, что части Конева не успевают своевременно выдвинуться в район боевых действий и маршалу Тимошенко надо принять меры, чтобы сорвать замысел немецких генералов или хотя бы затормозить развитие событий. В поисках решения он собрался побывать на командных пунктах армий генералов Ершакова, Курочкина и Ташутина. Но приехали Буденный и Мехлис, и пришлось повременить с отъездом, чтобы провести заседание Военного совета фронта.

Генерал-лейтенант Маландин, водя указкой по огромному, распятому на стене полотнищу карты, пересказывал последние предписания Ставки Главного командования, которая требовала от войск Западного фронта изматывать противника в междуречье Березины и Днепра, не допускать его прорыва на север и восток, создать вдоль Днепра оборонительную линию и обеспечить развертывание на ней подходящих с востока стратегических резервов.

Все внимательно слушали Маландина и смотрели на карту. А Мехлис еще успевал бросать озабоченные взгляды то на маршала Тимошенко, то на его генерал-адъютанта Белокоскова. Что-то явно беспокоило армейского комиссара первого ранга — всегда неуемного. В своих поступках он часто бывал крут, бескомпромиссен и категоричен. Случалось,

если человек приглянулся ему своими деяниями или даже только высказываниями, Мехлис тут же возносил его и, если это было в его власти, наделял большими полномочиями; а уж если не пришелся по сердцу, а тем более допустил промашку или, не дай бог, проштрафился — был к нему беспощаден до предела. С Мехлисом считались, зная, что Сталину нравилась его напористость и предприимчивость, но иных удручала жестокость характера армейского комиссара.

Когда Маландин закончил доклад, Мехлис тут же обратился к Тимошенко:

— Товарищ маршал, я получил указание Иосифа Виссарионовича... Военному совету поручено определить круг лиц командного состава Западного фронта, виновных в потере управления войсками... Речь идет о руководстве и командирах соединений...

— Я сейчас не готов заниматься этим, — после напряженной паузы суховато отозвался Тимошенко. — Мне надо побывать на командных пунктах армий. Да и вам...

— Что прикажете доложить товарищу Сталину? — с подчеркнутым спокойствием, в котором прозвучал скрытый вызов, спросил Мехлис.

— А что хотите, — с неожиданным равнодушием ответил Тимошенко. — Вы получили указание, вам и докладывать.

— Ну что ж... Никогда не уклоняюсь от ответственности! — В голосе Мехлиса холодность просквозила более явственно, чем это можно было допустить в разговоре с наркомом обороны. И тем не менее он продолжал с той же скрытой взвинченностью: — Но я должен напомнить вам...

Тимошенко взмахом руки заставил его умолкнуть. Под натянутой кожей сумрачного лица маршала шевельнулись желваки, и казалось, что не миновать острого разговора. Однако маршал заговорил спокойно, будто демонстрируя этим спокойствием свое превосходство в чем-то:

— Между прочим, товарищ армейский комиссар первого ранга, мы сюда тоже партией присланы не в бирюльки играть и перед партией в ответе за каждый свой шаг.

— Ну, разумеется, товарищ маршал. — Мехлис досадливо поморщился. — Я хотел...

Тимошенко опять перебил его:

— И если вы будете по поводу и без повода подчеркивать, что вы больше ответственны перед партией, чем другие члены Военного совета, нам с вами будет трудно.

— Товарищ маршал, кто же спорит?! Я просто хотел напомнить, что прокурор не даст санкции на арест кого-нибудь из генералов, пока постановление об этом не утвердите вы как народный комиссар обороны... Ведь главное слово за вами...

Тимошенко, кажется, опешил, его остекленевший взгляд остановился на Мехлисе. После продолжительного молчания он наконец спросил:

— Даже так ставится вопрос?..

— Да... Генерал армии Павлов вызван в Москву и предстанет перед судом. — Мехлис почему-то взглянул на наручные часы. — Разве вы не утверждали постановление об его аресте?

И снова наступила тишина, стало слышно, как внизу, на первом этаже, выстукивали дробь аппараты узла связи.

— Но Павлов возвратился из Москвы, — подавленно сказал Тимошенко.

— Возвратился?! — В голосе Мехлиса просквозила тревога. — А где же он сейчас?

— Я услал его в двадцатую армию...

Снизу снова донесся перестук аппаратов.

Ночь была душной и, как многие ночи на фронте, таинственно-тревожной. Высоко под звездами, смотревшими сквозь густые сплетения ветвей черного леса, все шли и шли немецкие бомбардировщики, роняя на землю нудный, стонущий гуд. С той стороны, где восходит солнце и куда ползли по небу невидимые, тяжело груженные самолеты, временами доносился тугой, скраденный расстоянием отзвук, а на западе, за Друтью, будто отвечая на далекий грохот бомбовых обвалов, откликались беспокоящим огнем по немцам наши орудия.

Фронтовой сон чуток. Спали в шалашах, в кабинах и в кузовах нескольких имевшихся в распоряжении группы генерала Чумакова автомашин, а многие улеглись прямо на траве, под кустами орешника. Федор Ксенофонтович Чумаков, с вечера почувствовав, как заныли под бинтами поврежденные осколком челюстные мышцы, лег спать в палатке на брезентовой дерюге, покрывавшей слой елового лапника, — опасался дождя. Рана все еще беспокоила: толстый слой порошкового стрептоцида медленно унимал воспаление, и нижняя челюсть оставалась малоподвижной: Федор Ксенофонтович с трудом мог есть только размоченные сухари и хлебать жиденький суп. Когда же разговаривал, то в левом ухе, на которое почти перестал слышать, и в нижней части виска просыпалась тупая, пульсирующая боль. Иногда челюстной сустав неожиданно заклинивался, и он на время лишался речи. Но в этих своих мучениях Чумаков никому не признавался.

Сквозь расслабившую тело дрему слышал раздававшиеся иногда оклики часовых, хруст сучьев под чьими-то сапогами, шелест кустов, одиночные выстрелы за линией охранения. Мнилось, что вот-вот может вспыхнуть, как это бывало в окружении, трескотня автоматов, и тогда надо будет вскакивать, хвататься за оружие, не зная, где противник и что он собой представляет.

У Федора Ксенофонтовича тяжело было на сердце, и он, силой воли подавляя в себе трудные мысли, хотел побыстрее уснуть. Но рядом сладко похрапывал полковой комиссар Жилов, и, чтобы не слышать похрапывающего комиссара, отодвинулся на край дерюги, под приподнятый полог палатки. Однако натянутая парусина, словно резонатор, усиливала все другие звуки, которыми жил ночной лес, и Федор Ксенофонтович даже стал слышать, как разговаривали и пересмеивались младший политрук Иванюта и старший лейтенант Колодяжный, устроившиеся на ночлег неподалеку. Хотел было прикрикнуть на них, но Колодяжный зашелся таким удушливым, заразительным смешком, что Федор Ксенофонтович сам невольно хмыкнул и стал прислушиваться, стараясь понять причину веселья молодых людей.

— ...Нет, верно тебе говорю! — доносился хрипловатый говорок Иванюты. — Да ты же помнишь: это была, кажется, седьмая наша контратака, на клеверном поле! Втолковываю: хлопцы, если хотите уцелеть, держитесь от меня справа и слева, но штыком не работайте, а палите по тем гитлерякам, которые в меня целятся. И получилось!.. Ломлюсь, понимаешь, под их охраной и работаю длинным уколом с выпадом. Карабин, как игрушечка, летит вперед!.. Ну, иногда там — правый или левый отбив вниз... За такую работу на штурмовой полосе в училище мне всегда пятерку ставили.

— И многих укокошил? — с недоверием поинтересовался Колодяжный.

— Ни одного! — Иванюта заразительно засмеялся. — Я же с расстояния, выбросом карабина!.. Понимаешь? Чтоб штык только коснулся, но... обязательно головы! И валятся как снопы!.. От шока... Дошло?..

Длинный выпад навстречу, легкий удар острием штыка в лицо, или в лоб, или в шею — и бросает фашист автомат, копыта в стороны, и будь здоров!

— Силен! — одобрительно хохотнул Колодяжный. — И все твои телохранители уцелели?

— Все до единого!.. Поверили, что я завороженный. Циркачом меня назвали. А знаешь, как я такую механику придумал?

— Это же элементарно.

— Ха! Когда знаешь! — Иванюта опять зашелся смехом, кажется, совсем глупым, беспричинным. И тут же стал пояснять: — У нас в селе был один хитрый дядька. Архипом звали. Так вот, этот Архип однажды подкупил цыганку, чтобы наворожила его соседям то, что ему надо.

— А что ему было надо?

— Ты послушай. Цыганка вначале убедила соседей Архипа, что она ясновидица: каждому рассказала все, что случилось в его жизни, — конечно, Архип ее просветил. А потом уверила, что точно знает, когда кто из них помрет... Первым назвала Архипа, но открыть время его смерти отказалась наотрез. А соседям его наворожила более конкретно: «Ты, Иван, помрешь после Архипа, в тот день, когда по нему будут справлять сороковины. А ты, Платон, ровно через семь месяцев после Архипа отдашь богу душу...» Третьему соседу, Савке, по словам цыганки, выпало прощаться с белым светом через год после Архипа...

— Ну и чего твой Архип добился такой брехней? — недоумевал Колодяжный.

— Не понимаешь?! — Иванюта опять залился смехом. — Райской жизни добился! Только возьмется Архип за лопату, чтоб грядку вскопать, или за косу, чтоб травы корове накосить, а соседи уже наперегонки бегут на помощь... Следили за ним, как за дитем малым! Закашляет или застонет он — может, с перепою или еще с чего, — и пожалуйста: Иван спешит с кринкой меду, Платон — с кругляшом масла, а Савка тащит настоянную на целебных травах горилку — лечись, мол, дорогой соседушка, да не спеши помирать... Прямо на руках его носили... А однажды Архип действительно расхворался: объелся соседскими подношениями, и желудок стал давать осечку... Ох и забегали соседи: и врачей к нему, и знахарей! Ничто не помогает. Тогда собрались на совет и решили... А ты учти: скупые мужики были!.. Решили, значит, послать Архипа на курорт. Кто продал пару овец, кто телку, кто свинью, скопили деньги и внесли их куда надо, а документы прислали соседу по почте, будто от медицинских властей...

Колодяжный, позабыв, что вокруг спят, захохотал громко и заразительно. И тут же кто-то со стороны беззлобно прикрикнул:

— Спать дайте, черти!

Друзья умолкли, наступила тишина, и Федор Ксенофонтович не заметил, как окунулся в сон... Ему приснилось, что он дома, в Ленинграде. За пианино сидит Ирина; ее пальцы проворно бегают по клавишам, но музыки он почему-то не слышит и с тревогой смотрит на дочь, на лице которой застыла какая-то жалкая, просящая улыбка, а из больших красивых глаз катятся крупные горошины слез... Потом из-за пианино выходит Ольга, почему-то в цыганском одеянии — в длинной широкой юбке, цветастой блузке, с пестрым платком на плечах и с золотыми подвесками в мочках ушей. Округлив в испуге глаза, она что-то взволнованно говорит, он силится разобрать ее слова, но слышит только звон серебряных молоточков да знакомую мелодию:

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои.
Сени новые, кленовые...

Федор Ксенофонтович чувствует, как у него начинает болеть сердце оттого, что он никак не может понять слов жены, в которых, несмотря на веселый говор серебряных молоточков, угадывается что-то трагичное. Будто Ольга предупреждает его о какой-то грозящей ему беде, о чем-то умоляет, а он никак не находит сил вникнуть в ее слова, не знает, как справиться со своей беспомощностью, и со страхом начинает осознавать, что от беды теперь не уйти и что слезы Ирины, уже куда-то исчезнувшей, как раз этим и были вызваны...

Под утро он проснулся разбитый, измученный, ощутил давящую духоту, мерзкую теплую сырость, видимо накатывавшуюся с недалеких болотистых лужаек. Сердце в груди билось часто и гулко, словно после длительного бега. Вспомнился сон, и Федор Ксенофонтович, не придя еще в себя, начал с тоской размышлять о жене, о дочери. И словно не думал, а просто перекладывал с места на место отболевшие мысли, всматриваясь в них и страдая оттого, что все могло случиться куда хуже... Что было бы, если б его несколько раньше назначили на корпус и Ольга с Ириной успели перебраться к нему в Крашаны?.. Постигла бы их участь семьи Карпухина, оставшейся под развалинами дома? Или казнился б теперь он, как полковой комиссар Жилов, жена и двое сыновей которого, по всей видимости, не успели выбраться из зоны боевых действий и остались где-то там, за Минском...

Но если б раньше принял он корпус, может быть, не было бы повода для этого пока что загадочного недоразумения? И недоразумение ли?.. Какой информацией о действиях в приграничных боях его механизированного корпуса могло пользоваться командование фронтом? Чем он, генерал Чумаков, вызвал такое недовольство у высшего начальства?..

Кажется, Федор Ксенофонтович еще никогда не испытывал столь глубокого нравственного потрясения, как во время вчерашнего телефонного разговора с начальником штаба фронта генерал-лейтенантом Маландиным. Герман Капитонович — его давнишний и добрый знакомый, само воплощение корректности и выдержки — сказал ему слова, которые ядовитыми стрелами вонзились в душу... Что стоит за этими словами?.. Маландин попусту обвинениями не бросается. Значит, что-то есть... Что?.. О каких последствиях шла речь? Что ждать теперь генералу Чумакову?..

Слишком много возникало вопросов, сплетенных в один узел. Вспомнились вначале изумленные, а затем испуганные глаза полковника Карпухина, когда передал ему приказание явиться с боевой документацией в штаб фронта. «Почему не вам?.. — Коричневое и сухое лицо Карпухина вдруг будто покрылось пеплом. — Что случилось?» — «Не знаю. Мне брошен упрек, что я не командовал корпусом...» Может, действительно плохо командовал? Может, другой на его месте добился бы большего?..

После отъезда Карпухина мысли Федора Ксенофонтовича продолжали смятенно и мучительно метаться в темном лабиринте предположений и догадок. Однажды в сознании смутно мелькнула мысль о подполковнике Рукатове, который почему-то старательно избегал встречи с ним на сборном пункте в Могилеве, и тут же это воспоминание угасло, ибо, как предполагал Федор Ксенофонтович, в данном случае к Рукатову не могло относиться древнее персидское изречение: «Бойся того, кто тебя боится...» Ведь Чумаков ничем Рукатову не угрожал.

На войне время жестко спрессовано. Бывает, что на фронте человек переживает за час куда больше, чем за всю свою жизнь.

Прошло лишь двое суток, как генерал-майор Чумаков вывел из окружения свою группу — более четырехсот человек. В ней — уцелевшие работники штаба корпуса, бойцы и командиры спецподразделений, обслу-

живавших штаб, люди из танковой дивизии, которая последней выходила из боя, израсходовав все горючее и боеприпасы, а также из других частей, примкнувшие в пути, вроде летчика-лейтенанта Рублева. Рядовых и сержантов, исключая механиков-водителей, связистов и саперов, сразу же влили в один из полков, который на последнем пределе держал оборону на Березине, раненых, в том числе и майора Птицына (бывшего графа Владимира Глинского), так и не разгадав в нем немецкого агента-диверсанта, определили в полевой госпиталь, а всех остальных, по уже установившемуся порядку, на попутных машинах отправили на сборный пункт в Могилев.

Естественно, что генерал Чумаков, как только оказался по эту сторону фронта, стал наводить справки о местонахождении командного пункта своей 10-й армии, но ничего не узнал; еще не была известна судьба большинства соединений 10-й армии, ее штаба и самого командарма генерала Голубева. Поэтому Федору Ксенофонтовичу ничего другого не оставалось, как явиться в штаб фронта.

Ехал он туда несколько возбужденный, с ощущением человека, который, пройдя сквозь множество смертельных опасностей, честно сделал все, что мог сделать в столь невообразимо трудных ситуациях. Был убежден, что его неукомплектованному корпусу удалось совершить больше того, что было в пределах возможного, а сам прорыв штабной группы сквозь боевые порядки немецких войск тоже представлялся генералу Чумакову далеко не простым событием. Надеялся, что в штабе фронта встретят его если не как героя, то, во всяком случае, оценят по достоинству. Но не пришла Федору Ксенофонтовичу в голову мысль, что степень сложности военных ситуаций порой можно познать, только внедрившись личной судьбой в них.

В лесу под Чаусами царила нервозно-напряженная атмосфера; штаб фронта собирался переезжать куда-то к Смоленску. Ни к командующему, ни к начальнику штаба попасть не удалось: они были на командном пункте. Каждый иной высокопоставленный работник штаба, к кому обращался Федор Ксенофонтович, вначале воспламенялся духом, услышав, что он тот самый генерал Чумаков, командир механизированного корпуса, который дрался в составе группы генерал-лейтенанта Болдина под Гродно. Но лишь только начав понимать, что корпуса больше не существует, сразу же сникал и терял к Чумакову интерес или даже проявлял раздражение, будто этот генерал с перебинтованной головой и огрубевшим, усталым лицом в чем-то обманул его, лишил надежды не только на неожиданное получение боевого соединения, но и на какое-то откровение, на познание какой-то новой и важной, может, чудодейственно-спасительной истины, принесенной в готовом виде оттуда, где начиналась война.

Расставаясь с таким командиром, Федор Ксенофонтович с болью в сердце размышлял о том, что эти люди, каждый отвечая за какой-то важнейший участок деятельности штаба фронта, сейчас испытывали отчаяние. На них то нисходила фанатическая вера, что они, несмотря ни на что, все-таки овладеют обстановкой и наконец начнут диктовать врагу свою волю, то вдруг им виделось, что только чудо не позволит фашистским войскам окончательно рассечь и окружить все силы Западного фронта. И еще, своей непроизвольной реакцией на обвал тяжелых вестей из районов боев, реакцией, временами переходящей в ожесточение, в котором сквозили нравственные страдания оттого, что они, олицетворявшие собой разум войск фронта, пока не в состоянии принять каких-либо спасительных решений, эти люди, как казалось Федору Ксенофонтовичу, будто порицали в душе кого-то, в том числе и его, генерала Чумакова,

за то, что вот он не сумел удержать врага близ границы и обрек их теперь нести всю тяжесть свершающегося зла.

И Федор Ксенофонтович бродил по расположению штаба удрученный, обескураженный, все больше ощущая, как и его охватывает отчаяние. Ему тоже пока было не под силу понять взаимосвязь причин, определявших сейчас атмосферу в штабе фронта, еще совсем недавно являвшемся штабом округа, в деятельности которого среди боевых девизов предупреждающе витал и девиз об осмотрительности, о сдерживании немецкой военщины смиренностью и искренне миролюбивыми жестами. Теперь штабисты будто стыдились друг друга, будто воспринимали происходящее как возмездие и с предельным напряжением делали все, что было в силах каждого, чтобы исправить положение... Можно, конечно, вбитые в доску гвозди выдергивать и зубами, прежде расколов доску топором. Но «топора» пока не было, и это выводило людей из себя, меняло их характеры, ожесточало, толкало на самоотречение...

Да, все было очень сложно и в то же время просто, как безначальный и бесконечный круговорот человеческого мышления. Трагедия государства стала личной трагедией каждого человека; но ощутить трагедию своим сердцем в ту первую пору еще не значило постичь мыслью ее глубины и грозящие следствия. Это были дни душевной сумятицы, когда у многих военных людей еще не был разрушен логикой событий барьер естественной субъективности воображения, которое у каждого покоится только на том, что он знает и на какой круг представлений опирается в своих выводах и суждениях. Эта субъективность и заставляет человека, когда тот окунается в море идей и представлений, связанных с войной или иными социальными потрясениями, отбрасывать многие из них, а подчас и все, в поисках только тех, которые выражают его собственное «я». И в эти дни узость мышления иных, мнивших себя стратегами, мешала им понять, что пришла страшная и длительная война, равной которой и похожей на которую еще не было, и что надо решительно ломать частокол прежних представлений, касающихся законов военной стратегии и оперативного искусства.

Кое-какие из этих мыслей Федору Ксенофонтовичу внушил маршал Шапошников, с которым он столкнулся на лесной тропинке близ палатки оперативного отдела. Встреча была не из радостных. Но своими рассуждениями Борис Михайлович как бы раздвинул удушливый мрак, в котором начал было плутать Чумаков. Затем, выслушав рассказ Федора Ксенофонтовича о том, что тот видел и перенес там, далеко западнее Минска, посоветовал как можно скорее оформить документацию о боевых действиях корпуса, а потом лично явиться на доклад к командованию фронта и быть готовым, если, разумеется, не беспокоит рана, к назначению на новый боевой пост. Несколько успокоенный, отбыл генерал Чумаков на сборный пункт в Могилев, где среди сотен других бывших окруженцев томились и его люди. Сборный пункт располагался в двухэтажном здании одной из городских школ и в ее просторном дворе. Полковник Карпухин и полковой комиссар Жилов сумели отвоевать себе для работы одну классную комнатку и, не теряя времени, приводили в порядок документацию штаба и политотдела. Чумаков включился в работу. Вместе с Карпухиным уточнял по уцелевшим рабочим картам и документам оперативные донесения, стараясь день за днем и час за часом, по возможности полно и точно, отобразить принимавшиеся им решения, боевые действия и передвижения частей корпуса. А полковой комиссар Жилов и младший политрук Иванюта корпели над сводным политдонесением.

Но кто бы мог подумать, как нелегко заново пережить, пропустив сквозь свой разум и свое сердце, все недавнее, еще не отболевшее, все

происшедшее в совсем непродолжительный, но, кажется, нетленный для человеческой памяти отрезок времени...

Когда Федор Ксенофонтович, обложившись картами и бумагами о боевых действиях корпуса, начал составлять итоговый документ, ему казалось, что после поездки в штаб фронта его будет угнетать язвительное желание о чем-то поспорить с некоторыми штабистами, дабы внушить им мысль о величайшей разности видения и оценок из штаба фронта и с командного пункта комкора. Хотелось показать им не только в письменных, но и в графических документах, что замысел первого контрудара группы механизированных корпусов Западного фронта по прорвавшемуся врагу не отвечал соотношению и расстановке противоборствующих сил. Но вскоре раздраженность угасла. Пришли рвавшие мелкие путы уязвленного самолюбия живость и ясность мышления, опиравшегося на привычное желание отображать только правду. Оценка сил, намерений и действий врага, контрдействия корпуса, которым он, генерал Чумаков, согласно приказу командующего фронтом, давал начало своими решениями и влиял на их развитие, вся сложная динамика боев день за днем и сопутствовавшее им уплотнение для удобства управления и маневрирования прежних штатных форм дивизий и полков — все это в чеканных, сжатых фразах укладывалось сейчас на бумагу и вместе с начерченными схемами властно звало мысль к просветлению, звало к обозрению разумом всего невероятно сложного, геройского и вместе с тем трагического, что совершили люди его корпуса между Белостоком и Гродно и у берегов Немана. Сейчас трудно, почти невозможно было поверить, что через все это прошли они сами — Чумаков, Жилов, Карпухин и многие, многие другие, кто повиновался их воле... Федор Ксенофонтович даже с какой-то оторопью и изумлением оглядывался на своих боевых соратников.

Но спустя час-другой со дна его души стало подниматься сомнение. Будто тайно от него самого внезапным отголоском прикоснулась к сердцу мысль: сейчас, в эти тяжелейшие дни, когда на всех давит грозный пресс сиюминутных опасностей, когда борьба с агрессором достигает критического накала, у кого найдется время и потребность вчитываться в его оперативные писания, пусть даже содержащие яркие, важные, обогащающие военный опыт выводы?.. Не хотелось давать волю этим разгоравшимся сомнениям. Ведь сколько потеряно на тех пространствах и в те дни человеческих жизней, сколько пролито крови и какой урон нанесен врагу!.. Пусть нет сейчас возможности воздать должное тем его боевым побратимам, кто уже не вернется домой, но надо помнить, что в грядущие дни родится необходимость оглянуться на изначальность этого тяжкого времени...

Наверное, не подозревал генерал Чумаков, что в разуме его и сердце свершалось важное и трудное: в этом скорбном многоцветье фактов, мерцавших в его сознании, в тех выводах и аргументах, которые опирались на глубины ранее освоенных им наук и на окрепшую в первых сражениях военную опытность, рождались новые качества его мышления как военачальника.

Когда Федор Ксенофонтович, на минуту оторвавшись от работы, заметил, что полковник Карпухин куда-то отлучился из комнаты, он попросил полкового комиссара Жилова, писавшего с Иванютой политдонесение, не забыть особо отметить среди отличившихся в боях начальника штаба корпуса полковника Карпухина — «человека с железным сердцем», как они не раз называли его между собой. И сам он, формулируя в одной из бумаг постигнутые им принципы управления, стиль работы командиров и штабов в условиях отрыва механизированного корпуса от своих войск, тоже написал пусть скупые, но емкие и даже взволнованные слова

о Степане Степановиче, у которого на глазах погибли под развалинами дома жена и дети, но он, не потеряв самообладания, четко делал в немыслимо тяжких условиях все, что полагалось делать начальнику штаба соединения, являя собой пример собранности и выдержки.

В этой же могилевской школе день и ночь работала проверочная комиссия, которую нарекли здесь санпропускником. В обязанности комиссии входило оградить войска фронта от проникновения в них под видом окруженцев вражеских агентов, а также выявлять дезертиров, трусов, паникеров и тех, кто в первых боях допустил нераспорядительность или преступное головотяпство. В составе комиссии были представители управления кадров, политического управления и особого отдела. Они вызывали к себе бывших окруженцев, главным образом тех, кто пробился через линию фронта не со своими подразделениями или в одиночку, изучали их документы, задавали всякого рода контрольные вопросы и расспрашивали, что и как происходило в первые часы и дни войны там, в приграничных областях; от иных требовали письменных объяснений, как и когда они оторвались от своих, а иногда — описаний важных обстоятельств, характеризовавших тактику действий вражеских войск и диверсионных отрядов. Все это было, разумеется, необходимо.

Из штабной группы генерала Чумакова, получив список ее состава, почти никого не потревожили, за исключением нескольких командиров-танкистов и тех, кто присоединился к ней в окружении, а также ознакомились с боевыми документами штаба корпуса и сводным политдонесением.

Федор Ксенофонтович обратил внимание, что в проверочной комиссии заседал и подполковник Рукатов. Этому не удивился, ибо вчера издали видел Алексея Алексеевича в расположении штаба фронта. Но общаться с Рукатовым желания не появлялось, тем более что выглядел тот замотанным и усталым. Прежний его румянец на щеках приобрел нездоровый синеватый отлив, а серые глаза сделались настолько светлыми, что казалось, ничего и никого не видели вокруг.

Да и каким-то особым чутьем Федор Ксенофонтович улавливал, что Рукатов не замечал его умышленно, и он, Чумаков, тоже избегал встречи с ним, подавляя желчную горечь, что видит столь неприятного человека в роли чуть ли не вершителя их судеб. Уж кто-кто, а Федор Ксенофонтович знал ему настоящую цену. Но вот как мог Рукатов при всей своей изворотливости так быстро оказаться на фронте, понять было трудно. Правда, окопался он далековато от тех мест, где свистят пули.

Не подозревал генерал Чумаков, что своим появлением в поле зрения Рукатова вызовет в нем бурю противоречивых чувств. Животный страх перед ним, Чумаковым, чувство самосохранения заставят Рукатова, злоупотребив причастностью к проверочной комиссии, уделить немало внимания всему, что было связано с именем Чумакова, истолковать факты таким образом, чтобы белое выглядело черным...

Когда во дворе сборного пункта среди бывших командиров-окруженцев появился генерал Чумаков, на Рукатова обрушилось мучительное ощущение нависшей над ним опасности. Ждал, что Федор Ксенофонтович заметит его и вот-вот подойдет. Панически боялся этой встречи и старался избежать ее. Но еще больше испугался, когда понял, что генерал не желает встречаться с ним. За этим Рукатову мерещилось что-то неотвратимо-грозное. Мучился от неведения: удалось ли Федору Ксенофонтовичу подать весточку своей жене, Ольге Васильевне?.. Ведь рано или поздно она сообщит мужу (или, может быть, уже сообщила?!), что именно он, Алексей Алексеевич Рукатов, сказал ей страшные слова,

будто генерал Чумаков добровольно сдался немцам в плен... А если еще Ирина созналась матери в ухаживаниях за ней Рукатова!.. И почему-то всплывал в памяти угловатый почерк, которым на настольном календаре в квартире покойного профессора Романова было написано, что звонили от Сталина и что Иосиф Виссарионович желает поговорить с Нилом Игнатовичем. А ниже записан номер телефона, по которому можно было позвонить Сталину. Рукатова почему-то больше всего пугал этот номер. Он чудился ему каким-то всесильным, устрашающим иероглифом.

Несколько приободрился Рукатов только после того, как Чумаков, завершив работу над документами, переселился со своей группой из Могилева в лес, в расположение вторых эшелонов. Федор Ксенофонтович тоже остался доволен, что так ни разу и не встретился с Рукатовым, не догадываясь, что, может быть, эта встреча избавила бы его от серьезных неприятностей и что при разговоре с Рукатовым он мог бы узнать, где находится сейчас его семья, и запоздало услышать скорбную весть о смерти Нила Игнатовича Романова и его супруги.

И вот вчера вечером, после передислокации в лес, Чумаков позвонил с армейского узла связи на командный пункт фронта начальнику штаба генерал-лейтенанту Маландину и доложил ему, что после выхода из окружения готов прибыть с документацией о боевых действиях корпуса. Ответ Маландина вначале смутил его, а потом ошеломил. Обычно корректный, выдержанный и доброжелательный, Герман Капитонович, знавший Чумакова лично, холодно ответил на его приветствие и суховато сказал:

— Я думаю, что вы ничего нового не добавите к тому, что уже доложено Военному совету. А подробности оперативно-тактических ситуаций меня сейчас не интересуют.

— Позвольте, Герман Капитонович. — Чумакову показалось, что Маландин не понял, кто ему звонит. — Это говорит Чумаков!

— Слышу, Федор Ксенофонтович.

— Я вас не понял!.. Разве штаб армии успел доложить о действиях нашего корпуса? Но ему известна только наша оборонительная операция на Нареве! А когда корпус развернулся согласно директиве на север, связь с командармом была утрачена.

— Товарищ Чумаков! — В голосе Маландина прозвучали нотки нетерпения и досады. — Я вам повторяю: главное нам доложено!

— Кем доложено?! Кто мог знать, кроме меня и моего штаба, как складывалась обстановка при действиях неукомплектованного корпуса, без поддержки авиации, без связи, без снабжения и вообще без оперативного тыла! — Федор Ксенофонтович начал терять самообладание. — Я никак не могу понять вас, Герман Капитонович!

— Мне тоже многое не ясно, — уже мягче и с тенью горечи откликнулся Маландин. — Но мы располагаем документом, в котором лично вы, товарищ Чумаков, как командир корпуса, выглядите не лучшим образом.

— Даже так?! — Федор Ксенофонтович почувствовал, как заныли у него под повязкой челюстные мышцы и их начала сводить судорога. — Тем более я прошу вас немедленно принять меня и ознакомиться с оперативными документами штаба корпуса!

— Товарищ Чумаков, — опять жестко перебил его Маландин, — тогда уж пришлите документы со своим начальником штаба!.. Ему сподручнее будет докладывать, ведь он командовал корпусом. А вы... ждите наших решений.

Почувствовав, как мышцы в раненой щеке вдруг окаменели, наглухо сомкнув челюсти, Федор Ксенофонтович не мог вымолвить больше ни единого слова.

Маландин расценил его молчание по-своему, тяжело вздохнул и положил трубку.

Минут через двадцать, когда массажем поверх бинтов Чумаков успокоил боль в ране и почувствовал, что судорога отпустила и он вновь обрел способность разговаривать, вторично позвонил Герману Капитоновичу. Однако того на месте не оказалось.

## 17

Утром, когда солнце только бросило косые лучи в прифронтовой лес, с запада, солнцу навстречу, надвинулась серая туча и пролилась небольшим дождем. В лесу посветлело от заблестевшей листвы и травы, острее запахло цветами и хвоей, глуше стали доноситься орудийные раскаты из-за Друти, будто линия фронта отодвинулась назад, и даже шум недалекой рокадной дороги сделался за стеной умытого дождем леса менее внятным.

Но из всех витавших в округе шумов сейчас мог заинтересовать генерала Чумакова, думается, только один — рокот мотоциклетного мотора: полковник Карпухин вчера вечером уехал с мотоциклистом в штаб фронта, а Федор Ксенофонтович ждал его возвращения с напряженной тревогой. Занимался утренним туалетом будто во сне: кажется, чужие, а не его руки скоблили безопасной бритвой лицо, затем плескали в него из лесного ручейка студеную, пахнущую гнилью воду... Мыслями же был там, куда поехал Карпухин, — в штабе фронта, почему-то именно в палатке Маландина, хотя вряд ли Карпухин мог попасть к самому начальнику штаба фронта.

Рядом, за кустами, где дымилась полевая кухня, старший лейтенант Колодяжный кому-то рассказывал услышанную ночью от Иванюты историю о хитром Архипе и его одураченных соседях, многое бессовестно присочинял и хохотал при этом с ярой веселостью, а ему азартно, в несколько глоток вторили слушатели. Рассказ Колодяжного несколько отвлек Федора Ксенофонтовича, он тоже вспомнил подслушанную ночью байку младшего политрука и стал про себя посмеиваться.

— Как же дальше было, Иванюта? — послышался нетерпеливый вопрос Колодяжного.

— Ты об Архипе? — откликнулся Иванюта откуда-то из глубины леса.

— Ну, конечно! Это же люкс-комедия! Подходи сюда!

— Никакой комедии, Колодяжный. — Голос Иванюты приблизился.— В девятнадцатом году беляки из банды Зеленого сказали Архипу последнее слово...

— Ну, ну... Расскажи! — Веселость Колодяжного угасла. — Убили?

Иванюта какое-то время не отвечал, видимо собираясь с мыслями, а затем стал рассказывать.

— Налетели «зеленые» на село, фуражом запаслись да и заночевали; делили добро, награбленное днем у немировских евреев... Погром был... Утром Архип накормил овсом и почистил, как ему было велено, коней бандитов, которые остановились в его хате... Соседи, конечно, помогли с лошадьми управиться... Старшой из «зеленых» подошел к коновязи, проверил работу и похвалил Архипа, а тот возьми и спроси у него: «За что убиваете тех бедных евреев? Люди же!» «Они, отец, распяли нашего Иисуса Христа! — ответил бандит. — Ты что, не знаешь разве?» — «Когда это было!.. И правда ли оно?.. Неужели вы, ваше благородие, верите?» — «А ты не веришь?!» — «Ну, кто может помнить такую давнину? И при чем тут немировские?.. — гнул свое Архип и заходил с другой стороны: — Перебьете евреев, а нам как тогда? Ни курицы, ни яйца не продашь... Откуда мужику тогда грошей брать? Мы, селяне, без них зачахнем. Не

можем мы без них...» «Не можете?! — переспросил бандит и скомандовал своим: — Хлопцы, а ну всыпьте этому христопродавцу полсотни горячих для просветления мозгов!» И всыпали... Может, с десяток ударов шомполами выдержал Архип и отдал богу душу...

Иванюта умолк. Не слышалось и других голосов. Федор Ксенофонтович, закончив пришивать подворотничок, поднялся с пня, надел гимнастерку и вновь подумал о Карпухине. В это время Колодяжный спросил:

— Слушай, Миша, а как же соседи? Кому цыганка наворожила после Архипа первому помирать?

— Ивану, — ответил Иванюта. — Через сорок дней после Архипа.

— Неужели действительно от страха помер?

Иванюта засмеялся, каким-то своим воспоминаниям и ответил:

— Дело потом вот как было... Иван действительно начал готовиться к отбытию на тот свет: распорядился по хозяйству, кому из детей что должно принадлежать, рассчитался с долгами и самолично сколотил себе гроб. Не гроб, а хоромы из дубовых досок! На сороковой день помылся, переоделся, простился с родными, земляками и послал за священником... Приходит священник, а Иван, выпроводив всех из хаты, лежит в гробу, сложив руки. Причастил его батюшка, отпустил грехи — все, как полагалось тогда, — и ушел... А на подворье голосит жена, плачут дети, родственники маются... Полсела сбежалось. Шуточное ли дело: человек живьем в гроб лег... Вечером заходят в хату, а Иван лежит, лупает глазами. Пожаловался, что мухи кусают и не дают помереть. Воды попросил... Словом, три дня и три ночи промучился человек в гробу, а потом встал, потребовал еду на стол, самогонку... И как разгулялся: неделю целую воскрешение свое праздновал!..

— Ну а потом? — В голосе Колодяжного искрилось веселое нетерпение.

— Потом... через девять месяцев... — Иванюта растягивал слова и посмеивался.

— Что, помер все-таки?

— Нет! — Иванюта заржал во всю силу. — Через девять месяцев я у матери родился!

— Так это был твой батя?!

От взрыва хохота даже эхо покатилось по лесу. Федор Ксенофонтович тоже рассмеялся и не услышал, как по затененной мокрой дорожке взлетел на лесную высотку мотоцикл. Увидел его уже рядом. Из коляски выскочил незнакомый младший лейтенант в танкистском комбинезоне и, пылая румянцем щек, бойко прокукарекал, отдавая честь:

— Товарищ генерал, разрешите обратиться!

— Обращайтесь, — ответил Федор Ксенофонтович на приветствие.

— Пакет для генерала Чумакова...

— Я Чумаков...

Федор Ксенофонтович с дрогнувшим сердцем наблюдал, как младший лейтенант доставал из полевой сумки пакет.

Вскрыл и прочитал на форменном бланке довоенного образца машинописный текст. Это было адресованное ему распоряжение командующего армией генерал-лейтенанта Ташутина:

«...Приказом командующего фронтом от 4 июля с. г. остатки управления механизированного корпуса генерал-майора Чумакова Ф. К. вместе с подчиненными ему подразделениями вливаются в состав армии. С получением сего генерал-майору Чумакову лично принять на восточной окраине Довска и включить в свою группу 213-й отдельный автобатальон, загрузить его транспортные средства боеприпасами по прилагаемому наряду, получить горючее... передислоцировать батальон в район расположения группы генерала Чумакова...» — и указывались координаты.

Но что должно было следовать за всем этим, для Федора Ксенофонтовича оставалось загадкой. Как было не ясно, почему он лично должен принимать автобатальон и для какой цели получать снаряды и такое количество патронов и гранат, не имея в своем распоряжении войск. Но приказ есть приказ...

Довск — небольшой городишко — стоял на скрещении двух дорог — магистрали Ленинград — Одесса и шоссе, идущего со стороны Бобруйска в направлении Кричева. Многим кадровым военным этот городок был хорошо известен по крупнейшему параду войск после окончания Белорусских маневров в 1936 году. Парад состоялся в районе Довска на широко распластавшейся равнине. Правда, генерал Чумаков только слышал об этом параде, ибо сам тогда находился в Испании.

Отобрав группу командиров, в том числе старшего лейтенанта Колодяжного, Федор Ксенофонтович ознакомил их с задачей и приказал занять места в кузове полуторки, а сам уселся в кабину, рядом с шофером. Через три часа, преодолев пыльную духоту, смрад пожарищ, побывав под бомбежкой у моста через Ухлясть, они прибыли в Довск. Разыскали командира 213-го отдельного автобата и занялись всем тем бесхитростным, но хлопотливым и трудоемким, что предписывалось распоряжением командарма. Во второй половине дня автобатальон, соблюдая меры предосторожности, чтобы не попасть под бомбовые удары, направился по автостраде на север, в сторону Могилева. К вечеру он должен был с боеприпасами и всей техникой оказаться в лесу, где располагалась группа генерала Чумакова. Сам же Федор Ксенофонтович, оставив при себе Колодяжного и взяв из автобата в свое распоряжение легкий броневичок, задержался в Довске. В нем теплилась надежда, что, поскольку городок этот стоит на магистрали, ведущей в Ленинград, вполне возможно, сохранилась телефонная линия, и ему удастся дозвониться домой...

«Надежда — хлеб несчастливца», — вспомнилось Федору Ксенофонтовичу изречение, когда он покидал почту. «В Ленинград?.. Что вы!.. С первого дня войны далее Орши не можем пробиться», — звучал в его ушах голос милой девушки с бледным, усталым лицом.

Несколько минут спустя Федор Ксенофонтович шагал по тенистой улочке к тому месту, где оставил на попечении старшего лейтенанта Колодяжного броневик. Улочка была тихой, и он не мог не обратить внимания на две эмки, обогнавшие его. Легковые машины были размалеваны зеленой краской разных оттенков; по форме задней эмки он угадал в ней бронированный вездеход и понял, что проехал кто-то из высокого начальства. В двух десятках метров впереди него машины остановились. Из задней вышел коренастый генерал, сверкнув орденами на гимнастерке. Что-то знакомое уловил в нем Федор Ксенофонтович и, присмотревшись, узнал генерала армии Павлова.

Из передней машины вышел высокий моложавый полковник интендантской службы и, указывая Павлову рукой на открытые ворота двора, в глубине которого стоял одноэтажный каменный дом, приглашал идти к дому. Но Павлов увидел и узнал Чумакова и, дожидаясь, пока тот подойдет ближе, смотрел на него сумрачным и будто отсутствующим взглядом. У Федора Ксенофонтовича сжалось сердце от этого твердого и угрюмого взгляда. Кажется, это был не Павлов, а похожий на него человек, так разительно изменился он внешне. Глаза воспалились, и в них поселилось что-то недоброе, лицо с впалыми щеками состарилось. Павлов снял фуражку и, буравя приближающегося Чумакова взглядом, старательно вытирал платком вспотевшую бритую голову.

— Что ты здесь делаешь? — спокойно и как-то безразлично спросил Павлов, протягивая Федору Ксенофонтовичу руку, после того как тот отдал честь.

Чумаков, стоя навытяжку, доложил о задаче, которую выполнял в Довске. Павлов, надев фуражку, слушал его и недовольно хмурился.

— Ты разве не знаешь, что я не командующий? — с легкой досадой спросил он.

— Слышал, — со вздохом ответил Чумаков. — Сочувствую тебе.

— Не люблю сочувствий... Чего тянешься?!

— Можно не отвечать? — Чумаков улыбнулся.

— Можно. — Павлов тоже вздохнул и, указав взглядом на повязку, спросил: — Серьезное ранение?

— Неприятное. Задет челюстной сустав и повреждена барабанная перепонка.

— Да, неприятное. Поэтому, наверно, и не вступил в командование корпусом?

— Как это не вступил? С первой же минуты после прибытия в Крашаны все взял в свои руки и за все в ответе. За первые бои корпуса даже похвалу услышал от твоего заместителя — генерал-лейтенанта Болдина.

— Чертовщина какая-то! — Павлов пожал плечами.

— И приказ о вступлении в командование успел разослать вместе с боевым приказом о выходе дивизий на исходное положение.

— А чем же объяснить... — Павлов, кажется, испытывал неловкость от необходимости задавать неприятные вопросы и поэтому говорил медленно, подбирая слова. — Чем объяснить претензии к тебе?

— Чьи претензии? И какие?

— Что ты устранился от руководства корпусом.

— Ничего не понимаю... — Федор Ксенофонтович с напряженным недоумением смотрел на сумрачного Павлова, дожидаясь ответа.

Но Павлов молчал.

— Дмитрий Григорьевич!.. — В голосе Чумакова просквозило негодование. — Ты меня знаешь... Что происходит? Вчера вечером генерал Маландин тоже влепил мне по телефону оплеуху... А утром, как ни в чем не бывало, зачем-то вливают в мою группу отдельный автобат, дают для чего-то боеприпасы.

Недовольно посмотрев на другую сторону улицы, где сбились в стайку женщины и дети, глазевшие на военных, Павлов спросил у Чумакова:

— Временем располагаешь?

— Располагаю.

— Тогда идем с нами, перекусим вместе... Я отбываю на Юго-Западный фронт. Другого случая поговорить может не представиться...

Пересекли двор, вошли в дом и оказались в комнате с накрытым, неплохо сервированным столом. На столе — графин с водкой, запотевшие бутылки с лимонадом, парниковые помидоры, огурцы, мясные и рыбные закуски. Стулья, стоящие вокруг стола, зачехлены в белую парусину, в углу комнаты — фикус, на стене, против единственного окна, — портреты Сталина и Калинина. Федор Ксенофонтович даже не понял: находятся они в отдельной комнате столовой или в здании какого-то учреждения.

— Садитесь, — пригласил Павлов Чумакова и полковника интендантской службы, первым усаживаясь за стол. — Для начала давайте заморим червячка.

Выпили по рюмке водки, стали закусывать. Чумакову есть было трудно, да и был он весь поглощен ожиданием того, что сейчас скажет ему генерал армии Павлов. А Дмитрий Григорьевич задумался о чем-то своем, не поднимал глаз от тарелки. Потом, видимо ощутив неловкость от затянувшегося молчания или вспомнив, что Чумаков ждет его слов, заговорил, вновь наполняя рюмки водкой:

— Дорогой Федор!.. Тебе предъявляется обвинение в том, что ты не командовал как следует корпусом, переложив это нелегкое дело на плечи своего начальника штаба. А тот, ошеломленный гибелью семьи, тоже не проявил себя. И будто ты сам подтвердил это в своем донесении.

— Чушь какая-то! — тихо промолвил Федор Ксенофонтович.

— Потери твоего корпуса объясняются главным образом этим обстоятельством... И мне... — в голосе Павлова засквозил холодок, — небезразлично знать истину, чтоб понимать степень и своей вины.

— Чудовищно!.. — Федор Ксенофонтович посмотрел так, что Павлов отвел взгляд. — Но тебе известно, что на Нареве дивизии моего корпуса не отошли ни на шаг?.. А потом согласно твоему приказу корпус развернулся в сторону Гродно... Я, правда, не уверен, что это надо было делать, а точнее, уверен, что не надо...

— Я выполнял директиву наркома! — зло перебил Павлов.

— А я выполнял твой приказ, и корпус, имея девяносто старых танков вместо полагавшихся четырехсот новых, сделал все, что мог, и даже больше! О предположительных потерях немцев от ударов корпуса я написал в донесении.

— Вот видишь! — Из груди Павлова вырвался тяжкий вздох. — Все пишут точные данные, а ты — предположительные.

— Дмитрий Григорьевич, побойся бога! — В голосе Чумакова слышалась боль его тоскующей души.— Помнишь, в Испании ты со своими танкистами однажды в ночном бою помог нам пробиться из кольца. Ты сумел бы наутро доложить точно, какие потери нанес врагу?.. Правду об истинных потерях на войне узнают после войны.

Павлов молчал. Все-таки самая безмерная власть, перед которой отворяются врата правды, признается за разумом...

— Бой в окружении с превосходящими силами противника... Нет более тяжкого и страшного боя!— Федор Ксенофонтович словно размышлял вслух. — И как мы держались! Один только артполк танковой дивизии Вознюка в щепки растрепал огромную танковую колонну немцев. Кто мог точно подсчитать, сколько танков, бронемашин, мотоциклов, какое количество живой силы перемололи наши снаряды?.. Нам несколько раз удалось обрушиться на врага, когда он двигался колоннами. Что такое огневой артиллерийский удар кинжального действия? Страшно сказать! Целым дивизионом прямой наводкой из засады по скопищу машин и людей. И в лобовых столкновениях при развернутых боевых порядках, пока были боеприпасы и горючее, наши люди не посрамили себя. Когда корпус оказался расчлененным, даже тогда... А-а, да что там говорить! Писал я итоговое донесение, а самого съедала тоска: понимал, что руководству сейчас не до чтения бумаг.

— Но ведь именно на твои бумаги и ссылаются! — Павлов поднял рюмку, чокнулся с рюмкой Чумакова, стоявшей на столе.— Ссылаются на подписанные тобой документы.

— Кто ссылается? Где?

— Вчера утром на командном пункте фронта я случайно присутствовал, когда Лестеву[1] и Маландину докладывали об очередных итогах работы проверочной комиссии. В выводах о тебе отзываются не лучшим образом.

— Там даже состряпан отдельный документ,— впервые вмешался в трудный разговор полковник с зелеными петлицами.

— Отдельный? — удивился Павлов.

— Да. Для Военного совета фронта. Помните, еще Лестев спросил

[1] Дивизионный комиссар Лестев Д. А.— начальник управления политпропаганды Западного фронта.

этого бригадного комиссара в авиационной форме... небольшого росточка такой... почему он лично не подписал бумагу?

— А-а, верно! Тот ответил, что с Чумаковым не беседовал и велел подписать какому-то подполковнику, который вызывал твоих людей и изучал документы твоего штаба и политотдела...

— И этот документ подписал подполковник? — насторожился Федор Ксенофонтович.

— Да, — ответил полковник.

— Фамилия его, конечно, Рукатов?— В голосе Чумакова прозвучала злая ирония.

— Точно, Рукатов, — озадаченно подтвердил полковник.

— Тогда все ясно. — Чумаков, кажется, обрел спокойствие; он лихо, с какой-то неожиданной веселостью выпил рюмку водки, с хрустом откусил кусок огурца, будто и не была у него ранена челюсть, и впервые улыбнулся. — Рукатов — мерзкий тип, которого я когда-то выгнал из полка. Во время испанской эпопеи он тоже писал на меня — в НКВД. Жалко, не дотянулись тогда руки раздавить гниду!

Все правильно угадал генерал Чумаков. Именно Рукатов, воспользовавшись тем, что в сводных боевых и политических донесениях особо подчеркивались боевые и моральные качества начальника штаба корпуса полковника Карпухина, и зная, что генерал Чумаков мог не успеть прибыть в корпус до начала войны, сочинил порочащий его документ, будучи уверенным, что подпись под документом поставит руководитель их группы и в военной сумятице истина не восторжествует. Страх перед Чумаковым делал низкую душу Рукатова еще более низкой.

— Ну вот, теперь ясно, — после паузы сердито изрек Павлов и требовательно посмотрел на полковника. — Возьмите, пожалуйста, этого Рукохватова...

— Рукатова, — подсказал полковник.

— ...Возьмите его на себя... Чтоб и духу его...

— Есть, будет выполнено! — Полковник тут же что-то записал себе в блокнот.

Это было последнее распоряжение, которое отдал в своей жизни генерал армии Павлов...

Обед продолжался. На столе появились тарелки с окрошкой, заправленной сметаной, сквозь которую проглядывали ребристые кусочки льда.

Павлов с болезненным любопытством выспрашивал у Чумакова о самом первом дне войны, о первых ее часах. Слушал рассказ Федора Ксенофонтовича, низко склонив голову и опустив тяжелые веки. Чувствовалось, что боль жжет его сердце и трудные мысли не дают покоя.

— Что тебе известно о генерале Ахлюстине? — спросил он о командире 13-го механизированного корпуса.

— Мельком видел его на КП командарма, — ответил Федор Ксенофонтович. — Директива к ним опоздала. Все, как и в Крашанах. В четыре утра на Бельск налетели немецкие бомбардировщики, ударили по главным объектам штаба корпуса и спецслужб. Заодно досталось и штабу пятого стрелкового корпуса, который по соседству. Части Ахлюстина по тревоге заняли рубежи на реке Нурец, а на второй день уже отражали натиск врага. Дрались превосходно...

— Ахлюстин жив или нет?

— На прошлой неделе, перед выходом из окружения, к моей группе присоединился один из его командиров. Рассказывал, что дважды на Ахлюстина покушались диверсанты. Но он уцелел, а вот его заместителя генерала Иванова убили. В упор застрелил Василия Ивановича переодетый в нашу форму диверсант...

— А с Дмитрием Карповичем Мостовенко не встречался?

— Нет. Мне кажется, что приказ о контрударе группы генерала Болдина, в которую включался и одиннадцатый мехкорпус Мостовенко, до него не дошел. Корпус действовал согласно плану прикрытия.

— Крутой мужик, несговорчивый, — вздохнул Павлов, будто ощущая какую-то вину перед Мостовенко.

— Крутой, это верно. — Чумаков усмехнулся, вспомнив, что кто-то рассказывал ему о происшедшей размолвке между Павловым и Мостовенко, который до принятия корпуса возглавлял автобронетанковое управление штаба округа.

— Да, Федор Ксенофонтович! — Павлов чуть оживился, поднял на Чумакова пристально-вопрошающие глаза. — А как тебе удалось так быстро пробиться из окружения?

— Военное счастье оказалось на моей стороне, — раздумчиво ответил Чумаков. — Разгадали мы, что немцы держатся дорог, не суются в леса и на болотистые массивы. Вот тут полковник Карпухин особенно проявил себя. После прокладки мной по карте маршрута он строго следил за точным соблюдением азимута на каждом отрезке пути, за действиями охранения. А маршрут выбирали такой, чтобы можно было передвигаться не только ночью, но и днем. Обзавелись трофейными маскировочными накидками, а у кого не было, брали с собой на открытые места связки веток. Самолет только загудит, и уже звучит команда «Ложись!». Но без стычек не обходилось... Продукты и боеприпасы отбивали у фашистов. Без потерь, разумеется, тоже не обошлось...

— Ну что ж. — Павлов дрогнувшей рукой опять наполнил рюмки. Глаза его будто просветлели, исчезли красные прожилки на белках. — Выпьем по последней за наши трудные дороги... Какими бы они ни были, но мы обязаны пройти по ним до конца и с честью!

В это время дверь в комнату приоткрылась и кто-то поманил пальцем сидевшего с краю полковника. Тот вышел и вскоре возвратился несколько растерянный и побледневший.

— Товарищ генерал армии, — обратился он к Павлову, — вас просят зайти в соседнюю комнату.

— Кто просит? — недовольно спросил Павлов.

— Представители Наркомата обороны. Говорят, неотложное дело.

Павлов поднялся, расправил под ремнем гимнастерку, застегнул на воротнике верхнюю пуговицу и неторопливо вышел.

...В соседней комнате его ждали трое — пожилой генерал-лейтенант, в очках, с сединой в усах и на висках, и двое в полевой военной форме без знаков различия — моложавые, плечистые, чем-то похожие друг на друга. Эти двое стояли по краям стола, на котором белела небольшая плотная бумага — в четвертку писчего листа. Генерал же встретил Павлова, стоя посреди комнаты, отдал ему честь и представился, назвав свою фамилию и управление Наркомата обороны, в котором он служит.

Сердце Павлова недобро ворохнулось, когда он всмотрелся в печальные глаза генерала и уловил во всем его облике неестественное напряжение.

— Дмитрий Григорьевич, — тихо, с деланным спокойствием сказал генерал. — Я вас прошу подойти к столу и ознакомиться с этим документом... Нам приказано выполнить весьма неприятную миссию...

Павлов, пронзив коротким помутившимся взглядом генерала, шагнул к столу и тут услышал то, о чем смутно уже стал догадываться:

— Именем Советской власти вы арестованы.

Резко взяв со стола белую бумажку, Павлов впился в нее ничего не видящими глазами.

Продолговатая белая бумажка с зубчатыми следами обрыва на верх-

нем краю — «Ордер на арест»... Постановление об аресте утверждено народным комиссаром обороны СССР Маршалом Советского Союза Тимошенко. На левом уголке — санкция на арест заместителя Прокурора СССР Софонова. Все правильно, все по закону...

— Зачем все это? — подавленно, чужим голосом спросил Павлов, невыносимо страдая от чувства полной беспомощности, тяжести и неотвратимости навалившейся беды.

Сидя за обеденным столом, так и не дождался Федор Ксенофонтович возвращения Павлова. Услышав, как уехали со двора машины, забеспокоился. Но тут вошел полковник интендантской службы, виновато развел руками и, пряча глаза, со вздохом сказал:

— Уехал Дмитрий Григорьевич... Велел извиниться... Срочные дела...

— На Юго-Западный уехал?

— ...Нет.

С угнетенностью и необъяснимой тревогой покидал генерал Чумаков это невеселое застолье. Его ведь тоже ждали дела.

## 18

И опять ночной настороженный лес. Несмотря на позднее время, еще было светло даже в лесу: июльский день долог...

Близ вновь проторенной дороги, идущей со стороны пересекающего лес шоссе, стояли, разговаривая, Карпухин, Жилов, Иванюта и неожиданно объявившийся в лесу Владимир Глинский, которого знали как майора Птицына. Сегодня, возвращаясь из штаба фронта, полковник Карпухин увидел Глинского стоявшим с вещмешком за плечами на перекрестке дорог. «Майор» махал рукой шоферам попутных машин. Приказав мотоциклисту остановиться, Карпухин, сидевший в коляске, предложил Глинскому место сзади водителя. И неразоблаченный немецкий диверсант, весьма обрадованный встречей со знакомым начальником штаба, проворно взобрался на сиденье.

Глинский тут же рассказал Карпухину, что полевой госпиталь, в котором он долечивал свою рану, сегодня свернулся и уехал куда-то на восток, а ему, Глинскому, поскольку рана почти зажила, уезжать в тыл «не позволяет совесть»... Он надеялся разыскать свой инженерный батальон фронтового подчинения, но уже в госпитале узнал, что батальона больше не существует, и теперь он будет рад, если ему позволят вернуться в группу, с которой он выходил из окружения: вдруг, мол, посчастливится опять оказаться под началом «милейшего генерала Чумакова».

Карпухин не усомнился в том, имеет ли он право брать в свою штабную группу майора Птицына, потому что и другие командиры, влившиеся в группу там, в тылу врага, пока оставались в ней. Правда, все они прошли в Могилеве проверку, заполнили бланки по учету кадров, стали на учет каждый по своему роду службы. Но ведь не поздно соблюсти эту формальность и майору Птицыну — на этом Карпухин и успокоился.

И сейчас, переговариваясь и дымя папиросами, с тревогой ждали возвращения из Довска генерала Чумакова. Дорога, по которой пролегал его путь, в районе Быхова уже находилась под обстрелом врага. Передовые части противника в нескольких местах вышли там к Днепру и предприняли попытки форсировать его. Сегодня, когда приданный группе автобатальон переезжал из Довска сюда, в район Могилева, две его машины попали под немецкие снаряды. Особенно беспокоился Карпухин: он обстоятельнее других знал, сколь тяжкие бои велись сейчас на рубежах Березины, Олы, Друти. Немцы вот-вот могли прорваться к Днепру и здесь, и вот-вот поступит какое-то распоряжение от командования.

Глинский с пониманием дела рассказывал, как немцы оборудуют

свои танки, чтобы переправлять их по дну реки: в госпитале он якобы встречался с очевидцами таких переправ...

А Миша Иванюта грустил. Сегодня полковой комиссар Жилов, ездивший в Могилев, узнал, что его, Мишина, дивизия из окружения пока не вышла, и Жилову приказано откомандировать газетного работника младшего политрука Иванюту в резерв при политуправлении фронта. Утром Миша будет прощаться со всеми, с кем прошел нелегкий путь почти от самой границы...

На лес постепенно опускалась теплая тьма. Узорчатый шатер из ветвей и листьев над головой и по сторонам, казалось, размывался глубокой чернотой. Где-то неподалеку, в стороне заболоченного ручейка, тихо защелкала варакуша, перемежая низкие тона ворчанием. Ей откликнулась флейтовым свистом малиновка. Но в это время со стороны Днепра приплыл очередной гул взрывов — и птицы умолкли.

На дороге наконец мелькнули синие мечи света, падавшего из затемненных фар подъезжающего броневика. Машина, поравнявшись с вышедшим навстречу полковником Карпухиным, остановилась. Ее железная дверца была уже распахнута, и Чумаков устало шагнул на землю, а следом за ним выбрался старший лейтенант Колодяжный.

— Смир-рно! — приглушенно, однако властно скомандовал всем, кто был поблизости, Карпухин и начал докладывать: — Товарищ генерал...

— Вольно! — перебил его Чумаков и ворчливо объяснил: — Если есть новости, не обязательно докладывать о них на весь лес...

— Ясно, — смущенно ответил Карпухин. — Как доехали, Федор Ксенофонтович?

— С объездами и под обстрелом... Всякое было. Немцы рвутся через Днепр, а шестьдесят третий корпус комкора[1] Петровского топит их. — Рассказывая это, Чумаков цепко всматривался в Карпухина, стараясь угадать, какие новости тот приготовил для него. — Давно вернулись?

— В первой половине дня.

— У Маландина были?

— Нет, не удалось... Был у оперативщиков. Приняли документы и сказали, что мы, наверное, перейдем в армию генерал-лейтенанта Ташутина. А насчет вашего вчерашнего разговора с генералом Маландиным,— Карпухин виновато развел руками, — никто ничего не знает. Я и так и этак. Отмахиваются все: немцы ведь на всех участках прут со страшной силой, не до этого штабистам.

— А я кое-что разведал, — вмешался в разговор полковой комиссар Жилов. Они отошли в сторону, и Жилов продолжил: — Сегодня в Могилеве разговаривал с начальником управления политпропаганды фронта дивизионным комиссаром Лестевым.

— К нему попало ваше итоговое политдонесение? — с подчеркнутой заинтересованностью спросил Федор Ксенофонтович.

— Да, он читал его. Но получилось какое-то недоразумение. Один подполковник из проверочной комиссии с кем-то вас спутал, не разобрался в документах и нагородил в своем заключении всякой ерунды. Вот я и помог Лестеву разобраться в этой путанице.

— Никакой там путаницы нет, — Федор Ксенофонтович подавленно вздохнул. — Умышленно наклепал подполковник.

— Умышленно?! — сурово переспросил Жилов.

— Да... Не стоит об этом.

— Почему же?.. — Жилов понизил голос. — Вам что-то известно?

---

[1] Комкор — воинское звание высшего командного состава Красной Армии до введения генеральских званий. Л. Г. Петровскому вскоре после этих событий было присвоено новое воинское звание — генерал-лейтенант.

— Кое-что... Не до Рукатова сейчас.

— И фамилия вам известна?! А вы знаете, Федор Ксенофонтович, я ведь по распоряжению Лестева пытался найти этого Рукатова... Но он как сквозь землю... Кто-то куда-то успел сплавить его из штаба фронта.

— Ничего, авось еще попадется мне на пути, — спокойно и сурово сказал Чумаков.

К исходу ночи поступил приказ: штабная группа генерала Чумакова доукомплектовывается и преобразуется в штаб сводной оперативной войсковой группы; в состав ее включаются одна артиллерийская и одна танковая бригады, мотострелковая дивизия полковника Гулыги, пробившаяся из окружения, и еще несколько, тоже потрепанных в боях, частей. Все они занимали сейчас оборону по тыловому рубежу мелководной речушки Лежа, впадавшей в Березину, а артиллерийская бригада двумя широкими заслонами седлала главную в полосе оперативной группы дорогу, шедшую с запада на северо-восток.

Командиром группы назначался генерал-майор Чумаков, начальником штаба — полковник Карпухин. Штабу предписывалось срочно прибыть в район деревни Палынь, юго-восточнее Борисова, принять войска группы, наладить управление и начать подготовку к незамедлительным наступательным действиям, а генералу Чумакову явиться к командарму Ташутину за получением боевой задачи.

Подняв по тревоге свой пополненный автобатальоном «лесной гарнизон», Федор Ксенофонтович ознакомил Карпухина, Жилова и еще нескольких командиров с приказом, поручил Карпухину вести колонну на северо-запад к малозаметной на карте деревеньке Палынь, а сам направился в броневике в штаб армии. Всю дорогу размышлял над тем, о каких наступательных действиях при нынешнем положении дел, да еще без тщательной подготовки, может идти речь, терялся в догадках, полагая, что командование затевает контрудар с какими-то ограниченными, а точнее, отвлекающими целями. И был недалек от истины...

Действительно, командующий фронтом маршал Тимошенко, разобравшись, насколько это было возможно, в обстановке и выполняя приказ Ставки Главного командования, спешно группировал все имевшиеся в полосе Западного фронта силы таким образом, чтобы в оборонительных боях на рубеже Березины и в междуречье хоть в какой-то мере выиграть время для подхода с востока к Днепру резервных войск. Однако на витебском направлении с каждым часом все явственнее зрела угроза прорывов врага на флангах 22-й армии, выхода крупной его группировки в тыл Западного фронта и прорыва к Смоленску. А 19-я армия генерал-лейтенанта Конева, выдвинувшаяся с востока, не успевала предотвратить эту серьезнейшую угрозу. Поэтому маршал Тимошенко предложил Военному совету фронта план нанесения флангового контрудара по основанию угрожающей прорывами группировки немцев.

Принятая Военным советом фронта директива предписывала командующему 20-й армией генерал-лейтенанту Курочкину силами двух механизированных корпусов, при поддержке авиации, нанести контрудар в направлениях Сенно и Лепеля. Этот замысел на следующий день будет одобрен и Ставкой Главного командования, но с существенным уточнением: Сталин тогда предложит для обеспечения успеха действий механизированных корпусов нанести вспомогательный удар еще двумя-тремя соединениями армии генерал-лейтенанта Ташутина из района юго-восточнее Борисова. Именно в этом вспомогательном контрударе, во взаимодействии с двумя стрелковыми корпусами, и примет участие группа генерал-майора Чумакова.

Федор Ксенофонтович подъезжал к штабу армии ранним утром, когда солнце, словно боясь увидеть, что натворила война за ночь, робко поднялось над задымленным горизонтом и заглядывало во все уголки, куда только мог проникнуть еще не согревающий луч. Смешанный лес, в большей части сосновый, в который вкатился с первыми лучами вставшего солнца броневичок, носил следы жестокой, наверное вчерашней, бомбежки: ближе к опушке виднелось много поверженных, обезображенных осколками деревьев, кусты подлеска с изломанными и измятыми ветвями были припорошены крошевом земли и густым слоем пыли, на сучьях и в вышине крон то там, то здесь висели заброшенные туда воздушными волнами обрывки телефонных проводов, конской сбруи, а то и маячила серая шинелишка или иссеченная в клочья плащ-палатка...

Тяжело было смотреть на эти страшные следы буйства смерти и слепой стихии, угадывать за ними все то, что испытали здесь люди, слыша над зеленым шатром леса воющий рев пикирующих бомбардировщиков и не видя, куда нацеливают они свой смертоносный груз.

В глубину леса, к штабу, вела чуть примятая в травянистой и кочковатой целине дорога. На ее поворотах были прибиты к стволам деревьев тесовые стрелки-указатели с небрежной надписью «ПСД», что означало пункт сбора донесений. Часто справа и слева среди деревьев можно было видеть грузовые машины, походные кухни, штабеля каких-то ящиков, а между ними — сновавший военный люд.

Дорога нырнула в хмурый овраг, заросший дремуче-густым мелколесьем, а на выезде из него среди зарослей боярышника забелел березовый шлагбаум с красным флажком на середине... После проверки документов — все та же дорога, тот же лес, в котором темнели по сторонам шалаши, сделанные из жердей и веток, виднелись парусиновые наметы, а кое-где бугрились закиданные зеленью бревенчатые накаты над землянками.

За вторым шлагбаумом — расположение командного пункта. Въезд туда был запрещен. Оставив броневик в стороне от дороги, генерал-майор Чумаков торопливо зашагал в том направлении, куда сбегались телефонные провода... Его встретил энергичного вида старший лейтенант с красной повязкой на рукаве; казалось, что дежурный только тем и был занят, что с нетерпением дожидался Федора Ксенофонтовича. Взглянув на его удостоверение личности, он озабоченно заспешил впереди него к хорошо замаскированной большой палатке госпитального типа, властно махнул рукой на часовых, стоявших у входа, и откинул перед генералом свисавший полог.

— Проходите, пожалуйста, — сказал шепотом.

В небольшом тамбуре навстречу генералу Чумакову поднялся порученец командарма — смуглый красавец капитан с большими блестящими глазами, над которыми раскинулись тонкие черные брови.

— Товарищ генерал Чумаков? — учтиво спросил капитан, поднявшись из-за маленького столика с телефоном.

— Чумаков.

— Вот, пожалуйста, для вас карта. — И капитан протянул хорошо сложенную топографическую карту.

Затем Федор Ксенофонтович вошел в ярко освещенную электролампами палатку, и ему почудилось, что он оказался в просторном кабинете, где велся то ли разбор учений, то ли какой-то инструктаж. В глубине, за столом, увидел маршала Тимошенко, а рядом с ним — армейского комиссара первого ранга Мехлиса, который в это время говорил, то обращаясь к стоявшему у огромной оперативной карты с указкой в руке командарму — осанистому, лет сорока генерал-лейтенанту Ташу-

тину, то энергично простирая руку к самой карте, развешанной на боковой парусиновой стене. У противоположной стены, напротив карты, стояли и сидели генералы и старшие командиры, внимательно слушавшие армейского комиссара.

Федор Ксенофонтович одним взглядом в одно мгновение охватил происходящее в палатке, даже уловил какую-то поблеклость в усталом облике Тимошенко и облике Мехлиса — в их тусклых, хоть и моложавых лицах, ввалившихся глазах, да и в заметно пообмятой полевой форме. Испытывая робость оттого, что обязан доложить о своем прибытии и отвлечь на себя внимание всех этих озабоченных и утомленных людей, сделал несколько строевых шагов вперед, тихо обронил Мехлису: «Прошу прощения, товарищ армейский комиссар первого ранга...» — и громко обратился к Тимошенко:

— Товарищ Маршал Советского Союза!.. Генерал-майор...

— Присутствуйте. — Тимошенко махнул рукой в сторону Федора Ксенофонтовича и посмотрел на стоявшего у карты командарма, словно удостоверяясь: «Ваш человек?»

Подавляя чувство неловкости и ежась под вопрошающим и явно раздраженным взглядом Мехлиса, Чумаков подошел к другим генералам и, заслонившись чьей-то спиной, стал поглаживать рукой бинт, под которым вдруг разболелся челюстной сустав.

Мехлис между тем продолжал:

— Сейчас каждый красноармеец, каждый командир, будь это сержант или генерал, должен во всем своем естестве заключать могучую силу нашей армии, как каждая молекула крепчайшей брони составляет ее силу!..

Эти свободно и раздумчиво вылившиеся слова показались Федору Ксенофонтовичу довольно меткими и близкими ему, словно многие годы носил он их в себе и ждал повода, чтобы сказать, а вот услышал от нового члена Военного совета фронта...

— Однако броня только тогда становится броней, когда сталь для нее подбирается особая — с нужными качествами, — говорил Мехлис.— Так происходит и с человеком: в иных условиях сплав его чувств меняется, и тогда душевный накал гаснет...

И эти, пусть немного выспренние, слова воспринял генерал Чумаков с радостным удивлением, как постигнутую им самим правду. Даже улетучилась кольнувшая было обида за раздраженный взгляд, который бросил на него армейский комиссар, и словно в оправдание этого мимолетного раздражения Мехлиса Федор Ксенофонтович подумал о том, что в столь суровые дни испытаний каждый человек, наверное, может выражать свои чувства по отношению к другим людям с той требовательностью, которая диктуется высотой его положения и мерой ответственности перед обществом...

Мехлис, окинув присутствующих в палатке пронзительным взглядом, продолжал:

— Воинские части и подразделения, которые сейчас пробиваются на восток из вражеского тыла, с одной стороны, сильны своим боевым опытом и проверенной в опасностях сплоченностью, а с другой — ослаблены тем, что немалая часть их людей потрясена и даже напугана военной мощью гитлеровцев...

«Сущая правда!» — мысленно согласился Чумаков.

— Все они питают радужную надежду, — с суровостью в голосе продолжал Мехлис, — что стоит им только вырваться из вражеского кольца, как они увидят уже сплошной и могучий фронт наших войск, о который фашисты разобьют лоб. Но этого, как вам известно, пока не случилось, и многие бывшие окруженцы, не зная об идущих из глу-

бины державы наших резервах, дрогнули или могут дрогнуть сердцем...

С этим утверждением армейского комиссара Федор Ксенофонтович тоже согласился, ибо даже лично он, когда пробился со своими людьми сюда, за Березину, испытал мучительные чувства, не увидев здесь всего того, что надеялся увидеть.

— Так вот, товарищи! — Мехлис, кажется, закруглялся и бросал в слушателей слова, будто искусный мастер вбивал в доску гвозди. — Мы с вами знаем потенциальные силы нашей страны, нашей армии, мы верим в наш народ и в нашу партию! Надо, чтобы такой же нерушимой верой прониклись все, кто держит сейчас в руках оружие. Мы обязаны разумно и активно воспользоваться естественным свойством каждого человека, который постоянно силится познать истинную сущность происходящего! Эта истинная сущность, во всей ее полноте, с глубочайшим анализом событий, явлений и всех наших задач, заключена в речи товарища Сталина!..

Генерал Чумаков, по укоренившейся привычке, неожиданно для самого себя, горячо ударил в ладони, но тут же смутился и опустил руки. Однако захлопали и другие... Мехлис потупился, переждал, пока аплодисменты стихнут, сказал:

— Речь товарища Сталина от третьего июля — программа нашей деятельности. На фронте не должно быть ни одного воина, который бы ее не знал... Но, товарищи... я должен вам доверительно сказать, что на днях станет известна и другая, очень горькая и тяжкая правда... Станут известны имена людей, по вине которых — а вполне возможно, из-за подлого предательства которых — Красная Армия столь далеко откатилась от наших границ... Эти люди, невзирая на их бывшие воинские звания и прошлые заслуги, будут осуждены и сурово наказаны!..

Федору Ксенофонтовичу вначале показалось, что он ослышался из-за своего ранения или что-то не так понял. Потом почувствовал, как лоб его покрывается липкой испариной, а сам он будто проваливается в зябкую ужасающую пустоту. Изо всех сил хотелось ему задержать это падение, хотелось вернуться мыслью к отзвучавшим здесь словам, но слуха его вновь коснулся знакомый своей твердой резкостью голос Мехлиса:

— Извините, товарищ генерал. — Мехлис обращался к командарму Ташутину, как-то потерянно стоявшему у топографической карты. — Я не собирался выступать столь пространно. Думал подать реплику, а получилось, что перебил вас надолго...

— Ваше право, товарищ член Военного совета, — чуть охрипшим голосом ответил Ташутин, которого сообщение Мехлиса тоже, видно, взволновало. За время выступления армейского комиссара он утерял нить своего прерванного доклада и сейчас не находил слов, чтобы продолжить разговор об оперативной обстановке в полосе армии и о полученной директиве командования фронта.

Федор Ксенофонтович будто и не услышал ответа командарма: только теперь ему стал ясен смысл всего происшедшего в Довске; значит, не случайно не возвратился за обеденный стол генерал армии Павлов...

Федор Ксенофонтович мог поверить во что угодно, в самые тяжкие ошибки Дмитрия Григорьевича, но только не в измену. Даже отдаленная мысль об этом казалась абсурдной... И, если он правильно понял Мехлиса, не об одном Павлове идет речь... О ком же еще? Может, Мехлис имел в виду что-то другое, каких-то иных людей?.. Ведь верно, когда там, в приграничных боях, складывалась безвыходная обстановка, когда надо было погибать во имя того, чтобы жили и побеждали другие, когда смерть в бою была необходимой, но никогда не прекрасной и не сладкой, кое у кого мелькала или даже звучала в разговорах мысль, а то и гром-

коголосо передавались слухи, что в какие-то звенья высших штабов, вероятно, пробрались враги и действуют на руку фашистам, иначе порой ничем нельзя было объяснить катастрофическую невыгодность нашего положения и в высшей степени выгодность положения противника. Но тогда думалось, что эта мысль и эти слухи расползались от затесавшихся в наши ряды провокаторов. Тем более что переодетые в форму Красной Армии и заброшенные на советскую территорию фашистские холуи или профессиональные диверсанты не раз попадались с поличным и расстреливались на месте...

Но даже там, в пору страшного ожесточения или крайнего отчаяния, когда приходилось со штыком идти против танков, даже там никто всерьез не придавал значения слухам об измене. Неужели ошибались?.. Неужели действительно обнаружены и изобличены сознательные виновники гибели тысяч и тысяч наших людей?..

Захлестнутый вихрем этих больно ранивших мыслей, Федор Ксенофонтович не заметил, как генерал-лейтенант Ташутин, подняв указку к обозначениям на карте, продолжил свой доклад. Только утвердившаяся за многие годы сила внутренней целенаправленности заставила Чумакова вовремя опомниться и начать постигать смысл произносимого командармом. Вслушиваясь в его краткие и плотно сбитые фразы, Федор Ксенофонтович стал тревожиться, что Ташутин, о прямодушной откровенности которого он помнил с давних пор, позволяет себе в присутствии маршала Тимошенко и армейского комиссара первого ранга Мехлиса слишком безапелляционно и гораздо шире, чем положено командующему армией, обозревать и оценивать сложившуюся оперативную обстановку на Западном фронте, по-видимому, не собираясь в ближайшие минуты начать излагать то главное, из чего складывается решение и боевой приказ командарма во исполнение замысла и приказа командования фронта. Будто из всех присутствующих здесь только перед одним Ташутиным открылось истинное положение дел на просторах Белоруссии и будто он вознамерился подробно объяснить это собравшимся в его штабе.

С невозмутимым спокойствием и, кажется, даже с адресованным кому-то упреком генерал-лейтенант Ташутин утверждал, что в приграничных сражениях Западный фронт не смог выполнить стоявшей перед ним задачи и что сейчас неразумно латанием дыр, выдвигая на угрожаемые участки разрозненные части и соединения, пытаться исправить ситуацию...

Федор Ксенофонтович, кинув при этих словах взгляд на маршала Тимошенко, заметил, как тот сердито вздернул бровь и что-то записал в лежащий перед ним блокнот. Ташутин тоже уловил эту реакцию наркома и тут же с завидным чувством душевного равновесия стал объяснять, чем вызваны его суждения.

— Нам, командующим войсками первого эшелона, — говорил он, повернувшись спиной к карте, — очень важно было ощутить, и мы это ощутили, что сия явная реальность стала очевидной и для Главного командования. В результате сейчас, как мы видим, удары по врагу уже нацеливаются из глубины, где создаются крупные военные группировки.

— Пожалуйста, ближе к вашей задаче! — с неудовольствием бросил Мехлис, видя, что командарм вывернулся из неловкого положения.

— Вот я и подошел к предстоящей задаче, — суховато ответил генерал Ташутин и, подумав, добавил: — Однако мне кажется, что беда командующих армиями, которые первыми приняли на себя удар врага, в том и заключалась, что, кроме неподготовленности и далеко не полной оснащенности войск, они и сами оказались как бы с завязанными глазами: сразу и понять не могли — действительно началась война, или немцы навязывают военный пограничный конфликт.

— Но для вас-то обстановка сейчас ясна?! — Мехлис начал сердиться, а в гневе армейский комиссар, как это было всем известно, не деликатничал, не щадил ничьего самолюбия и был крут в своих решениях.

— Сейчас ясна, товарищ член Военного совета, — спокойно ответил Ташутин, взглянув на Мехлиса исподлобья. — Я только не понимаю, как можно подозревать в измене командармов, на месте которых мог оказаться любой из нас. Другое дело — в головотяпстве, нераспорядительности...

Мехлис, кажется, смутился, или его, может, озадачило упорное молчание и безучастность к этому разговору маршала Тимошенко. Искоса взглянув на Семена Константиновича, увидев его нахмуренные брови и опущенные глаза, Мехлис побагровел и сурово ответил Ташутину:

— Вы, товарищ генерал, суете нос туда, куда не надо! Я доверительно проинформировал вас, а вы... спешите упредить события! Будет приказ по Красной Армии, он внесет полную ясность!.. А пока мы посмотрим, как выполните вы боевую задачу! С незавязанными глазами!

В палатке повисла неловкая тишина. Внимание всех было обращено к Мехлису, к его по-своему загадочной натуре. Впрочем, для мыслящих и хорошо знавших Мехлиса людей особой загадки в нем не было. Многих восхищал он возбужденностью своего духа и гибкостью ума. Иные видели в нем сильную личность с взрывчатым характером: во времена социальных бурь и всеобщих потрясений в подобных характерах проявлялось все самое сильное и самое дурное, подчас смешиваясь, сталкиваясь одно с другим и создавая непостижимый конгломерат сложной человеческой индивидуальности. Подобные люди могут с особым рвением выполнять высшую чужую волю, проявляя в деяниях своих всю силу собственной воли, могут со слепым упорством утверждать потерявшие значение догматы и отрицать рождающиеся истины. Они страшны в своей раздраженной фантазии, они эффективны в своей последовательности и энергии. Они всегда одержимы какими-то сверхдеяниями, часто без надежды осуществить их. Если видят в человеке хорошее — то самое лучшее, если видят плохое — то самое худшее. Они более считаются с теми людьми, которые безропотно, а еще лучше — с признаками восторженности разделяют их мнения...

Генерал Чумаков, всматриваясь в погрустневшее лицо Мехлиса, который, видимо, тоже почувствовал неловкость наступившей паузы, почему-то вспомнил где-то читанное: упрямство *не является дефектом разума*... Упрямство — *дефект темперамента*. Неподатливость воли, раздражительное отношение к чужим доводам происходят из особого рода *самолюбия*, для которого высшее удовольствие — *только своим умом властвовать над собой и другими*...

Тишина в палатке будто начала наполняться чем-то зловещим. Однако ничего не случилось: ее нарушил буднично-деловой голос генерал-лейтенанта Ташутина.

— Товарищ армейский комиссар первого ранга, — обратился он к Мехлису, холодновато улыбаясь. — Я душевно прошу меня извинить, если сказал что не к ладу... А боевую задачу мы выполним!

— Вот это уже слово коммуниста! — Мехлис тоже заулыбался. Затем он повернулся к Тимошенко и стал о чем-то тихо разговаривать с ним.

— Да, мы выполним задачу, — с нажимом повторил командарм, — хотя оба наших стрелковых корпуса сильно ослаблены, а сводная оперативная группа генерала Чумакова еще и не обрела формы войскового соединения. Мы рассечем боевые порядки наступающих немецких войск, возьмем Борисов и разовьем удар на северо-запад, но при условии, если сведения о противнике, — Ташутин повернулся к карте и постучал указ-

кой по тому месту, где был начертан номер немецкого моторизованного корпуса, — соответствуют действительности... Если же тут окажутся еще какие-то соединения немцев, о которых нашей разведке ничего не известно, мы сделаем только то, что сможем.

Видя, что на его последние слова ни Тимошенко, ни Мехлис из-за разговора между собой не обратили внимания, командарм на виду у всех недовольно развел руками, затем деловито прокашлялся и приступил к изложению боевого приказа.

С хорошо отработанной четкостью генерал Ташутин давал оценку противнику и показывал на карте его расположение, излагал замысел командующего фронтом, объяснял задачу, поставленную перед его армией, и задачи соседних армий, с некоторой долей рисовки формулировал свое решение... Федор Ксенофонтович все это прочно откладывал в своей натренированной памяти, делал пометки на развернутой карте и силой воображения составлял многоступенчатую картину встречного контрудара по рвущемуся на восток врагу. И при этом ощущал профессиональную удовлетворенность, слушая, как Ташутин уверенно и точно создавал схему предстоящей боевой операции, обогащая ее подробностями задач, возлагаемых на те или иные части.

Когда же командарм начал ставить задачу перед сводной оперативной группой, Чумакова охватила тревога: задача не из простых, а точнее, непостижимо-сложная. Главная ее суть — мощным кулаком пробиться в глубину занятой врагом территории на сто километров, сковать как можно больше вражеских сил, затормозив продвижение его моторизованных войск на восток, и зайти в тыл 57-му моторизованному корпусу немцев. Что это в конечном счете должно было означать, генерал Чумаков очень хорошо понимал.

И его охватило нетерпение. Время!.. Нужно время!.. Надо использовать каждую минуту. Ведь еще даже не создан штаб группы. Надо точно расставить людей, которые посланы в Палынь и которых он еще не видел, нужно довести приказ до войск, подготовить их, организовать взаимодействие, наладить снабжение боеприпасами, горючим, питанием... На все это и на многое другое имеется только один день и одна ночь. Кажется невероятным, чтобы можно было успеть сделать все, что предстояло... Однако надо!.. Ведь законы военной науки, на которые опирается управление войсками, предполагают, что любой военачальник, если он, принимая решение, сталкивается с препятствиями и несообразностями, вправе перешагнуть рамки военных установлений (нормативных и иных); без этого нельзя возвыситься мыслью до точного определения своих возможностей, нельзя достигнуть требуемого предела в поисках форм применения подчиненных тебе войск.

Когда фамилия Федора Ксенофонтовича прозвучала в приказе командарма очередной раз, Мехлис вдруг насторожился, достал свою записную книжку, заглянул в нее и спросил генерала Ташутина:

— Простите, это о каком Чумакове идет речь? Не о том ли, чей мехкорпус наносил контрудар в сторону Гродно?

— Так точно! — ответил Ташутин.

— Он здесь?

— Здесь! — Федор Ксенофонтович сделал полшага вперед.

— Как вы сюда попали? — Мехлис буравил его недобрым взглядом.

— Согласно приказу командарма...

— Нет, я спрашиваю, как вы оказались здесь без своего механизированного корпуса?.. Где ваши танковые дивизии, где артиллерия?

Вопросы прозвучали в гробовой тишине, как звонкая пощечина.

Понимая, что возникли эти вопросы по злой и мелкой воле Рукатова, Чумаков тем не менее побледнел от стыда и обиды.

— Более того, что я написал в итоговом боевом донесении, ничего добавить не могу, — тихо ответил он, чувствуя, как под повязкой огнем вспыхнула незажившая рана, и понял, что мышцы челюстного сустава сейчас окаменеют.

— Сочинять донесения легче, чем командовать корпусом! — с устрашающей резкостью произнес Мехлис. — А как вы командовали, Военному совету фронта известно!

У Федора Ксенофонтовича хватило сил раскрыть рот, но сказать хоть слово он уже не мог. Резкая боль располосовала его голову на две половины, мышцы под бинтами вокруг сустава взбугрились, и ему показалось, что где-то рядом ударили в огромный колокол и неумолчный, раздирающий душу звон наполнил собой все вокруг.

На него смотрели с удивлением и даже с испугом. Зрелище невиданное: стоящий навытяжку генерал с широко раскрытым, неподвижным ртом и немигающими глазами; одна половина лица бледная, вторая — багровая. Казалось, Чумаков сейчас рухнет на пол.

И тут поднялся невысокого роста дивизионный комиссар с орденами Ленина и Красного Знамени на гимнастерке; блеснули по два ромба в его петлицах. Нетронутое морщинами лицо дивизионного комиссара светилось юношеским задором, а глаза смотрели с дерзкой проницательностью. Это был Лестев — начальник управления политпропаганды фронта.

— Разрешите внести ясность, товарищ член Военного совета! — энергично сказал дивизионный комиссар. — Документ, порочащий генерала Чумакова, составлен на недостоверных фактах, а выводы документа не имеют ничего общего с действительностью. Я проверил все лично и несу ответственность за каждое свое слово. Генерал Чумаков проявил себя как командир корпуса с самой лучшей стороны...

— Откуда же тогда мог взяться такой документ? — озадаченно и, кажется, с радостным облегчением спросил маршал Тимошенко.

Федору Ксенофонтовичу было бы в самый раз сказать все и на этом прекратить нервотрепку, но он еще пребывал в беспомощном состоянии.

— Один подполковник состряпал, — ответил Лестев. — Причины лжи пока не известны. А может, просто недоразумение.

— Ладно, сейчас не будем заниматься разбирательством, — сурово заговорил Тимошенко. — Нет времени... Товарищ Лестев, я прошу вас довести это дело до конца. Подполковника разжаловать в майоры. Какие бы ни были причины...

В это время Мехлис наклонился к маршалу и что-то зашептал ему. Тимошенко сокрушенно поскреб рукой в затылке и тихо сказал армейскому комиссару:

— Проследите, пожалуйста, чтобы фамилия Чумакова не попала в телеграмму товарищу Сталину. — Затем обратился к Федору Ксенофонтовичу: — Товарищ Чумаков, вы что, чувствуете себя плохо?.. У вас серьезное ранение?

Федор Ксенофонтович наконец нашелся: он положил вдоль рта между зубов указательный палец так, чтобы к нему прикасался язык, и шепеляво прогундосил:

— У меня заклинило челюстной... сустав... Он поврежден...

— Так, может, вам надо в госпиталь? — Тимошенко смотрел на Чумакова с сочувствием. — Как же вы будете командовать?

— У Чумакова заклинивает только перед начальством, — смешливо сказал кто-то из генералов. — А перед немцами он горласт!

Всколыхнулась парусина палатки, так дружно громыхнул в ней и выплеснулся в лес хохот, вызвав немалое удивление штабного люда, до слуха которого он докатился. Ведь в эти суровые дни высокому начальству было не до смеха.

Услышал бы этот смех Гитлер... Только вчера на совещании в ставке он заявил своему генералитету:

«Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл. Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских. Русские не смогут их больше восстановить».

## 19

Владимир Глинский относился к тем утомленным скитальческой жизнью и ненавистью интеллигентам, покинувшим Россию, психика которых за гранью зрелого возраста походила на изрядно разбитую, с ненадежными осями телегу. Ощущая нарушенность своего прежнего душевного строя, Глинский пытался объяснить это естественной, приходящей с возрастом, опытом и постижением философских наук внутренней зрелостью. Однако не все поддавалось объяснению, и эти необъяснимые стороны его психики нередко занимали пытливую мысль Глинского, уводя в трясины мистики.

Когда Глинского одолевали какие-то сомнения или мучили дурные предчувствия, он начинал требовательно всматриваться и вслушиваться в самого себя. Со временем ему стало казаться, что он ощущает в себе некоторое раздвоение: в нем будто просыпался еще один человек, какая-то самостоятельно мыслящая и обладающая внутренним голосом сила; она затевала с Глинским трудный и подчас опасный спор. Он, этот спор, начинался с вопросов, которые задавал его таинственный двойник, и порой легче было надеть на шею петлю, чем отвечать на них. Но Глинский считал своим долгом незамедлительно отвечать на вопрошающий голос чувства, а также искать пути к компромиссу между двумя спорящими в нем Глинскими. Однако не всегда находились ответы, не всегда удавался компромисс, а тогда начинался затяжной разлад в его душе, тогда рождались новые тревоги и страхи, а будущее застилалось тьмой.

Глинский с какого-то времени стал смутно подозревать, что воскресающий в нем, спорящий с ним и укоряющий его внутренний голос — это голос самого неба. И как-то на исповеди он поделился своим прозрением с духовником. Тот слушал его внимательно, затем, прислонив чело к Священному писанию, долго молчал. И когда Глинскому показалось, что святой отец забыл о нем, тот наконец разразился длинной тирадой, зазвучавшей взволнованно и торжественно. Священник внушал ему мысль, что он, Владимир Глинский, действительно отмечен святым знамением, что высшие силы истинно благоволят к нему и к его душе зримо для святого отца тянется золотая ариаднина нить, помогая ему идти по греховным лабиринтам земного бытия.

Словно яркий теплый луч осветил тернистые дороги графа Владимира Глинского, но только дороги уже пройденные. Ему стало ясно, почему судьба оградила его от сабель буденновцев в гражданскую войну, тогда как его старшего брата, Николая Глинского, по слухам, не уберегла; стало ясно, как смог он уцелеть, пройдя сквозь кровавую одиссею марокканской войны в составе французского иностранного легиона... А теперь он понимал, что судьба не случайно свела его, вышколенного немецкого диверсанта, с генералом Чумаковым и полковником Карпухиным: они встретились на почте в ночь накануне войны; это мимолетное знакомство потом сделало его, тайного их врага, раненного красноармейской пулей, своим в отряде Чумакова и помогло после выхода в расположение советских войск и непродолжительного долечивания в военном госпитале поселиться под надежной крышей одного из большевистских военных штабов. В этом немалую роль сыграли его «легенда» — позаимствованная

биография — и хорошо сработанные в немецких шпионских лабораториях документы.

Да, все прошлое, со всеми тяжкими болями, трудностями и смертельными опасностями, теперь проецировалось в его сознании, как происходившее при попечительстве таинственных добрых сил. Но что сулит ему будущее? Куда простираются сквозь кровавое марево его дороги? И как сложится дальнейшее пребывание в стане врага? Глинский сразу даже не мог принять решения: оставаться ли ему здесь или, как требовала его тайная служба, совершив серьезный террористический акт, постараться исчезнуть и где-то в укромном месте дождаться прихода немецких войск, а потом... Трудно было предположить, что могло произойти потом. Ариаднина нить в его воображении рвалась. Ему грезились страшные кары за то, что его абвергруппа в междуречье Сервечь — Уша не выполнила задания абвера, была разоблачена красными и уничтожена. Да и как ведомство Канариса воспримет его самовнедрение «под крышу» большевиков?

Глинского смущало то обстоятельство, что перед аспирантами шпионско-диверсионной школы «восточного направления», заброшенными в тылы Красной Армии, не ставилась задача проникать под видом своих в воинские части, оседать там и заниматься агентурной разведкой. Более того, им внушали, что в ходе первых же операций на пространствах между западными границами СССР и реками Западная Двина и Днепр основные силы Советов будут уничтожены, а затем германская армия стремительно и беспрепятственно вонзит свои моторизованные клинья в глубь советской территории, не позволив этим отмобилизовать новые большевистские соединения и парализовав отдельные красные дивизии в центре страны. Что же касалось армий, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке, то они не брались немецким командованием в расчет, ибо, как утверждали гитлеровские стратеги и политики, Советы не осмелятся оголить свои восточные и южные границы ввиду напряженной там атмосферы.

Да, все это внушали им, тайным рыцарям абвера, но обстоятельства сложились совсем не так. Глинский не терял зря времени и знал, да и воочию убеждался, что Красная Армия хоть и понесла в первых сражениях тяжелые потери, но не была разгромлена и сломлена. А из глубины страны навстречу войскам Гитлера уже выдвигались свежие, неплохо оснащенные силы. Значит, война может принять затяжной характер, и, если следовать здравому смыслу, абвер одобрит его решение остаться здесь, где его знали как бывшего окруженца из группы генерала Чумакова и где на якобы призванного из запаса майора Птицына Владимира Юхтымовича заведено кадровое «личное дело», в котором значится, что он по образованию и гражданской профессии — механик-полиграфист, а по военной специальности — сапер.

Теперь все было ясно: надо найти возможность установить связь с руководством полевой абверкоманды при 4-й немецкой армии генерал-полковника Клюге или с оперативным штабом «Валли». Однако эта ясность была кажущейся, ибо в душе Владимира Глинского, вопреки его воле, опять проснулся знакомый предостерегающий голос. Глинский явственно слышал его звучание, но еще не мог разобрать слов, а вернее, не старался, не хотел вслушиваться, ибо догадывался о их страшном, противоестественном для его положения смысле. Вопрошающий голос чувства требовательно ожил в нем еще там, в госпитале, когда он, Глинский, с перебинтованной ногой сидел близ вырытой у сосны щели, готовый при появлении немецких самолетов нырнуть на ее дно. Рядом на носилках лежала раненая девчонка, подле которой сидела пожилая женщина, ее бабушка, мать какого-то генерала, по их рассказам, оставшегося со своей

частью воевать у границы. Мать девчонки убили по ту сторону Минска, а ее — ранили, и вот бабушка, которую осколки бомб помиловали, вместе с врачами и медсестрами выхаживала внучку.

Глинского удивило и несколько развеселило, что простая деревенская баба может быть матерью генерала. От нечего делать и чтоб подкрепить свои мысли о невысоких, наверное, достоинствах мужика-генерала, он разговорился со старой женщиной и чуть не выдал себя возгласом удивления, когда услышал, что она надеется добраться с внучкой к себе домой в Воронежскую область, в село Глинское, бывшее поместное селение его отца...

Женщина была крупной, чуть сутулой от прожитых лет, с широким, исполосованным морщинами лицом и широко поставленными впалыми глазами, смотревшими со строгим и мудрым спокойствием. Ничего особенного в ее облике не было, разве только неестественные для ее возраста черные, без седины, волосы, выбивавшиеся из-под тонкого синего платка в белый горошек, которым она по-деревенски повязывала голову. На старухе была надета полинялая гимнастерка, заправленная в длинную черную юбку, спадавшую к земле бесчисленными складками.

Как ни всматривался в лицо землячки Владимир Глинский, ничего знакомого не воскресила его память. Справившись со своим волнением и стараясь не смотреть на женщину, он с притворно-праздным любопытством спросил:

— Почему так странно называется село?.. Глинское...

— Обыкновенное название. У нас есть и урочище Глинское, и старая мельница Глинской называется.

— Глинистые места у вас, что ли?

— Да, есть и глинистые, — грустно ответила женщина и вздохнула, видимо вспоминая село.

— Отсюда и название села? — допытывался Глинский.

— Может, и отсюда. — Женщина шевельнула сутулыми плечами. — А может, и нет... У нас помещик, царство ему небесное, тоже Глинским прозывался. Графом был.

— Неужели до сих пор помните?

— А почему не помнить? — удивилась женщина, скользнув безразличным взглядом по собеседнику. — Двадцать годков с гаком — это совсем недавно... Наработалась на их светлость... И графиню помню, и двух сыночков помню... Все на орловских скакунах носились по полям.

Глинский мысленно молил бога, чтобы старуха, поправлявшая в это время подушку под головой внучки, не взглянула на него. Он ощутил, как от его лица отхлынула кровь, а перед глазами стали расходиться черные круги. Старуха же, не отрывая печального взгляда от лица внучки, между тем продолжала:

— В революцию разлетелись кто куда... Только старший сын объявлялся при нэпе. — Она опять подняла глаза на своего собеседника — грустные, изучающие.

— Как объявлялся?! — Глинский, кажется, начинал терять над собой контроль.

— Обыкновенно, — бесстрастно ответила старуха, вновь кинув взгляд на Глинского. — Приехал, побродил вокруг бывшего отцовского имения, а на следующее утро только следы коляски увидели. В Ростове, говорили, миллионами ворочал.

— И больше не слышно о нем?

— Нет, не слыхать.

— А почему ж село не переименовали? — Избегая встретиться глазами, Глинский смотрел поверх головы женщины. — Зачем селу носить графскую фамилию?

— А она не графская! — Старуха нахмурилась. — Народная это фамилия, а пращур нашего графа прилип к ней, присвоил, значит...

— Странно. — Глинский снисходительно улыбнулся, искусно скрыв досаду. — Можно подумать, что она отлита из благородных металлов.

Не поняв иронии собеседника, старуха молчала. Но, видать, слова эти не прошли мимо ее внимания, и после продолжительной паузы она заговорила:

— Простые люди придумали эту фамилию для хорошего человека, а благородным она пришлась по душе. Вот и взяли.

— Может, расскажете, как это случилось?

— Давняя бывальщина... Не знаю даже, при каком царе. — Старуха придвинулась ближе к изголовью задремавшей внучки, чтобы отгонять комаров. — Дед мой сказывал. Народ тогда жил по хуторам, при своих нивах. И мои пращуры были хуторскими. Так вот, на нашем хуторе был один слепой солдат: с царевой службы без глаз воротился. И случись к той поре — опять ворог на Русь напал. Не помню кто, басурман какой-то, много их разевало рот на наши земли... Вот всех парней да мужиков с конями на военщину и позабирали. И слепой солдат опять захотел, пока живой, Руси послужить. Знал он близ наших мест самое лучшее глинище с белой, как перья лебедя, глиной... А белая глина — это чистые деньги. Без хлеба еще можно на картошке перебиться, а без белой глины нельзя, потому как хаты свои мы внутри и снаружи в белом колере и по сей день держим... Ну так вот, — продолжала старуха, прогоняя веточкой комаров от бледного личика и худеньких рук внучки, — слепой солдат смастерил себе тележку, впрягся в нее и поехал за белой глиной... Каждый день-деньской развозил он ее и продавал за копейки да за пятаки. Копил так деньги, а потом сдавал в казну. Вот люди и прозвали солдата Глинским... Однажды опять появляется он на нашем хуторе и, как всегда, подает голос: «Белая глина!.. Кому белой глины?!» Люди выбегают к нему с цебарками, с мешками и вдруг видят, что в тележке солдата не белая, а обыкновенная желтая глина, какой сколько хочешь рядом, в нашем яру над речкой. «Берите, селяне, белую глину! — с такой радостью умоляет солдат, что женщины слезами залились. — Новое глинище показал мне один добрый человек, — говорит. — Старое обвалилось...» Люди переглянулись между собой и стали брать желтую глину, а солдату бросать в фуражку медяки... Слух о желтой глине побежал впереди слепого солдата по всем хуторам... Так и развозил он ее, пока наши ворога не разбили...

В небе послышался рокот моторов, и женщина умолкла, насторожившись. Но самолеты прошли стороной. Глинский, со скрытым волнением ждавший продолжения ее рассказа, хрипло спросил:

— А что было дальше?

— Дальше случилась беда. Солдат как-то доведался, что продавал желтую глину заместо белой, и пошел искать того человека, который обманул его, может, по доброте своей сердечной. Нашел и поджег его хату... Присудили солдату каторгу, а люди осерчали, отбили солдата у стражников. И покатился слух об этом по землям русским, пока до царевой столицы не дошел. Узнал царь про верность отставного солдата и велел миловать его. А потом прислал бумагу, в которой солдат Глинский был жалован деньгами, землями и лесами.

— Ну, а кто же отнял эту фамилию у солдата? — добирался до главного для себя Глинский.

— По-разному баяли люди, — ответила старуха. — Вроде после смерти солдата его землями и лесами завладел какой-то панич, а чтоб никто это богатство не отсудил, приписал он себе и фамилию солдата.

— А дворянский титул откуда? — не терпелось Глинскому.

— Дворянство уже потом было пожаловано. — Старуха открыто посмотрела на Глинского и загадочно усмехнулась. — Ты-то, Владимир Святославович, должон лучше меня, полуграмотной бабы, знать, из каких колен пришло графство к твоему прадеду.

По жилам Глинского вдруг пролилась волна ужаса, с чудовищной силой пронзив сердце. Кажется, он был не в состоянии сказать хоть какое-нибудь разумное слово. Окаменело сидел над щелью в земле и, чувствуя, как лоб его покрывается липкой, холодной росой, безмолвно смотрел на старуху. А она улыбалась ему одними глазами и спокойно, с добрым смешком говорила:

— Я еще вчера тебя приметила... Вижу: вылитый сынок нашей графинюшки, как две капли воды. Но подумала, что, может, обозналась. Мало ли похожих обличий бывает на свете?.. А вот начали говорить мы с тобой, и совсем признала... Только никак не пойму: мой Потап на два или на три годика моложе тебя, а уже до генерала дошел, а ты только в майоры выбился.

«Отпираться не надо... Нельзя!.. Нельзя отпираться!» — молотком стучала в мозгу Глинского мысль. И он, собрав в кулак всю свою волю, осевшим голосом ответил:

— Я ведь не кадровый военный... Из запаса.

— Так и я подумала.

В это время Глинский заметил, что к ним торопливо приближаются два санитара, и вначале почувствовал противный холодок в груди, а затем теплую тяжесть пистолета в кармане. Не оправившись еще от потрясения, он уже встречал новую опасность, готовый, кажется, на безрассудство.

Но санитары не обратили внимания на Глинского. Привычно подняли носилки с девочкой, и один из них сказал старухе:

— Мамаша, поторопитесь! Отправляем вас в санитарный поезд.

Женщина вставала с земли медленно и тяжело, будто поднимала на себе все прожитые годы.

— Приезжай, Владимир Святославович, в родные места, когда Гитлера доконаете, — сказала она Глинскому на прощание, учтиво кивнула и неожиданно широким, почти мужским шагом направилась вслед за санитарами к автобусу, на боку которого краснел в белом круге крест.

В этот день Владимир Глинский покинул госпиталь, и в этот же день его подобрал на перекрестке дорог проезжавший на мотоцикле полковник Карпухин.

## 20

Палынь оказалась уютной и чем-то диковатой лесной деревушкой; только с десяток ее домов вместе с хозяйственными постройками — сараями и гумнами, — будто отбившиеся от стада телята, выбежали из леса и разбрелись по взгорку в неспокойных волнах белесой ржи и в крутой зелени картофельной ботвы, кукурузы, свеклы. Остальные дворы, отгородившись от заросшей муравой улицы потемневшими плетнями и штакетниками, жались к курчавому лесу, полукружьем нависшему над изумрудными квадратами ухоженных огородов.

Со стороны взгорка сюда долетало неровное, приглушенное десятком километров дыхание войны: словно чьи-то невидимые руки бухали в гигантский барабан и ударяли по разной высоты басовым струнам какого-то огромнейшего инструмента. Прерывистому гудению далеких басов вторило грозное урчание проходивших стороной бомбардировщиков, а время от времени вся эта какофония звуков тонула во внезапно врывав-

шемся, въедливом и хищном свисте желтобрюхих «мессершмиттов», рыскавших над самыми верхушками деревьев, выискивая жертву.

За Палынью начинался поросший осиной и березой овраг, по сырому дну которого стлалась дорога. На склонах оврага и дальше в лесу расположились штабная группа генерала Чумакова и автобатальон. Марш-бросок к Палыни был сделан почти без потерь и точно по времени, расписанному полковником Карпухиным в таблице марша. Карпухин разумно учел предрассветные часы и мглистое утро для прохождения колонны по магистральной дороге и для переправы через Днепр, которые в светлое время часто подвергались нападению с воздуха. В междуречье же маршрут пролегал по окольным грунтовкам, среди лесов, полей и топей. Только дважды пикировали там на колонну случайно заметившие ее самолеты.

...Владимир Глинский все старательно фиксировал в своей цепкой памяти и удивлялся, что группа, еще, по существу, не обретшая формы воинской части, уже обладала столь высокой подвижностью и маневренностью. Он намеревался было внести свои поправки в график Карпухина — приготовил гранату лимонку, привязав к ее кольцу сверкающий желтизной ремешок от найденной командирской планшетки. Надеялся, что во время очередного воздушного налета, когда люди разбегутся в стороны от колонны, ему удастся на одном из передних грузовиков незаметно втиснуть между ящиками со снарядами гранату, выведя наверх, где во время движения сидели несколько красноармейцев и командиров, ремешок. Кто из них не соблазнится новеньким ремешком да не потянет его к себе?.. От взрыва гранаты должны были сдетонировать снаряды...

Но опять пришлось удивляться Глинскому: машины со снарядами и боеприпасами не оставлялись без присмотра ни на минуту, и граната с намотанным на нее ремешком так и продолжала оттягивать ему карман. А что-то предпринимать диверсанту уже было пора. Ведь потом с него спросят за каждый день пребывания среди большевиков, потребуют письменный отчет за каждый его шаг. Докладывать же о придуманных диверсиях и убийствах, хотя без этого, кажется, не обойтись, рискованно, ибо абвер часто перепроверял достоверность информации, поступающей от людей не арийской расы, не только допросами пленных и местных жителей, осмотром мест совершенных диверсий, но и показаниями соглядатаев. Глинский не мог ручаться, что рядом с ним не «прижился» еще кто-нибудь с той стороны. В эти дни кроме 800-го учебного полка особого назначения «Бранденбург» кадры войсковых разведчиков-диверсантов пополнялись и за счет инициативных мер командования немецких полевых войск. Эти меры приобрели особенно большой размах после успешных действий «Бранденбурга» на западе, когда Гитлер воздал высокую хвалу начальнику управления разведки и контрразведки Канарису. В группах немецких армий, в армиях, корпусах и даже в дивизиях начали активно готовить собственные подразделения и группы диверсантов для действий в полосе наступления своих соединений. Когда для их комплектования не находилось под рукой знающих русский язык отечественных или зарубежных немцев, к доморощенным диверсантам приставляли проводников-переводчиков. Штаб же «Валли» координировал по линии абвера действия всех немецких диверсионных сил.

Если бы Владимиру Глинскому удалось установить с кем-нибудь из абверовцев или «войсковиков» контакт да при их помощи наладить утраченную связь с руководством своей абверкоманды и избавить себя от возможных там подозрений, что он переметнулся к красным!.. С содроганием вспоминал устрашающе-холодные глаза майора Геттинг-Зеебурга — офицера связи управления Канариса, прикомандированного к группе армий «Центр». Накануне войны, перед заброской абвергрупп на

советскую территорию, он сказал, обращаясь к Глинскому по его агентурной кличке:

«Коллега Цезарь, вы — один из немногих русских людей, которым мы так доверились... Дорожите этим и помните, что руки у абвера очень длинные...» В словах Геттинг-Зеебурга прозвучала открытая угроза и оскорбительное чувство своего превосходства.

Он оправдает доверие. Здесь его приняли за майора Птицына Владимира Юхтымовича: из хитро затеянных разговоров с ранеными командирами Глинский вынес убеждение, что в ближайшее время никто не в силах проверить родословную «майора Птицына», а тем более сличить заведенные на него документы с «личным делом», которое будто бы накануне войны должно было поступить в штаб Западного Особого военного округа из Тракайского военкомата под Вильнюсом. Если «дело» в Минск не успело прийти — это не вина призванного из запаса майора Птицына, да и не он один из «переменников» [1] оказался в таком положении; поэтому хочешь не хочешь, а определяй его место в боевом строю советских войск.

Все старательно взвешивал Владимир Глинский, слоняясь после переезда к Палыни по лесу, затевая разговоры с командирами и чего-то напряженно дожидаясь. И вот от дежурного к дежурному, от машины к машине покатилось разноголосье команды:

— Командирам и политработникам собраться у штабного автобуса!..

Автобус втиснулся под разлогие кусты орешника на краю широкой поляны. Со всех сторон стекались сюда командиры, политруки, комиссары — те, которые прибыли в составе штабной группы генерала Чумакова, и те, которых доставили в район Палыни из резерва при штабе Западного фронта.

У раскрытой двери автобуса стояли в кругу старших командиров полковник Карпухин и полковой комиссар Жилов, о чем-то переговариваясь. Карпухин сегодня был особенно хмур и озабочен; изредка он посматривал то на наручные часы, то на поляну. Когда, кажется, ждать уже было некого, Карпухин отошел чуть в сторону, и послышался его резкий и требовательный голос:

— Внимание, товарищи!.. Слушай мою команду!.. В колонну по четыре становись! — Подняв руку, он обозначил начало строя.

Когда колонна выстроилась, Карпухин повернул ее направо, выровнял четырехшеренговый строй и, выйдя перед ним на середину, подал команду «Вольно». От автобуса к нему подошли старшие командиры, и Карпухин, обращаясь к стоявшим в строю, представил подошедших как начальников отделов штаба, назначенных штабом фронта. Командиры поочередно называли свою фамилию и должность, а потом началось то, что больше всего поразило замершего в четвертой шеренге Глинского: не в апартаментах высшего штаба, с изучением представлений и характеристик, со взвешиванием «за» и «против», а прямо здесь, в лесу, началось комплектование штабных отделов, которым надлежало возглавить разные рода войск и служб соединения. После того как Карпухин сказал: «Разобрать людей по службам», — перед строем раздались команды начальников:

— Оперативщики, выйти из строя и — шагом марш за мной!..

— Разведчики, в шеренгу становись!..

— Артиллеристы, ко мне!..

— Командиры инженерных войск, ко мне!..

— Связисты!..

---

[1] «Переменниками» именовались командиры, призванные в армию на переподготовку еще до начала войны.

— Политработники!..
— *Автобронетанковые войска!..*
— Химики!..
— Топографическая служба!..
— Служба тыла!..

Прошло несколько минут, и четырехшеренговый строй распался. Зато в разных концах поляны и за ее пределами стояли небольшие строи по родам войск и служб. Шло взаимное знакомство, вручались топографические карты, ставилась задача предстоящей боевой операции, уже, оказывается, в общих чертах известная руководству штаба.

Глинский, как и полагалось «майору Птицыну», стоял в строю инженерной службы и пожирал глазами своего начальника подполковника Тарасова — невысокого, губастого, в очках, сверкающего при разговоре крупными жемчужно-белыми зубами. У Тарасова, оказывается, имелся список всех этих людей в фуражках с черными околышами и с черными петлицами на гимнастерках. Ему только оставалось воочию познакомиться с ними и, перебросившись несколькими фразами, уточнить, кто чем будет заниматься в отделе: инженерной разведкой, дорожно-мостовыми работами и переправами, минными заграждениями, разграждениями и минированием мостов, препятствиями, оборудованием командных и наблюдательных пунктов...

Фамилии Птицына в списке не оказалось, и подполковник Тарасов, пожалуй, этому обрадовался: у него не хватало людей. Но Глинский насторожился, хотя и понимал, что заполненные им документы еще не успели поступить в штаб фронта. Тарасов, выяснив, что майор Птицын сапер-подрывник, дал, однако, ему задание, не связанное с его военной специальностью.

— На должность представлю вас потом, — сказал Тарасов, подбадривающе улыбнувшись и сверкнув стеклами очков в темной оправе. — Если, конечно, не отберут вас у меня политотдельцы: на полиграфистов у них дефицит. А сейчас берите два взвода саперов, три взвода пехоты — и шагом марш в распоряжение полковника Карпухина. Будете в спешном порядке оборудовать передовой, а потом промежуточные командные пункты.

— Задача ясна, — ответил Глинский, хотя понятия не имел, как будет выполнять задание.

— Расчеты знаете? — на всякий случай поинтересовался подполковник Тарасов.

— Ну, я... надеюсь, что командиры саперных взводов... тоже окажутся профессионалами, — нашелся Глинский.

Слова «профессионалы» не было в обиходе военных, и оно, резанув слух Тарасова, заставило его метнуть на майора Птицына озадаченный взгляд. От этого взгляда сердце Глинского вдруг будто припорошило снегом, однако, напустив на себя наивную простоту, майор продолжал пялить на Тарасова ожидающие глаза.

— Так что, расчетов не знаете? — переспросил Тарасов, зачем-то начав рыться в своей полевой сумке.

— Н-не знаю... Твердо не знаю.

— Вот возьмите. Только с возвратом. — И подполковник протянул книжечку в сером дерматиновом переплете — «Справочник по военно-инженерному делу» Д. Карбышева. — И кое-какие сведения выпишите впрок, — наставлял Тарасов, оценивающе глядя на Глинского. Видимо, майор чем-то ему понравился, потому что, поразмыслив, он добавил: — Заодно будете вести карту саперных работ по заминированию.

— Есть, вести карту!..

Из подъехавшего к поляне броневика вышел генерал-майор Чума-

ков. Лишь зубы и глаза сверкали у Федора Ксенофонтовича — весь он, от фуражки до сапог, был покрыт рыжим слоем пыли. Взглянув в сторону автобуса, где стоял полковник Карпухин в кругу командиров и начальников, только что прибывших из соединений и частей, составляющих сводную оперативную войсковую группу, Чумаков одобрительно подумал о четкой работе в столь трудной обстановке штаба армии Ташутина и стал на виду у всех раздеваться. Отряхнув от пыли, бросил на покос фуражку, ремень, гимнастерку, затем снял с себя потную майку и подставил ладони под ведерко со студеной водой, которое будто дожидалось его в тени автобуса и сейчас оказалось в крупных руках подбежавшего к генералу плечистого усача шофера с двумя треугольниками сержанта в черных петлицах.

Вымывшись до пояса и вытершись не очень белым полотенцем, поданным сержантом, Федор Ксенофонтович оделся и зашагал навстречу полковнику Карпухину, который издали наблюдал за ним, а теперь, скомандовав окружающим «Смирно!», спешил с рапортом.

Выслушав доклад Карпухина о состоявшейся передислокации и о проделанной штабом работе, генерал Чумаков начал знакомиться с командирами и начальниками штабов соединений и частей, принимать их доклады. Первым шагнул к нему командир мотострелковой дивизии полковник Гулыга, которого Федор Ксенофонтович знал добрых полтора десятка лет, но не видел очень давно. Высокий, поджарый, с огрубевшими чертами загорелого до черноты лица и покрасневшими веками, Гулыга хрипло, но четко выговаривал каждое слово, и Чумакову казалось, что не только лицо полковника, а и голос его спекся на горячих военных ветрах.

— Товарищ генерал, — докладывал Гулыга, — мотострелковая дивизия в составе одного сводного мотострелкового, одного сводного танкового и одного артиллерийского полков с недоукомплектованным штабом и спецподразделениями занимает оборонительный рубеж во втором эшелоне по речке Лежа...

За словами Гулыги Федору Ксенофонтовичу виделась сильно ослабленная дивизия. Было совершенно ясно, что полосу наступления для нее надо максимально сжимать, а действия ее в глубине обороны противника непрерывно обеспечивать ударными танковыми группами и поддержкой с воздуха... Вломиться в боевые порядки врага, который сам выискивает слабые места в нашей обороне, стремительно вбивает в них клинья, можно только массированным ударом. Дивизии Гулыги это не под силу... Надо создавать единый кулак, используя нерастраченные возможности танковой и артиллерийской бригад.

Федор Ксенофонтович спрашивал полковника Гулыгу о количестве Т-34 в танковом полку его дивизии, о подготовленности экипажей, наличии средств связи. Гулыга отвечал четко, уверенно, иногда уточняя сведения у своего начальника штаба — желтолицего, с раскосыми глазами подполковника Дуйсенбиева, у которого была забинтована в локте левая рука. Командир и начальник штаба дивизии понимали друг друга с полуслова, Гулыга держался по отношению к намного младшему по возрасту Дуйсенбиеву с подчеркнутым почтением, и это нравилось генералу Чумакову. Он видел перед собой уже не того недалекого и простоватого майора Гулыгу, которого он знал когда-то как командира отстающего в боевой подготовке стрелкового полка. Было только неприятно, что мысли о Гулыге каким-то окольным путем перекидывались к его зятю подполковнику Рукатову, хотя ни вспоминать о Рукатове, ни думать, а тем более говорить о нем с Гулыгой не хотелось; да было и не до Рукатова сейчас: надо успеть оценить свои силы, отдать предварительные распоряжения и побыстрее отпустить начальников штабов для их выполнения,

а самому вместе с командирами немедленно ехать к линии фронта на рекогносцировку и там уже вырабатывать и отдавать уточненный боевой приказ.

Не подозревал Федор Ксенофонтович, что полковник Гулыга, отвечая на его вопросы, тоже думал об Алексее Алексеевиче Рукатове, не зная, стоит ли доложить генералу Чумакову о том, что два дня назад подполковник Рукатов прибыл в его дивизию с назначением на должность начальника артиллерии, хотя в армии не полагалось при подобных родственных связях сводить двух людей под крышу одного соединения или части. Гулыгу, правда, сдерживало то, что Рукатов попросил его пока ни перед кем не открывать их родственных отношений, а как только дивизию выведут на переформирование (Алексей Алексеевич в этом был уверен), он, сославшись именно на родство с комдивом, немедленно уйдет куда-нибудь, возможно, на более самостоятельную должность.

Затем докладывали командиры артиллерийской и танковой бригад — два молодых полковника, еще не бывавших в бою и жаждавших помериться с врагом силами, хотя их смущало, что на подготовку боевой операции почти не оставалось времени. Сводной группе генерала Чумакова было приказано начать наступление сегодня же, в восемнадцать часов...

На траву легло полотнище топографической карты с нанесенной обстановкой. Генерал-майор Чумаков начал отдавать предварительное распоряжение о предстоящем контрударе.

## 21

В первой половине этого дня в мотострелковую дивизию полковника Гулыги прибыло из созданного при штабе фронта резерва пополнение: группа командиров и политработников. Среди них оказался и Миша Иванюта. Еще сидя на соломе в кузове грузовика, который в тучах пыли мчался по грейдерной дороге на запад, Миша с легкой грустью размышлял о том, что теперь не придется ему больше ходить в разведку, поднимать цепи бойцов в атаку, форсировать под жестоким огнем реки и речушки, как это было в первые дни войны. В нагрудном кармане его гимнастерки лежала бумага, где было написано, что он, младший политрук Иванюта Михаил Иванович, назначен инструктором-литератором дивизионной газеты «Красноармейский залп». Видимо, так надо... Ему приказано взять в руки его самое главное оружие, и он должен работать во фронтовых условиях так, как не работал ни один журналист в мире. А в атаку будут ходить другие... И боевые ордена прикипят не к его груди... Так надо... Он будет давать по врагу залпы со страниц газеты, будет стараться разговаривать с бойцами по-особому проникновенно и вдохновенно, будет прославлять истинных героев, передавать их опыт... Вроде неплохо получалось у него в многотиражке училища. И не зря более двух лет постигал он военное дело. А если к этому прибавить все то, что успел увидеть и пережить с первых минут войны по сей день... Но все-таки воевать будут другие?.. А он окажется на задворках фронтового братства? Второй эшелон будет его обиталищем?..

Миша размышлял сквозь дрему, подавляя в себе непрошеную грусть по каким-то несбывшимся надеждам. И ни одного вопроса о том, чем может кончиться эта страшная война. Вернее, такой вопрос перед Мишей вставал, но звучал он в его сознании очень просто: как скоро Красная Армия постучится в железные ворота Берлина?

Иванюта и не заметил, когда свернули с грейдера на глухую проселочную дорогу, хотя грузовик прыгал на выбоинах, заваливался с боку на бок. И вдруг наступила тишина, прекратилась тряска. Затем раздался чей-то заспанный басище:

— Приехали!.. Выгружайсь!..

Миша увидел, что грузовики стоят на просеке сумрачного соснового леса, в глубине которого просматривались палатки, шалаши из веток, машины и автобусы.

Захватив вещмешки и шинельные скатки, все слезли с грузовиков и сгрудились в одном месте. В ожидании распоряжений расселись под кустами. Но сидеть долго не пришлось: прибежавший откуда-то розовощекий политрук с выцветшими бровями и белесыми глазами пригласил политработников следовать за ним.

...С прибывшими беседовал начальник отдела политпропаганды дивизии полковой комиссар Федулин — огромного роста мужичище, с добродушным, веселым лицом и хитроватым, кажется, проникающим насквозь взглядом. Он сидел за столом, если можно так назвать доски, приколоченные к вбитым в землю кольям, и задавал расположившимся на траве политработникам вопросы, иногда неожиданные.

— Что можно отнести к наиболее музыкальным инструментам? — со смешинкой в голосе спросил он у младшего политрука Левы Рейнгольда, прибывшего на должность начальника клуба.

У вскочившего на ноги Левы вначале вспыхнули уши, затем красные пятна проступили на щеках и шее.

— Я бы отнес скрипку, — с некоторой осторожностью ответил Лева.

— А еще?

— Флейту...

— А еще?

— Арфу... — Младший политрук Рейнгольд уже смотрел на полкового комиссара со страхом. — Опять не угадал?

— И не угадаешь, если не слышал и не видел. — Федулин раскатисто и добродушно засмеялся. — Так вот, милый мой, запомни, что тебе скажет старый кавалерист... К наиболее музыкальным инструментам относятся ноги бегущей лошади...

Все одобрительно засмеялись, а громче всех — прислушивавшийся со стороны щупленький, с курносым, каким-то птичьим лицом, младший лейтенант, видимо, как догадался Иванюта, радиотехник, ибо он стоял на коленях перед разобранным на расстеленной плащ-палатке радиоприемником и нянчил в руках лампы. Федулин кинул взгляд в сторону младшего лейтенанта и, заметив, что у него сбита на макушку фуражка, сдвинут набок поясной ремень и расстегнут ворот гимнастерки, задал вопрос уже Иванюте:

— А вот вопрос газетчику... Кто зафиксировал на бумаге истину, будто нарочитая небрежность в одежде истолковывается болезненно-тщеславными людьми как признак гениальности?

— Не знаю, товарищ полковой комиссар, — растерянно ответил Иванюта, приняв стойку «смирно» и не отрывая восторженных глаз от сверкающего на груди Федулина ордена, Ленина.

— Жаль, — вздохнул Федулин, искоса наблюдая, как поспешно приводил себя в порядок смутившийся младший лейтенант. — Я тоже позабыл... Тогда, может, ответишь, товарищ... — он заглянул в лежавшую перед ним бумагу, — младший политрук Иванюта, какая самая высокая награда Родины? Только не будем касаться звания Героя...

— Самая высокая награда — орден Ленина! — Иванюта даже улыбнулся такому простому вопросу. — Это символ идей, за которые мы боремся.

— Правильно, орден Ленина — самая высокая награда, — согласился Федулин. — А кроме ордена? Подумай...

Лицо Иванюты залилось краской, глаза непроизвольно заморгали.

— Если говорить не об орденах, — пришел ему на помощь полковой

комиссар, будто не заметив растерянности Миши, — то самая высокая награда Родины — это ее доверие, которое тебя возвеличивает в собственных глазах... Тебе, товарищ Иванюта, Родина доверила быть работником партийной печати. Надеюсь, ты понимаешь сам, какая это честь, и я поздравляю тебя с прибытием на свой боевой пост... А теперь скажи: под бомбежкой бывал?

— Ого, еще сколько!

— Какая самая страшная бомбежка?

На мгновение задумавшись, Миша весело выпалил:

— Та, которая еще не кончилась!

— Правильно! — серьезно ответил Федулин под одобрительный смешок сидевших на траве политруков.

Миша Иванюта шагал по лесу в ту сторону, где, как ему сказали, расположилась редакция дивизионной газеты «Красноармейский залп». Редакция оказалась совсем рядом с политотдельской палаткой, и первым, кого Миша здесь увидел, был раздетый до пояса и сидевший на подножке замаскированного автобуса мужчина солидного возраста (все, кто был старше Миши лет на пять-шесть, казались ему стариками). Склонившись к пристроенному на ветке куста зеркальцу, мужчина старательно намыливал кисточкой подбородок.

— Ко мне? — спросил он, заметив подошедшего младшего политрука.

— Мне редактора — политрука Казанского.

— Я редактор...

— Может, подождать? — смутился Миша.

— Валяй сейчас. С чем и откуда пришел?

— Младший политрук Иванюта!.. Прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы на должность инструктора-литератора!

— О, это дело! — Казанский посмотрел на Мишу заинтересованно-изучающе, одобрительно кивнул и взял в руки безопасную бритву. — Ну, рассказывай о себе... Кто ты, с чем тебя едят, что умеешь, что успел повидать?..

Торопливо и сбивчиво излагая свою куцую биографию, Миша видел, как из-под мыльной пены обнажалось под бритвой широкое, чуть взрыхленное оспой лицо Казанского. Кончив бриться, он взял под кустом котелок с водой и протянул его Мише:

— Слей, пожалуйста.

Казанский умывался с веселой яростью — ухая и ахая, визгливо покряхтывая. Затем тщательно вытерся серо-пепельным полотенцем, плеснул в лицо тройным одеколоном и, зарычав от жжения, стал одеваться. Потом бережно поднял с травы широкий ремень с двумя портупеями, полевой сумкой, кобурой с пистолетом и, набросив на плечи портупеи, прочно опоясал талию ремнем. А когда надел еще планшетку на тоненьком ремешке и расправил под ремнем складки гимнастерки, вдруг выпрямился — широкогрудый, коренастый, какой-то по-особому ладный, стройный.

— Политрук Казанский... — И протянул Мише руку. — Данила Степанович... Будем на «ты»... Согласен?

— Согласен, — смущенно улыбнулся Миша и поспешно пожал протянутую руку: редактор ему явно нравился.

— Кроме нас с тобой, в редакции — никого, — продолжил разговор Казанский. — Есть еще два наборщика и шофер. Все остальные полегли в окружении. И автобус с печатной машиной остался в Немане.

— А как же выпускать газету?

— А никак... Не выходит пока газета. Завтра утром уезжаю в ближайшие райцентры искать печатную машину. Постараюсь и печатника найти.

В это время по лесу передали команду:

— Командирам и политработникам — на построение-е!..

— На построение-е!.. — вторили часовые у землянок.

Пока на краю просеки собирался для построения штабной народ, в палатке подполковника Дуйсенбиева шло совещание. Только что поступила выписка из приказа командующего фронтом. В ней говорилось:

«Подполковника Рукатова Алексея Алексеевича, составившего ложные сведения, которые порочат действия в приграничных боях командования одного из соединений, понизить в воинском звании на одну ступень. Предупредить майора Рукатова, что впредь подобные его действия будут расценены как должностное преступление... Приказ объявить перед строем командного и начальствующего состава управления дивизии».

В палатке кроме начальника штаба Дуйсенбиева присутствовали полковые комиссары Жилов и Федулин. Дуйсенбиеву было интересно узнать, что конкретно натворил прибывший к ним на днях начальник артиллерии Рукатов, да и как начальник штаба он обязан был без промедления объявить приказ. Но сейчас была дорога каждая минута: до начала наступления дивизии оставались считанные часы, а у штабистов — дел по горло. Не до построения. Поэтому Дуйсенбиев предложил вызвать подполковника Рукатова, прочитать ему приказ и снять по шпале из петлиц, а потом уже объявить приказ по управлению дивизии.

Неожиданно на помощь начальнику штаба пришел полковой комиссар Федулин. Вопросительно взглянув на молча курившего Жилова, Федулин сказал:

— Я полагаю, что ничего с приказом не случится, если полежит он без движения день-другой. Нельзя так оглоушивать начальника артиллерии перед самым наступлением.

— Золотые слова! — оживился подполковник Дуйсенбиев. — Рукатову мозгой надо сейчас шевелить. Дивизионы артполка связи между собой не имеют. Нет провода...

— Приказы издаются для того, чтобы их выполняли, — холодно проговорил Жилов. — К тому же Рукатову надо делом искупить свою вину, значит, он должен знать о том, что строго наказан и что будет держать ответ еще перед парторганизацией.

— Ты, товарищ Жилов, имеешь право приказать, — с легкой усмешкой ответил ему Федулин. — Мы перед тобой, как говорится, в положении «чего изволите». Но я все-таки хочу высказаться до конца.

— Да уж как водится. — Жилов тоже усмехнулся. — Ты не промолчишь.

— Ну так слушай.— Полное лицо Федулина сделалось суровым.— Если говорить откровенно, то контрудар, в котором примет участие наша дивизия, — это одна из попыток затормозить наступление немцев. Так?

— Может, так, а может, и нет. — Жилов тоже помрачнел, глаза его стали колючими.— Со мной командующий фронтом не советовался. Я знаю задачу нашей сводной оперативной группы: продвинуться в глубину занятой врагом территории на сто километров и совместно с сорок четвертым и вторым стрелковыми корпусами охватить с тыла пятьдесят седьмой моторизованный корпус немцев. Если мы эту задачу решим, само собой разумеется, что наступление противника затормозится.

— Ну а я о чем толкую? — Федулин смотрел на Жилова с укором и, кажется, колебался, стоит ли говорить дальше. Но все-таки продолжил:—

Я посылаю всех политотдельцев в батальоны обеспечивать атаку. И сам тоже пойду. Если удастся прорыв, штаб дивизии не останется на месте. А немцы, разумеется, будут контратаковать и бомбить... Контратаковать под основание прорыва. Так что и штабу несдобровать.

— Давай покороче,— спокойно перебил Федулина Жилов.— Что ты предлагаешь?

— Я бы попридержал приказ о Рукатове до конца решения задачи.

— Вот как?.. А знаешь ли ты, что если б случайно подлость Рукатова не была разоблачена... Именно подлость! Мерзкая, гнусная!.. Если б не поймали его за руку, то генерал Чумаков пошел бы под расстрел! А может, и еще кто-нибудь с ним... Тебе это ясно? Фамилия Чумакова уже фигурировала в проекте телеграммы товарищу Сталину — в числе предающихся суду военного трибунала!..

— Вопрос ясен! — подытожил спор подполковник Дуйсенбиев. — Идемте на построение. Я зачитаю приказ.

— Учитывая напряженность момента, не надо прерывать работу штаба, — приказным тоном сказал полковой комиссар Жилов. — А политотдел пусть строится. Рукатова же следовало бы вызвать сюда...

Дуйсенбиев вышел из палатки, чтобы отменить построение комсостава и вызвать Рукатова. Федулин, вытерев платком вспотевшую шею, сокрушенно заметил:

— Дела-а... Вот тебе и Рукатов! А на меня произвел впечатление думающего человека. Академию закончил.

— При подлой душе ученость хуже невежества, — с раздражением ответил Жилов.

В это время возвратился Дуйсенбиев, а вскоре следом за ним прибежал запыхавшийся Рукатов. Увидев в палатке Жилова, он побледнел, а глаза его сделались затравленными до бессмысленности. Доложил изменившимся голосом:

— Подполковник Рукатов прибыл по вашему приказанию!

— Почему вы думаете, что именно по моему? — не пряча иронии, спросил Жилов. — Откуда вам известно, что я тут старший по должности?

— Я сегодня узнал о сформировании сводной группы генерала Чумакова. А вы... Я вас видел в Могилеве. — Рукатов стоял перед Жиловым с застывшим на лице ожиданием.

— А Чумакова вы в Могилеве разве не видели? — притворно изумился Жилов.

— К сожалению, нет. Не пришлось.

— А если б увидели? У вас были к нему вопросы?

— Да, были некоторые вопросы... И мог сказать ему о его семье... Я видел Ольгу Васильевну и Ирину перед отъездом на фронт.

— Где видели?! — Жилов старался не показать вспыхнувшего в нем волнения: он знал, что генерал Чумаков не ведает, где его жена и дочь, и мучительно страдает от этого.

— В Москве, на квартире покойного профессора Романова. Они переселились из Ленинграда... Очень переживают: кто-то пустил в Наркомате обороны слух, что генерал Чумаков сдался немцам в плен.

— И они поверили?!

— Конечно нет! Я им всячески доказывал, что ничего подобного быть не может.

— А как же тогда вы могли написать о Федоре Ксенофонтовиче такую чудовищную ложь?! — Жилов не хотел задавать Рукатову этого вопроса, понимая, что никакой ответ не удовлетворит его, однако не удержался: все-таки хотелось увидеть, как поведет себя Рукатов, припертый к стенке.

Сверкавшие волнением глаза Рукатова сделались больше, а холеное лицо приобрело землистый оттенок.

— Я писал то, что мне говорили... — Он смотрел на Жилова каменно-холодным взглядом, будто готовясь к смертному поединку. — А за выводы я не отвечаю.

— Ознакомьте его с приказом! — сурово сказал Жилов подполковнику Дуйсенбиеву, чувствуя, что задыхается от негодования. Затем обратился к Федулину: — Пойдем, поговорим теперь с людьми...

— ...Надо так поработать в ротах, чтобы каждый красноармеец и сержант не только хорошо знал боевую задачу, а чтобы душа в нем кричала от ненависти к захватчикам, от желания победить! — с молодой запальчивостью говорил, обращаясь к стоявшим в строю работникам политотдела дивизии, батальонный комиссар — щуплый, большеглазый, с бледным лицом. — Проверьте, чтоб у всех была листовка с речью товарища Сталина. И не забывайте: идейная закалка бойцов рождает в бою молодцов! Нет более крепкой брони, чем вера!..

Батальонный комиссар привычным жестом достал из кармана бриджей серебряную луковицу старинных часов, взглянул на них, затем нетерпеливо посмотрел в лес, где виднелась палатка начальника штаба.

Воспользовавшись паузой, Миша Иванюта шепотом спросил у стоявшего рядом с ним Казанского:

— А кто этот батальонный?

— Редкоребров — заместитель начальника политотдела, — не поворачивая головы, тихо ответил редактор. — Мешок с цитатами.

— Он и без цитат умница, — вмешался в разговор сосед Иванюты слева — белобрысый политрук, который первым встретил сегодня пополнение политработников.

— Не спорю. Но почему в холостяках ходит?.. Не знаешь? — Казанский засмеялся. — А потому, что объяснялся девкам в любви цитатами и пословицами.

— Вам бы, политрук Казанский, знание их тоже не повредило! — заметил Редкоребров, и строй отозвался смехом. А батальонный комиссар, оборвав смех суровым взглядом, назидательно изрек: — Пословицы — это плоды опытности всех народов и здравый смысл всех веков, переложенный в формулы.

Казанский не нашелся, что сказать, а с правого фланга кто-то громко спросил:

— Откуда цитата?

— Это мудрость, которой кое у кого не хватает. — Редкоребров, кинув на редактора газеты насмешливый взгляд, объявил: — А политрук Казанский пойдет в батальон обеспечивать атаку вместе со мной.

— Я, к сожалению, уже имею задание! — с напускным огорчением ответил Казанский.

— Выполняют последнее, — спокойно напомнил ему батальонный комиссар. Однако на всякий случай поинтересовался: — Чье и какое задание?

— Начальник политотдела приказал достать печатную машину, — с чувством неуязвимости ответил Казанский.

— А-а... Ну ладно, прибережем вас на будущее. — Редкоребров достал из планшетки лист бумаги, развернул его и объявил: — Все, чьи фамилии зачитаю, немедленно отправляются в батальоны. Задача — личным примером обеспечить успех атаки.

Предельная ясность и категоричность приказа отозвалась в груди Миши Иванюты сосущим холодком: его фамилия тоже была названа.

Вот тебе и газетная работа!.. Опять атаки! Миша Иванюта слишком хорошо знал, что такое атака. Позади у него одиннадцать атак. Одиннадцать — и не меньше. Тут уж со счета не собьешься, ибо одно дело похвалиться перед товарищами, как ты умеешь с длинным выпадом бросать вперед по левой руке винтовку со штыком, а другое — атаковать в цепи, а тем более рядом с незнакомыми тебе бойцами, когда не приноровились друг к другу, когда ты не внушил своим соседям, что обязательно проложишь штыком дорогу себе и им, если только они защитят тебя от выстрелов в упор. Ведь в штыковой, если говорить правду, схватываются лишь те, которые не успели перестрелять друг друга при сближении... Да, каждая атака — это судорожные объятия смерти, из которых надо не только вырваться напряжением своих сил и своей сноровкой, но прежде победить в себе страх и ощущение, что именно в тебя летят все пули, а самое главное — сблизиться невредимым, удариться цепью о цепь и перехитрить всех, кто кинется на тебя...

Уточнив по списку, кто в какой полк направляется, и сообщив, что у секретаря политотдела надо получить под расписку топографические карты и у него же узнать местоположение командных пунктов, батальонный комиссар Редкоребров посмотрел в глубину леса, где как раз замаячили фигуры полковых комиссаров Жилова и Федулина.

Появление Жилова настолько удивило младшего политрука Иванюту, что он, механически выполнив команду Редкореброва «Смирно», даже не услышал слов его рапорта. Одно было в голове Миши: как и зачем здесь оказался Жилов, с которым он всего лишь вчера вечером простился в лесу юго-восточнее Могилева? Может, за ним приехал? Ведь полковой комиссар однажды предлагал ему стать инструктором по информации... А что?.. И никаких тебе батальонов и атак.

Но полковой комиссар Жилов будто и не узнавал Иванюту, хотя, выступая перед строем политработников, не раз останавливал взгляд на его недоуменно улыбающемся лице. Из слов Жилова Миша наконец понял, что их дивизия оказалась в подчинении генерала Чумакова, что Западный фронт на нескольких направлениях наносит по врагу контрудары и что это будет лучшим их откликом на историческую речь товарища Сталина... Но почему Жилов не узнает его, почему так суров и тверд взгляд полкового комиссара? Тревога все больше теснила грудь Миши, и он стал мысленно вглядываться в не столь далекие дни, — может, провинился чем-нибудь?

И вдруг — как неожиданный выстрел над головой.

— Младший политрук Иванюта, выйдите из строя! — приказал Жилов, когда закончил речь.

Иванюта не шелохнулся, полагая, что с ним происходит что-то странное. Но его подтолкнул политрук Казанский, и он понял, что не ослышался.

«За что?!» — обожгла Мишу мысль. Он вышел вперед и, сделав поворот кругом, стал лицом к строю.

— Товарищи, — послышался сзади него совсем не строгий голос полкового комиссара Жилова. — Я пользуюсь случаем и хочу сказать, что к вам направлен на работу в редакцию младший политрук Иванюта... Вот он перед вами. В окружении Михаил показал себя молодцом... В числе других отличившихся из нашей группы младший политрук Иванюта представлен к боевому ордену...

Мише почудилось, будто земля, на которой он стоит, пытается поменяться местом с небом: лес, просека и двухшеренговый строй на просеке качнулись из стороны в сторону, и от этого у него перед глазами заплясали лучисто-зеленые звезды.

Жилов между тем продолжал:

— Сейчас такое время, что награды не скоро находят героев, и я от лица службы пока объявляю младшему политруку Иванюте благодарность...

— Служу Советскому Союзу! — выпалил Миша изменившимся от волнения голосом, и от этих его слов лес и просека перестали качаться.

«Только в батальон, в роту, в атаку!..» — будто крикнул кто-то внутри Миши, и он почувствовал, как его сердце наливается боевым восторгом.

Когда строй был распущен и все заторопились получить карты, Казанский окликнул Иванюту:

— Михайло, обожди!

— Мне за картой надо.

— Успеешь... Я вот что хотел. — Казанский будто чувствовал какую-то неловкость перед Мишей. — Не забывай там, что ты журналист. Держи наготове блокнот. Вернусь с печатной машиной, и никаких больше для тебя атак без особой нужды. Сразу же начнем делать газету.

— Все ясно. — Миша боялся отстать от политотдельцев. — Будет тебе материал. Может, и сочиню там что-нибудь.

— Ты, главное, уцелей, — грустно посоветовал Казанский.

— Да уж постараюсь.

— В настоящих атаках небось не бывал?

— Не бывал, так побуду! — В глазах Миши запрыгали озорные чертики.

— Это тебе не на танцы бегать.

— А ты ходил в атаки? — поинтересовался Миша.

— Если б не ходил, не стал бы тебя поучать.

— Ну, тогда поучай.

— Ты беги за картой, а если останется время, я тебе кое-что подскажу. А то одно дело — штурмовая полоса в училище, а другое — когда на тебя летит тысяча чертей с налитыми кровью глазами.

— Хорошо, я сейчас, — пообещал Миша, но обещания не выполнил: возле палатки политотдела уже стояли наготове машины.

## 22

В дни первой декады июля немецкие войска группы армий «Центр», усиливаясь за счет резервов и ведя в ходе наступления перегруппировку, яростно атаковали советские части на рубежах Западная Двина, Днепр и Березина. Главные удары они наносили по предмостным укреплениям в районах Могилева, Быхова, Рогачева, Жлобина и западнее Витебска. Боевые порядки немецких дивизий приобрели устойчивую форму для наступательных действий; броневые сгустки их ударных сил с естественной закономерностью тяготели к тем местам, где было удобно форсировать под прикрытием пикировщиков реки, где более проходимая местность и имелись дороги для развития оперативного успеха с меньшим для себя уроном. Гитлеровский генералитет не мог и предположить, что обороняющаяся сторона, понеся значительно бо́льшие потери, чем германские войска, способна перейти в наступление. Более того, германское верховное командование в эти дни было уверено, как гласил один из документов, датированный 4 июля, что «на фронте группы армий «Центр» возможно обеспечить продвижение танковых частей вплоть до Москвы, а пехоты — за Западную Двину и Днепр. На фронте группы армий «Север» можно обеспечить продвижение танковых частей до Ленинграда и пехотных соединений до рубежа Великие Луки, Дно, Псков, Тарту».

Между тем Военный совет Западного фронта поставил перед своими войсками задачу: прочно удерживая рубежи Западная Двина, Днепр, с утра 6 июля нанести контрудары на лепельском, борисовском и бобруйском направлениях. Главная задача возлагалась на 7-й механизированный корпус генерала Виноградова и на 5-й механизированный корпус генерала Алексеенко, которые, располагая к началу наступления в общей сложности 700 танками, должны были из района юго-западнее Витебска нанести контрудар на глубину 140 километров в направлении Сенно и Лепель и уничтожить лепельскую группировку противника.

На полсуток раньше, в 18 часов 5 июля, сковывающий удар из района юго-западнее Орши в направлении на Борисов наносили два стрелковых корпуса и сводная оперативная группа генерал-майора Чумакова.

...Когда части сводной группы вышли на исходный рубеж, заняв под прикрытием дымовых снарядов или маскируясь кустами и лесом траншеи двух изнемогавших в оборонительных боях наших дивизий, генерал Чумаков прибыл на свой передовой командный пункт. КП располагался на поросшей карликовым осинником высоте, ничем не выделявшейся среди других таких же высот и высоток, которые будто крупным зеленым пунктиром продолжили собой изогнутый мыс леса, похожий на гигантский рог. Этот рог и опередившие его островки высот полукружием вонзались в белесую ширь хлебов. За текучим маревом над заливами ржи и пшеницы курчавилась зелень, а за ней угадывалась речка (там таилась наша оборонительная линия); по ту сторону речки — заматерелый кустарник с рыжими плешинами песчаных полян, с оврагами и взгорками. Он поглотил пространство до самой кромки дальнего угрюмого леса и копил в своей всхолмленности неприятельские силы.

Оставив машину в овраге перед высотой, где стояли забросанные ветками другие машины, генерал Чумаков в окружении нескольких работников оперативного и разведотделений стал подниматься по склону высоты, определяя опытным взглядом, как разместились и замаскировались вспомогательные службы. Вскоре они вступили в ход сообщения, который вел на командно-наблюдательный пункт мимо ответвлений к блиндажам начальников родов войск и служб. Здесь, на НП, Федор Ксенофонтович увидел полковника Карпухина; начальник штаба что-то строго втолковывал вытянувшемуся перед ним майору — начальнику связи.

— Все успели? — спросил у Карпухина генерал и посмотрел на широкую амбразуру, сквозь которую было видно, кажется, полсвета.

— Маловат резерв связи, — пожаловался Карпухин, разрешив майору идти заниматься своим делом, а затем стал знакомить Федора Ксенофонтовича с уточнениями в плановой таблице предстоящего боя, утвержденной им после отдачи командирам частей приказа на наступление.

До начала массированного артиллерийского удара по разведанным целям и расположению переднего края врага оставалось чуть меньше часа. Вслед за огневым налетом ринутся в атаку танки и мотопехота. Несколько десятков Т-34 должны будут осуществить прорыв, а танки старого образца — развивать наступление, имея впереди авангардную группу тоже из тридцатьчетверок...

Федор Ксенофонтович обратил внимание, что вскочившие при его появлении телефонисты и радисты держали в руках то ли по газете-многотиражке, то ли по крупноформатной листовке. Присмотрелся: листовки с речью Сталина...

Речь Сталина генерал Чумаков прочитал еще вчера, и, кажется, до сих пор не улеглось в нем волнение, не отболели мысли, взвихренные словами, на весь мир сказанными там, в не очень далекой Москве. Федора Ксенофонтовича поразила уверенность Сталина, одновременно породив тревожный вопрос: знает ли Иосиф Виссарионович истинное положение

дел на фронтах? Прочитав еще несколько фраз, поверил: знает. Осведомленность Сталина, как показалось Чумакову, просквозила в том, что он несколько преуменьшал понесенные нами поражения и территориальные потери, хотя говорил о них с затаенной болью. И потрясла простота, глубина и логика суждений, будто выплавленных из вековой народной мудрости и выверенных опытом истории. Каким-то особым чутьем уловил, что убежденность в словах Сталина соседствовала с суровостью его потрясенных чувств. Но на первом плане была ясность задач, вытекавших из анализа положения дел, исторических аналогий и взвешенных возможностей социалистического государства. Объем же всего того гигантского, даже выходящего за рамки обороны страны, что предстояло совершить под руководством партии советскому народу и его Вооруженным Силам, кажется, невозможно было охватить разумом.

Чумаков еще мог зримо представить себе многомиллионное, многоликое войско — храброе, рвущееся в бой, но оно окажется в положении беспомощной толпы, если его усилия не будут объединены и направлены полководцем и штабом; чтобы это войско победило, полководец должен превосходить своего противника в таланте, а штаб — отличаться выучкой, практикой и работоспособностью. Как успеть привести в действие все необозримое множество ячеек, составляющих огромное государство, как найти самую главную стезю и направить по ней помыслы и устремления многих десятков миллионов людей, чтобы из их усилий и самоотречения, из их любви и ненависти образовалась могучая и стремительная река истории, способная в суровом беге своем пересилить встречное всепоглощающее течение и завращать лопасти войны в другую сторону?

Да, на пути истории нет-нет да и назревают такие опасно критические моменты, когда надо решительно и без промедления всколыхнуть классовую активность народа, чтобы он, народ, до предела открыл свои силы и начал творить невозможное, идя на немыслимые жертвы и тяжкие лишения. Такие взлеты человеческого духа столетиями светятся в отшумевшей жизни как памятники величию людских свершений.

Почувствовав резь в глазах, генерал Чумаков отстранился от окуляров стереотрубы, смотревшей линзами сквозь амбразуру командного наблюдательного пункта на уходящий день, и устало присел на дощатые нары. Под накатами просторного блиндажа было уже почти темно; а там, над кромкой дальнего леса, куда переместился бой, небо, проткнутое черным живым столбом дыма от пожара, полыхало сиянием заката.

— Спросите у «Сокола», что там горит, — сказал Федор Ксенофонтович в темный угол, где перешептывались связисты и попискивала включенная рация.

Тут же послышался ломкий юношеский тенорок:

— «Сокол»!.. А, «Сокол»!.. Первый спрашивает, что там горит! Слышишь?.. Он, оказывается, слышит... Так отвечай, холера тебе в бок!

В это время кто-то включил аккумуляторную лампу, предварительно завесив плащ-палатками амбразуру и ведший в ход сообщения дверной проем, и весь мир сузился до размеров этого блиндажа.

— Товарищ генерал, «Сокол» просит вас к аппарату, — доложил связист.

Федор Ксенофонтович взял трубку и услышал подавленный голос командира танковой бригады:

— Товарищ первый, у нас беда. «Мессер» поджег две цистерны с горючим!..

— Ваше решение? — спокойно спросил Чумаков, чувствуя, как похолодела рука, державшая трубку. — Чем будете заправлять танки?

— Прошу вашей помощи! — ответил командир бригады.

— Это не решение.

— Другого выхода у меня нет.

— Ищите выход! Пошлите вперед разведку со специальным заданием! Приказываю добыть горючее у немцев.

Прошло всего лишь четыре часа, как начался бой. Внезапный массированный налет из тяжелых и средних артиллерийских систем по изготовившимся к наступлению немецким войскам, групповой удар наших бомбардировщиков по скоплениям механизированных частей неприятеля, а затем стремительная атака танков и пехоты — все это оказалось для немцев столь неожиданным и невероятным, что они, привыкшие драться только с обороняющимся противником, начали в панике отступать.

Генерал Чумаков хорошо понимал, что паника в боевых порядках немцев откликнулась смятением и в их штабах; там сейчас сумасшедшно определяют силы и замысел русских, пытаются затормозить отступление своих частей и, наверное, подтягивают резервы. Однако ночью немцам вряд ли удастся ввести в бой свежие силы из-за неясности обстановки. А эту «неясность» Федор Ксенофонтович предусмотрел в своем замысле и боевом приказе, нацелив танковую бригаду, наступавшую в полосе дивизии полковника Гулыги, двумя клиньями: один — вдоль дороги, ведущей в сторону Борисова, второй — по правому берегу притока Березины, петляющего в том же направлении. А между танковыми клиньями наступало без локтевой связи несколько ударных групп, пробиваясь вперед по лесным массивам и торфяникам. Артиллерийская же бригада после артподготовки и успешной атаки танков и мотопехоты перекатами следовала по обе стороны дороги с небольшим удалением от осевой линии: если позволяла местность — рассредоточивалась в глубину. С промежуточных огневых позиций дивизионы вели стрельбу таким образом, чтобы обеспечить продвижение друг друга вперед и не оставлять без поддержки наступающие части, пользуясь целеуказаниями, которые сообщались с передовых наблюдательных пунктов и КП общевойсковых командиров.

Вслед за наступающими полками двигался в боевой готовности резерв генерала Чумакова — танковый батальон, два артиллерийских дивизиона и пулеметная рота.

Федор Ксенофонтович знал, что после ночи грядет тяжкий день, за которым разверзнется неизвестность, знал, что его сводное соединение участвует во вспомогательном ударе, а основной будет нанесен двумя корпусами завтра на рассвете северо-западнее Орши. Но и те два корпуса будут наступать с ограниченными целями, без надежды, что в случае успеха их наступление поддержат другие армии. Не поддержат... Главные резервы только подтягиваются. А враг остервенело рвется на восток, не считаясь с потерями. Из всего следовало: драться придется до полного изнеможения — сколько хватит сил, а потом... Трудно сказать, как все сложится потом, ибо на войне нет ничего каверзнее, чем выход из боя, когда за твоей спиной вражеские танки, а над головой висят самолеты противника.

При всех грозных, томивших сердце тревогах где-то в душе саднило и свое, далекое: сегодня Федор Ксенофонтович узнал от Жилова, что его семья переехала в Москву и очень обеспокоена дошедшим до нее странным и ужасным слухом, будто он попал к немцам в плен. И опять причастен к этой его тревоге все тот же Рукатов... Да, жизнь действительно чем-то похожа на полотно, сотканное из добротных и гнилых ниток, окрашенных в светлые и безрадостные тона... Вот и случилось так, что не Федор Ксенофонтович провожал в последний путь дорогих и близких ему людей — Нила Игнатовича и Софью Вениаминовну, а некий Рукатов... Ушел из жизни Нил Игнатович... Не услышать больше его поучений,

вроде такого: «Сердце живет в настоящем, ум — в будущем; у полководца же должны жить настоящим сразу и сердце, и ум, и весь комплекс чувств, которые связывают его с миром...» И еще досадовал Федор Ксенофонтович, казалось бы, из-за пустяка: не удержал он в памяти московского адреса покойных Романовых; знал улицу, остановку трамвая, отлично помнил дом, квартиру на третьем этаже, а вот как адресовать письмо — не знал. Записная же книжка его с адресами и телефонами осталась в брошенном под Гродно чемодане. Впрочем, сейчас все равно было не до писем...

Задумавшись, Федор Ксенофонтович не заметил, как под накатами его наблюдательного пункта появились полковник Карпухин и Владимир Глинский.

— Товарищ генерал, — услышал он рядом с собой голос Карпухина и точно вернулся из другого мира, — пора и вам двигаться. Промежуточный КП готов: майор Птицын прибыл с докладом. — Степан Степанович указал рукой на Глинского, гимнастерка которого заметно поблекла на плечах от солнца и потемнела на груди от пота. — Пока доберетесь туда, успеют дать связь.

— Хорошо, командуйте свертываться, — сказал Федор Ксенофонтович, встретившись с пронзительным, всегда что-то таящим взглядом майора Птицына, которого он после возвращения из госпиталя не примечал. Спросил с удивлением: — Вы опять с нами?

— Так точно! — ответил майор.

— Майор Птицын возглавляет саперный наряд при штабе, — пояснил Карпухин. — Но недоволен, что используем его не по назначению.

— Я минер, подрывник, дорожник... — вставил Глинский.

— Майор предлагает сколотить группу из добровольцев и поручить ему захватить мост через Березину в Борисове, — доложил Карпухин с интонацией недоумения.

— К Борисову еще надо пробиться, — бесстрастно и хмуро ответил Федор Ксенофонтович, полагая в душе, что вообще вместо этого контрудара надо было зарываться в землю и изматывать немцев в упорных оборонительных боях. — Занимайтесь, майор, чем вам поручено...

— Есть заниматься, чем поручено, — поблекшим голосом ответил Глинский.

## 23

На очередном командном наблюдательном пункте перед утром, когда генерал Чумаков, укутавшись шинелью, забылся в коротком сне, его подняли к телефону. Командир танковой бригады радостно докладывал, что в деревеньке Петровичи, после того как там побывали наши разведчики, танкистам с десантом на броне удалось захватить склад горючего и боеприпасов. Командир бригады докладывал уже из Петровичей, куда вслед за танкистами пробилась мотопехота. Тут же полковник сообщил тревожную весть: захваченный в плен немецкий фельдфебель показал, что прибыл сюда из-под Минска только вчера и его часть принадлежит 47-му моторизованному корпусу. Документы убитых немцев подтверждают появление свежего корпуса.

Со столь серьезной новостью надо было считаться, и о ней прежде всего должен знать генерал-лейтенант Ташутин. Но телефонная связь со штабом армии ночью нарушилась, и ее пытаются наладить, а имеющиеся рации РБ такую дальность не «пробивают».

С восходом солнца перед дивизией полковника Гулыги вдруг будто началось извержение десятков вулканов — заговорила немецкая артиллерия, ударили минометы. Артиллерийская подготовка была слышна и на

командном пункте, который располагался теперь на опушке мрачного елового леса, уже не в блиндажах, а в наспех вырытых окопах и в палатках. В отделениях штаба зазуммерили телефоны, ожила рация — нижестоящие штабы докладывали, что немцы изготовились к контратаке.

В палатке Федора Ксенофонтовича, стоявшей в глубине леса недалеко от опушки, собралась верхушка штаба: полковник Карпухин, старший лейтенант Колодяжный, исполняющий обязанности начальника разведотделения, и начальник оперативного отделения майор Думбадзе, жгуче-черный, кипящий энергией грузин, умевший, как о нем говорили, видеть все сквозь землю на четыре метра. Обступив стол, на котором стоял телефонный аппарат и была развернута карта с нанесенной обстановкой, они пытливо, со смятенными мыслями смотрели на круто вогнувшуюся в сторону Борисова линию фронта, понимая, что, чем больше ее вогнут, чем дальше они и их левофланговые соседи продвинутся на северо-запад, тем глубже образуется мешок, в который они сами забираются по доброй воле, да еще с тяжелыми боями. Но только так можно было сковать крупные силы врага и разрушить его оперативные планы на ближайшие дни. А тут еще такая силища появилась у немцев — целый механизированный корпус!..

— Нам надо быть ближе к войскам, — озабоченно сказал Чумаков. — Надо до предела сжать расстояние между штабами и передним краем. А то можем оказаться изолированными от своих войск.

Карпухин, Думбадзе и Колодяжный разделяли точку зрения генерала. Они предполагали, что гремящая сейчас артиллерийская подготовка немцев — элементарный маневр. После нее противник создаст видимость наступления с фронта, а сам в это время ударит где-то по основанию мешка, чтобы завязать его. Очень просто, как все на войне. Но с этой простотой непрерывно соседствуют опасность и неизвестность, случайность и потребность до предела напрягать физические и духовные силы. Все, вместе взятое, составляет для военачальника далеко не простую задачу.

Федор Ксенофонтович мысленно ставил себя в положение противника, чтобы решить: выгоднее ли немцам замкнуть кольцо и, приковав к нему немало своих сил, пытаться уничтожить или пленить окруженных, которые будут драться до последней крайности, или же враг предпочтет вытеснить прорвавшиеся в его расположение советские войска, чтобы затем разгромить их в преследовании. В этой войне гитлеровское командование чаще прибегало к первому варианту. Но местность не очень-то способствовала фланговому удару — в лесах и на торфяных болотах с танками не разгуляешься. Возможен и третий вариант: немцы попытаются бронированным кулаком рассечь ударом в лоб боевой строй наступающих и, выйдя им в тыл, замкнуть горловину. Во всех случаях надо было продолжать решение главной задачи: как можно дольше сковывать вражеские силы.

В это время заработала нарушенная ночью связь со штабом армии. Только намерился Чумаков вызвать генерал-лейтенанта Ташутина, как на столе зазуммерил телефон: командарм давал встречный вызов. Федор Ксенофонтович начал было докладывать обстановку, но Ташутин резко перебил его и с тревогой сказал то, что Чумаков собирался сказать ему: о появлении здесь у немцев 47-го моторизованного корпуса. Потом командарм озабоченно сообщил последние данные авиационной разведки. Как и ожидал Чумаков, немцы нацеливают удар по основанию образовавшейся дуги справа, использовав широкую просеку с гатями, по которой проложена то ли высоковольтная линия, то ли трасса будущей дороги. Просеки этой на наших картах нет, и о ней узнали только сейчас. Надо срочно принимать меры. Все, чем мог помочь командарм, — это

послать для удара по танковой колонне и, если не поздно, по гатям шестерку бомбардировщиков. Как далеко от дороги, вдоль которой наступает соединение Чумакова, находятся сейчас немецкие танки, трудно сказать, ибо неизвестна пропускная способность гатей...

На прощание командарм упрекнул Чумакова, что слабо ведет он перед собой разведку — не знает о появлении перед его фронтом целого мехкорпуса противника, — и на этом разговор закончил.

Положив на деревянную коробку телефонного аппарата трубку, Федор Ксенофонтович помолчал, а затем сухо произнес:

— Проморгала разведка просеку!.. И чуть было не проморгали появление перед нами нового корпуса. А он уже заходит в тыл нашим главным силам.

Старший лейтенант Колодяжный, отвечавший за разведку, вздохнул и, помрачнев, виновато потупился.

— Дорога́ каждая минута, — строго произнес Федор Ксенофонтович, кратко изложив суть создавшейся ситуации. И обратился к Колодяжному: — Берите, старший лейтенант, отделение мотоциклистов, рацию, взрывчатку, противотанковые мины и — молнией по дороге вперед. Найдите эту проклятую просеку. Она подходит к дороге справа. Свернете на просеку навстречу немецким танкам. Задача: определить их местонахождение и доложить мне по радио. Если танки не прошли еще по гатям, взорвать хоть одну и расставить мины...

Повторив приказание, Колодяжный тут же исчез из палатки. Генерал Чумаков не успел еще предупредить об опасности полковника Гулыгу, а три мотоциклиста уже помчались искать просеку. Вскоре, груженные взрывчаткой и минами, понеслись во главе с Колодяжным остальные мотоциклисты.

Полковник Гулыга оправдывался по телефону: ночью ни он, ни его разведчики не заметили просеку. Доложил, что контратаку немцев с фронта дивизия отражает пока успешно.

Предупредив Гулыгу об опасности удара по нему с тыла и приказав прочнее закрепляться на рубежах, которые дивизия занимает, генерал Чумаков связался с командиром артиллерийской бригады. Оказалось, что полковник Москалев знает о просеке. Находится она километрах в шести, в тылу второго рубежа — огневых позиций третьего дивизиона...

— Немедленно разведку в сторону просеки! — четко выговорил в телефонную трубку слова приказа генерал Чумаков. — Все дивизионы развернуть на сто восемьдесят градусов! Второй рубеж становится первым!.. Авиация противника есть над вами?

— Сейчас только отбомбились по тылам хозяйства Гулыги и по одному моему пункту боепитания, — ответил Москалев.

— Хорошо замаскируйтесь и приготовьтесь к стрельбе прямой наводкой по танкам. Одной батареей, если позволит время, все-таки приготовьтесь закупорить выход с просеки на дорогу... Я отбываю на ваш КП. Не примите два моих танка за противника... — Затем к Карпухину: — Вам, Степан Степанович, пока оставаться на месте и командовать левым клином. Соберите в кулак все, что можно, в случае опасности займите круговую оборону. Связь со мной — по радио и мотоциклистами. Непрерывно ведите разведку...

Потом повернулся к майору Думбадзе, который напряженно смотрел на озабоченного Чумакова, опасаясь, что он не пригласит его с собой на горячее дело:

— Вам, майор, в танк — и следом за мной.

— Есть, товарищ генерал! — Думбадзе, радостно сверкнув глазами, выбежал из палатки.

Следовавшему за наступающими полками своему резерву Федор

Ксенофонтович отдал распоряжение по рации уже из танка — сосредоточиться в районе огневых позиций артиллерийской бригады Москалева и ждать его приказа.

Тридцатьчетверка Чумакова, выбравшись на дорогу, выхлопнула облако черного дыма и, взревев мотором, помчалась вперед. Скорее бы эта проклятая просека! Федор Ксенофонтович, высунувшись из башни, часто прикладывался к биноклю. Сзади и чуть в стороне по кипящей закрайке пыльной полосы несся танк майора Думбадзе.

Справа и слева от дороги, близко и далеко — везде виднелись следы ночной баталии: сгоревшие немецкие и наши танки, разбитые орудия, тягачи и грузовики. И трупы, много трупов... Сколько оборвалось здесь человеческих судеб и сколько не родится людей по вине войны!..

Танк нырнул в овраг, и перед взором генерала Чумакова предстала картина, написанная огнем и железом, упавшим с неба: здесь на танковую колонну врага вчера навалились наши бомбардировщики...

И вот наконец вновь начался лес — то приближаясь к дороге, то удаляясь от нее.

Вдруг сзади танка раздался взрыв, а на броне, впереди башни и на стволе пушки, вспыхнули и потухли какие-то светлячки, оставив после себя почему-то синие продолговатые следы. Федор Ксенофонтович не успел сообразить, что же случилось, как над головой, заглушив шум танкового дизеля, взревел, выходя из пике, «мессершмитт»: он, оказывается, обстрелял танк из пушки и пулемета.

— В лес! — скомандовал Чумаков, нырнув в башню и захлопнув люк. — Думбадзе, следуйте за мной!

Когда в лесу, недалеко от дороги, пережидали, пока улетит «мессер», стрелок-радист услышал по включенной рации позывной Колодяжного. Федор Ксенофонтович торопливо надел наушники.

Колодяжный докладывал, что просеку нашел, но выход из нее уже плотно блокирован немецкими автоматчиками, видимо авиадесантниками или мотоциклистами, а танковая колонна противника где-то рядом, судя по тому, что наши бомбардировщики заходят на бомбометание прямо над дорогой. Колодяжный потерял один экипаж с мотоциклом, нарвавшийся на кинжальный огонь немцев.

Приказав Колодяжному впредь действовать по указаниям полковника Карпухина, Чумаков спросил у майора Думбадзе, рация которого была настроена на ту же волну, все ли ему ясно, и, получив утвердительный ответ, скомандовал экипажам двигаться дальше и не забывать, как он сам забыл, наблюдать за воздухом...

Вот и просека — таинственная и враждебная оттого, что знаешь о крадущемся по ней противнике и о засевших по ее сторонам на опушке леса немецких автоматчиках. Внешне — никаких признаков опасности. Даже не видно нашего мотоцикла с расстрелянным экипажем: успели припрятать... На ходу ударив по опушке картечью и густо пронзив ее пулеметным огнем, два танка понеслись дальше.

Вскоре впереди на дороге заметили красноармейца, поднявшего красный флажок. Это — маяк, выставленный полковником Москалевым. Не доезжая до него, Чумаков остановил тридцатьчетверку и, выбравшись из башни, придирчиво осмотрел в бинокль местность, стараясь обнаружить огневые артиллерийские позиции. Но увидел только зеленые клубы разбросанного вблизи и вдалеке кустарника; лес в этом месте размашисто, на несколько километров, отступил в стороны от дороги, будто природа заранее подготовила это кочковатое, в мелком кустарнике поле для смертного поединка.

Но как скоро окажутся здесь немецкие танки?

Один из военных теоретиков прошлого вычислил, что если бы кто

захотел двинуть сто тысяч человек одной сплошной колонной, то хвост такой колонны никогда не прибыл бы в один и тот же день в намеченный пункт вместе с ее головой. Что-то в этом роде приключилось и с танковой колонной врага: артиллеристы, изготовившиеся к бою, томились в напряженном ожидании ее довольно долго. Но времени зря не теряли: орудийные расчеты наращивали брустверы, углубляли ровики для номеров и снарядов, тщательнее натягивали маскировочные сети и подновляли срубленные ветки кустарника, если они увядали.

Наблюдательный пункт полковника Москалева, находившийся на дальней опушке леса, теперь оказался позади огневых позиций дивизионов. В кронах близко стоящих друг к другу трех высоких и толстых елей деревянный настил образовал площадку, прочно прикрепленную к стволам внушительными железными скобами. К площадке вела грубо сколоченная лестница с надежными перекладинами. Рядом с лестницей были вырыты щели-убежища, в одной из которых сидел у аппарата телефонист. В стороне стояли посеченный осколками газик полковника Москалева и два танка, на которых прибыли сюда генерал Чумаков и майор Думбадзе.

Москалев — щуплотелый блондин с серыми колючими глазами — будто был влит в свою полевую полковничью форму и от этого, особенно от каски на его небольшой голове, выглядел еще более щуплым. Вместе с Федором Ксенофонтовичем они сидели на настиле площадки наблюдательного пункта, у подножия треноги стереотрубы, и молча дымили папиросами. Кажется, все уже обговорено, все распоряжения отданы: батареи первого рубежа обороны приготовились бить по танкам в упор, с близкого расстояния, а со второго рубежа навесным огнем будут поражаться цели, следующие за танками. Однако всего не предусмотришь. Ведь куда проще было намертво запереть выход с просеки, но время упущено, да и не втянуть тогда крупные силы противника в длительный бой. Даже не стали готовить заградительный огонь по межлесной теснине, чтобы дать немцам возможность в походном строю нарваться на нашу противотанковую оборону и надолго увязнуть здесь.

Оба опытные солдаты, Чумаков и Москалев понимали, что предстоит решительная схватка, в которой артиллеристы все-таки имеют шансы продержаться долго, ибо перед их рубежами довольно ограничена свобода маневра для танков. А если б при этом еще было прикрытие с воздуха да погуще зенитных средств!.. Одна батарея МЗА [1] и батарея установок счетверенных пулеметов — это очень мало, хотя тоже кое-что значит...

Наблюдавший за дальней дорогой сквозь оптику стереотрубы сержант-разведчик осекшимся голосом вдруг произнес:

— Идут!.. — И уступил место возле треноги генералу.

Полковник Москалев тщательно тушил о настил папиросу, и эта неторопливость выдавала его волнение. Отшвырнув окурок, он прокашлялся, будто собирался сейчас петь, потрогал пальцами пуговички на вороте гимнастерки, поправил на голове каску и крикнул вниз телефонисту:

— Передать на огневые: к бою!

Федор Ксенофонтович, ощутив, как загорелась у него под повязкой раненая скула, встал к стереотрубе. Приникнув глазами к окулярам, опять увидел во много крат приближенное и плавно колеблющееся вверх и вниз в ритм покачивающихся под ветром елей широкое кочковатое поле, рассеченное дорогой, а на далеком краю его, у самого леса, вспухавшее облако пыли. Вскоре стали различимы передние танки, шедшие по дороге и по полю. Знакомая для генерала Чумакова картина: такой

[1] М З А — малокалиберная зенитная артиллерия.

же танковый клин, рассчитанный на рассечение обороняющихся порядков, артиллерия и танки его корпуса уже громили под Гродно на второй день войны. В голове клина — Т-4, средние танки с крепкой лобовой броней, их много, а за ними, уступом назад, шли Т-3 и Т-2. Казалось, что передние танки плыли по воздуху на фоне рыжего и будто живого, клубящегося облака. Федору Ксенофонтовичу даже почудилось, что он слышит их железный лязг и скрежет, и его спину под гимнастеркой словно обдало морозом. Чуть сильнее подул ветер, отклонив в сторону занавес из пыли, и с высоты елей стало видно растущую глубину колонны: вслед за танками, прикрываясь их броней и придерживаясь строя, густыми табунами катили мотоциклисты, а за ними выползала из межлесья густая, темная колонна машин с мотопехотой и тягачей, буксировавших минометы и пушки.

Танки приближались быстро, и казалось, от этого их становилось все больше. Теперь можно было определить, что идут они колонной в предбоевых порядках, уверенные в своей несокрушимости и в том, что им удался маневр — внезапный выход в тыл крупной группировки советских войск.

Немецкие танки подошли на такое расстояние, когда артиллерист может с первого снаряда попасть в танк, а может и промахнуться, может пробить броню, а может только высечь огонь из нее, но ответные снаряды из танков, экипажи которых заметят орудие, получит несомненно и без промедления. И Федор Ксенофонтович, уступая у стереотрубы место Москалеву, которому надо было управлять боем, подумал о том напряжении, которое испытывают затаившиеся на огневых позициях люди.

Кто-то с верхней перекладины лестницы протянул генералу массивный трофейный бинокль, и Чумаков, заметив, как дрожала рука, подававшая бинокль, скорее поднес его к глазам, словно боясь, что чья-нибудь дрожащая рука там, на первом рубеже, без его присмотра раньше времени выпустит снаряд и обнаружит позиции.

Бинокль в восемь раз приблизил все к Федору Ксенофонтовичу: он видел, что уже метров шестьсот отделяло головные машины от батарей... Пятьсот... Четыреста... Генерал почувствовал, что и его рука, державшая бинокль, дрогнула, и в этот миг перед батареями первого рубежа взвихрились юркие облачка дыма и пыли, потом донесся протяжный залп, в котором слились выстрелы пушек.

Фашисты, видимо, не предполагали, что уже в этом месте наткнутся на сопротивление, а тем паче на развернутый в их сторону оборонительный рубеж. Не успели они опомниться, как курчавившиеся впереди кусты опять сверкнули вспышками. Залпы в упор, когда снаряды летят без промаха, сразу же сделали свое дело: многие танки остановились — одни начали источать клубы черного жирного дыма, с двух почти одновременно слетели башни от взорвавшихся внутри боеприпасов, а третьи просто застыли на месте грудами мертвого железа. Но вот шоковое состояние прошло. Немецкие танкисты суматошно и наугад ударили из пушек и пулеметов, совершая при этом маневр, чтобы выйти из-под огня. Танки, шедшие сзади, растекались по сторонам, пытаясь найти безопасное направление для атаки, и тут же их начали расстреливать с близкого расстояния другие батареи.

С наблюдательного пункта полковника Москалева танковый клин в эти критические минуты напоминал растревоженный муравейник. Машины, казалось, бессмысленно, тесными группами перемещались по фронту, непрерывно паля из пушек и пулеметов и попадая под наши снаряды.

— Тридцать восемь... тридцать де... сорок! — считал подбитые и подожженные танки сержант-разведчик, стоявший рядом с генералом Чумаковым на площадке наблюдательного пункта.

Полковник Москалев выкрикнул телефонисту очередную команду, и тотчас же из-за первого рубежа ударил навесным огнем целый дивизион — по заметавшимся сзади танков мотоциклистам, по скоплениям мотопехоты, по машинам и тягачам на дороге. Страшен был этот ураган осколочно-фугасных гранат и шрапнели.

— Сорок шесть... сорок девять... — бесстрастно бормотал сержант, продолжая вести счет.

Генерал Чумаков видел, как там, далеко позади распадавшегося броневого треугольника, быстро начали растекаться по обе стороны от дороги машины и тягачи. Суетились черные фигурки боевых расчетов, развертывая пушки и минометы.

«Сейчас бы атаковать их танковым батальоном», — тоскливо подумал Федор Ксенофонтович, окидывая взглядом пространство вдоль правой опушки леса, по которому можно было бы провести танки. Но решиться на это трудно: впереди могут ждать более критические минуты.

Чумаков видел, что все больше замирает на месте подбитых и подожженных танков и атака хваленого немецкого клина захлебывается. Но многие машины сумели выйти из зоны огня, и сейчас они группировались для удара по левому флангу противотанкового рубежа, а некоторые, боясь подставить под снаряды борт, продолжали пятиться, лишь бы скорее оказаться на безопасном расстоянии.

На огневых позициях обнаруживших себя артиллерийских батарей впереди и сзади, справа и слева начали вздыматься взрывы немецких мин и снарядов.

— Майор Думбадзе! — крикнул вниз генерал Чумаков. — Передайте командиру танкового батальона, пусть точно обозначит свое расположение зеленой ракетой!

Через минуту увидел, как пронзила небо зеленая ракета, пущенная из кустарника, что находился впереди и правее второго рубежа противотанковой обороны.

— Вижу! — откликнулся на ракету Федор Ксенофонтович. — Батальону приготовиться к контратаке!

— Приготовиться к контратаке! — донеслась из танка приглушенная команда Думбадзе.

Генерал Чумаков, тронув за плечо Москалева, сказал:

— Ориентир правее второго рубежа — срез кустарника, примыкающего к лесу.

— Вижу! — ответил Москалев, крутанув на стереотрубе барабан горизонтальной наводки.

— Поставить в глубину дымовую завесу протяженностью две тысячи метров!

— Что вы задумали, товарищ генерал? — настороженно спросил Москалев, оторвавшись от стереотрубы.

— Прогуляюсь по их тылам.

— Не надо, Федор Ксенофонтович! — Москалев смотрел на генерала просительно. — Я сейчас прибавлю туда огня.

— Не распыляйтесь! Бейте по танкам!.. Как увидите, что я вышел во фланг их батарей, убирайте оттуда огонь.

— Ну пусть без вас танкисты ударят!

— Надо выйти во фланг безошибочно. Мне легче вывести, я сориентировался. — И Федор Ксенофонтович начал торопливо спускаться по лестнице. — Дымовые положите, когда я подойду к батальону! — уточнил он ранее отданное распоряжение.

Полковнику Москалеву ничего не оставалось, как выполнить приказ. Он видел, как танк Чумакова, выбравшись на опушку леса, взял вправо и полным ходом пошел к кустарнику, в котором сосредоточился танко-

вый батальон. А на площадке наблюдательного пункта появился вконец расстроенный майор Думбадзе.

— Что он делает?! Почему не послал меня?! — крикнул Думбадзе. — Почему я должен сидеть в танке и слушать позывные?! — Поток сердитых слов не иссякал. — Зачем генералу ходить в атаку? Кто нас выведет из этого мешка, если с ним что случится?! — Думбадзе подобрал на настиле оставленный Федором Ксенофонтовичем бинокль, посмотрел в него и умолк, пораженный открывшейся панорамой.

По команде Москалева снаряды легли безукоризненно ровной цепочкой почти до дальней кромки леса, и желто-бурый дым, подгоняемый ветерком, наискосок пополз стеной через поле боя. Прикрываясь завесой, два с половиной десятка наших танков, из них шесть тридцатьчетверок, стремительным броском вышли на уровень немецких батарей и, не видя их из-за дыма, все-таки точно сделали разворот налево: намеченные с высоты ориентиры не подвели генерала Чумакова.

В это время в небе появились «юнкерсы».

— Тридцать два бомбовоза, — сообщил сержант-разведчик, подсчитав количество самолетов. — Тридцать две тысячи килограммов бомб сейчас ахнет на нас!

Когда «юнкерсы» приблизились к полю боя, над расстроенными боевыми порядками немцев начали взлетать по две красных и одной зеленой ракете.

— Второму дивизиону! — поспешно передал команду телефонисту полковник Москалев. — Две красные, одна зеленая ракета — в зенит!

На огневых позициях сами успели сообразить, что к чему, и над первым рубежом без промедления взметнулись в небо ракеты.

«Юнкерсы» выстроились в огромную карусель и минут пять ходили над полем, пытаясь разобраться, где свои, а где чужие. Может, их сбил с толку танковый батальон, который повел в контратаку генерал Чумаков. После поворота влево, обогнав дымовую пелену, танки подошли вплотную к позициям немецких артиллеристов и минометчиков. Еще несколько мгновений, и под их гусеницами заскрежетало немецкое железо; из танков ударили в упор по гитлеровцам и их технике пушки и пулеметы...

А в это время наши зенитчики, сами того не желая, помогли сориентироваться «юнкерсам». Батарея МЗА, прикрывавшая первый рубеж, когда самолеты оказались над ней, часто закашляла, выпустив целые кассеты снарядов. В небе близ «юнкерсов» тут же начали густо вспыхивать темные облачка разрывов.

В ответ на такую дерзость ведущий бомбардировщик сорвался в крутое пике, нацеливая бомбовый удар на притихшую левофланговую батарею. За ним с воем устремлялся к земле каждый очередной «юнкерс» и, прежде чем выйти из пике, над самой землей ронял из-под брюха черные капли бомб...

Федор Ксенофонтович даже не подозревал, что сейчас над полем боя хозяйничают немецкие бомбардировщики. Выстроив батальон уступом влево, он стремительно вел его к дороге, уничтожая по пути все, что можно уничтожить гусеницами и пушечно-пулеметным огнем. Но располагавшиеся за дорогой немцы вовремя заметили опасность и быстро развернули пушки навстречу танкам. К тому же откуда-то взялось там несколько штурмовых орудий: батальону, в котором были и танки старого образца, работавшие на бензине, такая ситуация угрожала разгромом. Увидев это в окуляр прицела, генерал Чумаков послал два снаряда в ближайшую пушку и скомандовал батальону отходить под прикрытием тридцатьчетверок к лесу, а затем — под защиту своих артиллеристов. Но, кажется, было поздно. Около двух десятков немецких танков Т-4 и не-

сколько самодвижущихся пушек, отделившись от перестраивавшегося за дорогой боевого порядка, пошли на перехват батальону, надеясь на легкую победу.

Заметив опасность, Федор Ксенофонтович, сдерживая волнение, торопливо заговорил в микрофон:

— Думбадзе! Думбадзе! Дайте отсечный огонь! Дайте отсечный огонь!

Но Думбадзе почему-то не отвечал, и генералу Чумакову ничего не оставалось, как принять бой...

## 24

Павлову трудно было поверить, что все с ним происшедшее — это не видения мучительного, кошмарного сна, не жестокий горячечный бред. Вместе с тем где-то в глубине его естества, в потаенных уголках разума будто и раньше грезилось ему смутное ожидание пусть не столь трагического поворота своей судьбы, но все-таки чего-то неизбежно рокового. Может, это оттого, что в последние годы слишком уж гладок и восходящ был его путь, а в человеке нередко живет неосознанная тревога, если фортуна продолжительное время милостива и щедра к нему. Иногда, особенно по утрам, когда Павлов надевал гимнастерку и его взгляд схватывал в зеркале сверкающие ордена и Звезду Героя на груди, петлицы с пятью звездочками генерала армии на каждой и широкие золотые шевроны на рукавах, а услужливая мысль при этом напоминала, что он — командующий войсками крупнейшего округа, все в нем радостно вздрагивало от ощущения чего-то огромного и светлого, в груди делалось просторно и тепло... Но вдруг будто наваливалось летаргическое оцепенение будто тень падала на сердце, и где-то начинала брезжить холодная и трепетная, вне словесной плоти, мысль... И он уже догадывался о вещем значении этой еще не созревшей мысли. Тут же чувствовал, что в груди становилось тесно, а то огромное и светлое, мгновение назад наполнявшее его радостью, вдруг начинало то ли меркнуть, то ли куда-то падать, и необъятные прежде границы его праздничных чувств сжимались в холодное стальное кольцо...

Приступы подобной расслабленности Павлов впервые стал замечать еще в Москве, когда был начальником Автобронетанкового управления Красной Армии. Тогда уже понял, что звучат в нем тревожные струны от некоторой неуверенности в себе. И силой характера подавлял неуверенность. А кто знает, чего хочет, тот наполовину достигает желаемого — так думалось Павлову.

И он, казалось, достиг своего. С тех пор как начал командовать округом, никто не замечал в нем неуверенности, хотя сам он все-таки иногда оглядывался на свой пройденный путь с некоторой оторопью. А после того как встретился в приемной начальника Генштаба со своим давнишним академическим учителем, профессором и доктором военных наук генерал-майором Романовым Нилом Игнатовичем, тревога стала навещать его сердце все чаще...

Старенький профессор, когда Павлов зашел в приемную, суетливо поднялся с кресла, в котором полудремал, кого-то дожидаясь, поприветствовал его поклоном и, щуря под стеклами пенсне тусклые глаза, улыбнулся как-то вымученно-жалко. Павлов, подобно многим бывшим слушателям Академии имени Фрунзе, преклонялся перед профессором, виднейшим знатоком истории войн и военного искусства, и обрадованно устремился к нему, чтобы пожать руку, сказать душевное слово. И вдруг почувствовал необъяснимое смущение перед стариком и даже какую-то

виноватость. Павлову вспомнилось, что еще в двадцать пятом году, когда он, молоденький командир кавалерийского полка, не очень обремененный военными знаниями, был принят в академию и впервые оказался на лекции Нила Игнатовича Романова, старик уже тогда носил в петлицах по три ромба, что было равно нынешнему званию «генерал-лейтенант».

Нил Игнатович, словно догадавшись о причине смущения своего бывшего слушателя, с напускной бодрецой расправил узковатую грудь и заулыбался по-доброму, от чего его морщинистое лицо засветилось, стали шире жиденькие выцветшие усы, а глаза заискрились и повлажнели.

— А-а, здравствуй, золотой мой Дмитрий свет Григорьевич! — Профессор Романов протянул навстречу Павлову расставленные, словно для объятий, руки, но обменялись только рукопожатием.

— Рад вас видеть, уважаемый Нил Игнатович! — Павлов действительно был рад встрече с Романовым, хотя и побаивался его прямоты в разговоре. — Как ваше здоровье, профессор, как настроение?

— Ничего, слава богу, — совсем не по-военному ответил Нил Игнатович. — Хуже, чем было, но лучше, чем будет... Хе-хе... А ты шагнул!.. Таким округом командуешь! — Потом, присмотревшись к звездочкам в петлицах Павлова, ахнул от удивления: — Уже генерал армии?! Батюшка ты мой!

— А что делать, Нил Игнатович? — Павлов сдержанно засмеялся.

— Так это же прекрасно! — взволнованно заговорил старенький профессор и, взяв Павлова за рукав, потянул его в угол, к дальнему окну.— Это превосходно, когда вот таким молодым, образованным правительство не жалеет высоких чинов!

— Какой же я молодой? Сорок три года! — Павлов нахмурил высокий лоб, провел ладонью по бритой голове, а затем добавил: — А за спиной все-таки целых три войны, три короба смертей.

— Конечно, дорогой мой. — Романов притронулся к груди Павлова, на которой поблескивали под Золотой Звездой Героя три ордена Ленина и два ордена Красного Знамени.— Если исходить из того, что Фридрих Второй в двадцать восемь лет выиграл войну с Австрией, а Наполеон в тридцать шесть лет уже был великим полководцем, то ты, разумеется, обошел их возрастом. Но у них был и другой счет времени. Они, если исключить Наполеона, с четырех-пяти лет учились под присмотром высокообразованных наставников, а ты, я помню, на первом курсе академии никак не мог произнести имя Николло Макиавелли и со святой наивностью путал интуицию с коалицией. И как ты был трогательно-прекрасен в этой наивности!

— Но вы же сами учили, что в военном искусстве опыт дороже любой философской истины. — Павлов начал ощущать неловкость, вспоминая былое, однако старался не подать виду.

— Верно, дорогой Дмитрий Григорьевич, — опять заулыбался профессор Романов. — Если к этому прибавить, что философия и опыт поддерживают друг друга... Только я не об этом. О твоем звании... Очень плохо, когда высшие воинские звания приходят к одаренным, опытным полководцам лишь к старости. Ведь звание — это рычаг для подъема, сила для деятельности, это — уверенность в себе, в своих возможностях. Это — право для свершения великих дел и понимание высочайшей ответственности перед государством, это, наконец, крылья для полета... Не скрою, есть в высоких званиях и опасность, если человек слепо уверует, что вместе с очередной генеральской звездой в петлице у него засияла и новая звезда во лбу... Но за тебя, дорогой Дмитрий Григорьевич, я рад. Я знаю твою целенаправленность и твердость и не хочу думать, что ты... опередил самого себя... Ну, а если вдруг почувствуешь, что все-таки

в чем-то опередил... извини старика за искренность, только добра тебе желаю... если почувствуешь это, такое ведь иногда бывает с людьми, да и с тобой уже было, тогда очень проницательно всматривайся вперед, не живи сегодняшним днем и обязательно имей рядом деятельных и умных помощников... И выслушивай их до конца, прежде чем отважишься на что-то большое...

В это время генерала армии Павлова пригласили в кабинет начальника Генштаба, и он, чуть потускневший, сдержанно поблагодарив своего старого учителя за добрые советы, попрощался с ним.

И вот с тех пор слова профессора Романова нет-нет да и воскресали в памяти Павлова, вызывали вздох, а чаще раздражение, и тогда Дмитрий Григорьевич мысленно вступал с профессором в бранчливую полемику.

Павлов, разумеется, догадался, что имел в виду профессор Романов, напомнив ему, что он уже обгонял самого себя на стезе военной деятельности и что при этом у него не хватило дальновидности. И эта правда, которую хотелось забыть, задевала самолюбие. Профессор Романов, конечно, намекал на самую близкую причастность Павлова к имевшей место кутерьме вокруг корпусной организации танковых войск.

...Еще в 1932 году в Красной Армии, намного раньше, чем в других армиях, были сформированы первые механизированные корпуса. Через два года, когда количество наших танковых корпусов удвоилось, дальнейшее их формирование приостановили в надежде найти лучшую структуру организации бронетанковых войск. А летом тридцать девятого года, когда комкор Павлов был начальником Автобронетанкового управления Красной Армии, Главный Военный совет учредил весьма авторитетную комиссию, которой поручил заняться улучшением организационных форм разных видов Советских Вооруженных Сил с учетом характера современной войны и уровня развития техники и средств вооружения. Как и следовало ожидать, комиссия наиболее обстоятельно стала изучать проблемы использования танковых войск, а он, Павлов, всесторонне не осмыслив опыт боев в Испании, в которых принимал участие, стал вдруг доказывать, что корпусная организация танковых войск слишком громоздка, и, поддержанный председателем комиссии маршалом Куликом, предложил расформировать танковые корпуса...

Большинство членов комиссии, особенно Шапошников, Тимошенко, Мерецков, Щаденко, воспротивились этому предложению, основываясь на том, что боевые действия в Испании, развертывавшиеся в гористой местности и в населенных пунктах, не могут быть мерилом целесообразности применения крупных танковых соединений вообще.

Впрочем, Павлов особенно и не настаивал на своем предложении. Но, когда со временем были отмечены недочеты в действиях двух наших танковых корпусов при освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии (хотя эти недочеты в большей степени касались служб обеспечения), соображения Павлова о расформировании танковых корпусов всплыли вновь, уже непосредственно на Главном Военном совете, и 21 ноября 1939 года было принято решение вместо корпусов создавать отдельные моторизованные дивизии.

Когда дело было сделано и страсти улеглись, стали раздаваться тревожные голоса военных авторитетов, призывавшие пристальней вглядеться сквозь теоретическую призму стратегии в конкретную практику ведения войсками Германии боевых действий в Западной Европе. Даже для не весьма просвещенных людей стало ясно, что немцы решали задачи развития успеха в оперативной глубине главным образом соединениями и объединениями бронетанковых и механизированных войск. А тут еще в военных журналах появилось несколько дерзких статей генерал-майора Чумакова...

Плохо себя почувствовал тогда Павлов, хотя его никто не корил, ибо в конечном счете решение о судьбе танковых корпусов принимал не он лично.

А события развивались по законам постижения истины. В начале июня 1940 года в Наркомате обороны был обобщен опыт боевых действий на Западе, и Сталину было доложено единодушное мнение, что надо без промедления вновь приступать к формированию в Красной Армии механизированных корпусов. Сталин, упрекнув военных руководителей в скоропалительности прежних выводов, дал соответствующие распоряжения, а нарком обороны Тимошенко тут же утвердил план формирования девяти, а в начале 1941 года — еще двадцати механизированных корпусов. И на памятном декабрьском совещании того же 1940 года генерал Павлов в своем докладе «Использование механизированных соединений в современной наступательной операции и ввод механизированного корпуса в прорыв» уже, кажется, с легким сердцем говорил с трибуны:

«...Наши взгляды в отношении применения танков оказались наиболее правильными и нашли свое подтверждение в действиях немецких танковых соединений в Польше и на Западе. Немцы ничего не выдумали, они взяли все, что у нас было».

Вполне понятно, что профессор Романов, упрекнув Дмитрия Григорьевича за то прошлое, напомнил, что и в будущем может случиться всякое, если не хватит у него мудрости и его решения как крупного военачальника будут опережать предварительный глубинный анализ. Слова Нила Игнатовича не только уязвили Павлова. Было досадно, что прошлая и уже поправленная неосмотрительность все-таки живет в памяти военных верхов и бросает тень на его репутацию. Конечно же, потом каждое лыко в строку, раз так быстро вымахал до генерала армии да еще стал командующим одним из главнейших военных округов. Может, некоторые военные поэтому и помнят, что госпожа судьба обошлась с ним столь милостиво и щедро? Но ведь так было не всегда...

Родился Дмитрий Григорьевич Павлов в затерявшейся среди кологривских лесов деревне Вонюх. Рос там, как и все дети бедных крестьян, в трудах, жил мимолетными будничными радостями, сдал экстерном экзамены за четыре класса гимназии, а в 1914 году, семнадцатилетним, добровольно ушел на фронт. В июле 1916 года в боях на Стоходе был ранен и захвачен немцами в плен.

Только в начале 1919 года возвратился Дмитрий на родину. Истосковавшимися глазами посмотрел на жизнь земляков, вник с высоты уже немалого своего опыта в сущность происходящего и понял, где его место в этой бурно рождающейся новой жизни. Вскоре Павлов стал бойцом Красной Армии и членом партии большевиков.

Именно с этих пор он почувствовал себя дерзким творцом своей судьбы. Дома диву давались, получая от Дмитрия из армии краткие, но восторженные письма, а иногда и фотоснимки, на которых красовался молодой кавалерийский командир — то на коне рядом с бронепоездом в степях под Перекопом, то с товарищами на улице освобожденного от беляков Проскурова или Тарнополя. В начале же 1921 года прислал снимок в форме курсанта Омской высшей военной школы Сибири. Это была последняя фотография Дмитрия без знаков различия на петлицах, потому что вскоре он стал помощником командира кавалерийского полка, а еще со временем — на Туркестанском фронте — уже командиром полка.

Шли годы, меняя лик жизни и наполняя новыми чувствами души людей. Умерла в Дмитрии мальчишеская страсть фотографироваться в картинных позах. Да и письма все реже слал домой. Но земляки прочно уверовали в восходящую звезду Дмитрия, сына Григория Павлова. Издали следили, как уверенно шагал он по жизни. С почтением выговари-

вали магические слова «военная академия», в которой учился их земляк, потом прослышали, что вновь командует он кавалерийским полком. Действительно, Дмитрий Павлов после окончания Военной академии имени Фрунзе успешно командовал полком в боях на КВЖД, за что получил первый боевой орден. Затем на курсах при Военно-технической академии перековался на танкиста. А в 1936 году вести о нем растаяли... Зато в далекой Испании, в упорных боях за Сесенью и Мадрид, в рядах республиканской армии показывали чудеса храбрости танкисты под командованием «генерала де Пабло».

И если опыт боев в Испании не сослужил комкору Павлову доброй службы при решении летом 1939 года судьбы танковых корпусов Красной Армии, то уже в финскую войну этот опыт принес ему немалую пользу, когда Павлов командовал резервной группой Ставки.

И вот финская война позади... Дмитрий Григорьевич Павлов назначен командующим Западным Особым военным округом. Именно тогда он окончательно поверил в себя, в свои силы и будто избавился от ощущения пределов своих возможностей, что так часто мешает художникам и... полководцам. Казалось, никакие знамения ни неба, ни земли не могли теперь поколебать его уверенности в себе. Даже повел себя с окружающими строже и независимее, не очень заботясь о том, как о нем будут думать и судить.

И вдруг это деликатное предостережение Нила Игнатовича!.. Вначале Павлов с раздражением отмахнулся от него, но оно, как назойливая оса, возвращалось и навязчиво звенело, жужжало то в мозгу, вызывая злость, то где-то в сердце, рассыпая чуть уловимую тягость, то наплывало из сна... Несколько раз повторялся один и тот же сон: босиком он устало брел куда-то по утренней росе, и все его тело обжигающе пронизывали холодные иглы. Тревожно просыпался, и тут же, словно от удара электрическим током, приходили на память слова профессора Романова: «Не хочу думать, что ты опередил самого себя... Ну, а если вдруг почувствуешь, что все-таки в чем-то опередил...» Эти слова рождали мысли: «Да, высоко взлетел... Не оступиться бы! Слишком высоко... Ну и прекрасно!.. Если не я, так кто?.. Не на блюдечке же все это мне преподнесли...»

А где-то на самом дне души все-таки лежало что-то затененное, не озаренное мыслью, и когда ощущал это по гаснущему сердцу, начинал озабоченно размышлять над своей сложной повседневностью командующего войсками округа, над непостижимо многогранной работой штаба, над тем, чем занимались армии на всей глубине расположения их частей... Кажется, ничто не расходилось с планами боевой подготовки и директивами наркома. Все свои важнейшие решения, как и полагалось, согласовывал с Генштабом. И был деятелен, как никогда еще в жизни. Ничто также не омрачало его отношений с коллегами по Военному совету, штабу, с политработниками... Так в чем же дело?

Коль сомневаешься, значит, ищешь дорогу к истине. И однажды он словно прозрел. Это случилось после телефонного разговора с маршалом Куликом, заместителем наркома обороны. Кулик, подобно Павлову, бывший кавалерист; и, после того как Дмитрий Павлов стал генералом танковых войск, маршал иногда ворчливо напоминал ему о его кавалерийском первородстве. И вот когда Павлов ответил Кулику на какие-то вопросы о текущих делах, маршал как бы между прочим заметил: «Не забывай, казак, что округом командовать — не клинком махать». — «Вроде не забываю... Вы о чем, товарищ маршал?» — «А о том, что слишком истеричные разведсводки из твоего округа поступают». — «Мы фиксируем факты, товарищ маршал». — «Всегда поначалу фиксируют, а потом кто-нибудь возьмет да и пульнет по немецкому самолету... Смотри, казак, не сносить тебе головы, если дашь повод для военного конфликта».

Павлов стал размышлять над тем, что и нарком с постоянной строгостью всегда внушает — держаться в приграничных районах осмотрительно, да и Сталин не раз напоминал, что немецкая военщина жаждет воспользоваться любым поводом для развязывания войны против СССР. Разумеется, ничего нового для Павлова в этом не было. Он и сам не уставал твердить командармам, работникам штаба и политуправления о том, что немцы могут спровоцировать войну и наша задача — не поддаться на провокации. Но когда эту истину столь категорически сформулировал маршал Кулик и когда она в сознании Павлова легла рядом с предостерегающими словами профессора Романова, он вдруг уверовал, что только здесь его и может подстеречь опасность. Словно туман развеялся с души. Если до сих пор делал все, чтобы даже случайный выстрел не прозвучал на нашей стороне границы, то с этого момента накрепко завинтил гайки: в корне пресекал «немцебоязнь», пресекал «чрезмерные» опасения штабов войск прикрытия и любые их попытки противопоставлять что-нибудь явное приготовлениям гитлеровцев по ту сторону границы. И при этом глубоко верил, что, если Москва предупреждает так строго, значит, ей виднее, значит, Генштаб и Наркомат иностранных дел хорошо знают военно-политическую ситуацию и не прозевают в случае чего... В угрозу войны ему не хотелось верить и потому, что войска округа к ней были далеко не готовы, а он как командующий еще не сделал многого из возможного, что сделал бы, если б верил, что война все-таки грянет.

## 25

И вот, словно пришедшие из дурных снов, опасения и тревоги обернулись страшной явью. Этим утром в землянку, где Павлова содержали под стражей, вошел незнакомый ему старший батальонный комиссар. Возрастом он был заметно старше Дмитрия Григорьевича, склонный к полноте, с не очень густой, в дымчатой седине шевелюрой, темными нахмуренными бровями, бледным, тщательно выбритым лицом. Трудно было бы угадать характер этого человека с крепким ртом, если б не каштановые, в зеленых искорках, глаза, смотревшие с участливой внимательностью. В них светились повелевающий ум и твердость убеждений.

Хотя Павлов не отличался особым умением быстро и глубоко вникать в свойства человеческого характера, тем более если речь шла о человеке не столь высокого воинского звания и, видимо, положения, он, вглядевшись в лицо и глаза старшего батальонного комиссара и ощутив властную силу его ума, предположил, что разговор будет сложным. С каменным лицом выдержал его встречный изучающий взгляд, как бы давая понять, что всякое уже видел в жизни и что даже в этом блеклом одеянии, сидящий на жалкой пружинной койке, он не считает себя лишенным высоких званий и больших заслуг перед государством.

Старший батальонный комиссар, видимо угадав мысль Павлова, глубоко вздохнул, понимая нечто, недоступное Павлову в его нынешнем положении. И, подавляя в себе волнение, сказал:

— Вы требовали встречи с наркомом обороны...

— Я и сейчас требую, — с напряженным спокойствием ответил Павлов.

— Нарком не может оставить командный пункт фронта. Я представляю руководство следственной части...

— Ни на чьи вопросы, пока я не побеседую с маршалом Тимошенко, отвечать не буду!

В это время дверь землянки распахнулась, и в лучах электрической

лампочки сверкнул красной эмалью густой частокол ромбов в петлицах Мехлиса.

— Почему не будете отвечать?! — грозно спросил Мехлис, который, оказывается, слышал последнюю фразу Павлова. Он остановился посреди землянки и, скользнув взглядом по вытянувшемуся и отступившему в угол старшему батальонному комиссару, уставил на Павлова суровые глаза.

— Я требую, чтобы мне дали возможность встретиться с наркомом обороны. — Павлов так и остался сидеть на койке.

— Помимо того, что я — член Военного совета фронта, я — заместитель Председателя Совнаркома СССР!.. Этого вам мало?

Павлов некоторое время затравленно смотрел на Мехлиса, затем тихо спросил:

— В чем меня обвиняют?

— В предательстве! — резко бросил страшное слово Мехлис.

— Но это же абсурд!

— Факты — вещь упрямая! — Мехлис враждебно смотрел в окаменевшее, бледное лицо Павлова, почему-то убежденный, что изрекает истину.

— Кому же приказано меня судить? — с каким-то скрытым вызовом тихо спросил Павлов.

— Военной коллегии Верховного Суда СССР!

— Суд будет закрытым?

— Да, суд будет закрытым!

— Я требую, чтобы меня судили в присутствии наркома обороны и начальника Генерального штаба! Я все-таки генерал армии!

— Нарком и начальник Генштаба пытаются исправить последствия вашего предательства! Им не до вас!.. А что касается того, что вы бывший генерал армии, то надо помнить: истинное величие человека измеряется только обширностью сделанного им добра и принесенной Отечеству пользы... Так что не о чем с вами говорить, гражданин Павлов! Теперь слово за правосудием! — И Мехлис, повернувшись, стремительно вышел из землянки.

После ухода Мехлиса Павлов и старший батальонный комиссар несколько минут молчали, не глядя друг на друга, и это молчание будто сблизило их. Наконец Павлов тихо спросил:

— А вам что от меня надо?

Старший батальонный комиссар присел на табуретку к простому, желтого цвета столику, по другую сторону которого сидел Павлов, и достал из планшетки блокнот.

— Дмитрий Григорьевич,—с чувством какой-то неловкости начал старший батальонный комиссар, — вы, конечно, понимаете, что товарищ Мехлис погорячился... Вы еще не осуждены, и званий никто вас не лишал. Но вы под стражей и предаетесь суду.

— Я знаю, что это значит, — сурово бросил Павлов.

— Тем более... Меня прислал к вам лично нарком обороны. Пусть мое невысокое по сравнению с вашим воинское звание не смущает вас... Я представляю следственную часть своего управления, но сейчас хочу побеседовать с вами по поручению маршала и как старый большевик...

— О чем же беседовать, если мне шьют измену! — Глаза Павлова сверкнули лютостью.

— Нет, — спокойно возразил старший батальонный комиссар. — Я вам зачитаю формулировку обвинения, которое вам предъявят при официальном начале следствия. — Он развернул и полистал блокнот. — Тут будет идти речь не только о вас.

— Да?! Кто еще арестован?

— Пока не знаю... — И начал читать: — Такие-то и такие-то, «состоя в указанных должностях в начале военных действий фашистской Германии, проявили трусость, бездействие, нераспорядительность, допустили развал управления войсками, сдачу оружия и боеприпасов противнику... Вследствие своей трусости, бездействия и паникерства нанесли серьезный ущерб Рабоче-Крестьянской Красной Армии, создали возможность прорыва фронта противником в одном из главных направлений и тем самым совершили преступления, предусмотренные статьями сто девяносто три дробь семнадцать «б» и сто девяносто три дробь двадцать «б» Уголовного кодекса Российской Федерации...»

В землянке наступило тягостное молчание. Когда старший батальонный комиссар спрятал в планшетку блокнот, Павлов тихо спросил:

— Кому все это надо?

— Дмитрий Григорьевич, неужели не понимаете? — Старший батальонный комиссар смотрел на Павлова с грустью. — Я вот говорил с ранеными, которые вырвались из-под Минска... Беседовал с командирами, прибывающими оттуда. Все ошеломлены! Сколько людей там осталось, сколько нашей техники уничтожено! Да, ходят разговоры и о предательстве... И конечно же, о виновности руководства. Хотя очень трудно совокупность всех причин, приведших к тому, что случилось, вложить в узкие и четкие рамки...

— А если обстоятельства виноваты? — болезненно спросил Павлов.

— Но ведь их тоже создают люди... А вот попавшие в окружение части стали жертвами обстоятельств...

— Ясно... — Павлов тяжко вздохнул. — Я сейчас в двух лицах: жертва обстоятельств, которые создали немцы, и творец обстоятельств, в которые попали войска фронта... Зачем же тогда еще кого-то арестовывать? Все выполняли мои приказы! Но и я свои распоряжения не из пальца высасывал.

— Вот об этом давайте и поговорим. Не для следствия... Я бы, пожалуй, начал с вашего предложения о расформировании танковых корпусов два года назад.

— Это была моя ошибка,— сухо сказал Павлов, с болью подумав о том, что ничто не забывается. — Однако решение о ликвидации корпусов принимал не я.

— А был нанесен ущерб нашей боевой мощи этим решением?

— Разумеется. Хотя ничто великое не создается без сомнений и ошибок.

— Почему же вы не поспешили первым сказать правительству о допущенной ошибке?

— Ошибку мы исправляли коллективно. Я сделал доклад на декабрьском совещании...

— Это известно, — перебил Павлова старший батальонный комиссар. — На этом совещании нарком обороны и начальник Генерального штаба потребовали от командующих военными округами держать в постоянной боевой готовности войска. Особо указывалось на необходимость боеготовности зенитных средств и противотанковых орудий. Почему вы не выполнили этих указаний?

— Как так не выполнил?! А чем занимались войска округа, если не боевой подготовкой? Но главное не в этом. Вы не хуже меня знаете, что из всех создаваемых в округе механизированных корпусов только один полностью имел материальную часть. А если приложить к этому все остальное, чего нам недоставало...

— Не забегайте вперед, Дмитрий Григорьевич. — Старший батальонный комиссар наклонился над столом и внимательно посмотрел Павлову в глаза. — Скажите, как могло случиться, что в предвидении войны зе-

нитная артиллерия округа оказалась собранной на полигоне восточнее Минска? Особенно это касается четвертой армии... И не только зенитная... Почему и наземную артиллерию стянули в лагеря в район Минска, да еще с самым мизерным количеством снарядов — для учебных стрельб?.. Саперы тоже съехались на окружной сбор. А сколько стрелковых войск оказалось занятыми разного рода работами вне своих гарнизонов!.. Как все это объяснить?.. Или почему вы держали в районе Бреста, прямо на границе, так много войск?.. Это же ловушка!.. Почему именно в день начала войны в четвертой армии были назначены на Брестском полигоне показные учения с присутствием там всех командиров соединений и частей?

— Что касается учений на Брестском полигоне, то они были отменены вечером накануне войны, — сумрачно, с нарастающей подавленностью ответил Павлов. — А все иные полигонные и лагерные сборы проводились согласно плану боевой подготовки войск округа, который я отменить не имел права.

— Почему?

— План утвержден Генштабом.

— Но вы же видели, что пахнет порохом и кровью! Неужели не могли сообразить, что все боевые средства должны быть на своих местах?..

— Сейчас легко рассуждать!

— Да это же элементарно! Кто вам мешал хотя бы подтянуть войска к местам дислокации и донести об этом наркому?

— Я не имел сведений, что война действительно разразится! — Каждое слово Павлова теперь звучало со злым упрямством.

— Вы сами обязаны были добывать эти сведения и докладывать их правительству. — В голосе старшего батальонного комиссара засквозило скрытое раздражение. — Незадолго до начала войны вы доложили товарищу Сталину, что лично выезжали на границу и никакого скопления немецких войск там не обнаружили, а слухи об этом назвали провокационными... Когда это было?

— Примерно в середине июня.

— Куда именно вы выезжали?

— В район Бреста.

— И были на пограничных наблюдательных пунктах?

Павлов достал платок, вытер вспотевшую бритую голову, промокнул коротенькие усы и, не поднимая глаз, ответил:

— Нет, я доверился разведчикам третьей и четвертой армий.

Старший батальонный комиссар тяжело вздохнул, оторопело посмотрел на Павлова, затем достал из планшетки несколько листов бумаги с машинописным текстом и заговорил:

— Вот копия вашего майского распоряжения... Здесь для каждой дивизии определены позиции, которые они должны занять в случае опасности, но только по сигналу боевой тревоги. Когда вы дали войскам округа такой сигнал?

— После того, как была расшифрована директива наркома обороны и начальника Генштаба.

— Но в ночь накануне начала войны нарком и начальник Генштаба предупреждали вас по ВЧ [1], что директива подписана и что надо действовать?

— Прямых указаний о боевом развертывании войск они по телефону не давали. А согласно инструкции такие действия осуществляются только после поступления официального приказа правительства или наркома обороны... Но я скажу больше: директива Главного командования не

[1] В Ч — телефонная линия связи высокой частоты.

вводила в полной мере в действие наш план обороны государственной границы, а только требовала от войск прикрытия занять огневые точки укрепрайонов, а от авиации — рассредоточиться по полевым аэродромам и замаскироваться.

— Ну хорошо... Но могли же вы хотя бы приказать вывести гарнизоны из военных городков?

— Если б я это сделал, а Гитлер не напал, мне бы снесли голову.

— Интересное признание. — В глазах старшего батальонного комиссара засветились недобрые огоньки. — Вы опасались за свою голову и потеряли тысячи, если не сотни тысяч голов красноармейцев и командиров!

— Если б знать все наперед!.. Этак мы должны были бы уже с десяток раз покидать военные городки.

— Скажите, Дмитрий Григорьевич... если б нарком по телефону прямо приказал вам действовать по боевой тревоге... Действовали бы?

— А если бы потом немцы не напали?.. И не поступила директива?.. Кто бы из нас ходил в провокаторах?

Старший батальонный комиссар взял из лежавшей на столе пачки папиросу и, протянув зажженную спичку Павлову, который тоже достал папиросу, затем прикурил сам, тоскливо и беспокойно глядя в суровое и бледное лицо собеседника, в его светлые и упрямо-колючие глаза, выражавшие душевную муку и смятение разума. После продолжительного молчания, потушив в алюминиевой пепельничке окурок, сказал со вздохом:

— Я поначалу очень сомневался в вашей виновности... А сейчас убедился: вы как военачальник виноваты...

— Значит, по-вашему, командуя округом, я ничего не сделал в целях укрепления его боеготовности, а потом, командуя фронтом, тоже ничего не достиг? — Взгляд Павлова был напряженным, глаза метали стрелы.

Старший батальонный комиссар после короткого раздумья ответил:

— Если б командование Западного фронта ничего не предпринимало после начала агрессии, немцы, возможно, уже были бы у стен Москвы... Следствию надо будет знать не только то, что полезного сделано бывшим командующим Павловым, но и то, что он должен был сделать, но не сделал, и по каким мотивам не сделал... Этим интересуется и нарком обороны. — Старший батальонный комиссар скользнул задумчивым взглядом по лицу Павлова. — Вот вы говорите о своей роли в укреплении боеготовности войск округа. Этого никто не отрицает. Но ведь укреплением могущества армий Западного Особого, как и других военных округов, непрерывно занимались высшее командование, вся страна, партия и правительство. Это не громкая фраза, а сущая правда. Вспомните о новых формированиях на территории округа, о количестве полученной боевой техники, о комплектовании частей командным составом, о многих мероприятиях... И вы лично сделали многое, что вам полагалось делать. Даже очень многое!.. — Он на мгновение примолк, будто споткнувшись о мысль, что говорит столь назидательно с человеком, который еще вчера обладал огромнейшей властью. Однако продолжил: — Но не все, что требовалось, и не сделали весьма существенное, за что и держите ответ, ибо ваши просчеты привели к тяжелым последствиям. Я начинаю улавливать психологическую сущность ваших ошибок и хочу сказать вам о той, возможно, вашей вине, которую никто фиксировать в документах не будет. Пост командующего военным округом, может быть, еще не соответствовал ни уровню вашего мышления, ни зрелости характера истинного полководца, ни глубине необходимых знаний.

— С этим я не могу согласиться, — после недолгого молчания глухо

сказал Павлов, — хотя нечто в этом роде мне когда-то сказал вскользь мой учитель профессор Романов...

— Вот видите, — чуть оживился старший батальонный комиссар. — Вам все-таки надо с этим согласиться...

— Да не привык я отказываться от приказов!

И снова потекли вопросы, в которых уверенно звучали знание распоряжений, поступивших из Москвы в округ, информированность о степени и качестве их исполнения, знание объема деятельности командующего войсками округа и фронта, его конкретных дел; в этих вопросах звучали и логически точно выстроенные предположения, догадки и допущения. Формулировались они таким образом, что уже в самой их постановке просматривались ответы, которые потребуются следствию...

Павлов по этим вопросам чувствовал, что судьба его предрешена, понимал, что и старший батальонный комиссар знает, чем все кончится. И самым страшным для него было то, что ранее бывшее белым теперь категорично выглядело черным. И даже в его собственных глазах. После предостережения Москвы не поддаваться на провокацию он в свою очередь одергивал подчиненных, остужал сердитым окриком, особенно разведчиков, которые накаляли атмосферу. Ведь, казалось, нет ничего на свете, чего бы он боялся. Ходил в сабельные атаки на беляков под Перекопом и в районе Тарнополя, рубился с врагами в песках Туркестана и на КВЖД, врывался на танке в колонны франкистов в Испании... А сейчас его обвиняют в трусости... Он боялся не самой войны, которая лишь где-то брезжила, а того, как бы нелепый случай в пограничье не вызвал осложнений с немцами, за что ему пришлось бы расплачиваться, и шедшая из штаба округа в Москву информация напоминала спокойное звучание своеобразного камертона в предгрозовой атмосфере. Этот камертон Павлов держал в своих руках и для получения угодного высшему руководству звучания с расчетливой силой ударял им: реже — о суровую твердь истины, чаще — о пустоту, предполагая, что к этому звучанию все равно никто всерьез не прислушивается.

И ему пришлось, глядя правде в глаза, признать, что в преддверии войны он как командующий округом не сделал многого из того, что обязан был сделать.

Приговор суда был беспощаден...

## 26

Говорят, что такие пластающиеся и белоснежные туманы приходят июльскими ночами только на луговины белорусских лесов. Миша Иванюта ничего подобного еще не видел в жизни. Он проснулся от ощущения давящей сырости, и ему почудилось, что он ослеп. Испуганно поднес к широко раскрытым глазам руку и с трудом разглядел ее, расплывшуюся в густой белесости, которая плотно окутывала Мишу. Будто он оказался на дне забеленного молоком пруда (Мише пришел на память знакомый пруд в родных Буркунах, в который однажды летней порой опрокинулась телега с наполненными молоком бидонами). Сердце его пронзил неосознанный испуг, но тут же он услышал неподалеку от себя чей-то богатырский храп и вдруг вспомнил, что ложился спать рядом с орудийным расчетом на огневой позиции у защитных ровиков. В это время донеслась где-то вспыхнувшая трескотня автоматов, коснулась слуха перебранка саперов, наводивших через недалекую речку наплавной мост. Миша порывисто приподнялся над своим ложем — расстеленной на траве пятнистой плащ-палаткой немецкого происхождения — и будто вынырнул из молочной купели, ощутив простор, в то время как его ноги, руки, все

туловище остались по нагрудные карманы гимнастерки где-то внизу, под непроницаемой для взгляда белесостью.

Еще окончательно не придя в себя и не поняв, что с ним происходит, Миша с оторопью покрутил головой и разглядел в поблекшей ночи луговину, будто засыпанную снегом, в котором увязли по верхушки щитов орудия, утонули кусты, подступавшие с боков к огневой позиции. Нахохлившаяся фигура часового тоже по колени утопала в этом белом, чуть колеблющемся, как уже приметил Миша, половодье.

«Туман!» — наконец понял он...

Удивительный туман! Белый, как снег, он лениво, почти незаметно для глаз клубился над лугом, зашторив недалекую дорогу с воронками от бомб и снарядов, накрыв с головой спящую на траве близ пушек артиллерийскую братию, неузнаваемо преобразив все вокруг... Диво, да и только! Миша сидел на плащ-палатке, проткнув головой пелену тумана, и по-прежнему не видел ни своих собственных ног, ни рук. Действительно, словно нежился в молочной купели. Лес за дорогой, возвышаясь над белым покрывалом, казался приземистее обычного и настолько темным, будто его высекли из глыб черного мрамора, а предрассветное небо над лесом было в нежном розовом свечении; даже не верилось, что с восходом солнца оно наполнится воем мин и снарядов, устрашающим рокотом самолетных моторов, что вновь вздыбятся в него дымы войны...

Сон Миши улетучился, хотя спал он не более трех часов. Вскочив на ноги, он поднял с травы, из-под тумана, трофейную плащ-палатку и трофейный автомат. Бережно сложил палатку в узкую полоску, скрепил ее концы ремешком и надел через плечо, как скатку, а автомат повесил на шею. Разминая ноги, подошел к часовому — первого года службы парнишке. Безбровый, с оттопыренными, подпиравшими пилотку ушами, он даже пошатывался, так сморил его сон.

— Не теряйте бдительности! — начальственно напомнил Иванюта часовому, расправляя под широким командирским ремнем гимнастерку.— В такой туман враг может подползти.

— А как он увидит, куда надо ползти? — Часовой обрадовался возможности поговорить и разогнать сон. — Присядешь — и как в омут.

— Давно туман появился?

— Когда я заступал на пост, уже белело. — Часовой вдруг качнулся от усталости, и его глубоко ввалившиеся глаза на мальчишеском лице, кажется, перестали видеть.

— Тебя как звать? — спросил Иванюта, стараясь не показать жалости.

— Женя... Красноармеец Ершов!— Часовой вымученно улыбнулся, обнажив редкие зубы.

— Ну вот что, Ершишка... ныряй-ка на дно да поспи!— строго сказал Иванюта. — А я за тебя постою. Мне все равно не спится.

В это время послышался хриплый со сна голос:

— Кто тут моими людьми раскомандовался?! — И из туманной пелены вынырнула голова смуглолицего сержанта — командира орудия. Узнав Иванюту, он равнодушно произнес: — А-а, товарищ младший политрук... — И вновь исчез в тумане, улегшись спать.

Миша Иванюта остался у орудия один и замер: прислушивался, как просыпалась в окрестных лесах война, готовя к утру свои неожиданные и страшные каверзы.

Здесь, на батарее, младший политрук Иванюта появился вчера поздним вечером, после того как побывал по поручению Жилова на командном пункте дивизиона и выспросил у заместителя командира по политчасти о героических поступках его артиллеристов. Замполит — не из кадровых, — рыхловатый, полнотелый, раненный днем в плечо немецкой

пулей, не хотел уходить в медсанбат и, страдая от боли, может, поэтому был так малоразговорчив, не вдавался в подробности. Пришлось Иванюте самому прогуляться для сбора материала по батареям, которые замаскировались в разных местах на лугу, зажатом между лесом и речушкой — безымянным притоком Березины. Дивизион, как полагал Миша, прикрывал строительство переправы через приток, за которым сосредоточились в мелколесье штаб сводной группы генерала Чумакова, его небольшой резерв и штаб совсем поредевшей дивизии полковника Гулыги. Штабы приготовились к переправе на эту сторону, чтобы вместе с остатками частей войсковой группы пробиваться на восток — это еще было секретом, но младший политрук Иванюта знал о нем.

Вчера вечером Миша не успел подробно поговорить с батарейцами о том, как им удалось точными попаданиями снарядов взорвать склад немецких боеприпасов, сжечь восемь танков и шесть бронетранспортеров. Поэтому он и заночевал на огневой позиции. Утром намеревался записать в блокнот фамилии отличившихся командиров орудий, наводчиков и уточнить тактический фон происходивших баталий.

Записей в блокноте Миши было уже немало. Их особенно заметно прибавилось после того, как разведгруппа во главе со старшим лейтенантом Колодяжным пробилась из тыла противника и вывела с собой на участок батальона, в котором находился тогда Иванюта, несколько сот окруженцев. Они тут же влились в подразделения дивизии, а Миша пополнил от них свои сведения о героях фронта. Он пространно записал рассказ очевидцев о том, как в районе Волковыска и Зельвы храбро дрались танкисты 31-й танковой дивизии и как танковый экипаж братьев Кричевцевых — Константина, Елисея и Мины, — участвуя в контратаке близ деревни Лапы, уничтожил несколько немецких орудий, пулеметных гнезд, поджег два танка. А когда в их тридцатьчетверку попал немецкий снаряд и она загорелась, братья не стали выходить из боя и спасать себя, а, разогнав горящую машину, врезались в фашистский танк.

Об этом геройском и трагическом эпизоде рассказал Иванюте сержант-связист; он заикался от полученной контузии, но казалось, что слова давались ему с трудом от волнения. А сержант и в самом деле волновался. Его худое, с заострившимися скулами лицо покрывалось красными пятнами, а глаза с воспаленными веками слезились и смотрели так, будто они и сейчас не переставали видеть тот незабываемый момент, когда три брата Кричевцевых шли на смертный таран.

Все, кто слушал рассказ сержанта, тоже испытывали волнение, иные позабыв даже о дымящейся в котелке каше с мясом (это происходило в тылу боевых порядков батальона, в ельнике, куда приехала полевая кухня). Взволнован был рассказом и Миша Иванюта. Он смотрел на сержанта тоже как на героя, и ему хотелось как-то отблагодарить его, сказать какие-то особенные, прочувствованные слова. Однако подходящих слов найти сразу Миша не сумел и, повинуясь душевному порыву, неожиданно для самого себя протянул сержанту немецкий парабеллум, подобранный на поле боя рядом с убитым эсэсовцем.

Сделав сержанту столь щедрый подарок, младший политрук Иванюта поступил не совсем осмотрительно, ибо тут же нашлось еще несколько очевидцев других, не менее геройских подвигов; эти очевидцы так вожделенно стали ощупывать глазами богатые Мишины трофеи: бинокль на груди, черный ребристый автомат на плече, массивный компас на полевой сумке и кинжал в кожаном чехле на ремне, — что Миша тут же посуровел, отгородившись от них стеной отчуждения. И когда два легкораненых красноармейца из прославленной сотой дивизии генерала Руссиянова наперебой рассказали, как на Логойском шоссе их батальон под командованием капитана Тертычного сжег бутылками с бензином

двадцать немецких танков, младший политрук Иванюта решительно потребовал свидетелей этих подвигов. И свидетель вдруг нашелся. Он напролом устремился от кухни к Мише, чуть не сбив его с ног, и начал тискать в объятиях. Это оказался младший политрук Никита Большов — однокашник Миши по Смоленскому военно-политическому училищу, с которым они расстались чуть больше месяца назад, хотя обоим казалось, что с тех пор прошла целая вечность и что их совсем недавняя курсантская жизнь бушевала все-таки в каком-то далеком, ином, будто из сновидений, мире. Большов, точно в оправдание своей звучной фамилии, крупный, неуклюжий, губастый, облапив Иванюту огромными ручищами, мял и ломал его как медведь телку, весело громыхал басистым, диковатым хохотом и сверкал крепкими белыми зубами. С минуту поахав, потискав друг друга и потолкав кулаками, Миша и Никита, словно поглупев от радости, начали бестолковые взаимные расспросы.

Младший политрук Большов, как выяснилось, тоже служил в дивизии генерала Руссиянова и вместе со своей ротой был отрезан от батальона, когда велись арьергардные бои северо-западнее Минска. Никита подтвердил рассказ двух своих красноармейцев, а Иванюте не без сожаления пришлось расставаться с боевыми трофеями — компасом и кинжалом, а чуть позже и с биноклем. Никита Большов почти силком отнял его у Миши, предварительно рассказав боевой эпизод, от которого захватывало дух.

В тот недавний день младший политрук Большов возглавлял разведывательную группу. Укрывшись в мелколесье на высотке, они наблюдали за участком шоссе Молодечно — Радошковичи, по которому двигалась колонна немецких танков, бронетранспортеров и автоцистерн. Вдруг над колонной врага появилась эскадрилья краснозвездных дальних бомбардировщиков. Самолеты нанесли точный бомбовый удар, и на шоссе сразу же заполыхали дымные костры... Когда бомбардировщики, освободившись от грозных «гостинцев», уходили на восток, неожиданно осколки немецкого зенитного снаряда пронзили бензобак ведущего самолета, и его охватило пламя. Пылающий бомбардировщик, нарушив строй, ринулся в пике, пытаясь сбить огонь. Но тщетно — никакие маневры не помогали; и тогда самолет лег на крыло, круто развернулся и живым факелом устремился к шоссе, нацелившись в скопление танков и автоцистерн... Тяжелый взрыв разметал десятки вражеских машин.

Рассказывая об этом подвиге, младший политрук Большов не подозревал, что был свидетелем бесстрашной гибели мужественного экипажа капитана Николая Гастелло...

Вспоминая вчерашнее, Миша Иванюта придерживал на груди трофейный автомат и прохаживался рядом с орудийным окопом, наблюдая, как серебряный покров тумана незаметно приобретал лиловый оттенок, а местами совсем утончался, превращаясь в легкую полупрозрачную дымку. Только в стороне леса туман, кажется, густел, и чем больше светлело небо над лугом, тем ярче делался дальний край туманной пелены, будто ее там украшали струящимися жемчужными низаньями.

Миша сейчас размышлял о ефрейторе Свиридкове, который позавчера подорвал немецкий танк, бросившись под его гусеницы с двумя связками гранат. Потом он видел сгоревший танк и растерзанное тело Свиридкова; расспрашивал командира взвода — молоденького голубоглазого младшего лейтенанта с девичьим лицом: «Каков он был, ефрейтор Свиридков?..» — «Обыкновенный... Ничем не отличался... В прошлом году десятилетку окончил...» А Мише хотелось узнать что-то особенное о Свиридкове, которое конечно же должно было быть. Удивительно только, почему во взводе никто не заметил этого особенного?..

Небо на востоке разгоралось все больше, нежно-розовая полоса рас-

света ширилась по небосводу, гася в нем звезды. Туман вокруг редел, и младший политрук Иванюта уже хорошо различал спавших на краю ровика артиллеристов.

«А я бы мог вот так же, с гранатами под танк?» — подумал Иванюта и зябко передернул плечами, будто услышал, как надвинулся на него грохот боя, и увидел себя поднявшимся из окопа со связками гранат в руках навстречу громыхающей стальной громадине... Немецкий танк уже совсем рядом! Он закрыл собой почти полнеба, из него неумолчно хлещет пулемет, и светлячки трассирующих пуль хищно вспарывают воздух прямо у Миши над головой! Все ниже клонится к земле ствол пушки: немецкие танкисты пытаются взять Мишу на прицел, но он слишком близок к танку — в «мертвом» пространстве... Танк останавливается, затем пятится, но Миша настигает его. Экипаж в беспорядке стреляет по нему из пистолетов сквозь смотровые щели, но Миша как заколдован — пули проходят мимо. Он пытается обогнать танк, чтобы бросить связку под гусеницу, но танк вдруг разворачивается, ударяет по Мише всем своим железным телом и отбрасывает его в сторону. Миша успевает резко встряхнуть гранатами, ощутить их грозную тяжесть и услышать хищный щелчок сорвавшегося с боевого взвода ударника. Через четыре секунды гранаты взорвутся!.. И он тут же кидается со связками под гусеницы...

От этой фантазии Миша вновь передернул плечами, как от внезапного озноба. Сердце в груди заколотилось так, будто он в самом деле вступал в поединок с вражеским танком, а мысли спутались, и ему даже трудно было сейчас сказать: действительно сумел бы он, младший политрук Иванюта, совершить такой шаг, какой совершил ефрейтор Свиридков?.. Где-то в глубине его души щемяще таилось несогласие: не слишком ли дешево за один вражеский танк отдавать свою молодую жизнь?.. Десять лет в школе, затем два года в военном училище готовили Мишу к чему-то большому и значительному... Он мечтал о многом, был уверен, что чем-то удивит мир, совершит что-то необыкновенное и слава о нем докатится до Буркунов... А тут вдруг все должно оборваться из-за одного танка... И он даже не узнает, когда и как Красная Армия сломит фашистам хребтину... Да, но если он, Иванюта, не остановит вражеский танк, то не исключено, что под его гусеницами или от его огня погибнут десятки других людей, может, тот же генерал Чумаков или полковой комиссар Жилов...

Тут, кажется, сомнения Миши таяли: он начинал верить, что без колебания взорвет танк, однако от этого предположения у него внутри пробегал мерзкий холодок, а в груди рождалась такая тоскливая тяжесть, что хотелось криком кричать.

«Что, Михайло, не нравится тебе умирать по своей воле?» — въедливо спросил он сам себя, подозревая, что в случае подобной ситуации все-таки может не хватить у него решимости броситься под танк. Но сознаться себе в этом унизительном подозрении он никак не желал и, словно в оправдание столь постыдного нежелания, вспомнил вчерашний день, когда в расположении дивизии полковника Гулыги появились полковой комиссар Жилов и батальонный комиссар Редкоребров.

Дивизия, полки которой из-за малочисленности были сведены в батальоны, а батальоны в роты, до вчерашнего дня изо всех сил атаковала немцев. Немцы же упорно контратаковали между безымянным притоком Березины и лесисто-болотистой низиной. Поэтому полковник Гулыга, не имея возможности глубоко эшелонировать свои боевые порядки, расчетливо поставил на прямую наводку полковую артиллерию и даже приданный гаубичный артиллерийский дивизион. О наступлении с такими силами не могло быть и речи.

Миша Иванюта большую часть времени проводил в мотострелковом батальоне как представитель политотдела дивизии. Прошло всего лишь три дня боев, а казалось, что начались эти бои невероятно давно... Да, в тот предвечерний час, когда началось контрнаступление, опять пришлось Мише идти в атаку впереди цепи красноармейцев. Но вопреки ожиданиям не наткнулись они на кинжальный огонь пулеметов и автоматов, а только смяли жиденький, растрепанный нашим артогнем заслон полевого охранения и внезапно для немцев вышли на огневые позиции их артиллерийской части, приготовившейся сопровождать огнем наступление своих танков. Однако наступление не состоялось: по танковой группе успели нанести плотный массированный удар наши бомбардировщики и дивизионная артиллерия... Потом Миша участвовал в танковом десанте, который захватил у немцев склад горючего и разгромил отдыхавшую в лесной деревушке воинскую часть. В боях Иванюта обзавелся трофейным оружием, биноклем, компасом и пятнистой плащ-палаткой.

И вот вчера, вернувшись с передовой на КП батальона, Миша застал там полкового комиссара Жилова и батальонного комиссара Редкореброва. Командный пункт располагался на высотке в молодом осиннике, который густо поднялся на месте вырубленного леса. Миша увидел Жилова сидевшим на почерневшем пне. Перед ним была расстелена топографическая карта, на которой что-то показывал, встав рядом на одно колено, широкоплечий майор с перебинтованной головой — командир полка, возглавлявший сейчас сводный батальон.

Не решаясь привлечь к себе внимание высокого начальства, младший политрук Иванюта из густели осинника влюбленно смотрел на Жилова и словно заново переживал услышанные от него на построении в штабе дивизии слова: «В окружении Михаил показал себя молодцом... Младший политрук Иванюта представлен к боевому ордену...» Сейчас Миша видел другого Жилова: мускулы его широкого лица казались окаменелыми, а кожа приобрела почти коричневый оттенок. Глаза полкового комиссара, обычно всегда таившие искру задорного веселья, глубоко ввалились, стали чужими, чрезмерно суровыми или смертельно усталыми.

О, как бы восторженно счастлив был Миша Иванюта, если б ему выпало сейчас защищать полкового комиссара от какой-нибудь опасности!.. Он ни на мгновение не поколебался б в готовности заслонить собой Жилова от пуль и осколков или от вражеского штыка!

Полковой комиссар, словно почувствовав на себе чей-то взгляд, поднял голову и несколько мгновений сурово смотрел на обвешанного трофеями младшего политрука, потом кивнул ему, подзывая к себе. Миша быстро побежал к Жилову, за несколько метров от него перешел на строевой шаг и остановился, натренированно щелкнув каблуками запыленных сапог и четко вскинув к полинялой пилотке правую руку:

— По вашему приказанию младший политрук Иванюта...

Жилов устало махнул рукой, перебивая доклад, но сказать ничего не успел, ибо в это время послышался вой приближающейся мины. А Иванюты этот вой будто не касался: он, как и полагалось, пожирал глазами начальство, выказывая готовность повиноваться и выполнять любое приказание. Мина оглушающе ахнула с недолетом, метрах в пятидесяти, ее осколки хлестко ударили снизу по молодому осиннику и косым полетом певуче ушли ввысь.

— Ну как, держишься? — спросил Жилов, и в его глазах пробудился знакомый для Миши веселый огонек.

— Держусь, товарищ полковой комиссар!

— Молодец! — Жилов усмехнулся, и было непонятно, относится ли его похвала к тому, что Миша не поклонился мине, или вообще к его пребыванию в батальоне. Затем Жилов посуровел и сказал: — Ты мне нужен. Не уходи...

Снова послышался нарастающий вой немецкой мины, уже более резкий и близкий, и все настороженно притихли. Миша даже не опомнился, как оказался возле полкового комиссара, с той стороны, с какой должна была, по его предположению, упасть мина. Тяжелый взрыв действительно взметнулся с той стороны, и не очень далеко. К ногам Жилова упала ссеченная над его головой осколком верхушка молодой осинки.

— Сейчас начнет беглым гвоздить, — встревоженно сказал майор и скомандовал: — В укрытие!

Блиндажей на командном пункте не было, и минометный обстрел пережидали в вырытых в земле щелях...

Потом Иванюта сопровождал полкового комиссара Жилова на огневые позиции артиллеристов и минометчиков и все время держался впереди него, был в напряженной готовности принять на себя пули врага. Это нисколько не походило на молодеческую браваду с его стороны. Миша даже не старался казаться безразличным к обстрелам, а просто испытывал гордость и счастье оттого, что он рядом с Жиловым и что нужен ему. Это чувство звенело в нем очень сильно и явственно, как торжественная песня, от которой он был чуть хмельной; ведь все они: полковой комиссар Жилов, генерал Чумаков, полковник Карпухин — казались ему не просто людьми, носящими большие звания, а представлялись как высшая и мудрая державная сила, ярко проявившаяся особенно там, далеко западнее Минска, собравшая всех их, окруженцев, в один кулак, вооружившая верой и решительностью. У Миши даже не находилось слов, чтобы выразить свое отношение к этим необыкновенным людям, рядом с которыми ничто не было страшно. Да и не нужны были слова, если уже при одной мысли, что он выполняет приказ генерала Чумакова или полкового комиссара Жилова, у него будто вырастали крылья, прибавлялось сил, а сердце переполнялось радостью и непреклонностью.

Жилов, видимо, заметил старание младшего политрука Иванюты будто невзначай находиться ближе к нему, и именно с той стороны, откуда вероятнее всего могли взвизгнуть пули. Может, поэтому, когда они подходили к огневой позиции минометчиков, полковой комиссар с напускной ворчливостью сказал:

— Что ты все время мельтешишь перед глазами?! Весь мир застишь!

Миша притворился, что не расслышал упрека.

Потом, уже на командном пункте батальона, Жилов спросил у него:

— Язык умеешь держать за зубами?

— Как будет приказано, — уклончиво ответил Миша.

— Приказываю не болтать. — И Жилов, взяв Мишу под руку, отвел в сторону. — Мы в окружении. Удалось немцам перехватить горловину в нашем тылу. Получен приказ прорываться на восток...

У Иванюты заныло в груди: он знал, что такое прорываться из вражеского кольца и во сколько человеческих жизней это может обойтись.

— Тебе очень важное задание, — продолжал полковой комиссар сумрачно. — Пройдись по батальонам и запиши наиболее яркие примеры героизма.

— Ясно!

— К вечеру прибыть в расположение нашего штаба.

— Штаба генерала Чумакова? — уточнил Иванюта.

— Да. — Жилов показал на карте, где находится штаб. — Снимешь копию своих записей для меня... Если при выходе из окружения со мной

что случится, передашь в политотдел мой приказ: ни один подвиг не должен быть забыт!.. Ни один!.. Поможешь составить политдонесение, и надо будет проследить, чтобы поступили представления к наградам.

— Все понял, товарищ полковой комиссар...

— Давай действуй и держи себя поосторожнее. — Полковой комиссар хлопнул Иванюту по плечу, затем на прощание подал руку. — К вечеру быть в штабе!

— Есть, быть в штабе...

Приказ был выполнен со всей тщательностью. К концу вчерашнего дня младший политрук Иванюта доставил полковому комиссару Жилову собранные материалы.

Обстановка к этому времени усложнилась: противник усилил атаки на правое крыло группы войск генерала Чумакова, стараясь прижать ослабленные части к безымянному притоку Березины и разгромить их на заболоченных берегах. Федор Ксенофонтович разгадал этот немудреный замысел и, поскольку был получен по радио приказ концентрировать силы для прорыва из окружения, решил «играть с немцами в поддавки» — с боями отводить части именно к притоку, предварительно проложив по заболоченным берегам и замаскировав три лежневые дороги и построив переправы, чтобы затем под прикрытием заслонов броском переправиться через приток и, взорвав переправы, откатываться по междуречью назад, не расходуя много сил на защиту флангов.

Правда, была угроза, что немцы, маскируясь лесами, простершимися на запад, переправятся через Березину на треугольник междуречья и навяжут здесь изнурительные бои. Учитывая это, генерал Чумаков выдвинул на опасное направление пулеметную роту и на случай прорыва танков приказал окопаться на лугу за притоком артиллерийскому дивизиону, имея задачу прикрывать наведение переправы.

Миша Иванюта коротал ночь именно на одной из батарей этого заслона, а сейчас, подменив часового, прохаживался вдоль огневой позиции, наблюдая, как все больше разгоралось в румянце зари июльское утро.

Белое покрывало тумана впереди огневых позиций батареи уже заметно растаяло, на лугу четко обозначились кусты, кустики, кочки, запестрели цветы. Только вдали, у леса, туман свернулся в посеребренный жгут, будто собирался подпоясать собой всю лесную пущу. Но со временем этот жгут тоже начал размываться и ползти белесыми клубами вверх, вначале заволакивая темные очертания леса, а затем поднимаясь в бездонность неба.

Вспоминая свое первое ощущение, когда он проснулся в тонкой пелене тумана и, приподнявшись над ней, увидел белую безбрежность, Миша Иванюта фантазировал о том, что хорошо бы искусственно создавать в нужное время такой же пластающийся туман и под его покровом незаметно подползать к немецким окопам... Вдруг мысли Миши вспорхнули и растаяли, как стая воробьев при виде крадущейся кошки: он услышал в стороне леса четкую дробь пулемета и по звуку узнал голос «максима». Тут же словно пробудились ото сна еще несколько станкачей — застрочили длинно и нервно. На пулеметные очереди откликнулась густая трескотня множества немецких автоматов и донеслись выстрелы танковых пушек. Туман, затянувший небо над лесом, начал озаряться призрачными вспышками сигнальных ракет — белыми, зелеными, красными.

— Батарея, к бою! — испуганно выкрикнул дежуривший в окопе у телефона связист, получив приказ с наблюдательного пункта. — По местам!

— По местам! — картинно сдублировал команду Иванюта и, видя, как деловито кинулись к орудиям и к окопчикам со снарядами артиллеристы, почувствовал свою неприкаянность.

Начинался день кровавой страды. Каждый имел свое дело, знал свою задачу, и только он, младший политрук Иванюта, вдруг оказался сам по себе, будто вне строя. Вот начнется сейчас сражение, появится противник, всех охватит азарт боя. А что делать ему? Стрелять из автомата? А если танки? У него ведь ни одной гранаты... Можно, конечно, уйти через переправу в штаб, доложить Жилову... Но ведь он не успел записать фамилий командиров и наводчиков орудий, которые отличились. Впрочем, это не поздно сделать и сейчас, пока противник где-то там, возле окутанного туманом леса. Впереди стоят еще три батареи, и, возможно, бой не докатится сюда. Однако все равно не мог младший политрук Иванюта уйти с батареи именно сейчас. Как тут уйдешь? Что подумают бойцы о человеке, который в минуту, когда загремел бой, повернулся к нему спиной и пошагал в тыл?.. Ну пусть там, за переправой, тоже не тыл. Оттуда тоже доносится стрельба. Но все равно...

Как и предполагал генерал Чумаков, немцы не упустили возможности помешать его выдохшейся оперативной группе сосредоточиться под прикрытием Березины в один кулак для прорыва из окружения. Видимо, противнику также удалось засечь место наведения переправы через приток, ибо именно сюда нацелил он острие своего удара несколькими десятками танков с автоматчиками на броне.

Первой вступила в бой пулеметная рота, окопавшаяся далеко за дорогой, впереди третьей батареи, которая совместно со второй батареей должна была в случае появления немецких танков на выходах из леса запереть их там и не выпустить на луг. Но гитлеровцы сразу же ринулись из леса широким фронтом, и захлопнуть их в лесу не удалось. Наши пулеметчики ливнем свинца сметали с немецкой брони прилепившихся к ней автоматчиков. Но враг с потерями не считался. Несколько пушек, буксируемых тягачами, устремились далеко вправо, чтобы с фланга поддержать наступление своих танков. А танки, их оказалось около пяти десятков, дымящимися коробками двинулись, ведя с ходу огонь, на третью батарею, не подозревая, что в их борта нацелены орудия второй батареи, окопавшейся в мелком кустарнике по эту сторону дороги.

Не видел сквозь задымленную даль младший политрук Иванюта, как драматично для немцев сложилось начало боя. Об этом можно было только догадаться по рваным столбам черного мазутного дыма, поднимавшегося в небо над горевшими за дорогой танками. Но все реже становилась орудийная пальба, что могло означать самое страшное — гибель стоявших впереди наших батарей.

Потом внимание Миши поглотила шестерка «юнкерсов», появившихся над полем боя. Самолеты привычно выстроились в круг и стали пикировать на почти готовую переправу через приток. Батарея, на которой находился Иванюта, непосредственно прикрывала эту переправу от танков и была от нее метрах в двухстах. И когда первый «юнкерс» перешел с горизонтального полета в крутое пике, на огневой позиции все нырнули в защитные ровики, полагая, что бомбардировщики нацелились именно на батарею.

За притоком, где в мелколесье маскировались штабы и приданные им подразделения, по самолетам ударил счетверенный зенитный пулемет. Кажется, даже загудело в небе от густой свинцовой струи. Но пулемет тут же почему-то захлебнулся, зато протяжно громыхнул винтовочный залп. Миша представил себе красноармейцев, улегшихся на спину и устремивших в небо винтовки. Лес винтовок!.. По единой команде, с прицеливанием по пикирующему самолету они давали залп за залпом.

И — о чудо!.. Первый же бомбардировщик не смог выйти из пике. Было похоже, что он падал вслед за бомбами прямо на батарею... Но бомбы ушли куда-то за речку, а еще дальше упал, врезавшись в лес, «юнкерс». От взрыва содрогнулась земля и прокатилось гулкое эхо, которое затем будто перелилось в густой клекот вновь ожившего счетверенного пулемета. Очередной бомбардировщик, начавший было пикировать, тут же отвалил в сторону и с косого полета устремил бомбы на батарею. Теперь уж, казалось, точно — другой цели, кроме огневой позиции, здесь не было.

Серия тяжелых взрывов всколыхнула и вздыбила землю. Одна бомба упала на огневой — взорвалась на краю защитного ровика, где укрылись двое. Ровик стал их могилой...

Как падал еще один сбитый «юнкерс», Миша Иванюта уже не видел, ибо его слух резанул чей-то испуганный, осипший голос:

— Танки!.. Танки с фронта!.. По местам!

Теперь уже все, кто прибежал к орудию, видели, как по задымленному лугу, чуть внизу, ползло девять танков.

Наводчик — шустрый боец с облупленным носом и с побелевшими от страха глазами — проворно выгребал из корзинки для панорамы землю, заброшенную туда взрывом бомбы, потом дрожащими руками закреплял в ней панораму.

Внимание Иванюты, который тоже оказался у орудия, привлекла огромная вмятина на броневом щите — след от осколка бомбы. Сплющенный угловатый осколок лежал на земле у колеса, и от него струилась вверх тоненькая ниточка рыжеватого дыма.

— Политрук! — К Мише обратился сержант — командир орудия.— У меня заряжающего и установщика убило! Помоги!..

— Говори, что делать! Заряжать?

— Нет, подавать снаряды!

— Есть, подавать снаряды!

Проследив, откуда красноармейцы, которых он должен заменить, несут похожие на ружейные, но огромные и тяжелые патроны, Иванюта взялся за дело, слыша, как у орудия уже началось самое главное:

— По правому танку бронебойным, отражатель ноль, угломер тридцать ноль, прицел постоянный, наводить вниз... Огонь!

Резкий выстрел длинноствольной пушки горячо ударил по барабанным перепонкам, и Миша, поднося сразу два снаряда, вспомнил, что при выстреле надо открывать рот. Почти в это же время справа ударили соседние орудия батареи.

— Всосал, гадюка! — радостно заорал кто-то. — И второй горит!..

Когда Миша вновь бежал за снарядами, ужасающий грохот рванул землю на бруствере огневой позиции, и какая-то сила, болью ворвавшись в уши, толкнула его прямо в ровик, на лотки со снарядами. Испуганный, он выбрался из ровика, прихватив с собой тяжелый снаряд, и увидел, как сержант, у которого из уха текла струйка крови, оттаскивал в сторону упавшего на казенник мертвого наводчика. Миша еще не успел подбежать к пушке с очередным снарядом, а сержант уже прильнул к резиновой наглазнице панорамы, повращал рукоятки маховиков и дернул за спуск. Пушка выстрелила, взметнув впереди себя облако пыли и какого-то крошева. Мише выстрел показался глухим, будто уши у него были заложены ватой. Это озадачило его, родило догадку, что пушка, может, неисправна, и он вопросительно проследил за накатом ствола. А сержант опять припал глазом к панораме, в то время как замковый открыл затвор, а заряжающий подхватил выброшенную дымящуюся гильзу и отшвырнул ее в сторону... Нет, все в порядке...

— Давай снаряды, чего рот раззявил! — свирепо заорал на Иванюту заряжающий — редкозубый, с большими оттопыренными ушами и безбро-

вым лицом боец; Миша не без труда узнал в нем Женю Ершова, которого подменял на посту.

Крик заряжающего прозвучал, казалось, издалека, но Миша не только расслышал его слова, а и глубоко возмутился ими; младшего политрука особенно задели непочтительно выпученные, злые глаза Жени и обидела неблагодарность.

Кинувшись к лоткам за очередным снарядом, Миша чувствовал, как клокочет в нем ярость, и мстительно думал о том, что после боя он выдаст этому лопоухому грубияну на всю катушку: пусть знает, как надо разговаривать с начальством! И почему-то даже не удивился, когда второй раз на том же месте, как только наклонился он над ровиком со снарядами, вновь почувствовал горячий, упругий удар в спину, вслед за которым так оглушительно загрохотало, будто лопнул земной шар. Миша свалился в ровик, переждал, пока перестанут падать с неба комья земли, а когда вылез — не узнал огневой позиции. Какая-то чудовищная сила безобразно прошлась по орудийному окопу, разворотив бруствер, исковеркав и пригнув к казеннику пушки щит и, самое страшное, разметав по сторонам людей и присыпав их, лежавших в изломанных, страшных позах, мелким крошевом земли. Почувствовав, как похолодели и побледнели у него щеки, как упало, опившись крови, сердце, Миша, не выпуская из рук снаряда, подбежал к орудию. Первым увидел «лопоухого»... Женя был мертв... Потом увидел сержанта... Он, прижимая что-то багровое к животу, старался подползти ближе к стенке окопа. Положив на землю снаряд, Миша кинулся помогать сержанту. Но тот, отстранив его рукой и подняв дикий, бессмысленный взгляд, срывающимся голосом сказал:

— Уд-дарь!.. Наведи по стволу!..

Миша выпрямился, посмотрел поверх согнутого щита и все понял сам: метрах в ста впереди надвигался на окоп испятнанный грязно-зеленой краской, похожий на огромную жабу танк. Ствол его тяжелой пушки, кажется, смотрел Мише прямо в глаза, и какое-то мгновение у него не было сил оторвать взгляд от черной пасти этого ствола: будто хотел уловить момент выстрела и успеть упасть.

— Наведи по стволу... — донесся до Миши хрип сержанта.

И он, словно очнувшись от кошмарного сна, рванул правой рукой на себя рукоятку затвора, не забыв, как его когда-то учили, надавить большим пальцем на нажим, пока клин не ударится о буфер. Замок открылся легко. Миша заглянул в ствол, чтобы, как советовал сержант, сквозь него навести орудие в цель, но ничего не увидел: после выстрела в стволе еще густо клубился дым.

Тогда Миша взглянул на панораму: она оказалась на месте и целой! Так в чем же дело?! Он быстро поднял с земли снаряд, ввел его в казенную часть, энергичным движением правой руки дослал патрон в канал ствола, так что ведущий поясок снаряда со звоном врезался в начало нарезов, затем закрыл затвор и приник к панораме... Танк в это время повернул в сторону переправы, его экипаж, видимо, полагал, что орудие замолчало навеки. Мише это было на руку. Он четко видел в прицел танк и, проверив дальность до него по шкале, прикипел меркой прицела к его передней части. Еще мгновение, и он резко дернул за рукоять спускового механизма.

Выстрел прозвучал неожиданно, опять взвихрив впереди ствола демаскирующую пыль. Но Миша успел заметить, что не промахнулся: снаряд врезался в моторную часть танка ниже черного креста в белых угольниках. Танк тут же остановился и окутался облаком дыма.

Что произошло в следующее мгновение, Миша не успел и сообра-

зить. Он вдруг услышал надвинувшийся справа грохот и увидел, как вздыбился, заползая на бруствер орудийного окопа, второй танк — прямо над его, Миши, головой, над сержантом, притихшим под стенкой. Миша даже не испугался, не успел осмыслить, дурной ли это сон или кошмарная явь. Он отпрянул от пушки, вложив в бросок назад всю силу. И это было вовремя, потому что танк всей тяжелой громадой упал на пушку, подмял ее, заскрежетал днищем, залязгал гусеницами. Железо пушки, кажется, что-то заклинило в ходовой части танка, и он сразу не мог слезть с нее и выбраться на противоположный бруствер. Поэтому, поелозив на груде железа, танк начал разворачиваться прямо в окопе. Миша, чтобы не быть раздавленным, выскочил наверх, на бруствер, оказавшись прямо над танком; еще не понимая, что другого выхода у него нет, ибо от танка, как он знал, не убежишь, и не задумываясь, что он будет делать потом, словно в горячке, прыгнул с бруствера на броню танка... И пришло нечто похожее на успокоение. Он быстро взобрался на башню, чтоб не позволить немцам открыть ее и разделаться с ним, оглянулся по сторонам, на что-то решаясь... И тут его сознание прояснилось... Он еще раз оглянулся на поле боя... Конечно же, танк, на который он взобрался верхом, был последним, единственным. Все остальные догорали на лугу или стояли мертвыми грудами!

Танк начал осторожно выбираться из окопа, а внутри его слышались тревожные возгласы. Кто-то резко подавал команду, что-то кому-то приказывал. Миша почувствовал, как повернулась под ним башня, нацеливая пушку в сторону переправы, и решение пришло само по себе. Он быстро снял с плеча свернутую скаткой плащ-палатку, развернул ее и набросил на смотровые щели, ослепив танк. А для верности, взяв в руки автомат и нащупав под палаткой смотровые отверстия, пальнул в них короткими очередями...

Потом увидел, что со стороны переправы, маскируясь кустарником, бежит группа людей. В переднем Миша узнал младшего политрука Большова.

— Держи их, гадов! — орал Большов, размахивая зажатой в руке бутылкой с бензином.

...Через минуту немецкий танк запылал чадным костром.

## 27

Когда идет тяжелое сражение, нет у полководца места для отвлечения мысли к самому себе, своей личности и даже к анализу той работы, которую он делает, управляя войсками. В этом уже не раз убеждался генерал Чумаков Федор Ксенофонтович. Непрерывно меняющаяся обстановка, внезапно назревающие состояния кризиса, необходимость разгадывать и упреждать уловки и маневры неприятеля — все это и многое другое без остатка поглощает внимание и чувства, изнуряет силы, до конца расточает время. Ты можешь испытывать нечеловеческое напряжение, можешь содрогаться от стремительности событий, за которыми немыслимо трудно поспевать, но не должен позволить затуманиться в памяти сведениям о противнике, об убывающих силах своих войск, не должен снижать активную действенность и смелость руководства сражением соответственно поставленной задаче и складывающейся обстановке.

А если ищущая мысль полководца сталкивается с неразрешимостью, если внезапно вкрадываются в русло направляемых им событий трагические мгновения, когда ни опыт, ни выверенные подпорки теории, ни просто здравое суждение не подсказывают, как поступить, что нужно и что не нужно сделать? Как быть тогда? Ведь нет более томительно-тяж-

кого момента в боевой деятельности полководца! Но и нет большего счастья для него, чем когда он усилием ума, проявлением мужества и каких-то других скрытых в нем начал преодолевает этот момент... Генерал Чумаков иногда замечал, как в такие тяжкие минуты до крайности напрягалось его естество и просыпалась сила памяти — энергично и тревожно, обращенная будто к забытым сновидениям, каким-то грезам, а в самом деле — к годам учебы в академии, к бдениям над книгами, картами и схемами; чаще всего в его воображении яркой вспышкой высветливался близкий и дорогой образ профессора военной истории Романова. Словно в галлюцинации видел старенького Нила Игнатовича и слышал, как он извинительно, однако с неизменной назидательностью изрекал какую-то аксиоматичность, давно набившую оскомину, вроде того, что «правила и принципы не научают всему, что надо делать, но указывают на то, чего следует избегать». И случалось нечто необъяснимое: прикоснувшись разумением к всплывшей сакраментальности, совсем далекой по мысли от тупика, в котором оказывался, генерал Чумаков вдруг находил не ответ на мучивший его вопрос, а начинал видеть направление, в котором надо устремляться разумом для постижения того самого главного, что нужно в эту критическую минуту.

И постигал, видимо не подозревая, что в этот момент напряжением ума и воли делал новый шаг к новому, доселе, может, неизвестному ни в практике, ни в теории войны. Новый шаг давался подчас с мучительными сомнениями, ибо на этой войне многое оказалось не таким, как представлялось в академических аудиториях и на полевых учениях. Да и сама задача, которую решала сводная оперативная группа в эти удушливо-жаркие июльские дни, выходила за рамки уставных принципов. Первоначально группе было приказано пробиться сквозь леса к Борисову, овладеть им, а затем развивать удар на Докшицы, чтобы охватить с тыла 57-й моторизованный корпус противника, по которому главный удар наносили севернее Орши два механизированных корпуса 20-й армии.

Но в районе Борисова наступающие непредвиденно столкнулись с только что сосредоточившимся там 47-м моторизованным корпусом немцев, и руководству фронта стало очевидным, что решить задачу по взятию Борисова и окружению 57-го корпуса противника не удастся. Командующий армией в ходе сражения уточнил задачу оперативной группы генерала Чумакова: как можно глубже вклиниться в расположение врага, насколько возможно больше приковать к себе его сил, чтобы обеспечить развертывание по рубежу Днепра наших резервных армий.

Нет, это было не упрощение задачи. Это приказ на сражение до иссякания последних сил, приказ на смертный бой во имя того, чтобы другие соединения в других местах сумели выполнить более важную, главную задачу. Но сие не значило, что группа частей генерала Чумакова могла действовать не по четкому замыслу, с туманной конечной целью. Если бы сомнение закралось в душу Федора Ксенофонтовича, он как командир почувствовал бы себя разоруженным. Он знал один из важных законов военачальника: надо уметь ощущать великое в том, что ты делаешь, уметь соотносить действия подчиненных тебе войск со всем грандиозным, происходящим на обширных полях войны...

Генералу Чумакову казалось, он обладал этим умением, и не только потому, что грамотно с военной точки зрения судил о положении на театре боевых действий и предугадывал нацеленность ближайших операций противника, а и потому, что с первой же минуты после получения приказа о сформировании сводной оперативной группы и о ее задаче Федор Ксенофонтович почти зримо представил себе модель всей предстоящей операции корпусов Западного фронта и схему поэтапных действий своей группы в этой операции. А самое главное — с началом боевых

действий он заставил себя ощутить войсковую группу как монолитную военную силу, хотя по своему складу подобные ей соединения не были предусмотрены никакими штатными расписаниями, а следовательно, нелегко было определять ее возможности решения задач на поле боя.

Когда операция набрала размах, Федор Ксенофонтович, к своему удивлению и радости, начал чувствовать рождение слитности с подчиненными ему частями, гибкость и оперативность работы штаба во главе с полковником Карпухиным, чувствовать через партийно-политический аппарат во главе с полковым комиссаром Жиловым биение пульса и состояние духа личного состава частей. В начальные же часы боя не только утвердилось вчера рожденное соединение, но и будто всех их: Чумакова, Карпухина, Жилова, Думбадзе, Колодяжного, командиров и политработников частей группы, а также рядовых воинов — озарило внезапное внутреннее откровение, вдохнув новый прилив нравственных сил. Главная суть этого откровения была, видимо, в том, что всем стало отчетливо ясно: им поручена задача, выполнение которой может быть сопряжено с верной гибелью большинства из них. Но никто не устрашился, хотя никому не хотелось умирать; шли в бой, теснили врага, понимая, что, чем дальше продвинутся они вперед, тем меньше шансов, если не случится чуда, удержаться на последнем рубеже или выйти из боя. На чудо никто не уповал, но каждого согревала вера, что в смертельной борьбе добра и зла добро всегда в конечном счете берет верх над злом, а поэтому не было места чувству безнадежности: творящее историю мужество не знало такого чувства.

Федор Ксенофонтович действительно ощущал свою войсковую группу как часть самого себя, как единый механизм, ритм и мощь работы которого зависели и от его, генерала Чумакова, приказов и распоряжений. Он ощущал измотанность и обескровленность механизированной дивизии полковника Гулыги, поэтому свел ее полки в штурмовые батальоны, усилив их полковой артиллерией и танками сопровождения. Он понимал затруднения в маневре артиллерии, а посему артиллерийскую бригаду с учетом местности использовал то массированно, то подивизионно, применяя при этом маневр огнем с одной позиции. Танковая бригада, понесшая изрядные потери от ударов с воздуха, протаранивала бреши на главном направлении из последних сил и защищала правый фланг группы, ставший на третий день боев весьма уязвимым.

Днем и ночью части продолжали боевые действия. Днем немцы господствовали в воздухе и их авиация наносила невосполнимые потери. Ночью же нельзя было в условиях лесистой местности применять в полную меру свои артиллерию и танки. И тем не менее генерал Чумаков, часто перемещаясь с одного командного пункта на другой, под обстрелом и бомбежками, под угрозой прорыва к командному пункту немецких автоматчиков, энергично управлял ходом баталии, развернувшейся по фронту на восемнадцать километров. Он успевал улавливать критические ситуации на разных участках в полосе боевых действий и, маневрируя резервными отрядами и огнем артиллерии, умело дирижировал боем. По мере того как таяли силы и возрастал напор врага с фронта и с флангов, он замечал, как сбивался ритм сражения, когда становилось трудно заделывать бреши, защищать фланги, обеспечивать взаимодействие и поддерживать связь. Но все это закономерно. Он и подчиненные ему штабы и части до конца должны были выполнить свой воинский долг. И выполняли как истинные рыцари, но не обреченные.

Только однажды, на второй день боя, испытал Федор Ксенофонтович муки отчаяния и безнадежности. Это случилось, когда проникшая по просеке в тыл его соединения мощная танковая колонна немцев нарвалась на не менее мощную артиллерийскую засаду бригады полковника Мос-

калева, а он, генерал Чумаков, чтобы лишить немцев огневой поддержки, решил пройтись по огневым позициям их артиллерии и минометов танковым батальоном из своего резерва. Когда его танки, нанеся по врагу стремительный удар, стали жаться к лесу, чтобы уйти под защиту своих артиллеристов, им наперехват ринулось больше двадцати средних немецких танков и несколько штурмовых орудий. Федор Ксенофонтович, находясь в своем командирском танке, мог противопоставить бронированному кулаку немцев только шесть тридцатьчетверок и около двух десятков танков старого образца, с бензиновыми двигателями. Казалось, ничто уже не могло спасти батальон от поражения в столь неравном поединке... И только оставалось отдать свою жизнь подороже, с пользой для дела и поэффектнее для примера другим. Но чтоб страх не застил ясность разума и чтоб не захлебнулось преждевременно сердце, надо было пересилить несколько мгновений... Несколько мгновений, когда ты понял, что гибель неотвратима, ощутил, что наступили твои последние минуты. И если ты устоял перед внезапным накатом этого страшного озарения, не заметался, пытаясь все-таки уклониться от смерти, а ожесточился и скрепя сердце ринулся ей навстречу, значит, ты не капитулировал даже в душе. Значит, если случится погибнуть, то в смертную минуту в твоем сердце не останется места для самой тяжкой тоски, какую может испытать человек. Накал самоотреченной страсти, дерзкого боевого азарта и ненависти к врагу вытеснит из твоей груди все другие земные чувства.

Но при этом ох как нелегко нравственно зажмуриться, если ты как военачальник отвечаешь за судьбы тысяч людей, за выполнение задачи и гибнешь не на своем капитанском мостике, а на обочине начатого тобой сражения, гибнешь потому, что поддался искушению успеть здесь и успеть там, дабы скорее повергнуть врага...

Только случай выручил тогда генерала Чумакова и танковый батальон, который приготовился было вступить в неравное противоборство. Немцы неожиданно прекратили атаку и вышли из боя. Это, как потом узнает Чумаков, был момент, когда немецкое командование, почувствовав силу ударов двух наших механизированных корпусов севернее Орши, разгадало замысел маршала Тимошенко и начало спешно принимать контрмеры. Главные силы 47-го немецкого механизированного корпуса, увязшие в сражении со сводной группой частей генерала Чумакова, получили приказ немедленно прекратить бой и выйти в район Трухановичей и Сенно...

Страшный это был и жестокий урок для Федора Ксенофонтовича, о котором ему хотелось бы позабыть, оставив лишь в закромах знаний выводы из него. Но человек, к сожалению, не властен приказывать своей памяти. Сколько в эти напряженные дни ни происходило событий, в которых он, генерал Чумаков, играл первую скрипку, направляя наступательные и оборонительные бои по нужному руслу, маневрируя силами, изобретая уловки для врага, анализируя данные разведки и вновь принимая меры соответственно постоянно меняющейся обстановке, а память укоряюще возвращала его ко второму дню контрнаступления, когда он водил батальон в атаку. И как бы спрашивала: «А что было б сейчас, если бы ты не вернулся из той атаки?..» «Незаменимых нет!» — сердито отвечал себе Федор Ксенофонтович, но внутренний червь не переставал точить и грызть, особенно тогда, когда он находил очередное важное и неожиданное решение, какое другой на его месте мог бы и не найти...

И вот сегодняшний бой, грянувший ранним туманным утром, когда немцы, скрытно переправив через Березину мощный танковый кулак,

пытались рассечь им войсковую группу Чумакова, разрушить переправы и положить начало полному уничтожению частей, замкнутых в кольцо. Федор Ксенофонтович в числе других тактических ходов немецкого командования предусмотрел и этот и заблаговременно выставил в нужном месте крепенький, насколько еще позволяли силы, заслон. Об него и расшиб противник свой кулак.

С правого берега притока, взобравшись на башню замаскированного танка, генерал Чумаков внимательно следил за тем, как развертывалось по ту сторону сражение. Саперы уже закончили к утру наводку переправы, и у Чумакова была возможность в случае крайней необходимости бросить навстречу прорвавшимся танкам немцев последний очень малочисленный танковый резерв. Но впереди ведь ждало теперь главное — прорыв вражеского кольца. Надо было жестко экономить силы. И Федор Ксенофонтович приказал выдвинуть к переправе на прямую наводку единственную имевшуюся при штабе батарею полковых пушек.

Чтобы занять позицию с хорошим обстрелом, пришлось перетаскивать орудия по болотистому грунту, и на это было потрачено немало времени. Но когда немецкий танк оказался на огневой позиции ближайшего к переправе орудия, батарея полковых пушек уже изготовилась к бою. Еще несколько мгновений, и ее снаряды устремились бы к цели.

В этот момент на башне вражеского танка появился человек. Наводчики орудий сразу же увидели его сквозь оптику своих панорам, а генерал Чумаков, всматриваясь в бинокль, даже узнал в человеке младшего политрука Иванюту!..

Потом, когда Миша Иванюта, усталый, грязный и безмерно счастливый, предстал перед начальством, Чумаков спросил у него:

— Что вы делали на батарее?

— Собирал материал о героизме.

— Почему не вернулись в штаб, когда начался бой?

— Как же я мог вернуться? Что подумали б красноармейцы?.. Появились немецкие танки, а младший политрук спешит в тыл.

— Ну хорошо, — согласился Федор Ксенофонтович. — А зачем вам понадобилось залезать на немецкий танк? Могли же наши сшибить!

— Не нашел другого выхода, — чистосердечно сознался Иванюта.— На танке было самое безопасное место в ту минуту.

Кажется, смешной разговор. Прямота и логичность доказательств младшего политрука Иванюты были неотразимы и на какое-то время даже развеселили всех, кто присутствовал при сем разговоре. А Федор Ксенофонтович неожиданно для себя почувствовал облегчение: его перестала донимать совесть за тот случай, когда он, оставив наблюдательный пункт, повел танки в атаку. Ведь действительно на войне существует своя логика, каждая ситуация диктует свои особые требования, и еще не нашлось мудреца, который бы все поступки человека в бою разложил по полочкам, точно определив степень их полезности.

«Никто ничего не знает», — такой обтекаемой формулой закончил Федор Ксенофонтович поединок с самим собой и начал отдавать распоряжения о задымлении местности и выходе частей к переправам.

...Воспользовавшись шоковым состоянием немецкого командования, которое просчиталось в своих надеждах на внезапный танковый таран, группа генерала Чумакова быстро откатывалась на восток, концентрируя силы для удара по вражеским войскам, замкнувшим в ее тылу линию фронта.

В конце дня неподалеку от совершавшего марш штаба сел на лесную поляну маленький двухкрылый самолет, исполосованный зеленой краской

разных оттенков. Летчик вручил генералу Чумакову записку от начальника штаба армии. В ней указывалось: «Генерал Ташутин ранен. Командующий фронтом приказал вам принять армию. Посылаю за вами самолет».

Федор Ксенофонтович раздумывал недолго и ни с кем не советовался. Написал ответ, что просит разрешить ему вступить в командование армией только после вывода своих частей из окружения. И приказал посадить в самолет тяжелораненого красноармейца.

Когда самолет улетел, полковой комиссар Жилов обиженно спросил у генерала:

— Федор Ксенофонтович, зачем прилетал самолет? Что у вас за секреты от меня?

— Никаких секретов! — Чумаков рассказал полковому комиссару все как есть.

Жилов помрачнел:

— С приказами командующего фронтом не шутят!

— А кто собирается шутить? Приказ будет выполнен. — Федор Ксенофонтович оглянулся на лес, где отдыхали командиры и политработники. — Как твой Иванюта сказал? «Появились немецкие танки, а младший политрук спешит в тыл?..» В его словах великая правда. Она касается и генералов...

История уже не раз видела и запечатлевала в своей памяти, как алчные завоеватели, пытаясь скорее проникнуть к сердцу России — Москве, избирали одни и те же дороги, пролегшие севернее Полесья, через Минск, Смоленск, Вязьму. И гитлеровский генеральный штаб, разрабатывая захватнический план «Барбаросса», оказался верным этой исторической традиции. Уже в первых числах июля 1941 года немецкое командование, достигнув определенных оперативных успехов в приграничных сражениях и полагая, что основные силы Красной Армии на центральном направлении разгромлены, нацелило на Смоленск свои танковые группы, объединенные для удобства управления в 4-ю танковую армию под командованием фельдмаршала фон Клюге. Гитлеровцы были уверены, что на подступах к Смоленску они уничтожат оставшиеся соединения Красной Армии, прикрывавшие московское направление, и беспрепятственно устремятся к столице СССР.

Это были дни, когда советское военное руководство, проанализировав тяжкие события первых двух недель войны и вскрыв стратегические замыслы немецкого генерального штаба, спешно подтягивало на угрожающие направления армии резерва Ставки.

Маршал Тимошенко, приняв командование Западным фронтом, простершимся от Идрицы на севере до Речицы на юге, вместе со своим штабом и под руководством Ставки Главного командования напрягал усилия для стабилизации линии обороны за счет выдвигавшихся на запад шести армий резерва и отходивших со стороны Бобруйска весьма ослабленных соединений 4-й армии. В этих целях в полосе фронта были предприняты контрудары двумя механизированными корпусами, имевшими в своем составе около 700 танков, и еще несколькими крупными соединениями.

И случилось так, что, когда немцы, перегруппировав силы, возобновили решительное наступление в сторону Смоленска, внезапно грянули встречные удары на лепельском, борисовском и бобруйском направлениях. Это явилось для врага невероятным и неожиданным: в его войсках началась суматоха.

Немецкое командование, почувствовав мощь атак двух мехкорпусов армии генерала Курочкина, спешно устремило для парализации их действий основные силы своего 2-го воздушного флота, несколько танковых дивизий и выбросило в район танкового сражения крупный воздушный десант.

За четверо суток упорных боев советским частям удалось перемолоть много живой силы и техники врага и отбросить захватчиков на несколько десятков километров.

Наступательные действия механизированных и стрелковых корпусов Западного фронта продолжались до 9 июля. Нанеся немцам тяжелые потери, наши соединения совместно с частями, которые пробивались из вражеского тыла, нарушили расчеты и планы захватчиков, не позволив им в намеченное время выйти в район Витебска и к Днепру у Орши.

На второй день, 10 июля 1941 года, началось историческое Смоленское сражение — на кратчайших путях из Белоруссии к Москве. В этой битве, как потом станет ясно, советские войска остановили самую сильную вражескую группу армий «Центр». Почти на два месяца противник вынужден был перейти к обороне на главном стратегическом направлении — впервые в ходе второй мировой войны. Именно Смоленское сражение положило начало крушению гитлеровского плана «молниеносной» войны против СССР.

## 28

«Ну зачем я это сделал?.. Не надо было, не надо!.. Ах, дьявол меня побери!» — мысленно сокрушался Владимир Глинский, сидя у окна вагона, битком набитого ранеными. Стояла душная ночь, окно было открыто, и в него вместе с ветром врывались запахи спелых хлебов. Санитарный поезд шел в Москву.

Досадовал Глинский по той причине, что оставил для руководства абверкоманды при 4-й германской армии отчет о своих действиях, своем положении и местопребывании, а через час был тяжело ранен — осколок мины раздробил ему кисть левой руки. И теперь метался в тревоге: пришлют кого-нибудь на связь с ним, а его уже нет, да и не дай бог, вдруг связной попадется чекистам...

В вагоне было темно. Только временами вспыхивали электрические фонарики в руках санитаров, когда они появлялись по зову раненых или проносились в проходе по каким-то своим делам. Глинский старался не вслушиваться в стоны, в горячечный бред искалеченных людей, в неумолчный крик обгоревшего танкиста в конце вагона. Он бережно нянчил свою забинтованную руку, ощущая ее, как сгусток чего-то горячего, тяжелого и чужого. Не успела зарасти пулевая рана на ноге, как поймал рукой осколок. Ранили Глинского под Борисовом, когда части сводной оперативной группы генерала Чумакова на четвертый день боев получили приказ пробиваться из окружения. Глинскому поручили заминировать мост через речку Можа. Из-под моста Глинский уходил последним, засунув между брусками тола пакет с надписью по-немецки: «Внимание! Очень важно! Передать в штаб 4-й армии» — и перерезав электрические провода. Мост остался невзорванным по таинственной для большевиков причине, выяснить которую, после того как по нему проскочили немецкие танки, никто уже не мог. Будут немецкие саперы убирать из-под моста взрывчатку, наткнутся на пакет... А ранен был, когда перебегал дорогу, чтобы успеть взобраться на броню танка, в который полковник Карпухин погрузил свое штабное хозяйство. Надо было переждать обстрел в окопе, а он, боясь отстать, побежал....

В числе разных важных сведений, переданных руководству абверкоманды, была почти дословная запись разговора Чумакова и Карпухина по радио и телефонного разговора между Карпухиным и командующим армией Ташутиным. Пользуясь тем, что «майор Птицын» числился начальником саперного наряда при штабе, Глинский зашел в палатку полковника Карпухина, чтобы тот указал на карте место очередного промежуточного командного наблюдательного пункта. Случилось это на второй день боев, на территории, отбитой у немцев. Генерал Чумаков, вызвав Карпухина по радио, приказал ему немедленно связаться с генерал-лейтенантом Ташутиным и передать то, что он будет говорить... И начался этот диалог.

«Танки, которые прорвались в наш тыл по лесной просеке, действительно принадлежат сорок седьмому моторизованному корпусу немцев,— докладывал Чумаков, а Карпухин слово в слово повторял все в телефонную трубку.—Силами артиллерии Москалева танки остановлены. Подбито и сожжено пятьдесят шесть машин! При контратаке нашим танковым батальоном уничтожены две пушечные и три минометные батареи, разбиты тягачи и грузовики. Противник понес большие потери в живой силе».

Далее Чумаков сообщал то, ради чего был затеян этот разговор при посредничестве Карпухина.

«После выхода танкового батальона из контратаки он подвергся нападению средних немецких танков. Завязалась пушечная дуэль. А затем произошло непонятное: немцы неожиданно прекратили боевые действия и, свернувшись в колонну, двинулись под прикрытием танков в обратный путь. Начавшаяся бомбежка тоже вдруг прекратилась, и самолеты ушли на север. Сейчас артиллеристы Москалева ведут сосредоточенный огонь по удаляющейся колонне».

Что все это могло значить, Чумаков, конечно, догадывался, но не мог не предупредить командарма, что скопище немецких танков появится в каком-то другом месте...

«Догадки твои правильны, — ответил Чумакову генерал Ташутин через Карпухина. — Припекло немцев на лепельском направлении, вот и мечутся... Продолжайте наступление!..»

Еще два дня после этого наступала группа генерала Чумакова, но пробиться к Борисову все-таки не смогла.

Неприятно вспоминать обо всем этом Владимиру Глинскому, потому что с воспоминаниями будто возвращался постыдный страх, перенесенный им во время прорыва из замкнутого немцами кольца, когда по пробитому советскими танками узкому коридору с флангов гвоздили десятки немецких минометов, а потом еще навалились «юнкерсы». Страшился Глинский не самой смерти, хотя и ее тоже боялся; ужасала мысль о том, что падет в чужом обличье и будет похоронен в одной яме с людьми, против которых восстал с оружием, а там, в абвере, его занесут в тайный список, как неведомо куда исчезнувшего, не оправдавшего доверия и нарушившего клятву... А если уж не кривить душой ни перед богом, ни перед собой и не прислушиваться к голосу, который иногда пробуждался в его душе, то все гораздо проще: Владимир Глинский не хотел умирать на пути возвращения в свою колыбель, уходить в небытие в преддверии освобождения России от большевизма, не желал, чтобы перенесенные им страдания и лишения не были отплачены светлыми днями, наполненными радостью, счастьем и деяниями во благо вновь обретенной родины.

И еще было что-то необъяснимое в его поступках. Когда прошло горячечное состояние, вызванное ранением, и когда понял, что если от-

станет от красных и немецкие врачи даже сохранят ему раздробленную осколком руку, то все равно он уже не солдат секретной армии особого назначения, а горемыка на гитлеровских задворках, без места в жизни и без будущего. Правда, когда он сидел на броне советского танка, его сердце пронзил коварным вопросом тот скрытый в нем человечек, который не терпел неясностей: «Разве мало будет дел для графа Глинского, пусть инвалида, в освобожденной от большевизма России?..» Нет, у него почему-то исчезло желание прислушиваться к таким вопросам, вдумываться в них и отвечать... Если в канун вторжения немцев на просторы Советского Союза его воображение в пастельных тонах рисовало картины с хрустальными дворцами и райскими кущами, уготованными судьбой для него, графа Глинского, смертельно уставшего от печальной и нищенской жизни на чужой земле, то сейчас какая-то гипнотическая сила усмирила его фантазию, а его мысли, прежде такие стремительные и дерзкие, почему-то начали все чаще сбиваться в бесформенный комок, который надо раздергивать, распутывать, но тогда он обязательно откроет что-то для себя нежелательное, какую-то постыдную, укоряющую тайну, распознает что-то новое в этом враждебном и ненавистном мире, в этих доверчивых людях, принявших его за своего, за некоего «майора Птицына».

Такая сумятица чувств и мыслей привела к тому, что Глинский и сам толком не знал, как и для чего пробился он вместе со штабом Чумакова на эту сторону фронта, а сейчас едет в Москву... Да, да!.. Именно в Москву везет его санитарный поезд, набитый ранеными, среди которых в каком-то вагоне лежит на подвесных носилках тяжелораненый генерал-лейтенант Ташутин, командующий армией. Владимир Глинский в глаза не видел этого Ташутина, и эту фамилию он впервые услышал из уст полковника Карпухина; теперь же случаю было угодно распорядиться так, что ранение Ташутина скажется, видимо, на судьбе Владимира Глинского.

...Генерал-майор Чумаков, назначенный командующим армией, примчался в Могилев на вокзал, к санитарному поезду, которым отправляли Ташутина. Глинский окликнул Федора Ксенофонтовича из окна вагона, когда генерал, повидавшись с Ташутиным и о чем-то поговорив с ним, покидал запруженный людьми перрон... От Чумакова он и услышал, что санитарный поезд направляется в Москву. Но главное в другом: увидев и узнав майора Птицына, генерал Чумаков искренне обрадовался и даже взволновался. Боясь, что поезд вот-вот тронется, торопливо и сбивчиво стал рассказывать ему о своей семье, переехавшей из Ленинграда в Москву, и о том, что он не помнит московского почтового адреса. Потом Федор Ксенофонтович, убедившись, что майор Птицын — ходячий раненый, попросил его по приезде в Москву отнести жене записку и набросал на листе бумаги план, по которому будет совсем нетрудно разыскать нужный дом на 2-й Извозной улице. Значит, и Москва для Глинского окажется не столь враждебной и загадочной...

Ночь за окном вагона делалась все глуше. Поезд шел строго на восток по какой-то одноколейной линии, и было удивительно, что его не задерживали на крохотных станциях, забитых эшелонами.

«Добрый день, Ирочка!

Прошла вечность с той грустной минуты, как мы попрощались с тобой близ твоего дома. И, как полагается, на протяжении вечности произошло событий гораздо больше, чем за всю мою прежнюю жизнь.

На третий день после разлуки с Ленинградом мы уже были в бою. Что это такое — лучше тебе не знать: все оказалось не так, как мне виделось раньше. Но зато я открыл боевой счет... Когда первый раз вылетал в составе звена наперехват «юнкерсам», думал о тебе и верил, что обязательно собью фашиста. А когда сцепились с «мессерами», уже ничего не думал; оказывается, если взгляд на прицеле или занят поиском в сфере, мысли исчезают и остается только жгучее желание: найти фашиста и срубить его с неба, вогнать в землю.

На седьмой день я сбил «мессера» (до этого — двух «юнкерсов»), но не уберегся и сам: меня тоже сбили. Спустился на парашюте за линией фронта и сразу же оказался среди своих, пробивавшихся на восток. А потом узнаю, что генерал, который вел наш отряд, носит такую же фамилию, как твоя, — Чумаков. Ну, думаю, с генералом, твоим однофамильцем, не пропаду. И верно, выбрались мы из окружения, и тут же я разыскал свою часть, где меня уже списали... Пришлось воскресать. Сейчас мы едем получать новые машины, и вот с дороги, а точнее, из Москвы пишу тебе это письмо и очень огорчаюсь, что Ленинград так далек от нашего маршрута. Хоть издали бы увидеть тебя...

Пиши мне, пожалуйста, письма и, как только сообщу тебе свой адрес, пришли все сразу.

Крепко тебя целую, твой навсегда

Виктор Рублев».

Это письмо переслали в Москву, на 2-ю Извозную улицу, из отдела «До востребования» Центрального почтамта Ленинграда, куда Ирина отважилась послать слезную просьбу, надеясь, что эта просьба попадет в руки таким же, как она, влюбленным девушкам и они не оставят без ответа ее послание.

И сегодня в доме праздник.

Ира никогда бы не стала делиться с матерью своей тайной, если б в письме не было упоминания о генерале Чумакове. Конечно же речь идет об отце! Мать, прочитав письмо, залилась счастливыми слезами, стала целовать Ирину, говоря ей какие-то милые глупости... Сидя на диване, они еще и еще перечитывали письмо, смеялись, радовались и опять плакали.

— Почему ж ты не сказала ему, что твой отец генерал? — недоумевала Ольга Васильевна, глядя на дочь сияющими глазами.

— Понимаешь, мама... — Ирина и сама толком не могла объяснить все. — Он мне, будто дурочке, очень старательно объяснял, что от ефрейтора до лейтенанта расстояние больше, чем от лейтенанта до генерала. А мне было так смешно!.. Но я не подавала виду и даже нарочно обмолвилась, что в нашем роду нет военных и я ничего в этом не смыслю. Он еще выше нос задрал... Но был таким славным в этом маленьком чванстве и безобидном хвастовстве, что я не стала его разочаровывать...

День сегодня полон счастливых неожиданностей. Не успели мать с дочерью нарадоваться этому письму и нечаянной весточке об отце, как в передней осторожно звякнул звонок. Ирина подбежала к двери, открыла ее и увидела на лестничной площадке их приветливого усача дворника, взъерошенного, с возбужденными, будто хмельными, глазами и какой-то нетерпеливой, безудержной улыбкой. А из-за его спины выглядывал незнакомый майор с забинтованной, на перевязи, левой рукой.

— Принимайте гонца с доброй вестью и с личным посланием от генерала Чумакова! — с театральной торжественностью и поклоном сказал дворник.

Майор, деликатно оттеснив дворника, сделал шаг к Ирине и, приложив руку к фуражке, представился:

— Майор Птицын!

Ну что за день сегодня!..

## 29

Полководец, проигравший сражение, еще долго и не единожды скитается потом страждущей мыслью по извилистым путям складывавшихся обстоятельств и принимавшихся им решений и часто в укор своей недремлющей совести находит более простые и более разумные решения. С особой остротой и чувствительностью постигает он для себя истину, и его начинает преследовать болезненное желание чуда — возвратиться в прошлое и повторить сражение, о котором он теперь думает с иной энергичностью ума, с пониманием причин своего неуспеха.

Нечто подобное в эти июльские дни испытывал Сталин: его нестерпимо мучил вчерашний день, минувший месяц, кажется, болели сами его мысли о том, что Красная Армия за три недели войны вынуждена была отдать на поругание врагу Латвию, Литву, Белоруссию, часть Правобережной Украины и Молдавии. Страшно смотреть на карту: фашисты прогрызли полпути от границы к Москве.

Но сейчас продвижение врага резко замедлилось и кое-где приостановилось, налажено более или менее четкое управление фронтами, а чтобы еще больше приблизить стратегическое руководство к войскам действующей армии, созданы Главные командования на трех стратегических направлениях советско-германского фронта: Северо-Западном, Западном и Юго-Западном, главнокомандующими которых назначены члены Ставки маршалы Ворошилов, Тимошенко и Буденный. Председателем Ставки назначен Сталин, который вскоре по решениям Политбюро ЦК стал народным комиссаром обороны СССР, а с 8 августа и Верховным Главнокомандующим. Дан разбег во всем, из чего складывались потребности войны, упрочено после потрясения духовное равновесие в армии и в народе, уяснены конечные цели и тяжкие пути к ним...

В этот день, придя на заседание Политбюро ЦК и Государственного Комитета Обороны, многие обратили внимание, что Сталин выглядел не таким мрачным, каким он был в последнее время, и даже какая-то лукавинка светилась в его золотистых неспокойных глазах. Может, причиной этому было успешное завершение переговоров с английской миссией во главе с послом Стаффордом Криппсом и подписание соглашения между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии, а может, обнародованные Совинформбюро сведения о том, что за первые три недели войны Германия понесла потери в живой силе убитыми, ранеными и плененными в четыре раза больше, чем Советский Союз? Но верны ли эти сведения?..

В кабинет Сталина вошел Борис Михайлович Шапошников — новый член Ставки Главного командования. Сталин встретил его на середине ковровой дорожки, поздоровался за руку и, всмотревшись в усталое лицо и грустные глаза маршала, снова помрачнел.

Пригласив Бориса Михайловича сесть, Сталин обратился к членам Политбюро:

— Мы вызвали товарища Шапошникова с Западного фронта для участия в переговорах с английской миссией... Сейчас переговоры позади, и мы хотели бы услышать от Бориса Михайловича, как нового члена

Ставки, его мнение о положении дел на Западном фронте и вообще на наших фронтах. — Шапошников был один из немногих, кого Сталин изредка называл по имени и отчеству.

Присевший было на стул маршал встал и с несколько растерянной улыбкой ответил:

— Товарищ Сталин, я не готовился к такому докладу.

— Сидите, пожалуйста, — спокойно сказал Сталин, тоже присев за свой письменный стол.— Речь идет, товарищ Шапошников, не о докладе... Вы наш видный военный теоретик... Объясните, пожалуйста, членам Политбюро и Государственному Комитету, почему, на ваш взгляд, Красная Армия так далеко отступила.

— Что я могу сказать... — раздумчиво произнес Борис Михайлович, собираясь с мыслями. Голова его чуть подрагивала от скрытого волнения. — Как вы знаете, неприятель заблаговременно выдвинул к нашим границам три исходные группировки войск: «Север», «Центр» и «Юг». Сейчас эти группировки после трехнедельных боев вышли на линию Пярну — Тарту — Псков — Витебск — река Днепр и далее: Житомир — Могилев-Подольский. По этой линии мы впервые за время военных действий достигли некоторой стабилизации фронта... Я не беру на себя смелость заниматься анализом причин наших неудач, но, насколько мы осведомлены о замыслах Гитлера, немцы не достигли намеченных ими целей, которые состояли в том, чтобы исходными группировками уничтожить главные силы Красной Армии в приграничных сражениях и открыть пути для беспрепятственного продвижения своих войск к Ленинграду, Москве и в Донбасс. Более того, с вводом в действие наших стратегических резервов и в итоге перегруппировки войск мы, как я уже сказал, несколько стабилизировали положение. — Маршал Шапошников замолчал, всматриваясь в непроницаемое лицо Сталина, в его цепкие, буравящие глаза.

— Продолжайте, — тихо сказал Сталин, и по интонации его голоса было непонятно, как он отнесся ко всему услышанному.

Прокашлявшись, Борис Михайлович продолжил:

— Я не убежден, разделяет ли мою точку зрения Климент Ефремович, с которым мы вместе представляли на Западном фронте Ставку Главного командования... Но с приходом на Западный фронт маршала Тимошенко оперативное руководство войсками заметно улучшилось. Сыграли свою роль контрудары наших механизированных и стрелковых корпусов. Враг понес большие потери, особенно в районах Сенно, Лепеля, на борисовском направлении, под Бобруйском... Серьезный урон нанесла врагу в оборонительных боях, опираясь на сооружения укрепленных районов, армия генерала Ершакова. Хорошо дрались армии Курочкина и Филатова. Стойко защищают наши войска подступы к Смоленску, хотя там очень тяжело... Мне думается, что неприятель уже не сможет вследствие понесенных потерь наступать одновременно на всех фронтах. Его расчеты на «молниеносную войну» не оправдались, и теперь замыслы противоборствующих сторон будут диктоваться реально складывающейся обстановкой. С последовательным вводом в сражение основных сил второго стратегического эшелона советских войск и удлинением коммуникационных линий противника создалось положение, при котором есть надежды достигнуть на главных направлениях равновесия сил, которое немцы могут нарушить только скрытым маневром войск, а также переброской на восток дивизий с Запада. Но при этом надо еще учитывать, что немецкая армия мобильнее нашей... Следовательно... — Маршал запнулся, точно слова, которые он хотел сказать, обжигали его.

— Следовательно, ближайшее будущее не сулит нам... — Сталин умолк, выжидающе глядя на Шапошникова.

— Да, товарищ Сталин, отступать еще придется...— негромко, но очень внятно ответил Шапошников, и голова его дернулась сильнее обычного.

Наступила тишина — внезапная и тревожная, точно после выстрела.

Сталин поднялся с кресла, но тут же опять сел, правая рука его протянулась к стопе книг на столе, скользнула пальцами по их корешкам, но не остановилась ни на одной. Вдруг он заговорил с каким-то внутренним напряжением:

— Нам нельзя забывать вот чего... — Он обвел взглядом членов Политбюро, будто удостоверяясь, слушают ли его, остановил глаза на маршале Шапошникове и продолжал: — В статье «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности» Ленин напоминал, что серьезно относиться к обороне страны — это значит основательно готовиться и строго учитывать соотношение сил... Прямо скажем, что успеть осуществить задуманное нам не дали, и мы, учитывая соотношение сил, должны принять самые чрезвычайные меры, чтобы в конце концов это соотношение склонилось в нашу пользу... — Сталин умолк и, склонив голову, опустил взгляд, словно произнесенные им сейчас фразы прозвучали помимо его воли и он испытывал недовольство. — Ленинские слова я напомнил, чтобы у нас было более правильное, трезвое представление о ходе военных событий... Но отнюдь не для того, чтобы мы оправдали наши неудачи ленинской мыслью, ибо мобильность сегодняшней германской армии, как подтвердил нам сейчас товарищ Шапошников, такова, что можно доотступаться до полного поражения!.. Мы должны драться за каждый метр нашей земли!.. Я надеюсь, что все понимают меня так, как надо. — Сталин обвел взглядом сосредоточенные лица членов Политбюро и вновь обратился к маршалу Шапошникову: — Борис Михайлович, значит, мы не ошиблись, что не стали держать Тимошенко в Москве? — И Сталин коротко взглянул на Молотова.

— Безусловно, — ответил Шапошников.

— А как вы полагаете, справляется ли с командованием Юго-Западным фронтом товарищ Кирпонос? — снова спросил Сталин.

Шапошников пожал плечами и после короткого раздумья с чувством неловкости сказал:

— Прекраснейшая биография, достойнейший, необыкновенной храбрости человек. Но командовать таким большим фронтом в столь трудных условиях ему, пожалуй, тяжеловато: из-за недостаточной оперативно-стратегической подготовки. — Маршал Шапошников помедлил, не зная, стоит ли еще говорить что-либо о Кирпоносе; после паузы добавил: — Только два года назад Михаил Петрович Кирпонос командовал дивизией. Согласитесь: не так просто перестроить за столь короткий срок свое мышление, свою психику, изменить свои мерки оценок оперативно-стратегических коллизий. Масштабы фронтовых задач трудно втиснуть в мерки недавнего комдива.

— Я не согласен с Борисом Михайловичем, — сказал Ворошилов, как только Шапошников умолк. — Если бы мы в гражданскую войну ждали, пока наши пролетарские командиры осилят академии, нас беляки раздавили бы!.. Кирпонос умеет оценивать обстановку и принимать решения, умеет опираться на штаб фронта.

— Верно, — согласился с Ворошиловым Сталин. — Я думаю, что у нас пока нет достаточных оснований сомневаться в Кирпоносе. Юго-Западный фронт, при всем драматизме сложившихся там событий, с первого дня войны упорно сражается за каждый рубеж. У Кирпоноса опытные помощники: начальник штаба товарищ Пуркаев превосходно знает свое дело, начальник оперативного отдела товарищ Баграмян, как мне докладывал генерал Жуков, инициативный и мыслящий штабист. А сейчас,

когда образованы главные командования стратегических направлений, руководство Юго-Западного фронта получит подспорье в лице товарища Буденного. — Сталин посмотрел на ранее сделанную синим карандашом пометку на листе бумаги и продолжал: — Теперь об общем выводе... Трудно не согласиться с маршалом Шапошниковым, что стратегическая инициатива пока не за нами... Но очень важно, что и немцы не осуществили своих стратегических намерений... Значит, наша задача — изматывать фашистов дальше. Западному фронту надо превратить треугольник Орша — Смоленск — Витебск в своеобразную наковальню и как можно больше расколотить на ней вражеских сил... — И опять задал вопрос Шапошникову: — Борис Михайлович, какие звенья в цепи сегодняшних проблем, с вашей точки зрения, наиболее слабы?

— Авиация и высшие командные кадры, — без промедления ответил маршал.

— Авиация... и высшие командные кадры, — растягивая слова, будто всматриваясь в них, повторил Сталин. — Авиацию мы создаем усиленными темпами... А кадры... надо разумно использовать те, что мы имеем, и зорко присматриваться к людям, которые хорошо проявляют себя на фронте. Война должна выдвинуть талантливых командиров... — Сталин заметил, что при этих словах маршал вздохнул и с какой-то горечью в глазах опустил голову. — А вы видите еще какой-нибудь выход, товарищ Шапошников?

— К сожалению, не вижу, — ответил маршал.

Сталин поднялся из-за стола, взял в пепельнице нераскуренную трубку и, разглаживая мундштуком свои толстые усы, прошелся вдоль кабинета. Потом он остановился возле маршала Шапошникова и, глядя на него в упор, приглушенно заговорил:

— Я вам очень верю, Борис Михайлович... Мы всегда вам верили, видя вашу преданность военной науке, ваши заслуги в разработке планов обороны страны и ваши усилия в оперативной подготовке штабов и командных кадров... Скажите, пожалуйста, почему в адресованной мне телеграмме от седьмого июля об аресте и предании суду бывших руководителей Западного фронта рядом с подписями Тимошенко, Мехлиса, Ворошилова и Буденного я не увидел вашей подписи?

В кабинете наступила тревожно-тягостная тишина. Все устремили взгляды на потемневшего лицом маршала Шапошникова. Борис Михайлович, сдерживая в себе желание, чтобы по извечной привычке истинно военного человека не встать, отвечая на вопрос старшего, выдержал прямой взгляд Сталина и с раздумчивой неторопливостью сказал:

— Когда подобный документ подписывают коллективно, значит, каждый в отдельности в чем-то сомневается...

— А вы разве сомневаетесь в правильности этого шага?

— Нет, я не сомневаюсь. Трагедия генералов Павлова, Климовских, Григорьева, Клыча, Коробкова... меркнет на фоне трагедии десятков и десятков тысяч людей, погибших или оказавшихся в плену у немцев.

— А потеря территории, а уничтожение нашей авиации, а захват фашистами наших складов?! — Сталин смотрел на маршала с холодным прищуром глаз.

— Да, — согласился Шапошников, — и все это, вместе взятое, привело к тому, что надо было решиться на такой трудный, но в условиях военного времени правомерный шаг, о котором в назидание должен узнать весь командный и политический состав Вооруженных Сил... А относительно моей подписи на телеграмме... я считаю, что это прерогатива наркома обороны... Заместителю наркома, каковым является ваш покорный слуга, по неписаному военному этикету не полагается подкреплять своей подписью подпись наркома, да еще и председателя Ставки.

— А мы, значит, нарушили прерогативу? — спросил маршал Ворошилов, сделав ударение на слове «нарушили».

— Почему же? Вы, Климент Ефремович, член Политбюро и член Ставки Главного командования. — Борис Михайлович извинительно улыбнулся.

— Меня удовлетворил ваш ответ, товарищ Шапошников, — спокойно сказал Сталин и, подойдя к столу, начал набивать трубку. После небольшой паузы он опять обратился к маршалу: — Вы, Борис Михайлович, лучше меня знаете руководящие военные кадры. Не могли бы вы назвать десяток фамилий людей, кого можно бы прямо сегодня назначить командармами?

— Надо подумать и посоветоваться, — с готовностью ответил маршал, а затем, колеблясь, спросил: — А нельзя ли вернуть в армию нескольких талантливых людей... репрессированных или отстраненных, как я убежден, по недоразумению? Они могли бы сейчас командовать армиями...

Опять наступила тревожная тишина. Сталин молчал, молчали и все остальные, а маршал казнился в душе, что с ходу не нашел убедительных слов о невиновности тех, кого он имел в виду.

— Назовите нам бывших военных, за которых вы можете поручиться... — тихо, будто с досадой, проговорил Сталин.

— Я мог поручиться за тех и за таких, какими знал их до ареста, — с непроизвольной отчужденностью ответил Борис Михайлович. — А какими они стали сейчас, я не знаю... Но я могу назвать несколько фамилий... Боюсь только от волнения запамятовать кого-нибудь...

— Вы спокойно подумайте, — с твердостью выговорил Сталин, — вспомните кого надо и завтра доложите мне.

— Слушаюсь, товарищ Сталин... Среди них есть настоящие военные, умные головы...

— Будем считать, что с этим вопросом покончено, — мрачновато сказал Сталин.

Бесшумно открылась дверь кабинета, и вошел генерал армии Жуков, держа под мышкой сложенные карты и красную папку.

— Разрешите, товарищ Сталин, докладывать? — густым уверенным голосом спросил он, скользнув невеселым, усталым взглядом по лицам членов Политбюро и Государственного Комитета Обороны.

— Пожалуйста, докладывайте, — разрешил Сталин; он зажег спичку и начал раскуривать трубку.

На стол, покрыв зеленое сукно, легла оперативная карта с синими и красными, будто придавившими ее, стрелами, разграничительными линиями, рубежами, обозначениями и надписями. Кажется, в кабинет зримо ворвалась война, с холодящими душу тревогами, с задымленными горизонтами, с муками и надеждами.

А там, за гремящими далями, в черном фашистском логове, Гитлер и его приспешники уже предвкушали торжество победы. Они были уверены, что война ими выиграна.

Война же только начиналась. Всколыхнувшиеся при вести о ней необъятные просторы Советской страны вдруг будто превратились в гигантский котел, где бурно переплавлялись, чтоб стать несгибаемым сплавом, любовь и ненависть, отчаяние и надежды, боль по утратам и решимость к самоотречению. Содрогнулись сердца людей от ощущения смертельной опасности, и все в едином дыхании как бы повернулись лицом к врагу, который, задыхаясь от алчности, спешил пожать плоды внезапности своего нападения, торопился воспользоваться просчетами миролюбивого соседа в определении сроков начала войны и упущениями в подготовке Красной Армии к отражению первых ударов агрессора... Кажется, не

было места для раздумий, но высший государственный разум Центрального Комитета партии быстро и четко начал высветливать все самое главное, неотложное. Страна превратилась в военный лагерь. Все внимание партии — укреплению Вооруженных Сил, формированию новых соединений, обучению резервов, повышению качества управления войсками. Тысячи талантливых партийных работников влились в армию. Крепла в процессе перестройки и созидания сила советского тыла, который могучими плечами подпирал свои сражающиеся войска.

Так начиналась война советских народов против фашистских поработителей... Великая Отечественная война.

# *КНИГА ТРЕТЬЯ*

## 1



лесю Христичу казалось, что никогда и не было у него тех давних безмятежных дней сельской жизни с петушиными перекличками в сонливые рассветы, с тихими утренними хлопотами матери у печи, с холодным росным серебром на лугах, с веселыми песенными вечерами... Дослуживал он свой срок в армии, из последних сил томился по дому, по родному селу, по тем далеким и спокойным дням, как вдруг вломилась в жизнь война. И будто солнце в груди погасло: окутались мраком все мечты и надежды.

Совсем ведь недавно лютует война, но все, что было до нее, чуть-чуть брезжит в мареве усталой и оглушенной памяти. Были у него отец и мать, сестра Варя, было село Иванютичи над тиховодной Свислочью. А теперь Белоруссия под врагом, родное село сожжено немцами, обитавших в нем людей разметало по свету. Одних, кто помоложе, подхватила прокатившаяся лавина фронта, другие подались в партизаны, а кое-кто успел, наверное, вырваться на восток и затеряться в безбрежье воюющей России.

Когда его полк поднялся по тревоге и в железнодорожных эшелонах направился из-под Смоленска на запад, в Белоруссию, Алесь надеялся, что там, у границ, они с ходу разобьют врага и потушат войну. А получилось — страшнее страшного. С тяжелыми боями и потерями стал откатываться полк на восток по родным Алесю местам. Лучше было бы не видеть того, что он видел: спаленные и безлюдные Иванютичи, в синем пепле головешки, оставшиеся от отцовской хаты посреди изрытого воронками, с порушенными изгородями подворья — будто замордованного насмерть и раздетого догола...

Месяца не прошло с тех пор, но на войне, когда каждый день смерть витает вокруг тебя, неделя кажется вечностью. За это время будто все истлело в Алесе, все внутри переплавилось в тоску, в черную ненависть. И там, у своей сожженной, осиротевшей хаты, он словно сразу повзрослел на десяток лет, а сердце, кажется, навсегда оглохло к радостям, красоте. О фашистах думал с кипящей в груди яростью и ощущал нервный зуд в руках, когда брал мину и опускал ее в пасть миномета... Сколько за эти страшные недели кинул он в ствол мин! Сколько раз его миномет огнем и железом ударил по врагу!

Немало и хлопцев-минометчиков прошло сквозь тяжкие бои за это время с их минометной ротой! Немного осталось из тех, кто впервые встретил врага западнее Минска... Алесь Христич, содрогаясь сердцем от недовольства самим собой, иногда ловил себя на подленькой мыслишке

о том, что чувствуется ему в полку спокойнее, если все реже встречает тех, кто был свидетелем его тяжкого и страшного позора, когда он стоял на краю свежевырытой ямы и, будто с холодным камнем вместо сердца в груди, помертвевше смотрел на строй красноармейцев, перед которыми должен был принять смерть.Такое трудно перенести даже в кошмарном сне: его расстреливали за дезертирство и трусость...

А красноармеец Алесь Христич отнюдь никаким дезертиром и никаким трусом не был, и тем тяжелее было расставаться с жизнью, тем невозможнее было смотреть в суровые, темно-серые лица красноармейцев, в их напряженные, таящие недоумение, жалость и ужас глаза... Он уже перестал тогда твердить непослушным языком и заледеневшими губами о своей невиновности, то ли смирившись с неотвратимостью нелепой гибели, то ли не веря, что его действительно расстреляют.

Эта жуткая история случилась в самом начале июля, когда немцы, захватив Минск, рвались к Днепру. Мотострелковый полк Алеся Христича уже не существовал как боевая единица. Штаб полка попал в окружение еще западнее Минска, а мизерные остатки батальонов вливались в подходившие с востока части и вместе с ними вновь вступали в оборонительные бои. Только малочисленную минометную роту никто не решался спéшить в боевые порядки. В кузовах трех ее уцелевших грузовиков стояли на опорных плитах новенькие минометы, вокруг них вповалку лежали на сене тяжелораненые; к минометам не было мин, а раненых требовалось как можно быстрее доставить в любой госпиталь, и всевозможные заслоны, контрольные посты без промедления отправляли грузовики на восток.

В одну из последних июньских ночей разразилась сильная теплая гроза, в одночасье сделав грунтовые дороги непроезжими. Но минометчикам повезло: они в начале грозы успели зацепиться за шоссейку и, имея в запасе бочку бензина, проехали за ночь под проливным дождем, в грохоте молний столько, сколько можно было проехать. Затем на какой-то железнодорожной станции перенесли в санитарный поезд раненых и нырнули в ближайший лес, чтобы, пока не было для врага летной погоды, развести костры да успеть обсушиться и отоспаться.

Пока минометчики отдыхали, их командир, старший лейтенант Бутынин, уехал на грузовике разыскивать начальство, чтобы получить у него приказ о дальнейших действиях роты, и куда-то запропастился. Скорый на догадки ротный старшина Евсей Ямуга даже предположил, что старшего лейтенанта свалила где-нибудь болезнь. Ведь за последние дни Бутынин ни разу как следует не поспал. Светлый блондин со скромными, стыдливыми глазами, круглолицый и плотный, он уже к концу первой недели войны стал почти неузнаваем. Лицо потемнело и невероятно заострилось — острый подбородок, маленький острый нос, остро выступающие скулы. Кажется, даже характер старшего лейтенанта заострился. Командиры раньше нередко посмеивались над извинительной манерой Бутынина обращаться к подчиненным: «Пожалуйста, пойдите и подшейте свежий подворотничок», «Я вынужден объявить вам два наряда вне очереди», «Очень прошу вас, не опаздывайте, пожалуйста, в строй». И это была не наигранность, не требовательность в конфетной обертке — старший лейтенант Бутынин по-другому просто не мог, не умел. Но когда его рота вступила в бой и полковые связисты опоздали с прокладкой телефонной линии на командный пункт, Бутынин вдруг обрушился на них такой вычурной матерщиной, что оказавшийся рядом старшина Евсей Ямуга не поверил своим ушам и с этой минуты стал побаиваться своего командира роты.

Но предположение старшины о причинах задержки командира роты, к счастью, не оправдалось. В то раннее июньское утро Алесь Хри-

стич и подносчик мин красноармеец Захар Завидов находились в охранении, которое представляло собой нечто среднее между сторожевым постом и секретом; их выставил не начальник полевого караула (надобности в карауле не было), а старшина Ямуга. Впрочем, горстка в два десятка отдыхавших в лесу минометчиков могла и сама считаться полевым караулом, охранявшим самого себя и все неведомое, что находилось у него в тылу. Старшина Ямуга вывел Христича и Завидова на опушку леса и, не сказав, кто из них часовой, а кто подчасок, велел сменить двух сидевших в кустах бойцов.

«Смотрите за речку в оба! — приказал старшина. — В случае чего — шумните... И чтоб не дремать! За сон на посту в таких условиях под расстрел запросто можно угодить...» Старшина и два сменившихся с поста бойца ушли в глубину леса. Рассветало все больше. Утренний воздух был неподвижен и свеж. Впереди, над речкой, ясно белели клочья тумана. Небо заметно просветлялось, отодвигая на запад тусклую непроглядь и зримо наливаясь голубым блеском. Трава и кусты вокруг были осыпаны прозрачными горошинами росы.

Война обозначила приход нового дня и своими особыми приметами. Откуда-то с севера накатывался, усиливаясь, грохот орудийной пальбы, и, кажется, лес проснулся только сейчас, шевельнув верхушками деревьев и повторив артиллерийский гул утробным густым эхом где-то в чащобе. А далеко слева, над дымчатой зубчаткой леса, протянулось темное ожерелье немецких бомбардировщиков. «Иду-у-у!.. Иду-у!.. Иду-у!..» — зловеще и басовито предупреждали кого-то самолеты.

«Пора бы нашему комроты вернуться», — встревоженно сказал Алесь Христич, наблюдая, как взошедшее где-то сзади, над лесом, солнце высветляло, будто зажигая, плексигласовые носы плывших в небе «юнкерсов».

«Может, за дезертира там его приняли? — уныло откликнулся Захар Завидов, позевывая. — Жди тогда».

«Все может быть», — вдруг послышался рядом голос старшины Ямуги.

Алесь Христич от неожиданности вздрогнул и испуганно оглянулся. Старшина будто и не уходил отсюда: стоял в двух шагах и смотрел сквозь бинокль в заречные дали.

«Поэтому так и нервничал старший лейтенант, — продолжил Ямуга. — Любое начальство может усомниться, как это мы сумели одни, без полка, без штаба, вырваться на восток... А тут еще санитарный поезд не дал документа, что принял от нас раненых...»

«Не дал?» — удивился Алесь, но сразу позабыл о своем вопросе. Он увидел, что на дороге, огибавшей справа лес и спускавшейся к речке, появился грузовик. Не доезжая мостка через речку, грузовик остановился. Из его кабины вышел опоясанный ремнями командир и стал осматриваться. По фигуре, по размашистому шагу Алесь узнал в нем старшего лейтенанта Бутынина.

«А вот и командир роты! — обрадованно и со скрытым облегчением подтвердил старшина Ямуга, глядя в бинокль на дорогу. Тут же он выбежал на опушку леса и зычно завопил: — Мы здеся!..»

Всего лишь четверть часа было дано минометчикам на сборы перед построением. Охранение было снято; Христич с Завидовым, услышав команду, поспешили вместе со всеми в строй, на правом фланге которого замер, выпятив грудь, старшина Евсей Ямуга. Перед строем минометчиков стоял старший лейтенант Бутынин, а рядом прохаживался незнакомый младший политрук, приехавший вместе с ним.

Бутынин, выровняв строй и скомандовав «Смирно», доложил младшему политруку, что рота по его приказанию построена.

Алесь Христич был поражен, а точнее — уязвлен тем, что «их» старший лейтенант тянется перед «чужим» младшим политруком. Что за птица? Почему держит себя, будто генерал или, по крайней мере, полковник?

Младший политрук не понравился и остальным минометчикам, не понравилась то ли его какая-то нарочитая строгость, то ли важность, зримо отпечатанная на темном от загара и обилия веснушек худощавом лице; вызывало улыбку и то, что весь он был увешан трофеями: на шее — цейсовский бинокль, за спиной — черный тонкоствольный автомат, на левой руке, будто часы, пристегнут компас. Правда, походка у младшего политрука прямая, чеканная, фигура ладная, плечи и грудь крепкие. Видно, что прошел хорошую муштровку в военном училище.

Повернувшись лицом к строю, младший политрук легко и форсисто, с особым вывертом ладони, вскинул правую руку к пилотке и, возвыся голос, назвал себя:

«Младший политрук Иванюта!.. Представитель политотдела дивизии, в состав которой вливается ваше подразделение!..»

Алесю Христичу резанула слух фамилия «Иванюта». Его же родное село — Иванютичи!.. И он уже с меньшей неприязнью наблюдал за младшим политруком, который тем временем интересовался, кто из бойцов и сержантов члены партии или комсомола. Алеся эти вопросы не касались, он был беспартийным и сейчас думал о том, что такие нагловатые и самоуверенные парни, как этот рыжий индюк Иванюта, нравятся девчонкам, тогда как степенные и неприметные, подобно Алесю, вовсе не нравятся. Поэтому перед службой в армии Алесь не успел обзавестись невестой. Правда, стал писать в село одной девчонке письма — Поле Шинкевич. Не ответила ни разу. Ну и пусть! Придет время, найдется и для него невеста... Где же она теперь, Поля?

При воспоминании о ней будто выключился Алесь Христич из всего, что происходило вокруг. Раздавались команды, шла погрузка на машины, а он, делая то же, что и другие, мыслями и чувствами был в родных Иванютичах, в тех казавшихся далекими временах, когда еще только в сладких мечтаниях видел себя бойцом Красной Армии.

Вспомнилось одно утро. Всходило огромное красное солнце, на кустах, на траве, по обочинам полевой дороги красно искрилась от первых лучей роса, в небе над головой неподвижно стлались перистые облака; такие же белые и легкие облачка тумана зависли над лощинами. По проселочной дороге ехала пароконная телега, полная девушек и парней. Они, свесив ноги с грядок, тесно сидели на сене, щедро набросанном на лубковое днище, и во всю силу молодой страсти пели песню, вкладывая в нее свое веселье, возбужденность от близости друг к другу, от того, что парни в новых рубахах, а девчата в новых платках — по случаю первого дня уборки льна. Алесь сидел между сестрой Варей и Полей. Он только для видимости шевелил губами, а сам не пел и острым слухом выделял из цветистого венка голосов ласковый грудной голос Поли, будто обращенный к нему одному. От песни ли, от пряного запаха сена или от близости Поли у него кружилась голова. Когда телегу толкало на выбоинах, он как бы невзначай теснее прижимался к ее горячему плечу. Поля тут же отстранялась, кося на него загадочный и насмешливый взгляд, а он, испытывая холодок восторга, с замиранием сердца ждал очередной выбоины или бугорка, который бы вновь встряхнул колеса.

Однажды Алесь перехватил Полю, когда она несла от колодца ведра с водой. Десять шагов от колодца до ее двора, и он не успел даже подумать, что надо было взять у нее ведра. У калитки Поля поставила их на скамеечку и беспричинно засмеялась, кинув опасливый взгляд в сторону дома, на крыльце которого ее мать вытряхивала половики. Алесь, не зная

от смущения, что сказать девушке, наклонился над ведром попить воды, а она, вновь закатившись смехом, резким толчком окунула его голову в холодную купель. Он больно ударился о край ведра, но не подал виду. Поля, заметив, что мать ушла с крыльца, хохотала безудержно, он тоже смеялся, вытирая рукавом рубахи мокрое лицо. Зашагал домой лишь только тогда, когда Полю окликнул из раскрытого окна голос матери. И тут заметил, что до крови разодрал о ведро десну и чуть повредил изнутри верхнюю губу... Уносил с собой боль, как бесценную награду от Поли.

Когда уходил в армию, до поздней ночи караулил девушку на улице у ее дома. И только утром узнал от сестренки Вари, что Поля уехала за Днепр, в гости к старшей сестре, которая годом раньше вышла туда замуж... А в прошлую зиму Варя написала ему в армию, что и она выходит замуж в то же самое село близ Копыси, где живет сестра Поли. Случилось так, как узнал потом Алесь, что замуж должна была выйти Поля, но Варя неожиданно для себя и для Поли перебежала ей дорожку, переманила жениха, когда тот появился в Иванютичах. Алесь, прочитав письмо сестры, печалился и в то же время таил надежду, что Поля, может, нарочно уступила Варе жениха, а сама дожидается возвращения из армии его, Алеся. Ведь не вернула же Поля его писем, не передала с Варей, чтоб не писал ей. Значит, можно было надеяться, и он надеялся...

Грузовик с минометчиками валко пробирался по ухабистой, в горячих солнечных пятнах, лесной дороге, его часто встряхивало, и, может, эти толчки и удары плечом о борт машины вернули Алеся Христича из плена воспоминаний. Будто проснувшись, он с удивлением заметил, что в кузове вместе с минометчиками едет младший политрук Иванюта. И было непонятно, почему он не сел в кабину одной из трех машин. Ведь такой начальник! Алесь догадался: боится, наверное, начальничек бомбежки; из кузова ведь быстрее можно заметить пикирующий бомбовоз и нырнуть на землю.

А тем временем Миша Иванюта вел с бойцами разговор.

«Вот ты твердишь, что в боевой обстановке запас мин надо возить отдельно от стволов и от минометчиков», — обратился он к Захару Завидову, сидевшему рядом с Алесем Христичем.

«Ничего я не говорю, — сонно ответил Завидов и локтем толкнул под бок Алеся. — Это он мне говорил».

«Я?!» — удивился Алесь, не соображая, о чем идет речь.

«Ну, неважно кто, — примирительно сказал Иванюта. — А вот вы слышали, как два кума ездили на базар продавать самогонку?»

«Не-е-е». — И кто-то сдержанно хохотнул, предвкушая услышать веселую историю.

«Так вот, едут кум Иван и кум Петро на рынок, каждый на своей телеге, дымят люльками и этак с ленцой перекидываются словами.

— Кум Петро, ты сколько горилки везешь продавать? — спрашивает Иван.

— Три литра... — отвечает Петро.

— И я три литра... А почем будешь продавать? — интересуется Иван.

— По рублю за стакан.

— И я по рублю... Слышь, кум, у меня есть рубль. Налей мне стаканчик попробовать твоей горилки.

Кумовья остановили коней. Иван уплатил Петру рубль, а тот налил ему стакан горилки. Иван выпил... Едут дальше, молчат, курят. Вдруг Петро предлагает:

— Кум Иван, а ну и ты продай мне на рубль горилки. Попробую твоей.

Опять остановились. Кум Иван наполнил из своего жбана стакан и спрятал в карман знакомый рубль. Едут дальше, молчат, сосут трубки, потом Иван опять просит:

— Продай, кум Петро, мне еще на рубль твоей горилки...

И так рублишко гулял между карманами Ивана и Петра, пока вся самогонка у того и у другого не была выпита...»

Бойцы, слушая младшего политрука Иванюту, вначале посмеивались сдержанно, чтобы не мешать рассказчику, а потом взорвались дружным хохотом, скаля белые зубы и сверкая оживленными глазами. И этот их молодой смех был настолько беззаботным, будто и не было войны, крови, смертей и не надо было постоянно опасаться бомбежки...

Подняв руку, Иванюта дал понять, что рассказ не окончен.

«Так вот, приехали кумовья на базар, а продавать нечего. Но есть у кума Ивана один рубль.

— Кум, — предлагает ему Петро, — пойдем в корчму да пропьем твой рубль!

Сказано — сделано. Пропили и этот рубль... Приезжают домой чуть теплые, предстают пред ясные очи своих жинок на праведный суд... А на второй день кум Петро, встретив Ивана, спрашивает:

— Кум, мы же пропили твой рубль. За что же тогда меня жена так безбожно отходила палкой?

— Может, ей моего рубля жалко? — пожал плечами Иван и застонал, вспомнив, как и его молотила жена».

Опять самозабвенный хохот заглушил урчание полуторки.

«А в чем же соль этой байки?» — посерьезнев, спросил Алесь Христич.

«В чем? — переспросил младший политрук Иванюта. — Неужели не ясно? — Хотя он и сам не очень понимал, какая особая мораль, кроме веселой нелепости, содержится в анекдоте, но стоял на своем: — Если ты, минометчик, едешь на базар, то есть идешь в бой, держи мины ближе к миномету, а не на телеге у кума. Понял?.. А если едешь с кумом продавать вино, слейте его в одну посудину и не надо вам двух телег».

«Темновато, однако смешно», — со снисхождением заключил все тот же Алесь Христич, чем вызвал новый взрыв смеха товарищей.

«Очень даже ясно, — вяло возразил Алесю Захар Завидов. — Если едешь на базар, не бери с собой даже рубля!»

И вновь сверкают белозубые улыбки на темных от загара лицах.

## 2

А Алесю Христичу уже было не смешно. Их маленькая колонна, выбравшись из леса, попала на хорошо накатанную грунтовку, пересекла железную дорогу и въехала на мост, соединявший два берега Днепра. К удивлению Алеся, Днепр оказался не таким внушительно-широким, каким он представлял его. Но важно другое: они уже на Днепре! Дальше этого места немцу не пройти — таково было мнение всех и его, Алеся. Значит, здесь собраны могучие силы Красной Армии...

Но пока никаких сил нигде не было видно. За мостом начиналось местечко — зеленое, разбросанное, каких в Белоруссии много. При въезде в местечко Алесь успел прочитать на указателе: «Копысь». И будто задохнулся от такого знакомого названия... Неужели тот самый городишко, близ которого село Оборье, куда вышла замуж сестренка Варя?.. А ведь здесь могут оказаться сейчас и его отец с матерью! Куда же им еще было убегать от немца, если не за Днепр, к Варе?.. Возможно... да-да, вполне возможно, что и Поля Шинкевич здесь, у своей сестры...

Алесь, кажется, боялся пошевельнуться, чтоб не нарушить течения своих смятенных мыслей, не вспугнуть робкой надежды на какую-то близкую радость... Но откуда ей взяться, радости, если вокруг такая кровавая кутерьма? Их машины уже миновали Копысь, повернули на юг. Обочины дороги изрыты воронками, в воздухе — тошнотворный запах, а вон, справа, вдоль Днепра, людской муравейник: там рыли траншеи — очередной рубеж обороны.

Минутная надежда, поселившаяся было в сердце Алеся, стала сменяться давящей грустью, которая все нарастала, вызывая боль сердца от понимания того, как все сложилось трагично и как он беспомощен сейчас в своей человеческой судьбе.

Совершая марш-бросок за Днепр, минометная рота старшего лейтенанта Бутынина счастливо избежала бомбежек и обстрелов с воздуха, а затем была включена в один из ослабленных полков дивизии полковника Гулыги, которая в составе войсковой группы генерала Чумакова вырвалась из окружения и сейчас, заняв новый рубеж для обороны, приводила себя в порядок. Старший лейтенант Бутынин, как и полагалось в таких случаях, сдал в штаб списки личного состава, заполнил документацию о наличии оружия и имущества. Затем рота получила боевую задачу и занялась окопными работами, спешно готовя основную и запасные огневые позиции.

Алесь делал все, как во сне, занятый одной мыслью: где-то совсем рядом могут быть самые родные ему люди, и наверняка там Поля. В этом он убеждал себя все больше и больше.

Необычайное состояние красноармейца Христича заметил старшина Евсей Ямуга, когда на огневую привезли термос с обедом и он, Евсей, самолично накладывал в котелки гречневую кашу с говядиной и соусом.

«Что это у тебя, Христич, будто душа из глаз на волю просится?» — спросил Алеся Ямуга, опростав над его котелком половник с кашей.

Христич непонимающе уставился на старшину, беспомощно шевельнул губами, но ничего не сказал.

«Чего, спрашиваю, вареный такой, будто жизнь надоела?» — уточнил вопрос Ямуга.

Алесь провел ладонью по лицу, сморщился, словно от боли, затем вдруг спросил:

«Товарищ старшина, а село Оборье далеко отсюда?»

Ямуга, озадаченный вопросом, достал из полевой сумки карту, развернул ее и начал рассматривать, отодвинувшись в тень орешника, чтоб не слепил луч солнца.

«А у тебя там что, заноза или уже теща? — И тут же старшина ткнул в карту желтым от махорки указательным пальцем: — Вот оно, Оборье... Километров двенадцать отсюда.— Подняв от карты глаза, он указал рукой: — За тем лесом почти строго на юг».

Алесь еще никогда в жизни никого так не просил:

«Товарищ старшина... Я бегом — туда и обратно! Только увижусь. Разрешите! Век не забуду».

Старшина Ямуга усомнился:

«Ты же, помню, где-то под Минском тоже искал родню?..»

«Они сюда бежали, за Днепр. Тут моя сестра Варя замужем! Где ж им еще быть, если не в Оборье?!» — Алесь по-собачьи преданными глазами смотрел на Ямугу, будто решался вопрос о его жизни.

«А если немцы прорвутся?.. А минометчики в бегах?»

«Ими еще и не пахнет тут! — доказывал Алесь. — Я мигом слетаю!»

«И что же это тебе даст?.. Ну, повидаешься, растравишь душу себе и родным...»

«Пусть узнают, что я живой! А то небось похоронили!» — Алесь мучительно подбирал новые доказательства, просительно оглядываясь на товарищей, которые, рассевшись под кустами, ели из котелков кашу и молча прислушивались к разговору.

«Если б там девчонка ждала его, можно б и отпустить», — без тени иронии заметил сержант Чернега — темноликий, скуластый, с ухарскими, нагловатыми огоньками в больших воловьих глазах.

«Так в том-то и дело, что и моя Полина там! — с отчаянием и с последней надеждой воскликнул Алесь. — Другой на моем месте уже самовольно сбежал бы!»

Эти последние слова Христича услышал вынырнувший из-за кустов старший лейтенант Бутынин.

«О каких самовольных побегах речь?» — Он повернул заостренное уставшее лицо в сторону Алеся и старшины Ямуги.

Все вокруг замерли, даже перестали скрести ложками в котелках. Старшина изложил командиру роты суть просьбы красноармейца Христича.

«Никаких увольнений, — сухо и наставительно ответил старший лейтенант, твердо взглянув на поникшего Алеся. — Война... В любую минуту бой может начаться».

«Точно, я так ему и объясняю!» — с готовностью поддержал командира роты старшина Ямуга.

Целый день ныл потом Алесь, доказывая всем, что не погибни их замполит, тот отпустил бы его. А командиры да старшины, мол, народ без сердца, не понимают бойца, не хотят заглянуть ему в душу.

Под вечер старшина Ямуга не выдержал и, ни к кому не обращаясь, но так, чтоб слышал Христич, досадливо сказал:

«Вот темнота! Война ведь не отменяет уставов! Спросил бы у командира роты разрешения обратиться к командиру батальона...»

«А я, как командир отделения, — оживленно откликнулся сержант Чернега, — и заменяющий командира взвода, разрешаю красноармейцу Христичу обратиться к командиру роты».

Через минуту Христич, закинув за плечо карабин, ушел с огневой позиции, а еще минут через пятнадцать он уже появился на командном пункте батальона, разыскав его по нитке телефонного провода.

Окопы командного пункта были вырыты и хорошо замаскированы в мелколесье на высотке, перед которой простирались луг и кудрявые заросли кустарника по берегам Днепра. Первым, кого увидел здесь Христич, был младший политрук Иванюта. В расстегнутой гимнастерке с расслабленным поясным ремнем он сидел в тени на поставленной торчком железной катушке от телефонного провода и что-то записывал в блокнот. Алесь мысленно произнес название своего села — Иванютичи; это помогло ему вспомнить фамилию младшего политрука. Соблюдая уставную форму, спросил у него, где можно увидеть командира батальона.

Иванюта, занятый какими-то своими мыслями, скользнул по Алесю отсутствующим взглядом и указал на плечистого капитана в линялой гимнастерке, поверх которой сверкало желтизной кожи новенькое полевое снаряжение. Капитан стоял на бруствере окопа и, приложив к глазам бинокль, смотрел, как впереди, за лугом, окапывались наши пехотинцы.

«Товарищ капитан, с разрешения командира минометной роты обращается красноармеец Христич!» — Алесь твердил про себя эти слова с той минуты, как побывал у старшего лейтенанта Бутынина, и тем не менее прозвучали они не бойко, а как-то надорванно, словно сказанные при ощущении мучительной боли.

«Обращайтесь». — Капитан, опустив бинокль, устало посмотрел на бойца воспаленными глазами.

Алесь теми же заученными словами и тем же надорванным голосом изложил командиру батальона свою просьбу, сделав ударение на том, что только часинку побудет у родителей и тут же прибежит на свою огневую позицию. В эту минуту в его лице, в глазах было столько мольбы, надежды и страха, что капитан даже сморщился от чувства сострадания и, помедлив, будто всматриваясь в тоскующую душу молодого человека, коротко сказал:

«Разрешаю. Сбегайте...»

И тут Алесь Христич стремглав помчался в сторону леса, за которым была дорога, ведущая в село Оборье. Думал только о близкой встрече с милыми сердцу, дорогими людьми да благодарил судьбу, что послала она ему такого доброго, отзывчивого капитана.

Но верно говорят, что судьба, подобно распутным женщинам, особенно опасна тогда, когда щедро расточает свои ласки. Только вышел Алесь на столь желанную дорогу, надеясь перехватить попутную машину, как услышал сзади тяжелый гул бомбежки. Оглянулся и увидел в той стороне, где занял оборону его новый полк, клубы пыли и дыма над лесом и много самолетов, ходивших в небе по кругу. От увиденного ощутил горькую сухость во рту и почувствовал в груди холодок непоправимой вины. Будто окаменел на пустынной и пугающей этой пустынностью дороге. Как же быть?.. Посмотрел в сторону еще далекого Оборья. Вдоль дороги бугрился под легким ветерком белесый разлив ржи, вдали, на горизонте, маячила голубая прядка леса.

Не в силах был сделать туда хоть шаг. Стоял на месте и уже понимал, что не увидеть ему отца и мать, сестру Варю и не встретиться с Полей.

Есть разные степени человеческого сознания. Первые и самые важные шаги в высшую его область — это обретение человеком чувства гражданина и чувства сопричастности ко всему, что происходит вокруг него и в обществе в целом. Обретение такого чувства делает переворот в бытии и мышлении человека, пробуждает в нем всю силу дремлющей энергии. Когда же это касается воина с его обновленным и возвысившимся внутренним миром, то сила пробуждающейся в нем энергии во сто крат мощнее и целеустремленнее...

Алесь Христич, разумеется, не задумывался, какая сила сорвала его с места и понесла в обратную сторону, туда, откуда прилетели звуки бомбовых ударов. Мыслями он был уже на огневой позиции своего миномета, рядом с товарищами, и бежал так, что хрип рвался из его груди, а липкий пот обливал все его тело.

Однако не суждено было Алесю вернуться в свою роту. Его опередили немецкие танки, появившиеся непонятно откуда, будто упавшие с неба. По счастью, не задела его пулеметная очередь из стальной башни. Успел он нырнуть в лес, чтоб затем бежать, уже не разбирая дороги, только бы на восток, спасаясь от бессмысленной смерти или от позорного плена.

На третьи сутки, голодного и измотанного, его задержали у переправы через Сож вместе с десятками других, отбившихся от своих подразделений красноармейцев, сержантов, командиров. Документы у Алеся были в порядке, его рассказ о том, как он неудачно отлучился с огневой позиции, показался старшему лейтенанту — работнику особого отдела — правдоподобным, тем более что тот нашел на карте село Оборье. Алесь уже готовился было стать в строй, чтобы влиться с ним в какую-то новую

часть, занявшую оборону за переправой на Соже. И в это время на запруженной машинами дороге он увидел знакомую фигуру старшины Евсея Ямуги. Старшина прохаживался у полуторки, дожидавшейся своей очереди для переезда через мост. Алесь, обрадовавшись Ямуге, как брату родному, рванулся к нему, но окликнуть не успел. Его опередил чей-то пронзительный и злой голос, раздавшийся из кузова грузовика:

«Вон Христич наш!.. А говорили — к родственничкам... Да он же дезертир!..»

Что случилось дальше, Алесь не может вспоминать без мучительного стона. Его там же арестовали и предали суду военного трибунала. Старший лейтенант Бутынин и старшина Ямуга хоть и доказывали следователю, что Христич — исправный, исполнительный боец, но не могли отрицать, что не отпускали его с передовой и что были свидетелями болтовни Алеся о самовольном уходе в село Оборье. А о разрешении командира батальона, которое якобы получил красноармеец Христич, им тоже не было известно, ибо он, как полагалось в таком случае, ничего не доложил своему командиру расчета сержанту Чернеге.

Да, Алесь действительно допустил роковую ошибку — не забежал с командного пункта батальона в роту, не явился к своему командиру. Но ведь может подтвердить его невиновность командир батальона!.. Однако капитана уже не было в живых — его сразил осколок там, на Днепре, и у Алеся не оставалось никаких надежд на спасение, тем более что у переправы он оказался раньше своей батареи — будто и в самом деле сбежал с передовой... Христича готовились расстреливать вместе с двумя другими осужденными бойцами; один из них во время боя струсил и, бросив товарищей, убежал с передовой, а второго уличили в том, что он умышленно прострелил себе руку. Впереди строя замерло с карабинами в руках отделение бойцов комендантского взвода, которым предстояло привести приговор в исполнение.

Алесь смотрел на происходящее налитыми смертным ужасом глазами. Неужели родные, земляки, Поля будут считать его трусом и будут знать о его такой позорной смерти?.. Лучше бы ему на свет не рождаться!..

Алесю хотелось, чтобы скорей кончились муки позора и чтоб не терзали его невыносимо тяжкие мысли...

Подошел с красной папкой в руке немолодой, в командирской форме и с двумя прямоугольниками в каждой петлице, человек. Став перед строем и нахмурив худощавое лицо так, что кустистые брови, сбежавшись вместе, почти спрятали его глаза, он раскрыл папку и начал громко, тягостно-неторопливо читать приговор военного трибунала. Алесь уже не вникал в звучавшие страшным смыслом слова, а, отведя взгляд в сторону, тупо смотрел на недалекую дорогу.

На дороге как раз притормозил ехавший в сторону фронта грузовик со снарядами, и из его кабины вышел по-юношески стройный военный. В его фигуре, в лице, в походке, которой он направился в глубину леса, где размещался какой-то штаб, Алесю почудилось что-то знакомое, а каждый новый знакомый человек сейчас только усиливал его муки, и лучше бы он проходил мимо. Но человек вдруг обратил внимание на строй красноармейцев, прислушался к звучавшим словам приговора и, видимо, поняв, какая тяжкая происходит процедура, замедлил шаг и направился к месту расстрела.

И тут в лицо, в сердце Алеся будто вонзились горячие иглы. Он рванулся всем телом вперед, навстречу приближающемуся человеку. Это был младший политрук Иванюта. Алесь забыл его фамилию, но вспомнил, что она похожа на название его родного села, и тут же, не помня и не слыша самого себя, закричал каким-то дурным, чужим голосом:

«Иванютич! Товарищ младший политрук Иванютич! Вы же знаете!.. Я же при вас!..» — Алесь захлебнулся в рыданиях.

Человек, читавший приговор, будто споткнулся на полном ходу и вдруг умолк, переводя нахмуренный взгляд с осужденного Христича на подошедшего младшего политрука.

Иванюта растерялся, даже оробел, не в состоянии постичь, каким образом он, появившийся здесь совершенно случайно, причастен к этому расстрелу. Как ни всматривался в искаженное рыданиями лицо Алеся Христича, сразу не мог вспомнить его.

Алесь видел, понимал, что младший политрук не узнает его, разглядел даже испуг на лице Иванюты, но не мог овладеть собой, в то же время боясь, что отделение комендантского взвода сейчас вскинет карабины, раздастся залп и он не успеет объяснить все Иванюте.

Из строя вдруг вышел старший лейтенант Бутынин и стал что-то взволнованно говорить младшему политруку. Тот утвердительно закивал и подошел к Алесю вплотную. Мгновение смотрел ему в лицо, затем повернулся к военному с раскрытой красной папкой в руках.

«Товарищ военный юрист второго ранга! Что же это происходит?» — сдерживая волнение, сухо спросил Иванюта.

«Вы можете подтвердить его невиновность?» — Юрист строго и будто угрожающе устремил глаза на младшего политрука, сделав к нему несколько шагов.

«В моем присутствии командир батальона капитан Шерстюков разрешил красноармейцу Христичу навестить родных». — Иванюта хладнокровно чеканил каждое слово. Он не слышал, что именно сказал Христичу капитан, но видел сияющее лицо, счастливые глаза бойца, когда тот почти бегом покидал командный пункт батальона.

«Подтвердите письменно! Сейчас же! — Военный юрист даже изменился в лице. — Это же чепе!.. Чуть не погубили невиновного человека...» — Он нервно потер рукой подбородок и приказал развязать Христичу руки.

Из-под стражи Алеся пока не освободили — нужно было выполнить какие-то формальности. Но он понял, что спасен. Его отвели в глубь леса, а через минуту сзади раздался ружейный залп. И воображение Алеся с жестокой реальностью высветлило все то, что должно было сейчас с ним случиться...

С тех недавних пор фронтовая жизнь Алеся Христича как бы разделилась на две части: одну — до «расстрела», вторую — после. Первая, оставшаяся позади, текла в его воспоминаниях по каким-то естественным, понятным и привычным законам, когда все происходившее, случавшееся с ним или в поле его зрения, воспринималось как должное; он смотрел тогда на людей, на окружавший мир с полным доверием и открытой душой, бездумно чему-то радуясь, что-то одобряя или осуждая. После же «расстрела» душа его словно обнажилась для печали, будто перешагнул он через какой-то таинственный порог, за которым почувствовал себя другим человеком — заново прозревшим, понявшим, что в жизни не так все просто, не так уж она беспечна и приветлива, не так легко быть в ней человеком.

Это прозрение навалилось на Алеся тяжестью, тираня чувством, что он осквернил свою прошлую жизнь собственным легкомыслием, чуть не приведшим его к роковой черте, и что в тяжкие сегодняшние дни пришел с обедненной душой, оставив все самое дорогое, светлое, греющее сердце там, за черным порогом прозрения, за тем страшным потрясением, которое испытал, стоя на краю собственной могилы.

И в нем просыпалась жгучая потребность вернуть себе ту прошлую, не попранную «расстрелом» жизнь. Ему страстно хотелось чем-то затмить

в своей памяти ужас, который испытал он перед лицом однополчан на краю могилы, чтоб в короткие часы сна не метаться в горячечном бреду, а после пробуждения не терзать себя мыслью: не подоспей тогда по счастливой случайности младший политрук Иванюта, залп комендантского взвода грянул бы неотвратно, и уже никто не смыл бы позора с имени Алеся Христича и всего белорусского рода Христичей.

Удивительно, что Алесь после случившегося стал, кажется, увереннее чувствовать себя в повседневных фронтовых передрягах. Его не пугали, как раньше, бомбежки с воздуха, внезапные артиллерийские обстрелы, прорывы немецких танков, обходы и наскоки автоматчиков, будто и в самом деле главная опасность, которая могла подстеречь Алеся на войне, осталась позади.

## 3

...Эти дни июля выдались особенно сухими и жаркими. Ночь тоже не приносила занявшим оборону бойцам желанной прохлады, хотя впереди их окопов протекала речушка. Ее кочковатый заболоченный берег подступал к самому льняному полю, похожему на широкое озеро, отражающее гаснущую голубизну неба, каким увидели они его вчера перед закатом, прибыв сюда. На краю этого дурманящего запахом цветущего льна поля и окопались минометчики бутынинской роты.

Впрочем, они уже не были минометчиками, ибо не осталось в роте ни одного миномета — их раздавил во вчерашнем утреннем бою прорвавшийся на огневую позицию немецкий танк... Да и от роты осталась горстка бойцов; ее свели во взвод, который возглавил сержант Чернега.

Много минометчиков полегло за эти дни. Убит и старшина Евсей Ямуга, тяжело ранен старший лейтенант Бутынин... А у сержанта Чернеги, пусть и подбил он гранатой немецкий грузовик да вооружил всех уцелевших бойцов вороneными автоматами германского производства, заметно поубавилось прыти. Темное лицо его стало сероватым, еще более скуластым, а в воловьих глазах погасла всем знакомая наглинка. Будто и разговаривать разучился сержант: раньше не в меру болтлив, мастер на острое словцо, сейчас он объяснялся с солдатами только языком приказа и команд, да так, будто постоянно сердился на всех.

Окопная ячейка Алеся Христича была самой крайней на льняном поле. Вырыл он ее, как и было приказано, в полный профиль, точно по своему росту. Хорошо замаскировал бруствер, выдолбил в передней стенке ниши для гранат и ступеньку для ноги. Справа его окоп не имел соседей, зато слева вытянулись в цепочку окопы товарищей, чуть заметно выступая вперед, к речке. Сержант Чернега, ячейка которого была где-то еще левее, когда все они вчера вечером закончили устилать свежую землю на брустверах стеблями льна, приказал было соединять окопы ходом сообщения — пусть даже мелким, чтоб можно было пробираться по нему полусогнувшись. Но когда, начав долбить сухую землю, сам почувствовал, что сил уже не осталось, отменил приказ, однако строго напомнил — всем быть начеку, хотя находились они не на самом переднем крае, а в тылу, имея задачу прикрывать лес, который темным серпом огибал цветущее льняное поле. В том лесу, по слухам, располагался штаб генерала Чумакова, а воинские части, подчиненные штабу, сдерживали врага в нескольких километрах впереди.

Положив на дно окопа шинельную скатку и вещмешок, постелив сверху сложенную вчетверо плащ-палатку, Алесь удобно расположился для отдыха. Заступать ему на боевое дежурство — наблюдать за берегом речки, за дорогой и прислушиваться к шумам ночи — предстояло под

утро, поэтому была возможность поспать. Он мерно задышал, баюкая себя и стараясь не вспоминать о «расстреле», ибо тогда, как это уже не раз было, прощай сон. Стоило даже краешком памяти прикоснуться к тому страшному дню, как сразу же видел себя на краю могилы, а перед собой — бледные, испуганные лица красноармейцев с карабинами в руках. И тогда мысль Алеся начинала судорожно метаться в поисках спасения... Чтобы избавиться от такой муки, да и опасаясь, как бы не тронуться умом, он старался отвлекаться. Сейчас, например, с похвалой думал о Чернеге, который отменил приказ о рытье хода сообщения между стрелковыми ячейками. Ведь все равно задерживаться здесь долго не придется. Сзади них, в двухдневном пешем переходе,— Смоленск. Так зачем войскам торчать в чистом поле, если можно укрыться за каменные стены города и отбиваться от немцев со всеми удобствами и без больших потерь?

Вскоре Алесь почувствовал, что подогнутые ноги затекли и стали ныть в коленях. Пришлось встать и размяться. А когда выглянул из окопа, увидел, что его сосед, Захар Завидов, разлегся прямо впереди ячейки, положив голову на бруствер. И Алесь последовал разумному примеру. Но когда улегся на верху окопа, война будто приблизилась к нему со всех сторон. То мерцал сквозь закрытые веки свет взлетевшей где-то ракеты, то четче доносились с переднего края пулеметные и автоматные очереди, взрывы снарядов. Постреливали даже в лесу, в котором коротал ночь штаб генерала Чумакова.

Алесь не заметил, как уснул, но будто и не спал. Проснулся от испуга: рядом, на дороге, в предутренних сумерках урчал с нарастающей силой мотор.

— Немцы! — услышал сдавленный вскрик из соседнего окопа и узнал голос Захара Завидова.

«Проворонил!» — обожгла Алеся мысль.

Спросонья Христич позабыл, где он и что с ним. А разглядев в клубах пыли тормозящий на сумеречной дороге броневик, всполошился еще больше. Схватив лежащий рядом автомат, ощутив рукой легшую на сталь росу, нырнул в окоп за противотанковой гранатой и через несколько мгновений уже раздвигал и подминал под себя лен, полз к дороге, где в сторожкой тишине замер броневик. Алесь не чувствовал колчеватости земли, к которой прижимался всем телом, не замечал, что упругие и шершавые стебли льна хлестали его по лицу. Смутно видел сквозь редеющую завесу стеблей остановившийся на дороге бронеавтомобиль, и одно-единственное чувство неудержимо билось в Алесе: страх, что автомобиль сейчас уедет и он не успеет метнуть в него эту зажатую в правой руке тяжелую гранату, начиненную взрывчаткой страшной силы. Алесь знал, что противотанковую гранату надо бросать из укрытия, иначе снесет она и твою голову, но об этом не думал. Напрягшись до окаменения мышц, до огненных сполохов в глазах, все полз и полз... Но что это? Увидел, что над башней броневика появилась голова в черном танкистском шлеме, замаячив то ли в тающих сумерках, то ли в оседающем облаке пыли. Тут же на дороге послышался нарастающий шум, и к броневику плавно подкатили две легковые автомашины в камуфляжной окраске: передняя — длинная и, видать, тяжелая, а задняя поменьше.

Откуда было знать красноармейцу Христичу, что он видит машины, в одной из которых едет главнокомандующий Западным направлением маршал Тимошенко? Появление вслед за броневиком легковых автомобилей еще больше утвердило Алеся в мысли, что на дороге немцы, и, надо полагать, в больших чинах. Но как ему одному справиться с тремя машинами?.. Надо бить гранатой по броневику, а по легковым — из автомата. Потом сержант Чернега конечно же скомандует взводу поддержать Алеся огнем из окопов.

Сержант Чернега оказался легким на помине. Алесь услышал, что сзади него кто-то шелестит льном, тяжело ухая коваными сапогами о землю. Это удивило Алеся, и он замер на месте. Тут же сквозь стебли разглядел пробегающего мимо Чернегу.

— Убьют! — сдавленно пропищал ему Алесь.

Сержант от неожиданности отпрянул в сторону, кинул на Алеся недоуменно-сердитый взгляд, но не остановился. Выскочив на дорогу, он откозырял военному, который маячил над башней броневика.

«Свои!» От этой мысли у Алеся перехватило дыхание, и он почувствовал, как на лбу начали взбугриваться капли пота. Потом его охватило негодование: шляются всякие в расположении обороны на легковых машинах без спросу, а ты пяль на них глаза да угадывай, кто свой, а по ком граната плачет. Эта злость размыла полыхнувший было в груди страх, и Алесь, держа в одной руке противотанковую гранату, а в другой автомат, поднялся и тоже вышел на дорогу. Очень хотелось ему сказать кому-то сердитые слова упрека, а при возможности и матюгнуться для облегчения души.

Сержант Чернега тем временем объяснял начальнику охраны маршала Тимошенко, как проехать в штаб генерала Чумакова. Увидев рядом Алеся Христича, он строго спросил:

— Почему покинул окоп?.. Кто разрешил?!

— Так я же думал, что немцы! — Алесь, встряхнув перед собой противотанковой гранатой, смотрел на сержанта с наивным недоумением. — Мой окоп крайний от дороги, мне первому и бить!

— Разуй глаза! — Чернега свирепо скорчил лицо. — Не отличишь наш Бэ-А-десять от немецкого бронетранспортера?!

— А-а, уже насмотрелись, как под наших работают! — не сдавался Алесь. — Вы лучше пощупайте да понюхайте их документики!

— Ты что, запулил бы в нас, если б сержант не появился? — нависнув из башни броневика, изумленно спросил у Алеся начальник охраны, указывая пальцем на его гранату.

В изумленности человека, одетого в черный танкистский шлем, Алесю послышалась опасность, мысль его лихорадочно заработала в поисках подходящего ответа, однако язык опередил мысль и сболтнул неопределенное:

— Если б узнал, что свои... Зачем мне бросать?..

— Как бы ты узнал, если тип автомобиля тебе нипочем?! — Голос военного звучал все более угрожающе, и от этого Алесь совсем запутался.

— А может, она и не взорвалась бы. — Он для убедительности встряхнул гранатой и поморщился. — Такое тоже бывает.

— Бывает?! — Начальник охраны хотел еще что-то сказать, но послышался хлопок дверцы легкового автомобиля, и он кинул туда обеспокоенный взгляд.

— Что здесь за митинг? — послышался сзади Алеся хрипловатый усталый голос. — Время не ждет!

Алесь оглянулся и от неожиданности, от невероятности того, кого он увидел, сделал шаг назад. Перед ним стоял во весь свой высокий рост знакомый по портретам каждому военному и невоенному маршал...

## 4

Любая истина, как свет ума, не принадлежит никому и выверяется временем. Но что такое время? Иные мыслители утверждают, что время спит на поверженных мирах, а мы проходим сквозь его вечную непод-

вижность, как вода меж гранитных берегов. Другие убеждены, что пульс мира отбивают маятники часов, и время летит неудержимо. Согласимся с теми и другими, ибо никто из них не отрицает, что время — неподкупный судья истории. Именно оно, время, поднимает нас на гребень опытности человечества и позволяет с его высоты посмотреть просветленным взглядом на пройденные нами дороги.

Неотрывно мы всматриваемся в кровавые дороги войны, всматриваемся с горячим пристрастием, ибо, отдав самих себя на суд времени, хотим его справедливого приговора, хотим знать, как все было.

...Середина июля 1941 года... На Смоленских возвышенностях и на прилегающих к ним пространствах в сумятице кровавого сражения решалась судьба Москвы...

Эти июльские дни и ночи слились для маршала Тимошенко в сплошной поток такого мучительного напряжения, выдержать которое, казалось, невозможно смертному человеку. Время, коему одни приписывают стремительность, другие — неподвижность, для маршала ощущалось поразному: то проносилось оно черной молнией, когда видел, что маховики немецкой военной машины раскручиваются еще быстрее, накатываясь с севера и с юга в обход не только Смоленску, но и всему Западному фронту; то будто время останавливалось, сопротивляясь надеждам маршала, когда он обращался мыслями к подходившим с востока эшелонам советских войск. Крылья бы им!.. Враг уже нависал над районами выгрузки прибывающих резервов! Приходилось перенацеливать эшелоны на более восточные станции или перегоны, и рушились графики, удалялись друг от друга полки и дивизии...

В таких тяжких условиях Ставка Верховного Командования наращивала силы, продолжая восстанавливать и укреплять стратегический фронт обороны. Самое пристальное внимание Москва уделяла Западному направлению. К середине июля в тылу Западного фронта развертывались еще шесть армий, объединенных в Резервный фронт под командованием генерал-лейтенанта Богданова. Это диктовалось грозными событиями: наша оборона по Западной Двине и Днепру в трех местах была прорвана, ослабленные армии, действия которых направлял маршал Тимошенко, непрерывно схлестывались в неравном противоборстве с танковыми группами противника и часто оказывались в столь бесформенном тактико-оперативном построении, что общая картина в полосе фронта не всегда поддавалась ясному осмыслению, не приобретала сколько-нибудь устойчивых очертаний даже на карте. Сражение велось на огромной территории, распадаясь на крупные и мелкие очаги. Наши полки и дивизии то и дело зажимались врагом в клещи; недавние их тыловые районы вдруг становились главными рубежами схваток и направлениями контратак. Нередко очередное решение Тимошенко устаревало, не успев дойти до войск, ибо их положение менялось с каждым часом. Пространство, замкнутое в треугольник Орша — Смоленск — Витебск, превратилось в своеобразную наковальню. На ней дробились и перемалывались ударные вражеские группировки, несли большие потери и наши войска, оборонявшиеся с невиданной стойкостью и контратаковавшие, как мнилось врагу, с фанатическим безрассудством.

Главные силы Западного фронта не успели к 10 июля организовать прочную и глубокую оборону. В этот день немецко-фашистские войска начали наступление на Смоленск, имея превосходство в танках в четыре раза, в самолетах, в артиллерии и в людях — в два раза. Враг уже предвкушал свою победу и готовился к «венчающему» войну марш-броску на Москву. Немецкое командование рассчитывало к 25 августа не только

захватить советскую столицу, но и к началу октября выйти на Волгу, достичь Казани и Сталинграда. А пока группа немецких армий «Центр» выполняла приказ своего командования об окончательном сокрушении советского стратегического фронта на московском направлении. Враг наращивал удары, чтобы скорее задохнулись наши 19, 20 и 16-я армии, попавшие в оперативное окружение западнее, севернее и восточнее Смоленска... (При этом 19-я и 16-я армии еще продолжали сосредоточивать свои силы.) Гитлеровскому командованию виделся и трагический финал ратных усилий 13-й армии генерала Ремезова, которая была рассечена на две части и продолжала сражаться в окружении, удерживая одной частью Могилев и плацдарм на западном берегу Днепра, а другой пробиваясь из окружения на кричевском направлении.

Но маршал Тимошенко, ни на минуту не спуская глаз с противника, настойчиво продолжал атаковать, как этого требовала и Ставка Верховного Командования. 12 июля группа немецких армий «Центр» и правое крыло группы армий «Север» возобновили захлебнувшееся было наступление против Западного фронта. К этому моменту Тимошенко, сгруппировав в ударный кулак часть подоспевших сил 19-й армии генерала Конева и силы правого крыла 20-й армии генерала Курочкина, обрушил в районе Витебска неожиданный контрудар по 33-му моторизованному корпусу немцев, выдвинутому из резерва для развития наступления. Враг не ожидал такой дерзости от зажатых в железные тиски войск и, понеся тяжелые потери, перешел к обороне. В тот же день части 22-й армии генерала Ершакова, удерживавшие Полоцкий укрепрайон, внезапным контрударом разгромили 18-ю моторизованную дивизию противника, а части 21-й армии генерала Кузнецова и 13-й армии генерала Ремезова остановили врага на рославльском направлении.

Обреченные противником на гибель котлы и полукотлы не гибли, а будто взрывались изнутри и несли смерть ему, противнику. Взрывалась и горела сама земля на путях немецких танковых колонн: это срабатывали мины и фугасы, установленные инженерно-саперными отрядами. Уничтожающее пламя низвергалось на вражескую технику и с неба: авиация днем и ночью сбрасывала на скопление врага и его многочисленной техники бомбы, термитные шары и ампулы с горючей жидкостью.

13 июля войска 20-й армии генерала Курочкина поставили восточнее Орши заслон перед 47-м моторизованным корпусом немцев, уничтожив при этом несколько десятков танков.

Одновременная мобилизация сил для намеченного удара — важный закон войны. Маршал Тимошенко все волевые импульсы устремлял к тому, чтобы в выбранном месте находить возможность оказаться сильнее врага пусть даже на короткое время. Таким местом, по его мнению, было левое крыло фронта. Занимавшая там оборону 21-я армия генерал-полковника Кузнецова получила приказ: 13 июля перейти в наступление совместно с кавалерийской группой генерал-полковника Городовикова. Расчет оказался точным: нацелив острие удара в сторону Бобруйска, 21-я армия и конники вышли на тылы немецких механизированных частей и опустошили их, нанеся врагу большие потери. 66-й стрелковый корпус 21-й армии, пройдя с боями на запад восемьдесят километров, захватил переправы на Березине и Птичи.

Неистовая активность войск Западного фронта, пусть измотанных и обескровленных, их частные успехи в конечном счете связывались в одно целое, которое выражалось в потерях противника. Они были колоссальными! Этому способствовала и большая плотность вражеских сил.

Тем не менее трезвый взгляд на общий ход кровавой борьбы обнажал горькую правду: Западный фронт к середине июля был рассечен врагом на три части.

Не хотелось Семену Константиновичу верить, что невозможно добиться решительного перелома в ходе событий. И это больше томило его тоской, чем тиранило б душу ожидание собственной трагической гибели. Мучительные поиски новых и более реальных мер до предела изматывали физически и нравственно, ибо непрерывно надо было ставить себя на место командующих армиями, командиров корпусов и дивизий, чьи части истекали кровью в неравном противоборстве. Он понимал глубину их трагедии, и от невозможности помочь им каменело его сердце...

Ему все-таки казалось, что он вот-вот как-то по особому прозреет и вдруг найдет самое нужное, главное решение. Необходим только какой-то толчок, какое-то озарение. И неистово искал... Не щадил себя, не щадил оперативных работников штаба, разведчиков, офицеров группы связи. Непрерывно вел расчет сил — своих и противника, — расчет времени, расстояний, условий местности. Искал любую возможность, чтобы вынудить немцев ошибиться, замедлить темп наступления, действовать вне законов стратегии. Пристально смотрел на оперативную карту, взглядом охватывая рваную линию фронта от Мозыря до Великих Лук, спотыкался о разграничительные линии между армиями, всматриваясь в открытые фланги своих войск и отыскивая слабые участки у противника. Отдавал приказы на контрудары, понимая, что фланговые охваты малыми силами таят в себе риск оказаться в окружении и его частям. Но при этом учитывал, что фундамент всякого оперативного замысла опирается не только на силы, но и на моральное состояние войск, которое зависит от многих факторов, в том числе и от твердости духа его, главнокомандующего.

Если человек в темноте наткнется на препятствие, ему трудно сделать шаг вперед — надо хоть на мгновение осветить дорогу. Подобную потребность испытывает командующий фронтом или армией, если войска не смогли осуществить его замысел. В эту короткую июльскую ночь маршал Тимошенко побывал на командных пунктах генералов Конева и Курочкина, чтобы на месте разобраться, почему в минувший день контрудар их армий на витебском направлении не был развит. Впрочем, маршал понимал почему: враг имел огромное преимущество в силах, особенно в танках и самолетах. Но маршалу нужны были не только арифметические данные неравенства сил, он испытывал острую потребность вникнуть в тяжкие условия противоборства не одной мыслью, а всеми чувствами, чтобы острее ощутить атмосферу, в которой действуют армии, осязательно проверить способность штабных рычагов приводить в движение непростые механизмы войсковых соединений, убедиться, в какой мере командармам, командирам корпусов и дивизий удается влиять на ход боевых операций в столь сложной и изменчивой обстановке. Только после этого, как ему мыслилось, он, главнокомандующий Западным направлением, мог в своих очередных решениях опираться хоть на какую-нибудь реальность.

Под утро маршал Тимошенко еще успел заехать на командный пункт генерал-майора Чумакова, чуть было не попав под удар своих «войск» в лице рядового бойца Алеся Христича...

## 5

...В автобусе светло от ярко горящей лампочки и душно. Зашторенные окна, прикрытая дверь и предрассветная тишина будто отторгали весь остальной мир. Маршал Тимошенко поднял взгляд от расстеленной на столе карты и посмотрел на сидевшего напротив генерала Чумакова.

— Как же вы не уберегли штаб? — спросил будто и без явной укоризны, но таким тоном, что у Федора Ксенофонтовича заломило в груди.

— Товарищ маршал, оправдываться не в моих правилах. — Потухший голос Чумакова таил боль. — Штабная колонна была рассечена на марше прорвавшимися танками... В мое отсутствие.

— Подробнее.

— Когда севернее Горок создалась критическая ситуация, я сгруппировал все немногое, что было в резерве, — танковый батальон, два дивизиона противотанковой артиллерии, подвижную группу пехоты на десятке грузовиков...

— А свой командный пункт выдвинули в район намечавшегося прорыва?

— Так точно — вспомогательный пункт.

— В этом и состоит ваша ошибка! Нельзя при таком превосходстве противника дробить в ходе операции штаб, иначе нетрудно вовсе потерять управление войсками.

— Да, сейчас это ясно. Остатки штаба после прорыва немцев еле нашел. Место запасного расположения штаба тоже оказалось в районе боевых действий. Несколько часов делегаты связи метались по дорогам, пока не наткнулись на автобусы и крытые грузовики.

— Плохо воюем! — Тимошенко вновь повернулся к карте: — А Смоленск уже рядом... Смоленск — трамплин для прыжка немцев на Москву. Головой будем отвечать за Смоленск!

— Нечем воевать, товарищ маршал, — подал голос сидевший в углу автобуса полковник Карпухин.

— Учитесь у Курочкина! — Тимошенко с открытой досадой посмотрел на Карпухина, лицо которого было налито нездоровой желтизной, и, переведя взгляд на генерала Чумакова, приказал: — Доложите ваши последние решения.

— Остатки штаба армии слил со штабом мотострелковой дивизии полковника Гулыги...

— Решение правильное. Дальше?

— Все части, которые остались по эту сторону прорвавшихся немецких авангардов — две ослабленные дивизии, танковая группа в семнадцать единиц и сводный артиллерийский полк, — развернуты фронтом на юг и держат оборону.

— Какова активность немцев?

— Слабовата... Я иногда слушаю их радиопереговоры. Нетрудно догадаться, что Гудериана беспокоит отставание от танковых авангардов его пехотных дивизий.

— Вы владеете немецким?

— Более или менее. В детстве батрачил у немецких колонистов на юге Украины.

— Мысль об отставании немецких пехотных эшелонов правильная. — Тимошенко вернул разговор в прежнее русло: — Но главная причина ослабшей активности врага перед вами заключается в том, что южнее вас углубляется прорыв... Не пытались установить связь со своими отсеченными дивизиями?

— Все время пытаемся, но безуспешно. Полагаю, что они вошли во взаимодействие с тринадцатой армией генерала Ремезова.

— Если так, то придется насовсем подчинить их Ремезову. — И маршал повелительно кивнул сидевшему у двери автобуса генерал-майору Белокоскову: — В приказ, Василий Евлампиевич!

Генерал для особых поручений при наркоме обороны Белокосков сделал в блокноте запись и выразительно покосился на наручные часы,

напоминая маршалу, что пора возвращаться в штаб фронта. Федор Ксенофонтович тоже взглянул на часы и удрученно произнес:

— У меня же ничего не остается... Какая мы после этого армия?

— Дело не в названии. — Голос маршала вновь стал строгим. — Все, что осталось у вас, крепко держите в кулаке, маневрируйте по фронту и прикрывайте в своей полосе Смоленск. Армию постараемся усилить.

Где-то за лесом ударили минометы. Их резкие выстрелы мгновенно развеяли чувство оторванности от мира; салон автобуса уже не казался затишным уголком.

— Товарищ маршал, — в сдержанном голосе Чумакова сквозила боль,— о каком маневре может быть речь с нашими силами? Осталось чуток снарядов, а горючего — только что в баках.

— Где были гарнизоны, там есть и склады. — Тимошенко поискал глазами по карте, но так и не назвал ни единого населенного пункта. — Постараемся помочь снарядами и горючим. Держитесь, сколько можете. Идут резервы... — И маршал, подавив тяжелый вздох, задержал твердый взгляд на измученном лице Федора Ксенофонтовича.

Белая повязка, закрывавшая левое ухо и подбородок Чумакова, резко подчеркивала эту измученность, сквозившую в темной серости кожи и в притушенных глазах. Маршал хорошо понимал, как нелегко сейчас Чумакову. Считанные дни командовал он армией, заменив раненого генерала Ташутина; в двухдневных боях на рубеже Орша — Козино немцы рассекли армию, и лучше бы оставшиеся под командованием Чумакова части объединить в корпус, но Тимошенко было известно, что Ставка Верховного Командования готовит приказ о временном упразднении корпусной системы. Вчера Сталин и Жуков советовались с ним об этом. Значит, и корпусом пока не командовать генералу Чумакову... Можно, конечно, слить его группу с соседом — 20-й армией генерала Курочкина...

Федор Ксенофонтович будто прочел его мысли и с грустью сказал:

— Генерал без войск что пушка без снарядов... Да и штаб у меня все равно далек от армейского комплекта... Может, свести нас в корпус и передать генералу Курочкину?.. Только прошу не подумать, что я хочу уклониться от ответственности.

— Не подумаю. — Тимошенко чуть заметно усмехнулся тому, что Чумаков угадал ход его мыслей о корпусе. — Будете пока именоваться войсковой группой фронтового подчинения. Вы лично отвечаете за безопасность Смоленска с этого направления... Головой отвечаете.

Через минуту маршал сидел в своем пуленепробиваемом, испятнанном зеленой и бурой красками «зисе». Под охраной броневика, шедшего впереди, и автоматчиков, следовавших сзади в эмке-вездеходе, Тимошенко вместе с генералом для особых поручений Белокосковым покинули лес, где в глубине западной опушки размещался командный пункт генерала Чумакова.

«Генерал без войск что пушка без снарядов», — повторил про себя Тимошенко слова Федора Ксенофонтовича. Смежив веки и ощущая толчки машины на ухабах лесной дороги, маршал сквозь дрему думал, имея в виду генерала Чумакова, что в часы величайших тревог и даже перед лицом смерти человек благородной души и обостренного чувства долга стремится быть на самом важном, доступном ему месте, чтобы сделать все посильное и принести предельно возможную пользу, возвысив этим свое дело и украсив свое имя. Отсюда, видимо, и родилась русская поговорка: «Или грудь в крестах, или голова в кустах...»

Человек мирной профессии пробуждается от шума, а военный — от тишины. Сквозь полусон Семен Константинович услышал, что мотор машины приглох, заработал тихо, исчезли толчки — будто машина поплыла по спокойной воде. А ведь асфальтовая дорога еще не близко. И он,

озадаченный, с трудом вырвался из вязкого плена дремотности. Открыв глаза, не поверил тому, что увидел: вокруг машины и далеко впереди разлилась голубая ширь, а над ней чуть колебалась прозрачная утренняя дымка тумана. Несколько справа плыл, утопая по днище башни, броневик охраны, а слева — эмка с автоматчиками. Полагая, что это сон, и поражаясь реальности своего ощущения, Семен Константинович что-то невнятно пробормотал. И тут же услышал грустноватый голос генерала Белокоскова, сидевшего впереди, рядом с водителем, одетым в темно-зеленый комбинезон:

— Ленок позднего посева. Ни одной соринки!.. Жалко: такую красоту война калечит...

— Лен это? — переспросил Семен Константинович, хотя и сам уже понял, что они едут по ровному полю буйно зацветшего высокого льна. — А мне померещилось, что озеро разлилось.

— У нас на Вологодчине целые моря таких разливов, — со вздохом заметил генерал-майор. — Даже моя фамилия, как говорят, сродни льну: Белокосков — от белых, как лен, волос...

— У тебя, Василий Евлампиевич, больше седины в голове, чем льна. — Маршал тихо засмеялся.

Где-то слева ударили с размашистой гулкостью наши гаубицы, и разговор в машине оборвался. Вслушивались, как просыпался фронт. На голос гаубиц ответил нарастающе-въедливый, слышный даже в машине вой немецких мин. Его поглотили раскатистые взрывы, донесшиеся из уже отдалившегося леса. Взрывы родили в лесу басовитое эхо. Казалось, что оно, прокатившись по росным предутренним опушкам, по полям и кустарникам, окончательно разбудило сторожкую тишину, которая вдруг растворилась в пулеметном клекоте и беспорядочной ружейной трескотне. Было удивительно, что дыхание переднего края ощущалось так явственно уже здесь, по существу, в районе командного пункта армии. Сместились все принятые нормы построения боевых порядков, развеялись привычные понятия... И даже не верилось, что эти, приглушенные расстоянием и туманной пеленой, звуки войны есть грозные предвестники очередного тарана, который, по данным нашей разведки, подготовили немцы.

Вскоре машины выехали на грейдерную дорогу. Вдоль нее покосились в разные стороны столбы с обвисшими проводами, чернели на обочинах воронки, окаймленные выброшенной торфянистой землей. Дорога кривой саблей устремилась к далекому лесу, похожему на приземлившуюся черную тучу с туманными краями. Над лесом небо было светло-розовым, с застывшей полосой облаков, подпушенных багрянцем. Казалось, кто-то небрежно мазнул по небу серой краской с примесью киновари.

Где-то там тревожно ждал своей участи Смоленск. Маршалу Тимошенко казалось, что не только все его сегодняшние мысли, вся боль его сердца связаны со Смоленском, но и вся прошлая жизнь слагалась так, чтоб он пришел в сегодняшний день и смог сделать что-то самое главное или захлебнуться в муках от беспомощности, от свирепой необузданности укоряющих мыслей...

Многое пережил за свои сорок шесть лет от роду Семен Константинович, многое повидал за двадцать семь лет военной службы. Но ничего даже отдаленно подобного он еще не испытывал. Не мог и предполагать, что ему суждено было со столь жестокой ясностью ощутить смертельную опасность, нависшую над Москвой. А ведь надеялся, верил, что, прибыв на Западный фронт, он проявит всю силу своего характера, опыт, волю, раскованность в мышлении при поисках оперативных решений, употребит свой авторитет и обязательно поправит дела, найдет возможность остановить немцев.

Такие надежды маршала опирались не только на его крепкий характер, но и на всю прошлую его судьбу. Достаточно оглянуться на совсем близкое: сумел же Тимошенко в критический момент финской войны показать, что мысль красного полководца не должна знать безысходности. Она не может идти только по прямой, а обязана одновременно искать во всех направлениях.

...Это случилось после того, как советские войска из-за трудных условий местности и бездорожья в лютую зиму 1940 года приостановили свое наступление перед главной оборонительной полосой линии Маннергейма. На Карельском перешейке был создан Северо-Западный фронт, и командовать им Советское правительство поручило Тимошенко. Прежде всего Тимошенко взялся за перестройку и усиление войск, за подготовку исходных районов для наступления, тренировку частей в способах блокирования дотов, дзотов и опорных пунктов неприятеля. Затем в плане готовившейся операции выдвинул идею нанесения главного удара смежными флангами двух армий, сосредоточив здесь больше половины стрелковых соединений, артиллерии и авиации фронта: будто в две руки вложил по могучему молоту. В итоге первоклассная оборона финнов была сокрушена.

Однако финская война принесла еще один итог: дорогую цену победы и горечь обретенного нами опыта. Оказалось, что уровень боевой выучки войск и их штабов надо без промедления повышать и срочно усиливать полки автоматическим оружием, средствами навесного удара и делать многое другое, совершенно неотложное, подсказанное боями в Финляндии и грозным временем полыхавшей второй мировой войны.

Тогда Тимошенко еще не знал, что именно на его плечи ляжет главная тяжесть этой ноши, с которой ему придется пройти пусть не долгое по времени расстояние, но с препятствиями высочайшей сложности: в мае 1940 года он был назначен наркомом обороны СССР.

Вся деятельность наркома, все его усилия были направлены на выполнение главного требования ЦК ВКП(б) — стремительно вывести части и штабы Красной Армии на новые рубежи боевой выучки, в сжатые сроки добиться полного технического оснащения войск. И в то же время нельзя было позволить немцам заподозрить нас в подготовке к войне. Осторожность и осторожность!

Но для хорошего разбега требовалось временно́е расстояние. Такого расстояния у наркома обороны Тимошенко уже не было, хотя он об этом не знал. К тому же его несколько успокаивали слова Сталина, сказанные ему, а затем его заместителю Мерецкову, что если немцам и удастся втянуть нас в войну, то это может случиться не ранее 1942 года. Поэтому была надежда успеть сделать многое, в том числе и сформировать нужное количество механизированных корпусов. Впрочем, многое и успел сделать. Помимо приказов по армии, которые придавали размах и масштабность процессам воинского совершенствования, к концу 1940 года в Центральный Комитет партии, в Совет Народных Комиссаров СССР был представлен целый комплекс предложений по дальнейшему повышению боевой готовности вооруженных сил и проведению мобилизационных мероприятий. Одним из многих результатов этого представления явилось почти трехкратное увеличение общей численности армии и флота по сравнению с 1939 годом.

И сам Тимошенко ощутил, как растет его авторитет. Это он явственно почувствовал, когда работал над заключительной речью, которую должен был произнести 31 декабря 1940 года в Центральном Доме Красной Армии перед закрытием совещания высшего командного состава.

Всматриваясь в утвердившиеся советские военные концепции, он долго размышлял над тем, как можно добиться захвата и удержания стратегической инициативы с началом военных действий, если наступательная доктрина исходила только из идеи ответного удара по агрессору. Если удар ответный, значит, ему должен предшествовать удар противника. Следовательно, стратегическая инициатива все-таки будет за нападающей стороной. Тогда как же быть со стратегической инициативой? Советская военная наука, ранее поставив этот вопрос, не давала на него исчерпывающего ответа. Тимошенко вслед за признанными военными теоретиками принялся формулировать общие принципы наступательных боевых действий Красной Армии, стремясь противопоставить эти, пока воображаемые, действия современной немецкой стратегии. Маршалу удались уточнения рождавшейся теории глубокой операции. Ее началом должен явиться тактический успех войск с последующим его развитием в оперативный стремительными действиями механизированных и авиадесантных войск при активной артиллерийской и авиационной поддержке. Главное зерно теории глубокой операции — одновременное поражение противника на всю оперативную глубину обороны. Далее маршал Тимошенко уточнил мысль, что фронт становится оперативно-стратегической организацией, которая должна самостоятельно планировать боевые усилия составляющих его армий и должна руководить ими в ходе боевой операции.

Будто бы все просто и очевидно. Однако потребовалось немало поисков и доказательств, чтобы прийти к этой очевидности — новому слову в советской военной науке. По инициативе и при участии наркома обороны образовался документ особой важности. Послав копию документа в Политбюро ЦК, Тимошенко обнародовал его на военном совещании как свою заключительную речь.

На второй день, принимая в Политбюро военных руководителей, Сталин упрекнул маршала, что тот закрыл совещание, не узнав его, Сталина, мнения о присланной бумаге. Тимошенко встревожился, стал давать объяснение, но Сталин его успокоил, сказав, что документ в общем убедительный и серьезный.

Да, тогда все выглядело убедительным. И сам факт, что он, крестьянский сын, стал наркомом обороны первого в мире социалистического государства, придавал ему энергию особого накала. Весь его труд был пронизан чувством радостной и суровой ответственности за все малое и великое, связанное с дальнейшим строительством Красной Армии. Но как сейчас, в эти наполненные грохотом битв июльские дни, далеки те прежние хлопоты и тревоги, надежды и сомнения! Будто и вовсе ничего не было в прошлом—ни боевых маневров, ни крупных штабных оперативно-стратегических учений и мук творчества при создании умозрительных стратегических моделей на случай войны. Война грянула, и многое оказалось не таким, как предполагалось. И все чаще пронзала Тимошенко мысль, что несет он тяжкую и заслуженную кару за свою вину.

Память возвращала маршала в конец сорокового и начало сорок первого года. Совсем ведь недавнее время, но, отторженное от сегодняшнего дня событиями войны, оно уже ворочалось вдалеке, затихая и растворяясь. Тимошенко тогда вырабатывал с Генеральным штабом более или менее точную модель оперативно-стратегических действий наших войск в случае нападения Германии на Советский Союз и с учетом оперативно-стратегических приемов немецкого командования, проявившихся в агрессивных акциях на Европейском театре войны. Нужно было проверить реальность и надежность нашего плана прикрытия страны и доложить об этом Политбюро ЦК и Советскому правительству.

С этой целью после известного декабрьского совещания высшего командного состава армии была проведена в первых числах января 1941 года большая оперативно-стратегическая военная игра на картах, в которой участвовало руководство Наркомата обороны, Генерального штаба, командующие и начальники штабов военных округов и командующие армиями. Игра была тщательно подготовлена самыми опытными генштабистами во главе с генерал-лейтенантом Ватутиным и проводилась в стенах Генерального штаба. Она ставила задачу — предвосхитить события, которые могли развернуться на наших западных границах в случае нападения Германии на Советский Союз, и проверить нашу возможность проведения ответной глубокой операции.

Все огромное пространство от Полесья до Восточной Пруссии было заполонено условными противоборствующими войсками. «Красную» обороняющуюся сторону (Красную Армию) представляли за оперативными картами командующий Западным Особым военным округом Павлов и начальник штаба этого же округа Климовских; они имели под своим командованием свыше пятидесяти дивизий и авиацию. «Синюю» нападающую сторону (Германию) возглавляли генерал армии Жуков, тогда еще командующий Киевским военным округом, и генерал-полковник Кузнецов — командующий Прибалтийским военным округом; в их распоряжении имелось свыше шестидесяти дивизий и тоже авиация. Руководили «боевыми действиями» и были главными арбитрами он, народный комиссар обороны Тимошенко, и начальник Генерального штаба Мерецков. Они же и «подыгрывали» на картах за Юго-Западное стратегическое направление.

Игра была сложной, многоэтапной, но не складывалась так, как была задумана. Жуков своими дерзкими решениями и рассекающими ударами начисто рушил все расчеты и прежние представления о том, какое превосходство в силах должна иметь нападающая сторона, чтобы взломать столь мощную полосу обороняющихся войск. То и дело создавались неразрешимые драматические ситуации, не оставлявшие сомнений: «красные» терпят поражение...

Многое, что произошло в те январские дни на картах, когда велась условная бескровная война, повторилось после 22 июня, но уже с реальными нашими потерями и большой кровью...

Итоги совещания высшего командного состава армии и результаты оперативно-стратегической военной игры докладывали в Кремле Главному Военному совету, Политбюро и правительству. Здесь же, в зале, рассматривался проект нового Полевого устава. Атмосфера была напряженной. Сталин, зная о поражении «красных», сидел в сумрачной задумчивости. Генерал армии Жуков, ловя недовольные взгляды руководства, чувствовал себя как провинившийся школьник. Неуютно было на трибуне начальнику Генерального штаба генералу армии Мерецкову. Его доклад о проведенных трехнедельных сборах и о венчающей их военной игре на картах явно не клеился. Когда Мерецков, оправдывая неудачи «красных», стал ссылаться на преимущество «синих» в авиации и танках, Сталин недовольно перебил его, резонно напомнив, что на войне важно не только арифметическое большинство, но и искусство командиров и войск.

Туго пришлось генерал-полковнику Павлову, который попытался в шутливой форме объяснить свой проигрыш. Сталин внушительно напомнил генералу:

«Командующий войсками округа должен владеть военным искусством, уметь в любых условиях находить правильные решения, чего у вас в проведенной игре не получилось».

Потом выступал Жуков. Притушив волнение в упрямых глазах, он

с какой-то виноватостью посматривал с трибуны в сторону сидевшего в скорбной задумчивости маршала Шапошникова («дед», как величали Бориса Михайловича, изредка подергивал головой, что выдавало его волнение: патриарх штабной службы переживал за просчитавшихся генштабистов). В первой части своего выступления Жуков предлагал ввести в практику военной подготовки высшего командного состава периодические командно-штабные полевые учения со средствами связи под руководством наркома обороны и Генерального штаба. А затем притронулся к самому болезненному, о чем в военных верхах велись споры явно и тайно, начиная со второй половины тридцать девятого года.

«По-моему, в Белоруссии укрепленные рубежи строятся слишком близко к границе, и они имеют крайне невыгодную оперативную конфигурацию, особенно в районе белостокского выступа, — со всей бескомпромиссностью заявил Жуков, вновь оглянувшись на Шапошникова, понимая, что «дед» отвечает сейчас за это строительство, хотя является сторонником того, чтобы у границы держать только небольшие силы прикрытия, а главную массу войск располагать хотя бы на линии старой советско-польской границы. И далее продолжил: — Это позволит противнику ударить из районов Бреста и Сувалки в тыл всей нашей белостокской группировки...»

Трудно Семену Константиновичу вспоминать все это. Ведь тогда решающее слово было за маршалом Ворошиловым, возглавлявшим Комитет Обороны при Совете Народных Комиссаров, который утверждал планы укрепления в инженерном отношении западной границы. И когда Жуков сошел с трибуны, а Сталин повернулся к Тимошенко, устремив на него вопрошающий взгляд, Ворошилов, сидевший за столом рядом со Сталиным, рывком придвинул к себе микрофон и с раздражением сказал:

«Товарищ Жуков предполагает, что в случае агрессии против нас мы собираемся отсиживаться в укрепрайонах! Эта стратегия не для Красной Армии! Мы будем наносить контрудары и будем бить врага на его территории! А укрепленные районы строятся по утвержденным планам!»

В зале раздались редкие хлопки аплодисментов, а когда и Сталин, приподняв над столом руки, тоже хлопнул в ладоши, аплодисменты загремели в полную силу.

Но это не было поражением генерала армии Жукова. Через день центральные газеты опубликовали сообщение о том, что решением правительства он назначен начальником Генерального штаба Красной Армии.

Сороковые годы — исторически сложившаяся пора, в которой наши люди чувствовали себя взрослее прожитых ими лет; их опыт и деловые качества были в прямой зависимости от пройденных дорог, преодоленных препятствий и накопленных знаний. В год начала войны Жукову было сорок пять, а Тимошенко — сорок шесть лет! Мера же их ответственности за судьбу государства требовала масштабности даже в малом, обладать той мудростью, суть которой — умение смотреть на вещи со всех сторон и умение объединять мысль и силу. Нельзя сказать, что они не обладали этими качествами. С приходом Жукова в Генеральный штаб было сделано множество необходимого, однако не в пределах возможного. Вот теперь и гнетут маршала Тимошенко мысли об упущенном. Его утомленная и израненная память не дает покоя...

Более всего казнился Тимошенко за те упущенные часы, которые отделяли время подписания первой боевой директивы войскам от начала войны. Надо было, вопреки всему, сдублировать приказ штабам округов по телефонным аппаратам ВЧ, как это сделал нарком Военно-Морского Флота адмирал Кузнецов, немедленно приведший флоты в боевую готовность номер один. Все-таки хоть что-то можно было бы успеть сделать...

А он же, когда директива еще зашифровывалась в Генштабе, позвонил в Минск Павлову, выслушал его взволнованный, сбивчивый доклад, что немцы по всей границе явственно готовятся к боевым действиям, и разрешил поднять по тревоге только дежурные подразделения. Внушенное Сталиным опасение поддаться на провокацию туманило разум. «Втолкуйте начальникам штабов, разведчикам, операторам, — приказал он тогда генералу армии Павлову, — чтобы все доклады перепроверяли, а то еще спровоцируем немцев... Огонь без разрешения не открывать...» И с тех пор в его сердце поселилась холодная игла вины. Как только оказывался наедине со своими мыслями, нет-нет да и жалила она, заставляя задавать самому себе укоряющие вопросы, вступать с самим собой в трудную полемику. Будто не себя, а кого-то другого с ожесточением убеждал, что на посту наркома обороны сделал в преддверии вторжения гитлеровских армий все, что только было в его силах.

## 7

...Подъезжали к Смоленску, когда взошло солнце, напоив небо ясной голубизной. Оно еще было невидимо за семью холмами, на которых раскинулся древний город, да и холмов и города не было видно: дорога шла через сгоревшее и разбомбленное предместье. Над ней густо нависли старые вязы, тополя, березы. А по бокам, за пешеходными дорожками — поваленные штакетники и заборы, руины и пожарища. Возвышались среди фундаментов и груд головешек закопченные дымоходы, беззубо щерились темные и будто раздетые печи, окаменело стояли садовые деревья — черные, с мертвой опаленной листвой. Только изредка, на задворках или у колодцев, мелькали фигуры женщин и стариков, остро пронизывали душу их испуганные и скорбные взгляды. Казалось, что все здесь в прошлом, жизнь отринула от этих страшных мест.

Потом неожиданно показался город — каменные ожерелья обгоревших и обрушенных домов на возвышенности. Они смотрели на дорогу черными или просвечивающимися глазницами пустых окон, будто жалуясь на свою беспомощность и беззащитность. Промелькнул красный, в белых известковых прожилках, срез крепостной стены, и тут же, будто прямо из-под нее, заструились трамвайные рельсы, местами заваленные, как и вся ширь улицы, обломками кирпичных стен и каменным крошевом. По эту сторону крепостной стены, несмотря на ранний час, суматошились люди, строившие завалы. Из нескольких машин сбрасывали на булыжную мостовую мешки с песком, а затем на тачках везли их к обозначившемуся валу из таких же мешков — между стеной обгорелого трехэтажного каменного дома и сквером, в котором густо росли старые ясени, — куда-то тащили бревна, волокли вывороченные взрывами бомб из трамвайных путей обломки рельсов, катили вручную полусгоревший грузовик....

Маршал Тимошенко обратил внимание, что среди пестрого многолюдья — мужчин, женщин и подростков — очень мало военных. Это встревожило: без специалистов по-настоящему не подготовить город к обороне, к уличным боям. И в то же время знал: все прибывающие эшелонами воинские части бросаются вперед, навстречу врагу, чтобы погасить наступательную силу немцев на подступах к Смоленску.

Машина маршала в сопровождении охраны выехала на улицу Советскую и понеслась вниз, к Заднепровью. Промелькнула справа Соборная лестница, сверкнул золотыми куполами и дохнул голубизной Успенский собор на горе. Вскоре справа и слева замелькали решетчатые перила моста через Днепр...

Позади бессонная ночь, и не первая. В голове тяжесть, неумолчный гуд, а глаза будто запорошены половой, как это бывало в детстве у отца на току: хотя бы на час забыться во сне. Но тревога и ощущение огромной опасности, понимание логики грозных событий пересиливали усталость. Что делать, где отыскать и куда бросить тот якорь спасения, сдвинуть который было не под силу стихии войны? Никакая сумма правил и истин, из которых можно исходить, намечая план очередных действий, пока не сулила радужных перспектив. Мысль была порабощена сознанием того, что не хватает войск и не хватает для их накопления времени. Вражеские моторизованные части устремляются туда, где слабее преграда, будто по наклону обтекая узлы сопротивлений... Держится частью сил 22-я армия генерала Ершакова в Себежском и Полоцком укрепленных районах, не сдает позиций северо-восточнее Орши 20-я армия генерала Курочкина, хотя на рубеже Копысь — Шклов отступает; обороняет могилевский плацдарм на Днепре, находясь в окружении, корпус генерала Бакунина, стойко удерживает город Могилев дивизия этого корпуса, которой командует генерал М. Т. Романов. Многие наши войсковые группы стали своеобразными тяжами, которые привязали к себе немало немецких дивизий, тормозят движение броневой вражеской колесницы, нацеленной на Смоленск и Москву, однако в масштабе оборонительных действий всего Западного фронта они не в состоянии коренным образом повлиять на развитие событий. Обстановка на главных направлениях складывается в пользу врага, что и отметил Тимошенко в последнем приказе войскам фронта, требуя от них еще более решительных действий днем и ночью.

На командном пункте в Гнездове маршала Тимошенко ждали с тревожно-напряженным нетерпением. Только он поднялся на второй этаж в свой кабинет, как тут же появился начальник штаба фронта генерал-лейтенант Маландин. Поздоровавшись с главкомом, Герман Капитонович устало наблюдал, как тот разминал, прохаживаясь вдоль стола, затекшие ноги, расстегнув при этом поясной ремень и воротник гимнастерки.

— Душ, парикмахера и кофе! — бросил Тимошенко выглянувшему из столовой ординарцу, затем остановил утомленный вопрошающий взгляд на Маландине: — Докладывайте, Герман Капитонович.

Генерал Маландин подошел к столу, раскрыл красную папку, которую принес с собой, и повернулся к висевшей на стене оперативной карте с обстановкой, нанесенной вчера вечером.

— Что, серьезные изменения? — нетерпеливо спросил Тимошенко и, скрывая нарастающую тревогу, потрогал пальцами свой подбородок с пробившейся щетиной.

— Существенные,— подавленно ответил генерал Маландин.— На участках Шклов и Старый Быхов прорыв немцев углубляется.

— Этого надо было ожидать, — сумрачно сказал Тимошенко, кинув взгляд на карту. — Что еще?

— Плохо севернее Смоленска. По неподтвержденным данным, немец занял Демидов.

— Не может быть! — Маршал вплотную подошел к карте, отыскал глазами городок Демидов, нависающий с северо-запада над Смоленском. — Куда же смотрел Конев?!

— Конев докладывает, что через боевые порядки его армии прорвалось около двух танковых и одна моторизованная дивизия.

— Надо перепроверить.

— Скоро вернется воздушная разведка.

Тимошенко сбросил с себя поясной ремень, прошелся по ковру, расстеленному перед столом, затем вновь остановился у карты, глядя на нее суровым, будто ненавидящим, взглядом.

— Что же докладывать Сталину? — чуть слышно спросил он у самого себя печальным голосом; можно было подумать, что маршала больше угнетает необходимость информировать Ставку о тяжелом положении войск фронта, чем само положение. Потом привычно-строго спросил: — Каких рубежей достигли немцы восточнее Шклова и Быхова?

Генерал Маландин, взяв на столе маршала синий остро заточенный карандаш, привычно приложился рукой к карте и несколькими штрихами обозначил места и глубину прорывов врага.

— Такое расстояние могли преодолеть за это время только головные силы — танки и мотопехота, — сказал Тимошенко, следя за кончиком карандаша.

— Совершенно верно, — подтвердил Маландин. — Спешат ворваться в Смоленск. — Затем, взяв в папке бумагу, протянул ее маршалу: — Телеграмма... Товарищ Сталин приказывает удержать Смоленск во что бы то ни стало.

— Как будто мы сами этого не знаем. — Тимошенко молча прочитал телеграмму, расписался на углу бланка и поставил время ознакомления. Потом повернулся к карте и, не отрывая от нее взгляда, начал формулировать замысел очередного боевого приказа по Западному фронту: — Надо перегруппировать силы и перехватить горловины прорывов на участках Шклов и Старый Быхов... Всеми средствами, какие только можно мобилизовать, навалиться на прорвавшиеся механизированные группы немцев и уничтожить... — Маршал посмотрел на Маландина и спросил: — У вас есть дополнения?

— Возможно, после раскладки сил будут, — ответил Маландин, продолжая делать запись в блокноте.

— Хорошо. Копию приказа — в Ставку... После возвращения воздушной разведки займемся Демидовом. А сейчас вызовите руководство шестнадцатой армии. Надо готовить Смоленск к уличным боям...

16-я армия, прикрывая с севера Смоленск, имела задачу задержать врага на рубеже Касполя, Катынь, не пропустить его на магистраль Москва — Минск. Командный пункт армии находился недалеко от Гнездова — в небольшом лесу близ совхоза Жуково, за автомагистралью. Маршал Тимошенко успел только принять душ, побриться и позавтракать, как ему доложили, что прибыли вызванные по телефону командующий 16-й армией генерал-лейтенант Лукин, член Военного совета дивизионный комиссар Лобачев и командующий артиллерией генерал-майор артиллерии Власов.

...Семен Константинович, сидя за рабочим столом, пытливо всматривался в знакомое, несколько удлиненное лицо генерала Лукина. Кажется, что война только чуть усушила его и вытемнила кожу, а в остальном оно осталось таким же — добродушно-невозмутимым, с мудрым задором в глубоких, широко поставленных серых глазах, с притаенной твердостью характера в уголках резко отчеканенных губ. Это нравилось маршалу: он давно знал Лукина как человека, неуемно стремящегося к самостоятельности — когда тот еще работал начальником Управления кадров Красной Армии, военным комендантом Москвы, а затем начальником штаба Сибирского военного округа. Первые недели войны Лукин провел на Юго-Западном, возглавил по своей инициативе оборону Шепетовки, где находились главные склады боеприпасов фронта, и выстоял в чудовищно трудных условиях. Неудачи первых недель войны не поколебали Лукина, не повергли в растерянность. На такого командарма можно положиться, хотя располагал он возможностями не очень значительными: армия прибывала на фронт разрозненно, часть ее сил еще находилась в пути, а часть пришлось ввести в бой, в том числе и все танковые, подчинив их 20-й армии.

Два соединения армии Лукина растянулись по фронту на большом пространстве, что не позволяло создать в ее полосе сколько-нибудь глубокую и, следовательно, надежную оборону. Поэтому Лукин, присмотревшись к маневренной тактике немцев, создал подвижные отряды, включив в них пехоту, артиллерию и минометы. Во главе отрядов были поставлены наиболее опытные командиры и политработники. Отряды выдвинуты на самые угрожаемые направления и внезапными контратаками, особенно в ночное время, парализуют действия прорвавшихся в глубину нашей обороны частей противника. В трудном положении оказался штаб армии, ибо его батальон связи где-то затерялся при изменении железнодорожных маршрутов. Сейчас Лукин обстоятельно докладывал обо всем этом главкому.

Маршал Тимошенко, сдвинув брови, внимательно вслушивался в сжатые фразы командарма, в его внешне спокойный голос. Лукин сидел напротив, у приставного стола, повернувшись к маршалу вполоборота. Дивизионный комиссар Лобачев и генерал Власов примостились на дерматиновом диване в простенке между окнами, и слепившее из окон раннее солнце не позволяло Семену Константиновичу всмотреться в их лица. В конце своего доклада, подбирая завершающую фразу, Лукин вопросительно, с горьковатой улыбкой посмотрел на маршала, вздохнул и сказал:

— Вот будто и все, товарищ маршал... Сил мало... А насчет моих решений... — Он развел руками.

— Да, мне по долгу службы судить о них. — Семен Константинович тоже вздохнул. — Насчет подвижных отрядов — это то, что нужно. Надо только повысить их мобильность и активизировать работу разведки на них. Замысел действий отрядов — удачный.

— К сожалению, с нашими силами даже самые удачные замыслы не всегда приводят к успеху.

— Зато каждый неразумный замысел всегда и наверняка приведет к неуспеху. — Маршал засмеялся своей не очень веселой шутке.

Сдержанно засмеялись и все, кто был в кабинете.

В последние дни здесь, в Гнездове, уже отчетливо слышалась орудийная пальба, доносившаяся то с запада, то с севера. Временами казалось, что она отдаляется, будто уносимая ветром гроза. А сегодня орудийный рев звучал явственнее, в нем уже различались более гулкие и тупые обвалы. Вот и сейчас мелко задрожал под ногами пол, побежала зыбь по воде в графине. Донеслись тяжкие и звучные удары, словно где-то недалеко рушились горы.

— Бомбят Смоленск, гады, — тихо, словно самому себе, сказал Семен Константинович.

— Там уже и бомбить нечего — одни развалины, — горько добавил Лобачев.

— Смоленск — ворота к Москве, — вдруг сурово произнес Семен Константинович. — Пусть там останутся хоть одни камни, но его надо удержать!.. Это воля Государственного Комитета Обороны.— Маршал обвел всех твердым взглядом и продолжил: — Я отдаю сегодня приказ по Западному фронту об упорядочении управления обороной подступов к Смоленску. Вам, Михаил Федорович, — он остановил взгляд на генерале Лукине, — подчиняю все части Смоленского гарнизона и части, обороняющие подступы к городу.

— И части девятнадцатой армии? — кажется, с недоверием спросил Лукин, видимо, потому, что этой армией командовал Конев, бывший его начальник.

— Отходящие части! — уточнил маршал и чуть возвысил голос: — Оборона города должна быть в одних руках!.. Все подчиняется вам...

И части, которые с востока будут прибывать в Смоленск по железной дороге.

Водворилась напряженная тишина. Стал слышен стрекот телеграфного аппарата на первом этаже, где размещался узел связи. В эти мгновения Лукин и его соратники всей остротой своих чувств и мыслей постигали масштабы ответственности, которая на них возлагалась. Но вряд ли их воображение могло распалиться до той невыразимо тяжкой реальности, которая ждала их впереди... Где-то уже подвозили к немецким передовым частям снаряд, от осколка которого сложит голову генерал Власов Трофим Леонтьевич...

А пока продолжался разговор.

— Я понимаю, — прервал тишину Семен Константинович, — с какими непосильными трудностями вы встретитесь. — Голос маршала зазвучал глухо, глаза его сверкнули из-под нахмуренных бровей болезненно: — Противник забил танковые клинья, охватив вашу, Михаил Федорович, и взяв в клещи отходящую с боями к Смоленску двадцатую армии. Клещи будут сжиматься. Если смотреть правде в глаза... а мы, коммунисты, привыкли только так, возможно, все вы останетесь здесь на погибель... Но не теряйте самообладания. Смоленск надо удержать. А мы будем принимать все меры, чтобы помочь вам...

В это время коротко взгуднул зуммер внутреннего телефона. Маршал Тимошенко взял трубку. Звонил генерал-лейтенант Маландин.

— Вернулась авиаразведка, — докладывал он. — Демидов действительно в руках противника, а главное — под угрозой Духовщина, а значит, и штаб фронта... Разрешите поднять штаб по тревоге...

— Обойдитесь, пожалуйста, без тревоги, — хмуро сказал в трубку маршал, устремив глаза на карту. — Отдайте распоряжение о передислокации штаба... С начальниками оперативного и разведывательного прошу ко мне...

Положив трубку, Тимошенко встал, дав понять присутствующим, что разговор закончен. Прощаясь со всеми за руку, невесело заметил:

— Рвется немец к Ярцеву... — и сообщил последние грозные новости. — Это, сами понимаете, огромный котел во главе со штабом фронта. Будем сейчас принимать меры, а штаб уходит в район Ярцева... Ваша задача — без изменений...

## 8

Выйдя из кабинета Тимошенко и спускаясь по деревянной лестнице на первый этаж, генерал Лукин мыслями все еще оставался там, рядом с маршалом. Сзади шли Лобачев и Власов, и сквозь тихие взвизги деревянных ступенек под их сапогами Михаилу Федоровичу будто слышались сурово приглушенные слова:

«...Возможно... останетесь... на погибель... Но не теряйте самообладания...»

Все предельно ясно по главной сути, однако Лукин не мог вообразить себе, как именно сложатся события. Да и невозможно было поверить, что действительно близится тот страшный час, когда, кроме гибели, не будет другого выхода.

Враг, конечно, могуч: непрерывно давит огнем и моторами с воздуха и на земле; превосходство в силе и инициатива — на его стороне. Но и армия генерала Лукина, пусть ее раздергали по частям и в ней осталось всего лишь две дивизии, все-таки представляет собой не видимость силы, а силу. Одна 152-я дивизия полковника Чернышева Петра Николаевича чего стоит: в ее полках — металлурги Магнитогорска и тракторостроите-

ли Челябинска! С такими людьми можно дьяволу шею свернуть, прежде чем сложат они головы. И смутно надеялся Лукин на самого себя, на свой штаб и на какие-то еще пока неизвестные ему обстоятельства. Ведь как туго пришлось на Юго-Западном фронте в первые недели войны! Не сплоховал генерал Лукин! Хотя основные силы армии так и не вступили там в бой, а были переброшены под Смоленск...

Два генерала и дивизионный комиссар шли цепочкой по асфальтированной дорожке, которая вела к выходу с территории штаба. Дорожка была засыпана хвойными иголками, забросана мелкими ветками и крошевом земли: где-то поблизости взорвалась бомба. Справа и слева от дорожки, между елями и соснами, виднелись глубокие щели с покрытыми дерном взбугрившимися краями.

Впереди размашисто шагал Михаил Федорович Лукин, стараясь быстрее прийти к машине, чтобы мчаться в свой штаб, в Жуково. Уже на подходе к шлагбауму, за которым стояли в тени деревьев машины, Михаил Федорович обратил внимание на военного в командирской форме, без пояса, сидевшего на краю придорожной канавы; за его спиной, в лесу, виднелась просторная брезентовая палатка с откинутым пологом. Военный сидел как-то неуклюже, вполоборота к дорожке, склонив голову в глубокой задумчивости. Что-то знакомое показалось Лукину в фигуре военного. Чуть в стороне от него топтался красноармеец с карабином в руках, в полинявшей до белизны гимнастерке и с черным от загара широкоскулым лицом.

Михаил Федорович, не успев еще ничего понять, ощутил, как похолодело у него в груди и как тоскливо заныло сердце: в военном он узнал родного младшего брата Ивана — полковника Лукина Ивана Федоровича.

Жаркой волной окатила догадка: что-то страшное случилось с братом.

— Иван! — тихо, но сурово позвал Михаил Федорович.

Военный и не шевельнулся в ответ: только охранявший его красноармеец, вытянувшись в струнку, «ел» глазами начальство.

— Полковник Лукин!

Тот вздрогнул, затем медлительно, будто с неудовольствием, повернул голову на оклик, устремив на Михаила Федоровича застывший сумрачный взгляд. В этом взгляде, затем во всем лице на мгновение зажглась светлинка, но тут же угасла. Иван неторопливо встал, одернул неподпоясанную гимнастерку.

Михаил Федорович заметил на петлицах брата полковничьи прямоугольники и обратил внимание, что на рукавах не спороты золотые шевроны, и от этого почувствовал, что в груди словно чуть ослабла сжавшая сердце тяжесть, хотя по-прежнему ничего не понимал.

А рядом застыли в недоумении Лобачев и Власов.

— Ты что, под арестом?! — изменившимся голосом спросил Михаил Федорович у брата, немигающим взглядом всматриваясь в посеревшее, небритое и вместе с тем такое родное лицо.

— Выходит, что так, — вяло, с безнадежностью в голосе ответил Лукин-младший.

— Струсил в бою?

Лицо Ивана передернулось в гримасе, словно от удара, а глаза потемнели, стали колючими. Он молчал, и от этого молчания Михаилу Федоровичу стало невыносимо тяжело.

— Струсил? Отвечай! — Сам того не желая, Михаил Федорович повысил голос и больше всего боялся услышать от Ивана утвердительный ответ.

Иван переступил с ноги на ногу, окатил старшего брата возмущенно-угрожающим, почти ненавидящим взглядом.

— Ты разве видел в нашем роду трусов? — И глубоко вздохнул, почти всхлипнул.

— Что же случилось? — Михаил Федорович вплотную подошел к брату и как-то неуверенно положил руку на его плечо. — Где твои курсанты?

Незадолго до войны полковник Иван Федорович Лукин был назначен начальником Виленского пехотного училища — об этом Михаил Федорович знал из его письма, полученного еще в Забайкалье.

— Где твое училище? — опять спросил, не дождавшись ответа на первый вопрос.

Иван горестно покачал головой и, глядя в землю, заговорил:

— В первый день войны поднялись по тревоге и с полной боевой выкладкой двинулись к границе... На второй день вступили в бой... Хорошо дрались — оборонялись, контратаковали... Я только теперь знаю, что такое настоящий штыковой бой... Затем в район обороны Литовского батальона, он был во втором эшелоне, пробрались переодетые в нашу форму фашисты... Уничтожили несколько пулеметных расчетов и в критическую минуту, когда немцы при поддержке танков пошли в атаку, ударили из станкачей в спину двум нашим батальонам первой линии...

Далее полковник Лукин поведал, как собирал по горстке курсантов, командиров и пробивался с ними из окружения. Сегодня с группой командиров и преподавателей прибыл в штаб фронта, а здесь кому-то из начальства показалось, что потери училища не оправданы, и его арестовали, грозят судом военного трибунала.

— Кто с тобой беседовал? — строго, словно угрожая кому-то, спросил Михаил Федорович.

Иван ответить не успел. Прямо над верхушками леса послышался знакомый нарастающий свист «мессеров», а затем на землю упала кипящая пулеметная дробь; немецкие истребители, строча из пулеметов, мелькнули желтыми брюхами над деревьями и унесли пальбу и свистящий вой моторов к железнодорожной станции Катынь.

Когда шум стих, генерал Лукин, вспомнив, что ждут его неотложные дела, заторопился:

— Пошли к маршалу Тимошенко! — Он решительно взял брата за локоть. — Расскажи ему все, как было. Где твой ремень?

И тут Михаил Федорович услышал чей-то спокойный голос, обращенный к караульному:

— Принесите полковнику Лукину пояс.

Широкоскулый и темнолицый красноармеец проворно затопал кирзовыми сапогами в глубину леса к недалекой палатке, генерал Лукин с вопрошающим недоумением рассматривал откуда-то подошедшего старшего батальонного комиссара — грузноватого и полнолицего, с дымчатой сединой в висках.

— Старший батальонный комиссар Ивановский, — представился он, благожелательно глядя на генерала Лукина. — Мне думается, товарищ генерал, вы преждевременно обращаетесь к наркому обороны. Мы еще определяем степень виновности полковника Лукина.

— Раз есть степень, то при желании найдется и виновность. Я должен знать все немедленно! — не проговорил, а будто отрезал генерал Лукин. — Ведь вы, товарищ Ивановский, не хуже меня понимаете, что на войне, особенно в таких условиях, как сейчас, суд вершится быстро и без излишних антимоний!

— Но мы еще не готовы докладывать Военному совету дело полковника Лукина,— продолжал урезонивать генерала Ивановский.

— Важно, что «дело» заведено. А чем это кончается, знаем — читали в приказе о бывшем руководстве Западного фронта.

— Это разные вещи, — ответил Ивановский со вздохом: ему, видимо, припомнилось, что когда начинал он предварительное следствие по делу генерала армии Павлова, то и не предполагал, сколь суровая мера наказания ждала арестованного.

— Не знаю, разные или нет, но я своему брату верю и несу за него ответственность! — стоял на своем Михаил Федорович.

— Тогда разрешите и мне с вами. Я должен доложить маршалу мотивы ареста полковника Лукина.

— Это ваше право, — уже с откровенным чувством недружелюбия ответил генерал Лукин и обратился к дивизионному комиссару Лобачеву и генералу Власову, которые были молчаливыми свидетелями столь неожиданной и необычной встречи двух братьев: — Извините, товарищи, что задержал вас. Иначе какой из меня будет командарм с таким камнем на сердце?

— Я обожду, — откликнулся Лобачев.

— А я, с вашего позволения, поеду давать распоряжения о перегруппировке. — Генерал Власов хлопнул ладонью по планшетке, где у него лежал план боевого распределения артиллерии.

— Езжайте, Трофим Леонтьевич,— согласился генерал Лукин, а затем обратился к Лобачеву: — И ты езжай, Алексей Андреевич. Я скоро буду в штабе.

— Тогда я поеду в направлении Красного, к Буняшину. Там сейчас очень тяжело.

— Хорошо. — Михаил Федорович утвердительно кивнул.

Еще стояло солнечное утро, блестела на растоптанных газонах, на цветах не успевшая испариться роса, откуда-то из-за хозяйственных построек бывшего дома отдыха тянуло дымом — видимо, что-то подожгли недавно пролетевшие «мессершмитты». К недалекому жилому корпусу, где размещались какие-то отделы и службы штаба фронта, подкатывали машины — грузовые, легковые, автобусы. В них спешно грузили ящики с документами и картами, сейфы, чемоданы. Даже неопытный глаз легко мог определить, что штаб фронта перемещается в другое место.

Генерал Лукин, занятый томившими его мыслями и безучастный к окружающему, прохаживался перед парадной дверью двухэтажного дома с мезонином, в котором сейчас решалась судьба его брата Ивана. Сам Михаил Федорович в последний момент раздумал идти к маршалу Тимошенко. Встретившийся им на пути генерал Белокосков, которому Лукин взволнованно рассказал причину своей задержки в штабе фронта, согласился проводить Ивана и старшего батальонного комиссара Ивановского к маршалу. Какое же решение примет Семен Константинович? И как прозвучат в изложении представителя военной прокуратуры мотивы ареста полковника Лукина? Хотя невозможно в это поверить, но вдруг Иван действительно оплошал в бою — струсил или проявил нераспорядительность? Тогда не миновать трибунала...

Перед законом все должны быть равны. Но как тяжко сознавать, что дорогому тебе человеку грозит суд, а может быть, и расстрел. Легче взять его вину на себя. Росли же вместе... Михаил Федорович на восемь лет старше Ивана, был его наставником в малолетстве и в юности, значит, в ответе за него и сейчас.

В эти тревожные минуты ожидания генерал Лукин будто вернулся в свое детство, в родное село Полухтино, затерянное среди милых сердцу тверских лесов... Их у отца было шестеро детей. Жили голодно и холодно при трех десятинах земли, одной лошади и одной корове. Вспомнилось, как, будучи подростком, провожал он в Зубцовске отца на поезд,

потом бродил по городку, по берегам Волги и впадающей там в Волгу Вазузы, ночевал на пристани... И все размышлял тогда о сказочном Царском Селе, куда отец время от времени уезжал на заработки. Не хватало фантазии, чтобы услышанное от него сложилось в явственную картину. Представлялись улицы с золотыми домами, парки с невиданными деревьями, толпы важных господ, гуляющих с зонтиками в руках и евших мороженое, которое разносил им отец в белом халате и с лотком на груди...

Когда Миша Лукин закончил пять классов сельского народного училища, отец и его увез в Петроград — пристроил на работу «мальчиком» в трактире «Пятерка». Поднаторев там в обращении с посудой и с посетителями, Миша перебрался в ресторан «Золотой колос», где несколько лет работал официантом. Подзаработав денег и приодевшись, подал прошение о приеме в учительскую семинарию. На вступительных экзаменах показал хорошие знания и был принят.

Но закончить семинарию не позволил призыв на военную службу. В 1913 году он уже рядовой Усть-Двинской крепостной артиллерии, а через год, после прохождения службы в учебной команде, фейерверкер Михаил Лукин участвует в боях...

И будто все это далекое было не с ним: бои, ранения, госпиталь в Москве, школа прапорщиков... В 1917 году поручик Лукин становится красногвардейцем, а через год — курсантом разведки и военного контроля при Полевом штабе Красной Армии... И опять бои — за молодую Советскую Республику... Он уже коммунист... Царицынская эпопея, Польский фронт, на котором командир бригады Лукин опять ранен... Первые награды — два ордена Красного Знамени, серебряный портсигар и золотые часы с монограммой. «Честному воину РККА от ВЦИК» — вычеканено на портсигаре... И пошел шагать по ступеням военной иерархии и аудиториям академических курсов Михаил Федорович Лукин... Начальствовал на командных курсах в Лубнах, затем шесть лет был во главе стрелковой дивизии в Харькове; его полки не только обучались военному делу, но и принимали участие в строительстве тракторного завода, помогали крестьянам в поле... Проходило время, внося поправки в его судьбу. Вот он военный комендант Москвы, а вот уже и командующий армией... Но не гладкой была его дорога. Иногда за взлетами следовало падение; были периоды отчаяния, когда ошибался в людях, когда узнавал об измене друзей или подвергался несправедливым наказаниям. Но никогда не опускал рук, не терял веры, не расслаблял волю. И в конечном счете правда и справедливость оборачивались к нему лицом.

Воспоминания роем клубились в голове генерала Лукина, сменяясь одно другим, врываясь в сегодняшний день и вновь унося мыслями в родную деревню, откуда удалось в давние годы вывести брата Ивана на желанную ему стезю военной службы.

Откуда-то из-за Красного бора донеслись гулкие удары, будто там падало на землю само небо. Оттуда же послышались резкие и сердитые выстрелы зенитных орудий. И Михаил Федорович, вырвавшись из плена воспоминаний, ощутил холодок в груди: ему немедленно надо быть северо-западнее Смоленска, оттуда тоже явственно, если прислушаться, докатывался пушечный гром. И в это время его кто-то окликнул:

— Михаил Федорович!

Оглянулся на голос и увидел Ивана, который стоял на нижней ступеньке парадного крыльца. По его смущенной улыбке и какой-то энергичности в лице, по подобранности в фигуре понял, что беда миновала. Быстро пошел ему навстречу, всем своим видом выражая нетерпение:

— На чем порешили?

— Дал маршал чертей, но вину снял с меня.

— Куда ты сейчас?

— В отдел кадров к полковнику Алексееву за назначением.
— В мою армию не хочешь?
— Нет, Миша. Будем воевать с немцами порознь.
— Правильно!

Братья обнялись на прощание и расцеловались. Это была их последняя встреча. Скоро Михаил Федорович узнает, что его брат полковник Лукин геройски погиб в бою.

## 9

В начале дня штаб Западного фронта спешно покинул Гнездово. В бывшем доме отдыха остались только связисты — для демонтажа и погрузки на машины аппаратуры узла связи.

Маршал Тимошенко ехал в своем бронированном «зисе» один, наблюдая за оживленной и пыльной дорогой, ведущей к Смоленску. Но перед его глазами стояла все-таки не дорога, а оперативная карта, по которой он только что отдавал армиям фронта приказ уничтожить прорвавшиеся группировки противника в районы Демидов, Горки, Быхов и упрочить положение по рубежу рек Западная Двина (в районе Полоцкого укрепленного района) и Днепр. Видимо, так преследуют воображение мастеров кисти создаваемые ими картины живописи, с той лишь разницей, что на картине живописца рождается обобщенная реальность, а карта военачальника символами передает боевые и тоже вполне реальные события, которые пребывают в постоянном движении и таят в себе неисчерпаемый океан человеческих страстей на грани жизни и смерти. И если художник каждым новым мазком кисти приближает картину к завершенности, то на карте последующие обозначения уже будут итогом не только творчества полководца, но и боевых усилий войск — успешных или безуспешных. И это — последнее, как грядущий приговор суда, постоянно и немилосердно тиранит душу полководца.

Но по мере приближения автомобиля к Смоленску мысль маршала постепенно переключилась на все то, что могло сейчас происходить там, в каменном хаосе развалин и пожарищ... Под густой сенью деревьев Лопатинского сада вырыты землянки, где разместился областной комитет партии. По просьбе первого секретаря обкома Попова маршал Тимошенко позавчера присутствовал на заседании бюро, где решался вопрос о создании подпольного обкома партии, а в городе — подпольного партийного центра, об организации боевых подпольных групп и развертывании в области партизанского движения. Пришлось маршалу для этого важного дела выделять из скупых запасов легкие радиостанции, электробатареи, личное и автоматическое оружие...

Автоколонна штаба фронта пробиралась по Заднепровью. Справа раскинулась территория железнодорожной станции. Из окна автомобиля маршал Тимошенко видел клубы дыма, языки пламени, вздыбленные над воронками рельсы, остовы сгоревших вагонов, захламленные междупутья, развалины станционных построек... И встревоженный людской муравейник: железнодорожники восстанавливали пути, грузили на платформы станки, ящики с заводским оборудованием и еще с чем-то, отправляли на восток эшелоны.

А с заднепровских холмов скорбно смотрел Смоленск, укоряюще глядели пустыми глазницами окон каменные глыбы его обгоревших, с обрушенными внутрь крышами домов. Тонули в задымленном небе купола Успенского собора. По днепровскому мосту текла в Заднепровье река беженцев...

За городом, куда с трудом пробилась автоколонна, дорога тоже была

запружена машинами, повозками, тачками, детскими колясками, велосипедами. Люди, изнывая от жары, задыхаясь в пыли и гари, несли рюкзаки, чемоданы, узлы, шли по обочинам, по полю вдоль шоссе. В этом пестром и печальном потоке — большинство женщин, детей, стариков. Кое-где виднелись группы раненых красноармейцев с серыми от усталости лицами и потерявшими белизну повязками. Тяжкое это зрелище: сколько порушено человеческих судеб, сколько выпадет на долю этих людей лишений и страданий; и томило сердце маршала чувство собственной вины за все, что видели его глаза...

Людской поток устремился по старой Смоленской дороге, а автоколонна штаба фронта свернула на север, к недалекой автостраде Москва—Минск. Автострада оказалась почти свободной, и минут через сорок быстрой езды машины втянулись в лес — не доезжая Ярцева, близ того места, где с автострадой сливалась шоссейная дорога, идущая от Духовщины. В лесу развернулись радиостанции, настраиваясь на связь с Москвой и со штабами армий. На автостраде встал контрольный пост для остановки и ориентирования наших делегатов связи.

То были тревожные и томительные часы. Ожидались распоряжения Ставки Верховного Командования и возвращение с рекогносцировки квартирьеров, посланных в тыл Западного фронта для выбора нового места под штаб. Намеченный прежде запасной командный пункт в районе Ярцева, известный Ставке, находился в зоне, уже слишком близкой к противнику. И Тимошенко не был готов принять решение: где при создавшейся обстановке лучше расположить свой штаб и КП? Если впереди ранее указанного Ставкой и, наверное, строящегося рубежа Фронта резервных армий, то это бессмысленно: боевые действия вплотную придвинулись и к этому рубежу; в таких условиях нельзя обеспечить сколько-нибудь четкого управления войсками. А уйти за линию Резервного фронта, значит, штаб Западного фронта будет иметь перед собой «чужие» армии, что неизбежно приведет к неразберихе. Да и вообще, хотя резервные армии были только на подходе, складывалось, по мнению маршала, не лучшее стратегическое построение войск: в одной фронтовой полосе образовалось два фронта, управляемых двумя штабами, пусть даже они подвластны одному главкому Западным направлением — ему, маршалу Тимошенко.

Ни указаний Ставки, ни возвращения квартирьеров дождаться в лесу под Ярцевом не удалось. События неожиданно приняли опасный оборот. Только потом узнал маршал, как они начинались.

...С Духовщинского шоссе выскочили на автостраду Москва — Минск два санитарных автобуса с ранеными красноармейцами. В боковой стенке передней машины, почти в том месте, где на белом круге был нарисован красный крест, зияла овальная дыра с рваными закраинами.

На контрольном посту автобусы были остановлены. Из кабины переднего выскочила маленькая рыжеволосая девушка со знаками санинструктора на зеленых петлицах гимнастерки. Ее бледное лицо, трясущиеся губы, помертвевшие серые глаза выражали крайний испуг.

— Сзади нас — немецкие танки! — осипшим голосом сообщила она.— Вон попали снарядом-болванкой... Одного раненого надвое перерубило... Кровищи полный автобус. — И девушка навзрыд заплакала.

Тем временем в глубине леса маршал Тимошенко беседовал с начальником войск связи фронта генерал-майором Псурцевым. Они стояли под зеленой ольхой в бликах солнечных лучей, дробившихся в ветвях деревьев. Среднего роста, смуглолицый Николай Демьянович Псурцев немногословно докладывал, что узел связи фронта в Гнездове демонтирован, последние машины с оборудованием уходили оттуда уже под артиллерийским обстрелом врага. В сдержанности голоса Псурцева, в тоскли-

вом выражении глаз угадывались казнившие его душу мысли: обстановка на фронте хуже быть не может... Многое зависит от связистов, а их — кот наплакал. Части связи 3, 4 и 13-й армий понесли потери от 50 до 100 процентов. Прибывшее управление 16-й армии потеряло свой батальон связи при изменении маршрута следования. Части Народного комиссариата связи не отмобилизованы.

2 июля Псурцев дал начальнику штаба фронта генералу Маландину подписать телеграмму в Генеральный штаб, в которой объяснялась необходимость срочно подать из центра четыре линейных батальона связи, восемь линейных батальонов армейских управлений и, соответственно плана развертывания, — необходимое количество кабельно-шестовых, телеграфно-эксплуатационных и телеграфно-строительных рот. Москва пока не отвечает...

Но сейчас главная боль сердца — сегодняшний день. К прибытию штаба фронта на новое место узел связи должен быть готов к действию... Но куда, в какой пункт посылать машины?..

Они понимали друг друга с полуслова. Ведь и в финскую войну Псурцев был начальником войск связи фронта, которым командовал Тимошенко. А сюда, на Западный фронт, прибыл из Генерального штаба тоже по его приказу сразу же после того, как Военный совет сместил бывшего начальника связи генерала Григорьева с поста и вместе с прежним руководством Западного фронта отдал под суд военного трибунала.

— Надо держаться,— невесело сказал Псурцеву маршал и с нервной нетерпеливостью взглянул на часы. — А насчет узла связи... Видимо, придется потеснить в Касне штаб Фронта резервных армий. Там узел задействован... Другого выхода пока не вижу.

И только сказал маршал последние слова, как со стороны автострады послышался чей-то напряженно-высокий и взвинченный голос, от которого у всех дрогнуло сердце:

— Общая команда!.. В ружье-о!.. Приближаются танки противника!.. По машинам!.. Заводи моторы!..

Тут же на просвечивающейся опушке, обращенной в сторону Духовщинского шоссе, в кронах деревьев с ужасающим грохотом начали рваться снаряды.

Когда Тимошенко и Псурцев выбежали на опушку, то увидели, что за дорогой, над недалеким бугром, клубится пыль, поднятая гусеницами и орудийными выстрелами. В живом сером мареве виднелись движущиеся темные сгустки. Сомнений не было: немецкие танки — наверное, разведка одной из тех двух дивизий, — которые прорвались со стороны Демидова.

По танкам из подступавшего к автостраде угла леса ударила батарея сорокапяток, охранявшая штаб...

— Товарищ маршал, машина подана! — взволнованной скороговоркой доложил подбежавший начальник охранной группы. И наверное, для убедительности добавил: — Товарищ маршал, ранен осколком генерал Белокосков!

— Тяжело ранен? — встревоженно спросил Семен Константинович.

— Тяжело. — Начальник охраны кивнул головой в глубину леса: — Там ему оказывают помощь.

Взглянув еще раз в сторону танков, маршал сумрачно бросил:

— Штабу фронта, конечно, здесь делать нечего. — Затем повернулся к торопливо подошедшему генерал-лейтенанту Маландину, требовательно посмотрел в его серое от недосыпания лицо, распорядился: — Сориентируйте по радио Лукина, где находятся эти танки. Надо прикрыть автостраду. Пусть выдвигается сюда и сто десятая мотострелковая... А из Резервного фронта... Какая танковая поближе?

— Шестьдесят девятая, — ответил Маландин.

— Наметьте рубеж развертывания шестьдесят девятой танковой... По речке Вопь занять оборону сорок четвертому стрелковому корпусу генерала Юшкевича. Задача — прикрывать Ярцево. Все подходящие по автостраде части — тоже на Вопь...

## 10

В живой, полной сил армейской среде встречаются столь одаренные военачальники, коим в определенное время становится тесно и скучно в штабах и за оперативными картами, в академических аудиториях и даже на полях крупных войсковых учений. Их опыт и их знания как бы рвутся на волю, стремясь обрести голос и практическое действо. Это потому, что, когда дремлют громы войны, когда царит мир, армия живет жизнью, уложенной в строгие границы предписаний. И как бы ни были широки эти границы, как бы ни наполненно пульсировали артерии, соединяющие Генеральный штаб через нижестоящие штабы с войсковыми организмами, творческая мысль, которая постоянно обогащает существующую науку о войне, на каком-то этапе неизменно теряет упругость и активность, жрецы этой мысли, где бы они ее ни извлекали — на академической ли кафедре, находясь ли во главе войскового соединения или оперативного объединения, — устают оценивать умозрительно созданное ими и выверять его в условных обстоятельствах. Точнее — у военачальников мирной поры мало возможностей испытывать синтезирующие способности своего полководческого интеллекта, ибо, как известно, без анализа нет синтеза. А мышление людей, в том числе и военных, состоит из разложения специфических объектов сознания на их элементы и слияния родственных между собой элементов в единое целое.

Короче говоря, истинные способности любого военачальника в полной мере проявляются только на кровавой арене войны. Более того: война, сия страшная, хотя в значительной мере управляемая стихия, несущая народам тяжкие бедствия, является повивальной бабкой многих полководцев; именно война раздувает искры их таланта в бешеное пламя. Она же становится и беспощадным гробовщиком тех, кто ошибся в своем призвании вождения войск.

Для человечества не было б никакой трагедии, если б ни одному народу никогда не понадобилось пробуждать военные таланты. Пусть бы они оказались неродившимися сыновьями мифологического бога войны Марса и не увидевшими на себе сверкающего венца ратной славы.

Но коль призывно загудел над мирной землей черный набат войны, все сущее и дремлющее, все подспудное, в чем есть хоть проблески силы, должно проснуться и укрепить народную рать, встающую под знамена борьбы. Так и случилось на советской земле после внезапного вторжения в ее пределы войск фашистской Германии. И первые же недели и месяцы войны высветлили на командных высотах сражающейся Красной Армии десятки одаренных творцов и носителей передовой военной мысли, витавшей до этого в ледяной области их отвлечений. Война изобличила и неспособных... Вихрь баталий втянул тех и других в свои огненные эпицентры, полностью развязав для действия руки и раскрепостив мысль.

Разумеется, тем, кто утвердился, пришлось бессменно стоять на смертном пороге, испытывая великое бремя долга, невыносимое напряжение и горечь утрат. Никого из полководцев, когда разлилось море страданий, не прельщала ни слава, ни власть; тяжелейшая ноша ответственности за жизнь и судьбу родного народа подавляла все земные чувства. Сила духа, глубина мысли, твердость воли — все, что составляет

величие человека, без остатка было подчинено одному: остановить врага. И никаких полумер, полурешений; они в военном деле, как и в политике, всегда ведут к пагубным последствиям!..

С каждым июльским днем штаб Западного фронта все прочнее овладевал сложившейся обстановкой, все четче ставил сражающимся армиям задачи, хотя ему пока не удавалось сколачивать из прибывающих резервов сильные группировки, способные достигнуть решительного перевеса на направлениях ответных ударов. Сказывалась раздробленность вступавших в бой войск, сказывались слабые артиллерийское обеспечение и авиационная поддержка. И тем не менее главнокомандующий Западным направлением маршал Тимошенко чутко определял колебания чаш весов противоборства. 13 июля в приказе войскам фронта, основываясь на первичных сведениях, он писал, что «в результате двадцатидневных упорных и жестоких боев с превосходящими силами врага соединения Красной Армии уже разгромили большую часть лучших фашистских бронетанковых и моторизованных дивизий». Группа немецких армий «Центр» действительно уже потеряла значительную часть своих ударных сил и лишилась возможности наступать на Москву своими пехотными эшелонами, тогда как войска Красной Армии вышли из шокового состояния и начали вести упорные оборонительные бои.

В том же приказе маршала Тимошенко отмечалось: «Где танковые и моторизованные дивизии немцев наталкиваются на организованный и решительный отпор наших войск, они бросают эти направления и переключаются на другие, отыскивая слабые места в обороне». Исходя из этого, маршал решительно требовал: «Во всех частях и соединениях армий развить наибольшую активность перед передним краем обороны, для чего вести непрерывную разведку и высылкой небольших отрядов и групп, дневными и ночными налетами не давать покоя противнику, уничтожая его группы танков, мотоциклистов и тылы, тем самым связывать его маневренность перед фронтом наших войск».

На Смоленской возвышенности развернулось уже не только противоборство сил при явном превосходстве врага на суше и в воздухе, но и началась яростная схватка умов, началось сражение двух военных доктрин. Нравственное потрясение советских воинов, как следствие глубокого вторжения врага в просторы России, Белоруссии, Украины и Молдавии, постепенно ослаблялось. И все явственнее усиливалось нравственное потрясение гитлеровского генералитета, видевшего, как неотвратимо рушатся его расчеты на молниеносную, триумфальную победу над Красной Армией.

Самые короткие и желанные для немецко-фашистских войск дороги к Смоленску перекрыла 20-я армия генерал-лейтенанта Курочкина Павла Алексеевича. Этот сорокалетний генерал и оказался одним из тех командиров, которые в опасные для Родины времена, кажется, превосходят самих себя, искусно управляя войсками и рождая новые принципы сражений. Наиболее яркой стороной одаренности генерала Курочкина явилось его четко осмысленное, а порой, возможно, интуитивное умение постигать, что конкретно надо сделать в каждый острокритический момент при постоянной нехватке сил, при открытых флангах и при слабой связи.

Интуиция... Это не мистическое понятие, не озарение, ниспосланное свыше, а слившиеся воедино мышление, чувство и ощущение. Интуиция в боевой деятельности полководца занимает особое место. Можно хорошо усвоить всю множественность и сложность знаний, составляющих военную науку, но не всем дано ощущать их в гармонии. А кому дано, у того мысль всегда жаждет обобщений и часто опирается в своем постижении на интуицию. Дано чувствовать полную гармонию знаний только

тем, кто в многолетнем радении копил их последовательно, ощущая радость познания, и кому совершенно чужд дилетантизм.

К таким военачальникам относился не один генерал Курочкин. В те июльские дни только на Западном фронте разгорался военный талант Рокоссовского, Конева, Черняховского, Лукина, Маландина, Соколовского, Захарова, Масленникова, Руссиянова, Галицкого, Крейзера, Лизюкова, С. П. Иванова, Плиева... Много их на великой Руси! Разгорался талант не на пустом месте. Тот же Павел Алексеевич Курочкин после окончания двух академий и адъюнктуры немало потрудился на академической кафедре тактики, а затем в высоких войсковых штабах. А в финскую войну именно его стрелковый корпус вышел по льду Финского залива в тыл выборгской группировке противника и в значительной мере обеспечил успех операции.

Судьбе было угодно, чтобы сейчас генерал Курочкин воевал на родной Смоленщине. Деревня Горнево, где он родился и вырос, недалеко от Вязьмы. Там такая же овражистая земля и такие же леса, как этот, раскинувшийся по берегу речушки Жереспея. Отсюда штаб 20-й армии и руководил боями своих частей.

20-я армия — это пять стрелковых и три танковые дивизии. Но одно название, что дивизии: в трех танковых осталось всего лишь шесть десятков машин, да и те старых образцов. А воевать надо, держаться за землю хоть зубами... Пусть неравенство сил, пусть открыты фланги, но надо было поначалу хоть частично оправдать тяжкий труд смолян, построивших оборонительные рубежи в бассейнах Днепра и Западной Двины. Этот подвиг творили студенты смоленских вузов, школьники, старики и женщины, жители районов области, призванные областным комитетом партии. Главное их оружие — ненависть к врагу, придававшая силу держать в руках лопату, кирку, лом, топор, пилу. Рыли траншеи, противотанковые рвы, делали лесные завалы... На огромном пространстве созидательно копошился почти трехсоттысячный людской муравейник, несмотря на артиллерийские налеты, на бомбежки, на обстрелы с воздуха. Это было торжество непокорности народного духа.

Но долго держаться в обороне с открытыми флангами ни 20-я армия, ни ее соседи не смогли. И генерал Курочкин начал активную маневренную оборонительную борьбу, частично восполняя по приказу фронта тающие силы за счет некоторых дивизий 16-й армии генерала Лукина, разрозненно прибывавших к Смоленску, и вливая в свои ряды подразделения, которые выходили из окружения. Командарм все чаще начал ставить противника в зависимость от своей воли. Пусть на время, но верх все-таки брали его искусство и доблесть войск. Их усилия, возбуждаемые приказами командарма, направлялись на то, чтобы оборона занималась частью сил на второстепенных рубежах, перед которыми устраивались различные заграждения. Немцы, наткнувшись на огонь, на лесные завалы или мины, вынуждены были развертываться в боевой порядок, вводить в действие танки и авиацию, а тем временем обороняющиеся выходили из-под удара и занимали главный рубеж с хорошо подготовленной системой огня, где намечалось дать врагу настоящие оборонительные бои с отражением атак и обязательным переходом в контратаки. Много было таких главных рубежей...

В полосе действий 20-й армии наступление немецко-фашистских войск заметно затормозилось, и германское командование решило обойти ее, устремив 3-ю танковую группу генерал-полковника Гота на Демидов, Духовщину, Ярцево, чтобы, смяв подходившие войска 19-й армии генерала Конева, обогнуть Смоленск с севера, а левое крыло 2-й танковой группы генерал-полковника Гудериана бросить на Красное, Горки, Починок, чтобы замкнуть кольцо с юга.

Июль склонился на вторую половину, когда клешня немецких моторизованных войск, охватив Смоленск с севера, дотянулась до Ярцева, что в трети пути между Смоленском и Вязьмой. Там спешно создавался еще один оборонительный рубеж советских войск по Вопи — притоку Днепра; на его восточном берегу и раскинулось Ярцево, которому судьба уготовила быть до самой осени ареной и свидетелем кровавого противоборства двух армий.

Труднее давалось пространство частям 47-го механизированного корпуса из танковой группы Гудериана. Пятившиеся к Смоленску войска использовали каждый рубеж, чтобы оказать немцам жестокое сопротивление, выиграть время и нанести врагу как можно больший урон. Тяжелые бои велись за дороги, речки, речушки, за господствующие высоты и населенные пункты, распадаясь на самостоятельные баталии — крупные и малые.

Алексей Алексеевич Рукатов не уставал возвращаться мыслями к тому недавнему дню, когда его вызвали в палатку начальника штаба дивизии подполковника Дуйсенбиева и находившийся там полковой комиссар Жилов, не тая во взгляде презрения, спросил: «Как вы могли написать о Федоре Ксенофонтовиче такую подлую ложь?» Этот вопрос напугал Рукатова до такой степени, что последовавшее за ним возмездие — прочитанный Дуйсенбиевым приказ маршала Тимошенко о разжаловании его из подполковника в майора — не показалось тяжелым. Алексей Алексеевич, расписавшись на приказе, утверждая этим, что ознакомлен с ним, трясущейся рукой сорвал со своих петлиц на гимнастерке по одной шпале — прямоугольнику, покрытому красной эмалью, и молча вышел из палатки.

Только ночью, когда группа генерала Чумакова начала теснить немцев в сторону Борисова, а он, Рукатов, начальник артиллерии дивизии, направлял по телефону и через связных взаимодействие дивизионов с пехотой и танками, до него внезапно дошел весь смысл происшедшего. Уязвленное самолюбие начало будто вспухать, шириться, разгоряченная голова заполыхала от негодующих и мстительных мыслей. Ведь еще вчера воображал себя в чине полковника, фантазия не раз возносила его на такие начальственные вершины, что сердце плавилось от сладкой гордости, а тут вдруг... Нет, он не мог слышать, чтобы к нему обращались: «Товарищ майор!» И тайком сорвал с петлиц оставшиеся шпалы, зная, что на петличном сукне, выцветшем до серости, останутся черные прямоугольники — следы трех шпал. Пусть зовут, как кому хочется...

Во всех своих бедах Алексей Алексеевич винил генерала Чумакова, и теперь, помимо страха перед ним, прибавилась еще и такая ненависть, что невозможно было заглянуть себе в душу. Да и остальное начальство стало враждебно Рукатову. Тот же полковой комиссар Жилов со своим обжигающим взглядом повергал Алексея Алексеевича в ужас. Был страшен и полковник Карпухин, всегда способный уличить в каком-либо должностном упущении. А своего тестя, командира дивизии полковника Гулыгу, Рукатов стал презирать сам.

Гулыга, узнав о понижении в звании Алексея Алексеевича, успокоительно шепнул ему на ухо: «Сносить бы в этой войне голову, а при каком звании — все равно». И посоветовал не торчать без надобности на командно-наблюдательных пунктах дивизионов, а когда идет вперед, не забывать, как будет возвращаться обратно. За этими словами тестя Алексей Алексеевич почувствовал его растерянность перед происходящим, после того как их контрудар в сторону Борисова до конца не удался и войсковой группе Чумакова, понесшей тяжелые потери, пришлось вновь пробиваться на восток.

Особенно трудно стало Рукатову, когда штаб полковника Гулыги слился с остатками штаба бывшей ташутинской армии, которую принял генерал Чумаков. Полковник Гулыга теперь командовал сводным мотострелковым полком — все, что осталось от дивизии, а он, майор Рукатов, как начальник артиллерии всей войсковой группы должен постоянно находиться при генерале Чумакове. Вроде бы и повышение по службе, но радости никакой. Более того, в каждом приказе генерала Рукатову мнилось желание унизить его, поставить под удар и подчеркнуть недостаточную профессиональную подготовку. Даже тогда, когда он, Рукатов, по подсказке минометчиков предложил Федору Ксенофонтовичу усилить кузова нескольких грузовиков специальными рамами, чтоб на них закреплять опорные плиты 82-миллиметровых минометов и прямо из грузовиков вести по врагу огонь, ему не послышалось одобрения в голосе генерала Чумакова. Поправив у левого уха бинты, Федор Ксенофонтович с холодным спокойствием сказал Рукатову:

— Проверьте практически. Если стрельба по целям будет точной, создавайте из таких машин подвижной огневой резерв.

Резерв Рукатов создал, но его взял в свое распоряжение генерал Чумаков...

До Смоленска оставалось всего лишь несколько десятков километров. Войсковая группа Федора Ксенофонтовича прикрывала левый фланг 20-й армии, не имея с ней локтевой связи. Бои велись днем и ночью. Сформированные из остатков полков штурмовые батальоны, усиленные артиллерией и танками сопровождения, заставляли немцев развертываться в боевые порядки на каждом возможном рубеже. На наиболее выгодных штурмовые батальоны закапывались поглубже и держались до последних сил, изнемогая и истекая кровью.

Уцелеть казалось немыслимым. Опасность подстерегала на каждом шагу, погибших хоронили наспех — в воронках, окопах, траншеях. А когда терпели поражение и с трудом отрывались от противника, то и вовсе не хоронили...

Алексей Алексеевич Рукатов, не веривший раньше в бога, теперь то и дело горячо и исступленно умолял всевышнего уберечь его от гибели, искренне каялся в своих прежних прегрешениях, клятвенно обещал никогда не повторять их. Он согласен был на ранение, пусть даже тяжелое. Алексею Алексеевичу не жалко было лишиться руки, лучше левой, или ноги, но только бы выскользнуть из этого ада...

А вчера майору Рукатову пришлось пережить такое, что не увидишь и в кошмарном сне...

## 11

Если посмотреть на топографическую карту, то даже не искушенному в военном деле человеку ясно, что от местечка Красный до Смоленска — один дневной переход и при столь очевидной слабости на этом направлении наших сил нет возможности задержать бронированные колонны немцев надолго. Но маршал Тимошенко требовал от генералов Курочкина и Лукина ни на день не снижать активности своих войск, чередуя маневренную оборону с нанесением контрударов.

14 июля генерал Чумаков через офицера связи 20-й армии был ориентирован в обстановке, но конкретной задачи для своей группы войск не получил, ибо связь со штабом фронта нарушилась.

Левый фланг армии генерала Курочкина по-прежнему сдерживал немецкие механизированные части, рвавшиеся к Смоленску по довольно густой сети дорог, что между Дубровно и Горками. Севернее, северо-

западнее и юго-западнее Смоленска эту задачу, находясь пока во втором эшелоне, решали шесть подвижных отрядов, сформированных из двух дивизий 16-й армии генерала Лукина. Генерал Чумаков принял решение использовать рубеж речушки Лосвинка, петлявшей с юга к Днепру, и приказал подразделениям своих частей окопаться на склонах оврагов и по опушкам леса над Лосвинкой, заминировать танкоопасные направления, поставить на прямую наводку пушки, в том числе и гаубицы, закопать в землю отдельные танки, побольше сделать лесных завалов и попытаться закрыть образовавшуюся брешь после прорыва противника 13 июля на участке Копысь, Шклов. По примеру маневренных действий 20-й армии, в трех километрах перед основным рубежом частей генерала Чумакова были наспех оборудованы по обе стороны магистральной дороги ротные опорные пункты и позиции для отдельных орудий, чтобы огневым ударом вынудить противника развернуть там свои войска для атаки, а затем отойти на главный рубеж, где были приготовлены к бою все наличные силы и средства.

Самая трудная задача, как полагал майор Рукатов, досталась ему. Генерал Чумаков приказал Алексею Алексеевичу устроить артиллерийскую засаду впереди Лосвинки, взяв под контроль дорогу, по которой, по всей вероятности, устремится к Смоленску обнаруженная нашими разведчиками танковая колонна левого крыла 47-го механизированного корпуса немцев. Дорогу надо было держать до тех пор, пока с командного пункта тремя зелеными ракетами не будет дан сигнал для отхода — с учетом боевой обстановки в центре оборонительного рубежа. Федор Ксенофонтович дважды напомнил ему о ракетах, и Рукатову виделся в этих напоминаниях злой умысел: ракет можно и не заметить, можно и забыть пульнуть ими в небо, а отойдешь без приказа — потом не оправдаешься. Тут и слепому ясно, что генерал Чумаков хочет подвести его, Рукатова, под трибунал.

Ожесточившись до крайности, Алексей Алексеевич решил держать ухо востро.

Генерал Чумаков на восходе солнца отдавал боевой приказ у тригонометрической отметки 238, торчащей на самой макушке высоты, склоны которой были исполосованы оврагами и промоинами, заросшими бузиной и боярышником. С небольшой плеши бросовой земли, где одиноко маячила эта почерневшая от времени деревянная вышка, открывалась широкая, но не радующая глаз панорама. Смоленская возвышенность курилась в пожарищах. Косой и рваный столб бурого дыма поднимался над местечком Красным, уже занятым врагом. Оттуда отчетливо доносилась перебранка пулеметов и пушечная стрельба: это наши подвижные отряды, оседлав ведущие из Красного дороги, старались не выпустить оттуда немцев. Далеко справа, в низменности, за темным и холмистым лесом, прятавшим Днепр и станцию Гусино, тоже валил в небо дым. Его черные клубы время от времени пронизывались острыми языками пламени: было ясно, что там горела то ли нефтебаза, то ли полыхали бензоналивные цистерны.

Но всех, кто был на высоте, особенно настораживали отзвуки далекого боя, временами докатывавшегося со стороны Монастырщины, Хиславичей и Починка. Федор Ксенофонтович, ставя задачу собравшимся командирам и слыша приглушенную расстоянием пальбу, кажется, не решался посмотреть им в глаза, зная, что всех томит один и тот же вопрос: если немцы огибают Смоленск с юга, а приказа об отходе нет, значит, войсковую группу Чумакова опять ждет окружение?..

Рукатову же казалось, что Федор Ксенофонтович только из-за него одного не отдает такого приказа. Эта мысль злым червем сверлила ему мозг даже тогда, когда он и майор Быханов, заменивший погибшего в

окружении под Оршей командира артиллерийской бригады полковника Москалева, поехали выбирать место засады. От бригады осталось всего лишь два дивизиона, и одним из них командовал сам Быханов — кадровый командир, умевший, как твердила молва, первым снарядом, без пристрелки, попадать в закрытую цель, если на топографической карте точно обозначены место цели и место огневой позиции орудия, из которого майор должен стрелять. Быханов был крупнолицым, крупноруким и плечистым. На его добродушном губастом лице часто светилась улыбка, но не без хитрецы в глазах. Эта хитреца как бы подчеркивала превосходство майора в артиллерийских делах перед всеми остальными.

Они ехали на полуторке по ведущему на юго-запад грейдеру навстречу людскому потоку: это уходили от врага смоляне, бывшие на окопных работах, и отступали на новый рубеж обороны поредевшие батальоны... Справа грейдера начался лес — тучный, заматерелый, а слева, в низине, за поросшим кугой болотом, блестело спокойной водой узкое и длинное озеро, теснившее грейдер к лесу. За озером горбатилась возвышенность, покрытая молодым ельником.

Ельник за озером — это и было намеченное по карте место артиллерийской засады. Майор Быханов, к своему удовольствию, быстро определил, что с грейдера нигде нельзя танкам перебраться на возвышенность: мешало не только озеро, но и протекавшая через него чахлая речушка, заболотившая берега до полной их непроходимости. Зато была возможность доставить туда пушки, если километров пять проехать назад, к Смоленску, а затем за хутором Буяково свернуть на полевую дорогу, которая по оврагам вихляет прямо к возвышенности, что над озером.

Во второй половине дня уже все было готово к встрече врага. Несколько артиллерийских батарей окопались и замаскировались на склоне в ельнике для стрельбы прямой наводкой через озеро по грейдеру. Взвод саперов за поворотом дороги приладил особым образом к двум десяткам вековых сосен толовые шашки, чтобы при появлении немецких танков взорвать их и свалить точно на дорогу.

Свой наблюдательный пункт артиллеристы отнесли метров на триста вверх по склону, откуда из окопчиков хорошо просматривалась в оба конца дорога. Здесь пришлось немного расчистить ельник, убрав деревца, мешавшие обзору и подъезду с тыла. Рукатов привел сюда и свою штабную полуторку, чтоб в любую минуту можно было умчаться на командный пункт генерала Чумакова, разместившийся близ хутора Буяково, а точнее — чтоб в случае опасности исчезнуть отсюда.

На войне редко бывает, когда события развертываются так, как тебе желается, тем более при столь большом неравенстве сил и уверенных действиях немцев и при смятенности духа обороняющихся, вокруг которых со всей очевидностью захлопывался капкан. Но все-таки немцам были продиктованы условия, выработанные генералом Чумаковым. Минированием дорог, лесными завалами, артиллерийско-минометными огневыми нападениями чумаковские части заставили колонну мотомеханизированных войск врага вползти в теснину между густым лесом и озером, за которым, метрах в четырехстах от дороги, приготовились к бою артиллеристы. По сигналу майора Быханова, когда огромная вереница немецких танков, дымя и грохоча, вытянулась вдоль озера, следуя за оравой своих мотоциклистов, саперы взрывной машинкой дали искру заряженным толовым шашкам, и гулкий взрыв в конце озера за поворотом большака бросил на его проезжую часть могучие сосны, отгородив завалом мотоциклистов от танков.

Рукатов, вдоволь насмотревшись из окопчика на мотоциклистов и на головные танки, в десять раз приближенные стереотрубой, уступил

место у треноги майору Быханову, а сам, перебравшись в соседний окоп, продолжал наблюдать за развитием событий в бинокль.

Бой начался сразу же, как рухнули на дорогу подорванные деревья. Это был первый бой, так близко виденный Рукатовым, и напряжению Алексея Алексеевича не было предела. Когда загорелись от прямых попаданий снарядов два передних танка, а затем закружила на одной гусенице подбитая машина далеко слева, где-то почти в хвосте колонны, фантазия Рукатова взметнулась к самым облакам. Он уже мысленно докладывал генералу Чумакову о чудовищных потерях, нанесенных немцам артиллерийской группой под его, Рукатова, командованием, писал обстоятельное донесение в штаб артиллерии фронта и видел себя в чести и славе. Первые минуты бой действительно складывался для немцев трагически. Полтора десятка наших орудий, расположенных побатарейно на склоне возвышенности, прямой наводкой в упор расстреливали вражеские танки. Почти вдоль всего озера вспыхнули чадящие костры. Некоторые танки, перевалив кювет, безуспешно пытались укрыться в глубине леса, а отдельные, развернув башни в сторону батарей, начали отстреливаться.

К сожалению, танков было очень много — свыше полусотни, и, попав в западню, те из них, что еще не были расстреляны, начали бить из своих пушек и из пулеметов через озеро по совсем близким орудиям, перед которыми предательски плавала взвихренная выстрелами пыль, смешанная с сизым пороховым дымом. И хотя внезапное огневое нападение поначалу дало большие преимущества артиллеристам майора Быханова, но минут через пять сказалось численное превосходство немецких танков. Правда, Рукатов уже успел насчитать девятнадцать подбитых и подожженных крестастых машин, мысленно прибавил к ним десятку — для внушительности предстоящего доклада. Но в это время чуть выше наблюдательного пункта с таким страшным грохотом разорвался снаряд, что Алексей Алексеевич и не опомнился, как втиснулся в окопчик с головой, прижавшись ко дну. Затем взрывы, сотрясая вокруг склон, стали следовать один за другим. Жестко и нервно зататакали из танков пулеметы, хлестко защелкали над окопом пули, сшибая елочные ветки Рукатову на голову.

Частые пушечные выстрелы, оглушающе-резкие взрывы снарядов, забористо-злой клекот десятков немецких пулеметов сливались в сплошной рев, и обезумевшему от страха Алексею Алексеевичу, ощущавшему телом, как вздрагивали стенки и дно окопа, казалось, что наступил конец его жизни. Он слышал, как в соседнем окопе майор Быханов надрывно кричал в телефонную трубку, приказывая кому-то бить по хвосту колонны вдоль дороги, где танки стоят сплошной стеной и промашки не будет, кому-то грозился за медлительность, кого-то грубо бранил.

Теснина между озером и лесом начала заволакиваться дымом горящих танков, похоровыми газами и пылью. Необъяснимо, по каким законам природы вся эта взметнувшаяся в воздух муть плыла с обеих сторон к воде и вставала над озером непроглядной пеленой. Артиллеристам майора Быханова все труднее было вести прицельный огонь, и пальба стала заметно редеть. Ослепленные немецкие танкисты тоже перестали стрелять из пушек, продолжая, однако, наугад пускать длинные пулеметные очереди. Но вскоре ослаб и пулеметный огонь.

Артиллерийская засада свою задачу выполнила, и майор Быханов приготовился было отдавать приказ дивизиону сниматься с огневых позиций и толкать пушки к стоявшим на дороге в ельнике грузовикам. Но тут случилось непредвиденное: сказали свое слово прорвавшиеся вперед немецкие мотоциклисты, о которых в пылу боя забыли.

Мотоциклисты, после того как сзади них рухнули на дорогу могу-

чие сосны, вначале нырнули в лес, чтоб, обойдя завал, вновь оказаться вместе с танками. Но когда из-за озера ударили пушки и один за другим танки начали вспыхивать, мотоциклисты поспешно вернулись на дорогу, проехали по ней дальше, обогнули озеро и, бросив на берегу мотоциклы, вброд перешли речушку, имея при себе автоматы и ручные пулеметы. Правда, пока они успели зайти в тыл артиллерийской засаде майора Быханова, бой уже затихал...

Майор Рукатов, не веря еще, что уцелел в этой оглушающе ревевшей огненной кутерьме, и видя, что майор Быханов выбрался из своего окопа и отдает какие-то распоряжения сержанту-связисту, надевающему за спину катушку с телефонным проводом, кинулся вверх по косогору к своей стоявшей в глубине ельника полуторке, чтоб немедленно уехать подальше от этого ужасного места. Где-то глубоко в нем обжигающе тлела мысль о зеленых ракетах, которые должны были взлететь над лесом по ту сторону дороги как сигнал для отхода. Но за дымной пеленой не было видно ни леса, ни неба, и у Алексея Алексеевича сквозь неостывший страх толчками пробуждались мстительные мысли, обращенные к генералу Чумакову: легко тебе, мол, отдавать приказы, отсиживаясь в тылу, а понюхай сам пороху, побудь под прицелом врага...

Вскарабкавшись по склону к стоявшей на взлобке машине, Рукатов обмер от неожиданно страшного зрелища. Он увидел, что его шофер — молоденький боец-первогодок, навзничь лежал на сиденье кабины, свесив вниз к подножке окровавленную голову и поджав к уже выбеленному смертью лицу руки, словно пытаясь закрыться ими. Вся машина была иссечена пулями и осколками, скаты колес обмякли, переднее стекло — в дырах и трещинах.

Содрогаясь от ужаса и ощущая приступ тошноты при виде все еще стекавшей по лицу шофера крови, Рукатов не успел постигнуть мыслью случившееся, как вдруг из глубины ельника, в нескольких десятках метров от него, с гулкой въедливостью застрочили немецкие автоматы и ручные пулеметы. Десятки светлячков-пуль замелькали перед самым лицом Алексея Алексеевича, и он камнем рухнул на горячую от солнца и пахнущую хвоей землю. Заскулив от напряжения и страха, он пополз вниз по склону, да так проворно, как еще никогда не ползал. А сзади, совсем близко, раздавались резкие гортанные вскрики-команды, продолжали неистово строчить очереди, хищно и громко щелкали над головой разрывные пули.

Продолжая в паническом беспамятстве ползти вниз, Алексей Алексеевич наткнулся лицом на колючие ветви приземистой елки, широким окружьем раскинувшиеся по самой земле. Даже не опомнился, как юрко забрался под них. Мелькнула нелепая мысль: когда он с Зиной ходил в лес по грибы, всегда зыркал таким елкам под подол, надеясь найти боровик, а сейчас сам нырнул всем телом под зеленую юбку ели.

Мысль тут же угасла, уступив место новому приливу ужаса: у него над самой головой вдруг оглушающе застучал немецкий автомат и на его плечи, на шею брызнули сквозь ветви горячие стреляные гильзы, от которых приторно запахло сгоревшим порохом. Рукатов, кажется, перестал дышать, перестал ощущать себя. Автоматная очередь казалась нескончаемой, нестерпимо жгла упавшая за воротник гимнастерки гильза и устрашающе воняли гуталином и пылью сапоги немца, примявшие лапчатые ветки у самого лица Алексея Алексеевича.

А со стороны огневых позиций батарей доносились какие-то возгласы, истеричные крики, истошные вопли. И вдруг весь этот гвалт перекрыла взвинченная и в то же время властная команда:

— Противник с тыла-а!.. Развернуть орудия!.. Картечью, заряжа-ай! Огонь по наблюдательному пункту-у!

Рукатов узнал голос майора Быханова и удивился, что командир дивизиона еще живой, и тут же вновь ужаснулся: сейчас развернут в эту сторону пушки и ударят картечью!.. Ударят прямо по нему, Рукатову, начальнику артиллерии!

А немецкий автоматчик, не зная, что ему сейчас грозит гибель, все стоял у Алексея Алексеевича над головой и, заменив опустевший магазин, вновь посылал в сторону батарей очередь за очередью.

Чудовищный страх сжал ледяными тисками тело Рукатова. Затылок его будто налился холодным свинцом, и Алексей Алексеевич, кажется, перестал дышать и ощущать себя. Только где-то глубоко в нем вдруг завопила мысль-мольба. Рукатов торопливо и горячо стал кого-то умолять, чтобы на этот раз пощадил его, каялся в своих грехах, горячо заверял, что повинится во всем перед Чумаковым, перед его женой и их дочерью Ириной... Только бы остаться живым!.. Живым!.. Живым!..

С ужасающей силой обрушился на склон ельника залп сразу двух ближайших к наблюдательному пункту батарей, командиры которых услышали команду Быханова. Под картечным шквалом вздрогнул и протяжно загудел косогор, густо посыпались на землю ссеченные ветки, тревожно закачались вокруг молодые деревья, будто под дуновением порывистого ветра. Рядом с Рукатовым рухнул на траву сраженный насмерть немецкий автоматчик, и на немца тут же упала сшибленная свинцом верхушка ели, той самой, которая прятала под своим зеленым подолом Алексея Алексеевича Рукатова.

Достаточно было еще одного залпа картечью, и тылы артиллерийской засады оказались очищенными от врага.

## 12

Небо к вечеру нахмурилось, солнце садилось за багровую тучу. Не сегодня-завтра можно было ждать дождя. Жара всем уже была невмоготу. Пыль, поднятая войной в воздух днем, не успевала за ночь осесть, хотя ночи были росными. Война словно нарушила законы природы.

Но дождь, если он будет, — тоже не в радость. Полковник Гулыга, сидя на шуршащем под ним душистом сене и подсвечивая себе трофейным электрическим фонариком, пытливо всматривался в топографическую карту, изучая по ней дороги, ведущие к Смоленску. Не видел ни одной шоссейной в полосе его сводного полка! Большаки к Сырокоренью и Хохлово — вот и весь простор для марша и маневра. Так что если придется отходить, то по полевым дорожкам да по целине — через поля, леса и овраги, — как былинным рыцарям. А отходить придется — не зря генерал Чумаков перед вечером объезжал командные пункты своих частей и был мрачен, как никогда. На прощание сказал полковнику Гулыге:

«Если собьют немцы нас с рубежа и расчленят, действуйте самостоятельно. Сзади нас до самого Смоленска никого, кроме слабенького подвижного отряда из шестнадцатой армии, нет... В случае захвата врагом Смоленска будем пробиваться из окружения...»

В широко распахнутую двустворчатую дверь старого овина, наполовину забитого сухим свежим сеном, вползала желанная вечерняя прохлада. Овин стоял на краю хутора Буяково, и Гулыга занял его со своими штабистами. Метрах в ста от овина, на высотке, были вырыты окопы командно-наблюдательного пункта. Высотка хорошо была видна в проем двери на фоне багровой с темными подпалинами тучи, за которую зашло солнце. Там, на высотке, дежурил сейчас со связистами под-

полковник Дуйсенбиев — ныне начальник штаба мотострелкового полка, собранного, как говорят, с бору по сосенке.

Гулыга сложил карту, спрятал ее в полевую сумку и спросил у Рукатова, лежащего рядом на расстеленной поверх сена плащ-палатке:

— Ну как, Алеша, не полегчало? Болит голова?

Рукатов не откликнулся.

— Значит, контузия серьезная. — Гулыга горестно вздохнул и тоже прилег на сено.

У Рукатова было скверно на душе. Он мысленно корил себя не столько за малодушие, сколько за неосмотрительность. Там, на склоне ельника, он чудом не попал под огонь зашедших им в тыл немецких автоматчиков, а затем и под картечные залпы своих батарей. А все из-за того, что зачем-то поторопился выскочить из окопа и оторваться от майора Быханова... Как же все было потом?.. Лучше не вспоминать, не травить душу. Впрочем, и вспомнить трудно. Все будто в бредовом сне.

После того как орудия в упор ударили картечью по косогору, события развернулись столь стремительно, что Алексей Алексеевич не успел прийти в себя. Он слышал, как командиры батарей отдавали приказы орудийным расчетам убирать с огневых позиций неразбитые пушки, слышал, как майор Быханов несколько раз тревожно окликнул его, Рукатова, а затем распорядился осмотреть ельник, поискать раненых и собрать оружие убитых немцев. А Алексею Алексеевичу легче было помереть, чем подать голос и на глазах у артиллеристов вылезти из своего укрытия. А пока красноармейцы торопливо осматривали все вокруг, он, затаившись, продолжал лежать. Только услышав, как в стороне лесной дороги заурчали моторы машин, он будто проснулся, выполз из-под густого лапника и с криком «обождите!» кинулся вверх по склону. Но шум моторов, а может, и его крик услышали за озером немцы и вновь наугад ударили по ельнику из танковых пушек и пулеметов.

Вокруг Рукатова коротко и пронзительно взвизгивали пули, проносясь, кажется, у самой его головы целыми роями, с шипением вспарывали землю осколки, прочерчивая рваные дымные дорожки, но он будто перестал их бояться и, задыхаясь, продолжал бежать вверх, царапая о ветки лицо. Но не успел: когда выскочил на уступ, по которому шла лесная дорога, артиллеристов там уже не было.

Опасность грезилась ему из-за каждой ели, и он с новой прытью устремился по заросшей дороге, где виднелась примятая трава — свежие следы прошедших здесь грузовиков и буксируемых ими пушек. Вскоре бежать стало легче — дорога запетляла по склону вниз, а потом пошла по влажному лугу, вдоль речушки, вытекавшей из озера. Тут он заметил за речушкой сгрудившихся на большаке красноармейцев. Это было, как потом оказалось, отделение саперов, которое перед началом боя делало лесной завал. Выполнив задание, бойцы уходили из опасной зоны и наткнулись на два десятка стоявших на обочине большака немецких мотоциклов с колясками. Но только двое из всего отделения умели управлять этими нехитрыми машинами. Увидев бегущего человека в форме командира Красной Армии, саперы обрадовались ему, хотя и встретили настороженно.

Рукатов торопливо перебрался вброд через речушку и без лишних слов ухватился за мотоцикл, начав заводить мотор. Он сразу догадался, чьи это мотоциклы, и опасливо оглядывался по сторонам, боясь, что кто-нибудь из немецких мотоциклистов уцелел и где-нибудь рядом прячется.

Сержант, возглавлявший отделение, одернув на себе линялую гимнастерку и щуря цепкие зеленоватые глаза, спросил у Рукатова:

«Подполковник? А почему шпалы сорвали с петлиц?»

«Не твоего ума дело! — зло ответил Рукатов, но, взглянув на посуровевшие лица саперов, миролюбиво добавил: — Давайте скорее мотать отсюда, пока немцы хвост не прищемили! Садитесь ко мне двое, а то и трое!»

«А мотоциклы немцам вернем?» — В голосе сержанта прозвучала въедливость.

«Рубаните по ним зажигательными! — требовательно произнес Рукатов, видя у некоторых саперов немецкие автоматы. — Бейте по бензобакам».

В коляску мотоцикла Рукатова почему-то никто из саперов не сел, и он рванул машину вперед, надеясь все-таки догнать колонну майора Быханова и вместе с ней вернуться в расположение частей генерала Чумакова. Однако не догнал. Наткнулся на сторожевой пост перед своим рубежом обороны и вскоре был на командно-наблюдательном пункте полка, откуда подполковник Дуйсенбиев указал ему недалекий овин на краю хутора.

Мотоцикл, как назло, перестал заводиться, и Рукатов, столкнув его в овражек, пошел к овину пешком. Когда приблизился к растворенным в обе стороны дверям, увидел в косом луче заходящего солнца широкую спину майора Быханова и услышал глуховатый, но четкий, как всегда, голос генерала Чумакова.

«Неужели более двух десятков танков размолотили?» — с веселым удивлением спрашивал он у командира дивизиона.

«Насчитал двадцать восемь, а потом стреляли на авось: дым мешал наблюдению и стрельбе», — отвечал Быханов.

«Где же вы потеряли Рукатова?» Это интересовался о своем зяте полковник Гулыга, и голос его подрагивал от волнения.

«Ума не приложу. Бой начали вместе, он стоял рядом, на наблюдательном пункте, а потом вдруг налетели автоматчики, и началось такое...»

Рукатов зашел в овин, прервав своим появлением разговор, и, будто не замечая Быханова, громко доложил, обращаясь к Чумакову:

«Товарищ генерал, ваш приказ артиллерийская группа под командованием майора Быханова выполнила! Уничтожено тридцать восемь фашистских танков!»

«Двадцать восемь», — неуверенно поправил его майор Быханов.

«Уничтожено тридцать восемь немецких танков!» — так же громко повторил Рукатов, не удостоив Быханова даже взглядом.

«Где задержались?» — Федор Ксенофонтович смотрел на Алексея Алексеевича с удивлением и озабоченностью.

«И сожжено по моему приказу около двух десятков мотоциклов. Отличился сержант — командир саперного отделения. Фамилии не знаю. Три мотоцикла взяты в качестве трофеев!» — Рукатов не спускал с генерала глаз, в которых светилось чуть ли не безумие.

«Вы что, контужены?» — догадался Чумаков.

Рукатова такая версия вполне устраивала, и он вновь ответил невпопад:

«Один мотоцикл я взял себе, чтобы оторваться от противника!»

«Ты что, не слышишь?!» — в самое ухо закричал ему Гулыга.

«Я ничего не слышу, — спокойно ответил Рукатов, будто догадавшись о сути вопроса полковника. — Снаряд разорвался рядом, и я не знаю, сколько был без сознания».

Задумчиво посмотрев в бесстрастное, исцарапанное лицо Рукатова, Федор Ксенофонтович перевел спокойный взгляд на майора Быханова и с легкой укоризной спросил:

«Вы понимаете, в чем ваша ошибка и почему сами понесли большие потери?»

«Так точно, — с тенью удрученности ответил Быханов. — Надо было ставить батареи ближе к завалу, чтоб сразу не создалось такое большое огневое преимущество немецких танкистов».

«Вот именно! — согласился Чумаков.— А чтобы закупорить дорогу, достаточно было одного орудия... Но в целом — операция удалась...»

Рукатов больше не вступал в разговор и с таким мученическим видом смотрел то на Чумакова, то на Быханова, что Федор Ксенофонтович после паузы сказал:

«В общем, все молодцы. Родина оценит... — Потом повернулся к Быханову: — Пока майор Рукатов придет в себя, вам поручаю возглавить артиллерию... Назначьте за себя командира дивизиона, и поедем в штаб. Полковник Карпухин вооружит вас всеми сведениями...»

Чумаков и Быханов вскоре отбыли, а Алексей Алексеевич выпил из фляги Гулыги несколько глотков водки, открыл банку бычков в томатном соусе и начал закусывать с каким-то яростным аппетитом. Но вдруг его замутило, он прытко выбежал из овина.

Сейчас Рукатов почивал на сене и с огорчением размышлял над тем, что зря он притворился контуженным и уступил майору Быханову командование артиллерией войсковой группы. Теперь Быханов будет давать полковнику Карпухину для оперативной сводки, а полковому комиссару Жилову для политдонесения сведения об уничтоженных немецких танках. Быханов наверняка занизит их количество и вполне может не упомянуть об участии в этой героической операции Рукатова. Ведь, по существу, он, Рукатов, и отвечал за организацию засады, выбирал огневые позиции по карте, а затем на местности... Такое может больше никогда не повториться.

Не заметил, как и уснул — тяжким, беспробудным сном. Проснулся от автоматной стрельбы и глухих выкриков, донесшихся со стороны рубежа обороны. Пробудился и полковник Гулыга. Приподнявшись на сене, он стал настороженно прислушиваться. На Рукатова же столь жиденькая стрельба после вчерашнего не произвела особого впечатления. Спустя минут десять в овин вбежал запыхавшийся подполковник Дуйсенбиев. Гулыга направил на него луч электрического фонаря, и было видно, что широкоскулое, степное лицо Дуйсенбиева светилось восторгом, словно у мальчишки, а сквозь узкие щели глаз сверкали озорные огоньки.

— Акулу поймали, товарищ полковник! Увязалась за нашим начальником клуба Рейнгольдом и в сети влетела! — Дуйсенбиев хохотал, разводя в стороны руки и показывая, какой величины акула. — В чине немецкого полковника!

— Толком докладывайте! — прикрикнул на Дуйсенбиева Рукатов, позабыв, что он глухой от контузии и что ему, майору, повышать голос на старшего по званию неприлично.

Но Дуйсенбиев в своем веселом возбуждении не придал значения интонациям голоса Рукатова и со смехом доложил:

— Младший политрук Рейнгольд привел за линию нашего охранения немецкого полковника! На легковушке влетел фашист к нам!.. В сопровождении двух мотоциклистов!

— Задержали?! — обеспокоенно спросил Гулыга, вскочив на ноги.

— Мотоциклистов и шофера срезали из пулемета, а полковника везут сюда в клубном автобусе.

— Отыскалась клубная машина?! — неожиданно послышался басовитый голос полкового комиссара Федулова. — А младший политрук Рейнгольд?

Федулов стоял в дверях овина, закрыв своим тучным телом почти все предрассветное небо. Судьба начальника дивизионного клуба Левы Рейнгольда и исчезнувшего автофургона с кинорадиоустановкой волновала полкового комиссара.

— Рейнгольд же и везет немца! — уточнил подполковник Дуйсенбиев...

С младшим политруком Рейнгольдом случилось не совсем обычное. Несколько дней назад, когда мотострелковая дивизия полковника Гулыги еще и не была преобразована из-за малочисленности людей и техники в полк, часть ее штаба, в том числе и политотдел, расположилась на кирпичном заводе, недалеко от деревни Лутовня. Длинные, продуваемые со всех сторон соломенные навесы для сырого кирпича, ожидающего обжига в печах, надежно прятали от воздушного наблюдения машины, да и все живое. Поставил под навес клубную спецмашину и Лева Рейнгольд, уже второй день сам сидевший за рулем вместо погибшего во время бомбежки шофера. Предполагалось, что задержаться на кирпичном заводе придется до ночи, и Лева подался в соседний лес, где находились остальные отделы штаба. Он надеялся в «четвертой части» (так именовался отдел, ведавший распределением пополнения) вытребовать себе водителя машины. Перейдя вброд речушку, за которой раскинулся лес, и прошагав минут тридцать по лесной дороге, вдруг услышал в стороне завода беспорядочную стрельбу. И Лева помчался во всю силу своих длинных ног обратно...

С опушки леса открылась за речушкой панорама кирпичного завода. Там уже было пусто. Под ближним, насквозь просвечивавшимся навесом сиротливо стоял в одиночестве его автофургон. Чуть слева, на лугу, виднелось скопище немецких грузовиков и мотоциклов, а в речке купалась солдатня. Этим и воспользовался Лева Рейнгольд, хорошо владевший немецким языком. Впрочем, язык ему пока не понадобился. Он забрался в кусты, разделся догола, тщательно спрятал свою «комиссарскую» форму и побежал к речке. Нырнув в воду, поплескался среди немцев, затем выбрался на берег, взял среди одежды чей-то пятнистый комбинезон и ленивой трусцой вернулся в лес.

Затем он появился на территории кирпичного завода, куда начала въезжать какая-то немецкая автоколонна. В маскировочном комбинезоне, с сигаретой в зубах, Лева с нахальным видом подошел к своей машине, сорвал номера, сел в кабину и без малейшего препятствия выбрался на дорогу...

Немало опасных часов пережил младший политрук, особенно на следующий день, коротая светлое время в лесной пуще. А сегодня перед рассветом, когда он держал курс на Смоленск в надежде наткнуться на свою часть, за ним увязались два немецких мотоциклиста, сопровождавшие легковую машину с каким-то важным чином. Обогнав Леву, мотоциклисты остановили его и, увидев, что за рулем русской машины свой, немец, спросили, не знает ли он, где находится штаб 29-й моторизованной дивизии генерала фон Больтенштерна.

«Следуйте за мной. Я туда и еду», — на чистом немецком языке ответил Лева, сообразив, что в такой компании ехать ему по занятой немцами территории будет безопаснее...

Вот так и препроводил младший политрук Рейнгольд немецкого офицера и охранявших его мотоциклистов в расположение полка Гулыги.

Спать уже никому не хотелось, и все, заинтересованные вестью о пленении фашистского полковника, вышли на воздух. Близился рассвет. Трава вокруг овина, кусты жимолости, стоявшие живой изгородью между гречишным полем и огородами хутора, — все было покрыто тяжелой

росой. Высоко в небе пластались рваные облака, вдали, за желтизной ржи на буграх, чуть виднелся сквозь серую дымку темный лес. День обещал быть пасмурным.

На недалекой дороге послышался шум моторов, и через минуту к овину подкатили немецкий мотоцикл с коляской и клубный автофургон. За рулем мотоцикла восседал знакомый Рукатову сержант — командир того самого саперного отделения, которое делало лесной завал.

Заглушив мотор, сержант одним ловким движением соскочил с мотоцикла и в то же время выхватил из коляски желтый, небольшого размера, саквояж. Подошел к стоявшему у овина начальству четким строевым шагом и, остановив взгляд на Гулыге, начал докладывать:

— Товарищ полковник, доставлены пленный и документы...

— Документы мне! — К сержанту подскочил Рукатов и решительно взял у него саквояж.

— Почему вам?!— протестующе спросил подполковник Дуйсенбиев. — Наш пленный, наши документы!

— А я чей, бабушкин?— Рукатов недобро засмеялся и с опаской взглянул на полкового комиссара Федулова.

Но внимание Федулова, как и всех остальных, было занято другим: из кабины спецмашины выскочил счастливо взволнованный и крайне измученный всем пережитым за прошедшие полтора суток Лева Рейнгольд. С непокрытой головой, одетый в зелено-коричневый пятнистый комбинезон, он щелкнул каблуками сапог и застыл по стойке «смирно», собираясь с духом, чтобы доложить начальству о своем прибытии.

— Потом все расскажешь. — Федулов подбадривающе подморгнул младшему политруку и перевел взгляд на распахнувшуюся заднюю дверцу машины, из которой вышел в сопровождении двух красноармейцев немецкий полковник.

В новенькой наутюженной форме из серой шерсти, полковник был в среднем возрасте, высок и костист. Его тонкое, классически правильное арийское лицо, бледное и потное от волнения, в то же время было полно достоинства и сдержанности. Остановившись перед командирами Красной Армии, полковник поднял на них серые глаза, в которых застыло то ли недоумение, то ли досада.

— По-русски разговариваете? — спросил у немца полковник Гулыга.

Немец что-то гортанно заговорил.

Лева Рейнгольд тут же перевел его слова:

— Он утверждает, что попал в плен по недоразумению, и армии цивилизованных государств должны в таких случаях освобождать пленных.

Собравшиеся у овина дружно, хотя и не очень весело, засмеялись, а Федулов, обратившись к Рейнгольду, приказал:

— Спроси у него: он бы в подобной ситуации отпустил нас?

Полковник ответил, что занимается специальной штабной работой и с пленными иметь дело ему не приходится.

Рукатов и Гулыга тем временем советовались: допрашивать полковника здесь или отконвоировать его к генералу Чумакову. Немец, прислушиваясь к их словам, будто догадался, о чем идет речь, и, глядя на Леву Рейнгольда, спросил, какой генерал командует войсками, к которым он попал в плен; при этом пояснил, что в штабе генерал-полковника Гудериана, в котором он имеет честь служить, известны фамилии многих советских генералов, в том числе Курочкина, Чумакова, Лукина, Конева, чьи войска противостоят группе немецких армий «Центр» фельдмаршала Бока.

— Объясните ему, что он в плену у Красной Армии, — холодно приказал Рейнгольду Рукатов, чувствуя себя здесь представителем вышестоящего штаба. — А какая здесь часть — не его собачье дело!

— О да, вы правы, — согласился полковник, когда Лева перевел ему слова Рукатова. — Но я надеюсь на чудо, хотя большевики в чудеса не верят... Меня интересует фамилия Чумаков. Я ношу образ человека с такой фамилией здесь. — Он хлопнул себя по левой стороне груди. — У меня есть в России друг — полковник Чумаков. — В немецком произношении фамилия прозвучала «Тшумаков».

Федулов и Гулыга озадаченно переглянулись, а Рукатов смотрел на пленного с изумлением, уже томясь в догадках.

— Вполне может быть, что это наш Чумаков, — сказал он после паузы, загадочно посмотрев на полкового комиссара Федулова. Затем, почти дружелюбно, с какой-то надеждой спросил у пленного: — В тридцать седьмом ты, конечно, был в Испании? Оттуда и знаешь Чумакова?

Лева не успел перевести вопрос, как пленный ответил, перемешивая немецкие и русские слова:

— Нихт Спаниен!.. Русланд был, Москау был, Киеф был... Полковник Фиодор Тшумаков унд Курт Шернер, — пленный ткнул рукой себя в грудь, — гросс фройнд!..

— Значит, точно Федор Чумаков?! — Рукатов всем телом подался к немцу, устремив на него немигающие и будто испуганные глаза.

— Я, я! Фиодор фон... товиш...— Полковник, напрягая память, сжал рукой высокий покатый лоб.

— Федор Ксенофонтович? — почти шепотом подсказал ему Рукатов.

— Я, я! — воскликнул полковник, и по его бледному лицу скользнула растерянная и в то же время выражающая надежду улыбка. — Фиодор Сено-фон-товиш... — И он рубленой скороговоркой стал что-то объяснять.

Когда полковник умолк, Лева Рейнгольд о чем-то переспросил его, затем, пожав с недоумением плечами, неуверенно сказал, обращаясь к полковому комиссару Федулову:

— Полковник утверждает, что он и наш генерал Чумаков будто бы кровные братья...

Лева еще что-то хотел объяснить, но в это время послышался вой мин, и взрывы начали взметать землю недалеко от овина.

— Увозите пленного в штаб группы! — приказал полковник Гулыга и, кинув укоризненный взгляд на Дуйсенбиева, оставившего командно-наблюдательный пункт, тяжелой трусцой побежал к недалекой высотке.

За Гулыгой устремился, тут же обогнав его, подполковник Дуйсенбиев.

— В машину пленного! — скомандовал майор Рукатов красноармейцам-конвоирам, а затем младшему политруку Рейнгольду: — Поехали! — И, молча взяв у сержанта-сапера немецкий автомат, уселся рядом с Левой в кабину.

С этой минуты будто образовалась пропасть между Рукатовым, ехавшим сейчас с деловым и озабоченным видом в машине, и тем Алексеем Алексеевичем Рукатовым, который вчера лежал в незащищенном от пуль и осколков укрытии и страстно молил судьбу о пощаде, задабривая ее покаянными мыслями о своей вине перед Федором Ксенофонтовичем Чумаковым. Будто и не было грозившей ему смертельной опасности и вообще ничего, кроме подбитых и сожженных немецких танков, не было. Сейчас Рукатов мучительно напрягал память, воскрешая в ней страницу за страницей личное дело генерала Чумакова, хранящееся в Москве, в Управлении кадров. Ведь Алексей Алексеевич так хорошо знал это «дело», столько раз вчитывался в каждую содержащуюся в нем

запись и фразу! Но ничего настораживающего не бросилось тогда в глаза. Ни намека не было на родство с немцами! Даже языка немецкого Чумаков как следует не знает. В анкетах, заполненных рукой Федора Ксенофонтовича, в графе, спрашивающей: «Какими языками владеет?», везде написано: «Владею немецким. Пишу со словарем». Ну и он, Рукатов, в своих анкетах заполняет эту графу точно так же. Правда, раньше он писал: «Читаю со словарем». Но потом такая формулировка показалась ему несолидной, ибо со словарем, как он предполагал, можно читать на любом языке; и в его последних анкетах везде теперь значится: «Владею немецким. Пишу со словарем», хотя писать Рукатову по-немецки приходилось давно — в вечерней школе, а потом на академических курсах, да и не писать, а списывать с доски или из учебника.

Ничего не выудив по памяти из анкет, когда-то заполненных Чумаковым, Рукатов тем не менее стал ощущать, как сквозь его мятущиеся мысли пробивается надежда на что-то очень важное для него. Во всяком случае, в нем стало таять чувство собственной вины перед генералом Чумаковым и все больше вспухало злобой сердце, обращенной особенно к полковому комиссару Жилову. Рукатов почему-то именно с Жиловым связывал позор своего понижения в воинском звании.

А теперь все может повернуться по-иному. Ведь совершенно ясно, что его, Рукатова, классовое чутье не обманывало, и не зря подозревал он в чем-то генерала Чумакова. Возможно, и этот немецкий полковник Курт Шернер не случайно ворвался именно на позиции частей Федора Ксенофонтовича...

Впереди, где далеко за лесом и за холмами ждал своей участи Смоленск, небо наливалось краснотой, все больше окрашивая алым цветом нижние кромки сизых облаков, будто окаменевших на горизонте. Дорога, по которой мчалась клубная машина, была пустынной, а пустынность на войне всегда загадочна и опасна. Поэтому Рукатов не снимал со своих коленей трофейного автомата. И в то же время его дразнил желтый саквояж немецкого полковника, лежавший у ног на дне кабины. Что в нем?.. Не устояв перед любопытством, он сдвинул на клапане кнопку запора, и саквояж открылся.

Первое, что увидел в нем, — белая, в темно-красном ободке, головка бутылки, обложенной какими-то кубиками в цветных обертках. Рукатов вынул бутылку — черную, широкую в корпусе, похожую из-за длинного горла на противотанковую гранату; наклейка на ней тоже черная, в золотом обрамлении, с тисненными золотом гербом и медалями, рассыпанными полукружьем ниже герба.

— Старый французский коньяк, — пояснил Лева Рейнгольд, скользнув взглядом по надписи на наклейке.

— Живут же, гады! — завистливо пробурчал Рукатов и, вздохнув, засунул бутылку обратно на место.

Когда расстегнул металлическую «молнию», которая закрывала потайной отсек саквояжа, в глаза бросились какие-то бумаги, карты, зеленая папка.

— А за это и Москва может спасибо сказать. — Рукатов довольно ухмыльнулся, пощупал бумаги, пощелкал от удовольствия языком и почтительно задернул «молнию». Затем достал один кубик, напоминавший оранжевой оберткой кусок туалетного мыла, понюхал его и уловил такой дразнящий ягодный аромат, что заныло в желудке, а рот наполнился голодной слюной: ведь вечером консервы не пошли Рукатову впрок, и он уже не ел целые сутки.

— Что это за хреновина? — Рукатов протянул Леве кубик, на упаковке которого что-то было написано угловатой готической вязью.

Лева взял правой рукой кубик, держа левую на руле машины, про-

бежал глазами по немецкой надписи, затем зубами разорвал жесткую пропарафиненную обертку; под ней оказались разноцветные кубики, уже совсем крохотные — сантиметр на сантиметр, запеленатые в тонкие прозрачные бумажки.

— Сухой лимонад, — заключил Лева, вернув Рукатову пачку, а себе оставив несколько кубиков. Сорвав с одного обертку, он положил его в рот и с хрустом начал разгрызать. При этом объяснил: — Бросают такой кубик в стакан с водой, и получается лимонад. Пенится, как шампанское, в нос шибает, в лицо брызжет... Цистерну можно выпить, так вкусно!

— Всухомятку не опасно? — Рукатов покосился на жующего Леву и положил кубик себе в рот. Вначале пососал, а потом, почувствовав приятный кисло-сладкий вкус, тоже начал жевать.

— У меня желудок все перетирает, — бахвалился между тем Лева.— Только один раз осечка вышла, когда кусок стекла...

— Проглотил стекло?! — ужаснулся Рукатов, бросив себе в рот еще пару лимонадных кубиков и так захрустев ими, что в висках заломило.

— В поезде было дело... В первый свой отпуск ехал. Купил в буфете несколько бутылок «Жигулевского», выпил одну и вдруг вижу, что на горлышке нет куска стекла. Гляжу в стакан — нет, на столике тоже не видно. Весь пол вокруг руками облапал...

— И не почувствовал, как проглотил? — Рукатов не переставал жевать, достав из саквояжа еще один пакет.

— А в животе как заколет! Потом резь появилась! Ну, думаю, Лева, будет тебе отпуск на больничной койке, если не хуже. Бутылка-то из белого стекла — не так легко отыскать в желудке прозрачный осколок.

— Кошмар! — посочувствовал Рукатов и вдруг перестал жевать:— Воды у тебя нет? Пить хочется, будто солонку проглотил.

— И у меня огонь в животе, — пожаловался Лева. — Точно как тогда, когда стекло искал.

— Так чем кончилось? Резали живот?

— Обошлось... Обломок стекла, оказывается, приклеился к жестяной крышке бутылки.

— А сразу не посмотрел на крышку?

— Если б я был таким умным до, как после... Хорошо еще, что сообразил искать крышку. Весь мусорный ящик перерыл. А так бы резали...

Рукатов сдержанно засмеялся и, ощущая горячее удушье, заполняющее грудь, тоскливо посмотрел на пересохшее руслице ручья, через который был перекинут бревенчатый мосток, простучавший под колесами машины.

— Хитра Европа на выдумки, — стонуще сказал он и поднес к глазам полупустой пакет от лимонадных кубиков, — а печатно предупредить, что есть эту заразу без воды не рекомендуется,— ума не хватило.

Впереди за синевато-туманным простором уже виднелся лес. Лева прибавил газу и погнал машину на предельной скорости. Перед лесом дорога свернула в крутой овраг, разветвлявшийся на мелкие овражки, которые курчавились орешниками. Здесь, на дне оврага, Лева увидел опущенный над дорогой шлагбаум, сделанный из ствола молодой березки, а рядом, в кустах, маячил щупловатого вида красноармеец с немецким автоматом на груди. Рукатов сразу приметил на поясе красноармейца флягу в брезентовом чехле.

Когда машина остановилась, чуть не уперевшись радиатором в березовую жердь, Рукатов, открыв дверцу кабины, почти вывалился на траву. Покачиваясь и сжимая рукой горло, хрипло попросил:

— Воды!.. Скорее воды!

Красноармеец (это был Алесь Христич) послушно снял с ремня флягу и протянул ее командиру, которого он уже не раз видел на территории штаба. В это время младший политрук Рейнгольд кинулся за флягой к другому красноармейцу, вышедшему из кустов, — Захару Завидову, постоянному напарнику Христича во всех нарядах.

Рукатов, запрокинув голову, выливал из фляги себе в рот воду, глотал ее жадно и ненасытно. Вода шумно булькала в горлышке фляги и будто уносила это журчание в алчущее нутро Алексея Алексеевича, усиливала его там, превращала в глухое рокотание. Одним духом осушив флягу, Рукатов бросил ее на землю и обеими руками схватился за живот. Алесь, взглянув в его лицо, передернулся от ужаса: глаза Алексея Алексеевича выпучились, лицо налилось синевой, почерневший рот искривился в мучительной гримасе, и вдруг из него мощно ударила многоцветная пенная струя... По другую сторону машины, повергнув в ужас Захара Завидова, надрывно замычал Лева Рейнгольд. Наклонившись, он тоже исторгал из себя пенный водопад, но не столь могучий, как Рукатов, съевший намного больше кубиков сухого лимонада.

На Рукатова страшно было смотреть. Он упал на траву, живот его вздулся так, что пряжка ремня не выдержала и с треском расстегнулась. А изо рта, из ноздрей его продолжала валить пена — оранжевая, зеленая, желтая — всех цветов, в какие была окрашена содержащаяся в лимонадных кубиках масса. Он кашлял, задыхался и с яростью сбивал с лица шапки цветной пены.

— Беги за врачом! — заорал Алесь Христич своему напарнику.

Захар нырнул под шлагбаум, но тут же столкнулся с сержантом Чернегой, бежавшим на шум.

— Что случилось?! — Воловьи глаза Чернеги, кажется, готовы были выскочить из глазниц, когда он увидел вздутый живот Рукатова. — Мужик рожает?! Не может быть!

— Да нет, товарищ сержант, вода, кажись, отравлена! — панически закричал Алесь Христич, подняв с земли свою флягу и встряхнув ею над головой. — Я брал воду из родниковой криничкиǃ Там! — И он указал рукой куда-то в глубь оврага.

— И я оттуда! — испуганно поддержал друга Захар Завидов, отняв свою флягу у младшего политрука Рейнгольда, который устоял на ногах и, усмирив поток пены изо рта, сейчас вытирал платком лицо, странно хрюкая, кажется, сдерживая приступ хохота.

— Мать моя! — взвыл Чернега.— Мы же сейчас слопали завтрак, сваренный на той воде!..

## 13

Блиндаж содрогнулся от недалекого снарядного взрыва, да так, что скрипнули жердевые нары на козлах, и генерал Чумаков с трудом вырвался из удушливого плена тяжкого, урывочного сна. Сразу не мог и понять, действительно ли с визгом колыхнулись под ним жерди, или снаряд взорвался там, во сне: ему прямо в лицо обжигающе дохнуло пламя, разверзшее громовым ударом башенную броню, за которой он сидел у орудийного прицела. И это снилось не впервые... Какой уже раз корчится его сердце в муках перед очевидностью неотвратимой гибели. Он будто сидит в непослушной, прижатой к опушке темного леса тридцатьчетверке и видит, как широко раззявились на него орудийные стволы немецких танков. Все почти так и было в действительности под Борисовом: во главе своего резервного танкового батальона он пятился к лесу, нанеся опустошительный удар по тылам танкового клина нем-

цев; надеялся, что успеет уйти под прикрытие артиллерийской бригады полковника Москалева. Но немецкие танки перехватили батальон, и Федору Ксенофонтовичу ничего не оставалось, как принять неравный бой...

Да, он тогда скрежетал от отчаяния зубами, что должен погибнуть в самом начале сражения, обезглавив своей гибелью доверенную ему войсковую оперативную группу. Что может быть горше для боевого генерала?.. Все сложилось именно так, и Федор Ксенофонтович, погасив яростью и мстительным азартом сумятицу укоряющих мыслей, ринулся тогда навстречу смерти, посылая по скопищу немецких машин снаряд за снарядом. И судьба будто удовлетворилась страданиями, которые перенесло его сердце в эти мгновения, или словно вняла его кричащим мыслям. Немцы неожиданно начали отступать, а затем вышли из боя... И теперь в сновидениях воскресает пережитое, но почему-то уродливо, рождая суеверный ужас, от которого цепенеет тело.

Но не цепенеет, не гаснет его, Федора Ксенофонтовича, мысль в этом сверхчеловеческом напряжении и бушующем кровавом шторме. Она — эта воспаленная мысль — есть его верховный судья, повелитель. Когда под Борисовом смерть дохнула ему в лицо, то потом, размышляя над происшедшим, тешил себя надеждой, что она, хозяйка войны, хоть на время перестанет витать над ним. Однако, как оказалось, то была тщетная надежда. Вокруг делалось такое, что любой день, каждый час могли оказаться последними в жизни Федора Ксенофонтовича. А вчера, когда на командный пункт прорвались немецкие автоматчики, он уже сам приготовился было последнюю пулю пистолета разрядить себе в висок. Но пронесло. Надолго ли?..

Нет, не страх перед возможной гибелью потрясал все естество генерала Чумакова и приводил в отчаяние, а холодящая ясность того, что силы Западного фронта иссякли и Смоленск обречен. Это значило, что автомагистраль Минск — Москва в ближайшее время станет главным направлением битвы; немцы с падением Смоленска устремят к Москве несметное количество мотомеханизированных войск под мощным прикрытием авиации. Удастся ли их сдержать? И почему маршал Тимошенко в беседе с ним упоминал только 47-й механизированный корпус, когда на Смоленск правее 47-го наступает еще и 46-й и 24-й механизированные корпуса немцев?

Федор Ксенофонтович, разумеется, знал, что Ставка подтягивает свежие армии, создает новые оборонительные рубежи. Жаль, что при встрече с маршалом Тимошенко не решился подробнее расспросить его, удовлетворившись сообщением наркома, что «идут резервы». Но не повторят ли свежие части Красной Армии судьбы соединений, которые в приграничных сражениях пусть нанесли немцам тяжкие потери, но сами в конечном счете потерпели поражение, и многие из них перестали существовать? Сумел ли Генеральный штаб извлечь опыт из первых недель войны и использовать его в постановке задач войскам? Ведь срочно надо вносить поправки в Боевой и Полевой уставы Красной Армии, по-другому располагать войска в обороне и в наступлении, стремясь к тому, чтобы постоянно, с максимальной силой использовать все их огневые средства и чтоб сами они несли меньше потерь от снарядов и мин противника. Для Федора Ксенофонтовича, как, видимо, и для других зрелых командиров, стала совершенно очевидной неприемлемость ранее принятого поэшелонного построения в глубину боевых порядков подразделений и частей, до дивизии включительно! При первой возможности он попробует обосновать это на бумаге. Война показала, что наши уставы пришли в несоответствие с современными способами ведения боя...

И надо наконец создавать возможности, чтобы действия штабов и войск, сражения в целом, пусть даже при превосходстве врага в силах, приобретали с нашей стороны все более четко выраженную разумность, как даже в эти последние дни подвижной обороны. Силу немцев и их искусство можно активнее гасить нашим военным искусством. Ведь обороняться легче, чем наступать. Нешаблонное мышление, находчивость каждого красного командира — тоже сила... Взять хотя бы его, генерала Чумакова: сколько он упражнял свой разум в оперативно-тактических приемах действий! А случилось так, что сейчас образовалась целая пропасть между тем, что он умеет, и тем, что делает. И не один он, в ком без должного применения дремлет многое из того, чего достигла за последние годы советская военная наука. А немцы, пока царствует на поле боя их хорошо используемая материальная сила, берут верх, хоть и несут невиданные потери. Управлять войной должен разум, оплодотворенный наукой. Право одной силы — преходящее право, ибо даже нравственная атмосфера в советских войсках — тоже сила, а источники ее неистощимы.

Нынешняя война — это не только дуэль между двумя армиями, это строжайшая проверка социально-нравственной атмосферы двух разных миров. Это смертельная схватка между фашизмом и социализмом; и победит социализм, коему принадлежит будущее, ибо по законам жизни оно принадлежит добру и справедливости.

Где добро и чувство доброты, там просветленность ума, ясность перспектив. В то же время Федор Ксенофонтович горячо разделял суждения своего покойного академического учителя профессора Романова, постоянно твердившего, что история человечества во многом есть история войн. Следовательно, горький военно-исторический опыт, веками накапливавшийся с неумолимой последовательностью, в конечном счете уточнил и возвысил человеческую мысль о способах ведения войны до подлинного искусства. И хотя войны были и будут для человечества проклятием, все-таки полководцу надлежит быть если не всегда талантливым (ибо талант — редкость), то обязательно всесторонне образованным и глубоко знающим высшие достижения военного искусства, понимая при этом, какими путями, какими победами и поражениями достигалась эта высота. Он, Федор Ксенофонтович, долго собирал и складывал в копилку памяти все то, что обогащало его профессиональные знания. И пусть сейчас эти знания были похожи на деньги, только частью купюр вошедшие в употребление, он верил: это временно, по причинам каких-то ошибок и трагически-неудачно сложившихся обстоятельств. Скоро все должно измениться. Будущее подтвердит эту его веру...

Да, но ведь война неумолима: будущего у него, Чумакова, как и у тысяч других, может и не быть... Странная это для Федора Ксенофонтовича мысль. Она от невозможности охватить почти чудовищную грандиозность всего ныне творящегося. Она же и от зыбкости мостков, связывающих его прошлое с сегодняшним. Готовил себя к делам полководческим, а приходится выполнять роль, в общем-то, командира средней величины, и порой не лучшим образом.

Удрученное настроение духа иногда почти затмевало прежнюю, совсем недавнюю жизнь. Вспоминал о ней как о далекой и чужой, видел себя в ней как другого человека. Будто взглядом со стороны, даже с некоторым безразличием всматривался в клочковатую, пусть пронизанную солнцем хмарь прошлого. Каждое его тогдашнее дело, каждая забота воспринимались как самое главное и необходимое в жизни.

И ему, генералу Чумакову, в сумеречности нынешнего настроения многое вспоминается, может, не таким, каким оно было, и видится

не таким, каким бы стал творить его сам, если б свершилось чудо и он вернулся во вчерашний день. Но случись даже чудо, ничего бы, наверное, что связано с рождением нового человека, с воспитанием воина, не придумал бы нового. Раньше тоже верил, что советский воин при защите Родины проявит высокую стойкость и верность. Но чтобы именно так: в полный рост идти с гранатой на танк... вставать в атаку с песней, понимая, что это, может быть, последние шаги по земле... драться до последнего патрона в самом безвыходном положении... Да, все-таки прошлое было подлинно великим, если оно родило столь великого Человека, наделенного новым общественным содержанием.

Нет ничего легче, как бранчливо судить о прошлом, ибо налицо все его сильные и слабые стороны, все порушенное и созданное им. А каждый новый прожитый год — очередная ступень, с которой прошлое видится все в более главном. Но точно ли видится? Не бывает ли внушенного обмана зрения? Ведь историю делают люди, значит, они и судят ее. Творя сегодняшний день, они ревниво оглядываются в прошлое, стараясь внести что-то свое, новое, важное, заметное. А их деятельность, направляемая ими политика и экономика, культура и общественная жизнь зависят от многого — от их знания, опыта, глубины ума и темперамента, от чувства времени и чувства истории вообще, от логичности отвержения одних законов и принятия других, от наличия или отсутствия честолюбия, от множества непредвиденных обстоятельств, связанных и с тем, кто и как плодотворно вершит государственные и политические дела...

Рой мыслей — мимолетных, чуть прикоснувшихся к сердцу или наваливавшихся глыбой — вплетался в пеструю ленту тревог и надежд, болей и сомнений, уносил Федора Ксенофонтовича в прошлое и вновь возвращал в сегодняшний день... Подумалось и о том, что ведь существует связь между государством и отдельной личностью, между деятельностью правительства и усилиями одного человека. Не в этом ли значение и сила государства?

Эх, проснуться бы да испытать радость, узнав, что вся его боль — след дурных сновидений. Но нет: в углу блиндажа зашевелился телефонист и послышался сдавленный голосок:

— Я — «Орех»!.. Ей-богу, не сплю!..

Федор Ксенофонтович, будто освободившись от сковывавших тело обручей, повернулся на озябшую спину, даже не сдвинув сползшую на расстегнутом ремне кобуру с пистолетом и больно вмявшуюся в бок. Где-то недалеко обвально разорвался снаряд. Спиной ощутил, как дрогнула земля, и ждал, что сейчас посыплются в лицо крошки, но вспомнил, что связисты распяли вчера на потолке блиндажа немецкую топографическую карту. После взрыва наступила окаменевшая тишина, столь непривычная для этих июльских фронтовых ночей, что в груди родилась тревога. Федор Ксенофонтович начал дремать, стараясь ни о чем не думать. Но мысли непостижимым образом вспыхивали в глубине мозга, будто крохотные искры, и вскоре разгорались, продолжая жечь его сердце. Вот он вдруг подумал о себе, как о затерявшемся маленьком и беспомощном человечке; будто взглянул с высоты поднебесья на изломанную, исполосованную землю. Там, где-то далеко внизу, за пеленой дымки, среди изрытых окопами буераков, между блиндажами и просто кротовыми норами, выдолбленными в крутостях оврагов, замаскирован блиндаж, в котором прикорнул на зыбких нарах генерал-майор Чумаков. Спит не спит, а казнится, копается в своих мыслях, как жук в песке, страдает, будто он один и ответствен за все, что происходит на белом свете. Тьфу!..

Федор Ксенофонтович резко поднялся с нар и неожиданно для самого себя зло выматерился, позабыв, что в блиндаже телефонист.

— Что за ерундовина?! — с досадой спросил сам у себя. — Страдаю, как гимназистка, потерявшая невинность! Хватит!

— Виноват, товарищ генерал! — испуганно вскочил в углу блиндажа боец с прибинтованной к уху телефонной трубкой. Он был чуть различим в отсветах пожара, падающих в блиндаж сквозь входной проем. — На секунду задремал!

— Ладно, — бросил ему Чумаков, опомнившись.

Привычно переобувал на ощупь сапоги и уже утешал себя тем, что не так плохи их дела, если вчера артиллеристы во главе с Рукатовым и Быхановым кинжальным ударом из засады расчерепашили больше двух десятков немецких танков. Правда, и сами подставились под прямой удар, понесли потери, однако наступление врага со стороны Красного затормозили. Надолго ли? Конечно же, не позже чем сегодня воды Лосвинки окрасятся кровью... Подоспело бы горючее, обещанное маршалом Тимошенко... А Рукатов и Быханов — молодцы! Надо будет Рукатова восстановить в прежнем звании, а Быханова — к ордену представить, да пока не та обстановка.

Федор Ксенофонтович вышел из блиндажа в теплую полутьму, пахнущую смолой хвои. Выбрался из траншеи и оглянулся вокруг. Далеко впереди и слева полыхал большой пожар. Облачное небо румянилось от него, как от зарницы. В отсветах пожара полосатилась в медленных волнах багрово-белесая рожь, подступая к изрезанной оврагами возвышенности — командно-наблюдательному пункту генерала Чумакова.

— Товарищ генерал, попейте чаю, — услышал сзади себя тихий и какой-то ладный голос ординарца Саши Косова. — Только заварил.

Федор Ксенофонтович одобрительно посмотрел в смущающиеся глаза, в темное от загара юное лицо бойца и взял у него дымящуюся алюминиевую кружку.

Косов — проворный и расторопный малый, как и полагается быть ординарцу, — перешел к Чумакову по наследству от раненого генерала Ташутина. Понравился он Федору Ксенофонтовичу тем, что старался быть полезным не только ему одному, а и полковнику Карпухину, и полковому комиссару Жилову. Они охотно принимали заботы Косова — посылали его на кухню, заказывали чай, поручали при переездах укладывать в машины свое нехитрое имущество.

Отхлебывая душистый, заваренный в котелке чай, Федор Ксенофонтович увидел торопливо приближающегося полковника Карпухина. Полы его плащ-палатки, накинутой на плечи, уже были мокры от росы.

— Вы что, Степан Степанович, с утра за девчатами по кустам бегаете? — усмешливо спросил генерал.

— Спускался на узел связи, — недовольно ответил Карпухин, кивнув в сторону оврага и потирая рукой небритую щеку. — Телефон в вашем блиндаже не отвечает.

Федор Ксенофонтович окликнул стоящего рядом ординарца:

— Саша, полковнику чаю!

Взяв у Косова обжигающую пальцы кружку, Карпухин укоризненно взглянул на генерала и заговорил о другом:

— Федор Ксенофонтович, у меня такое впечатление, что полковник Гулыга умом тронулся.

— Что случилось? — встревоженно спросил Чумаков, угадывая за всегда точными словами начальника штаба что-то чрезвычайное.

— Вам он не дозвонился, а мне наплел такой чепухи, что повторять неловко. — Карпухин вдруг как-то болезненно засмеялся и продол-

жил: — Или, может, так шифровал разговор на случай, если немцы включились в линию?

— Что же он нашифровал?

— Пленного везет сюда Рукатов. Большой чин. Называет себя вашим родственником.

— Кто называет?!

— Пленный немец.

— Немец — мой родственник?!

— Я и говорю, что Гулыга очень устал и несёт ахинею.

— Позвольте, а что Гулыга вам передал? — Удивлению Федора Ксенофонтовича не было предела.

— Пленный, как я понял, полковник. Откуда-то знает, что здесь командует генерал Чумаков, и просит доложить вам, что он Курт... кажется, Шернер. — Карпухин на мгновение задумался, а в это время к ним стремительно подошел чем-то расстроенный полковой комиссар Жилов. — Да, Курт Шернер! — повторил Карпухин. — Гулыга докладывает, что этот Курт якобы утверждает, будто он является вашим, Федор Ксенофонтович, кровным братом.

— Этого еще нам не хватало! — с угрюмой усмешкой воскликнул Жилов, а затем сделал неожиданный для всех вывод: — Небось опасается их фашистское свинородие, что по дороге в штаб ему красноармейцы сделают свинцовую примочку. Вот и прет околесицу: «Не расстреливайте, мол, я родня вашему генералу!»

— Курт Шернер...— будто про себя задумчиво повторил Федор Ксенофонтович.

— Дела есть поважнее! Неотложные! — Жилов оглянулся в сторону дороги, прятавшейся за кустами на дне оврага. — Горючее прибыло!

— Слава богу! — обрадованно воскликнул генерал Чумаков.

— Да, но нас ограбили! — опять перебил его Жилов. — Какой-то бандюга-майор у переправы за Днепром с группой красноармейцев под угрозой оружия завернул к себе в лес автоцистерну с дизельным топливом и еще бензозаправщик.

— Силой забрал?! — подавленно переспросил генерал Чумаков, а затем, сдерживая негодование, приказал: — Надо немедленно вернуть горючее, а этого мерзавца расстрелять!

— Даете мне такие полномочия?— Жилов, кипя злостью на незнакомого самоуправца, уже был готов действовать. — Прибывшие шоферы сказали, где надо искать этого майора.

— Ищите! Возьмите с собой людей.

Чумаков задумчиво смотрел вслед полковому комиссару Жилову, торопливо скользившему по травянистому, покрытому росой склону к дороге. Затем приказал Карпухину уточнить количество привезенного горючего и немедленно начать заправку, в первую очередь танков и артиллерийских тягачей, а сам вновь вернулся мыслью к захваченному в плен немецкому офицеру.

«Курт Шернер... Шернер...» — мысленно повторял Федор Ксенофонтович, чувствуя, что вот-вот вспомнит, где и когда слышал он эту фамилию.

В памяти всплыло село близ Большого Токмака на юге Украины. Там, еще до революции, мальчишкой три года батрачил он у немецких колонистов... Нет, среди них не было Шернеров. А фамилия, несомненно, что-то ему напоминала. Курт Шернер... Кто же он? Где встречал его?..

Федор Ксенофонтович начал вспоминать, когда и с кем в последние годы приходилось ему разговаривать по-немецки, и вдруг словно молния осветила затерянный уголок памяти...

Был сентябрь 1935 года. В районе городов Бердичев, Сквира, Киев шли большие маневры. На них присутствовали высшее руководство Красной Армии, представители военных округов. За действиями советских войск наблюдали и иностранные гости — военные делегации Франции, Италии и Чехословакии.

На маневрах выявлялись возможности взаимодействия механизированных и кавалерийских корпусов при столкновении с крупными подвижными войсками «противника», а также боевые возможности механизированных соединений при их действиях на флангах армии и в глубине обороны «противника». Сложные задачи решала авиация, в том числе выброску авиадесанта в составе целого парашютного полка, — таких масштабов еще не видела мировая практика. Полк имел задачу нанести удары по тылам и резервам «противника».

Во время десантирования батальонов на огромное поле близ Борисполя, что восточнее Киева, случилась беда с одним из членов делегации чехословацкой армии. Все иностранные гости вместе с представителями высшего командования Красной Армии стояли на дощатых настилах вышек, сооруженных у края поля близ дороги, и наблюдали, как из плывшей по небу армады самолетов вываливались черные точки, над которыми затем вспыхивали белые купола парашютов. Сотни десантников с оружием приземлялись на поле, иные прямо перед наблюдательными вышками. Одного красноармейца порывом ветра бросило на вышку. Он не сумел натянуть стропы, чтобы уйти в сторону, и, залетев на настил, ударил сапогами чешского полковника, прильнувшего в это время глазами к стереотрубе...

Полковник получил серьезные повреждения кости правой ноги с открытым переломом. Когда его укладывали в санитарную машину, чтобы везти в госпиталь, начальник генерального штаба чехословацкой армии генерал Крейчи, возглавлявший делегацию, высказал пожелание, чтобы при его полковнике был переводчик. Но свободного переводчика, знавшего чешский язык, рядом не нашлось. Тогда чех обмолвился, что его устраивает переводчик, знающий немецкий.

В группе посредников оказался комполка Чумаков Федор Ксенофонтович, сносно владевший немецким. Его опеке и поручили чешского полковника — немца из Судетской области, Курта Шернера...

В госпитале, во время операции, у раненого наступил травматический шок. Потребовалось немедленное переливание крови, а нужной группы под рукой не было. И Федор Ксенофонтович предложил чешскому коллеге свою кровь, оказавшуюся, к счастью, совместимой.

Сейчас все вспомнилось Федору Ксенофонтовичу до мельчайших подробностей. Действительно, когда полковник Шернер пришел после операции в себя, он со слезами благодарности называл Чумакова: «Мой кровный брат Фиодор...»

Федору Ксенофонтовичу пришлось пробыть в Киевском гарнизонном госпитале при Курте Шернере несколько дней, пока ему на подмену не прислали кого-то, говорящего по-чешски. До приезда переводчика они объяснялись с Шернером на немецком. Разговаривать же им было интересно: одногодки (обоим тогда исполнилось по тридцать девять лет), оба с высшим военным образованием, а в мире нарастала тревога, рождавшая много вопросов.

Когда Курт Шернер узнал, что Федор Ксенофонтович выходец с Украины, а немецкий знает потому, что в детстве был пастухом у богатых немцев колонистов, он проникся к нему особым интересом. Даже доверительно спросил, не чувствует ли себя офицер-украинец в Красной Армии пасынком, не обходят ли его чинами, должностями, наградами. Нелепость вопросов так развеселила Федора Ксенофонтовича, что он

шутки ради ответил: «Всякое бывает. Видели вы на маневрах среди начальства такого высокого, как каланча? Тимошенко его фамилия. Только на год старше меня, а уже командарм — четыре ромба носит. А я всего лишь комполка!» — Чумаков полагал, что чешский офицер знает об украинском происхождении Тимошенко.

Но Шернеру важно было продолжить этот разговор, и он, даже неразобравшись потом в шутке Чумакова, стал жаловаться на свое непрочное положение судетского немца в чешской армии, будто в оправдание сообщил, что в Чехословакии поэтому и существует судето-немецкая партия со своим фюрером, ее создателем, Конрадом Генлейном, и что, с точки зрения его, Курта Шернера, Генлейн и Гитлер близки в своих взглядах на будущее Европы.

«Но ведь Гитлер, кажется, к этому будущему надеется прийти через войну, через порабощение целых народов!» Федор Ксенофонтович стал подозревать о принадлежности чешского полковника к генлейновской партии.

«А вы разве исключаете войну как рычаг прогресса человечества?» — удивился Шернер.

«Конечно! Разрушение не может быть основой созидания, как смерть не является залогом жизни. Следовательно, война человечеству не нужна!»

«Тогда почему вы избрали себе профессию военного? Зачем Советскому Союзу мощная армия?»

Федор Ксенофонтович понимал, что наивность Шернера притворна, но все же сказал:

«Если б мы постоянно не укрепляли свою армию, мы бы обрекли себя на исчезновение. А что касается мысли о войне как рычаге прогресса, то это продукт, главным образом, немецкой философии восемнадцатого—девятнадцатого веков. Вы не хуже меня знаете Гегеля, Ницше, Канта, Фихте, Шеллинга...»

«Верно, — согласился с некоторым удивлением Шернер. — Но вы же не отрицаете их вклада в развитие человеческой мысли?»

«Не отрицаем. В то же время мы помним, что на развитие человеческой мысли влияют и заблуждения мыслителей».

«Но ведь вы не скажете, что Гегель заблуждается, рассматривая историю как «прогресс духа в сознании свободы», приписывая этот прогресс отдельным народам, сменяющим друг друга по мере выполнения своей миссии?..»

«А вы полагаете, как я понял, что вновь пришла пора начать выполнять свою миссию немецкой нации?» Федор Ксенофонтович, не желая обидеть собеседника, придал своему голосу шутливый тон.

«Если вы под миссией подразумеваете войну, то я не смею говорить утвердительно...» Слова Шернера прозвучали фальшиво.

«Я имею в виду суждения Гегеля о том, что война якобы сохраняет нравственное здоровье народов, предохраняет человеческое общество от гниения, подобно как движение ветров не дает загнивать озеру».

«А вы не судите о великой философии Гегеля, глядя на нее сквозь чужие и притом слабые очки! — обидчиво воскликнул Шернер. — Вы почитайте его в оригинале, и вам ничего не останется другого, как согласиться с тем, что война и сопровождающие ее бедствия действительно развивают нравственные силы. Если бы не было войн, то такие качества человека, достойные восхваления, как храбрость, терпение, твердость, самоотвержение, презрение к смерти, — все это исчезло бы с лица земли!»

«Вы забыли начать с того, что мир, как состояние общества, — едко заметил Чумаков, — ведет к роскоши, роскошь развивает чувственность, а чувственность рождает изнеженность и эгоизм».

«Верно! — Шернер не уловил иронии Чумакова. — Народ со своей цивилизацией может дойти до такого распада, разврата, что только крайняя опасность государству в состоянии пробудить его силы! Гегель это доказывает всем строем своих неоспоримых мыслей, всеми средствами логики!»

«Тут вы не совсем точны. — Чумаков снисходительно засмеялся. — Я вам пересказал суждения, правда, подражающие Гегелю, Фридриха Ансильона, одного из прусских министров, последователей в международной политике Меттерниха. Впрочем, в нашем споре князь Меттерних ни при чем».

«Да, Меттерних был врагом России... Но вы читали Жана Пьера Фридриха Ансильона?!» — Шернер был, кажется, не столько изумлен, сколько уязвлен, ибо осведомленность русского офицера в тех проблемах, которые занимали умы философов и дипломатов прошлого века, не вязалась с его, Шернера, представлениями о русских вообще.

«Нет, на чтение доктринерства Ансильона не стоит тратить времени, — ответил Чумаков. — Я почитывал идеалиста Пьера Прудона, который, размышляя над мудрствованиями Ансильона, все-таки доказывал, что человечеству не нужна война».

«Вы согласны с Прудоном?»

«Мы, большевики, согласны с Марксом, который утверждает, что война выносит окончательный приговор социальным учреждениям, которые утратили свою жизнеспособность».

«Значит, большевики не отрицают войны?!» Курт Шернер обрадовался, будто загнал своего соперника в угол.

«Конечно, не отрицают, — согласился Чумаков. — Но мы, не отрицая справедливой войны, предпочитали бы, чтоб государства разрешали конфликты не на поле брани, а за круглыми столами мирных переговоров. А если уж соперничать, то соперничать в мудрости и дальновидности правительств и в прогрессе, процветании народов».

«Фиодор, брат мой кровный, будьте реалистом! — с досадой воскликнул Шернер. — Приближается час, когда мудрость правительств будет выражаться в войне».

«Это будет не мудрость, а безумие тех, кто развяжет войну».

«Время нас рассудит», — с приятной улыбкой закончил спор полковник Шернер.

Это было в Киеве, в сентябре 1935 года...

Солнце всходило за облаками, и утро было тусклым. Вот-вот немцы напомнят о себе артиллерийско-минометным обстрелом, и на командно-наблюдательном пункте генерала Чумакова все притихло, притаилось. Командиры оперативной группы тихо переговаривались, сидя на ящиках из-под снарядов в окопе с наспех сделанным из бревен противоосколочным козырьком. Приготовились к тяжкому, полному неизвестностей дню связисты, наблюдатели, посыльные.

Генерал Чумаков не торопился в окоп. Прилег на расстеленной под кустом орешника плащ-палатке и изучал документы, взятые из саквояжа полковника Шернера. Рядом, присев на одно колено, держал в руке облегченный саквояж младший политрук Лева Рейнгольд, надеясь, что потребуется его помощь в прочтении немецких документов.

Развернув топографическую карту и взглянув на нее, Федор Ксенофонтович окликнул полковника Карпухина, который рядом в блиндаже напоминал по телефону артиллеристам, что на дороге, ведущей из Сырокоренья в сторону Красного, могут появиться механизированные подразделения 20-й армии, получившие задачу выбить противника из Красного.

— Полюбуйтесь, Степан Степанович! — сказал Чумаков вышедшему из блиндажа Карпухину, указывая на разрисованное красными и синими карандашами полотнище. — Полная и самая свежая обстановка в полосе действий сорок седьмого механизированного корпуса немцев! — Чумаков скользил пальцами вдоль синих стрел, словно прощупывая их, остановился на черте, вдоль которой было по-немецки написано: «Задача дня на 16 июля 1941 года». Черта проходила в десяти километрах восточнее Смоленска, включая магистраль Минск — Москва, а стрелы целились в Смоленск со стороны Красного и Досугова, рассекая левый фланг полосы обороны, которую занимали сейчас части войсковой группы генерала Чумакова, а также со стороны западнее Монастырщины.

— Надеются фашисты завтра быть в Смоленске, — будто сам себе сказал Чумаков и, дав Карпухину возможность подробнее ознакомиться с оперативной картой немцев, сам раскрыл папку с бумагами.

— Разрешите, я переведу, — предложил генералу свою помощь младший политрук Рейнгольд.

— Спасибо, я сам справлюсь, — ответил Федор Ксенофонтович и приказал Рейнгольду: — А вы отнесите пленному саквояж. Чтоб все было в целости.

— Коньяк тоже отдать?! — ужаснулся Лева. — Ведь французский!

— Откуда знаете, что там коньяк? — спросил полковник Карпухин с некоторой иронией.

— Ну... мы с майором Рукатовым поинтересовались, что везем... Вдруг мина с часовым заводом.

— А где же Рукатов? — спросил Чумаков.

— Там, в овраге, — смущенный Лева неопределенно махнул рукой.— Медпункт ищет.

— Не прошла у него контузия?

— Контузия?.. А разве... Ах нет, не прошла! — В глазах Левы вспыхнули веселые огоньки. — Товарищ генерал, пленный требует встречи с вами.

— Пусть ждет. Сначала изучим бумаги...

Откозыряв начальству, Рейнгольд ушел, унося саквояж, а Федор Ксенофонтович, вчитываясь в какой-то документ, озадаченно сказал полковнику Карпухину:

— Очень важно! Приказ командиру дивизии, которая нацелена на Смоленск... Генералу фон Больтенштерну...— И процитировал, переводя на русский: — «Примите все необходимые меры для захвата мостов через Днепр в Смоленске, не допустив их взрыва. Смоленск без мостов при наличии магистрали, проходящей севернее города, в значительной мере теряет свое стратегическое значение...»

— Да, но Смоленск еще надо взять! — язвительно воскликнул Карпухин.

Чумаков ничего не ответил, однако будто сам себе сказал:

— Интересная мысль... — Заметив удивленный взгляд Карпухина, пояснил: — Говорю, что любопытно оценивают немцы Смоленск без днепровских мостов... Что-то есть в этой оценке, над чем надо подумать.

Карпухин, нахмурившись, вновь придвинул к себе карту; некоторое время молча рассматривал на ней Смоленск и его окрестности, затем уверенно произнес:

— Даже при взорванных мостах это крепость! Из Смоленска можно держать под обстрелом магистраль Минск — Москва на широком участке!

— При условии, что Смоленск будет в наших руках, — с горькой усмешкой уточнил Чумаков.

— Надо надеяться, там принимают меры, чтоб не пустить немцев,— удрученно заключил Карпухин.

— Во всяком случае, этот приказ вместе с пленным следует немедленно отправить под надежной охраной в штаб фронта.

— Без допроса пленного? — удивился Карпухин. — Мы сами себя обкрадываем! Да и в дороге с пленным может всякое случиться...

— Вот вы с Рейнгольдом и допросите! Только вначале я с ним поговорю...

## 14

На железной дороге, идущей к Смоленску, лежал в пустынной заброшенности разбомбленный разъезд. Небольшое кирпичное здание рядом с песчаной платформой жалко смотрело на мир чернотой выгоревших окон. Крыша его рухнула внутрь, а фасадную стену от верхнего угла к низу дверей косо перечеркнула ломаная трещина, из которой струйками текла белая известковая мука, смолотая взрывом фугаски.

Железная дорога из-за разбитых мостов через мелководные притоки Днепра не работала, и жизнь будто бы совсем отхлынула от этого искалеченного и обожженного уголка, переместившись на не очень далекую автомагистраль, по которой тек прерывистый, словно иссякающий ручей повозок, машин и пеших. Все стремились к Смоленску, навстречу редким тягачам с пушками и груженым автомобилям; они двигались в сторону фронта с какой-то дерзкой надменностью, пользуясь тем, что наконец-то в небе стали появляться краснозвездные машины и прыть немецких самолетов поубавилась.

Пустынность железнодорожного разъезда таила какую-то загадку. Это сразу отметил, появившись здесь, старший лейтенант Иван Колодяжный. Началось с того, что из лесозащитной посадки, прижимавшейся к железнодорожным путям напротив разбомбленного здания полустанка, вышел красноармеец с заспанным лицом. При ружье и с противогазом, он напоминал ротного дневального.

— Вы не хозяйство Кучилова ищете?! — издали спросил красноармеец, позевывая.

— Нет, — неосмотрительно поторопился ответить Колодяжный. — А что за хозяйство?

— Обыкновенное. — Красноармеец потерял всякий интерес к старшему лейтенанту и поплелся назад в посадку.

— Постой!.. А ну ко мне! — Голос Колодяжного зазвучал резко.— Бегом!

Красноармеец подбежал ленивой трусцой:

— Прибыл по вашему приказанию...

— Фамилия?!

— Красноармеец Сиволапов!

— Что здесь делаете?

— Я — «маяк». Встречаю своих, чтоб послать в хутор. — Сиволапов кивнул головой куда-то в сторону, настороженно осматривая сердитого командира.

Исхудавшее от недосыпания и переутомления лицо Колодяжного, совсем недавно приводившее в восторженный трепет девушек-медсестер, было почти черным, а маслившиеся глаза и рот с сухими губами будто увеличились. Зато на Иване были надеты новенькая гимнастерка из серого шевиота и синие габардиновые галифе, плотно облегающие икры ног, на которых сверкали новизной хромовые сапоги. Всем этим почти парадным великолепием старший лейтенант Колодяжный обогатился вчера, случайно наткнувшись среди большой лесной поляны на кем-то брошенный грузовик без горючего в баке; кузов грузовика был завален

тюками интендантского имущества. Его хватило, чтобы приодеть почти всех поизносившихся за три недели войны штабистов, начиная с генерала Чумакова и, разумеется, дружка Колодяжного — Миши Иванюты.

Генерал Чумаков, увидев на Колодяжном и Иванюте выходную танкистскую форму, прочел им нотацию за легкомыслие, но другого обмундирования у ребят не было. Вот теперь и щеголяют они в праздничных нарядах. Правда, Колодяжного подводила его худоба: воротник шевиотовой гимнастерки даже с толстым подворотничком почти не прикасался к шее, и голова Ивана будто выглядывала из гнезда. Впрочем, ремешок трофейного бинокля немножко прижимал к шее заднюю часть воротника. Но все одеяние в целом топорщилось на Колодяжном, словно под ним гулял ветер, хотя до предела были подогнаны на полевом снаряжении портупеи, а пояс, затянутый на последнюю дырку, как бы скреплял единство старшего лейтенанта с надетым на нем обмундированием. А если еще учесть, что сапоги на ногах были в самый раз, то в общем Иван чувствовал себя героем, хотя на заспанном лице этого Сиволапова, который ленивым взглядом скользил по внешнему виду старшего лейтенанта, улавливалось какое-то недоуменное пренебрежение.

— И давно здесь бока отлеживаешь? — с неприязнью спросил у него Колодяжный.

— Меняют через каждые шесть часов.

— А что за часть? Какой род войск?

— Езжайте на хутор, начальство скажет...

Колодяжный с досадой сплюнул и отпустил бойца. Сразу не мог решиться на что-то и вопросительно посмотрел в сторону переезда, где стояли его трофейный мотоцикл и грузовик с бойцами, над которыми начальствовал младший политрук Миша Иванюта.

Трофейными мотоциклами обзавелись некоторые командиры штаба, в том числе Колодяжный, когда под Красным попала в засаду немецкая мотоциклетная рота. Иван уже успел так освоить управление трофейной машиной, что самостоятельно садился за руль и, испытывая в душе тихий восторг, ехал, куда велела служебная нужда, да еще сажал в коляску бойца с ручным пулеметом.

На этом заброшенном разъезде старший лейтенант Колодяжный появился не случайно. Сегодня ночью у понтонной переправы через Днепр какой-то майор-артиллерист с группой красноармейцев, остановив автоколонну, везшую горючее частям оперативной войсковой группы генерала Чумакова, под угрозой оружия конфисковал одну автоцистерну с дизельным топливом и один бензозаправщик. Как утверждали водители других машин, пропажу надо искать в лесу, что рядом с переправой — между Днепром и автомагистралью; там они видели грузовики со снарядами и тягачи с пушками. А найти надо было во что бы то ни стало, ибо штаб фронтового тыла выделил генералу Чумакову горючего ровно столько, сколько полагалось для одной заправки имевшихся в его распоряжении автобронетанковых средств. И полковой комиссар Жилов, клокоча от негодования, вызвался ехать на розыски разбойного майора-артиллериста, чтобы арестовать его и попытаться вернуть автоцистерну и бензозаправщик.

Иван Колодяжный еще не видел таким полкового комиссара. Необузданной яростью сверкали глаза Жилова, когда отдавал он приказание садиться в грузовик взводу охраны и младшему политруку Иванюте, получившему у начальника особого отдела чистый бланк ордера, а у военного прокурора «добро» на задержание и арест неизвестного майора. Сам Жилов, учитывая опасность обстановки, не решился оставлять свою эмку в штабе, а поехал на ней, пустив вперед по маршруту

мотоцикл старшего лейтенанта Колодяжного с пулеметчиком в коляске. Так началась в войсковом тылу небольшая «боевая операция».

Но лес за переправой, овражистый и тучный, уже опустел. Поостывший Жилов, с досадой оглядываясь по сторонам, спорым шагом прошелся по опушке, остановил несколько машин, ехавших к переправе, побеседовал с водителями, но ничего выяснить не сумел. Затем приказал Колодяжному:

— Возглавляй группу и действуй от имени командования. — Усевшись в эмку, добавил: — Постарайся добыть горючее. Любым путем!.. Но без применения силы.

Вот и колесил Иван Колодяжный по ближней прифронтовой полосе, пока не оказался на этом железнодорожном разъезде. Ничего не добившись от бойца-«маяка», он побрел вдоль запасной ветки, где стояли остовы сгоревших вагонов и платформ. Обратил внимание на теснившийся к ним длинный полусгоревший штабель шпал, скрепленных железными скобами, увидел выстеленный досками съезд со штабеля и понял: здесь сгружали с эшелона какие-то машины. Может, горючее?..

Укрыв грузовик с бойцами под началом Миши Иванюты в тени посадки за переездом, Колодяжный направил мотоцикл по умятым колеям, ведшим через буйно заросшую сурепкой полосу отчуждения к неприметному проселку. Проселок же привел Ивана и сидевшего в коляске мотоцикла пулеметчика — белесого паренька в линялой пилотке и в новеньком, вчера добытом обмундировании — в небольшой хуторок из пяти-шести разбросанных по буграм, неогороженных дворов. Бугры высились над глубоким оврагом, заросшим мелколесьем. Единственная улица хутора сливалась с накатанной дорогой, которая, нырнув в зеленый омут зарослей, юлила под ними в сторону магистрали, местами просматривавшейся с хуторских бугров.

В зарослях оврага и были замаскированы автомашины, сгрузившиеся два дня назад с железнодорожных платформ. А в их кузовах — стандартные металлические бочки с бензином, лигроином и маслом. Разведав все это, Иван Колодяжный уже сгорал от нетерпения скорее завладеть хоть частью обнаруженного богатства. Помотавшись на мотоцикле по холмам хутора, потолкавшись в овраге среди шоферов и складской обслуги, понял, что тыловики подавлены и даже напуганы грозной обстановкой и неизвестностью. Они с напряженным интересом слушали рассказ Колодяжного о том, что делается там, откуда накатывался давящий душу ступенчатый гул. Охотно, но тайком от начальства, заправили «под завязку» его трофейный БМВ.

Но как же прибрать к рукам горючее? Суматошно размышлял над разными планами, прислушиваясь с нарастающей тревогой к тому, что орудийная пальба и клекот пулеметов будто приближались. И в непрерывном напряжении держали вновь появившиеся стаи немецких самолетов. Они ползали в задымленном небе и пикировали то над магистралью, то за лес, то в сторону Днепра.

Колодяжному удалось выяснить, что два дня назад на разъезд, где с грузовиком и с бойцами остался ожидать его младший политрук Иванюта, прибыл эшелон, с которого сгрузились авторота подвоза и склад пункта снабжения, принадлежащий ДОПу[1] какой-то дивизии 16-й армии. Эшелон должны встретить представители тыла дивизии и указать место развертывания пункта горюче-смазочных материалов. Но получилась жуткая неразбериха: полки дивизии, ее штаб и тылы разгрузились из эшелонов где-то в других местах, и уже второй день начальник

[1] ДОП — дивизионный обменный пункт.

пункта военинженер третьего ранга Кучилов посылает во все концы посыльных, выставляет на дорогах указатели и «маяки». Кучилов и его подчиненные опасались, что на их склад наткнется кто-либо из высокого начальства, подчинит его какой-нибудь другой воинской части, и тогда прощай, родная дивизия!..

Вооруженный всеми этими сведениями, Иван Колодяжный форсисто подлетел на мотоцикле к крайней, ветхой от старости избе, одиноко маячившей над самым оврагом. В стороне от нее стоял хлев под соломенной крышей и навес над сложенными в штабель наколотыми дровами. В этой избе обедал со своим заместителем и командиром автороты инженер третьего ранга Кучилов. Когда Иван заглушил у избы мотор мотоцикла, колыхнулась белая занавеска в открытом окне и послышался требовательный голос:

— Прячь тарахтелку под навес!

Из окна дохнул на Ивана запах свежего борща, и у него заныло в желудке от голода. Но мысль о еде вспугнул пронзительный свист вырвавшихся из-за леса на бреющем полете двух желтобрюхих «мессершмиттов». Они разом ударили из пулеметов по какой-то цели, только им видимой, и исчезли за холмами. Иван и не опомнился, как оказался с мотоциклом под соломенным навесом, где, к немалому своему удивлению, увидел 76-миллиметровую пушку, упершуюся стволом в дощатую стену, а рядом, на колотых дровах, лежали три снаряда-патрона. Тут же опять донесся нарастающий свист немецких истребителей, и Иван сквозь рваную дыру в соломенной крыше увидел, как мелькнуло в небе крыло с черным крестом.

Рядом, в сарае, замычала корова, где-то в бурьяне закудахтала курица, а из открытого окна донесся недовольный баритон:

— Пожрать не дадут!

И Колодяжный не понял, к кому это относится — к нему или к «мессершмиттам».

Пряный и теплый аромат борща особенно густо плавал в сумрачной комнате, куда зашел Иван. Не видя со света, а только угадывая сидящих за столом людей, он прямо с порога будто закукарекал — требовательно и громко:

— Старший лейтенант Колодяжный! Прибыл по приказанию командарма Чумакова!

— Не слышали такого, — пробасил из-за стола крупный мужичище, на черных петлицах которого зоркий глаз Ивана стал примечать по шпале, и Иван догадался, что это и есть военинженер третьего ранга Кучилов, который между тем продолжал: — Наш командарм — генерал Лукин.

— Я выполняю приказ генерал-майора Чумакова! — нагнетая слова и почему-то раздражаясь, уточнил Колодяжный, строго всматриваясь в носатое и скуластое лицо Кучилова. — Мне приказано получить у вас... — Иван быстро удвоил в уме емкость исчезнувших автоцистерны и бензозаправщика, — шесть тысяч четыреста литров бензина и шесть тысяч четыреста литров дизельного топлива!

— И, конечно, без документов? — с откровенной издевкой спросил Кучилов, скосив на вошедшего серые, чуть выпученные глаза.

Колодяжный неотрывно глядел в лицо Кучилова, видя, однако, только его широкий, в синих прожилках, нос. Даже сквозь полыхнувшую в груди злость, вызванную насмешливостью в голосе военинженера, Иван испытывал неловкость, что не в силах отвести взгляда от его носа.

— Там люди дерутся до последнего и перед гибелью поджигают и взрывают свои танки и машины, чтоб фашистам не достались! —

В прочувствованном голосе старшего лейтенанта послышалась искренняя слеза. — А вы тут сидите на горючем да борщами обжираетесь?! Верно, нет у меня накладных! Документы получит ваш представитель, когда доставит генералу Чумакову горючее! Там сейчас не до накладных!

— Слушай, старший лейтенант. — Кучилов все-таки вышел из-за стола и, почти упираясь головой в черный дощатый потолок, навис над Иваном сердито дышащей глыбой. — Ты всерьез или дурочку валяешь?! Пункт ГСМ[1] — составная часть ДОПа дивизии! Понял?! У меня есть своя дивизия, для которой мне дадено горючее!

— Протрите очки! — Натиск Колодяжного не ослабевал. — Откуда возьмется здесь ваша дивизия? Ваш эшелон случайно сюда проскочил! А дивизию сгрузили где-то перед Смоленском! Она давно воюет и обходится без вас! Ее другие гэсээмы снабжают горючим!

— Не бери на пушку, старший лейтенант! — В голосе Кучилова все-таки поубавилось уверенности. — Вчера вечером один майор тоже брал! На настоящую!.. Прикатил с целой бандой орудие, загнал снаряд в ствол и орет: «Давай горючее, а то стреляю!..» Вижу, чокнутый!.. Пришлось бочку дать в долг. Вон орудие в залог оставил. — И военинженер нервно засмеялся. — А ты что, мотоцикл оставишь?

— Майор-артиллерист? — заинтересовался Колодяжный, пропустив мимо ушей другие слова Кучилова.

— Такой же падкий на чужое, как и ты!

— Значит, не дадите?

— Не имею права.

— Будете сидеть на горючем, пока немцы не пожалуют?

— Буду сидеть, пока не получу письменный приказ, как полагается....

— Прошу, товарищ военинженер третьего ранга, засечь время. — И Иван, поправив на груди бинокль и автомат, стал смотреть на наручные, тоже трофейные часы. — Чтоб потом было ясно, как долго по вашей вине задержана доставка горючего ведущим бой частям.

Но на темном циферблате часов Иван никак не мог разглядеть стрелки и, подняв глаза, скользнул взглядом по бревенчатой стене комнаты, надеясь увидеть ходики с гирей. И вдруг его словно кто-то встряхнул, заставив вмиг позабыть обо всем на свете. Он увидел под стеклом, среди разных снимков, заключенных в одну общую деревянную раму, мучительно знакомую коллективную фотографию. Такая фотография была и в дорогом его сердцу фотоальбоме, сгоревшем вместе с чемоданом в машине еще там... близ границы. На фотографии — группа выпускников их военного училища под знаменем. Вот и он, в новенькой лейтенантской форме, большеглазый, сосредоточенно-важный.

Словно отторгнутый от всего, что его сейчас окружало, Иван не заметил воцарившейся в домике тишины, не расслышал, как к нему подошла от печи и застыла рядом, тоже устремив взгляд на фотографию, хозяйка дома — старушка с маленьким темным лицом, будто печеным, столь обильны были на нем морщины.

То, что случилось, уже поняли все и напряженно ждали развязки.

— Кто здесь из ваших? — тихо спросил Колодяжный, заметив рядом с собой женщину.

— Вот, сынок, мой младшенький, — почему-то шепотом ответила она, ткнув пальцем в длинношеего, стриженного, как и все, лейтенантика.

— Дима Старостенков?! — Колодяжный обрадованно засмеялся,

---

[1] ГСМ — горюче-смазочные материалы.

будто воочию увидел своего лопоухого, остроносенького однокурсника, который в строю всегда тянул ногу и с которым время от времени обязательно что-нибудь случалось.— А вот я, почти рядом с ним!

— Господи! Где он сейчас, сердешный? — вдруг заголосила старуха. — Живой или, может, ранятый?! — Она смотрела на Колодяжного со смешанным чувством радости, тревоги и надежды.

Ивану стало жалко эту одинокую, пригнутую возрастом и трудной жизнью бабку, но ничего утешительного о сыне ей сказать не мог: ведь третий год пошел, как закончили они училище и разлетелись по разным военным округам. Разве что рассказать, как ее Дима однажды на стрельбище, находясь в оцеплении, по глупости взглянул в бинокль на солнце и чуть не ослеп. Долго носил потом темные очки, не хотел с ними расставаться, так как удобно было при темных стеклах незаметно дремать на занятиях.

— Живой Димка! — с вдруг родившейся в нем уверенностью сказал Колодяжный. — На Юго-Западном фронте дает прикурить фашистам!

— Живой?! Воюет?! — Женщина метнулась к печи, загремела железной заслонкой. — Сейчас же садись к столу да рассказывай, а я тебе свеженького борща налью!.. Курицу зарежу!

— Рассказывать больше не о чем, — извинительно ответил Иван и метнул негодующий взгляд на застывшего посреди комнаты Кучилова. — А борщом да курятиной кормите этих тыловых... Им спешить, как видно, некуда. — И решительно вышел, надеясь в глубине души, что Кучилов его остановит.

Военинженер не окликнул старшего лейтенанта. Не сводил с него задумчивого взгляда сквозь окно, когда тот вместе с пулеметчиком выталкивал из-под навеса свой БМВ. Взревев мотором, мотоцикл куда-то унес своих седоков, а Кучилов удрученно сказал:

— Черт его знает, как быть! — поскреб пятерней в могучем затылке, беспомощно взглянув на молчаливо нахохлившихся за остывшим борщом командира автороты и своего заместителя.

— Нельзя так, начальник! — вдруг накинулась на него хозяйка дома. Ее быстрые глаза и тонкие губы выражали ум и какую-то силу.— Я борщ варю всем, кто есть попросит... Не пытаю — с наших ты краев, аль с хохлацких, чи московских! Все наши, все красные! Все бьют супостата, как и сынок мой!..

— Мамаша, борщ, конечно, тоже горючее. — Кучилов похлопал ладонью по своему выпиравшему из-под ремня пузцу. — Была бы ты лет на сорок моложе, приписал бы тебя к своей части, и тогда борщ варила б только для нас, а не для всего фронта. — Затем военинженер измерил жестким, требовательным взглядом командира автотранспортной роты — хмурого воентехника в синем комбинезоне: — Надо, чтоб хозяйство было на колесах. Одну машину выделите для снятия «маяков»... Предупредите людей: из расположения склада — ни на шаг!

— Есть, быть, на колесах! — Воентехник, выбравшись из-за стола и надев пилотку, тут же побежал выполнять приказание.

## 15

А старший лейтенант Колодяжный тем временем примчался на уже знакомый железнодорожный разъезд, где в зарослях посадки изнывали от безделья приехавшие на полуторке с Мишей Иванютой бойцы. Младшего политрука Иванюту он увидел сидящим в кабине грузовика с блокнотом на коленях и карандашом в руке. Колодяжному и в голову не

могло прийти, что инструктор политотдела по информации Михайло Иванюта, будто и не вскипала вокруг опасность, сочинял стихи о любви.

Да, да! Именно о любви к юной медсестре Оле, которая вчера перевязывала ему задетую осколком бомбы левую руку. К сожалению, Оля наложила такую аккуратненькую повязку, что на нее налез рукав гимнастерки. И никто даже не догадывался, что младший политрук Иванюта получил боевое ранение и остался в строю. Зато какие родились стихи, какие чувства!..

О, твои черные девичьи очи
Сердце мое пленили навечно!..

Дальше, хоть убейся, строчки не шли, сколько Миша ни ломал голову. Может, потому, что он точно не помнил, действительно ли черные глаза у Оли?.. И вдруг перед самым появлением Колодяжного его словно прорвало. Стихи, первые в жизни Миши на русском языке, сами полились на бумагу:

И теперь я не сплю ни днем ни ночью:
Значит, люблю тебя очень сердечно!

Колодяжный, сойдя с мотоцикла, бесцеремонно взял из рук Миши блокнот, внимательно прочитал написанное и, заметив, с каким нетерпением ждет дружок его мнения, снисходительно хмыкнул:

— Курам на смех!! Кому нужна такая любовь: «Не сплю ни днем ни ночью»? Какой же из тебя будет вояка?.. Лучше вот как.— И, на ходу сочинив свои стихи, трагически продекламировал их:

Днем не сплю — кусают мухи!
А ночью жалят комары!
Моя любовь страшней засухи,
Моя тоска сильней жары!

— Ну, ну, ты не очень умничай! — обиделся Миша.

— Брось эту глупистику, — миролюбиво посоветовал Колодяжный и, посерьезнев, спросил: — Тебе бланк ордера на арест майора дали?

— Да.

— С подписью и печатью?

— Да.

— Вместо майора вписывай фамилию военинженера Кучилова!

— Какой состав преступления?

— Не дает горючего!.. Ты понимаешь: целый склад горючего, а войск нет... У нас войска — нет горючего! Дураком надо быть, чтоб не принять разумного решения!

— Только в рамках закона, — нарочито холодно ответил Иванюта, все еще переживая обиду, нанесенную ему Колодяжным.

— У войны один закон: громи врага! — наседал Колодяжный.

— В огороде бузина, а в Киеве дядька, — отпарировал Миша и с такой твердинкой в глазах посмотрел на Колодяжного, что тот опешил. — С законами не шутят и на войне! — продолжил Иванюта.

— Время же не терпит!.. Ну, хрен с тобой! Тогда есть еще один план... Надо вспугнуть оттуда этот склад в сторону переправы! За Днепром мы голыми руками возьмем его!

И тут старший лейтенант Колодяжный раскрылся на всю глубину своего озорного коварства. Он предложил Мише ехать на грузовике с бойцами к хутору, миновать его и направиться в сторону автомагистрали по дороге, идущей через овраг, где разместилось хозяйство Кучилова. А сам Колодяжный в это время вернется в дом, где, наверное, почивает после обеда военинженер, и продолжит с ним переговоры. Мише

Иванюте надо было сделать самое простое: отъехать километра два от оврага, поднять стрельбу, кинуть несколько гранат и что есть сил мчаться обратно, сея панику: прорвались, мол, немецкие танки!

— А если паника перекинется дальше? — забеспокоился Миша.

— Куда? Больше никого там нет!

Иванюта хоть и с сомнением, но согласился.

К хутору они ехали вместе — Колодяжный с пулеметчиком впереди, а Иванюта на полуторке сзади, соблюдая приличную дистанцию, чтобы не глотать поднятую мотоциклом пыль.

Когда выехали на высокий холм, за которым на холмах поменьше раскинулся хуторок, увидели, что в нескольких километрах в небе над низиной, где размахнулась влево от автомагистрали черная зубчатка леса, ходили по кругу немецкие бомбардировщики. Над краем леса, подступавшего к дороге, самолеты по очереди круто ныряли вниз и исчезали в дымной пелене, высоко поднявшейся над землей.

У Колодяжного тоскливо заныло сердце. Не прошло и двух часов, как покинули они командный пункт генерала Чумакова. Что там могло случиться за это время? По всему чувствовалось, что немцы ищут слабо прикрытые направления и рвутся вперед. Ему, старшему лейтенанту Колодяжному, «начальнику разведки», как почти всерьез именовал его полковник Карпухин, надо было быть на командно-наблюдательном пункте или в одной из частей, а он занят весьма сомнительным делом. Впервые Иван почувствовал ту тревогу, которая граничит со страхом. Он, этот страх, был вызван незнанием обстановки, утратой «чувства противника» — профессионального чувства истинного военного, который меньше испытывает беспокойства на виду у врага, чем где-то в тылу, когда на глаза будто надета повязка.

Но дело начато, а Колодяжный был не из тех, кто не доводит начатое до конца. Подъехав к хутору, он пропустил полуторку Иванюты вперед, а сам свернул к знакомой хатенке. Поставив мотоцикл на прежнее место под навес и приказав пулеметчику не отлучаться, направился в раскрытую дверь дома. На пороге задержался, прислушался: бомбежка стихла, гула самолетов тоже не было слышно. И шагнул за порог, мучительно размышляя над тем, как повести сейчас разговор с военинженером Кучиловым.

В комнате, у стола, увидел Кучилова и его заместителя — воентехника второго ранга, почти юношу, очень важного и деловитого в своей сосредоточенности. Глядя на карту, воентехник чертил на чистом листе бумаги какой-то план-маршрут.

— Разрешите? — спросил Колодяжный, войдя в комнату.

— Разрешаем, — не отрываясь от дела, ответил Кучилов. — Но горючего все равно не дадим... Вот найдем штаб шестнадцатой армии, доложимся, узнаем, где дивизия... — Кучилов выпрямился над столом и почему-то повернул голову в сторону раскрытого окна, а Колодяжный уже не мог оторвать глаз от его носа, на котором зажег красноту косой луч солнца. Не нос, а стоп-сигнал!..

Теперь и Иван услышал, что к дому подъезжала машина. Тоже посмотрел в окно, что поближе к двери, и увидел резко затормозивший у навеса грузовик с несколькими красноармейцами в кузове.

— За пушкой приехали! — высказал догадку Кучилов и первым заторопился к двери. — А как же бочка бензина?

Из кабины грузового «зиса» проворно выскочил, будто выпал из распахнувшейся дверцы, сержант с перебинтованной головой, приземистый, заметно колченогий. Отбежав, словно откатившись, от машины, он молча, знаками обеих рук, стал показывать шоферу, как развернуть и подать машину назад, чтоб с ходу взять на буксир пушку. Спрыгнувшие

с кузова бойцы (это был, оказывается, орудийный расчет) в какой-то нервной спешке стали быстро выталкивать орудие из-под навеса.

Все уловили в суматошности артиллеристов какую-то угрозу. Помолчав, военинженер Кучилов не очень уверенно спросил:

— Эй, братва, а где же бензин?

Будто ему в ответ, откуда-то вдруг докатился то ли пушечный выстрел, то ли взрыв, затем еще один. Донеслась приглушенная расстоянием длинная пулеметная дробь. На нее откликнулись короткими и сердитыми, как собачий лай, очередями автоматы.

«Младший политрук Иванюта начал «спектакль», — с одобрением, но не без тревоги подумал Колодяжный. Он чувствовал, что не в силах справиться с сумбурностью нахлынувших мыслей. Ведь приехавший за пушкой артиллерийский расчет может привести к майору-артиллеристу, взявшему чужое горючее. Воспользоваться этим и найти майора? Но какие будут результаты? Наверняка цистерны уже пусты, а из баков машин бензин не откачаешь. Арест же майора никому радости не принесет.

И тут увидел в облаке пыли вывернувшуюся из-за холма свою полуторку. Она приближалась на предельной скорости, и ее колеса высоко подпрыгивали на ухабах, будто обжигаясь на них.

«Во дает Миша!.. Неужели для пущей убедительности оставил за оврагом бойцов, чтоб бросали гранаты и вели пальбу?» Но эту догадку Колодяжный откинул, приметив острым взглядом, что людей в кузове не уменьшилось.

— Немцы!.. Танки и мотоциклисты! — донесся из приближающейся машины надорванный голос Иванюты, и Колодяжный рассмотрел его побелевшее лицо со сверкающими, возбужденными глазами.

Колодяжный, пряча мстительную усмешку, скосил взгляд на военинженера третьего ранга Кучилова, который, кинувшись было к пушке, чтоб не позволить ее увезти, замер на месте, словно вдруг окаменев. Весь облик его больше выражал недоверие, чем испуг. Однако голос Иванюты, звенящий неподдельной взволнованностью, смутил и Колодяжного. Когда полуторка, не доехав до двора, остановилась у стожка сена, словно прячась за него, Иван встревоженно посмотрел в сторону чуть видневшейся с бугра магистрали и схватился за бинокль... В восемь раз приближенная линзами магистраль поразила его своей пустынностью, зато он увидел высыпавшую из прогалины, что была между дорогой и лесом, черную стаю мотоциклистов и выползающие на луг, поросший мелким курчавым лозняком, танки — маленькие дымящиеся коробочки. Одна, две... пять... девять... Донесся или только почудился их дрожащий с подлязгиванием гул, вновь прилетела пулеметная дробь — ровная, упругая...

— Внимание! Всем слушать мою команду! — протяжно-стенящим и чужим для самого себя голосом приказал Колодяжный. — Пункту ГСМ под командованием военинженера Кучилова броском выйти из-под удара к переправе! И — за Днепр!..

— Есть, за Днепр! — с торопливой готовностью откликнулся Кучилов и растерянно оглянулся на своего заместителя — молоденького воентехника, видимо собираясь послать его в овраг поднимать по тревоге роту подвоза.

Но на дороге, идущей из оврага, уже показались первые машины — торопливые, вспугнутые промчавшимся мимо них на полуторке Иванютой.

— Младшему политруку Иванюте оставить гранатометчиков, а самому вести колонну к Днепру и обеспечить порядок на переправе! — резким голосом продолжал отдавать распоряжения Колодяжный, ощу-

щая давящую тревогу при мысли, что немецкие бомбардировщики именно в такие моменты обрушивают удары по переправам. И томила неизвестность: как там, за Днепром? На месте ли штаб генерала Чумакова, ждут ли их с бензином или махнули рукой? А если там немцы прорвались?..

Дорога, пересекавшая хутор, петляла меж холмами, и, может, именно это делало грузовики автороты подвоза невидимыми со стороны врага. Набирая скорость, они повалили из оврага густой колонной, вздымая при этом пыль, которую не могли не заметить наступающие немцы. И Колодяжный опять посмотрел в их сторону сквозь бинокль.

Танки растекались из прогалины между лесом и магистралью двумя ручьями. Основной, Иван даже не смог сосчитать в дымном чаду количество танков в нем, тек вслед за тучей мотоциклистов, разливаясь вдоль магистрали, а второй, поменьше, с видневшимися на броне черными фигурками десантников, двигался прямо на хуторок, видимо имея задание выйти к Днепру.

— Сейчас наши врежут, — услышал рядом с собой чей-то спокойный голос Колодяжный. Повернув голову, увидел колченогого сержанта с перебинтованной головой. Он держал в руках орудийную панораму и, прижавшись глазом к ее окуляру, рассматривал низину, дымящуюся выхлопными газами танковых майбаховских моторов.— Теперь нам к своему дивизиону не прорваться.

— Где дивизион?!— взволнованно спросил Колодяжный, как будто от его осведомленности могло сейчас что-нибудь зависеть.

— На огневой позиции! Где ж ему быть? — Сержант не отнимал от лица панораму. — Видишь, боятся немцы лезть на дорогу, по обочинам прут... Знают, что шоссе под прицелом.

Бронированные стада окончательно разделились. Танки с десантниками, шедшие в сторону хутора, их было ровно шестнадцать, образовали самостоятельную группу. А основная, следовавшая за мотоциклистами, растеклась по низине вдоль автомагистрали и уходила из поля видимости за холмы. Вслед за ней потянулись грузовики с пехотой и тягачи с пушками.

Иван Колодяжный не впервые видел, как развертывается в боевой порядок и как нацеливает свой ужасающей силы удар по узкому месту обороны наших войск немецкий танковый клин, чтобы, пронзив оборонительные рубежи, врубиться в глубь территории настолько, насколько подсказывал сделанный в штабах здравый расчет, а затем охватным маневром соединить фланги с группой своих войск, наносящих удар где-то в другом месте. Но наносится ли сейчас этот смежный удар? И где именно? Ведь Смоленск можно охватить и с севера и с юга... Впрочем, сии вопросы томили Колодяжного подспудно, ибо даже точные ответы на них никак не облегчали его положение: ведь от него, старшего лейтенанта, кажется, ничегошеньки не зависело. Разве что Иванюта действительно сумеет вывести колонну Кучилова за Днепр, в тылы частей генерала Чумакова... Как там нужно сейчас горючее! Пусть на несколько часов, на день, на сутки, но задержали б продвижение врага к Смоленску в своей полосе обороны. Значит, Колодяжный любой ценой должен остановить эти немецкие танки, иначе колонне с горючим не уйти за Днепр.

А сзади, на дороге за избой, все гудели тяжело груженные «зисы», взбираясь на холм, чтобы тут же нырнуть в низину, набрать скорость и, вылетев на очередной бугор, мчаться дальше по грунтовке, через всхолмленное поле, над которым гуляют маленькие вихри. Она выведет их на задымленную переправу...

Итак, от него, Колодяжного, тоже что-то зависит.

— Снаряды есть?! — торопливо спросил он у сержанта, который, не зная, что делать, ибо путь к батареям его дивизиона перехвачен немецкими танками, с тревожной вопросительностью смотрел в лицо Колодяжному.

— Есть снаряды, товарищ старший лейтенант! — Сержант указал на высившиеся в кузове «зиса» деревянные ящики. — Но мы здесь как вша на пупе! После первого выстрела засекут и сотрут снарядами в порошок. А окоп рыть некогда.

— Орудие, к бою! — скомандовал вместо ответа Колодяжный, оглянувшись на танки; расстояние до них было около двух километров.

Бойцы орудийного расчета, стоявшие у станин с откинутыми правилами и у колес пушки, с готовностью повиноваться глядели на сержанта.

— Тогда укажите и огневую позицию, — с укоризной сказал старшему лейтенанту командир орудия.

— Огневая позиция здесь, под навесом! — Голос Колодяжного все больше наливался уверенностью. — Вышибить три доски в стенке, обращенной к противнику!

Бойцы, кто взяв полено с поленницы, кто выдернув из чехла саперную лопатку, начали выламывать доски из стенки, в которую почти упирался ствол орудия.

— Это дело! — воскликнул сержант, окатив Колодяжного похвальным взглядом. — Только надо подальше откатить пушку от амбразуры, а перед стволом полить землю водой, чтоб пыль не поднималась. — Он огляделся по сторонам и увидел четырех гранатометчиков, оставленных умчавшимся к переправе Иванютой: — Братва, тащите сюда воду!

Бойцы как раз совещались, где им лучше залечь, чтобы наверняка бросать противотанковые гранаты и бутылки с горючей жидкостью. Получив приказ сержанта, они все вместе бросились к недалекому колодцу-«журавлю»...

В это время хозяйка избы с панической поспешностью выводила из хлева свою пятнистую коровенку.

— Возьмите себе мою Маньку, а то идолам достанется, — почти требовательно обратилась она к Колодяжному, протянув ему налыгач.

— Уведите корову! И сами отсюда марш! — закричал на нее старший лейтенант. — Сейчас стрелять начнут!

— А ты не шуми, — спокойно ответила ему женщина и, сняв с рогов коровы веревку, хлестнула ею животину.

Корова лениво потрусила по склону к зелени оврага, а хозяйка стала сзывать кур.

— Утикайте скорее, да подальше! — накинулся на старую женщину сержант. — И не ругайте, что стожки сена подожжем! — Он указал на аккуратно сложенные копенки сухой травы на солнцепеке. — Чтоб пламя выстрелов маскировать!

— Палите хоть хату, если надо! — Женщина безнадежно махнула рукой и вытерла пальцами скорбно глядящие глаза в окаемке бесцветных ресниц.

— Хату?.. — Сержант озадаченно оглянулся на деревянную избу. — На фоне хорошего пожара можно б все танки перещелкать, а вспышек пушки и не заметят...

— Разговорчики! — прикрикнул на сержанта Колодяжный. — Командуйте расчетом!

— Есть, командовать!.. Снять с машины снаряды!.. Машину в укрытие!.. Установить прицел!.. Поджечь сено!.. — Сержант протянул панораму подбежавшему к нему наводчику, темнолицему пареньку с разорванным воротом гимнастерки.

Водитель грузовика проворно подавал из кузова ящики со снаря-

дами, бойцы подхватывали их, тащили к навесу и складывали у стенки, предварительно срывая верхние крышки и обнажая тускло блестевшую латунь огромных гильз. Еще несколько мгновений, и грузовик умчался за бугорок, туда, куда пулеметчик еще раньше откатил мотоцикл Колодяжного, а справа и слева неогражденного подворья начали дымиться подожженные стожки сена. Потом вокруг все замерло, затаилось. Колодяжному, стоявшему за штабелем дров у орудия с раздвинутыми станинами, то ли от бессонной ночи, то ли от волнения мнилось, будто в нем до невероятности туго что-то натянулось и надо было напрягать все силы, иначе оно оборвется и располосует ему грудь; надо предусмотреть все, что может случиться. Быстрее бы начался бой... Скорее бы первый выстрел...

И вдруг... Нет, не пушка выстрелила. Донесся раскатистый грохот, будто стопудовые молоты сразу ударили по чему-то огромно-железному.

— Наш дивизион бьет! — воскликнул сержант, и в его молодом голосе послышались радость, азарт, нетерпение. — Вон, глядите!

Сквозь щель в деревянной стене было видно, как над лесом, за который уползла наступавшая армада немецких танков, вспухало и расплывалось темно-сизое облако. Клубясь и поднимаясь вверх, оно, несмотря на дневное время, озарялось снизу частыми вспышками от снарядных взрывов, сливавшихся в неумолчно рокочущий гром.

— Пора и нам! — приглушенно, сдерживая нервную дрожь, сказал Колодяжный.

— Пусть ближе подставятся, — въедливо ответил сержант.

Что-то побудило Колодяжного оглянуться на недалекую избу. И то, что он увидел, будто ударило его в самое сердце, и в груди действительно словно лопнула какая-то струна, родив в голове звон и взвихрив перед глазами радужную пелену. В этой пелене будто проплыли виденные им в избе фотографии в раме на простенке — знакомые лица ребят-однокашников по училищу, очень серьезные глаза невесты в подвенечном платье и озорные — жениха, чьи-то похороны, ребенок на самодельных качелях... Может, на тех снимках вся история и судьба этого дома, хутора, этих приднепровских холмов — отрогов Смоленской возвышенности. Здесь ведь начались дороги в большую жизнь не одного Димы Старостенкова, и, наверное, не один он где-то сердцем помнит порог родной хаты, видит дорогие места в весеннем убранстве... А сейчас... Сейчас Иван Колодяжный увидел, что пожилая женщина — мать Димы, приставив к темной соломенной стрехе своей избы лестницу-стремянку, выплескивала из оплетенной бутыли... Да, керосин!.. Отбросив в сторону пустую бутыль, она перекрестилась, достала из кармашка на фартуке спички и дрожащими руками зажгла...

Крыша запылала, огласив сухим треском все вокруг. А женщина с побелевшим лицом неторопливо зашла в горевший дом и вскоре вышла из него за порог, неся с собой, прижав к груди, старую темную икону с божьей матерью и такую же темную раму со знакомыми Ивану фотографиями.

«Мама!..» — непроизвольно плеснулось болью в Иване. Вмиг он перенесся мыслью в родное село, где, может, и его мать в эту минуту благословляет кого-то на смертный бой. Колодяжный не слышал, как сержант отдал команды расчету. Резкий, больно ударивший по барабанным перепонкам выстрел пушки вернул его взгляд к тому, что делалось впереди. Даже без бинокля он увидел, как с переднего танка во вспышке взрыва снаряда слетела и кувыркнулась в воздухе башня, смахнув на землю черные фигурки десантников...

Начался поединок замаскированного пожаром одного-единственного орудия с танковым немецким батальоном.

Вчера немцы понесли большие потери в танках не только от кинжального удара из засады артиллерийского дивизиона майора Быханова. Выполняя приказ генерала Курочкина, танковые дивизии полковников Грачева, Корчагина и Мишулина, действуя северо-западнее района, где оборонялись части генерала Чумакова, решительными контратаками тоже сбили наступательный темп механизированных войск противника, а в районе Литивля заставили их попятиться. Сегодняшние попытки наших частей контратаковать в направлениях Рудковщина, Горки, Ленино и Красный вновь смешали карты немецкого командования. В первой половине дня вражеским войскам вместо запланированного наступления пришлось отбивать контратаки 20-й армии, вести разведку ее флангов и наносить бомбовые удары по нашим тылам.

Все это, вместе взятое, дало небольшую передышку войсковой оперативной группе генерала Чумакова и позволило ей основательнее закрепиться на оборонительном рубеже вдоль восточного берега Лосвинки. Федор Ксенофонтович, воспользовавшись затишьем, поспешил в овраг, чтобы увидеть пленного полковника Курта Шернера.

И вот они сидят друг против друга в штабном автобусе. Между ними столик, а на столике, ближе к Шернеру, его серая фуражка с высокой тульей, черным лакированным козырьком и фашистским знаком на кокарде; этот знак покрывал собой изображение земного шара, в который вонзил когти орел с распростертыми крыльями. Полковник Шернер еще наутюженный, парадный, источающий чуть уловимый аромат французских духов. На его красивом, с правильными чертами лице будто появилось успокоение, но в серых колющих глазах — пытливость и настороженность. Чумаков своим внешним видом проигрывал перед Шернером. Спать ему приходилось в обмундировании, и оно от этого, несмотря на неизношенность, выглядело блекло, глаза Федора Ксенофонтовича светились душевной болью, коричневое от загара лицо с перебинтованной щекой было мрачным и усталым.

В автобусе, кажется, никогда и не было оконных стекол, а в стенах будто всегда светились рваные дыры — следы от осколков; из посеченных сидений белыми клочьями топорщилась вата. Шернер, окинув все это коротким взглядом, остановил колючие зрачки на Чумакове. А Федор Ксенофонтович все переживал про себя едва не допущенную оплошность: когда он спустился в овраг и подошел к сидевшему на пне Курту Шернеру, с любопытством вглядываясь в лицо пленного, узнавая и не узнавая своего старого знакомого, тот вскочил и кинулся к нему с такой прытью, что охранявшие его два красноармейца опешили.

«Здравствуй, мой дорогой Фиодор!» — по-немецки залопотал Шернер, протягивая Чумакову обе руки.

Федор Ксенофонтович от неожиданности чуть было тоже не протянул навстречу руку, даже качнулся вперед, но все-таки успел сдержать себя и суровым, почти злым взглядом остановил фашиста.

«Ведите себя как полагается пленному врагу! — резко, с трудом переходя на немецкий, сказал Федор Ксенофонтович. — Я для вас генерал Красной Армии, и только! — Затем повернулся к красноармейцам, изумленно наблюдавшим эту сцену, и поодаль от них увидел майора Рукатова в каком-то растерзанном виде, почему-то с опухшим лицом, слезящимися глазами. Задержав на майоре вопросительный взгляд, ощутил зреющую, какую-то тревожащую мысль, но сосредоточиться на ней не смог и приказал караульным: — Проводите пленного в автобус!» — и первым зашагал к машине, стоявшей под молодыми соснами в кустах орешника.

В автобусе гулял легкий сквознячок, разнося ароматный дым сигареты, которую закурил с разрешения генерала Чумакова полковник Курт Шернер. Он же первый и начал разговор:

— В плен я попал по оплошности сопровождавшей меня охраны. Но это перст судьбы: она милостиво предоставила мне возможность отблагодарить вас, господин генерал, за вашу кровь, которая течет во мне.

— Я отдавал кровь не врагу, а офицеру дружественной моей стране Чехословакии! — оборвал Шернера Чумаков.

— Полагаю, вы не будете раскаиваться, что приняли меня на маневрах Красной Армии не за того, кем я был. — Шернер с вкрадчивостью посмотрел в хмурые глаза Федора Ксенофонтовича. — Верно, уже тогда мой ум, мое сердце принадлежали великой Германии... И, между прочим, именно после моего пребывания на киевских учениях была сформирована первая часть особого назначения германских военно-воздушных сил под командованием моего старого друга генерала Курта Штудента. Затем мы пошли дальше вас! Кроме парашютно-стрелковых полков, у нас родились парашютные батальоны — истребительно-противотанковый, артиллерийский, саперный, связи... И все это, повторяю, родилось после того, что я увидел в России в тридцать пятом году! — Шернер выглядел очень довольным, будто и не находился в плену.

— Я догадываюсь, что идея механизированных корпусов и способ их применения тоже украдены фашистами у Красной Армии, — недобро произнес Чумаков.

— Не надо грубых слов! — Шернер поморщился. — При чем здесь воровство? Если велосипед изобретен, умному глазу достаточно увидеть его со стороны... Такие вещи, как механизированные корпуса или десантные операции, подобно той, которую мы с вами наблюдали шесть лет назад восточнее Киева, под колпак не спрячешь...

— Если б я тогда знал ваше истинное лицо... — Чумаков, кажется, даже скрипнул от досады зубами, вспоминая проведенные вместе с Куртом Шернером дни в Киевском гарнизонном госпитале.

— Тогда бы вы сейчас не имели такой счастливой возможности, какая вам представляется! — воскликнул Шернер, глядя на Чумакова, как на неразумного ребенка.

— Какой возможности? — удивился Федор Ксенофонтович.

— Прекратить бессмысленное сопротивление и сдаться на милость победителей. — Лицо Шернера вдруг сделалось строгим и будто вытянулось. — Вам лично гарантирую полную безопасность и самое прекрасное отношение немецкого командования.

— Кто это вас уверил, что вы победители?! — Слова Чумакова прозвучали с подчеркнутой резкостью, может, потому, что его дразнил запах сигаретного дыма; ему очень хотелось курить, а папиросы он забыл в блиндаже.

— Не будьте слепцом! — Шернер стишил голос, как заговорщик. — Оглянитесь вокруг!.. Красная Армия в агонии — она разгромлена по частям! Вы же профессионал высшего класса и понимаете, что произошло: в приграничных районах мы разгромили не приведенные в боевую готовность первые эшелоны ваших армий прикрытия. Затем нанесли встречные сокрушающие удары по вторым эшелонам этих армий. Не так ли?.. А сейчас в глубине вашей территории мы заканчиваем уничтожение войск второго эшелона ваших приграничных округов. Кто это может оспорить?!

Чумаков удрученно молчал не потому, что пленный говорил страшную правду; его поразило четкое мышление Шернера и ясный в своей простоте и в понимании рисунок происшедшего — грандиозно-трагического, но конечно же не окончательного.

— Подобной катастрофы еще не знала история войн! — возвысив голос, патетически продолжал Шернер. — По нашим сведениям, за первые десять дней войны русские потеряли свыше трех тысяч самолетов!.. Такие потери можно восполнить только за несколько лет!.. А танки? Ведь у вас к началу войны было по количеству превосходство в танках! Правда, если учитывать машины старых образцов, у вас не было превосходства в ударной танковой силе. Но главное: мы сумели так сгруппировать свои войска, что на том же брестском направлении у нас танков оказалось вдвое больше, чем у вас! Значит, и превосходство в оперативном маневре на нашей стороне?.. Так что, господин генерал, ваша карта бита!

— Война не картежная игра!

— Нет, игра. Только более сложная. Игра умов. Борьба доктрин! С кем вы хотите соперничать в этой войне? С немецкими генералами, которые уже с пеленок постигали военную науку?! А вы, простите меня, как и все ваши маршалы, до зрелого возраста в пастухах или в трактирных мальчиках ходили, а то, чему научились потом, — верхушки науки, знания для первой необходимости... Не сердитесь, я говорю откровенно, веря в ваше благоразумие... Ведь мы хорошо изучили Красную Армию, прежде чем решиться на войну. Что касается вас как личности, то вы — исключение, я помню наши споры в госпитале. — Шернер в запале не замечал, что впадает в противоречие. — А вокруг вас дикари, порождение чуждой нам жизни... Сегодня из окна машины, на которой меня привезли сюда, я наблюдал, как ваш офицер, наевшись сухого лимонадного концентрата из моего саквояжа, напился воды и чуть не взорвался! Ужас!.. Зрелище такое, что с ума можно сойти! Вы отстали от Европы на столетие! Вам не на кого опираться, и сейчас нет другого выхода, как покориться судьбе и довериться мне...

— Я бы и вовсе не стал с вами встречаться, — перебил Шернера Федор Ксенофонтович. — Но у меня выдалась минута времени, да и побудило к встрече элементарное человеческое любопытство: хотелось узнать, почему это бывший полковник чехословацкой армии оказался в фашистском мундире... И коль мы с вами заговорили, у меня есть потребность ответить на ваши вопросы и аргументы, возможно, ответить даже не столько вам, сколько самому себе... Многое, о чем вы сказали, полковник Шернер, правда... Да, а почему до сих пор вы полковник? Помнится мне, вы жаловались, что в чехословацкой армии вас обходили чинами...

— Быть полковником германского вермахта выше, чем фельдмаршалом в чешской!

— Ну, это еще бабка надвое ворожила. — Чумаков едко засмеялся. — Вам это кажется в угаре первых побед. Но война, полковник, только начинается. Наши главные силы не здесь, а там, в глубине. — Он кивнул головой на восток. — Москва только поднимает их, и победы вам не видать.

— Москва не сегодня-завтра будет у наших ног!

— Не знаю, дойдут ли немцы до Москвы, но в Берлин мы придем! — Чумаков опять засмеялся — уже с горечью: — Чтоб научить вас наконец уму-разуму.

— Господин генерал... Фиодор Сенофонтовиш!.. Вы что, действительно не понимаете своей обреченности? — Шернер смотрел на Чумакова почти с испугом, и лицо его покрылось испариной. — Вы же истинно военный человек! Сегодня мы возьмем Смоленск! Вы в мешке!.. И никуда вам отсюда не уйти!.. — Пленный как-то умоляюще протянул к Чумакову руки.

— Ну что ж, тогда в Берлин придут другие русские, а мы достой-

но умрем на поле брани. — В словах Чумакова звучали спокойствие и сила.

— Зачем умирать?! — Шернер начал терять равновесие. — Вы будете первым большевистским генералом, проявившим благоразумие! Вам поставят памятник за сохранение жизни ваших и наших солдат!

— Памятников за предательство не ставят! — Чумаков поднялся, чтобы покинуть автобус.

В глазах Шернера метнулся ужас. Он тоже вскочил на ноги и, прижав ладони к груди, панически спросил:

— Тогда как вы поступите со мной?!

— Сейчас вас допросят как военнопленного.

— Вам ничего не дадут мои сведения! Через час здесь будут наши войска!

— Если до прорыва немецких войск мы не успеем отправить вас в тыл, я вынужден буду отдать приказ о расстреле... Законы войны неумолимы.— Чумаков пошел к открытым дверям, сквозь которые были видны стоявшие недалеко Карпухин, Рейнгольд и Рукатов. — Можете приступать к допросу! — крикнул им Федор Ксенофонтович и шагнул на ступеньку.

— Это же безрассудство! — истерично закричал вслед ему Шернер.— Вы все равно погибнете! Все погибнете!..

Уже отойдя от автобуса, Чумаков повернулся к пленному:

— Вот вы, Шернер, хвалились, что постигали науки с пеленок... А помните слова Фемистокла, обращенные к афинянам? — Видя растерянность в глазах Шернера, Федор Ксенофонтович вновь подошел к автобусу, уже вместе с Карпухиным, Рейнгольдом и Рукатовым, и с удивлением спросил: — Вы не знаете, кто такой Фемистокл? Это было в четыреста восьмидесятом году до нашей эры, когда у острова Саламин... Слышали о таком?.. В Эгейском море... Восемьсот персидских кораблей царя Ксеркса напали на греческий флот в триста пятьдесят триер под командованием Эврибиада, который действовал по плану афинского стратега Фемистокла. И греки победили, казалось, в абсолютно безвыходном положении... Ну, не помните?

Шернер, стоя в глубине автобуса, молчал, взволнованно раздувая побледневшие ноздри.

— Вот тогда, после этой удивительной победы греков над могущественным врагом, Фемистокл сказал своим афинянам: «Мы погибли бы, если б не погибали!..» Вдумайтесь в эти слова, полковник Шернер!..

Не успели полковник Карпухин и младший политрук Рейнгольд в присутствии майора Рукатова приступить к допросу пленного немецкого полковника, а генерал Чумаков отойти от автобуса и двух десятков шагов, как по оврагу из конца в конец тревожно пронесся сигнал «Воздух!» — звон подвешенной снарядной гильзы, по которой били чем-то железным. И тут же послышался близкий и густой рев моторов. Отражаемый крутостями изломанного оврага, он будто наплывал со всех сторон.

— Сюда, товарищ генерал! — позвал Федора Ксенофонтовича боец в замусоленном синем комбинезоне, указывая на вырытый у замаскированного грузовика ровик.

Генерал Чумаков подбежал к ровику, столкнул в него бойца и сам спрыгнул на дно. Затем приподнялся и увидел невысоко в небе приближающуюся уже на развороте шестерку «юнкерсов». Сомнений не было: немцы заметили в овраге машины, и вот уже первый бомбардировщик круто нырнул вниз, оглашая все вокруг устрашающе-стенящим,

нарастающим воем. За ним пошел в пике второй, третий бомбовозы... Чумаков кинул тревожный взгляд в сторону автобуса и увидел, как из его дверей с панической поспешностью выряли прямо в щель Рукатов и Рейнгольд... И тут же земля тяжело колыхнулась и ужасающей силы взрыв помутил сознание Федора Ксенофонтовича.

— «Пятисоткой» угостил, — услышал будто из-за стенки хриплый голос бойца, с которым сидел рядом на дне ровика...

Земля под ними опять колыхнулась, потом мелко затряслась, словно телега на булыжной мостовой, а взрывы бомб слились в тяжелый, давящий до помутнения в голове грохот. Он ворвался в ровик горячим ураганным ветром, стремясь, кажется, вышвырнуть оттуда людей как соломинки...

Пробомбив с первого захода овраг, «юнкерсы» сделали разворот в сторону дороги Красное — Гусино и исчезли из поля зрения. Но тут же они вновь напомнили о себе донесшимся гулом бомбежки.

Когда Чумаков выбрался из ровика, то увидел сквозь оседающую пыль, что вокруг действительно прошелся чудовищной силы ураган: дымящиеся воронки, сваленные деревья, засыпанные мелкой земляной крошкой и пылью листья кустов и деревьев... Услышал крики раненых людей, ржание искалеченных лошадей, треск огня над полыхающей разбитой автоцистерной... И едкий смрад сгоревших взрывчатки и краски.

Там, где только что был автобус, особенно густо клубилась пыль, смешанная с гарью. Рядом, у полусваленной березы, стоял Рукатов. Из ровика с трудом выбирался, будто переломленный пополам, младший политрук Рейнгольд. У него из носа и ушей текла кровь.

Вдоль оврага вдруг подул ветерок, оттеснив дымную пелену, и генерал Чумаков увидел широкую, двухметровой глубины, воронку. В ее покатые стенки чудовищной силой взрыва были втиснуты куски жести, обломки железа, ошметки дерматина. Можно было только догадаться, что это остатки их штабного автобуса. Ни от полковника Карпухина, ни от пленного Курта Шернера — ни следа. Только на ветвях молодых сосен, устоявших при взрыве, висели какие-то обрывки да покачивалась на сучке продырявленная немецкая фуражка с высокой тульей и фашистским знаком на кокарде.

## 17

На дорожных выбоинах под Мишей Иванютой жестко встряхивалась коляска мчавшегося во всю силу мотоцикла, и он ухватисто держался за ее железную скобу. Упругий, прогорклый от дыма и пыли ветер хлестал Мишу по лицу, слепил глаза, с шипением врывался в уши. Управлял мотоциклом широколицый курносый лейтенант из пункта сбора донесений — офицер связи, еще несколько дней назад именовавшийся «делегатом связи». Лейтенант вез в штаб фронта пакет от генерала Чумакова — важные документы, изъятые у пленного немецкого полковника Курта Шернера. Штаб фронта надо было искать где-то в окрестностях Вязьмы — путь неблизкий, а Миша Иванюта останется в Смоленске, где он должен будет раздобыть газетной бумаги и напечатать в областной типографии хотя бы несколько сот листовок с последними сводками Совинформбюро — таков приказ полкового комиссара Жилова.

Тревожно и знобко на душе у Иванюты. Эта тревога родилась в нем, когда получал задание от Жилова. Крупное суровое лицо полкового комиссара было гладко выбрито, и под его задубелой кожей часто вздували желваки. Не глядя на Мишу, Жилов взял у него трофейный автомат и сказал:

— Обходитесь наганом, а мне, может, больше пригодится.— Затем снял с шеи Иванюты бинокль, тоже трофейный, и протянул его проходившему мимо майору Думбадзе: — Возьми, майор!

— Благодарю, товарищ полковой комиссар! — Думбадзе обрадовался биноклю, как мальчишка. Ведь восьмикратный!

— Это грабеж,— несмело запротестовал Иванюта, укоризненно глядя на Жилова. — Я в бою добыл...

— В тыл едешь! — Полковой комиссар вдруг посуровел, но эта его суровость показалась Мише притворной. — Лучше проверь, не потерял ли адрес, который тебе дал. И помни, о чем договорились...

Последние слова Жилова полоснули по сердцу младшего политрука Иванюты тревогой. Миша не забывал, что жена и двое детей полкового комиссара Жилова остались где-то западнее Минска и что комиссар надеется только на чудо или на счастливый случай, которые могут вернуть ему семью. Недавно Жилов попросил Мишу записать новосибирский адрес родителей его жены, и, если с ним, Жиловым, что-либо случится или война разбросает их с Мишей в разные стороны, Миша, когда начнет без перебоев работать полевая почта, должен будет написать в Новосибирск о Жилове и его семье все, что знает...

Мотоцикл мчался, не сбавляя скорости, и Смоленск открылся неожиданно. Миша слышал, что немецкая авиация сильно разбомбила и сожгла город, но увидеть такое скопище руин не ожидал. По заваленной упавшими стенами, битым кирпичом, стеклом, щебенкой и бревнами улице мотоцикл поехал тише. Тротуары были загромождены, и люди ходили по мостовой.

Миша узнавал и не узнавал Смоленск. Многие кирпичные дома выглядели вроде и целыми, но были без крыш, и внутри их сквозь пустые, обгорелые окна и двери зияла черная пустота, вдоль фундаментов домов сверкали раскатившиеся круглинки оплавившегося стекла, словно застывшие отплаканные слезы.

У Миши мелькнула беспокойная мысль: может, так же обрушено и здание типографии; тогда он напрасно примчался в Смоленск.

Когда мотоцикл у очередного поворота притормозил, Иванюта крикнул бородатому дядьке, везшему на тачке ножную швейную машинку:

— Папаша, областная типография цела?

— Кажись, цела.

— А Дом Красной Армии?!

— Нет... Вся Советская улица от угла Ленинской вниз почти сплошняком разбита.

— А училище военно-политическое?.. Рядом с бывшим штабом Белорусского округа?!

— Не знаю!

Миша попросил лейтенанта свернуть вправо и провезти его по знакомой улице мимо родного училища. Сколько по этой мостовой отмаршировал он в ротном строю, готовясь к парадам!.. Еще издали увидел в тупике у знакомых железных ворот человека в гражданской одежде и с карабином в руке, приметил блестевшие на солнце и перечеркнутые наклеенными крест-накрест бумажными полосами стекла в окнах учебного корпуса... Цело училище!.. И вдруг подумал: «Не разбомбили... Для себя берегут, под какой-нибудь фашистский штаб?»

Мотоцикл свернул налево и через минуту вынес своих седоков на перекресток улиц Ленина и Советской. Здесь Иванюта выбрался из коляски и попрощался с неразговорчивым лейтенантом.

Лейтенант погнал мотоцикл по наклонившейся к Днепру Советской улице, навстречу своей скорой гибели, а Миша Иванюта, расправив под ремнем гимнастерку, оглянулся на угол дома, где должны были висеть

знакомые часы. Они оказались на месте, но, судя по обвисшим стрелкам, стояли. Под эти часы приходил Миша однажды на свидание с Валей Красновой, студенткой пединститута. Это было после того, когда из села ему написали, что его Марийка вышла замуж. Правда, с Валей он познакомился еще до замужества Марийки — на встрече литкружковцев пединститута и их училища. Лобастенькая, остроносенькая, Валя не поразила особой красотой Мишу, но уж очень хорош был взгляд ее серых глаз, оттененных длинными ресницами и тоненькими шнурочками бровей, и голос у Вали был мягкий, тревожащий...

Валя пришла тогда к нему на свидание со своей подружкой Женей, которая с первого взгляда ужалила сердце Миши своей миловидностью. Девушки сразу же предложили идти в кино — на «Светлый путь». Но лучше б не ходили. В зал зашли с опозданием, когда погас свет; билетерша на ощупь посадила их на места, а Миша, севший между девушками, в темноте перепутал, с какой стороны была Валя. И начал прижиматься к плечу Жени, взяв пальцы ее руки в свою ладонь. А когда вспыхнул свет, Валя уже не хотела знаться ни с ним, ни с Женей: надув губы, первой заторопилась к выходу. За ней устремилась и Женя, насмешливо помахав Мише ручкой: мол, за двумя зайцами, мальчик, не гонись.

Сейчас Миша вспоминал об этом как о забавном случае, а тогда напереживался. Больше не звонил Вале в студенческое общежитие. Однако свой новый рассказ назвал «Валя», дав это имя придуманной им героине, которая поссорилась и порвала со своим возлюбленным, но, когда узнала, что он лишился на финском фронте обеих рук, помчалась к нему в госпиталь, в далекий Ленинград. На очередном занятии литкружковцев показал свое сочинение сотруднику газеты «Рабочий путь» поэту Николаю Грибачеву, который руководил их кружком, и вскоре рассказ, сильно отредактированный, появился на литературной странице «Рабочего пути».

Миша очень надеялся, что Валя Краснова, прочтя рассказ, устыдится своей обиды на него и хотя бы напишет ему письмо. Но не дождался, а вскоре закончил училище и уехал к месту службы.

И вот он вновь в Смоленске, искалеченном, но живом. Миша заторопился к зданию редакции и типографии газеты «Рабочий путь», чувствуя, как под легкой повязкой, скрытой на левом предплечье рукавом гимнастерки, заныла осколочная рана. И Миша стал думать о том, с каким бы бравым видом явился он сейчас в «Рабочий путь», если б повязка была на виду! За этими мыслями Иванюта не обратил внимания, как на противоположной стороне улицы остановился грузовик; из его кузова начали слезать юноши, подростки, девушки, женщины.

— Миша! — вдруг послышался девичий голос.

Иванюта оглянулся на зов и обомлел: к нему спешили с узелками в руках Валя и Женя — обе до черноты загорелые, в светлых косынках, в спортивных трикотажных костюмах синего цвета и в тапочках. Нетрудно было догадаться, что девушки возвращались с окопных работ.

Так и оказалось: Валя и Женя, запыленные, усталые, приехали из-под деревни Нижняя Ясенная, где рыли противотанковые рвы. Сейчас они торопились в свое общежитие, еще не зная, уцелело ли оно от немецких бомб, и вдруг увидели своего старого знакомого, теперь младшего политрука, Иванюту.

Поздоровавшись, обрушили на него ворох вопросов: «Где воевал?», «Далеко ли немцы?», «Был ли, как и они, под бомбежками?» И в эти вопросы девушки вкладывали недоумение и даже скрытую насмешку, ибо на Мише было совсем новенькое, еще не обмятое обмундирование — серая шевиотовая гимнастерка и галифе синего габардина — все из того же интендантского склада, найденного в лесу Колодяжным.

Миша, не улавливая истинного смысла вопросов Вали и Жени, отвечал им спокойно, степенно, с этакой ироничностью человека, которому уже все нипочем после того, что успел он пережить, увидеть и перечувствовать. Выбирая удобный момент, чтоб сказать девушкам о своем пусть и легком, но все-таки ранении, Миша решил немножко проводить их.

У Лопатинского сада столкнулись с патрулями.

— Товарищ младший политрук, предъявите ваши документы.

Миша увидел перед собой невысокого капитана с черными петлицами артиллериста на линялой гимнастерке и двух красноармейцев, держащих карабины в руках. Лицо у капитана огрубелое, глаза сонные, неохотно раскрывающиеся; в их черных зрачках вспыхивали недобрые огоньки.

— Почему так грозно, товарищ капитан? — Уязвленный Иванюта задал этот вопрос с надменным смешком, чувствуя свою защищенность имевшимися у него документами. — Документов много! Времени мало!

— А с девками шляться по городу времени хватает? — въедливо спросил капитан. Он уже придирчиво, будто проснувшись, рассматривал Мишины документы. — Там кровь льется, каждый человек на счету.

— Кто вам дал право так разговаривать со мной?! — взорвался Миша, чувствуя, как у него запылали щеки: стерпеть такое обращение с собой при девушках он не мог. — Я только сейчас с фронта, из-под Красного!

— Оно и видно, что человек прямо из окопа. — Капитан скользнул колючим взглядом по новенькому обмундированию Иванюты.

— Конечно, из окопа! — Миша кипел от негодования. — Это вы тут отсиживаетесь по подвалам и от безделья фронтовиков шельмуете.

— Прекрати разговоры! — Капитан почти закричал на Иванюту, обдав его уничтожающим взглядом. — Документы-то липовые!.. Листовки ему поручено отпечатать... В Красном мог печатать!

— В Красном уже немцы!

— Что?! Ты еще и панические слухи?!

В это время рядом с ними затормозила черная эмка.

— Что тут у вас? — спросил из нее, распахнув дверцу, майор в форме войск НКВД.

— Кажется, дезертир и провокатор, товарищ майор! — как-то буднично ответил капитан.

Мише легче было провалиться сквозь землю, чем вытерпеть все это при девушках, тем более что Валя и Женя уже сами смотрели на него с недоверием. Он готов был схватиться за наган, но патрульные красноармейцы натренированно заломили ему за спину руки, смахнули с плеч портупеи полевого снаряжения, сняли вместе с наганом и сумкой ремень. Миша с обмершим сердцем понял, что сопротивляться бесполезно и что никакие объяснения ему сейчас не помогут.

— Садись-ка, голубок, в машину! — строго приказал майор Иванюте.

Капитан отдал майору документы, оружие и снаряжение задержанного, а Миша, потрясенный всем происшедшим, беспомощно, с невыносимым стыдом посмотрел в сторону девушек и сел, как ему было велено, на переднее сиденье эмки рядом с шофером. Только и сказал, чтоб услышали Валя и Женя:

— Товарищ майор, этот капитан сумасшедший или... — Он не успел найти еще какое-то злое слово, как машина рванулась с места.

По дороге младший политрук Иванюта, несколько поостыв, повернувшись к майору и умоляюще глядя в его тощее и веснушчатое лицо, рассказал, как и зачем появился в Смоленске, почему на нем новое обмундирование, объяснил также, что с девушками, которые сейчас были

свидетелями его позорного задержания, он дружил еще до войны, когда был курсантом.

— Назови фамилию начальника училища, — потребовал майор, изучая тем временем взятый в полевой сумке блокнот Миши.

— Полковой комиссар Большаков! — с готовностью ответил Иванюта и заодно торопливо назвал фамилии других начальников — политотдела, учебной части, боепитания, перечислил знакомых командиров и преподавателей...

— Стишками балуешься? — ухмыльнулся майор, наткнувшись в блокноте на стихи, сочиненные Мишей сегодня утром, когда он на полустанке ждал Колодяжного, искавшего бензин и солярку.

И тут Мишу осенило:

— Товарищ майор! Заедем на минутку в газету «Рабочий путь»! Там меня знают два всем известных Николая — поэты Грибачев и Рыленков!.. Вот увидите, что я свой!

Ссылка на местных поэтов наклонила чашу весов в пользу Миши.

— Я же печатался в «Рабочем пути»! — Миша почувствовал колебания майора. — Последний мой рассказ в этом году был, кажется, в январе! Назывался «Валя»!

— Это не про девушку, которая поехала к бойцу в госпиталь, узнав, что его сильно покалечило?

— Точно! На финском фронте хлопец потерял обе руки!

— Дерьмовенький рассказ. — Майор снисходительно заулыбался. — Сопли-вопли! Ни характера парня, ни натуры девушки.

— А Грибачев хвалил на литкружке! — соврал Миша от отчаяния.— Очень даже похожа девушка на настоящую Валю. Это одна из тех двух, что сейчас стояли...

— Серьезно? — заинтересовался майор. — Какая же?

— Та, что менее красивая. Я когда-то ухаживал за ней.

— Почему ж красивую не выбрал?

— Не по зубам. — Миша искренне вздохнул. — У нее старший лейтенант был из артучилища.

Машина сбавила ход и повернула к открытым воротам, перед которыми был опущен полосатый шлагбаум. Усатый часовой, стоявший у вереи, торопливо поднял шлагбаум и пропустил машину во двор — просторный, зеленый. В углу двора, в тени стены обрушенного бомбой соседнего дома, сидело на бревнах десятка два-три мужчин разного возраста — военных и гражданских, тоже, видимо, задержанных на улицах города.

— Мы на гауптвахту приехали? — уныло спросил Иванюта.

— Все тут — комендатура, гауптвахта, сборный пункт, — ответил майор, первым выходя из машины.

— Товарищ майор, — Миша придал своему голосу жалостливый тон, — зачем же меня с таким позором: без ремня, будто я преступник...

— Ладно, надевай свою амуницию. — Майор кинул ему на колени снаряжение вместе с полевой сумкой и кобурой с наганом. — И документы держи... Верю! Но все-таки позвоню в «Рабочий путь». Смотри, если что...

Миша проворно надел ремни и вместе с майором направился в двухэтажное каменное здание. Миновали лестничную клетку и прошли в коридор, мимо часового, отдавшего майору честь: «по-ефрейторски на караул». Миша увидел по одну сторону коридора длинную шеренгу дверей, а в конце — окно с железной решеткой.

— Обожди тут, — приказал майор и, пройдя по коридору, исчез в каком-то кабинете.

Время тянулось томительно медленно. Миша успел перечитать на стене все инструкции по гарнизонной службе, изучить разные плакаты,

прошагать много раз от часового у дверей до окна с решеткой, а майор все не появлялся. Стала беспокоить мысль: «Вдруг ни Грибачева, ни Рыленкова нет в Смоленске? А если есть, то как они могут подтвердить по телефону, что я именно и есть тот самый литкружковец Иванюта?»

Проходя вновь к дальнему окну, Миша столкнулся с вышедшим из крайнего кабинета щуплым военным в пилотке, хлопчатобумажной гимнастерке, подпоясанной брезентовым ремнем; на рукавах — звезды политработника, а в петлицах — по две шпалы.

«Батальонный комиссар из призванных»,— отметил про себя Миша и небрежно сделал шаг в сторону: он скептически относился к некадровым военным.

Батальонный комиссар задержался в открытых дверях и кому-то сказал в комнату:

— Не поверю, чтоб военинженер Кучилов не дал о себе знать в комендатуру!..

«Вместо майора вписывай фамилию военинженера Кучилова!» — вдруг вспомнилась Мише фраза, сказанная ему сегодня утром старшим лейтенантом Колодяжным: это для того, чтоб он, Миша, заполнил чистый бланк ордера на арест несговорчивого начальника склада ГСМ.

— Еще раз посмотрите, может, где отмечено, кто и когда разыскивал штаб шестнадцатой армии! — продолжал с порога батальонный комиссар. — Запомните фамилию: Кучи-лов!.. От слова «куча»! — И он, хлопнув дверью, зашагал к выходу.

— Товарищ батальонный комиссар, минуточку! — окликнул его Миша, еще не зная, что сейчас скажет.

Батальонный комиссар остановился уже у часового и, щурясь на приближающегося младшего политрука, недовольно спросил:

— Что вам?!

— Вы ищете военинженера Кучилова?.. Такой огромный, красноносый?..

— Совершенно точно!

Несмотря на царивший в конце коридора сумрак, Миша заметил, как в маленьких глазах батальонного комиссара полыхнули огоньки.

— Вам что-нибудь известно о Кучилове?! — Батальонный комиссар с надеждой взял Мишу за руку повыше локтя.

— Осторожно, тут рана. — Иванюта поморщился, погладил повязку под рукавом и снисходительно сказал: — Да, могу дать полную информацию. Карта у вас есть?

— Есть карта! Пойдем во двор, на свет! — Они прошли мимо отступившего в сторону часового, и во дворе Иванюта рассказал батальонному комиссару, что сегодня утром, когда к хутору, где в овраге стоял на колесах дивизионный склад ГСМ, подошли немецкие танки, он, младший политрук Иванюта, лично провел колонну Кучилова через днепровскую переправу в расположение тылов войсковой оперативной группы генерал-майора Чумакова. И показал на карте тот самый хуторок, место переправы и район войсковых тылов, куда прибыла автоколонна склада ГСМ.

Подрагивающим в руке цветным карандашом батальонный комиссар торопливо делал на карте пометки и, будто испытывая жгучую боль, причитал:

— Ах ты, мать родная, совсем рядом был!.. Чего его черти занесли в ту сторону?.. Ах, головотяп! Ах, пареная репа!

— Но получить горючее не надейтесь, — уточнил на всякий случай Иванюта.

— Это как же?! — испуганно, почти шепотом, спросил батальонный комиссар. — У меня приказ самого члена Военного совета товарища Лобачева: из-под земли достать!

— Горючее раздали по частям и разлили в баки машин и танков!

— Но за такое самоуправство полагается трибунал!.. Как, говоришь, фамилия генерала?

Слова о трибунале смутили Мишу, и он, прежде чем ответить на вопрос, счел нужным сделать разъяснение:

— Горючее могло попасть к немцам, и у Кучилова другого выхода не было! Только отдать его ведущим бой частям... Иначе сам пошел бы под трибунал!

— Как фамилия генерала?!

— Чумаков, — неохотно ответил Иванюта.

Сделав запись на чистом поле карты, батальонный комиссар резко повернулся и почти побежал обратно в здание.

— Разрешите мне быть свободным?! — крикнул ему вдогонку Иванюта, кося загоревшимся глазом на часового у недалекого шлагбаума. Но входная дверь уже захлопнулась за батальонным комиссаром, и Миша еще громче отчеканил: — Есть, быть свободным!

Почти строевым шагом подошел младший политрук Иванюта к часовому — усатому мужику в тесном обмундировании; не удосужив его даже взглядом, с напускной деловитостью и замирающим сердцем от опасения, что его остановят, нырнул под шлагбаум.

Оказавшись на улице и чувствуя на своей спине растерянный взгляд усача, Миша заставил себя остановиться. Взглянул на руку, словно на часы, которых он сроду не имел, затем озабоченно поскреб затылок, будто на что-то решаясь, и зашагал прочь.

За углом дома Иванюту ждало потрясение: в десятке шагов впереди он вдруг увидел патрулей, которые задержали его у Лопатинского сада. На счастье, патрули обратили внимание на Мишу лишь после того, когда он уже успел несколько совладать с собой и принять беспечный вид. Низкорослый капитан-артиллерист, узнав младшего политрука, тут же умерил шаг и нацелил в его лицо изучающе-настороженный взгляд.

— По вашей милости, товарищ капитан, я потерял много времени, — миролюбиво сказал ему Миша, поравнявшись с патрулями. — Скажите, пожалуйста, который час? Может, я еще успею...

Капитан молча достал карманные часы, отщелкнул крышку и поднес циферблат к глазам младшего политрука. Но Миша от скрытого волнения не мог разобраться в римских цифрах и на всякий случай встревоженно воскликнул:

— Опаздываю!.. По вашей милости! — И во всю прыть кинулся бежать по улице, мысленно повторяя понравившееся ему выражение «по вашей милости», которое он часто слышал на занятиях по тактике от хорошего старика — преподавателя полковника Чернядьева...

Удирая подальше от комендатуры, Иванюта размышлял о том, что после стольких переживаний, какие выпали сегодня на его долю, ему должна наконец сопутствовать удача. Иначе кто же выдержит такую жизнь на белом свете даже во время войны? Судьба обязана хоть немного быть справедливой и знать меру, сколько сдюжит беды каждый человек. А ведь Миша хлебнул ее сегодня через край. Испытать такое унижение перед девчатами!.. Да и не исключено, что Валя и Женя действительно поверили дурацким подозрениям капитана из комендатуры! Хорошо, что не успел Миша выхватить наган. Подумать страшно, чем бы все могло кончиться...

Очень хотелось сейчас же появиться в общежитии пединститута, разыскать Валю и Женю, показаться им, объяснить, что произошло недоразумение и что с ним, Мишей, все в порядке... Но время, время!.. К утру надо успеть напечатать листовки! Дерущимся с врагом войскам нужны последние сводки Советского информбюро! А младший политрук Иванюта

мечется, как муха на сквозняке... Прав был капитан: там кровь льется, люди стоят насмерть, а он тут за девчонками увязался, да еще страдает — видите ли, его незаслуженно оскорбили, заподозрили в дезертирстве. Позор тебе, Михайло Иванюта!.. Ведь бойцы, даже умирая, хотят знать, что они успели сделать, какая обстановка на других фронтах, чем живет народ, верит ли, что Красная Армия спасет его от рабства...

Эти укоряющие мысли терзали Мишину душу, и он, продолжая беспощадно бичевать себя, все петлял по улицам и закоулкам Смоленска, стараясь быстрее оказаться в типографии, но в то же время рискуя быть вновь задержанным.

Вдруг завыла сирена — в одном конце города, другом... Донесся прерывисто-пронзительный паровозный гудок: на Смоленск шли самолеты. Сигналы воздушной тревоги и тут же начавшаяся стрельба зениток будто встряхнули улицы — по ним забегали во всех направлениях люди, водители заторопились спрятать в тень деревьев и во дворы машины. Теперь бежавший по тротуару младший политрук Иванюта ни у кого не мог вызвать подозрений.

Пересекая перекресток улиц, Миша увидел, как в небе, среди разрывов зенитных снарядов, выстраивались в гигантский круг «юнкерсы», начиная водить свой страшный хоровод, роняющий на землю смерть. По привычке Миша сосчитал самолеты, и ему стало не по себе: сорок бомбардировщиков нырнут сейчас один за другим из поднебесной выси на город!.. Нет, уже меньше! Вон один «юнкерс» вдруг превратился во вспухающее черное облако с клубящимся в нем пламенем: из черноты облака и всплесков пламени метнулись, словно молнии, огненные стрелы и начали падать кувыркающиеся обломки: бомбардировщик взорвался на собственных бомбах от прямого попадания зенитного снаряда... А вот и соседний самолет, задетый, видать, осколками бомб, вывалился из круга и косо пошел к земле, оставляя за собой в воздухе туго натянутую, рыжеватую вожжу дыма. Чудилось, будто эта вожжа пытается удержать самолет в небе.

Улицы опустели, затаились. Мише тоже надо было искать укрытие. Но не полезет же младший политрук, как вон тот рыжебородый дворник, в канализационный колодец и не станет спрашивать у мечущихся женщин, где бомбоубежище...

Самолеты исчезли из поля его зрения, но рев моторов и завывание включенных при пикировании сирен подсказали опытному слуху Миши, что «юнкерсы» начали свою «работу». А вот и послышался свист вывалившихся из фюзеляжей бомб — вначале тихий, даже нежный, как шелест молодой листвы на ветру. Но постепенно он набирал силу и переходил в пронзительный, устрашающе-стенящий рев. Воющие бомбы — смерть с психологической начинкой... Миша шарахнулся во двор ранее разбомбленного двухэтажного дома, упал на траву рядом с цветочной клумбой, перевернулся на спину и стал смотреть в небо. По-прежнему он не видел самолетов, но фугаски уже кромсали кварталы города, стало меркнуть от пыли и гари солнце в мелеющем небе. Почувствовал, что земля под ним задергалась сильнее и застонала явственнее — значит, бомбы ложились все ближе; и казалось, что именно этот страшный, так больно бивший по барабанным перепонкам, по сердцу, по каждой клетке тела грохот взвихрял воздух и затмевал свет солнца.

Миша раньше и не догадывался, что бомбежка в городе так ужасна. За домами не видишь, куда пикирует самолет, не знаешь, где взорвется бомба, можешь попасть не только под нее, но и под падающие стены, под кирпичи, бревна, куски рваного железа... Нет, легче в поле, в окопе, даже когда вражеский летчик целится прямо в тебя.

Взрывы начали перемещаться в Заднепровье, и младший политрук Иванюта, покинув двор, помчался дальше, тревожась, что сейчас увидит типографию в развалинах. Вокруг полыхали пожары, хотя казалось — уже нечему гореть в этом каменном хаосе; были слышны взволнованные людские голоса, крики, вопли, чьи-то команды.

Иванюта прибежал к огромному и мрачноватому зданию «Рабочего пути» на верхней части Советской улицы, когда бомбежка уже стихла совсем. Цело здание!.. Не стал подниматься на второй этаж в редакцию, хотя влекло его туда, как домой, а сразу кинулся в типографию, убедив старушку вахтера, что дело у него военное, самое наиважнейшее.

Пожилой усатый метранпаж, очень похожий на часового, стоявшего при входе на территорию комендатуры, прочитал бумагу, которую предъявил ему младший политрук Иванюта, куда-то попытался позвонить, но телефон был глух, и он, махнув рукой, крикнул через весь наборный цех, загроможденный высокими реалами со шрифтами:

— Цыбизов, срочная работа для фронта!

Из глубины цеха прибежал парнишка с испачканным типографской краской лицом — большеротый, большеглазый, с оттопыренными ушами, на которые налезали давно нестриженные белокурые волосы.

— Слушаю, дядя Вася! — Голос у Цыбизова неожиданно оказался басовитым.

— Вынь из сегодняшней первой полосы набор последних известий и разверстай на три колонки, — приказал дядя Вася.

— Считайте, уже выполнил...

— Когда примут вечернюю сводку, пусть сразу делают два набора. — Метранпаж объяснил подручному, как надо сверстать потом листовку. — А ты, молодой человек, — обратился он к Иванюте, — помаракуй, какую шапку дать листовке. Надо что-то вроде: «Хоть круть, хоть верть, а врагу смерть!»

— Придумаем покрепче! — пообещал Миша с той уверенностью, за которой чувствовалось нечто большее, на что может быть способен простой смертный.

— Поэтов наших попроси. — Метранпаж указал пальцем в потолок, где находилась редакция. — Мастера! Собачий хвост с постным маслом зарифмуют.

— Рыленков и Грибачев здесь?! — Иванюта радостно заволновался.

— А где ж им быть: днем сочиняют, ночью шпионов ловят... А сейчас в бомбоубежище вместе забавлялись считалкой-гадалкой: «попадет — не попадет...».

Для Миши Иванюты, мечтавшего о литературном будущем, каждое печатное слово, каждая строка были священны. А тут сразу два «всамделишных» поэта, которые уже имеют свои книги, печатаются в московских журналах! Миша даже мог читать на память из их сборников немало строк. Вот из «Видлицы» Грибачева:

Ой, Ладога, Ладога,
Полночь фазанья,
Рассвета
Дымок и прозрачность сквозная,
Лесные тропинки,
Седые сказанья,
Легенды,
Что бродят, дороги не зная,
Край песен текучих,
Край ветров певучих,
И света,
И тени,
И золота в тучах!

Написалось бы такое у него, Миши Иванюты, — никто бы в жизни не поверил, а он, наверное, и не выжил бы после этого: помер бы от восторга.

Но если уж говорить правду, больше всего Мишу волновало то счастливое обстоятельство, что он знал обоих поэтов лично, здоровался, случалось, с ними за руку, а Грибачев даже был его наставником в училищном литературном кружке и первым редактором его неопытных, наивных литературных начинаний. И это знакомство Миши с известными поэтами как-то по-особому будоражило его, возвеличивало в собственных глазах и даже толкало на дерзкие помыслы: если настоящие поэты ничем чрезвычайным не отличаются от обыкновенных людей, то почему бы и ему, Мише, тоже не попробовать свои силы в поэзии?..

Младший политрук Иванюта устремился по пыльной, усеянной обрывками бумаг лестнице на второй этаж. Обычно людный коридор оказался пустым, а двери кабинетов закрытыми.

«Да тут и нет никого!» — с недоумением подумал Миша.

Торопливо прошагав по затемненному коридору, ощущая под сапогами хруст упавшей с потолка штукатурки, он почти ворвался в угловую комнату отдела культуры. И тут увидел картину, полную безмятежности: два Николая были заняты каждый своим делом. Рыленков, в массивных очках, на которые свесился темный чуб, закрывая лоб, расслабленно сидел в старом кресле и перелистывал какую-то книгу; к его толстым губам будто приклеилась незажженная махорочная самокрутка. Грибачев, с бритой загорелой головой и резко очерченным худым лицом, склонился за столом над рукописью. Их кабинет, раньше казавшийся Мише каким-то празднично-загадочным, сейчас был захламленным: углы завалены скомканной бумагой, на полу белое, размятое подошвами обуви крошево известки и осколки битого стекла, вышибленного волной взрыва из оконной рамы.

К огорчению Иванюты, оба Николая встретили его без особого интереса. На «здравие желаю!» младшего политрука Грибачев сонно кивнул головой, дописывая какую-то фразу, а Рыленков, подняв прищуренный взгляд и вынув изо рта самокрутку, заулыбался, обнажив крупные, чуть редковатые прокуренные зубы, с надеждой спросил:

— Спички есть?

Миша, доставая из кармана спички, увидел на столе Рыленкова раскрытую, полную махорки жестяную коробку из-под леденцов и с разочарованием подумал: «Поэты и... махра?!»

Рыленков с жадностью раскурил самокрутку, встал с кресла и, спрятав в карман своих широких брюк коробок со спичками, протянул Мише для пожатия руку. Обмениваясь рукопожатием, Иванюта заметил, что в кресле, где сидел поэт, лежала смятая в блин шляпа. Он глухо хихикнул, но сказать Рыленкову о шляпе не решился, да и не успел, ибо в это время Грибачев спросил у него:

— Ну что, брат Михайло, не можешь без нас с Рыленковым сдержать немцев? — Он обдал Иванюту взглядом серых глаз — пронзительным, несколько ироничным и, кажется, уже наперед с чем-то не соглашающимся, чему-то возражающим.

— Да нет, пока держим, — с неуместной бодрецой ответил Иванюта. — Вот попутно забежал к вам...

— Попутно куда? — Грибачев остановил на нем насмешливый, с горчинкой взгляд. — На Берлин или... на Москву?

Миша уловил ядовитую шутейность в словах Грибачева и с раздражением подумал: «Нашел время для острот... Побывал бы в моей шкуре», но не решился ответить колкостью, зная прямолинейность и резкость его характера: Грибачев ведь тоже обкатан войной — участвовал в освобож-

дении Западной Белоруссии, был на финском фронте, сиживал там в окружении, подморозил ноги. Такому растолковывать о том, что видел и пережил, бесполезно.

Грибачев словно догадался о смятении Мишиных чувств и, закурив папиросу, миролюбиво сказал:

— Ладно, пошутил... Смоленск теперь для многих стал попутным городом: с запада беженцев и раненых — будто плотину прорвало... А ты, кажется, еще не нюхал боя, судя по твоей парадности?

Миша только сейчас начал понимать, какого свалял он дурака, позарившись вчера на новое обмундирование, предложенное ему старшим лейтенантом Колодяжным.

— Нюхал,— ответил Иванюта, пересилив досаду.— От самой границы нюхаю! — Расстегнув гимнастерку, он стал сдвигать ее воротник с левого плеча, пока не забелела на руке повязка. И пояснил как о пустяке: — Вчера пришлось переодеться, а то осколки и пули живого места на обмундировании не оставили.

— Так уж и живого! — В словах Грибачева опять проскользнула ирония.

— В танке даже пришлось гореть! — с отчаянием соврал Миша, не зная, как рассказать правду обо всем том тяжком, страшном, что успел пережить за эти три недели войны. И тут же, устыдившись своего вранья, перевел разговор на другое: — Да, мало не позабыл! Вот один чудак всучил мне свои стихи.— Миша торопливо достал из полевой сумки блокнот, раскрыл его в нужном месте и протянул Грибачеву. — Взгляните, пожалуйста, Николай Матвеевич.

Грибачев взял блокнот и, увидев знакомый почерк Иванюты, с ухмылкой спросил:

— Что же это за чудак?

— Один штабист наш, — с деланным безразличием уточнил Миша.

Пробежав глазами по строчкам стихов, Грибачев хмыкнул, затем вздохнул и сокрушенно покачал головой:

— Посоветуй своему штабисту писать прозу, если не хочет быть битым... А лучше — заметки в газету. И не просто заметки, а чтоб это была литература!.. — Для убедительности он встряхнул перед собой рукой с зажатой в пальцах папиросой.

— А не полезнее ли штабисту своим прямым делом заниматься? — спросил Рыленков, взяв у Грибачева блокнот со стихами. — А то со стороны Красного к нам на окраину немецкие танки уже прорывались. Три или четыре.

Иванюта на мгновение даже дыхание задержал — вот бы выглядел он остолопом, если б стал расписывать им обстановку на фронте. Оказывается, в редакции тоже кое-что знают о ней. Между тем Рыленков вчитывался в Мишины стихи, шевелил добрыми полными губами, затем шумно вздохнул:

— Деды говорили: поэт — это музыкальный инструмент, посредством которого глаголют боги. А тут вот рифма: «любовь — ночь». Не божественный глагол!

— И не от дьявола, — подхватил Грибачев. — Тот хоть и пройдоха, но изобретательный. А ты, Михайло, мог бы, между прочим, и сам сказать об этом автору, все же в моем литкружке учился.

— Я для него не авторитет, — розовея сквозь загар, пытался оправдаться Иванюта. — Да и разве сейчас, когда война, про любовь надо писать?

— Ну ты того, — заволновался Рыленков, — ты все же думай, что говоришь... Вон у Толстого в «Войне и мире»...

Неизвестно, что б сказал он еще, но сквозь вышибленное окно в ка-

бинет ворвался нарастающий вой сирен. Миша насторожился, уже познав, сколь неприятна бомбежка в городе, но сделал вид, что сирены его не волнуют. Оба Николая тоже решили не идти в бомбоубежище. Рыленков, досадливо сморщив лицо, махнул рукой:

— Не набегаешься. — И специально для Миши растолковал: — Ночью мы или охотимся за немецкими сигнальщиками, или в подвале отсыпаемся. А днем, если каждый раз бегать, ничего не успеешь сделать.

— «Рабочий путь» регулярно выходит? — поинтересовался Миша, с облегчением пряча в сумку блокнот со стихами.

— Ежедневно! — ответил Грибачев не без гордости. — Правда, форматом поменьше. — Потом пояснил: — Часть типографии бомбой поковыряло, да и людей в армию забрали — редакционных и типографских. А нам велено пока делать газету... Но, думаю, скоро и нас позовут... — Глубоко затянувшись табачным дымом, он помолчал и спросил, кинув на Иванюту оценивающий взгляд: — Смоленск-то не собираются наши сдавать, как думаешь?

— Это высокая стратегия, — уклончиво ответил Иванюта.

— Смоленск — ключ от Москвы, — с оттенком назидания сказал Рыленков. — Издревле так считается. Вон Грибачев недавно поэму «Осада» опубликовал. Не довелось читать?

— Читал.

— Там живая история... Воевода Шеин почти два года держался в осаде против польского короля Сигизмунда. А у того войска было больше раз в двадцать. Чего только город не перенес — пожары, подкопы, голод. Ни одной вороны, ни одного воробья не осталось — поели... Ну, а за это время Белокаменная кликнула клич по всей Руси, собрала рать, и остался Сигизмунд на бобах. Вот это была стратегия!

Грибачев, закончив правку какой-то заметки, закурил очередную папиросу и обратился к Иванюте:

— Так, говоришь, заголовок к листовке тебе нужен?.. Сам сделай! Или хочешь чужим умом жить, в интеллектуальные иждивенцы подаваться?.. Ну, если не получится — поможем...

Но Иванюта не расслышал Грибачева. От близких взрывов бомб дом задрожал и, кажется, загудел. Миша встревоженно выглянул в окно на опустевшую улицу и увидел на противоположной стороне, у сквера, знакомого капитана и двух красноармейцев: это были патрульные, которые обезоруживали его у Лопатинского сада. Запрокинув головы, они смотрели то ли в небо, откуда доносился грозный рев самолетов, то ли на верхние этажи здания редакции.

## 18

В эти июльские дни среди генералов и старших офицеров, руководивших боями в первом оперативном эшелоне на смоленском и витебском направлениях, пожалуй, не было такого, который смятенными мыслями не возвращался бы в 1812 год, когда здесь же, на этих пространствах, велось ожесточенное сражение с наполеоновскими войсками. Не оказался исключением и Михаил Федорович Лукин. Получив приказ возглавить оборону Смоленска, он, как и следовало ожидать, вновь начал подсчитывать свои силы, прикидывать возможности, размышлять над разными вариантами действий. Томила обида, что его 16-я армия, с которой он прибыл к началу войны с востока, здесь, под Смоленском, была раздергана по частям. Особенно был недоволен генералом Курочкиным, который, с его точки зрения, буквально «ограбил» главные силы 16-й, забрав у Лукина все танковые и механизированные соединения и оставив ему

только две стрелковые дивизии. Михаил Федорович знал, что Курочкин сделал это по приказу высшего командования, понимал также вынужденную разумность таких мер: враг неистово взламывал нашу оборону, и каждый день нужны были свежие силы. Но все-таки не мог усмирить рассерженные, ревнивые чувства. Тешил себя лишь надеждой, что все-таки сдюжит. «Нехватку сил восполним военной хитростью, крепостью русского характера и, может, используем непредвиденные обстоятельства и просчеты врага», — думал он. В то же время напрягал память, чтобы воссоздать в воображении картину действий русских армий в Отечественную войну 1812 года — авось тоже пригодится.

Каждому, кто когда-нибудь прикоснулся к истории войн и военного искусства, запомнился несложный и в своей простоте коварный замысел Наполеона по овладению Смоленском в начале августа 1812 года. Тогда его двухсоттысячная армада приближалась к Рудне, находившейся в шестидесяти километрах северо-западнее Смоленска, а навстречу наполеоновским войскам спешили 1-я и 2-я русские армии. Казалось, все решит встречное сражение. Но Наполеон вдруг скрытно повернул свои силы на юг, переправил их в районе деревни Россасна через Днепр и устремил по дороге на Ляды, Красный, Смоленск, намереваясь не только с ходу захватить город, но и выйти в тыл русским армиям. Впереди главных сил Наполеона шли маршем пятнадцать тысяч кавалеристов Мюрата, а из района Орши, что чуть южнее, спешили по этому же направлению корпуса маршалов Жюно и князя Понятовского.

Врагу, угрожавшему Смоленску, а значит, и Москве, перекрыла путь 27-я дивизия генерала Неверовского, состоявшая из отряда пехоты, шести полков кавалерии и имевшая только двенадцать орудий. Генерал Неверовский, послав донесение командованию русской армии о переправе наполеоновских войск через Днепр, выбрал удобную позицию в районе Красного и дал бой коннице Мюрата. Сорок пять атак отразила его дивизия, задержав на целые сутки наступление армии Наполеона и этим обеспечив возможность двум русским армиям успеть возвратиться к Смоленску и занять оборону.

Сейчас обстановка складывалась сложнее во сто крат! Опасность Смоленску грозила со всех сторон, со всех ведущих к нему дорог. Однако враг, переправившись через Днепр у Копыси и Шклова, наиболее упорно рвался к городу с юга — со стороны Красного, Мстиславля, Хиславичей. Поэтому именно под Красный бросил генерал Лукин все немногое, что можно было бросить: подвижной отряд подполковника Буняшина (батальон пехоты на грузовиках, две роты саперов со взрывчаткой и минами и два дивизиона артиллерии; они могли оседлать и на какое-то время удержать магистральную дорогу); снял также с северного участка обороны Воскресенск — Ополье, куда подошли отступавшие под напором врага подразделения 19-й армии, и устремил в направлении Красного часть сил бригады полковника Малышева, надеясь соединить фланги оборонявшихся там частей левого крыла 20-й армии и оперативной группы генерала Чумакова.

Бригада Малышева тоже не отличалась монолитностью. В ее состав входили батальон смоленской милиции и три батальона добровольцев; из оружия в бригаде только карабины да два станковых пулемета. И ни одного орудия! Но Михаил Федорович надеялся, что Малышев пополнится за счет групп, которые все еще кое-где пробивались из окружения. Хватка у полковника, как успел разгадать генерал Лукин, цепкая. Когда Малышев Петр Федорович возглавил Смоленский гарнизон, именно он сумел решительными мерами привести в порядок расстроенную массированными бомбежками противовоздушную оборону города, плотно прикрыть вокзал и другие главные объекты. А сколько в Смоленске вылов-

лено и расстреляно немецких диверсантов, ракетчиков, провокаторов! И немалая заслуга Малышева в четкой отправке на восток промышленного оборудования, ценностей, гражданского населения: он оказался правой рукой у первого секретаря обкома партии Дмитрия Михайловича Попова, руководившего эвакуацией города. Бритоголовый, полногубый, со строгим, требовательным взглядом, полковник своей энергичностью как бы притягивал к себе людей, заставлял их повиноваться с охотой и верой. Так что и на Малышева была надежда.

Но уж если говорить без обиняков, Михаил Федорович Лукин в глубине души надеялся, что немцы все-таки не очень будут рваться в Смоленск по старым наполеоновским дорогам, а коль будут, то скорее для отвода глаз советского командования. Ведь если посмотреть по топографической карте, как растекаются от Шклова и Копыси — мест переправы через Днепр — войска Гудериана, то рождается мысль, что у них нет оперативной необходимости пробиваться к Смоленску. Проще и разумнее устремиться всеми тремя механизированными корпусами строго на восток — к Ельне, Дорогобужу и автомагистрали Минск — Москва. В итоге клещи вокруг войск Западного фронта захлопнутся немедленно.

Предположения генерала Лукина опирались на очевидность. Действительно, южнее Смоленска оперативная обстановка сложилась таким образом, что Гудериан имел возможность более коротким путем устремиться на Москву. Но то ли предостерегала генералов вермахта немеркнущая в истории слава Смоленска, который при всех нашествиях на Россию с запада вонзал во врагов орлиные когти, то ли томили их другие страхи, связанные со Смоленском, ибо они спешили как можно скорее захватить его.

Тревожная весть прилетела в штаб 16-й армии сегодня, 15 июля. Штаб располагался километрах в двенадцати севернее Смоленска, близ совхоза Жуково, что за автомагистралью Минск — Москва. В небольшом лесу, на возвышенности, окаймленной речушкой, спрятались его землянки, палатки, шалаши, замаскировались среди густого подлеска машины, кухни... Землянка генерала Лукина, вырытая метрах в двухстах от опушки, хорошо хранила прохладу, и Михаил Федорович в середине дня, изнемогая от духоты, от неподвижности паркого лесного воздуха, обычно покидал штабной автобус и перебирался в землянку. Тут же вспыхивала под бревенчатым потолком, густо пахнущим хвоей, электрическая лампочка, получавшая энергию от танкового аккумулятора, оживали телефоны, и все военные тревоги и заботы перемещались сюда. Вот и сегодня: не успел Михаил Федорович дойти до землянки, как уже у входа красноармеец-связист с деловой почтительностью протянул ему телефонную трубку.

Звонил полковник Шалин, начальник штаба армии, с которым только сейчас совещались в автобусе.

— Михаил Федорович, получены радиодонесения фронтовой авиаразведки...— В сдержанности Шалина угадывалось что-то тревожное.

Через несколько минут Шалин появился в землянке вместе с дивизионным комиссаром Лобачевым — членом Военного совета армии. Оба взъерошенные, взволнованные, словно после драки.

— Плохие новости, Михаил Федорович! — объявил Лобачев, присаживаясь на нары и вытирая платком взмокшую шею. — Посылал я в штаб фронта инструктора нашего отдела политпропаганды. Не пробился...

— Почему? А дорога через Дорогобуж? — Лукин недоумевал, чувствуя, как тоскливо заныло в груди.

— Перехватили немцы автомагистраль и железную дорогу не только у Ярцева, а и ближе к нам — в пятнадцати километрах западнее Ярцева...

— Может, диверсанты? — Михаил Федорович не хотел верить услышанному, ибо, если слова Лобачева соответствовали действительности, то теперь невозможен не только подвоз боеприпасов, горючего и продовольствия (через леса и болота много не навозишь), но и оказались в оперативном окружении сразу все три армии — его, Курочкина и Конева.

— Ошибки нет, — подавленно ответил Лобачев, закуривая папиросу. — Машину политотдела обогнал и влетел прямо к немцам какой-то наш мотоциклист... Боюсь — офицер связи... По нему пальнули из танка и схватили, а наши развернулись и ушли. Успели заметить колонну танков и мотопехоты.

Никто из присутствующих в землянке не знал, что мотоциклист был послан в штаб фронта генералом Чумаковым с документами, изъятыми у пленного немецкого полковника Курта Шернера...

— Потом по дороге расспросили беженцев, которые тоже возвращались после неудачных попыток пробиться на восток. Узнали от них, что и железнодорожная станция Пришельская захвачена, — продолжал Лобачев, посасывая папиросу так, что сухой табак потрескивал в ней. — А у нас в ближнем тылу никаких войск — гуляй немцы где хочешь, переправляйся через Днепр на юг и замыкай кольцо вокруг войск Западного фронта сплошняком.

Генерал Лукин развернул на грубо сколоченном столе карту, пробежался глазами от Смоленска на восток к Ярцеву, затем на северо-восток и юго-восток. Невозможно было поверить, что в квадрате, замкнутом линиями Рославль, Смоленск, Ярцево, Спас-Деменск, Рославль, на площади почти в одиннадцать тысяч квадратных километров, нет сил, способных создать линию обороны... Куда же смотрит штаб фронта, о чем думает маршал Тимошенко?..

— А что авиаразведка доносит? — обратился Михаил Федорович к полковнику Шалину, молча стоявшему у стола.

— Хорошего мало, — осипшим голосом ответил Шалин. Он открыл папку, которую держал в руках, и положил поверх карты лист бумаги с радиодонесением.

Разведка сообщала, что сегодня в шесть часов утра замечена большая группа немецких танков на дороге между Василевичами и Красным; это в шестидесяти километрах на юго-запад от Смоленска. Еще ближе к городу, между Красным и Ливнами, в семь утра обнаружена движущаяся колонна танков и бронемашин — около трехсот единиц. Сообщалось также, что контратаки частей левого крыла армии Курочкина в направлении Красный, Зверево, Ленино отражены противником. Сейчас немецкие мотомеханизированные части теснят войсковую группу генерала Чумакова, бригаду Малышева и отряд Буняшина в сторону Смоленска, а наша авиация наносит бомбовые удары по танкам противника. Немцы тоже бомбят непрерывно.

Вторая шифрограмма извещала Лукина, что в силу реальной угрозы Смоленску главком Западным направлением маршал Тимошенко приказал командующему 19-й армией генерал-лейтенанту Коневу срочно передать 16-й армии две стрелковые дивизии — 158-ю и 127-ю, которым уже велено занять рубеж южнее Смоленска по реке Сож (от Смоленска до деревни Гринево), создав мощные узлы противотанковой обороны.

— Это уже кое-что! — с надеждой в голосе заметил Михаил Федорович.

— Успеют ли? — с сомнением спросил дивизионный комиссар Лобачев, вглядываясь в карту.

— Попробуем до их подхода удержаться своими силами, — ответил Лукин.

Но сил у него было очень мало. Недавно мощная 16-я армия, при-

бывшая из Забайкалья на Украину, а оттуда сразу же под Смоленск, сейчас будто бы растворилась: командование фронта оставило в ней всего лишь две дивизии — 46-ю и 152-ю. Да и то три батальона 46-й сгрузились из эшелонов где-то в районе Рославля, и их там же влили в соединения 13-й армии. Остальными батальонами дивизия оборонялась в районе Демидова, прикрывая Смоленск с севера. А 152-я, защищавшая город с северо-запада — от Каспли до Витебского шоссе, выделила пять батальонов с артиллерией для действий в подвижных отрядах, и у нее больше взять нечего.

20-я армия Курочкина пока надежно заслоняла Смоленск с запада, упорно обороняясь и контратакуя на Малой Березине. А вчера дивизия генерала Пронина из 20-й армии неожиданным контрударом вышибла немцев из города Рудня и увязла там в тяжелых боях.

Михаил Федорович видел на карте, как глубоко охватили вражеские войска 20-ю армию, и, будь он на месте генерала Курочкина, отвел бы соединения армии к Смоленску и засел в оборону на ближних подступах к нему. Но сказать об этом вслух даже своим соратникам не посмел, ибо приказы гласили: оборонять каждую пядь советской территории.

Генерал Лукин, как только возглавил оборону Смоленска, приказал начальнику отдела политпропаганды бригадному комиссару Сорокину немедленно разослать политработников на близлежащие к городу железнодорожные станции в поиски застрявших — вдруг такие окажутся — эшелонов с резервами. Встретили три эшелона 46-й стрелковой дивизии: два эшелона зенитного дивизиона и один — гаубичного артиллерийского полка. А сегодня железные дороги, идущие с востока, уже перерезаны врагом. Одновременно распорядился искать склады военных училищ, которые были в городе до войны,— артиллерийского, стрелково-пулеметного и двух военно-политических; надеялся, что там сохранились запасы хотя бы винтовок и пулеметов... Склады нашли, однако их уже успели опустошить начальник гарнизона Малышев, вооружая свою бригаду, и работники областного управления НКВД, создающие по решению обкома партии партизанские отряды, подпольные и диверсионные группы.

Оставалось надеяться на силы, имеющиеся в городе, — три сводных батальона под общим командованием майора Фадеева Евгения Ильича, секретаря парткома управления НКВД, — и еще на те части, которые, возможно, отступят к крепостным стенам в случае прорыва немцев.

Лукин присел на складное березовое кресло, его широко поставленные серые глаза будто видели нечто доступное только ему одному; в них светились горечь и ожесточение. В такие минуты Михаил Федорович обычно был грубоват, горячливо-резок. Поэтому Лобачев и Шалин выжидательно молчали, понимая тайный смысл его душевной работы: у командарма зрело какое-то решение. Наконец он хлопнул рукой по карте на столе и негромко позвал в раскрытую дверь землянки:

— Миша!

Тут же входной проем заслонила, отторгнув землянку от леса, ладная фигура старшего лейтенанта Клыкова, адъютанта генерала Лукина. Бывший кавалерист Михаил Клыков на днях заменил погибшего от пули немецкого снайпера лейтенанта Прозоровского и ревностно усваивал свои новые обязанности «рук командарма». Лукин так и объяснил Клыкову его роль при командарме: «Если я считаюсь головой армии, то ты, дорогой тезка, должен быть моими руками — крепкими, работящими, надежными...»

— Выводи на дорогу машины — едем в Смоленск, — приказал Михаил Федорович адъютанту и прислушался к тому, как где-то за лесом учащенно заахали автоматические зенитные пушки, а затем донесся тяжелый гул бомбежки.

Сегодня с самого утра немецкая авиация непрерывно бомбила и обстреливала леса и дороги вокруг Смоленска, а это был признак того, что надо ждать новых таранных ударов врага в направлении города.

— Разрешите выполнять? — напомнил о себе Клыков, не дождавшись каких-либо дополнительных распоряжений.

— Минуточку, — остановил его Лукин и спросил у Лобачева: — Ты, Алексей Андреевич, после вчерашнего нашего участия в заседании бюро обкома общался с первым секретарем?

— Поздоровался, и связь оборвалась. — Лобачев сердито хмыкнул.

— И сейчас нет связи. — Лукин тоже чертыхнулся.

— Пусть подают и мою машину, — сказал Лобачев адъютанту командарма.

Старший лейтенант Клыков побежал выполнять распоряжения, а генерал Лукин вновь обратился к Лобачеву:

— Прежде чем ехать, прикажи бригадному комиссару Сорокину назначить в распоряжение начальника штаба несколько наиболее боевых работников отдела политпропаганды. — И Михаил Федорович тут же устремил повелевающий взгляд на полковника Шалина: — Сколотите, Михаил Алексеевич, из командиров и политработников оперативную группу и сейчас же отправляйте в Смоленск! Задача: мобилизовать все, что возможно, для устройства завалов на путях противника и для подготовки каменных домов к длительной обороне. Второе: прикажите по радио полковнику Малышеву немедленно отвести свою бригаду к Смоленску и занять оборону на южной и юго-западной окраинах. Пусть ставит в оборону все силы гарнизона... Место Малышева сейчас в Смоленске!

Первого секретаря Смоленского областного и городского комитета партии Попова Дмитрия Михайловича одолевали те же самые заботы. Они и вынудили его срочно выехать из города в штаб 16-й армии, чтобы встретиться с генералом Лукиным и дивизионным комиссаром Лобачевым, хотя только вчера на бюро обкома виделся с ними. Непрерывные бомбежки Смоленска и близлежащих к нему дорог и лесов, а также тайные старания немецких диверсантов часто приводили телефонные линии в негодность, и приходилось неотложные задачи решать при помощи связных, радио и при личных встречах. Вот и сейчас у Дмитрия Михайловича столько тревог и вопросов, к которым без военного командования не подступишься. А тут еще настойчивые предупреждения работников НКВД и военной контрразведки о том, что засланные в город фашистские агенты имеют строгий приказ ликвидировать его, первого секретаря, и командующего 16-й армией генерала Лукина. Это подтвердили и два переодетых в нашу военную форму немецких диверсанта, пойманных при попытке проникнуть под видом офицеров связи в Лопатинский сад, к блиндажам, где помещался, после того как Дом Советов был разбомблен, обком партии. Диверсанты «развязали» языки, когда их разоблачили и повели на расстрел.

И теперь в городе проверяют почти всех военных, появляющихся на улицах. Но тут же начали поступать в обком жалобы на патрулей, на дежурных по пропускным пунктам и военную комендатуру: в поисках вражеских шпионов, диверсантов, радистов часто задерживаются свои люди, выполняющие срочные задания. И Дмитрий Михайлович вынужден был распорядиться, чтобы шпионо-диверсантоманию умерили. Словно в оправдание строгих проверок, ему доложили, что у Лопатинского сада задержан еще один подозрительный — молодой человек, любезничавший с двумя девушками, видимо, тоже «залетными птицами». Он был одет в форму младшего политрука и предъявил документы о том, что

является секретарем газеты мотострелковой дивизии. А когда привезли его в комендатуру, он, воспользовавшись оплошностью часового, сбежал. Теперь ищут на улицах города не только «младшего политрука», но и двух его сообщниц.

Сместилось все течение жизни, сдвинулись все ее русла. Может, поэтому уже никто ничему не удивлялся, даже особенно не давали воли состраданию при виде трагедий: словно чувства у всех окаменели. Впрочем, нет. Невозможно было привыкнуть к нарастающему свисту бомб, клекоту пулеметов, рушащимся стенам, человеческим воплям, крови, детскому плачу, шипению огня, к давящей холодной пустоте в груди от неуверенности в завтрашнем дне.

Вопросы и загадки громоздились друг на друга закономерно и случайно. Неизвестность томила всех попавших в страшный, необузданный вихрь войны. Что ждет впереди? Как на фронте? Какие меры принимает Москва?.. Вокруг творилось невообразимое. Ушел вчера человек домой, а сегодня не появлялся и будто вычеркивался из жизни. Куда исчез? Погребен ли под развалинами, сгорел ли или сражен осколком?.. В тяжких заботах, тревогах подчас и не замечали, что обрывалась чья-то судьба. Люди исчезали бесследно, и никто не знал, наступит ли время искать их и будет ли кому искать...

Всю эту смятенность, как никто другой, ощущал Дмитрий Михайлович Попов. Областной комитет партии, будто сквозь увеличительные стекла, всматривался и в тысячи мембран вслушивался во все происходящее вокруг; секретари обкома, члены бюро, работники облисполкома, разъехавшись по районам области, находили возможность поддерживать связь с обкомом, не говоря уже о том, что райкомы партии, парткомы стали активно действующими боевыми штабами и ежедневно информировали обком о проделанном.

Дмитрий Михайлович не переоценивал своей роли во всем ныне творящемся — огромном, важном и многотрудном, но и не преуменьшал. Помнил: сила отдельных личностей тоже есть мерило силы народа. Исчезни сейчас вдруг он, и город, область, будто гигантский живой организм, тут же почувствуют это, ибо лично от него, от неутомимо пульсирующей, направляемой им деятельности областного комитета большевиков зависят целеустремленность усилий, разумность и активность действий всех оставленных в городе и области людей — партийных и беспартийных. Такова природа обкома, такова роль его первого секретаря, держащего руки на рычагах, которые приводят в действие народную мощь — духовную, мыслительную, мускульную... Обком действует, первый его секретарь на посту, значит, борьба продолжается.

Трудно было Дмитрию Михайловичу привыкнуть к такого вида борьбе, хотя в его сорок лет он полон сил, энергии, жажды деятельности. Со светлым и зрелым умом, доброжелательный, ищущий, верящий, что в каждом человеке есть добрые начала, до этого он знал борьбу только созидательную — за план предприятий, за урожай, за количество окончивших вузы, за строительство очагов культуры, увеличение площадей осушенной земли, умножение поголовья скота — за все, из чего складывалась жизнь области и ее центра. Шутка ли: только Смоленщина давала в год почти семь процентов мирового урожая льноволокна, чем смоляне непрестанно гордились!..

А теперь шла борьба за опустошение Смоленщины... Все дальше на восток уходили по железным дорогам груженные промышленным оборудованием эшелоны, двигались по большакам и проселкам колонны тракторов, брели в облаках пыли табуны лошадей и несметные стада коров, быков, молодняка. Будто прорвало плотину, и текли, текли богатства области в глубь страны. Ничего врагу! Только пулю, гранату, снаряд и

пустошь, как на осеннем поле! Парни и молодые мужики земли смоленской уже в бою. Их много — можно укомплектовать свыше двадцати дивизий! Только коммунистов и комсомольцев шестьдесят тысяч!..

И еще борьба тайная — опять же не во имя созидания. Тайно сколачиваются подпольные окружкомы и райкомы партии, тайно назначаются руководители диверсионных групп, партизанских отрядов, оборудуются в лесных глухоманях партизанские базы, закладываются склады с оружием, боеприпасами, продовольствием, медикаментами... Смоленщина приготовилась начать жестокую битву с захватчиками. Да что там: уже начала! К сегодняшнему дню в районах, захваченных врагом, действуют тридцать два районных комитета партии, сто тринадцать парторганизаций, девятнадцать партизанских отрядов.

Дмитрий Михайлович ехал в штаб 16-й армии в неприметной, замызганной эмке, следуя за милицейской машиной. Он сидел на дряблом заднем сиденье и смотрел сквозь лобовое стекло на почти безлюдную, откипевшую потоками беженцев дорогу. Впереди, рядом с водителем, примостился милицейский радист — крепкий, рыжеволосый парень в темно-синей форме. Высунув в открытое окно штырь антенны, он держал на коленях портативную рацию, поддерживая связь с передней машиной и с обкомовским радистом в Лопатинском саду.

Углубившись в мысли, Попов и не услышал, как засигналила радиостанция. Увидел только зеленые глаза повернувшегося к нему милиционера и протянутую трубку. На связи был оперативный дежурный по обкому партии. Сдерживая волнение, он докладывал, что «гости» уже «отобедали» в Хохлове и с музыкой следуют на Лубню. Это означало, что немцы захватили деревню Хохлово, после чего с боями движутся дальше на Смоленск. Хохлово в пятнадцати километрах от города.

Отметив про себя нелепость и ненужность столь упрощенного кодирования радиопереговоров и испытывая мучительное желание немедленно возвратиться в обком, Дмитрий Михайлович передал открытым текстом:

— Доложите обстановку товарищу Фадееву Евгению Ильичу! Пусть командует всем своим хозяйствам «В ружье» и выводит их на позиции!..

В восемнадцатом — двадцатом Попов был на фронтах гражданской войны и в военном деле разбирался. Сейчас он представил себе, как майор внутренних войск Фадеев звонит в подчиненные ему батальоны, перешедшие несколько дней назад на казарменное положение.

Первый звонок, наверное, в милицию Красноармейского района; к аппарату зовут командира батальона старшего лейтенанта Суслова или политрука Хомича... У них батальон крепенький — рота курсантов областной школы милиции во главе с ее начальником майором милиции Михайловым, и две роты укомплектованы рабочими типографии, служащими различных учреждений...

Второй батальон состоит из служащих Сталинского района. Командует ими коммунист Сидоренко. Сегодня же надо побывать в этом батальоне...

Вчера вечером Попов был в третьем батальоне Заднепровского района. Говорил перед строем ополченцев речь, всматриваясь в их сосредоточенные лица — рабочих заводов, комбинатов и швейной фабрики. Рядом с Дмитрием Михайловичем стояли командир батальона Евгений Сапожков и комиссар Абрам Винокуров... Трудная это была для него речь. Он призывал рабочих оглянуться в исторические дали, где на берегу седого Днепра, на семи холмах, уже гордо возвышался древний город русской славы Смоленск — старший по возрасту брат Москвы, ровесник Киева и Новгорода. В первой половине тринадцатого века смоляне не пустили в город разбойничьи орды Батыя, разгромив татаро-монгольские полчища

на дальних подступах к Смоленску; не покорились они два века спустя и литовским феодалам; выдержали двадцатимесячную осаду польских интервентов в семнадцатом веке; устояли под напором шведской армии Карла Двенадцатого в петровские времена; внесли героической обороной в 1812 году большой вклад в разгром армии Наполеона... Сейчас смолянам предстояло выдержать новые, невероятно тяжкие испытания...

Будто и прочувствованно говорил Дмитрий Михайлович, вкладывая в речь немалый свой дар оратора, знание истории (ведь за спиной у него коммунистический университет и институт красной профессуры) и искреннее волнение. Но в груди тлел уголек, обжигая сердце и возвращая мысль к совсем недавнему первомайскому военному параду на площади перед Домом Советов. Вдоль трибуны проходила стоявшая в Смоленске 64-я стрелковая дивизия со своей артиллерией, проходили военные училища... Несметная сила!.. После их торжественного марша командир дивизии Иовлев и начальники училищ тоже поднялись на трибуну и, глядя на колонны демонстрантов, тихо подзуживали друг друга, споря, чьи батальоны и полки прошли лучше. Особенно усердствовали командир дивизии полковник Иовлев и начальник Военно-политического училища полковой комиссар Большаков.

Где они сейчас? Иовлев со своей дивизией в последних числах июня героически защищал Минск, а курсанты Большакова в конце мая получили воинские звания и разлетелись по военным округам, как и выпускники других училищ. И теперь гарнизон представляют три батальона плохо вооруженных ополченцев...

Когда эмка, на которой ехал первый секретарь Смоленского обкома партии, пересекла вслед за милицейской машиной магистраль Минск — Москва и впереди уже хорошо был виден лес, где замаскировался штаб 16-й армии, их обогнал военный мотоцикл с коляской. В коляске сидел, судя по блеснувшим в петлицах кубикам, лейтенант, одетый поверх обмундирования в зеленый расстегнутый комбинезон. Мотоцикл свернул с Демидовской дороги в лес и исчез. У Дмитрия Михайловича мелькнула мысль, что это помчался офицер связи с донесением о прорыве немцев к Смоленску с юга. Так и оказалось. Потеряв несколько минут времени перед шлагбаумом контрольно-пропускного пункта, Попов подъехал к землянке генерала Лукина и увидел Михаила Федоровича вместе с членом Военного совета и начальником штаба у мотоцикла, остановившегося на лесной дороге рядом с подготовленными к отъезду легковыми машинами. Командарм, перед которым застыл по стойке «смирно» офицер связи, читал какую-то бумагу, а полковник Шалин, держа в руках развернутую карту, что-то показывал на ней Лобачеву.

Приезд секретаря обкома отменял поездку Лукина и Лобачева в Смоленск. Тут же, у машин, они вместе начали обсуждать обстановку. Настроение у всех было столь подавленным, что с трудом находились нужные слова. Офицер связи кроме оперативного донесения привез тяжелую весть: смертельно ранен осколком снаряда начальник артиллерии армии генерал-майор Власов Тимофей Леонтьевич. Из донесения командира подвижного отряда подполковника Буняшина было ясно, что генерал Власов руководил устройством засады в деревне Хохлово и примыкающем к ней лесу. В северо-восточной части деревни были вырыты рвы, между домами сделаны завалы, а пушки, минометы и пулеметы отряда расставлены таким образом, чтобы получился огневой мешок. В него и влетел мотоциклетный полк 29-й мотодивизии немцев и был поголовно истреблен.

Буняшин также сообщал, что в первой половине дня пехота противника при поддержке танков, артиллерии и самолетов еще трижды пыталась взять Хохлово. Только после четвертого вражеского штурма отряд

Буняшина не устоял и, неся потери, начал отходить к деревне Лубне...

Через минуту в сторону Смоленска умчалась санитарная машина, чтобы вывезти из отступавшего отряда Буняшина умирающего генерал-майора Власова, а еще через небольшой промежуток времени из леса выехал грузовик, в кузове которого сидели на лавочках командиры и политработники — им предстояло готовить Смоленск к уличным боям, — затем умчались мотоциклисты в 19-ю армию с приказами командирам 158-й и 127-й дивизий, переданных в подчинение генерала Лукина, ускорить ввиду критически обострившейся обстановки занятие рубежей южнее Смоленска.

Разговор Попова, Лукина и Лобачева продолжался в землянке, за чаем. Все понимали, что выдвижение войсковых резервов из глубины страны не успело набрать нужного размаха, бомбовые удары немцев по нашим железнодорожным узлам, станциям, мостам и по движущимся воинским эшелонам сделали свое дело. Время для организации настоящей обороны Смоленска, для устройства уличных баррикад, для расстановки в городе огневых средств упущено. Но приказ есть приказ. Смоленск врагу не сдавать! Во имя этого надо превозмочь даже немыслимое. Вся ответственность за выполнение приказа лежала в первую очередь на генерал-лейтенанте Лукине.

Ощущая неодолимую тяжесть ответственности и трагическую невозможность предпринять что-либо еще такое, чтобы отвести угрозу захвата врагом города, Михаил Федорович чем-то напоминал сейчас человека, который разбежался для прыжка через барьер и вдруг увидел перед собой высокую стену. А прыгать надо, ибо от этого зависит больше, чем жизнь...

Отодвинув стакан с недопитым чаем, генерал Лукин встал из-за стола и зашагал по землянке: три шага вперед, три — назад. Зло чертыхнувшись какой-то своей мысли, он остановился у стола и, скосив широко поставленные глаза на Попова, сказал:

— Дмитрий Михайлович, перебирайтесь с обкомом к нам в лес. Хоть с воздуха прикроем зенитным огнем... А в Лопатинском саду я прикажу разместиться штабу сто двадцать седьмой дивизии.

— Нет, — после короткого раздумья со вздохом ответил Попов. — Вы, генералы, вольны для маневра. Можете выбирать высоты для командных пунктов, рубежи для боя, где считаете нужным и выгодным. А у меня выбора нет. Смоленск для меня что окоп для бойца: покинуть не имею права. Там моя высота, мой командный пункт, мой рубеж борьбы. Там моя жизнь и, если другого выхода не будет, там моя смерть... А уж коль придется сдавать город, то обком партии частично останется в подполье, а частично уйдет с последними красноармейцами, но уйдет так, чтоб потом каждый угол города стрелял по врагу, чтоб взрывался под ногами захватчиков каждый камень мостовой...

Это было время, когда в человеческом сердце будто и не осталось места для радостей — все оно переполнилось горем и жаждой борьбы.

## 19

Надрывно взвыла сирена, предупреждая о приближении немецких самолетов...

Маршал Тимошенко, услышав сирену, поднялся из-за своего рабочего стола, подошел к открытому окну с выбитыми стеклами. Посмотрел на солнце, на перелески, окружавшие поклеванные осколками авиабомб дома бывшего поместья князей Волконских... Раннее солнце в задымленном и запыленном поднебесье выглядело тускло-бледным, с четко очер-

ченными краями, как у меркнущего месяца при рождении дня. Будто уменьшилось светило в объеме. Мнилось, что это вовсе не его лучи прорывались сквозь клочковатую хмарь и гигантскими белесыми мечами косо падали куда-то за каснянский лес, видневшийся из окна залы, в которой помещался кабинет Семена Константиновича.

Только позавчера, во второй половине дня, штаб Западного фронта занял это место, находящееся в двадцати пяти километрах севернее Вязьмы, а казалось, что прошло уже много времени.

До начала заседания Военного совета оставалось несколько минут; Семен Константинович не отходил от окна, вдыхая еще не раскалившийся воздух с влажным болотным запахом, который источали сохнущие водоросли, выброшенные взрывом немецкой авиафугаски на берег из речушки Кася.

Вновь где-то за шлагбаумом подала голос сирена — коротко, будто с неохотой: это уже был отбой воздушной тревоги. Обошлось без беготни в укрытие. Маршал, вернувшись мыслями к сиюминутным делам, посмотрел на часы и направился к рабочему столу. День разгорался, суля новые трудные и нескончаемые заботы.

...Первым слушали на Военном совете начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Маландина. По всему чувствовалось, что Герман Капитонович измотался до крайности. Тонкие черты его мужественного, по-особому красивого лица как-то размылись, будто на них упала да так и осталась густая неподвижная тень, белки глаз отдавали из-под красных прожилок нездоровой желтизной, а зрачки казались потухшими. Усталым голосом он знакомил собравшихся с директивным письмом Ставки Верховного Командования, в котором подводились итоги за три недели войны и давались указания о некоторой организационной перестройке войск. Ставка предлагала, использовав удобные военные ситуации, расформировать механизированные корпуса, выделить из них танковые дивизии как отдельные единицы, подчиненные командующим армиями, а мотострелковые дивизии преобразовать в стрелковые, имеющие в своем составе танки. Освободившиеся грузовики предлагалось передать в армейские автобатальоны. Далее директива, опираясь на опыт боевых действий, отмечала, что наличие громоздких армий с большим количеством дивизий и с промежуточным корпусным управлением затрудняет организацию и ведение боя, особенно если иметь в виду молодость и малоопытность многих штабов и командного состава. Исходя из этого, Ставка предлагала сократить состав армий до пяти-шести дивизий без корпусных управлений, стрелковым дивизиям придать по роте средних или легких танков, а по возможности и по взводу тяжелых танков. Затем давались указания о лучшем использовании кавалерийских и авиационных соединений. Ставка предлагала расформировать и авиационные корпуса, в авиационных дивизиях сократить количество полков с трех до двух, а численность самолетов в них уменьшить вдвое.

Следующей директивой Ставка приказывала в целях обеспечения стыка Западного и Юго-Западного направления развернуть строительство оборонительных рубежей по реке Сож и к югу от Гомеля, по реке Снов от Щорса до Чернигова, по рекам Судость и Десна от Почепа до Чернигова.

Многое виделось маршалу Тимошенко за этими распоряжениями: и созревающая у Ставки Верховного Командования ясность, что оборона в условиях сегодняшнего дня пока главный вид действий Красной Армии и что нужно высвобождать командные кадры с боевым опытом для свежих полков и дивизий, что необходимо усиливать командное влияние армейских штабов, максимально укорачивая при этом каналы, направляющие боевую реакцию нижестоящих штабов и войск в сложной обстанов-

ке; и также было ясно, что Советское правительство готовит страну и армию к длительной и тяжкой войне.

Семен Константинович сидел за своим рабочим столом, заставленным по левую руку телефонными аппаратами, бритоголовый, с осунувшимся лицом и ввалившимися глазами, в которых, казалось, застыл какой-то неразрешимый, неизвестно к кому обращенный и кого-то укоряющий вопрос.

Генерал Маландин затем докладывал обстановку на Западном фронте, ссылаясь на вечерние армейские сводки и показывая на карте, развешанной на деревянной крестовине в переднем углу кабинета. Карта неумолимо свидетельствовала, что Смоленск обречен. Со стороны Орши танковая группа Гудериана своим левым крылом заняла Горки, Красный и протаранивала бреши к городу. Был охвачен Смоленск и с северо-востока: танковая группа Гота двумя дивизиями прорвалась в район севернее Ярцева, оседлала железную дорогу и автомагистраль Москва — Минск. Для развития успеха враг выбросил близ Ярцева и в Духовщинском районе авиадесанты с боевой техникой. Ситуация катастрофическая для войск, защищающих подступы к Смоленску...

Генерал Маландин, излагая оперативную обстановку на других фронтах, нацеливал свою деревянную указку на огромную карту, распластанную на стене за спиной у маршала Тимошенко. На ней жирно пестрели красные и синие стрелы, линии, флажки и треугольники командных пунктов, цифры, обозначавшие номера немецких и советских войсковых соединений, заштрихованные овалы — места, где наши части попали в окружение. Для людей, собравшихся в этой просторной зале старого дворянского дома, оперативная карта фронтов обладала громоподобным голосом, вещавшим страшную правду о происходящем.

Крупная фигура маршала Тимошенко заслоняла нижнюю часть карты, а бритая голова доставала до Киева, и казалось, что именно в нее нацелились и замерли в неподвижности синие стрелы немецких бронированных колонн. Когда в залу зашел маршал Шапошников, только что приехавший из Москвы, а Тимошенко, чуть посветлев лицом, поднялся ему навстречу и протянул для пожатия руку, голова его закрыла Смоленск, и тут же будто вонзились в нее синие стрелы, простершись застывшими молниями со стороны Могилева, Витебска и Орши. Спина главкома бросала тень на карту, и слева красными арапниками отчетливее обозначились полосы армий нового, Резервного фронта; они, взяв начало у озера Ильмень, струились вниз, через Осташков, Ельню к Брянску и впадали в Десну.

Маршал Шапошников здоровался со всеми за руку. Эти несколько дней, проведенные им в Москве, куда Бориса Михайловича вызывали для участия в переговорах с английской миссией, возглавляемой Стаффордом Криппсом, видимо, показались ему в водовороте событий вечностью. И он радовался встрече со своими боевыми соратниками, хотя события на фронте совсем не давали повода для радости.

У длинного стола, приткнувшегося к безоконной, с лепными украшениями стене, сидел новый член Военного совета фронта Булганин — заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР. Он выглядел еще свежо, лицо его с острой бородкой было оживленным, военная форма, пока без знаков различия, сохраняла следы недавней утюжки. Оказавшись против Булганина, маршал Шапошников от неожиданности замер на месте, даже забыв протянуть руку.

— Николай Александрович? — с удивлением спросил он.

— Ваш покорный слуга. — Булганин встал и, улыбаясь, подал Борису Михайловичу руку. — Будем воевать вместе...

Следующим обсуждали вопрос о связи. Докладывал генерал-майор

Псурцев. Он стоял у окна, освещенный поднявшимся над каснянским лесом солнцем, держал перед собой раскрытую планшетку с документацией и, сверкая строгими глазами, кратко и четко излагал сведения о нехватке в войсках полевого кабеля и аппаратуры, о боевых потерях, приводил примеры небрежения многих штабов и военачальников к радиосредствам, говорил о нарушении правил оперативных переговоров по телефону. С хорошим знанием дела генерал предлагал разгрузить шифровальные органы от второстепенной документации, которую можно передавать при помощи переговорных таблиц и кодированной карты, ставил вопросы об укомплектовании узлов связи фронта и армий аппаратами Бодо[1] и об улучшении организации связи как в оперативных, так и в тактических звеньях управления.

Вслушиваясь в уверенный, чуть осевший голос Псурцева, маршал Тимошенко отвлекся мыслью к тому, как сложен войсковой организм и сколько надо иметь светлых голов, чтобы обеспечить хотя бы элементарную его жизнедеятельность. Тот же Псурцев: прошел гражданскую войну, закончил Высшую школу связи Красной Армии, поработал на ответственных должностях в войсках, затем вновь продолжил учебу — в Военно-технической академии. Но это было только опорной ступенью для дальнейшей поступи, пролегшей после окончания академии через один из отделов Главного управления связи Наркомата обороны, через апартаменты Наркомата связи, где Псурцев возглавлял Главное телефонно-телеграфное управление, потом одиссея финской войны... В итоге — эта деловая уверенность, умение обнажить сердцевину дела и целеустремленно искать в ней главные изъяны. Ведь все то, о чем докладывал сейчас генерал Псурцев, касалось не только Западного, но и остальных действующих фронтов: связь — их кровеносная и их нервная система.

Когда генерал Псурцев закончил доклад, маршал Тимошенко благодарственно кивнул ему и раздумчиво произнес:

— Николай Демьянович, все, о чем вы говорили, прошу изложить на бумаге в форме приказа наркома обороны... И включите, пожалуйста, вот что. — Тимошенко медлительно перевел взгляд на раскрытое окно: — Армейские и фронтовые радиостанции, хотя бы по два комплекта, надо смонтировать на бронетранспортерах.

— Очень правильно! — с радостной поспешностью согласился Псурцев, делая запись в блокноте. — И надо бы защитить от пуль и осколков дивизионные и остальные армейские рации.

— Как это можно сделать? — спросил Тимошенко.

— Использовать броневые щиты...

На стене залы, противоположной окну, все больше разгоралось солнечное пятно. Его край, обретя контур головы и чуть сутулой спины, закачался — это перекрыл луч солнца вставший член Военного совета Булганин. Говорил он о том, что грозный опыт войны достигается ценой больших жертв и тяжких испытаний и что настало время решительно обратить его против врага...

Вслушиваясь в баритональный голос Булганина, Тимошенко подумал о Мехлисе, которого тот заменил на посту первого члена Военного совета. Подсознательно Семен Константинович связывал приезд на Западный фронт Мехлиса с тем до сих пор гнетущим его сердце жестким разговором в Наркомате обороны, когда туда приезжал Сталин с членами Политбюро. И маршал с прибытием в штаб фронта Мехлиса внутренне ощетинился, даже ожесточился. Что это, надзор за ним? Недоверие?.. К счастью, множество ежеминутных забот и грозных тревог отвлекали от этих мыслей. Потом они развеялись вовсе, когда Ставка назначила

---

[1] Бодо — буквопечатный телеграфный аппарат.

маршала Тимошенко главкомом Западным направлением и он убедился, что Москва изо всех сил помогает ему овладеть обстановкой на Западном фронте, неустанно создает на направлениях прорывов немецких войск новые рубежи стратегической обороны. Да и верно: можно ли соизмерить мимолетную, пусть глубокую, обиду со всем тем неизмеримо-трагичным, что происходит?.. А Мехлис носился по армиям, налаживал работу политических органов, точно формулируя их задачи в сложнейших условиях, всей силой своего резкого и неуемного характера стараясь влиять на ход событий. Казалось, никакие опасности не могли удержать на одном месте армейского комиссара первого ранга... Если б только не эта его подозрительность и резкость в обращении с людьми!..

Когда в штабе Западного фронта началось дознание, а затем предварительное следствие по делу генерала армии Павлова и других арестованных видных генералов, Мехлис вдруг заявил на Военном совете, что подозревает Павлова в сговоре с фашистами. Это так ошеломило Тимошенко, что ему при его пониженном слухе подумалось, будто он ослышался. С испугом посмотрел в сторону маршала Ворошилова и маршала Шапошникова. Заметил, что они даже изменились в лице, и понял — не ослышался... А ведь тревожное подозрение удручает подчас больше, чем доказательство.

«Вы так и меня можете причислить к пособникам Гитлера! — горячливо заметил Тимошенко, устремив на Мехлиса негодующий взгляд. — Павлов ведь мои выполнял распоряжения!»

«Разве по вашему распоряжению Павлов не управлял фронтом и дал возможность немцам уничтожить главные силы нашей авиации, колотить наши армии по частям, захватить наши склады?» — спросил Мехлис. Ни иронии, ни едкости в его голосе не прозвучало, а только укор, что Тимошенко не хочет с ним согласиться.

«Не играйте в слова! — сердито ответил Тимошенко и спросил: — Какие у вас доказательства измены Павлова?»

«Надеюсь, что Павлов сам запираться не будет». Мехлис обвел многозначительным взглядом всех присутствующих на Военном совете.

Тогда Тимошенко вызвал исполнявшего обязанности начальника особого отдела фронта Бегму. Тот явился не один, а вместе с приехавшим из Москвы начальником Управления особых отделов Наркомата обороны бригадным комиссаром Михеевым.

«Какие показания дают арестованные?» — сумрачно спросил у них маршал, не поднимая глаз от стола.

«Вину свою отрицают,— ответил Михеев.— Кроме Павлова».

«А что Павлов?!»

«Ругает себя... Признает, что виноват в неподготовленности войск округа, в потерях авиации на приграничных аэродромах, в потере штабом округа связи с армиями... Но категорически отрицает предательство».

«А у вас есть основания задавать Павлову такие вопросы?»

Михеев кинул озадаченный взгляд на отвернувшегося Мехлиса, затем на Бегму и после паузы ответил:

«Мы обязаны всесторонне ставить вопросы...»

Мехлис, предупреждающе подняв руку и требовательно посмотрев на Михеева, заставил его умолкнуть, а сам продолжил, вкладывая в слова всю свою убежденность:

«Мы ведь должны подумать и о том, как объяснить нашему народу и всему миру, почему Красная Армия отступает...»

Мехлиса бесцеремонно перебил Ворошилов:

«На каком основании вы делаете Павлова фашистом?! И в чем, по-вашему, Павлов не будет запираться?!»

«Павлов часто впадает в невменяемость, — бесстрастно сказал Михе-

ев, повернувшись к Ворошилову. — В такие минуты он может подписать любое обвинение...»

Наступила недобрая тишина. Мехлис даже потемнел лицом от негодования, что его не могут понять в таких, с его точки зрения, элементарных вопросах.

В это время из Ставки позвонил Сталин. По охрипшему голосу Тимошенко, по его сдержанным интонациям он, видимо, понял, что маршал крайне взволнован.

«Докладывайте, что там еще стряслось?» — донесся по проводам встревоженный голос Сталина.

«Мехлис подозревает, что Павлов и бывшие руководители его штаба — предатели, имели сговор с немцами! — запальчиво сказал в телефонную трубку Тимошенко. — Я считаю, что это вздор, а Мехлис требует от следователей добиваться у арестованных признания!»

Телефонная трубка какое-то время молчала, и в эти мгновения в мыслях Тимошенко — горячий вихрь: неужели Мехлис делает то, что приказал ему Сталин?..

В трубке послышался вздох, затем глухое покашливание, и Сталин спокойно попросил передать Мехлису, что он неплохой практик, а политик недальновидный... Нельзя, мол, наши общие ошибки, наши просчеты и нашу беду, что не хватило у нас времени, сваливать на военных... Пусть военные отвечают за свои ошибки, которых у них немало. А насчет предательства, Сталин возвысил голос, передайте Мехлису, что Гитлер ему скажет огромное спасибо за такую мысль. После паузы Сталин добавил, что Гитлер с нетерпением ждет не дождется каких-нибудь фактов, чтобы оповестить мир о том, будто в СССР поднимается его агентура — «пятая колонна»... Это, мол, был бы лучший клин между нами и нашими союзниками в борьбе с гитлеризмом...

На второй день новая стычка с Мехлисом.

...У Тимошенко тоска и усталось на дне души. Все в нем было напряжено, как готовая лопнуть струна. Постоянное ожидание обнадеживающих вестей как следствие его решений, а вместо них навал дурных, трагических. Поспешная выработка новых серьезных решений, поиск контрмер и, прежде чем дать им силу приказа, необходимость выверять их в Генеральном штабе, а также доказательно обосновывать перед Верховным. А время не ждало. И в одну из минут, когда Тимошенко, зная, что осуществление каждого оперативного замысла может иметь различные вариации, остановился на наиболее, с его точки зрения, приемлемой, Мехлис вдруг предложил свой вариант и начал его упорно отстаивать, но без убедительных мотивировок.

Верно: Тимошенко не очень тактично оборвал Мехлиса, грубовато напомнив ему, что стратегия и оперативное искусство — не детская игра в солдатики. Мехлис же не менее запальчиво ответил, что политический деятель коммунистического завтра не дитя малое и тоже обязан кое-что смыслить в военном деле... Тимошенко не нашел в себе сил спорить дальше и, к удивлению Маландина, Лестева и Мехлиса, покинул кабинет. Спустился на первый этаж, где размещался узел связи (это было еще в Гнездове), зашел в комнату генерала Псурцева и попросил его связаться по ВЧ со Сталиным. Крайне озадаченный, Псурцев был свидетелем нервного доклада маршала Тимошенко Сталину о том, что он не может дальше работать с Мехлисом, который без знания дела вмешивается в оперативные вопросы, тормозит их решение да еще доказывает, что как политический руководитель коммунистического завтра тоже смыслит в военном деле. Мембрана в трубке хорошо резонировала, и Псурцеву было слышно, как Сталин, выслушав маршала, протяжно и, кажется, с веселым удивлением произнес:

«Да-а, нашла коса на камень». Потом, вздохнув, не без иронии попросил напомнить Мехлису, что в коммунизм поодиночке не ходят, что для этого должно созреть все общество в целом.— «Как арбуз!..»

Помолчав, Сталин вдруг тихо засмеялся и сказал:

«Вы с Мехлисом лучше бы немцев грызли, а не друг друга...»

«Товарищ Сталин, я привык работать с политическими руководителями в согласии, —с отчаянием в голосе произнес Тимошенко. — Да и нет у меня времени для дискуссий с Мехлисом!..»

«Это вы верно сказали, товарищ Тимошенко, — вдруг строго перебил маршала Сталин. — Насчет согласия... Мужество создает победителей, согласие — непобедимых... Хорошо, мы еще подумаем».

Маршал Тимошенко понял, что убедил Сталина.

Будучи добрым человеком, он вернулся в кабинет с чувством виноватости перед членом Военного совета. И это ввело Мехлиса в заблуждение. Не без иронии армейский комиссар первого ранга заметил:

«Товарищ Сталин не любит, чтоб ему навязывали новые точки зрения на того или иного партийно-политического деятеля, которого он хорошо знает».

Семен Константинович вновь взорвался, хотя говорил сдержанно:

«Я ничего товарищу Сталину не навязывал, а просто доложил, что у нас на Западном фронте завелся «кабинетный стратег», который охотно критикует проведенную, особенно неудавшуюся, операцию, ничего не смысля в оперативном искусстве... Воображаемыми армиями, товарищ Мехлис, руководить легче, чем реальными; воображение и знание — вещи разные...»

Это были последние слова, сказанные маршалом Тимошенко Мехлису. Потом он поехал на командный пункт 20-й армии, а когда возвратился, узнал, что Мехлиса отозвали в Москву.

И вот теперь Булганин — уравновешенный, спокойный...

Требовательно зазвонил телефонный аппарат ВЧ прямой связи со Ставкой.

— Прошу тишины, — обратился Семен Константинович ко всем и снял трубку.— Слушает Тимошенко!

— Здравствуй, Семен Константинович! — послышался густой знакомый голос начальника Генерального штаба Жукова.

— Здравствуй, Георгий Константинович! — В голосе Тимошенко прозвучала радостная нотка.

— Ну как там, жарко под Смоленском?

— Жарко — не то слово... Кромешный ад! Гот и Гудериан вот-вот сомкнут внутренние фланги.

— Знаем, оперсводку получили. — Жуков подавленно вздохнул. — Не давай обнимать себя, а то так приголубят...

— Да, приголубят... Отбиваемся от их объятий из последних сил.— Тимошенко покосился на оперативную карту фронта.

— Слушай, Семен Константинович, что у вас там за эвакуационные настроения насчет Смоленска? — с беспокойством и сдержанной строгостью спросил Жуков.

— Эвакуационные? — удивленно произнес Тимошенко, ощущая, как в нем вспыхнуло раздражение. — Кто это поставляет Москве такую информацию?!

Жуков помедлил с ответом, потом осведомился более мягко:

— Неправильная информация?

— Странный вопрос, — обиженно проговорил Тимошенко. — Разве надо тебе объяснять, что мы попираем элементарные понятия об оперативном искусстве?.. Вот ты говоришь: не давай себя обнимать. Мы стараемся не давать, бьем по их клешням и в то же время не уходим из

мешков, рвем изнутри коммуникационные линии немцев, перемалываем их живую силу и технику, отсекаем пехотные дивизии от моторизованных и танковых, тормозим развитие операций... А по классическим образцам стратегии надо бы, оставив часть сил на съедение врагу, главные вывести из-под удара на заранее подготовленные позиции... Мы не идем на это, спасаем Смоленск и будем защищать его до последнего...

— Ладно, хватит дискуссий, — нетерпеливо, но будто с облегчением перебил Жуков маршала. — Я не зря поставил перед тобой вопрос о Смоленске. Товарищу Сталину стало откуда-то известно, что вы собираетесь сдавать город, несмотря на его телеграмму.

— Чушь! — сдерживая вспыхнувшую ярость, внешне спокойно бросил в телефонную трубку Тимошенко.

— Очень хорошо, что чушь, — совсем смягчившимся голосом сказал Жуков. — Тем не менее уже передают тебе по телеграфу новый приказ Государственного Комитета Обороны. В нем товарищ Сталин предупреждает командование Западного фронта от эвакуационных настроений по отношению к Смоленску, приказывает организовать мощную оборону города, драться за Смоленск до последней возможности. В приказе так и говорится: не сдавать врагу Смоленск и не отводить части от Смоленска без специального разрешения Ставки. Оборону Смоленска поддерживать активными действиями частей всего Западного фронта. Ответственность возлагается лично на тебя и на члена Военного совета Булганина...

— Ясно, — протяжно сказал Тимошенко, чувствуя, что его грудь будто придавила холодная глыба. Слова приказа словно размыли его уверенность в том, что Смоленск удастся удержать. Ему почудилось, что Ставке известно нечто большее, чем ему, и там, в Москве, пользуясь этой осведомленностью, трезвее оценивают создавшуюся в районе Смоленска обстановку. Стараясь подавить в себе остро вспыхнувшую тревогу, Тимошенко вдруг охрипшим голосом продолжил: — Будем выполнять приказ... Будем держать Смоленск... Но у нас нет достаточных сил для прикрытия направления Ярцево, Вязьма, Москва. Главное, нет танков.

— Сформулируй это на бумаге и давай шифровку на имя товарища Сталина, — посоветовал Жуков.

— И надо подбросить эрэсов... Могучая вещь! Одним залпом батарея уничтожает сотни фашистов, десятки танков и машин!

— Это тоже включи в шифровку... У меня все.

Услышав в трубке частые гудки, Тимошенко положил ее на аппарат и, взяв карандаш, начал торопливо делать для памяти краткие записи на чистом листе бумаги. При этом чувствовал на себе напряженные взгляды всех, кто присутствовал в кабинете. Стояла такая тишина, что слышно было, как где-то высоко в небе завывали на виражах истребители, роняя оттуда глухое татаканье длинных пулеметных очередей. И в этой тишине неожиданно зазуммерил полевой телефонный аппарат в темно-коричневой кожаной оболочке. Маршал неторопливо снял трубку, и она, щелкнув контактами аппарата, будто всхлипнула.

— Слушаю!..

Звонил с командного пункта своей армии генерал-лейтенант Лукин по линии, ночью проложенной через леса и болота на Дорогобуж, в обход Ярцева...

— Товарищ маршал,— непривычно потерянным голосом докладывал он,— немцы захватили южную часть Смоленска... Рвутся через Днепр в северную часть...

Семену Константиновичу показалось, что он ослышался, хотя мыслью, сердцем успел охватить трагическую глубину происшедшего.

— Повторите!— изменившимся голосом и громче обычного приказал в телефонную трубку маршал.

По этому изменившемуся голосу главкома, по лицу, вдруг постаревшему и ставшему бледным, все, кто присутствовал на Военном совете, поняли: случилось что-то чрезвычайное. Но никто не мог предположить самого страшного...

— Немцы в Смоленске!— безжалостно повторила телефонная трубка приглушенным голосом генерала Лукина.

Тимошенко обвел всех невидящим взглядом, беззвучно пошевелил почерневшими губами и с каким-то зловещим спокойствием сказал в микрофон:

— Михаил Федорович, я не слышал вашего доклада... Сгруппируйте все силы, которые у вас под рукой, прикажите артиллерии жестоко обработать участки за Днепром перед мостами... Что?.. Не слышу!..

Воспользовавшись паузой, генерал Псурцев, поднявшись со своего стула, с чувством неловкости сказал маршалу:

— Семен Константинович, пожалуйста, не забывайте о правилах оперативных переговоров...

— Смоленск взят!— вспылил вдруг Тимошенко, и в его голосе будто послышалась горькая жалоба на кого-то. Затем он вновь повторил в трубку:— Засыпьте снарядами подступы к мостам за Днепром и ворвитесь на ту сторону!.. А мы поддержим авиацией!.. Сегодня же надо вернуть Смоленск!

— Товарищ маршал, мосты через Днепр взорваны.— Донесшийся голос Лукина показался Семену Константиновичу бесстрастным.

— Взорваны?! Кем взорваны мосты?! Кто приказал?!

— Мосты взорваны по приказу начальника...— Голос Лукина вдруг исчез, мембрана телефона заглохла.

— Ал-ло! Какого начальника?! — по инерции переспросил Тимошенко. Потом, поняв, что связь оборвалась, положил на аппарат трубку, обвел всех кричащим от смятенных мыслей взглядом и остановил его на генерале Псурцеве.

Николай Демьянович порывисто встал.

— Сейчас приму меры! — сказал он, упреждая распоряжение маршала, и стремительно вышел из кабинета.

— Запросите, по чьему указанию уничтожены мосты через Днепр!— сурово крикнул ему вдогонку маршал Тимошенко.

Потрясение Семена Константиновича было столь сильным, что он, казалось, на какое-то время позабыл, где находится.

— Что происходит?! — задал ни к кому не обращенный вопрос Тимошенко.— Кто у нас тут еще командует фронтом?..— Потом он вдруг посмотрел на маршала Шапошникова, будто надеясь услышать от него ответ, и спросил: — Кто мог посметь без приказа взорвать мосты?

Борис Михайлович сидел у стола, непривычно сгорбившись и нервно постукивая длинными пальцами белой суховатой руки по расстеленной на столе карте.

— Неужели сработано в пользу немцев? — подавленно высказал догадку Маландин.— Так, что ли, надо понимать?

На его слова тоже никто не откликнулся, но они ужалили всех своей казавшейся очевидностью.

В зале наступило молчание, столь томительное и напряженное, будто все ждали взрыва. Потом из коридора послышались приближающиеся торопливые шаги, и в залу вернулся запыхавшийся генерал Псурцев, держа в руках папку. Подойдя к столу маршала Тимошенко, он, хмуря кустистые брови, открыл папку и сдержанно доложил, передавая бумаги:

— Приказ Государственного Комитета Обороны, запрещающий сдавать Смоленск... И вот телеграмма от начальника инженерных войск шестнадцатой армии.

Семен Константинович придвинул к себе влажный от клея бланк с покрывавшими его обрывками телеграфной ленты, пестрящей ровными рядками крупных печатных букв, пробежал по ним глазами, постигая смысл слов, которые уже слышал от маршала Жукова, а затем взял второй бланк — всего лишь с несколькими полосками телеграфного текста. Подавленно прочитал вслух:

— «Мосты через Днепр взорваны по приказу и в присутствии начальника Смоленского гарнизона полковника Малышева».

И опять тягостная тревожная тишина. Малышев... Фамилия знакомая: в последние дни она мелькает в оперативных сводках, поступающих из 16-й армии.

— Кто он, этот безумец? — тихо спросил маршал Тимошенко, сдерживая кипевший в нем гнев.

— Начальник Смоленского гарнизона,— напомнил генерал Псурцев, указывая рукой на телеграмму.

— Чем он командовал?!

— Он был заместителем по строевой части у командира шестьдесят четвертой стрелковой дивизии,— послышался голос генерал-лейтенанта Маландина.— У полковника Иовлева. Дивизию бросили защищать Минск, а Малышеву было поручено развернуть в Смоленске дивизию военного времени из запасников... Потом мы перенесли место формирования под Вязьму... Поручили полковому комиссару Гулидову, а Малышев возглавил гарнизон в Смоленске.

Маршал Тимошенко положил телеграмму в папку и сухо приказал генералу Псурцеву:

— Телеграфируйте Лукину, пусть этого Малышева арестуют и доставят сюда, в штаб фронта!

Псурцев вздохнул, понимая щепетильность своего положения: от своего имени отдавать такой приказ он не имел права. Поразмыслив, спросил у маршала:

— Прикажете передать ваше распоряжение прокурору фронта?

— Да, прошу вас.— Семен Константинович поймал себя на мысли, что это «прошу вас» он перенял у маршала Шапошникова, и взглянул в его сторону с чувством неловкости.

А Борис Михайлович будто ждал, когда Семен Константинович вырвется из плена бесплодных сейчас размышлений о Малышеве, и тут же спросил:

— Так что будем предпринимать, товарищ нарком обороны?

Семен Константинович уловил в вопросе Шапошникова скрытый упрек: мол, арестами дело не поправишь... Но упрек не уязвил его: сложилось все слишком серьезно, обстановка обострилась до крайности, до абсурда.

— Будем воевать! — сумрачно бросил Тимошенко.

— Верно, голубчик,— как-то буднично и устало произнес маршал Шапошников.— Надо выбить фашистов из Смоленска.

Все расходились из кабинета Тимошенко молча, не глядя друг на друга. Семен Константинович, оглушенный вестью о падении южной части Смоленска и взрыве мостов через Днепр, заспешил вместе с генералами Маландиным и Псурцевым на узел связи, еще не зная, какие новые распоряжения отдать командующим армиями, действующими на смоленском направлении, и тая в глубине души надежду, что доклад Лукина по какой-либо случайности не совсем соответствует истине.

Член Военного совета Булганин попросил у Тимошенко разрешения сесть за его стол, чтобы по телефону ВЧ связаться с Политуправлением

РККА. И когда Булганин остался в кабинете один и взялся за телефонную трубку, аппарат зазвонил: на проводе был Сталин. Услышав голос Председателя Государственного Комитета Обороны, Булганин покрылся холодным потом, поняв, что именно ему выпала тяжкая участь сообщить в Политбюро о том, что враг уже в Смоленске...

## 20

Как же все случилось?

Полковник Малышев Петр Федорович был высокообразованным в военном отношении человеком, и, несмотря на круговерть суматошных дел, которые непрерывно мяли и давили его как начальника гарнизона, он в отрывочные минуты отдыха или сидя в мчащейся машине пытался объемно постигнуть происходившее. Да, были неразбериха, сумятица, даже паника, через Смоленск непрерывно лилась река беженцев и раненых, а на запад шли маршевые роты войск, двигались колонны техники; город жестоко разбомблен с воздуха; немецкая авиация продолжает налеты днем и ночью; госпитали и больницы набиты битком искромсанными пулями и осколками, изломанными в обрушенных домах людьми; железнодорожный узел непрерывно отправляет на Вязьму и на Спас-Деменск составы с ценными грузами, а с востока принимает воинские эшелоны. Словом, война как война — начальнику гарнизона прифронтового города надо постоянно быть как патрону в патроннике ружья со взведенным затвором. Забота о противовоздушной обороне, охрана объектов города, вылавливание вражеских диверсантов и радистов, задерживание и приведение в боевое состояние отбившихся от своих частей красноармейцев и младших командиров, пресечение паники, дезертирства, трусости — все на нем, как на боге, творящем жизнь.

И в этом адском кипении военной повседневности Малышев пытался заглянуть вперед и угадать, как все сложится и что ждет его хотя бы в ближайшем будущем. Появление в районе Смоленска новых армий уже само по себе говорило ему о многом (по долгу службы он обязан был знать, где разместились их штабы и где выставлены «маяки», обязан был ведать о приходе воинских эшелонов и принимать меры не только к их быстрейшей разгрузке, но и к отправке людей и техники в нужные места). Становилось ясно главное — советское командование стремится успеть разгромить врага на Немане, Друти, Соже... Днепр поначалу виделся Малышеву недосягаемой для врага преградой... В своих размышлениях он приходил в конечном счете к выводу, что Смоленск пока в безопасности, а лично ему, полковнику Малышеву, опять чертовски не повезло (он давно считал себя невезучим в военной службе по сравнению с товарищами, с которыми учился в академии). Дивизию, стоявшую в Смоленске (он был заместителем по строевой части ее командира полковника Иовлева), подняли в первые дни войны по тревоге и бросили на оборону Минска, а ему и полковому комиссару Гулидову приказали оставаться в городе и формировать новую дивизию из «приписного» состава. Вначале это несколько утешило Петра Федоровича — перед ним открывалась перспектива стать командиром дивизии.

Но, как говорят, бог задумал, а черт загадал — по его и вышло. После того как немецкая авиация превратила центр Смоленска в развалины и разбомбила казармы военного городка, поступило распоряжение — полковому комиссару Гулидову ехать в Вязьму и там, а не в Смоленске развертывать новую дивизию, а полковнику Малышеву оставаться в городе начальником гарнизона и тянуть немыслимо тяжелую телегу нескончаемых военных дел.

А гарнизон-то — всего лишь три батальона ополченцев и батальон милиции и курсантов милицейской школы, не считая нескольких батарей противовоздушной обороны. Лавров славы с таким войском не пожнешь. Но полковнику Малышеву в высшей степени было присуще чувство долга, и он со всей энергичностью, правда, может, с чрезмерной суровостью (на службе он всегда был строгим и сурово-требовательным) взялся за наведение и поддержание порядка в прифронтовом Смоленске.

И вдруг в одном из поступивших приказов части Смоленского гарнизона стали именоваться стрелковой бригадой, а ее командиром значился полковник Малышев Петр Федорович... Бригада, конечно, не дивизия, но все-таки воинское соединение, и если оно будет, как полагал Малышев, укомплектовано людским составом и техникой согласно штатному расписанию военного времени, то это тоже внушительная сила, способная решать серьезные боевые задачи.

Не сбылись надежды Петра Федоровича. Никакого пополнения ему никто не дал. Бригада так и осталась в четырехбатальонном составе, а если смотреть правде в глаза, то, вместе взятые, эти батальоны могли бы сойти всего лишь за один более или менее полнокровный батальон, но очень слабо вооруженный. Правда, полковнику удалось сколотить для патрульной и охранной служб крепкую комендантскую команду из выздоравливавших легкораненых или отставших от своих частей, задержанных на контрольных постах, дотошно проверенных бойцов и сержантов.

Когда гарнизон полковника Малышева стал именоваться бригадой, поступил приказ о том, что бригада как войсковое соединение вливается в состав 16-й армии генерал-лейтенанта Лукина. Затем же начали следовать боевые приказы и распоряжения, в которых ставились конкретные боевые задачи по прикрытию подступов к Смоленску. Это встревожило Петра Федоровича: что могла значить в нынешнем составе его «бригада» в сравнении с армиями, которые прикрывали город? С запада и юго-запада вела упорные оборонительные бои 20-я армия, с северо-запада и севера защищались 19-я и 16-я армии, с юго-запада и с юга контратаковали 13-я армия да еще отдельная войсковая группа генерал-майора Чумакова. И хотя полковник Малышев знал, что 19-я армия генерала Конева и 16-я генерала Лукина только-только прибыли в район Смоленска и бросались навстречу врагу разрозненно, а 13-я армия состояла главным образом из штабов и штабных подразделений, ему стало ясно, что его четыре батальона не могли заметно повлиять на сложившуюся в районе Смоленска обстановку. В самом городе для них хватало дел — не только по прикрытию мостов через Днепр, охране электростанции, железнодорожного узла и многого другого, но и по подготовке города к уличным боям.

Однако, как говорят, начальству виднее, тем более что действительно бывают на фронте моменты, когда самый небольшой перевес в силах на отдельном участке в конечном итоге меняет всю обстановку в пользу добившихся этого перевеса. И полковник Малышев, как и полагалось истинному военному, приказы выполнял неукоснительно (бригада стала даже фигурировать в боевых донесениях, поступавших из 16-й армии в штаб фронта: то ставили ей задачу держать оборону севернее автомагистрали Минск — Москва, то перебрасывали на юг — прикрывать шоссе Красный — Смоленск). А ведь своего штаба у Малышева не было. Управлял он бригадой при помощи связных, посыльных и порученцев. Сам метался на автомобиле или мотоцикле между городом и командными пунктами батальонов...

Прежние надежды Малышева на то, что противнику из-за стольких водных рубежей да при таком активном сопротивлении наших армий не дотянуться до Смоленска, стали развеиваться окончательно. Реаль-

ную угрозу, нависшую над городом, подтвердил приказ командующего 16-й армией генерала Лукина, в котором указывалось, что на него, Лукина, возложена оборона Смоленска и что все воинские части, находящиеся в районе города, переходят в подчинение командования 16-й армии. Вслед за этим приказом полковник Малышев получил распоряжение отвести свои батальоны в черту города и включиться в подготовку Смоленска к уличным боям, которая велась до этого силами гражданского населения.

За все время, когда полковник Малышев возглавлял Смоленский гарнизон, у него, пожалуй, не было более важной и тревожной заботы, чем охрана двух каменных мостов через Днепр, соединявших главную, южную, часть города с заречной. Мосты прикрывались двумя зенитно-артиллерийскими батареями и непрерывно охранялись нарядами гарнизонных караулов. Петр Федорович был убежден, что если немцам не удастся разбомбить мосты с воздуха, то они, несомненно, попытаются взорвать их, забросив в город диверсантов.

Но ни того, ни другого пока не случилось. «Юнкерсы», разбомбив вокруг почти все строения, мостов не тронули, как, впрочем, оставили в целости некоторые административные здания, например добротные постройки бывшего штаба Белорусского военного округа[1] и городок Военно-политического училища. Это навело Малышева на мысль, что немцы неспроста «щадят» некоторые объекты. С ней, этой мыслью, особенно о мостах, он помчался в штаб 16-й армии — в лес, что близ совхоза Жуково за Московско-Минской магистралью.

Начальник штаба армии полковник Шалин Михаил Алексеевич, многоопытный, рассудительный штабист, участник гражданской войны, крайне удивился, узнав, что смоленские мосты до сих пор не заминированы. Прежнего убеждения Малышева, что заложенная в фермы мостов взрывчатка могла бы облегчить диверсию немецких агентов, Шалин не разделял и вызвал к себе в автобус начальника инженерной службы армии. Они тут же сочинили проект приказа, адресуя его начальнику Смоленского гарнизона полковнику Малышеву. В приказе, написанном красным карандашом на полулисте бумаги, категорически требовалось немедленно подготовить мосты через Днепр к взрыву, усилить их охрану и, если нависнет опасность захвата мостов противником, взорвать без промедления. Приказ этот выходил за рамки компетенции одного военачальника, и его решили совместно подписать командующий армией генерал-лейтенант Лукин, член Военного совета генерал-майор Лобачев и начальник штаба полковник Шалин.

Когда пришли с проектом приказа в землянку Лукина, то застали там и Лобачева. Прочитав подготовленный документ, оба генерала озабоченно переглянулись. Лукин спросил у Шалина:

— Но вы-то понимаете, что мосты эти стратегического значения?

— Понимаю, товарищ командующий, поэтому нельзя медлить ни минуты с подготовкой их к взрыву.

— Нужна санкция штаба фронта,— напомнил Лобачев.

— К утру санкция будет,— пообещал Шалин и объяснил Малышеву:— Взамен линий связи, перехваченных немцами, связисты сейчас прокладывают обходную — через дорогобужские леса.

— Сделайте запрос по радиотелеграфу,— приказал Шалину Лукин и подписался под приказом. Передавая бумагу на подпись генералу Лобачеву, Лукин сказал стоявшим рядом Малышеву и начальнику инженерной службы армии:— Заложите в фермы взрывчатку и подготовьте

---

[1] До создания Западного Особого военного округа существовал Белорусский военный округ, штаб которого находился в Смоленске. *(Прим. авт.)*

все к взрыву. В случае опасности звоните мне... Пока штаб фронта не даст «добро», эта бумажка не имеет силы.— Он указал пальцем на приказ, который уже подписал и Шалин.— Даем вам ее, как говорят, авансом, на аварийный случай.

— Ясно, товарищ командующий!

— Без согласования с нами мостов не взрывать! — уточнил генерал Лобачев и удрученно засмеялся:— Вот ситуация! Как у голодного, которому поднесли миску каши, а рот завязали.

Уезжая из штаба армии, полковник Малышев не ведал, что лежавшая в его полевой сумке небольшая бумажка, исписанная красным карандашом, спасет ему жизнь...

К вечеру 15 июля смоленские мосты были заминированы...

Части войсковой группы генерал-майора Чумакова истекали кровью, но рубеж на возвышенностях вдоль речки Лосвинки удерживали с самого утра. Разумно расставленные и закопанные в землю танки, кочующие батареи — остатки бывшей артиллерийской бригады — оказались главной ударной силой в отражении атак немецких танков и мотопехоты. И еще залповый ружейный огонь, которому начали обучать бойцов перед самой войной. После двух безуспешных атак немцы будто бы угомонились, но это могло значить, что они ищут пути обхода закопавшихся в землю наших войск или ждут, пока им окажут помощь с воздуха.

В минуту затишья к генералу Чумакову прибежал на командный пункт командир радиовзвода — щупленький, белобрысый младший лейтенант.

— Товарищ генерал, вас требует к радиотелеграфу штаб фронта!— возбужденно доложил он.

Федор Ксенофонтович заторопился в овраг, к замаскированной радиостанции, и застал ее экипаж во всеоружии: были наготове сменные позывные, ключи к переговорным таблицам паролей, а главное, на волне был тот, кто вызывал генерала.

Радисты — красноармейцы второго года службы, все в выцветшем обмундировании,— споро делали свое дело, и Федор Ксенофонтович через минуту уже знал, что с ним разговаривает начальник разведотдела штаба фронта. Оказывается, фронтовая радиоразведка подслушала открытые переговоры немцев об исчезнувшем, видимо попавшем в плен к русским, некоем полковнике Шернере; с ним были важные документы. И сейчас штаб фронта запрашивал Чумакова, не известно ли ему что-нибудь об этом Шернере, ибо, по всей вероятности, исчез он в полосе действий чумаковской войсковой группы.

Федор Ксенофонтович доложил о прямом попадании немецкой авиабомбы в автобус, где были полковник Шернер и полковник Карпухин, и о том, что предварительно изъятые у пленного документы отправлены в штаб фронта с нарочным-мотоциклистом. И тут же получил ответ, что мотоциклист в штаб фронта не прибыл и вряд ли прибудет, так как дорога между Смоленском и Ярцевом оседлана противником. Поэтому начальник разведотдела попросил прислать в штаб фронта запись допроса Шернера, если таковая есть, а также по возможности сообщить содержание изъятых у немецкого полковника документов.

Федор Ксенофонтович начал вспоминать документы Шернера, с которыми он знакомился, и решил, что, может быть, заслуживает внимания приказ командиру 29-й немецкой моторизованной дивизии генералу фон Больтерштерну. В нем требовалось от генерала принять меры к захвату мостов через Днепр в Смоленске. Значит, надо бы сперва сообщить об этом документе генералу Лукину, который отвечает согласно

полученному Чумаковым приказу за оборону Смоленска, а потом послать шифровку в штаб фронта, если уж трофейные документы туда не попали.

Погибшего полковника Карпухина заменил подполковник Дуйсенбиев, и Федор Ксенофонтович заспешил на командный пункт, чтобы поручить Дуйсенбиеву составить шифровку в штаб 16-й армии. Но только вышел из радиостанции, как невдалеке, в тени кустов разросшейся бузины, увидел полкового комиссара Жилова и капитана Пухлякова, начальника особого отдела, которого бойцы прозвали Поэтом. Пухляков носил рыжеватые, закрученные вверх усы, был по-гусарски брав, подтянут и всегда кидался в самое пекло, особенно когда надо было поднимать бойцов в контратаку.

Перед Жиловым и Пухляковым навытяжку стоял и о чем-то говорил незнакомый командир в запыленном танкистском комбинезоне, поверх которого было надето полевое снаряжение — ремень с портупеями, кобура с пистолетом и полевая сумка. Чуть сдвинувшись, ремни снаряжения вытемнили незапыленные полосы на синем комбинезоне. Рядом, под самыми кустами, стоял мотоцикл с коляской, в которой дремал красноармеец за ручным пулеметом, закрепленным поверх коляски в турельной вилке; красноармеец свесил во сне плотно забинтованную голову, и было похоже, что на нее надели белую шапку.

— Гонцы от генерала Лукина! — сообщил Жилов, увидев вышедшего из фургона радиостанции Федора Ксенофонтовича.

Командир в танкистском комбинезоне оказался старшим лейтенантом. Повернув к генералу серое от пыли и от усталости лицо, он посмотрел на него скорбно-строгими темными глазами, будто удостоверяясь, что перед ним был не кто-нибудь другой, а именно Чумаков, протянул ему зеленый, в сургучовых печатях, пакет. В пакете был приказ генерал-лейтенанта Лукина.

Приказ требовал от генерал-майора Чумакова немедленно отвести свою войсковую группу к Смоленску и занять оборону на ближних подступах к городу — с задачей прикрыть Рославльское шоссе. В приказе указывались рубеж и время его занятия, а сам генерал Чумаков вызывался в штаб армии для получения более точных указаний.

Будто все ясно и просто. Есть приказ — надо его выполнять. Но не так легко оторваться от противника в дневное время, когда на тебя нацелены его пушки, пулеметы, когда вслед за тобой могут устремиться танки. Да еще в такой запутанной обстановке: прибывший с пакетом офицер связи предупреждал, что все шоссе Красный — Смоленск, до деревни Хохлово, забито немецкими войсками, и потому надо пятиться левее, по полевым и лесным дорогам, да при сильных головных и боковых походных заставах.

Когда Чумаков направился по склону оврага вверх, к замаскированным блиндажам и траншеям командного пункта, чтобы отдать командирам штаба нужные распоряжения, его окликнул начальник особого отдела капитан Пухляков:

— Товарищ генерал, извините меня, пожалуйста, что не в подходящую минуту беспокою, но служба... — Пухляков щелкнул верхним клапаном желтой полевой сумки, извлек из ее кожаных глубин невзрачную голубую бумажку, исписанную фиолетовыми чернилами. — Тут мое начальство шифровку прислало... Просит вас срочно, даже безотлагательно, написать для Москвы объяснительную записку...

— Действительно, выбрали время. — Федор Ксенофонтович досадливо и озабоченно засмеялся. Затем, посерьезнев, спросил: — Что и кому надо объяснять?

— Запрашивают о каком-то майоре Птицыне, — с готовностью ответил Пухляков. — Я уже тут наводил справки...

— Птицыне? — удивился Федор Ксенофонтович, остановившись.

Фамилия эта была ему будто знакома, но сразу не вспоминалось, кому именно она принадлежит. А капитан Пухляков не мог подсказать, ибо заменил погибшего начальника особого отдела группы уже после того, как майор Птицын, получив ранение, был отправлен в госпиталь.

— В шифровке указывается, что вы передали с ним письмо своей семье.

— Верно! — Федор Ксенофонтович сразу вспомнил все: и как он в ночь перед войной, когда ехал в Крашаны, встретил на почте незнакомого городишка майора инженерных войск. Майор назвал себя «дорожником фронтового подчинения», хотя войны еще не было... Потом, когда уже шла война, этот майор, будучи раненным в ногу, оказался в его, Чумакова, группе, пробивавшейся на восток, и был неплохим инструктором по подрывному делу. После выхода из окружения и кратковременного лечения в полевом госпитале майор Птицын что-то делал, кажется, в инженерном отделе штаба дивизии полковника Гулыги, затем вновь был ранен, и Чумаков, случайно увидев его в санитарном поезде на Могилевском вокзале, действительно попросил отнести в Москве на 2-ю Извозную улицу письмишко для семьи, переехавшей туда из Ленинграда.

Все это Федор Ксенофонтович бегло рассказал капитану Пухлякову, но писать объяснительную записку ему было некогда. Капитан, впрочем, и не настаивал на записке, а торопливо строчил карандашом по чистой странице блокнота вслед за рассказом генерала.

— Но в чем дело? Что с этим Птицыным? — не без тревоги спросил Федор Ксенофонтович у Пухлякова.

— Не знаю, товарищ генерал, — откровенно ответил капитан. — Наверное, назначают его на какую-то важную должность... Война... Надо проверять людей...

И все-таки подсознательное беспокойство запало в душу Федора Ксенофонтовича. Не случилось ли что-нибудь дома?..

Но этот день, как и многие прежние, был наполнен столь мучительным напряжением и столькими опасностями, что все не связанное с отводом еще больше поредевших и до крайности измотанных частей к Смоленску улетучилось из его головы и сердца. К тому же генералу Чумакову не удалось самому до конца выполнить эту непростую операцию, проводившуюся под обстрелом, бомбежками и при нападениях немецких танков и мотоциклистов. Когда полуторка, в кабине которой Федор Ксенофонтович ехал рядом с шофером, миновала мосток через речку Сож и затем приблизилась к Рославльскому шоссе, слева, в продолговатой низине, над которой петляла дорога, взметнулись гигантскими черными метлами взрывы тяжелых снарядов. Затем взрыв огненной стеной вдруг закрыл все небо рядом с машиной, и Федор Ксенофонтович, успев ощутить тугой, горячий удар в машину и во всего себя, будто растворился в страшном грохоте.

Командование сводной войсковой группой принял полковник Гулыга. Федора же Ксенофонтовича, вторично раненного, отправили санитарным автобусом в Смоленск, в военный госпиталь... Федор Ксенофонтович пришел в себя в пути. Ощутил толчки мчавшейся по щербатой дороге машины, догадался, что он лежит на подвесных носилках, и, не открывая глаз, стал прислушиваться. Рядом слышался мужской разговор двоих — у одного голос густой, ворчливый и даже озлобленный, у другого ломкий, юношеский, с нотками недоумения и наивности. Это вели свой постоянный спор сержант Чернега и красноармеец Алесь Христич, которым полковой комиссар Жилов приказал сопровождать раненого генерала Чума-

кова в госпиталь — в Смоленск ли, Вязьму или хоть в самое Москву, куда прикажут врачи, — и отвечать за него головой. Алесь Христич, наученный горьким опытом, потребовал себе документ с печатью, подтверждающий суть приказа полкового комиссара, и такой документ действительно был написан, но вручен не Алесю, а сержанту Чернеге как старшему — один на двоих; и Алесь Христич канючил сейчас, чтоб Чернега все-таки отдал бумагу с печатью ему, ибо сержанту, в случае чего, и без бумаги поверят, что не дезертир он, а Христич, как известно, настолько невезуч, что может расшибить лоб о перину — опять влипнуть в какую-нибудь историю, подобную той, когда по своей глупости ни за что попал он под трибунал и чуть не был расстрелян.

— Жалко, что не шлепнули тебя, зануду, — ворчал Чернега. — Мне бы легче жилось!

— А что я тебе плохого сделал? — обидчиво огрызался Христич. — С любым может случиться!

— С тобой каждый день случается! То за дезертира его приняли, то чуть не шарахнул противотанковую гранату в броневик маршальской охраны!..

— «Чуть» не считается! — довольно засмеялся Христич.— За «чуть» взятки гладки!

— С тебя гладки, а с меня начальство такую стружку сняло, что век не забуду!

— Зато сержантское жалованье получаешь!

— Подавись ты этим жалованьем! — все больше распалялся Чернега. — Командовать такими олухами, как ты, я б за золотые горы не стал, если б не война.

— Почему это я олух? Почему?

— А кто поднял панику, что вода отравлена, когда те два чудика обожрались немецкой шипучки?! Я, что ли?! Не твоя разве работа?

— Ну моя! Но кто обожрался, тот и олух!

— Жалко, темную тебе не устроили. Ребята по твоей вине голодали до обеда — послушались психа, что завтрак на отравленной воде приготовлен, и все кусты облевали!

— Ничего, зато трава там расти лучше будет! — Христич по-мальчишечьи хихикнул.

Чернега снисходительно помолчал, вздохнул, затем заинтересованно спросил:

— Что у тебя в противогазной сумке вздулось?

— Это противотанковая граната, — охотно и даже весело ответил Алесь.— Та самая!.. Может, в музей когда-нибудь сдам.

— А пожевать ничего нет?

— Про жратву начальство должно было побеспокоиться! — с укоризной заметил Христич. — У меня самого кишки к позвонку прилипают.

— Потерпишь. А мне надо поесть — я диабетик.

— Диабетик? — удивился Христич. — А что это за профессия?

— Дурак ты, Христич! — Чернега зло засмеялся. — Диабетик — профессия... Ха-ха. Если бы ты сказал, что сифилитик — профессия, то я, может быть, и согласился.

Федор Ксенофонтович с самого начала не без интереса прислушивался к этой перебранке, а при последних словах Чернеги не выдержал и зашелся смехом, похожим на стон. И тут же в тело ворвалась боль. Он почувствовал, что плечо и шея его плотно и многослойно перебинтованы и что сделана свежая повязка на уже заживающей, но еще болезненной ране на челюстной ключице.

— Куда мы едем? — спросил он у притихшего при смехе генерала сержанта Чернеги.

— Уже в Смоленске. В госпиталь едем. — И Чернега начал усердно тормошить уснувшую в углу автобуса молоденькую санитарку. — Проснись, тютя, да подскажи дорогу в больницу!

Но девчонка, видать не спавшая много ночей подряд, только вяло мотала головой, а проснуться не могла.

— Стойте! Стойте! — заорал вдруг Алесь Христич, что-то увидев в открытое окно на улице, по которой их санитарный автобус ехал уже медленно, лавируя между обломками рухнувших стен, грудами кирпича и щебенки. — Остановитесь! Вон Иванютич голосует! — Христич тут же поправился: — Наш младший политрук Иванюта!..

На противоположной стороне улицы, у перекрестка, действительно стоял младший политрук Миша Иванюта. Рядом с ним, на захламленном тротуаре, высился тюк — хорошо упакованные в серую бумагу и обвязанные крепким типографским шпагатом свеженапечатанные листовки. Миша надеялся остановить какую-нибудь машину, которая направлялась в сторону Красного.

Появление «своего» санитарного автобуса, пусть и шедшего пока в противоположную сторону, обрадовало его несказанно. Но, когда увидел забинтованного Чумакова, сразу скис: и сердце дрогнуло от страха за доброго человека, и рухнула надежда, что «санитарка» скоро пойдет обратно.

— Давай сюда свои листовки, и двинулись, — мрачно приказал ему Федор Ксенофонтович. — Нет уже там наших, где были...

— А мы куда? — спросил Иванюта, когда затолкал тюк с листовками под носилки, на днище машины.

— В госпиталь, — ответила проснувшаяся наконец молоденькая медичка в мужском красноармейском обмундировании. Поправляя под сбившейся пилоткой рыжие волосы, она спросила: — Не знаешь, где он тут?

Все остальные в автобусе тоже вопросительно посмотрели на Иванюту.

— Нет... Знаю только, где комендатура, — как бы оправдываясь, ответил Миша.

— Давай в комендатуру! — распорядился генерал Чумаков. Его не покидала мысль хотя бы по телефону доложить командарму Лукину о документах полковника Шернера, да и обо всем остальном...

Федор Ксенофонтович чувствовал, что у него кружится голова, болит левое плечо и жжет шею ниже левого уха. Но, когда они подъехали к комендатуре, встал с носилок довольно бодро и, не обращая внимания на протесты санитарки, сошел при помощи Иванюты и Чернеги с автобуса.

Иванюта в присутствии генерала Чумакова держал себя на территории комендатуры как хозяин. За минуту он выяснил, что начальник гарнизона полковник Малышев только что откуда-то приехал и у него в приемной битком военного и гражданского люда.

— Дорогу генералу! — скомандовал Иванюта, когда они вошли в переполненную людьми приемную комнату.

Протиснулись к двери и без стука вошли в кабинет все трое. Сидевший за столом полковник Малышев, увидев появившегося генерала в бинтах, встал, но продолжал распекать стоявшего перед ним мужчину средних лет в очках, с бородкой, в белом парусиновом костюме за неработающий телефон.

— Чем могу быть полезен, товарищ генерал? — спросил Малышев, отпустив мужчину.

Федор Ксенофонтович ничего не успел ответить, так как внимание Малышева отвлек раздавшийся на улице шум. Прямо напротив распахнутого из его кабинета окна резко, с визгом тормозов остановился на брус-

чатке мощный восьмитонный грузовик «Ярославка», в котором на скамейках плотно сидели бойцы в касках и новеньком обмундировании, зажав между коленями автоматы и ручные пулеметы.

— Вот это силища! — с завистью в голосе сказал Малышев и, подойдя к окну, крикнул: — Убрать машину в тень!

Последние слова полковника были адресованы медлительно вышедшему из кабины грузовика плотному, несколько обрюзгшему майору в форме инженерных войск. На его груди тоже сверкал лакированным прикладом автомат ППШ. Когда машина проехала дальше, под кроны деревьев, майор, сделав шаг к окну, спросил:

— Будьте любезны, где можно найти полковника Малышева?!

— Я Малышев, заходите! — И полковник, наконец повернувшись к генералу Чумакову, повторил свой вопрос: — Так чем могу служить?.. — Но, увидев, что у того на побледневшем лбу выступили крупные капли пота, осекся и уже с участием и виноватостью продолжил: — Вам плохо?..

Федора Ксенофонтовича усадили на диван: у него действительно закружилась голова и остро заболело сердце.

— Позвать медсестру? — встревоженно спросил младший политрук Иванюта и требовательно посмотрел на стоявшего рядом сержанта Чернегу.

— Не надо, минутку передохну... Пройдет.

— Рюмку коньяку, товарищ генерал?! Поможет! — Малышев кинулся к шкафу, взял там распечатанную бутылку армянского коньяка, налил полстакана и поднес Чумакову.

Федор Ксенофонтович крупными глотками выпил коньяк, с облегчением перевел дух.

В это время в кабинет зашел майор. Придерживая левой рукой висевший на шее автомат, правую вяло вскинул к козырьку фуражки с черным околышем и доложил:

— Майор Ильивский! Командир отдельного саперного батальона фронтового подчинения! Прибыл с приказом принять под охрану мосты через Днепр!

— Слава богу! — с облегчением вырвалось у Малышева. — Эти мосты в печенках у меня сидят!.. Прошу документы.

Полковник Малышев внимательно изучал предъявленные ему майором бумаги с приказом о передаче мостов, а Федору Ксенофонтовичу будто холодную иглу воткнули в еще раньше заболевшее сердце. «Немец?!» — обожгла его полудогадка, и он покосился на Иванюту, который о чем-то перешептывался с сержантом Чернегой.

— Товарищ майор, вы из штаба фронта давно выехали? — безразличным тоном спросил Федор Ксенофонтович, откинувшись на спинку дивана и устало прикрыв ладонью глаза.

— Часа три, ну, может, четыре назад, — ответил майор, взглянув на наручные часы. — Собственно, мы не из самого штаба, а из Вязьмы...

— Немцы не достают огнем из Ярцева до автострады?

— Издали обстреливают шоссе. Там мы и задержались, — охотно отвечал майор.

— А вообще-то от Ярцева до Смоленска дорога не очень забита? — Спрашивая это, Федор Ксенофонтович помнил, что в пятнадцати километрах от Смоленска немцы сегодня перехватили шоссе. — А то я хочу махнуть в госпиталь прямо в Вязьму.

— Свободна дорога.

Эти слова майора окончательно убедили генерала Чумакова в том, что разговаривает он с немецким диверсантом.

— Приказ в порядке, — с удовлетворением сказал полковник Малышев, — а теперь прошу документы — и все какие есть. — Он виновато

взглянул на майора. — Извините, товарищ майор, время суровое — надо быть бдительным...

— Пожалуйста, пожалуйста! — Майор суетливо стал вынимать из нагрудных карманов гимнастерки удостоверение личности, партбилет, продовольственный аттестат на приехавших с ним бойцов.

Малышев внимательно изучил документы, написал какую-то резолюцию на продовольственном аттестате и все вместе вернул майору. Затем нажал на кнопку электрического звонка. Вошел младший лейтенант милиции с красной повязкой на рукаве.

— Дежурный по гарнизону явился! — не очень по-военному доложил он.

— Проводите товарища майора в административную часть — пусть возьмут продаттестат и поставят его людей на довольствие.

— Успеется с этим, товарищ полковник! — с нетерпением возразил майор.

— Минуточку,— подняв ладонь, оборвал его Малышев.— Здесь я хозяин! — И вновь к дежурному по гарнизону: — Потом вызовите начальника караула, и все вместе ко мне! В темпе!

Как только за вышедшим майором и за дежурным закрылась дверь, генерал Чумаков, будто и нераненый, подхватился с дивана и, задыхаясь от волнения и перенесенного напряжения, почти зашипел на полковника Малышева:

— Это же диверсант!..

— Тише... — Малышев испуганно приложил к губам палец и кинул быстрый взгляд на дверь, в которую уже ломился очередной посетитель.— Ко мне пока нельзя! — властно крикнул он посетителю.

Дверь закрылась, и полковник Малышев тихо спросил:

— Извините, с кем имею честь?..

Чумаков назвал себя и протянул удостоверение личности. Малышев открыл потертые корочки удостоверения и заулыбался:

— Сразу видна наша работа... Ржавчинка... А там все скреплено сверкающей проволочкой. На продовольственном аттестате старый шифр. Наши контрразведчики работают не зря и нас просвещают...

— Да и дорога на Вязьму перерезана! — напомнил Чумаков.

— Тоже знаю. — Малышев извинительно улыбнулся. — Но не мог же я сразу скомандовать ему: «Руки вверх!..» Во-первых, еще не ведал, кто вы... Вдруг один спектакль разыгрываете. Во-вторых, они, когда их разоблачают, немедленно пускают в ход автоматы... А там же целая орава! — Малышев кивнул в сторону окна. — Нельзя вспугнуть, иначе такой беды наделают...

Младший политрук Иванюта и сержант Чернега, окаменевшие вначале от неожиданного поворота событий, стали приходить в себя.

— Товарищ генерал, — зашептал Чернега, — у нас есть противотанковая граната! Ее одной хватит на весь их грузовик! Да еще, может, их гранаты сдетонируют, такое бывало, когда в гранатах запалы...

— Хорошая идея, — согласился Чумаков.

— А я, давайте, этого «майора»...— без особого энтузиазма вызвался Иванюта, может, потому, что такая задача по сравнению с той, какую брали на себя Чернега с Христичем, выглядела пустяковой.

— Только не вступайте с ним в объяснения, — строго напомнил Иванюте Малышев. — После взрыва гранаты сразу же пулю ему в затылок, и дело с концом...

Чумаков и Малышев остались в кабинете вдвоем. Через несколько минут из раскрытого окна послышался задиристый, но срывающийся от волнения голос Христича:

— Хлопцы, вот майор ваш сумку конфет вам передал!.. Ловите!..

Федор Ксенофонтович обрадованно догадался, что Христич бросил гранату вместе с противогазом, и мысленно похвалил паренька за сообразительность. И тут же от могучего и протяжного взрыва встряхнулось, будто собираясь обрушиться, здание — брызнула с потолка и стен штукатурка, вмиг обезобразив кабинет, закачалась люстра, слетели со стола бумаги вместе с чернильным прибором, а от оконных рам не осталось и следа. Взрывная волна так толкнула Чумакова и Малышева в грудь, что они, не устояв на ногах, ухватились друг за друга и оба плюхнулись на диван...

Выстрела же Иванюты никто в поднявшейся суматохе не услышал. Но во дворе, когда Миша, держа под подолом гимнастерки наган, еще крался за «майором», его увидел капитан-артиллерист — тот самый, который сегодня утром по недоразумению арестовывал Иванюту. Крайне пораженный тем, что сбежавший из-под ареста младший политрук (капитан был убежден, что это переодетый немецкий лазутчик) вновь оказался в расположении военной комендатуры и почему-то беспечно разгуливает по двору, он, капитан, вначале даже растерялся. Когда же на улице прогрохотал взрыв, да такой силы, что во дворе листья с деревьев посыпались, капитан на какие-то мгновения отвлекся от загадочного младшего политрука. Потом повернулся уже на пистолетный выстрел... Увидел лежавшего на земле майора и наклонившегося над ним Иванюту с наганом в руке...

В кабинет полковника Малышева силой пробился навстречу хлынувшим из приемной людям сержант Чернега и завопил:

— Там убивают нашего младшего политрука! Спасайте!..

Когда полковник Малышев выбежал во двор, то увидел Иванюту с окровавленным лицом, в разорванной гимнастерке. Избитого и обезоруженного, патрули-красноармейцы поднимали его с земли, а капитан-артиллерист продолжал снизу молотить его сапогом по чем попало.

— Смирно-о! — скомандовал первое, что пришло в голову, полковник Малышев. — Отставить!.. — Затем накинулся на капитана: — Тебе кто дал право на самосуд?!

— Так вот, убил! — Капитан потрясенно указал полковнику на лежавшее бездыханное тело «майора».

— Тебя тоже надо! — угрожающе-плаксиво сказал капитану сержант Чернега, глядя, как Иванюта вытирал платком с искаженного болью и испугом лица кровь и слезы.

— Как там?! — строго спросил Малышев у Чернеги. — Никто из гадов не уцелел?..

— Нет... На весь квартал разлетелись их душеньки, — удовлетворенно ответил Чернега, затем, вдруг скорчив болезненную гримасу, добавил: — Даже этот огрызок, Христич Алесь, что бросал им сумку с гранатой, не уберегся! Не успел упасть за ограду и поймал макушкой головы осколок!

— Насмерть?! — удрученно спросил вышедший во двор и прислушивавшийся к разговору генерал Чумаков.

— Если б насмерть, — с въедливой одобрительностью ответил сержант. — Ранило... Эта отрава еще попортит мне здоровье...

Федор Ксенофонтович в это время увидел в руках Малышева документы, изъятые у застреленного Иванютой «майора», и протянул руку:

— Дайте и мне взглянуть.

Он открыл книжечку удостоверения в сером затертом переплете и прочитал: «Майор Ильивский... командир отдельного саперного батальона фронтового подчинения...» Что-то знакомое для Федора Ксенофонтовича забрезжило в этом сочетании и звучании слов... Вдруг вспомнил случай

на почте ночью в канун войны: точно так же представился ему при знакомстве майор Птицын... Кажется, и документ похожий... Правда, тогда генерал не знал, что надо было обращать внимание на столь важную мелочь, как нержавеющая проволочка, которой прошивали немцы поддельные документы...

И вновь словно вспышка света в памяти — багрово-зловещая — разговор с начальником особого отдела Пухляковым: откуда появился в штабе майор Птицын и как давно знает его Чумаков?.. Неужели есть связь между теми прилетевшими по эфиру вопросами и родившимся сейчас подозрением?.. Подозрение ли? Неужели действительно был в его штабе враг?.. И послал в свой дом гадину? Впустил в свою семью?.. Что там, в Москве, могло произойти?

При этих нахлынувших нехорошей волной вопросах Федор Ксенофонтович ощутил себя так, словно глотнул чего-то отвратительного. В нем все больше стало зреть и шириться, тираня душу и обдавая мерзким холодком страха сердце, предчувствие беды. Шевельнулась удручающая мысль о том, что он с этим, еще туманно-призрачным предчувствием уезжал из Ленинграда за двое суток до начала войны...

По большакам, шоссейным, полевым и лесным дорогам двигались к Смоленску войска — через леса и села, овраги и возвышенности. Войска спешили к Смоленску — наши и немецкие.

Сбитые стальными накатами танков Гудериана с рубежей обороны или получившие приказ отойти на ближние подступы к городу, советские подразделения откатывались с арьергардными боями — на север и северо-восток,— стараясь не дать врагу столкнуть себя с дорог, не позволить ему обогнать и упредить в выходе к Смоленским крепостным стенам.

Но «сила и камень рвет». Сила была на стороне захватчиков. Сила и скорость... Скорость и численность... Мотомеханизированные колонны немецких полков, впереди которых двигались ударные танковые группы, сопровождаемые автоматчиками-мотоциклистами, сумели развить скорость особенно на Рославльской и Киевской шоссейных дорогах и на Краснинском большаке. Протаранив отступавшие колонны красноармейцев и разметав их в стороны, немцы вечером 15 июля с трех сторон подошли вплотную к Смоленску.

На южной и юго-западной окраинах города врага встретили ружейно-пулеметным огнем отряды добровольцев-истребителей и отряд милиции. Внезапный огневой удар остановил первые волны немецких мотоциклистов и автоматчиков. Но вскоре на позиции отрядов был обрушен мощный минометный огонь, затем перешли в атаку танки, и наша оборона была смята. Враг ворвался в Смоленск.

Две стрелковые дивизии 19-й армии, которым было приказано форсированным маршем перекантоваться с севера на юг от Смоленска, не успели занять указанный им рубеж обороны по реке Сож, да и силы у них после кровопролитных боев под Витебском были ничтожными.

Бой за южную часть города длился всего лишь несколько часов. Но ничем не измерить его накала, упорства, трагичности. Успевшие отойти в пределы городских крепостных стен красноармейские подразделения из отряда подполковника Буняшина слились с батальонами народных ополченцев и начали совместно вести очаговые оборонительные бои. Каждый каменный дом и квартал, каждая улица и площадь стали аренами кровавого единоборства. Все больше и больше пылало чадных костров на мостовых и тротуарах, в скверах и на перекрестках — это горели немец-

кие танки и бронетранспортеры, в которые попали бутылки с горючей жидкостью, брошенные из окон домов... Но дома, их каменные стены не только укрывали, создавая удобства для засад и внезапных нападений... Они еще и разобщали, отторгали от улицы, от города, от однополчан... Засевшая на этажах дома горстка людей, когда ей не могли уточнить боевую задачу, доставить боеприпасы, когда она не знала, удержались ли в соседнем доме, ближайшем квартале и в какой мере в каждый данный момент полезна ее боевая активность в занятом ею доме, — эта горстка людей начинала ощущать себя потерянно, будто в ночном лесу среди хищных зверей. Тяжелое это состояние, но бросаемые связки гранат и бутылки, от ударов которых горело железо, ружейный и пулеметный огонь из окон домов продолжали тормозить продвижение захватчиков к центру города. Вспыхивали новые немецкие танки, грузовики, транспортеры. Усиливался ответный минометный и артиллерийский обстрел. Под ударами мин, снарядов и авиационных бомб дома становились братскими могилами защитников Смоленска.

Не было у полковника Малышева никаких возможностей объединить оборонительные очаги в единую систему огня и действий, ибо на стороне захватчиков многократное численное превосходство, главным образом в танках. Сопровождаемые мотопехотой, они выискивали слабо прикрытые проходы, переулки и рвались к Днепру, чтоб захватить мосты, овладеть плацдармами на северном берегу Днепра и обеспечить механизированным корпусам группы немецких армий «Центр» возможность взять в железные клещи главные силы советских войск Западного фронта.

Южную часть Смоленска пришлось оставить. По мостам устремились в Заднепровье госпитальные машины с ранеными, врачами, медсестрами, эвакуировались «обитатели» Лопатинского сада — руководители областного комитета партии, облисполкома, районов города.

На одном из мостов собрался «летучий» военный совет: раненный осколком в висок полковник Малышев, первый секретарь обкома Попов, председатель облисполкома, начальник управления НКВД области... Решали единственный вопрос: взрывать или не взрывать мосты. Все сходились на том, что надо взрывать. Но связи со штабом 16-й армии не было...

На мосту, рядом с совещавшимися, затормозил санитарный автобус. Из него вышел генерал Чумаков, перебинтованный, измученный. Он представился Попову, узнав в нем первого секретаря обкома партии, а затем обратился к Малышеву:

— С Лукиным связь отсутствует?

— К сожалению, да.

— Тогда прошу учесть и мое мнение: надо мосты взрывать. — Он направился к автобусу и, поднявшись на ступеньку, сказал Малышеву: — Я готов, Петр Федорович, делить с вами ответственность. На нашей стороне оперативная целесообразность.

Малышев задумчивым взглядом проводил автобус и удрученно ответил:

— В военных решениях коллективки не в почете... Голову подставляет тот, кто отдает приказ...

К сожалению, Малышев оказался прав. Через два дня после того как мосты были взорваны, в расположении войск 16-й армии, пытавшейся всеми силами отбить у немцев Смоленск, приземлился самолет, а в нем представитель военной прокуратуры Западного фронта с ордером на арест полковника Малышева Петра Федоровича... Но прав оказался и генерал Чумаков: при последующей, более углубленной оценке оперативной обстановки в районе Смоленска восторжествовал здравый смысл.

Ковровая дорожка будто плыла навстречу Молотову. Бордовой полосой в зеленом обрамлении она протянулась через весь длинный и светлый коридор, по которому неторопливо шел нарком, углубившись в трудные мысли и ощущая крайнюю усталость от бессонных ночей. Народный комиссар иностранных дел нес красную папку с важными документами. Среди них шифровка, извещавшая Советское правительство о том, что сегодня утром в Японии ушел в отставку кабинет Фузимаро Коноэ. И сейчас предстояло не только обсудить ее с членами Политбюро и Государственного Комитета Обороны, но и высказать свои предположения о вероятных последствиях столь внезапной смены японского кабинета.

Последствия же могли быть самые грозные, вплоть до немедленного нападения Японии на советский Дальний Восток. А война на два фронта, когда и на одном Красная Армия истекает кровью от неравенства сил и преимущества немцев в авиации и танках, могла еще острее поставить вопрос — устоит или не устоит Советское государство под напором объединенных сил империализма. Тем более что и Турция, прикрываясь нейтралитетом, усиленно готовится к агрессии против Советского Союза, открыто заявляя о своем желании присоединить к себе советское Закавказье, Крым и Поволжье. А Иран, блудливо пряча глаза, с напускным простодушием превращает свою северную часть в германский плацдарм для нападения на СССР с юга: Советскому правительству в подробностях известно о создании в Иране немецких складов оружия и боеприпасов, о прибытии туда большого числа немецких офицеров... Нужны были срочные и внушительные меры советской дипломатии, необходимы хоть какие-то изменения в нашу пользу на советско-германском фронте...

Остроту ситуации ощущал весь мир. Клокотали страсти в буржуазных парламентах, неутомимо совещались президенты и министры, раскладывали тайные карты перед руководителями своих правительств генштабы и разведцентры. Велась интенсивная, пахнущая порохом мыслительная борьба с алчной надеждой извлечь из начавшейся схватки двух миров любую пользу, хоть и томила при этом буржуазных политиков тревога, как бы самим не сгореть в набиравшем силу пламени войны. Былое скептическое состояние видных умов буржуазного мира по отношению к Советской стране сменилось удивлением и тревогой.

А народы Европы и всего мира? Неужели они до сих пор не распознали, что несет им «новый порядок» Гитлера, при котором все, кроме «германской расы», обречены на рабство? Неужели концентрационные лагеря, пожирающие миллионы людей всех национальностей, никого и ничему не научили? Ведь диалектика событий, несомненно, должна привести к объединению всех антинацистских сил хотя бы в Европе!..

Да, сейчас советской дипломатии надо было точно знать, какими глазами и с какими чувствами следит мир за развернувшимся военным противоборством.

Наркомат иностранных дел СССР всей работой своего сложного организма чем-то напоминал в эти дни хорошо поставленную сейсмическую службу, непрерывно ведущую огромный комплекс наблюдений за колебаниями политической почвы континентов. Испытывая острую нехватку нужных сведений, советские дипломаты неустанно искали взамен порушенных каналов связи новые возможности прослушивать пульс планеты в разных ее болевых местах и накапливали информацию — горячую, дышащую страстями, загадочностями, часто угрожающую, зловещую, реже обнадеживающую. А Наркоминделу постоянно приходилось решать самые сложные государственно-политические ребусы, причудливые комбинации дипломатических пасьянсов, чтобы разгадывать значение проти-

воречивых военно-политических примет, признаков, явлений, дипломатических шагов — явных и тайных, чтобы выверять и доказательно подтверждать напрашивающиеся прогнозы и готовить для Политбюро, члены которого получали те же шифровки, первичную оценку событиям, несшим в себе суть намерений правителей той или иной страны, оказавшейся в орбите грозного противоборства.

В кабинет Сталина, где почти непрерывно заседало Политбюро ЦК, нарком иностранных дел должен был идти, неся с собой даже не золотоносную породу сведений, а уже промытые частицы драгоценного металла истины. На Политбюро тщательно и подчас весьма критично взвешивали и оценивали россыпь этой истины, сообща искали взрастившие ее пласты, определяли степень родства с другими истинами и часто погружались в пучину таких тревог, что казалось, солнце на небе тускнело! Даже Англия и США, подав надежды на совместную борьбу с гитлеровской Германией, настораживали загадочностью своей политики. Впрочем, загадочностью ли? Ведь ясно, что монополисты этих стран меньше всего заботились о сохранении Советского государства; не зря же Гарри Трумэн, видный член американского сената, уже на третий день после нападения фашистской Германии на СССР заявил со страниц «Нью-Йорк таймс»: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше...» В этой мысли четко сквозила суть политической и военной стратегии американских и английских правящих кругов. А Советское правительство надеялось своей внешней политикой, своими усилиями на фронтах и внутри страны все-таки создать ситуации, выгодные для себя и опасные для третьей стороны — гитлеровской Германии.

И вот сейчас Молотов шел на Политбюро с новыми тревогами. Недалек путь к кабинету Сталина, однако мысли успевали, словно ткацкий челнок, приносить соединительную нить из прошлого в сегодняшний день и опять уносить в прошлое, не столь уже далекое, когда Япония, отвергнув неоднократные предложения Советского Союза о нейтралитете, силой оружия попыталась прощупать мощь Красной Армии и склонить Советское правительство к сговорчивости на основе условий японского правительства. Но, как говорится, пришла по шерсть, а ушла стриженой: Красная Армия силой оружия, а Советское правительство гибкостью политики укротили аппетит Японии.

Молотову вспомнились приторно-учтивые улыбки и косые щелки глаз за стеклами очков вначале японского посла Того Сигенари, а затем сменившего его Татекавы; оба они по поручению своего правительства уже сами настойчиво предлагали заключить пакт о нейтралитете. И в апреле 1941 года, когда министр иностранных дел Японии Иосуке Мацуока, побывав в Германии и Италии, заехал в Москву, советско-японский пакт был подписан сроком на пять лет.

Мацуока отбывал из Москвы с чувством победителя, полагая, что выиграл дипломатическую битву, за которой последует отвод советских войск с Дальнего Востока. А Сталин и Молотов, ведшие переговоры с японским министром, считали, что победа на их стороне, ибо хорошо знали расстановку политических сил в Японии, сложившуюся к тому времени. Если министр иностранных дел Иосуке Мацуока, опираясь на поддержку председателя тайного совета Хара, министра внутренних дел Хиранума, члена военного совета принца Асака и других влиятельных лиц, был сторонником нападения на Советский Союз сразу же, как только развяжет войну Германия, то не менее влиятельная группа во главе с премьер-министром Фузимаро Коноэ, настроение которой выражал министр — хранитель печати Хидо, не отказываясь от агрессивных планов

против Советского Союза, проводила в первую очередь политику создания под эгидой Японии «великой восточноазиатской сферы взаимного процветания», в которую должны быть включены Китай, Индокитай, Голландская Индия и другие страны южных морей.

Однако после того, как Германия, развязав агрессию против Советского Союза, достигла в первые недели войны значительных успехов, политический климат в Японии потерял устойчивость. Советская разведка прилагала все усилия, чтобы точнее ориентировать об этом свое правительство. Москва стала получать донесения о непрерывном наращивании сил Квантунской армии, нацеленной против СССР. Ее солдаты и офицеры каждый час ждали приказа о начале военных действий. Несколько позже стало известно, что 2 июля на императорской конференции председатель тайного совета Хара заявил: «Я прошу правительство и верховное командование атаковать СССР как можно скорее. Советский Союз должен быть уничтожен». Военный министр Тодзио поддержал Хара, уточнив лишь, что нападать надо на СССР в тот момент, когда он, «как спелая хурма, готов будет упасть на землю».

По-прежнему колебался только премьер-министр Фузимаро Коноэ. Но теперь он сложил с себя полномочия. Значит, по всей вероятности, в ближайшее время надо ждать нападения вооруженных сил Японии на дальневосточные границы Советского Союза?

С этим холодившим сердце вопросом Молотов зашел в кабинет Сталина. И будто наткнулся на невидимую преграду: по кабинету многоголосо перекатывался мужской хохот. Сквозь табачный дым увидел Сталина в конце длинного стола. Навалившись грудью на торец, он держал в руке какую-то бумагу, смотрел в нее и глухо посмеивался. Ему вторили, громко и раскатисто, сидевшие за столом Калинин, Щербаков, Мехлис и Каганович. Особенно выделялся тонкий смех Щербакова, который, сняв очки, промокал носовым платком выступившие на глазах слезы и вытирал вспотевшее полное лицо.

Оторопь в глазах вошедшего Молотова развеселила всех еще больше.

— Над чем смеются столь видные большевики? — спросил Молотов, направляясь в глубь кабинета. Он сел на свободный стул близ Сталина и, положив папку на зеленое сукно, раскрыл ее.

— На, читай. — Сталин прикрыл папку Молотова бумагой, которую держал в руках.

Молотов увидел донесение генерала Еременко с Западного фронта. В нем описывался первый эффект применения наших реактивных минометов БМ-13, о существовании которых ни наши обороняющиеся войска, ни тем более противник не знали. Еременко скупо, но с впечатляющей красочностью сообщал о невообразимой панике гитлеровцев, когда на их расположение навалился ужасающе ревущий смерч, взрывая и испепеляя все вокруг. В документе рассказывалось и о потрясении наших войск, когда над ними со страшным скрежещущим воем, изрыгая хвостатое пламя, стремительно проносились огромные сигаровидные снаряды.

— Да, потешно,— сухвато сказал Молотов, не разделяя общего веселья, и отложил донесение в сторону. — А главное — обнадеживающе...

Сталин скосил на Молотова прищуренный глаз и хмыкнул в усы:

— Знаешь, почему смеемся?.. Вспомнили, как года полтора назад Ворошилов рассказывал о залпе испытательного образца этого же ракетомета на полигоне. Конструктор, правда, предупредил его, что будет жутковато, но все равно при первом залпе все чуть не слетели с вышки...

— Видимо, без меня это было. — Молотов та́к и не развеселился.— При мне приняли решение о запуске в произво́дство ракетометов бэмтринадцать и о формировании специальных частей.

Сталин тут же помрачнел, опустил взгляд и сказал:

— Да, к сожалению, только за день до начала войны мы смогли принять такое решение, — а затем, после паузы, спросил, обращаясь к Молотову: — У тебя, чувствую, тревожные вести?

— Те же, что и у тебя. — И нарком иностранных дел, взяв в папке шифровку о событиях в Японии, положил ее перед Сталиным.— Но какие будут последствия?

В кабинете наступила тишина. Все заметили, что Сталин, скользнув взглядом по документу, потускнел еще больше. После паузы он тихо произнес:

— Смена правительства в этой ситуации ничего доброго нам не сулит. — Сунув в рот нераскуренную трубку, он почмокал губами и спросил у Молотова: — А какие прогнозы у специалистов по Японии?

— Если новый кабинет поручат формировать тому же Коноэ, — будто размышляя вслух, заговорил Молотов, — тогда есть некоторые основания полагать, что японцы временно поостерегутся нападать на нас, а будут решать свои проблемы в Юго-Восточной Азии и выжидать, как будут складываться события на советско-германском фронте...

— Ну, а если Тодзио станет премьером? — Сталин упредил вопросом развитие мысли Молотова.

— У тебя, может, есть сведения по линии разведки? — Молотов остановил на Сталине напряженный взгляд и, не дождавшись ответа, сказал: — Если военный министр Тодзио будет формировать кабинет, о чем мы узнаем сегодня же или, в крайнем случае, завтра, значит, возможна немедленная агрессия со стороны Квантунской армии...

— Да, — согласился Сталин, подавив вздох. — Они бросятся на нас с суши, с моря и с воздуха! Это и разведка подтверждает... Вслед за японцами нападет Турция... Но мы на другое и не рассчитывали, хотя и перебрасываем с Востока часть сил на Запад. Надо быть в полной боевой готовности на Востоке и на Юге... — Сталин тяжелым, невидящим взглядом обвел лица сидевших за столом и продолжил: — Они нападут немедленно, даже независимо от того, Коноэ или Тодзио станет главой нового правительства, если только мы сдадим Смоленск и пустим немцев к Москве и если еще сдадим Киев... Немедленно нападут! А Англия и Америка тогда махнут на нас рукой и начнут сообща готовить к обороне против фашистского блока свои континенты и свои владения. У них забота — не допустить Германию к мировому господству.

Раскрытые окна постепенно выдохнули табачный дым, и кабинет наполнился рассеянным светом солнца. Все молчали, тягостно размышляя об услышанном от Сталина и Молотова. Сталин, заложив руки за спину, стал прохаживаться по ковровой дорожке вдоль стола, сумрачно глядя себе под ноги. Нахмуренные брови, прятавшие глаза, и темноватое, в оспинах, лицо выдавали сумятицу обуревавших его чувств и мыслей. Тишину нарушил Молотов.

— Если на фронте продержимся до осени, обстановка может разрядиться, — сказал он, угадывая ход сомнений Сталина. — И японцы и турки вряд ли решатся начинать войну на пороге зимы.

Усталое лицо Сталина будто смягчилось, глаза блеснули желтоватыми белками, и их темные зрачки остановились на Молотове.

— Продержаться — это первое и обязательное условие, но не единственное. — Глухой голос Сталина будто чеканил слова. — Мы ведем сейчас и дипломатическую битву. Ее надо тоже выиграть! Надо, чтобы весь мир убедился, что мы не одиноки, что создана и с каждым днем ширится антигитлеровская коалиция государств и народов, пусть пока ее реальная сила равна нулю! Это первое...

— Как и решено на Политбюро, — сказал Молотов, похлопывая рукой по папке,— принимаются меры для установления дипломатических

отношений с эмигрантскими правительствами Чехословакии, Польши, Бельгии и Норвегии... Сегодня посылаем наш проект соглашения чехословацкому правительству...

— Хорошо. — Сталин одобрительно кивнул и продолжил: — Второе: всеми возможными средствами надо не допускать расширения фашистского блока и образования новых очагов агрессии. — И спросил у Молотова: — Что у тебя имеется по этому вопросу?

— Проект очередного предупреждения правительству Ирана, чтобы оно ликвидировало опасность нападения на нас со своей территории.

— Своевременная мера, — согласился Сталин. — Только надо помнить о нефтяных интересах Англии в Иране. Не столкнуться бы.

— Конфликта не допустим, — успокоительно сказал Молотов.

— Итак, главная задача на дипломатическом фронте, — подытожил Сталин разговор,— расширять антигитлеровскую коалицию и сужать рамки фашистского блока.

Заметив, что Щербаков записывает в блокнот сказанное им, Сталин подошел к Щербакову и, постучав мундштуком трубки по столу рядом с его блокнотом, добавил:

— И вы, товарищ Щербаков, можете многое сделать в этом плане. Мы смотрели далеко вперед, когда назначали вас руководителем Советского информационного бюро. Вы политик чуткий, гибкий и должны сами понимать: Совинформбюро — это зеркало, в котором отражается наше положение на фронтах и внутри страны. В это зеркало пристально смотрит не только наш народ, но и весь мир.

— Понимаю, товарищ Сталин. — Щербаков кивнул и поправил очки, что он делал всегда, сосредоточивая свое внимание.

— События, особенно на фронтах, — продолжил Сталин, вновь бесшумно зашагав по ковру, — надо показывать правдиво, но без излишней драматизации — спокойно, сдержанно... Весь мир должен чувствовать по вашим сводкам, что мы не щепка в бурном потоке событий, а могучий корабль, управляемый твердой рукой партии большевиков. И не иначе, как бы трудно для нас ни складывались события на фронтах.

— Товарищ Сталин, генштабисты часто усложняют нашу задачу,— сказал Щербаков, когда Сталин остановился у своего рабочего стола и начал набивать табаком трубку. — Фронтовые корреспонденты Совинформбюро сообщают, например, что такой-то пункт оставлен нашими войсками, а Генштаб не всегда подтверждает. Как нам быть в таких случаях?

— Не мельчиться в суждениях и выводах... Мы прикажем Жукову, чтоб в Генштабе за информацию для Совинформбюро отвечал один или два человека. — Сталин раскурил трубку, и на всех пахнул душистый запах табака.— А корреспондентам объясните, что они аккредитованы при Военных советах фронтов и поэтому пусть согласовывают свою информацию на местах. Ведь если командующий фронтом или армией не спешит доносить в Москву о сдаче населенного пункта — это не всегда боязнь ответственности. Возможно, он надеется вернуть населенный пункт или осуществляет какой-то оперативный маневр, и тут корреспонденты не должны торопиться.

— Тем более что сверхоперативная информация, — дополнил ответ Сталина Мехлис, — может помогать ориентироваться противнику.

— Но противнику может быть на руку и ваша сверхреволюционная бдительность, товарищ Мехлис! — В словах Сталина прозвучало раздражение, и он так взглянул на Мехлиса, что тот внутренне подобрался, будто почувствовал опасность.

— Вы со мной не согласны, товарищ Сталин? — настороженно спросил Мехлис, и лицо армейского комиссара первого ранга порозовело, при-

близившись цветом к малиновым петлицам его зеленой гимнастерки, в которых теснились по четыре крытых красной эмалью ромба. — Ведь мы и сами внимательно следим за тем, что обнародует противник. Значит, должны помнить...

— Должны помнить, — перебил его Сталин, — о тонкостях нашей политической стратегии, как своеобразном аккомпанементе вооруженной борьбы. — И он опять подошел к своему рабочего столу, посмотрев оттуда на собеседников, как бы призывая их к вниманию. — Вы не задумывались, товарищи, вот над чем... В каждой стране, на которую нападала фашистская Германия, находились силы, сочувствующие Гитлеру. Везде поднималась «пятая колонна», появлялись свои квислинги... Не оказалось их только в Советском Союзе.

Несмотря на наше совсем недавнее буржуазное прошлое, у нас к началу войны не оказалось ни социальной почвы, ни реальных сил для появления «пятой колонны», и это при том, что у тысяч и тысяч людей Октябрьская революция отняла их состояние, оставив только право трудиться и жить как все. — Голос Сталина чуть возвысился, что означало — главные его мысли впереди. — Нам важно знать и то, как мы выглядели даже со стороны Троцкого, учитывая, что он имел кое-какое представление, из чего складывается крепость Советского государства... Вот что писал господин Троцкий, когда в Германии пришел к власти Гитлер. — Передвинув на столе бумаги, Сталин взял тоненькую желтую папку и, раскрыв ее, неторопливо стал читать: — «Можем ли мы ожидать, что Советский Союз выйдет из предстоящей великой войны без поражения? На этот откровенно поставленный вопрос мы ответим так же откровенно. Если война останется только войной, поражение Советского Союза неизбежно. В техническом, экономическом и военном отношении империализм несравненно сильнее. Если он не будет парализован революцией на Западе, то он сметет социальный строй, рожденный Октябрьской революцией».

— Косноязычно, однако политическая формула ясна, — заметил Молотов.

— Как дважды два! — Сталин небрежно швырнул брошюру на стол. — По Троцкому: если нас не спасет восстание пролетариата западных стран, значит, нас уничтожат; другого выхода нет.

— В этом вся суть троцкизма! — сказал Щербаков, заметив, что Сталин взглянул на него так, будто ждал его слова.

Сталин действительно собирался выслушать Щербакова, но не спешил задавать ему вопросы, рачительно перебирая мысли, как опытный землепашец сортовые семена. Он вновь стал расхаживать по толстой ковровой дорожке, расстегнув верхние пуговицы армейского кителя и поглядывая золотистыми глазами на огромную оперативную карту, расстеленную на краю стола заседаний. Трудно было предположить, о чем он сейчас заговорит, как вернется к затронутой проблеме политической стратегии.

— Гримасы истории! — произнося эти слова, Сталин глухо и едко засмеялся. — Политический авантюрист Троцкий надеялся убедиться на нашем примере в состоятельности своей теории. А успел убедиться до своей смерти в обратном — увидел, что троцкизм гниет... Нам, впрочем, сейчас не до того, чтоб доказывать это. Много чести для Троцкого. Главное, что мы выстоим, должны выстоять! Мы сумеем защитить дело Ленина, хотя на революцию пока нет надежд: революционные силы Германии упрятаны в тюрьмы и в концентрационные лагеря...

И всем стало ясно, что Сталин, размышляя вслух, прокладывает логические мостки к чему-то тревожащему. Его глаза светились глубоким умом, знанием чего-то особенного, неведомого другим.

— Так вернемся к тонкостям нашей политической стратегии и, добавим, политической тактики перед лицом буржуазного мира, напряженно следящего, как мы сопротивляемся войскам фашистской Германии. — Сталин остановился против Щербакова и, как обычно, держа левую руку у нижней пуговицы кителя, неожиданно спросил: — Товарищ Щербаков, а если бы у нас в стране сейчас обнаружилась «пятая колонна», вы бы спешили сообщать об этом в сводках Совинформбюро?

Щербаков поднял на Сталина удивленные глаза, шевельнул крупными руками, лежавшими на столе.

— Товарищ Сталин, даже в оккупированных наших областях гитлеровцы не находят опоры среди советских людей! — Он, чувствуя серьезность вопроса, нервным движением руки поправил очки на широком носу и продолжил: — Только единицы из среды уголовников и недобитых кулаков идут к ним в услужение... Но это не «колонна», а ошметки!.. Каждый день Совинформбюро получает и распространяет сведения о партизанской войне в тылу врага!

Внимательно выслушав Щербакова, Сталин удовлетворенно усмехнулся, пощекотал мундштуком трубки усы и повернулся к Мехлису, который, кажется, почувствовал, что Сталин сейчас обратится к нему, и смотрел на Сталина прямым напряженным взглядом, выражающим вопрос и настороженность.

— А вот товарищ Мехлис чуть было не разоблачил «пятую колонну» среди наших военных!.. — Сталин махнул зажатой в правой руке трубкой в его сторону. — Я имею в виду бывшее руководство Западного фронта во главе с Павловым. — И он бесшумно зашагал по ковру.

— Не я же вел следствие! — вяло откликнулся Мехлис, и все поняли, что это уже не первый у них разговор об этом. — А предполагать все можно было, имея в виду не столь давнее прошлое.

— Предполагать, что бывший крестьянин Павлов, ставший генералом армии и Героем Советского Союза, мог пойти на сговор с фашистами против рабоче-крестьянского государства?! — Остановившись, Сталин повернул к Мехлису только голову; его косой взгляд выражал негодование. — А ведь вы именно с таким обвинением препроводили в Москву из Смоленска отданных под суд генералов! — Увидев, как побагровел и заерзал на стуле Мехлис, Сталин смягчился: — Ну, не лично вы, а военная прокуратура фронта, где вы были первым членом Военного совета! Хорошо, что здесь, в Москве, военная коллегия Верховного Суда разобралась во всем, отмела бредовые обвинения Павлову, которые он подмахнул, желая, видимо, довести все до абсурда или в минуту невменяемости, в порыве слепой обиды!..

— Я здесь ни при чем! — Мехлис откинулся на спинку стула, отведя глаза от загадочно-сосредоточенного лица Сталина.

— Ни при чем?! — повысил голос Сталин, не столько даже рассерженный, сколько удивленный. — Партийный руководитель всегда «при чем»! За все в ответе!.. А товарищ Мехлис «ни при чем»! Да вы знаете, какой бы вы подарок сделали нашим врагам, особенно противникам создания антигитлеровской коалиции государств, просочись к ним этот бред о заговоре у нас на Западном фронте?! Коалиция рухнула бы, не родившись!.. Вы вникните, товарищи, в ситуацию момента: немецко-фашистские армии пробиваются в глубь Советского Союза, Япония и Турция хотят напасть на нас, но пока не уверены, что победят... Англия, США, правительства некоторых других государств, в том числе и эмигрантские, не заинтересованы в триумфе гитлеровской Германии, но и нам не желают благополучия... Из двух зол они выбирают меньшее... Как им вырабатывать линию своего отношения к Советскому Союзу, если внутри его, как в Испанской республике, могут обнаружиться силы,

способствующие победе фашистской Германии? Целый комплекс надежд и сомнений одновременно... Можем ли мы, руководители партии и государства, руководители наших Вооруженных Сил, в такой обстановке быть «ни при чем»?

— Товарищ Сталин, не ловите меня на неудачно вырвавшемся слове. — Обида Мехлиса прошла, и он извинительно оглянулся на сидевших за столом.

— У политического деятеля случайных слов не бывает. — Сталин говорил не назидательно, а с чувством досады. — Если же оно вырвалось помимо его воли, то именно это слово выражает внутреннюю сущность деятеля или состояние на данный момент. Ладно, не будем придирчивы к товарищу Мехлису.— Глаза Сталина сверкнули снисходительной полуулыбкой.— Согласимся с тем, что товарищ Мехлис оговорился. Но я хочу, чтобы все мы поняли: сейчас на нашу страну, в самое ее сердце, смотрят сквозь тысячи мощных телескопов!

— При этом видят одно, а пишут в газетах или вещают по радио нечто другое, — со сдержанным гневом заметил Молотов.

— Да, в белом хотят видеть только черное! Ты им подробнее. — Сталин, взглянув на Молотова, кивнул в сторону сидевших за столом.

Молотов невесело улыбнулся какой-то своей мысли и, ни на кого не глядя, стал говорить:

— Мы тщательно наблюдаем и анализируем, как буржуазная печать и радио информируют свои народы о событиях в нашей стране. И нам ясно, что многие буржуазные политики желали бы увидеть в СССР, мягко скажем, замешательство, особенно среди военного и политического руководства и среди интеллигенции. Им важно показать своим народам и правительствам непрочность, несостоятельность советского строя перед военной опасностью. — Молотов формулировал мысли четко, законченно, будто излагал их на бумаге. — Наши командиры, наши политические деятели разочаровали недобросовестных толкователей положения в СССР, а на интеллигенцию, особенно творческую, кое-кто из наших противников еще рассчитывает. Печатают всякие измышления о ее недовольстве Советским правительством...

— Верно, недовольные есть! — с напускной серьезностью воскликнул Щербаков. Заметив, что его слова удивили всех, пояснил: — Особенно писатели бунтуют — поголовно все требуют отправки на фронт! Даже такие очкарики, как я.

— ПУ РККА[1] тоже завалили письмами, — подтвердил слова Щербакова Мехлис. — И не одни писатели, а и художники, артисты, композиторы!

— А на Западе трубят, будто советская творческая интеллигенция работает у нас из-под палки, — закончил Молотов.

— Из-под палки? — Сталин язвительно улыбнулся. — Разве из-под палки скажешь такие слова, какие сказали с трибуны Восемнадцатого съезда партии товарищи Шолохов и Бажан? Конечно, интеллигент интеллигенту рознь. Еще идет процесс становления советской интеллигенции, и хорошая палка конечно же кое-кому нужна.

— Как это понимать? — спросил Калинин, выражая озадаченность всех присутствующих.

— Наша беда, что рабочие и крестьяне, — начал пояснять Сталин, произнося слова неторопливо, словно с трудом подбирая их, — в большинстве своем пока далеки от серьезной теории. Это понятно: теория — родная сестра высокой образованности и наследница аналитического склада ума; а трудящиеся веками не подпускались к высокой культуре...

[1] ПУ РККА — Политуправление Красной Армии.

Взгляните только на интеллигенцию, вышедшую после революции из среды рабочих... именно рабочих, ибо крестьяне от теории еще дальше, от теории понимания... Молодые интеллигенты из рабочих, став таковыми после завершения образования, с энтузиазмом занялись строительством нового общества, руководствуясь нашей программой. И крестьянские дети тоже глубоко пашут на новой ниве... — Сталин умолк, будто смутившись, что все слушают его со столь огромным вниманием, а может, вспомнилось ему, что на XVIII съезде партии в своем докладе он, говоря о новой советской интеллигенции, не затрагивал этой важной проблемы; пососал трубку и, убедившись, что табак не горит, положил ее в хрустальную пепельницу, затем продолжил: — Но многие из них при всей своей эрудиции еще не были готовы встать на рельсы теоретического мышления родившей их эпохи, не могли сразу воспринять социализм как теорию, опирающуюся на идейное богатство, накопленное ранее, и уходящую корнями в экономические основы уже нового общества. Точнее, не готовы к обобщающим мыслям, которые переходят в закономерности... Это, видимо, случится позже. А уж последующее поколение, надо надеяться, наверняка родит своих теоретиков... Старая же интеллигенция, пусть не вся, не поголовно вся, оказалась бессильной перед путами буржуазной идеологии, ставшей еще до революции сущностью ее внутреннего мира. — Умолкнув, Сталин подошел к открытому окну и, глядя на стройные ели, ветви которых были опушены яркой свежей зеленью молодых побегов, спросил, ни к кому не обращаясь: — Вы, надеюсь, поняли, к чему я веду?.. Я хочу вам напомнить, что никто ни из старой, ни из молодой интеллигенции не поспешил в должной мере на помощь Ленину в дальнейшей разработке теории строительства коммунизма.

Сталин, помолчав, заговорил с некоторой отчужденностью:

— Нужна целая плеяда марксистов-теоретиков, чтобы в нужном объеме разрабатывать теорию, указывающую безошибочные пути нашего движения вперед, когда со всех сторон упорно и планомерно, тайно и явно мешают этому движению... Мы делали все, что могли... Нашему напряжению, нашим заботам нет границ... Каторга, а не жизнь! Каторга во имя того, чтобы построить новый мир. Но сколько ошибок, сколько неоправданных потерь! История еще предъявит за них счет... Однако у нас другого пути нет. Ленин научил нас, как не допустить возврата к капитализму. Это учение мы проверили практикой. А как без ошибок идти по пути, которым еще никто не ходил?.. Как выбирать самые верные и короткие дороги к коммунизму?.. На эти вопросы прежде, чем они станут практикой, должна отвечать теория! А интеллигенция не спешила и пока активно не спешит ее разрабатывать. Мешать нам и ругать нас есть кому, а помогать — нет... Но Ленину было еще труднее!

Сталин отвернулся от окна, взглянул на электрические часы над дверью и сел к столу заседаний. Обведя всех усталым взглядом, заговорил вновь:

— Хорошо, что у нас есть наследие Ленина. Когда нам особенно трудно, мы обращаемся к нему... Если мы не можем найти применимых к данному моменту теоретических формул, мы опираемся на ленинские принципы оценки ситуации, на стиль его работы, на образ его мышления и, наконец, на имевшие место убедительные примеры. Весной восемнадцатого года, когда нам было нелегко и в связи с массовым привлечением в армию военных специалистов бывшей царской армии, Ленин предложил ввести институт военных комиссаров, который успешно функционировал семь лет... В силу известных обстоятельств международного и внутреннего характера в мае тридцать седьмого мы вновь вернулись к оправдавшей себя системе. А прошлым летом в целях осуществления в войсках полного единоначалия опять ввели институт заместителей коман-

диров по политической части... Вместо комиссаров. — Голос Сталина потускнел, он заговорил медленнее, и каждое его слово выражало досаду или сожаление: — Кажется, поторопились..: Хотя польза была несомненная...

— К чему ты клонишь, товарищ Коба? — с притушенным нетерпением спросил Молотов и взглянул на часы: через несколько минут он должен быть в своем кабинете — там ждали его дела, которые наползали друг на друга, как льдины во время бурного ледохода.

— Все самое главное и срочное сейчас здесь. — Сталин, угадав нетерпение Молотова, спокойно постучал пальцем по столу. — А к чему я клоню, пусть доложит Государственному Комитету Обороны товарищ Мехлис как начальник Политуправления РККА.

Мехлис, пригладив рукой свою черную густую шевелюру, с готовностью встал и заговорил сочным голосом, который очень шел к его крепкой, ладной фигуре и красивому сытому лицу:

— По указанию Центрального Комитета партии мы с товарищем Щербаковым приготовили проект Положения о военных комиссарах Рабоче-Крестьянской Красной Армии.— И он открыл лежавшую перед ним папку.

— Возвращаемся на круги своя, — уточнительно заметил Калинин, кажется осведомленный об этом заранее.— Путь проверенный... и войска воспримут такую меру правильно. Ведь сейчас, в боевых условиях, на командиров ложится такая тяжкая, порой мучительная ответственность, что вряд ли кто из них откажется делить эту ответственность.

— А что скажет на сей счет заместитель Председателя Государственного Комитета Обороны?— Сталин с вопросительной требовательностью посмотрел на Молотова.

В этот вопрос Сталин вложил какие-то свои сомнения, ибо лицо его выразило озабоченность.

— Скажу, что буржуазная пропаганда начнет вопить, будто мы не доверяем своим командирам...

— На каждый роток не накинешь платок. — Сталин, кажется, был недоволен ответом Молотова. — Но в данной ситуации, пожалуй, и с этим надо считаться...

— Несомненно, надо считаться! — Молотов продолжал излагать свою точку зрения. — Тем более что практика сегодняшнего дня, к счастью, пока не дает нам серьезных примеров, которые бы торопили нас с введением института военных комиссаров... Я предлагаю дать возможность проблеме созреть, а тем временем выяснить отношение к ней руководства Наркомата обороны, Генерального штаба.

— С их стороны возражений нет, — сказал Мехлис, продолжавший стоять за столом.

— Но и нет, насколько мне известно, мотивированных предложений, — недовольно заметил Сталин.

В кабинете наступила та тягостная, сторожкая тишина, когда никому не хочется нарушить ее первым. Сталин, уронив взгляд, тоже не спешил продолжить разговор.

В это время Молотов заметил у дверей вошедшего Поскребышева. Помощник Сталина, тихо ступая по ковровой дорожке, шел в глубь кабинета, смотрел себе под ноги, но Вячеслав Михайлович каким-то чутьем угадал, что Поскребышев идет к нему с дурной вестью.

Подойдя к Молотову, Поскребышев остановился и, извинительно взглянув на Сталина, тихо сказал:

— Вячеслав Михайлович, в наркомате ждут вашего звонка.

Коренастый, бритоголовый, с широким крестьянским лицом, на котором контрастно выделялись из-под припухших век пытливые светло-голу-

бые глаза, Поскребышев словно излучал деловитость: со стороны могло даже показаться — он зашел в кабинет, чтобы удостовериться, соблюдают ли здесь порядок.

Поскребышев бесшумно удалился, а Молотов, подойдя к рабочему столу Сталина, при всеобщем молчании позвонил по внутреннему телефону в Наркомат иностранных дел. С минуту выслушивал чей-то доклад, а затем, положив трубку, повернулся к Сталину.

— То ли провоцируют немцы, то ли желаемое выдают за действительность, — спокойно сказал он, не веря в то, что сейчас услышал. — Английское радио передало, ссылаясь на Берлинское радио, что немецкие моторизованные войска захватили Смоленск и беспрепятственно движутся на Москву.

Сталин язвительно улыбнулся и, поднявшись со стула, сказал, направляясь к телефону:

— Еще не хватало, чтобы мы пользовались информацией англичан о положении на наших фронтах! — Он снял телефонную трубку, набрал номер и, сдерживая гнев и тревогу, неторопливо сказал: — Прошу товарища Жукова!

Дежурный по Генштабу ответил, что генерал армии Жуков минуту назад уехал в Кремль с докладом. Но дожидаться приезда Жукова, кажется, не было сил, и Сталин, вызвав Поскребышева, распорядился немедленно соединить его со штабом Западного фронта — с маршалом Тимошенко.

Маршала на месте не оказалось. Член Военного совета Булганин подтвердил Сталину: 29-я моторизованная дивизия генерала фон Больтенштерна захватила южную часть Смоленска.

## 22

Несколько успокоенный телефонным разговором с маршалом Тимошенко, генерал армии Жуков отвлекся мыслями от смоленского направления, устремив их на Юго-Западный и Южный фронты. Выходя из своего кабинета, он отглотнул из чашки остывший кофе и, не почувствовав вкуса, вновь поставил чашку на тускло-серебряный поднос рядом с печеньем и бутербродами на тарелочках. Нес с собой податливо-пухлую папку со сложенной сводной оперативной картой, отдающей запахом клея, и почти физически ощущал все начертанное на ней. Зыбкость красных линий, жирность и угловатость синих обжигали его мысль и сердце: сегодня немцы, обойдя правый фланг нашей группировки войск в районе Бердичева, ворвались в Белую Церковь; тяжелые бои ведут дивизии Юго-Западного фронта и восточнее Житомира. Киев под прямой угрозой... На Южном фронте тоже не легче — пал Кишинев. Будто железные путы все сильнее сжимают тело; дышать пока можно: держится Смоленск.

Жуков спешил в Кремль на очередной доклад, казнясь за тяжкие неудачи на фронтах, будто он и был их главным виновником. Его доклады Сталину нередко заканчивались выслушиванием упреков за просчеты командармов, командующих фронтами, за медлительность Генерального штаба в сборе информации и разгадывании замыслов немецких генералов. Сталин замечал, что его упреки обижают Жукова, но порой не мог или не старался сдержать себя, хотя уважал и высоко ценил его как человека с сильным, цельным характером и полководческой одаренностью. Позавчера, после трудного диалога, когда они, взвинченные, пришли в квартиру Сталина ужинать и когда Сталин, заметив, что Жуков, поглядывая на часы, тяготится тем, что его ждут в Генштабе неотложные дела, сказал ему прежде, чем разрешить уехать:

«Только не надо обижаться на Сталина... Если Сталин недоволен ходом событий, если немножко ругает начальника Генштаба или наркома обороны, значит, он сердится и на себя, ругает и себя самого... Сталин ругает вас, а вы ругайте начальников своих управлений, командующих фронтами и армиями. У вас для этого уже будет больше морального права, вы сможете проявить еще большую строгость и требовательность. А это сейчас надо: война... Вы удивляетесь, что я говорю о себе, будто о другом человеке?.. Как вам известно: моя настоящая фамилия — Джугашвили. А «Сталин» — мой партийный псевдоним. И мне иногда кажется, что так именуется моя должность в партии. Но в партии нет должностей в обычном понимании, в партии не служат... Работа в партии — это жизнь, самая ответственная и активная форма жизни. Вот я временами и смотрю на Сталина как бы со стороны и всегда отношусь к нему очень строго...»

Эти слова Сталина понравились Жукову. Более того, они как бы оправдывали его собственную, жуковскую, жесткость и твердость, однако утешили ненадолго: до очередных сердитых упреков Сталина. И сейчас генерал армии Жуков, направляясь в Кремль, не торопясь и не медля, вышагивал по знакомому коридору Наркомата обороны. Пытался предугадать, какие последуют от Сталина вопросы после того, как он доложит обстановку и предложения своих решений. Окунувшись мыслями и чувствами в самого себя, не отвечал на приветствия замиравших по сторонам коридора командиров, не вглядывался в их лица, и поэтому все они проплывали мимо него бледными масками. Тем же размеренным шагом спускался по неширокой «наркомовской» лестнице, выходившей в закрытый двор, посреди которого за низкой железной решеткой рос в окружении кустарников сад, чахловатый и грустный без солнца.

Только вышел во двор, тут же из угла подкатил длинный «зис». Не успел сесть в машину, как раскрылись высокие железные ворота. Эта тревожная поспешность и предупредительность всего окружавшего его утомляла и раздражала, напоминая, что он не имеет ни одной минуты, принадлежащей лично ему. Будто отбывал тяжкую повинность и обязан был поспевать за всем, что предписано. А все было предписано, в общем-то, им самим, генералом Жуковым, все трепетно старалось не нарушать взятого им ритма, напряженного, четкого, как удары сердца.

Черный «зис» в считанные минуты перенес его с улицы Фрунзе за Кремлевские стены, а еще через минуту он входил в приемную Сталина, внутренне собранный и чуточку раздраженный, предвидя нелегкий разговор из-за того, что с прорывом германских войск к Ярцеву и оседланием ими железной дороги и автомагистрали Минск — Москва необходимо принимать страховочные меры для прикрытия уже непосредственных подступов к Москве: ведь между Москвой и Вязьмой, на пространстве чуть более двухсот километров, не было реальных сил, способных в случае дальнейшего прорыва танковых колонн врага оказать им сопротивление. Посоветовавшись ночью по телефону с маршалом Шапошниковым, Жуков вместе с управлениями Генштаба составил проект решения Государственного Комитета Обороны о строительстве оборонительного рубежа в тылу Фронта резервных армий на полпути от Вязьмы к Москве и с таким расчетом, чтобы оборонительный пояс прикрывал столицу с самых опасных направлений. Однако принятие такого решения должно означать, что Политбюро ЦК и Государственный Комитет Обороны разделяют точку зрения Генштаба о реальной угрозе, нависшей над Москвой. А может, опасения преждевременны? Не упрекнет ли Сталин Жукова в панических, а то еще хуже — в пораженческих настроениях? Главное же, как отнесутся в Кремле к тому, что оборона прикрывающего столицу рубежа поручается в основном не кадровым частям,

а дивизиям Московского народного ополчения. Он, Жуков, сам с тревогой размышляет над этим немаловажным обстоятельством. Ополченец — человек, не подлежащий призыву по мобилизации. Значит, или возраст преклонный, или здоровьем не вышел... Бывает, что не берут в армию по семейным или другим причинам. В какой мере сможет это необученное войско сопротивляться свирепому натиску вышколенных немецких дивизий?

Генеральный штаб располагает сведениями, что в прифронтовых районах сотни тысяч людей из местного населения вступили добровольцами в истребительные батальоны, в группы самообороны, рабочие отряды. На вчерашний день количество истребительных батальонов уже превышало цифру в полторы тысячи! В каждом батальоне насчитывается от 100 до 500 человек! И они неплохо громят фашистские авиадесанты, вылавливают шпионов, диверсантов, несут охранную службу в прифронтовой полосе, а с отступлением наших войск вливаются в их ряды или уходят в партизаны.

Возможно, и дивизии народного ополчения покажут себя так же хорошо. Их формирование приняло большой размах. Первыми начали ленинградцы и москвичи. Потом, с одобрения ЦК ВКП(б), этому примеру последовали Ростов-на-Дону, Смоленск, Курск, Тула, Калинин, Иваново, Горький, Рязань, Брянск. Дивизии народного ополчения сформированы в Краснодарском крае, Кировской, Воронежской, Ярославской областях. Ополчения Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, Карелии уже вливаются в действующую армию. Во главе двенадцати дивизий московских добровольцев поставлены опытные кадровые командиры. Вооружение и военную технику дивизии получают на складах Московского военного округа, а транспортные средства и все необходимое для вспомогательных служб — из ресурсов столицы. Городской и районные комитеты партии с ног сбиваются, чтобы их рвущиеся в бой детища обрели военную силу и организованность... Когда думаешь об этих дивизиях, в которых по семь-восемь тысяч человек, когда знаешь, что в их рядах не только рабочие и служащие, но и видные ученые, писатели, музыканты, художники, архитекторы, журналисты, когда мысленно всматриваешься в дышащие решимостью лица, тебе будто передается боль и тревога всего народа о судьбе Родины. И конечно же, если эта боль и эта тревога кристаллизуются в четкие формулы людского разумения, в великую, ясную, зовущую мысль, ничто уже не способно приостановить утверждение и развитие этой мысли, как пробуждающейся мощи государства.

И еще одна мысль, родившись однажды внезапно, кинула его в жар до помутнения в голове. Поделился этой мыслью с маршалами Тимошенко и Шапошниковым. Ни тот, ни другой ничего не сказали; Борис Михайлович только вздохнул и потупил глаза, а Семен Константинович взглянул так, будто на него замахнулись саблей... Как бы все сложилось, если б Сталин согласился с их, Жукова и Тимошенко, предложением и еще тогда, 13 июня, они скрытно провели в стране мобилизацию и двинули войска к западным границам? Неужели сейчас оказались бы без резервов?.. Как отвечать на этот вопрос, если задаст его Сталин?.. Впрочем, сейчас каждый новый день рождает столько вопросов, что оглядываться в прошлое некогда.

В приемной Сталина, если даже собиралось много людей, всегда было тихо, будто существовало правило, что разговаривать здесь не принято. Никто такого правила не устанавливал; просто каждый, кто попадал сюда, знал, что сейчас встретится со Сталиным, и в последние минуты перед встречей с ним словно старался остаться наедине с самим собой,

чтобы сосредоточиться, подавить волнение, особенно если это была первая или вторая встреча... Волновались здесь почти все, даже он, начальник Генерального штаба Жуков.

Войдя в приемную, Георгий Константинович сразу же встретился взглядом с глазами Поскребышева. Помощник Сталина, сидя за столом в черном кресле с жесткими подлокотниками, смотрел на него из-под припухших век с нетерпением, и Жуков понял, что его ждут, почувствовал это и по особенно сторожкой тишине (чаще тишина здесь казалась торжественной). В приемной безмолвно сидели на стульях вдоль дубовой настенной панели между окнами несколько человек в цивильных и военных, без знаков различия, костюмах; все с напряженной прилежностью держали на коленях папки. Среди них узнал наркома авиационной промышленности Шахурина: у него на коленях высился вздутый желтый портфель, а на портфеле — широкий лист бумаги с каким-то графиком, и Шахурин, наклонив голову с черной вьющейся шевелюрой, тщательно рассматривал его, будто дремал.

Поскребышев, широкоплечий, широколицый и бритоголовый, поднялся из-за стола, в край которого словно вросли пять телефонных аппаратов, и, направляясь в кабинет Сталина, тревожно шепнул Жукову лишь одно слово:

— Смоленск...

Жуков мысленно похвалил себя, что успел перед отъездом в Кремль переговорить по телефону с маршалом Тимошенко и из первых уст узнать о положении в районе Смоленска. Поднял глаза на широкое полотнище политической карты Европы, висевшее за креслом Поскребышева, отыскал на ней Смоленск и скользнул от него взглядом на восток, к Москве: совсем рядом! Обжигающе близко!

Поскребышев почему-то задержался в кабинете Сталина. Это вызывало у Жукова смешанное чувство тревоги и досады. И он старался отвлечься от предстоящего доклада, уплыть в бездумье, чтобы, когда войдет в кабинет, не вспоминать заготовленные мысли, а излагать, рождая их по ходу оценки положения на фронтах, уже легшие на оперативную карту строгими начертаниями.

Жуков стоял у стола Поскребышева, рассматривал политическую карту Европы и уже ничего не видел на ней от усилившейся тревоги. На столе в это время тихо зазвонил, почти зашелестел, один из телефонных аппаратов, и он непроизвольно снял трубку. Тут же услышал знакомый и чем-то взволнованный голос генерал-лейтенанта Василевского.

— Александр Николаевич, генерал армии Жуков уже зашел к товарищу Сталину? — спрашивал Василевский, полагая, что трубку поднял Поскребышев.

— Это я, Александр Михайлович, — пресекшимся голосом ответил Жуков, чуя недоброе.

Но Василевский продолжал в своей торопливости принимать его за Поскребышева:

— Если нет, пусть немедленно, не заходя к товарищу Сталину, позвонит в Генштаб!

А в дверях кабинета Сталина появился Поскребышев и, не закрывая их, требовательным взглядом приглашал Жукова заходить.

Георгий Константинович, теснее прижав к уху трубку, с отчаянием возвысил голос:

— Жуков у телефона!

Василевский наконец понял и, быстро чеканя слова, доложил:

— Телеграмма от Тимошенко: немцы заняли южную часть Смоленска. Мосты через Днепр взорваны по приказу то ли начальника гарни-

зона, то ли генерала Чумакова. Шестнадцатая и двадцатая армии окружены.

Положив на аппарат вдруг взмокшую в руке трубку, Жуков опалил взглядом непроницаемое лицо Поскребышева, с которым был в дружеских отношениях. Что значило брошенное им: «Смоленск»?.. Неужели там, за дверью, уже знают?.. Откуда?.. Но задавать вопросы не было времени.

Кабинет встретил начальника Генерального штаба давящей тишиной. Никто, кажется, кроме Щербакова и Мехлиса, не смотрел на него. Сталин стоял у своего рабочего стола с посеревшим, часто испятнанным оспинами лицом и, держа в руках трубку, смотрел в пол. Молотов сидел сбоку его стола, склонившись над какими-то бумагами, Калинин, сняв очки, тщательно протирал их стекла платком.

Жуков понял, что все ждут его с напряженным и тревожным нетерпением. Поздоровавшись и пройдя к середине стола для заседаний, он положил на зеленое сукно папку с картой и вопросительно посмотрел на Сталина. Встретился с прищуренным взглядом, отметил, что обычно золотистые глаза его казались сейчас черными, а зрачки в них светились двумя холодными огоньками.

— Докладывайте, — тихо и глухо сказал Сталин, а затем, как всегда, бесшумно и развалисто зашагал по ковровой дорожке к дверям, чтоб тут же вернуться обратно.

Жуков с небывалой медлительной тщательностью развертывал хрустящую карту, раскладывая ее на зеленом сукне стола створку за створкой и собираясь... нет, не с мыслями, а укрепляясь в чувствах какой-то своей еще неосознанной правоты, сопротивляясь вливавшейся в душу тоскливости, как преддверию грядущего тяжкого разговора, и не противясь нарастающему раздражению, как самозащите.

И вот карта развернута, можно приступать к докладу, но что-то сдерживало Жукова, кажется, ему окончательно стало ясно — здесь, в кабинете, знают, что немцы ворвались в Смоленск. А мысли его еще сопротивлялись этой мучительно-тяжкой реальности, он не знал, как даже самому себе объяснить случившееся, и в то же время яснее начинал понимать, что намеченное страховочное решение по Западному фронту, которое он собирался в конце доклада предлагать Государственному Комитету Обороны, теперь особенно своевременное, единственно правильное, будто Генштаб, принимая такое решение, уже знал о падении Смоленска... Но не покажется ли это странным Сталину и членам Политбюро?

Медлительность Жукова Сталин понял по-своему. Подойдя к карте и увидев на ней, что немцы будто бы еще находятся от Смоленска северо-западнее и юго-западнее, Сталин, обращаясь к присутствующим в кабинете, тихо, с жесткой улыбкой сказал:

— Сейчас мы услышим доклад о том, как товарищи Тимошенко и Жуков обороняют Смоленск. — В его голосе послышалась устрашающая ирония.

Жуков, повернувшись лицом к Сталину, замер в стойке «смирно» и с горькой обидчивостью ответил:

— Товарищ Сталин, войну ведут не Жуков и Тимошенко, а армия и народ... Час назад я разговаривал с Тимошенко... Смоленск был в наших руках... А сейчас мне доложили, что есть телеграмма...

— В том-то и дело, что, когда вы разговаривали с Тимошенко, Смоленск уже был в руках у немцев! — сдерживая ярость, Сталин перебил Жукова. — Тимошенко втирал вам очки, а вы втираете нам!.. Государственный Комитет Обороны дает главнокомандующему Западным направлением директиву — Смоленск без приказа не сдавать. Главнокоман-

дующий, он же нарком обороны, заверяет, что директива будет выполнена, а в городе уже враг!.. Что все это значит?!

— Дивизии шестнадцатой и двадцатой армий ведут бои в районе Смоленска и в северной части города. От основных сил фронта они отсечены. — Жуков сразу, на всю глубину собственного потрясения, вскрывал перед членами Политбюро сложившуюся на Западном фронте обстановку, будто стремился обрушить на себя их упреки.

— Значит, не только пустили немцев в Смоленск, но и позволили окружить целых две наши армии?!

— Армии неполного состава. У Лукина всего лишь две стрелковые дивизии!..

Но Сталин, казалось, уже не хотел слушать объяснений начальника Генерального штаба.

— Позор! Город на холмах, обнесенный стеной, по которой на тройке можно ездить! Ни снаряд, ни торпеда не продырявят ее!.. Какие башни, бойницы! Наконец, в городе узкие улицы, много подвалов! Да там можно было обороняться...

— Нечем обороняться! — Жуков ткнул пальцем в карту. — Гарнизон состоял всего лишь из батальона милиции и трех батальонов смоленских ополченцев. Но на подступах к Смоленску войска Курочкина, Лукина и Чумакова нанесли немцам чудовищные потери!

— А город оставили незащищенным?! Это же не город, а памятник! Слава русского воинства! Триста с лишним лет назад поляки два года не могли взять Смоленск! Наполеон обломал о него зубы! А красный маршал Тимошенко позволил врагу взять Смоленск с ходу![1] — Из прищуренных глаз Сталина, казалось, выплескивался черный огонь. Он сделал к Жукову шаг, будто хотел пристальнее всмотреться ему в лицо, но тут же резко повернул назад и сел за свой рабочий стол, сердито отодвинув в сторону хрустальную пепельницу.

Под напором пепельницы вздыбились на краю стола бумаги. Сталин передвинул пепельницу к себе и подрагивающими пальцами начал набивать табаком из разорванной папиросы трубку. Закурил, поправил под собой кресло и коротко посмотрел на присутствующих. В этом взгляде будто просквозила досада, что дал волю своему гневу, что потрачены драгоценные минуты на бесплодные препирательства и впустую расходуются душевные силы.

— Будем принимать решения, — сказал уже спокойно, словно и не его глаза сверкали минуту назад угрожающей чернотой. — Сначала послушаем товарища Жукова о положении на других фронтах.

Но Жуков не был бы, наверное, Жуковым, если бы после столь трудного разговора точно последовал предложению Сталина. Объяснив обстановку на Северо-Западном фронте, он обратил внимание Государственного Комитета Обороны на неприкрытый стык Северо-Западного с Западным фронтом, а затем с четкой обстоятельностью доложил о напористых действиях при поддержке авиации немецких танковых групп Гудериана и Гота на смоленском направлении, об их силе и маневренности и о недостаточной глубине нашей противотанковой обороны в стрелковых частях ввиду нехватки противотанковой артиллерии. Только потом перешел к Юго-Западному и Южному фронтам...

Когда Жуков закончил доклад, Сталин некоторое время смотрел в его хмурое и измученное лицо, осмысливая услышанное, затем сказал:

---

[1] Через тридцать лет Г. К. Жуков об этом разговоре так напишет в своей книге «Воспоминания и размышления»: «Потеря Смоленска была тяжело воспринята Государственным Комитетом Обороны, и особенно И. В. Сталиным. Он был вне себя. Мы, руководящие военные работники, испытали тогда всю тяжесть сталинского гнева».

— Надо немедленно пробить бреши к шестнадцатой и двадцатой армиям, усилить их подошедшими резервами и вышвырнуть фашистов из Смоленска!

— Сделаем все, товарищ Сталин, — заверил Жуков. — Хотя не так просто: мосты через Днепр взорваны. — После паузы, словно упреждая новую вспышку гнева Сталина, добавил: — Взорваны без нашего ведома.

— Взорваны?! Мосты стратегического значения взорваны без приказа и даже без ведома Ставки? — Глаза Сталина превратились в темные щелки.

— Может, сложилась такая необходимость? — высказал предположение Молотов, глядя на Сталина, словно сдерживая его раздражительность. — Возможно, маршал Тимошенко не успел нам доложить?

На слова Вячеслава Михайловича вдруг откликнулся Мехлис:

— Вот вам и доказательство, что мы своевременно ставим вопрос о введении института комиссаров! — Он наклонился к сидевшему рядом с ним Калинину, словно за поддержкой.

— Совершенно верно. — Михаил Иванович кивнул клинышком бородки. — Без ведома и согласия комиссара командир и мост взрывать не будет. Но главная суть в том, что в армию и на флот идут сейчас запасники, а должного опыта командной и партийно-политической работы у них мало. Поэтому без помощи комиссаров им обойтись трудно...

— О смоленских мостах мы разберемся и доложим. Виновных предадим трибуналу. — Жуков повернул разговор в старое русло: — Но отсутствие мостов не меняет задачи: Смоленск — ворота к Москве, их надо закрыть!

— Не надо было открывать, — уже спокойно, но не без горечи сказал Сталин. — Давайте решать... Итак, сперва о комиссарах. Государственный Комитет Обороны поддерживает это предложение. С началом войны действительно намного усложнились задачи и условия деятельности командиров наземных, воздушных и военно-морских сил. С проектом Положения о военных комиссарах товарищи Мехлис и Щербаков нас познакомили. Поправки и уточнения мы внесли... Теперь слово за Президиумом Верховного Совета.

— Проект указа готов, товарищ Сталин. — Калинин погладил легкой рукой лежавшую перед ним папку.

Сталин одобрительно кивнул и, выдохнув сизое облако табачного дыма, обратился к Мехлису:

— ЦК комсомола примет постановление о мобилизации комсомольцев на политическую работу в Красную Армию. В ближайшие дни в ваше распоряжение поступит четыре с половиной тысячи комсомольцев. Приготовьтесь послать их в войска на должности заместителей политруков.

— Задача ясна, товарищ Сталин.

Калинин и Мехлис покинули кабинет, чтобы «дать ход» принятым документам, а Сталин, подойдя к расстеленной на зеленом сукне стола оперативной карте и не глядя на Жукова, спросил у него:

— Как будем прикрывать Москву?.. — Тут же сам и ответил: — Надо строить еще одну линию обороны. Примерно вот здесь. — Взяв красный карандаш, Сталин провел на оперативной карте округлую черту, прошедшую через Кушелево, Ярополец, станцию Колочь, Ильинское, Детчино. — Назовем ее Можайской линией обороны и образуем здесь фронт, который прикроет волоколамское, можайское и малоярославецкое направления. Подумайте, какие силы должны будут войти в состав этого фронта.

Жуков был удивлен и озадачен: Сталин предлагал то же самое решение, к которому они с маршалом Шапошниковым пришли сегодня ночью. И он развернул рядом с полотнищем оперативной карты карту

поменьше — Западного фронта; у ее правого среза виднелась Москва. На этой с ослабленным цветным тоном карте все просматривалось словно в тумане — города, реки, дороги... Зато нанесенные карандашом красные, ощетинившиеся зубчиками в сторону противника линии, а также топографические знаки и надписи бросались в глаза строгой четкостью и яркостью. На карту уже была нанесена предлагаемая Сталиным схема Можайской линии обороны, контурно она почти совпадала с начертанной Сталиным на оперативной карте, а внизу, на широком белом поле, округлым наклонным почерком была написана раскладка сил, коим предстояло расположиться на Можайской линии.

Сталин безмолвно всматривался в схему, вчитывался в скупые надписи. Придвинув к себе стул, он присел и, не отрывая глаз от карты, о чем-то мучительно думал или мысленно полемизировал с кем-то. Глядя из-за его плеча на карту, Жуков пытался угадать, что рассматривает на ней Сталин, и постигнуть ход его потаенных мыслей.

По карте и пояснительным записям на нижнем ее поле можно было понять, что Генеральный штаб, создавая Можайскую линию обороны, не предлагает ослаблять Резервный фронт армий, которые накапливались в тылу Западного фронта, а развертывает две новые армии из десяти дивизий народного ополчения Москвы и еще одну армию — из пяти дивизий, сформированных вне Москвы из частей НКВД. Генеральный штаб предлагает также изъять из резерва Московской противовоздушной обороны двести зенитных пушек и образовать из них десять облегченных артиллерийских противотанковых полков. Формировалась также армейская артиллерия — по полку на армию. Все эти задачи должны быть решены в пятидневный срок.

Сталин отодвинулся от стола, медленно, будто с неохотой, поднял глаза на Жукова, и тот понял по спокойной задумчивости его глаз, что он одобряет предложения Генштаба.

— Командование Можайской обороны поручим генерал-лейтенанту Артемьеву? — утвердительно спросил Сталин.

— Так точно,— отозвался Жуков.— Военный совет Московского округа уже сам обратился с просьбой дать возможность дивизиям народного ополчения заняться боевой подготовкой в полевых условиях и принять участие в строительстве оборонительных рубежей.

— Тогда пусть Артемьев и представит нам кандидатов на посты командующих армиями и начальников штабов.

— Я передам приказ генералу Артемьеву.

— И прикажите Артемьеву сформировать еще десять батальонов ополченцев для пополнения дивизий.— Сталин повернулся к Щербакову: — Начальники отделов политпропаганды дивизий народного ополчения подобраны?

— Подобраны и утверждены на бюро МГКа, товарищ Сталин, — ответил Щербаков.

— Все, о чем мы здесь говорили, формулируем как постановление Государственного Комитета Обороны. — Сталин посмотрел в конец стола, где сидел и торопливо делал записи в толстой тетради с коричневой обложкой Поскребышев.— Затем мы должны будем принять постановление о материально-техническом обеспечении строительства оборонительных рубежей... Вам, товарищ Щербаков, и передайте председателю Моссовета Пронину — подготовить разнарядку и провести мобилизацию всего, что нужно для строительства (количество согласуйте с товарищем Котляром). Чтоб были канавокопатели, экскаваторы, тракторные лопаты, грейдеры, бульдозеры, гусеничные тракторы... И надо создать тракторные отряды и поезда тракторных лопат...

Жуков, слушая Сталина, отмечал про себя, как вновь и вновь разворачивается в разные стороны внутренняя сила этого человека, как неутомимо пульсирует в поисках новых решений и самых нужных мер его пронзительная мысль... И не только он, генерал армии Жуков, заряжается внутренней силой Сталина и стремительностью его мысли, создающей зримую суть событий и задач, а и все другие, кто бывает в кабинете Генерального секретаря. Взять того же Щербакова. Ведь это по его, Щербакова, предложению Государственный Комитет Обороны принял 4 июля постановление «О добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения». И теперь, когда образуется фронт Можайской линии обороны, кому, как не члену Военного совета Московского военного округа Щербакову, быть одним из членов Военного совета фронта, хотя он же и секретарь ЦК, и первый секретарь Московского городского комитета партии, и руководитель Совинформбюро... Откуда сила берется в человеке? Здоровье-то у Александра Сергеевича не могучее, пусть и молод — нет еще сорока. А как четок в работе и ясен в мышлении, какая вера в людей и какое уважительное к ним отношение! Крупный партийный вожак! Коммунисты Москвы да и все москвичи, особенно интеллигенция, души в нем не чают... И при этих прекрасных качествах даже он, Щербаков, в присутствии Сталина не то что теряется, а как-то меркнет; его всегда неотразимые по логичности суждения здесь, в кремлевском кабинете, звучат уже не утвердительно, а больше предположительно. Впрочем, подобное происходит почти со всеми...

Сталин между тем уже разговаривал с Молотовым. Нарком иностранных дел, слушая его, что-то записывал карандашом в раскрытой папке. Обмениваясь короткими фразами, перемежая их паузами, которые значили для Сталина и Молотова не меньше, чем слова, они, кажется, уже не в первый раз анализировали два последних письма Черчилля, переданных Сталину английским послом Стаффордом Криппсом. В письмах главы английского правительства ясно сквозили удрученность и недоумение по той причине, что руководители Советского Союза никак лично не откликнулись на его, Черчилля, обращение по радио ко всему миру в день нападения Германии на СССР. В секретных посланиях Сталину, вновь восхищаясь отвагой и упорством Красной Армии и советского народа, Черчилль обещал от имени Англии помощь, «...насколько позволяет время, географические условия и наши возрастающие ресурсы. Чем дольше будет продолжаться война, тем большую помощь мы сможем оказать».

Первое письмо английского премьера родило догадку, а второе подтвердило ее: правительство Соединенного королевства сильно тревожится, как бы Советский Союз под давлением превосходящих военных сил Германии не подогнул перед ней колени и не предложил Гитлеру сепаратный мир; тогда наступил бы черед Англии познать вторжение на свою территорию немецко-фашистских полчищ.

— Раз Черчилль этого боится и видит для Великобритании реальную угрозу, пусть тогда предпринимает конкретные шаги, а не прячется за трудности и не потчует нас обещаниями. — Сталин спокойно прохаживался по ковровой дорожке, дымил трубкой и размышлял вслух.

В кабинете они остались вдвоем с Молотовым. И как бывало не раз, вместе и писали документ. Сталин диктовал, а Молотов записывал, иногда предлагая более четкую с точки зрения дипломатических норм словесную вязь. Так рождалось первое личное послание Сталина господину Черчиллю. В нем Сталин выражал полную уверенность, что у обоих государств найдется достаточно сил, чтобы, несмотря на все трудности, разбить общего врага. Сообщив Черчиллю, что в результате внезапного на-

падения на Советский Союз положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным, Сталин подводил его к мысли о необходимости безотлагательно открывать второй фронт. В послании говорилось:

«Мне кажется далее, что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан второй фронт против Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере (Арктика).

Фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть силы Гитлера с Востока, но и сделал бы невозможным вторжение Гитлера в Англию. Создание такого фронта было бы популярным как в армии Великобритании, так и среди всего населения Южной Англии. Я представляю трудности такого фронта, но мне кажется, что, несмотря на трудности, его следовало бы создать ради нашего общего дела, но и ради интересов самой Англии. Легче всего создать такой фронт именно теперь, когда силы Гитлера отвлечены на Восток и когда Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на Востоке позиции.

Еще легче создать фронт на Севере. Здесь потребуются только действия английских морских и воздушных сил без высадки войскового десанта...»

Когда послание было закончено, Сталин перечитал написанное рукой Молотова вслух и долго молчал, словно его что-то беспокоило. Потом сказал:

— Пусть денек отлежится. Надо еще и еще оглядеться. Чтоб в этой бумаге ни тени нашей неуверенности, ни намека на просьбу. Только выражение разумной, обоюдовыгодной целесообразности. — Он вдруг неожиданно рассмеялся — негромко и не очень весело.

— Что тебя, Коба, развеселило? — Молотов запнулся от удивления.

— Кто бы мог подумать? — Сталин опять засмеялся. — Злейший враг коммунизма Черчилль пишет Сталину почти нежные письма, выражает в них добрые чувства к Советской России, а Сталин отвечает ему не менее дружеским, хоть и вразумляющим языком... — Остановившись перед Молотовым, он смотрел на него смеющимися глазами, и только их прищур выдавал иронию.

— Язык — это тоже орудие. — Молотов закрыл папку. — Каждым орудием надо уметь пользоваться без скрипа, а в государственных делах еще и решительно.

В этот июльский день, когда Гитлеру стало известно о вторжении германских войск в Смоленск, он воскликнул: «Можно считать, что Россия на коленях! Падение Москвы — дело дней, и войне конец!» Фюрер тут же приказал пригласить к нему в ставку руководителей фашистского рейха. На совещание прибыли рейхслейтер Альфред Розенберг (отсюда он уедет уже рейхсминистром оккупированных восточных областей), начальник имперской канцелярии Ламмерс, фельдмаршал Кейтель, рейхсмаршал Геринг и заместитель Гитлера по нацистской партии Мартин Борман.

Протокольные записи вел на совещании Борман (со временем их копия попадет к советским руководителям). Совещание началось в атмосфере всеобщего торжества: собравшиеся в ставке предвкушали скорую победу над Советским Союзом. В своем вступительном слове Гитлер наставлял их:

«Теперь является важным, чтобы мы не раскрывали своих целеустановок перед всем миром... Мы должны поступать точно таким же образом, как в случае с Норвегией, Данией, Голландией и Бельгией... Все

необходимые меры — расстрелы, выселения и прочее — мы осуществляем и можем осуществлять...

В основном дело сводится к тому, чтобы освоить огромный пирог, с тем чтобы мы, во-первых, овладели им, во-вторых, управляли и, в-третьих, эксплуатировали...

Империя лишь тогда будет в безопасности, если западнее Урала не будет существовать чужого войска. Защиту этого пространства от всяких возможных опасностей берет на себя Германия. Железным законом должно быть: «Никогда не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-либо иной, кроме немцев!.. Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казак и не украинец».

На вопрос Геринга, какие районы обещаны другим государствам, Гитлер сообщил, что Антонеску хочет получить для Румынии Бессарабию и Одессу; венграм, туркам и словакам не было дано никаких определенных обещаний; Прибалтика, Крым с прилегающими районами и волжские колонии должны стать областями германской империи; Бакинская область — немецкой концессией (военной колонией); финны хотят получить восточную Карелию; Кольский полуостров с богатыми никелевыми месторождениями должен отойти к Германии. Гитлер заявил, что хочет сровнять Ленинград с землей, а затем отдать его финнам.

На вопрос рейхслейтера Розенберга об обеспечении управления захваченными территориями Гитлер ответил:

«Гигантское пространство, естественно, должно быть как можно скорее усмирено. Лучше всего этого можно достигнуть путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд».

Итак, заправилы фашистского рейха во главе с Гитлером нагуливали аппетит, мысленно деля «русский пирог».

## 23

Бывает, что приснится тебе нечто тягостно-удручающее или во сне перенесешься в давно отшумевшие времена, к какому-то потрясшему тебя событию, случаю, и даже в сонном забытьи ты начинаешь понимать: это не явь, а бредовые грезы, и тогда вдруг пронзает холодком догадка — не зря вторглись они в твой затуманенный сном разум, не беспричинно потревожили память и сердце. Просыпаешься с гулкими ударами в груди, и тебе трудно пошевельнуться от сковавшего тело оцепенения... Лучше, если не взвихришь свои мысли, если сердце утишится и ты опять растворишься во сне, а потом, пробудившись, не вспомнишь, почему билось оно испуганной птицей.

Дурные сны нередко томили Сталина. Он объяснял их себе душевным переутомлением.

В этот день Сталин проснулся в особенно тоскливом настроении. Сквозь распахнутое на террасу окно вливалась в комнату сырая прохлада. Она наплывала из обступавшего дачу леса и сторожившего сад высокого соснового бора. Даже не верилось, что недалекая, одетая в камень Москва в эти часы уже изнывала от июльской жары... Знобкую свежесть Сталин ощутил вскоре после того, как лег где-то на восходе солнца, но не встал, чтобы заменить тонкую простыню на матерчатый плед. Повернулся на спину, надеясь согреть ее, вновь погрузился в тревожный сон и будто улетел в далекое детство, в тот давний холодный январский день, когда с десятилетним Сосо, как звали тогда Иосифа Джугашвили, ученика Горийской духовной семинарии, случилась беда...

Был церковный праздник крещение. На главной улице Гори застыл строй войск. От моста через Куру, где была иордань — храминка-купель, украшенная засушенными цветами, — шли вслед за духовенством толпы народа. Священники в окружении певчих возвращались по своим церквам. В узкой улочке около Оконской церкви создался затор. И никто не заметил, что сверху, по взгорбленной улице, мчались в фаэтонной упряжке обезумевшие лошади. Сидевший на козлах мужчина, бледный от испуга, суматошно рвал вожжи.

Сосо, перебегавший в это время улицу, вдруг услышал страшные вопли, затем его обдало горячим дыханием и запахом конского пота. Тут же чудовищная сила бросила мальчика на землю — под копыта и под колеса... Затем лошади врезались в толпу.

Сосо очнулся дома от причитаний матери. Почувствовал жгучую боль и едкий запах спирта: над ним, лежащим на деревянной родительской кровати, хлопотал доктор — промывал раны на щеках и на ногах...

Удивительно устроен человек. Испытанная им физическая боль, даже самая ужасная, со временем забывается, но не исчезают из памяти и сердца познанные страх, тоска, жалость к кому-то.

«Не бойся, мама, я чувствую себя хорошо», — прошептал тогда маленький Сосо, пересиливая боль и внутренне содрогаясь от плача матери, какого-то незнакомого, жуткого; в этом плаче-вое слышались ужас, отчаяние и такая безнадежность!.. Ведь в семье Джугашвили Сосо был третьим, и единственным, сыном: два старших его брата — Михаил и Георгий — умерли в младенческом возрасте...

И вот сегодня Иосиф Сталин пробудился с холодным камнем в груди, и этот камень был будто бы заброшен из полузабытого, казавшегося чужим, детства: он видел во сне мчащихся на него коней, чувствовал их страшное, горячее дыхание. И мысли, смущенные этим видением, уже не могли оторваться от древнего родного Гори, от развалин его старинной крепости Горисцихе, построенной, по преданию, царицей Тамарой. Крепость мысленно виделась ему такой, какой возбуждала воображение в детстве, — загадочной, манящей остатками своей исполинской лестницы, поднимавшейся от основания скалы до вершины и образовывавшей семь последовательных оград, каждая из которых венчалась башней. За восьмой оградой с главной башней — руины самой крепости... Оттуда, с холодившей грудь высоты, домики Гори с плоскими крышами были похожи на собачьи будки или на пчелиные ульи, базар напоминал растревоженный муравейник, за которым влажно блестела Кура. В городке выделялась та часть улиц, которая называлась Варлис-урбани[1]: там празднично сверкали церковные купола, вызывающе белели стенами новые здания. А как привлекал взгляд и завораживал вид на Карталинскую долину, с ее лугами и кукурузными полями! В ясную погоду даже можно было увидеть за синей цепью гор белую вершину Казбека...

Сталин встал с постели. Озноба уже не было, но он не мог избавиться от удрученности, навеянной сном. Уже догадывался, откуда это: вчера Жуков докладывал о наших потерях на Западном фронте, и Сталин вспомнил о сыне Якове, старшем лейтенанте Джугашвили, который с первых дней войны тоже там, в самом пекле, вместе с какой-то артиллерийской частью. Мысль о Яше тлела в нем даже во сне и, окутав облаком тревоги, перенесла его в собственное детство, укоряя в чем-то...

Стоя перед овально-размашистым зеркалом в ванной комнате, Сталин наспех мылил пушистым барсучьим помазком щеки и подбородок, затем скоблил их безопасной бритвой с нержавеющими зажимами и длинной, в мелкой насечке, ручкой.

---

[1] Варлис-урбани — розовый участок *(груз.)*.

Эту бритву с большим запасом английских лезвий когда-то привез ему из Германии Павел Сергеевич Аллилуев, старший брат Надежды, второй жены Сталина. Сколько раз намеревался он швырнуть сверкающую железку в мусорную корзину, как и собирался распорядиться убрать из столовой радиоприемник «Телефункен» — крупный полированный ящик с моргающим при включении зеленым кошачьим глазом! Его тоже привез Павлуша. Но все откладывал на потом, даже подтрунивал над своей медлительностью и над тем, что и он, Сталин, с его положением, высокими категориями марксистского мышления, тоже не защищен от мелких житейских слабостей и пристрастий. Ведь надо бы выбросить бритву германского производства, да хороша!.. Нет, пусть пока работает на пролетарского вождя...

Издревле живет в человеке недоверие к прочности и постоянству своего счастья. Мысль об этом, как ни странно, приходила Сталину еще в юности, когда редактор газеты «Иверия», славно известный художник слова Илья Чавчавадзе, взял из рук Сосо Джугашвили тетрадь с написанными им стихотворениями и, прочитав их, сказал: «Будем печатать». Стихи за подписью «И. Дж-швили», а затем «Сосело» (что означало уменьшительное от Иосифа) стали появляться в «Иверии», позже — в «Квали». Поэзия молодого Сталина обратила на себя внимание: его стихи среди лучших образцов грузинской литературы попали в книжные издания — пособие по теории словесности: в хрестоматию и в руководство по грузинскому языку.

Еще тогда, задыхаясь от счастья, от гордости, представляя свое будущее в сиянии победной славы поэта-трибуна, революционера, он в то же время ловил себя на смутном ощущении тревоги: все-таки трудно было поверить, что он, шестнадцатилетний семинарист, уже громко заявил о найденной поэтической стезе, надеясь соединить ее со столбовой дорогой марксистского движения. И временами ему делалось страшно: вдруг проснется, а поэта Сосело нет и не бывало!

Такое пробуждение — на беду ли, на счастье! — наступило, когда из еженедельной газеты «Квали» ему вернули подборку стихов, сопроводив их издевательски-разгромным письмом. Только позже понял Сталин, что «Квали» сползла на позиции легального марксизма, а он уже был известен в редакции как дерзкий противник Ноя Жордания. В рецензии едко высмеивались попытки Сосело «впрячь поэзию в арбу социалистов». Сталин оскорбился до исступления. Потом, несколько успокоившись, написал как бы эпитафию по случаю завершения своих поэтических исканий. Она звучала так:

Ходил он от дома к дому.
Стучал у чужих дверей —
Со старым дубовым пандури,
С нехитрой песней своей.
  А в песне его, а в песне,
  Как солнечный блеск, чиста,
  Звучала великая правда,
  Возвышенная мечта.
Сердца, превращенные в камень,
Заставить биться сумел.
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.
  Но вместо величья и славы
  Люди его земли
  Отверженному отраву
  В чаше преподнесли.
Сказали ему: «Проклятый!
Пей — осуши до дна...
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»

Воспоминания нескончаемо разматывались из свитка памяти. Закончив бриться, Сталин не мог вернуться мыслями в сегодняшний день и со злостью швырнул бритву в корзину под раковиной.

Вошел в кабинет, который служил и столовой, намереваясь тут же приказать начальнику охраны унести «Телефункен». Начальник, полнотелый, губастый генерал в полевой форме без знаков различия, словно угадав желание Сталина, выжидательно смотрел на него в раскрытую дверь из прихожей, застыв по стойке «смирно» у стола с телефонами. Но что-то заставило Сталина промедлить. Подойдя к радиоприемнику, он окинул его, словно живое существо, неприязненным взглядом и нажал пальцем клавишу. Загорелся и замигал на панели зеленый кошачий глаз, а из-за желтой драпировки, скрывавшей мембраны, вырвался нарастающий треск, и сквозь него стала пробиваться русская речь: мужской голос напыженным тенорком передавал из Берлина обзор событий на Восточном фронте...

Да, сегодня день начинался для Сталина тяжело. Накат ранивших сердце воспоминаний сменился дурными вестями: немецкий диктор, закончив излагать обстановку в группе армий «Север», вдруг, возвысив голос, сообщил:

— «Из штаба фельдмаршала Клюге поступило донесение, что шестнадцатого июля под Лиозно, юго-восточнее Витебска, немецкими солдатами моторизованного корпуса генерала Шмидта захвачен в плен сын кремлевского диктатора Сталина — старший лейтенант Яков Джугашвили, командир артиллерийской батареи из седьмого стрелкового корпуса генерала Виноградова. Будучи опознанным, Яков Джугашвили вечером восемнадцатого июля доставлен самолетом в штаб фельдмаршала Клюге. Сейчас ведется допрос важного пленника...»

Внутри у Сталина будто все заледенело. Он нажал на клавишу выключателя, приемник щелкнул, будто выстрелил. Не зря, значит, вспоминался ему Яков во время доклада Жукова. Сбылись самые худшие опасения, тревожившие и во сне...

## 24

Обнесенный жердевой изгородью скотный двор, примыкавший к двум длинным бревенчатым коровникам под бурыми соломенными крышами, битком набит пленными красноармейцами и командирами. За изгородью, по ее углам, торчали деревянные вышки-времянки, на которых маячили немецкие солдаты-пулеметчики. Иван Колодяжный, сидя в тени под стенкой коровника на днище опрокинутого корыта (в нем, судя по бражному запаху, раньше запаривали отруби для скота), посматривал в сторону ближней вышки — на двух часовых у длинноствольного пулемета, стоявшего на тесовой площадке. Рядом с Колодяжным понуро сидел красивый смуглолицый грузин; он, как и Колодяжный, был старшим лейтенантом.

Иван не знал, что это сын Сталина, Яков Джугашвили. Выглядел Яков настолько подавленным, что заводить с ним разговор Колодяжному не хотелось. Сказал только, когда тот задержал на нем вопрошающий взгляд:

— Шевели мозгами, как бежать.

Яков некоторое время молчал, потом посмотрел на неспокойное облачное небо и ответил с заметным грузинским акцентом:

— Ночью будет гроза... Надо поджечь эти сараи, — он имел в виду коровники, — дым ослепит часовых...

— Принимается, — со спокойной энергичностью ответил Колодяжный.

И вот они сидят среди этого притихшего, испуганного и голодного людского муравейника. Вокруг ходили, лежали или тоже сидели потерянные люди с серыми или потемневшими, измученными лицами, многие — в окровавленных, грязных повязках, в выцветшем, измятом, нередко изорванном обмундировании, в пилотках, в касках или вовсе с непокрытой головой.

Иван Колодяжный, несмотря на внешнее спокойствие, время от времени вздыхал так, что из груди стон вырывался — все не мог смириться, что оплошал и позволил немцам скрутить себя. Минувшие два дня были наполнены столькими событиями, что их хватило бы вспоминать с содроганием сердца целую жизнь...

А началось все с того невероятного поединка одного-единственного орудия с танковым немецким батальоном. Если б Колодяжному рассказал кто о таком — послал бы ко всем чертям! Но ведь сам дал всему бою начало и сам все видел: стоял в сарае рядом с орудием, прикрываясь поленницей, и сквозь щель смотрел в бинокль. Частые выстрелы пушки оглушили его, запах сгоревшего пороха вызывал тошноту, но Колодяжный крепился, без особой нужды подсказывал знавшему свое дело колченогому сержанту, командиру орудия, по какому танку надо стрелять.

На фоне пожара и горевших стогов сена немцы не могли засечь пушку и вели по хутору беспорядочный пушечный огонь. От прямого попадания снаряда разлетелся на куски мотоцикл Колодяжного. Взрыв разметал и горевшую избу, бросив головешки на соломенную крышу сарая, которая тут же заполыхала.

Впереди, в низине, к этому времени уже горело девять танков!.. Остальные отхлынули назад, затем подались влево, охватывая хутор, чтобы устремиться к Днепровской переправе. У пушкарей выхода не было. Вышвырнули сквозь «амбразуру» из охваченного огнем сарая дымовые шашки и, прикрываясь повалившим из шашек дымом, выкатили орудие в безопасное место, а потом, прицепив его к грузовику, уже не таясь нырнули в заросший мелколесьем овраг. Неслись на машине по узкой, петлявшей среди матерых кустарников проселочной дороге — сворачивать было некуда. Рисковали в любую минуту столкнуться с немцами, поэтому гранаты и карабины держали наготове — в руках. Выскочили из оврага на скошенное ярко-зеленое от молодой поросли клеверное поле, стремительно пересекли его и свернули с проселка в сторону невысокого островка молодого осинника.

Грузовик сбавил скорость и легко стал гнуть к земле и ломать колесами податливые молодые осинки... В глубине рощицы водитель по команде Колодяжного заглушил мотор. В стремительной спешке, будто ожидая взрыва, бойцы откинули возвышавшиеся борта кузова машины, замаскировали ветками кабину, пробежались назад по заметному следу, поднимая в колеях упавшие деревца. Потом залегли все вдоль опушки за бурыми корягами — старыми пнями, которые, видимо, давно были стащены сюда с поля. Выдвигать на позицию пушку не имело смысла — в лотке осталось всего три снаряда; главное сейчас — затаиться.

Чуть приметная за полынной бровкой полевая дорога находилась от осинника метрах в двухстах. Вскоре со стороны хутора на ней появилась, выбежав из зарослей оврага, пятнистая коровенка, а следом — с прутом в руках — знакомая хозяйка сгоревшей избы.

«Мать Димы Старостенкова», — с тоской подумал Колодяжный, лежа в траве за пнем и прижав к глазам бинокль. Он видел, как пожилая женщина панически нахлестывала прутом корову и время от времени со страхом оглядывалась назад. Поравнявшись с осинником, женщина

стала сгонять корову с дороги, направляя ее к кустарнику, где укрылась группа Колодяжного.

И тут же из оврага, за которым дымился в пожарищах хутор, будто из зеленого омута, вынырнули на двух мотоциклах с колясками и пулеметами немцы. Передний мотоцикл помчался прямо по клеверному полю наперерез женщине и корове. Потом с коляски татакнула пулеметная очередь, и женщина, на мгновение остановившись, упала. Тут же она немощно подняла голову, будто силясь посмотреть, кто в нее стрелял, повернулась на спину и замерла. А корова, подбежав к осиннику, учуяла там людей и испуганно повернула назад, навстречу немцам. Приблизившись к своей мертвой хозяйке, животное остановилось, покорно склонив голову.

К коровенке начал подкрадываться выскочивший из коляски мотоцикла пулеметчик в каске. Вот он поравнялся с убитой им женщиной, посмотрел на нее и вдруг словно окаменел. Колодяжный видел в бинокль, как от непонятного ужаса исказилось лицо молодого гитлеровца. Несколько мгновений он что-то разглядывал выпученными глазами, затем в необъяснимом страхе стал пятиться и вдруг прытко, с воплями, побежал назад, с ходу вскочил в коляску мотоцикла и, что-то лопоча водителю, стал тормошить его за плечо, пока тот не развернул машину и не помчался в сторону оврага, где на фоне зеленого кустарника чернел второй мотоцикл.

Немцы исчезли.

— Быть наготове прикрыть меня огнем! — Старший лейтенант Колодяжный требовательно оглянулся на лежавших справа и слева от него артиллеристов. Еще немного понаблюдав в бинокль и не заметив опасности, он подхватился на ноги и побежал туда, где уже спокойно паслась корова.

Женщина лежала на спине, вытянувшись и будто прибавив в росте. Ее фартук был окровавлен на груди, глаза в окаемке бесцветных ресниц невидяще смотрели в небо; маленькое, испещренное морщинами лицо посветлело и будто помолодело.

Колодяжный только сейчас рассмотрел, что не так уж она и стара — зря мысленно называл ее бабкой. Наклонился, притронулся пальцами к векам, чтобы смежить их, и тут же заметил торец иконы, выскользнувшей из-под окровавленного фартука. Опираясь на бок женщины, икона была повернута обличьем в сторону хутора.

Колодяжный, закрыв глаза убитой, выпрямился, не зная, что делать дальше, обошел труп и, взглянув на икону, содрогнулся от невероятного видения. На темном поле образа, ниже светлых пятен, в которых угадывались лики Богоматери и младенца, виднелась дырка — след от пули,— а из нее тянулась книзу свежая струйка крови. В луче пробившегося сквозь хмарь солнца кровь будто светилась изнутри и не переставала струиться.

Взяв в руки икону, Колодяжный посмотрел на нее с обратной стороны. Увидел на закрайках дырки от пули волокна сорочки или блузки и понял: женщина так прижимала к себе под фартуком Богоматерь, что кровь из груди брызнула вслед за пулей сквозь икону...

Чтоб не испытывать судьбу, старший лейтенант Колодяжный не стал дожидаться ночи и, приказав артиллеристам садиться в грузовик, наметил маршрут: сквозь осинник, дальше на север, к темневшему лесу и к пронизывавшей лес автомагистрали, где неумолчно палили пушки и приглушенно стрекотали пулеметы...

Двое суток петляли по вражеским тылам, убедившись, что немцы сосредоточивают главные силы в тех местах, где могли, по всей вероятности, прорываться из окружения наши войска. Безопаснее всего было двигаться на запад, но двигались на север, а то и на северо-запад, откуда доносилась непрерывная канонада: надеялись влиться в какую-либо нашу сражающуюся воинскую часть.

Наконец посчастливилось: прошлой ночью наткнулись на крохотную колонну артиллеристов из состава 293-го пушечно-артиллерийского полка резерва Главного командования — полк был придан стрелковой дивизии полковника Николая Александровича Гагена. Вступив в бой западнее Витебска, он, отбивая только две первые атаки врага, уничтожил более двадцати немецких танков. Потом, оказавшись в окружении и сохранив все свои пушки, из засады разгромил моторизованную колонну немцев, растянувшуюся по большаку на несколько километров.

Далее случилось почти невероятное — об этом Колодяжный услышал от комиссара артиллерийской группы политрука Московина. Вчера, с наступлением темноты, эта сводная группа из двенадцати орудий 152-миллиметрового калибра на тракторной тяге и девяти грузовиков со снарядами под командованием капитана Анисина, покинув огневые позиции на речке Лучеса у деревни Копоти, продвинулась по тылам врага на северо-запад и в направлении Витебского аэродрома. Там скопилось, как донесла разведка, более сотни немецких боевых самолетов.

Политрук Московин не знал, кем и как была подготовлена эта дерзкая операция, но на месте, куда прибыла колонна, их уже ожидали «маяки», пункт связи, от которого уходили нитки провода к наблюдательному пункту, замаскированному под самым носом у немцев — чуть ли не в начале взлетной полосы.

В час ночи гаубицы ударили со всех стволов и, повинуясь командам с наблюдательного пункта, которые подавал командир одной из батарей лейтенант Молодых, около сорока минут опустошали и калечили аэродром, выпустив каждая по 60—80 снарядов...

Только со временем советское командование узнает от витебских подпольщиков, что приказ полковника Гагена был выполнен блестяще. Немцы потеряли в ту ночь свыше пятидесяти бомбардировщиков и истребителей, много летчиков и солдат аэродромной команды, а взлетная полоса надолго была выведена из строя.

Этот успех недешево обошелся и артиллеристам. У немцев хорошо работала связь, и не успели гаубичники после выполнения задачи взять свои пушки на прицепы и сняться с огневой позиции, как со стороны Орши налетела стая ночных бомбардировщиков. Разбросав на большом пространстве осветительные ракеты, подвешенные к парашютам, они начали охотиться за машинами...

На сборный пункт удалось вывести пять орудий, шесть тракторов и два грузовика. Но здесь уже никто не ждал артиллеристов. Основные силы дивизии полковника Гагена в составе 19-й армии отступили к Смоленску.

Потом очередная стычка с немцами... Колонна политрука Московина была рассеяна, а старший лейтенант Колодяжный в рукопашной схватке был оглушен сильным ударом приклада по голове, обезоружен и взят в плен.

Часовые на вышках зашевелились, стали перекликаться друг с другом. Иван Колодяжный будто проснулся от их гортанных выкриков и ощутил страшный голод. Вспомнил, что уже более суток крошки во рту не имел.

— Хоть бы покормили, гады, — сказал он, обращаясь к старшему лейтенанту — грузину.

Тот промолчал, устремив взгляд в сторону широких ворот, за которыми остановились две легковые машины.

Послышалась резкая команда на русском языке:

— Всем строиться!.. Командирам — на правый фланг!.. В четыре шеренги становись!..

Команды подавал высокий узколицый мужчина средних лет в немецкой униформе без знаков различия. Лагерь зашевелился, пришел в движение. И вскоре через весь скотный двор вытянулся плотный четырехшереножный строй. От ворот к строю подошла группа немецких офицеров. Колодяжный, стоя рядом со старшим лейтенантом — грузином, тихо спросил у него:

— В немецких званиях разбираешься?

— Нет, — ответил старший лейтенант.

Откуда-то вытолкнули к офицерам щупленького красноармейца с перебинтованной правой рукой. Его маленькое птичье лицо было худое и бледное, глаза — испуганные, затравленные. Прихрамывая, он шел впереди офицеров, всматриваясь в лица пленных.

Поравнявшись с Колодяжным, красноармеец указал на старшего лейтенанта — грузина:

— Вот этот... Он самый...

Узколицый мужчина без знаков различия, сопровождавший немецких офицеров, сделал шаг к старшему лейтенанту и с недоверием, даже с оторопью спросил:

— Вы Сталин?

— Нет... Я Джугашвили.

— Вы сын Сталина?

— Да, я сын Сталина... Старший лейтенант Джугашвили.

Под усиленной охраной его привезли на полевой аэродром, где на краю поля стоял небольшой одномоторный восьмиместный «юнкерс». Вскоре Яков Джугашвили сидел в самолете и поникло смотрел в окошко, как проплывала внизу дымившаяся в пожарищах войны земля. Ему не хотелось верить, что возврата назад не будет, и, может, поэтому память кидала его в прошлое. Да, сейчас жизнь Якова была осенена только прошлым, и оно — отшумевшее и отболевшее — маячило где-то далеко, на донышке памяти, но сердце еще ощущало его живое, горячее дыхание... Неужели никакой надежды? Только неизбывная тоска, томление сердца в черной и холодной пустоте? Это хуже небытия!..

Яков Джугашвили сосредоточил свои мысли на далеком детстве. Помнил он себя с трех-четырех лет — по обрывкам каких-то событий, по ярким мальчишечьим радостям или по горьким бедам... Первое катание на ослике по горной дороге и восторг от ощущения того, что ты будто вровень с горами, что все плывет мимо тебя, а ты трусцой, млея от страха соскользнуть со спины ослика, плывешь навстречу новым восторгам.

Яша рос то в Тбилиси, у тети Сашико — сестры покойной мамы — первой жены Сталина,— то в рачинской деревне, в доме деда — Семена Сванидзе... Тот деревянный домик стоял у подножия Барьетского подъема близ пестро-зеленого и курчавого самаркцвийского леса. Лес и косогор с дорогой всегда были видны из их тенистого двора и всегда манили к себе какими-то загадками.

Детство виделось в недосягаемом далеке и казалось бесконечно долгим, безбрежным. А годы, когда Яков подрос и ощутил себя лично-

стью — хотя бы потому, что брал верх в мальчишечьих потасовках, — уже мнились близкими, как позавчерашний день... И голодные девятнадцатый-двадцатый, учеба в Чребаловской средней школе, которой руководил самый мудрый, справедливый и самый добрый человек на свете Лонгиноз Кикнидзе, каким он запомнился Якову... И тот день, когда в Риони неожиданно поднялась вода и стала затоплять остров, где остались дети... С какой жаждой не дать случиться беде Яша кинулся в бурлящую реку!.. Беда не случилась... А глаза косули — влажно-черные, тоскливо-укоряющие?.. Он, подняв было ружье и прицелившись, вдруг опустил его и присвистнул, дав косуле убежать; потом, после охоты, никак не мог объяснить, почему не стрелял.

Над ним подтрунивали, а у него на душе было светло и легко!.. И древний старик с хурджини за спиной, которого догнал на горной дороге; он, Яша, ехавший верхом на лошади, соскочил на землю и посадил в седло старика. Вел коня за уздечку до самого Квацхуми.

Было ли все это и многое, многое другое на самом деле?.. А может, нет этого, что происходит с ним сейчас и что опустошает душу страшной непоправимой сущностью, ломит невыносимой тоской грудь? Может, все это наваждение, дурной сон?.. Но почему так все реально: и этот самолет с железными гофрированными стенками, и пилот у рычагов управления, сидящий не за перегородкой в кабине, как привык видеть Яков, а прямо в салоне, в носу самолета, и сияющие лица немецких офицеров, держащих наготове автоматы, будто он может выпрыгнуть... Эх, одну бы ему гранату...

И опять мысль опрокидывает в прошлое, стараясь дотянуться до чего-то ускользающего, но манящего и, кажется, неразрешимого... Почему-то все, что было до переезда в Москву, — его детство и отрочество, проведенные на Кавказе, виделись сейчас как нескончаемый праздник души, наполненный радостью, свободой, какой-то особой естественностью и восторженным слиянием с природой и людьми.

В 1921 году Яшу привезли в Москву, в семью отца. И будто переселился он на другую планету, попал в иной мир и сызнова начинал там интересную жизнь, обучаясь русскому языку, обретая новые привычки и постигая новые обычаи. Отец относился к нему строго и требовательно.

Длинной чередой протянулись годы учебы в электромеханическом институте, работа на заводе и опять учеба — уже по совету отца — в Артиллерийской академии имени Дзержинского... В кремлевской квартире Сталина бывал редко, хотя чувствовал большую привязанность к его семье, особенно к детям — брату и сестре по отцу. Вспомнилось, как когда-то малолетний Василий допытывался у Якова, почему тот разговаривает подобно отцу, с акцентом.

«Я же грузин», — ответил ему Яков.

«А наш отец тоже был когда-то грузином», — с таинственным видом заявил Василий.

Первая семья Якова распалась, а затем и вторая... Где-то в Урюпинске на Хопре живет с матерью его сынишка Женя. Сколько ему сейчас?.. Пять лет!.. Не удалось повидаться перед отъездом на фронт... А в Москве растет девочка Галя — от третьей жены... Больно ударила по сердцу мысль, что он всех их осиротил. При воспоминании о своих детях с особой пронзительностью почувствовал, что никогда больше не увидит ни Жени, ни Гали...

В монотонном гуле мотора восьмиместного «юнкерса» временами слышалась Якову какая-то скорбная, под стать его настроению, мелодия. Он стал прислушиваться, придавая ей в своем воображении музыкальное единство. Мелодия вдруг обрела четкие звуковые очертания, и Яков различил в стонущем гудении и стал повторять про себя церковное пес-

нопение. В памяти его тотчас же высветлился летний день на даче отца в Зубалове. Были какие-то празднества, и приехали с женами Буденный, Ворошилов, Молотов. Обедали на открытой балконной террасе, говорили тосты, пили кавказское вино. Потом Буденный, сидя в плетеном кресле и сияя веселыми глазами из-под кустистых бровей, с немалым искусством заиграл на гармошке церковную мелодию. Молотов, Ворошилов и отец, подойдя к Буденному, подхватили мелодию и стройно, на разные голоса запели какой-то стих божественного песнопения. Особенно выделялся голос отца, высокий и чистый, ничем не напоминавший тот приглушенный, которым он обычно разговаривал. Угадывалось, что во время пения отец окунулся воспоминаниями в свою далекую юность, когда, наверное, этот ритуальный стих был частью его не распустившейся, подобно бутону, жизни ученика духовной семинарии.

«Безбожники, а святое поете»,— с ухмылкой заметил сидевший у края стола Яков, когда песня стихла.

«Мы отдаем дань искусству, музыке, а не религии», — назидательно ответил отец, коротко взглянув на него золотистыми глазами, в которых еще не угасло восторженное чувство, вызванное песней.

«Храм Христа Спасителя над Москвой-рекой тоже был произведением искусства, — с укоризной сказал Яков, — а не посчитались, дали разрушить...»

Буденный, вновь было растянувший мехи гармошки, при этих словах замер, устремив озадаченный взгляд на Сталина. Ворошилов же посмотрел на Якова с веселой укоризной, затем повернулся к Сталину и, не пряча иронии, сказал:

«А он у тебя с мухой в носу...»

Лицо Сталина чуть побледнело; сунув в рот незажженную трубку, он подошел к перилам балкона и долго смотрел на пустую гравийную дорожку, испятнанную солнечными бликами от пробивавшихся сквозь кроны деревьев лучей. Яков не выдержал молчания отца и вышел...

«Зато мы успели... зато не позволили трогать собор Василия Блаженного!» — услышал он брошенное ему вслед, и Якову показалось, что в словах отца вопреки ожидаемому не сквозило сердитости.

Вечером в штабе фельдмаршала Клюге начался допрос старшего лейтенанта Красной Армии Якова Иосифовича Джугашвили. Вел допрос майор германской армейской разведки Вальтер Холтерс вместе с четырьмя абверовцами — офицерами и переводчиками. Все они сидели в комнате у огромного стола, заваленного кипами бумаг и карт, под которыми были спрятаны микрофоны [1].

— Вы сдались добровольно или вас захватили силой?

— Нет, не добровольно, — ответил Яков. — Меня взяли силой... Я бы застрелился, если б своевременно обнаружил, что полностью изолирован от своих.

— Считаете плен позором?

— Да, считаю позором...

— С отцом о чем-либо говорили в канун войны?

— Да, последний раз двадцать второго июня.

— Что сказал ваш отец при расставании двадцать второго июня?

— Сказал: «Иди и сражайся».

— Считаете ли вы, что ваши войска еще имеют шанс на победу в этой войне?

[1] Допрос цитируется по «Делу № Т-176» из «Отдела трофейных иностранных документов» Национального архива США. Публикация Ионы Андронова — журнал «Литературная Грузия» № 4 за 1978 год.

— Да, считаю. Борьба будет продолжаться.

— А что произойдет, если мы вскоре возьмем Москву, обратим в бегство вашу власть и возьмем все под свое управление?

— Не могу себе такого представить.

— А ведь мы уже недалеко от Москвы. Так почему же не представить, что мы ее захватим?

— Позвольте контрвопрос: а если вы сами будете окружены? Уже бывали случаи, когда ваши части были окружены и уничтожены...

Допрос длился долго. В конце Якова спросили:

— Итак, вы заявляете, что не верите в победу Германии?

— Нет, не верю, — ответил он, обратив внимание, что за окном сверкнула молния и следом за ней громыхнул гром, будто поставив грозный восклицательный знак в конце этой его фразы.

И тут Яков с тоской подумал о том, что, сложись обстоятельства поиному, он бы сейчас, наверное, с тем старшим лейтенантом, с которым вместе попал в плен, поджигал бы коровник, готовясь к побегу...

Яков не ошибся: именно с началом грозы старший лейтенант Иван Колодяжный, маскируясь дымом вспыхнувшего пожара, ринулся во главе толпы пленных на ограду скотного двора и, повалив ее, сквозь свинцовый пулеметный ливень устремился к недалекому лесу.

А для Якова Джугашвили началась одиссея узника фашистских концлагерей...[1]

## 25

О пленении гитлеровцами Якова Джугашвили еще раньше Сталина узнали в Москве братья Глинские: впачале Николай, уже несколько лет таившийся в одном из домоуправлений на 2-й Извозной улице под личиной дворника Никанора Губарина, а от него Владимир; после ранения на Западном фронте он продолжал лечиться в военном госпитале, значась там майором Птицыным Владимиром Юхтымовичем согласно искусно изготовленным в лабораториях абвера документам.

...Когда Владимир Глинский впервые появился на 2-й Извозной с запиской для Ольги Васильевны, переданной с фронта ее мужем генералом Чумаковым, тогда и встретились братья. Но Владимир Святославович воспринял происшедшее как предопределенное судьбой. И все-таки глубина его потрясения была неизмеримой, когда он в поисках квартиры покойного профессора Романова постучался по чьему-то совету в «дворницкую» и, зайдя в нее, тотчас же узнал в усатом дядьке своего родного брата Николая.

И Николай сразу же, с воплем изумления, узнал брата, хотя не виделись они больше двадцати лет. Узнал и испугался, пронзенный мыслью: «Если Владимир разыскал меня, значит, кому-то где-то известно, кто такой дворник Губарин Никанор Прохорович...»

В «дворницкой», служившей квартирой Николаю Глинскому, к счастью, никого больше не было, и объяснение братьев произошло без свидетелей. Но затем струхнул Владимир, поняв, что Николай живет с чужим паспортом: «Вдруг он под наблюдением чекистов...» Братья обменялись тревожащими их мыслями, порассуждали и пришли к выводу: нет пока оснований для страхов, но надо строго соблюдать конспирацию.

---

[1] 14 апреля 1943 года Яков Джугашвили был убит в концлагере Заксенхаузен якобы при попытке к бегству. За мужественное поведение в плену он посмертно награжден Советским правительством орденом Отечественной войны I степени.

Николай, услышав, что Владимир появился здесь с поручением генерала Чумакова, вначале насторожился: почему-то связал это поручение с той шкатулкой черного дерева, какую видел в квартире Романовых; шкатулка была наполнена фамильными драгоценностями покойной Софьи Вениаминовны, перешедшими теперь в собственность красивой жены Федора Ксенофонтовича. Но тут же устыдился своей корыстной памятливости и отбросил подозрения. Нет, не потому, что слышал по радио, будто Ольга Васильевна Чумакова отдала свои богатства государству — в фонд обороны (это, как полагал Николай, сказочка для дураков: если и отдала, то небось крохотную часть — для отвода глаз). Главное ведь для него, что родной брат объявился — единственный близкий человек на земле среди всего ненавистного, рушащегося наконец!

Они продолжали беседу за чаем, присев к столу, застеленному поверх клеенки старой газетой. Вот тут-то Николай задал брату вопрос, который встряхнул все естество Владимира, разбудив в нем задремавшего было Цезаря — вышколенного в абверовской школе диверсанта-боевика.

Вначале Николай, почесав середку своих пышных усов, с вкрадчивой почтительностью сказал:

— А ты ведь, Вольдемар, с той стороны прибыл сюда. Только не пойму, где руку тебе покалечило.

— Откуда прибыл, там меня уже нет, — суховато ответил Владимир. — А ранение майор Птицын, — он постучал себя рукой в грудь, — получил от немцев! В боях под командованием генерала Чумакова Федора Ксенофонтовича. И самое удивительное, что это сущая правда!

— Правда не в том, чтобы изрекать истину. — Николай пристально и чуть иронично посмотрел брату в глаза. — Помнишь, отец наш твердил... Правда в том, чтоб говорить то, что думаешь. — И, вдруг посерьезнев, притишенно спросил: — Тебя по его душу прислали?

— По чью? — не понял Владимир.

— Его. — И Николай ткнул пальцем в портрет Сталина на полосе расстеленной газеты, где была напечатана речь Сталина от 3 июля.

— Ну, куда хватил! — Владимир Глинский настороженно покосился на дверь. — Для такой операции нужна целая орава смертников... Да и зачем рисковать? — И перешел на шепот: — Все равно в августе немцам быть в Москве.

— Эх вы, «стратеги»! — Николай с укоризной покачал головой. — В том-то и дело, что он сумеет продолжать войну, где бы ни был. Хоть за Уралом! Он же бог для этих фанатиков!.. Да и сам возомнил себя богом... — Глинский-старший опять ткнул пальцем в газету: — Вот вникни: целью войны он считает, оказывается, не только ликвидацию опасности, нависшей над Советским Союзом, но и помощь всем народам Европы!.. И его бреду все верят, хотя немцы вот-вот постучатся в ворота Кремля... А это страшно.

— Что «страшно»? — не понял Владимир.

— Страшна вера, которая объединяет миллионы слепцов! Их надо освободить от гнета этого имени, безжалостно унизить...

— Унизить? Каким же образом?

— Элементарным! Убрать Сталина — значит порушить веру в его всесилие, в его дело и, следовательно, унизить народ! А униженные к победным порогам не приходят.

— Свято место пусто не бывает, — угрюмо промолвил Владимир. — Другой Сталин найдется.

— Не уверен... Вначале начнется свалка за главенство...

— Глупости! В такое время рваться к власти может только тот, кто

готов склонить голову перед Гитлером, предложив ему капитуляцию России. Среди них такого не найдется.

— Но ведь вначале обязательно наступит замешательство, — не сдавался Николай. — Время будет упущено, и фронты окончательно рухнут!

— Неужели ты прав? — Владимир Глинский смотрел на Николая с раздумчивой вопросительностью. — А каким способом можно его ликвидировать?

— Над способом пусть маракуют там. — Николай качнул головой в неопределенную сторону, и его поношенное лицо стало злым.— Но руки свербят, когда вижу, как он проносится мимо на машине!

— Где?!

— Метрах в двухстах отсюда — по Можайскому шоссе... И по Арбату... А там не улица, а щель. Взорви любой дом, и глыбы рухнут на машину.

— Часто он ездит?

— Каждый день!.. Туда и обратно.

Владимир Глинский задумался, уносясь мыслью под Варшаву, в местечко Сулеювек, где размещался специальный центр абвера. Будто увидел насторожившиеся глаза фюрера «штаба Валли» Шмальшлегера... Как он отнесется к идее покушения на Сталина? А что скажет по этому поводу начальник контрразведки «зондерштаб Россия» русский белоэмигрант Смысловский? Они оба, эти кадровые разведчики абвера, конечно же обратят вопрошающие взоры к адмиралу Канарису — начальнику Управления иностранной разведки и контрразведки верховного командования вооруженных сил Германии (абвера) [1].

Как бы там ни было, но Владимир Глинский почувствовал себя словно гончая, напавшая на верный след. Вспомнился графу Глинскому священник, внушавший ему мысль о золотой ариадниной нити, которая ведет Владимира Святославовича по греховным лабиринтам жизни к свершению им предначертанного небом. И якобы пекутся о прочности этой нити высшие силы, обитающие в созвездии Северной Короны (родилось созвездие, как утверждает легенда, из вознесенного на небо после смерти Ариадны ее венца, подаренного Дионисом).

И Глинский-младший, наведенный старшим братом на мысль о покушении на Сталина, воспылал жаждой деятельности, мучительно размышляя над тем, с чего начать и как возобновить связь со своей абверкомандой при 4-й немецкой армии или с центром абвера «Валли» в Сулеювеке.

Но прежде надо было отнести записку Ольге Васильевне Чумаковой...

Когда в сопровождении брата-«дворника» «майор» Птицын шел знакомиться с семьей Федора Ксенофонтовича, то полагал, что только отдаст записку, бегло, для приличия, расскажет, как чувствует себя Чумаков на фронте, и раскланяется. Но вышло совсем не так.

Ольга Васильевна и ее дочь Ирина встретили нежданного посланца с такой восторженной радостью и искренней приветливостью, что Владимир Святославович растрогался. Поблагодарив «дворника» за то, что

[1] Планы физического уничтожения советского Верховного Главнокомандования во главе с И. В. Сталиным немецко-фашистская разведка пыталась осуществить вскоре после провала ее плана террористической операции в Тегеране (1943 г.), где проходила тогда конференция глав государств — СССР, США и Англии. В Москве террористические акты было поручено совершить предателям Родины Политову-Таврину и Адамичевой-Шиловой. Политов должен был прикрываться в советской столице документами на имя майора Таврина, якобы находящегося в отпуске после ранения и лечения в госпитале. Операцию абвера сорвала советская контрразведка. Политов и Шилова были арестованы.

тот проводил его к Чумаковым, и распрощавшись с ним, «майор» согласился сесть к столу и попить чаю. Но вместо чая в кабинет-столовую вплыл в руках Ольги Васильевны серебряный поднос, посреди которого в окружении хрустальных рюмок высился искрящийся графинчик с водкой, а вокруг рюмок были расставлены вазочки с угольно-черным кирпичиком паюсной икры, с влажно сверкающими маслинами, нежно желтеющими белыми маринованными грибами; тарелочки с розовой семгой, смуглым балыком, тонкими ломтиками сала. И все это дразнящее глаз и вызывающее аппетит благолепие как бы осенялось прелестнейшей улыбкой Ольги Васильевны и таким счастливым блеском ее больших, глубоких глаз, что сердце бывшего графа зашлось в сладком волнении.

А юная Ирина грациозными движениями оголенных до локтей нежных рук расставляла на белоснежной скатерти расписанные синими узорами фарфоровые тарелки, раскладывала серебряные вилки и ножи. Владимир Святославович обратил внимание, что девушка, запечатлев в своем облике красоту матери, восприняла и выразительно-привлекательные черты отцовского лица и была похожа на него и в жестах.

Неужели все это не сон? Неужели это Москва, Россия, тоску по которой младший граф Глинский пронес через столько лет страданий и надежд? В нем начало просыпаться щемящее чувство русского. Словно подошел к порогу, за которым непременно сбудутся томившие его ожидания и окончательно оживет в его душе и ударит в колокола радости когда-то потерянная им Русь. Здесь, в этой квартире, в этом просторном, несколько сумрачном кабинете, служившем и столовой, многое чем-то напоминало Глинскому его прошлую жизнь. Здесь все было до неправдоподобия хорошо: эта старинная неуклюжая мебель — резной громоздкий буфет из черного дерева с загадочным сверканием травленых бемских стекол, резные стулья с витыми ножками и высокими выпуклыми спинками, затянутыми узорчатой ковровой тканью, колченогий газетный столик между тяжелыми кожаными креслами и курительный столик, соседствующий с горбатым кованым сундуком (на его золоченых обручах сохранилась искусственная зелень, придающая сундуку таинственность), старинный, с неудобными для накрахмаленной скатерти округлостями стол под увенчанной хрустальными висюльками люстрой и эти бордовые драпри на окнах и дверях... Многое здесь возвращало его мысли в прошлое, в разоренное родовое имение в Воронежской губернии или в Петроград, в их отнятый большевиками особняк близ Финляндского вокзала.

Подавляя в себе томительно-сладкое умиротворение, он с легкой печалью, как запоздалую радость, принимал трогательные ухаживания Ольги Васильевны и Ирины: они, видя, что одной рукой их гостю трудно управляться за столом, подкладывали в его тарелку закуски (Ирина проворно орудовала ножом), наливали в рюмку водку.

Владимир Святославович неторопливо рассказывал о боях на Западном фронте, о Федоре Ксенофонтовиче и его ранении, а они слушали с тем вниманием, с каким впечатлительный ребенок слушает страшную сказку...

После обеда Глинский, попросив разрешения у Ольги Васильевны посмотреть библиотеку покойного профессора Романова, размахнувшуюся во всю ширину стены кабинета книжными стеллажами, с недоверчивостью и недоумением притрагивался к корешкам сотен бесценных старых изданий, не уничтоженных, оказывается, большевиками, как писалось на страницах русских белогвардейских газет «Часовой» и «Дни», издававшихся в Париже. Значит, обманывали и Врангель, и Керенский — хозяева газетенок, а потом обманывала и милюковская газета «Последние новости», где Владимир Глинский, спасаясь от безработицы, нашел себе

временное пристанище, прежде чем записаться добровольцем в иностранный легион...

Глинский взял толстый том «Истории Петра Великого», кожаный переплет которого был украшен тисненым золотым рисунком работы академика Николая Самокиша. Сорок лет книге, а золото на ней не помутнело, как не померкла в веках слава Петра!.. Раскрыл книгу и вслед за титульным листом прочитал первые фразы короткого предисловия:

«...Недосягаемым гигантом выделяется в судьбах России личность Петра Великого. Для того чтобы объять всю деятельность этого гиганта, дать характеристику всех его подвигов, оценить все его реформы и деяния, — для этого нужны десятки томов...»

«А как же сами большевики смотрят на Петра Великого?» — мысленно спросил у себя Глинский и остановил взгляд на ровной шеренге томов Большой Советской Энциклопедии. Положил на письменный стол «Историю Петра Великого», отыскал нужный том энциклопедии и, взяв его, с незаметной для себя поспешностью начал листать... Вот: «Петр I Великий»... Начал читать... на удивление — все верно... Даже перечислялись музеи, экспозиции и памятники Петру в России и на Украине. Снял другой том, полистал и обнаружил статью о Рюриковичах... Затем вернулся к началу и вот: о династии Романовых... И тут все, кажется, верно... Как же это?.. Глинский вдруг почувствовал себя будто обкраденным и обиженным. Оказывается, и при большевиках Россия продолжается!.. Продолжается ее история вопреки тому, что он, как и тысячи других дворян, покинул Россию, словно тонущий корабль.

Взял в руки еще один том, тая последнюю надежду на желанное разочарование. Листал неторопливо, уже почему-то догадываясь, что разочарования не последует. Так и есть: вот она, куцая статейка «Глинские». И в ней все верно: княжеский род XV—XVIII веков, родословная берет начало от одного из сыновей Мамая, владевшего городом Глинским в Приднепровье... Далее перечислялись главные личности, составлявшие генеалогическое древо Глинских... Старый граф Святослав Глинский когда-то убеждал своих сыновей, что их фамилия соединяет по родословной таблице два дворянских рода Глинских — русский, почти угасший в XVII веке, и польский, утративший княжеский титул. Графский же титул был пожалован их возрожденному роду якобы Петром Великим.

В памяти Владимира Святославовича вдруг всплыла встреча в полевом госпитале со старухой из их поместного селения Глинское, что в Воронежской губернии, вспомнился ее рассказ о том, будто один из его предков в давние времена присоседился к фамилии Глинский, какой люди нарекли одного храброго солдата. Если верить легенде, то солдат тот, потеряв в боях с врагами глаза, стал, ходя ощупью, развозить в тележке по селам белую глину, а вырученные медяки сдавать в царскую казну, чтоб шли они на пользу защищавшейся от поработителей Руси. Царь же, прослышав о верном своем ратнике, одарил его землями и лесами; их после смерти солдата якобы и прибрал к рукам вместе с фамилией их пращур... Вздор!.. Не иначе отголоски давней борьбы между помещиками в уездном и губернском дворянских собраниях...

А сзади него позвякивала посуда: это хозяйки убирали со стола. Затем Ольга Васильевна унесла поднос с посудой на кухню, а Ирина нерешительно подошла к гостю. С той минуты, как узнала она, что этот майор прислан отцом и что они вместе выходили из окружения, Ирину мучил вопрос, который она стеснялась задать при матери. Ей не терпелось услышать что-нибудь о летчике лейтенанте Викторе Рублеве. Он ведь написал ей, что пробивался из вражеского тыла с отрядом генерала, который «носит такую же фамилию, как твоя, — Чумаков». Конечно же, с отцом! Тогда вполне возможно, майор знает Виктора...

Видя, что он одной рукой с трудом втискивает на книжную полку том энциклопедии, Ирина помогла ему и спросила:

— Страшно было в окружении?

— На войне везде страшно,— ответил Глинский и взял со стола нарядный фолиант «История Петра Великого».

В комнату вернулась Ольга Васильевна, и Ирина, взглянув на нее с досадой, перевела разговор на другое:

— Хотите полистать Петра?

— Да нет, — вяло ответил Глинский. — Читывал когда-то... Сейчас не до Петра Великого.

— Какой он там великий, если сына родного не пощадил? — Ирина взяла у него книгу и сунула ее на полку, в щель между другими книгами. — Подумаешь, не пригоден был для царского трона! Зачем же голову с плеч? — Она вздохнула и покосилась на мать, которая, сняв со стола белую скатерть, неторопливо складывала ее.

— Вы о царевиче Алексее? — Владимир Глинский пытливо взглянул в юное, затененное вдруг набежавшей грустью лицо девушки.

— А то о ком же? — с непонятной укоризной ответила Ирина. — Что за времена были? Отец не верит сыну, сын смертно боится отца, убегает от него к чужому императору...

— Все сложнее и все проще. — В словах Глинского прозвучала твердость. — Поступки Петра диктовались заботой о престоле, о судьбе России... Каждого монарха всегда тяготит мысль о том, кому он оставит свой трон и сумеет ли наследник продолжить его дела, не станет ли жертвой дворцовых интриг и заговоров. Ну и естественно, государь должен утвердиться в уверенности, что наследник будет чтить его имя, поддерживать в народе светлую память о нем.

— Вы рассуждаете как-то по-старорежимному,— со школярской непосредственностью заметила Ирина. — Монарх, государь, светлая память... А нас учили, что царь — это самый крупный помещик, мироед, и его главная забота — грабить народ, жить в свое удовольствие по-царски, а затем оставить богатство наследникам.

Замечание Ирины по поводу старорежимности его рассуждений напомнило Глинскому о необходимости соблюдать осторожность: ведь он все-таки «майор Красной Армии», однако, ощущая здесь полную свою безопасность, не хотел оставить без ответа уязвившие его слова.

— Извините, Ирина Федоровна, я действительно старорежимный, ибо родился и получил образование до революции. — Глинский уже говорил снисходительно, тая во взгляде возвышенность и беспощадность своей веры. — Но ведь истина не зависит от того, кто когда родился и как воспитывался. По-вашему, цари, монархи, императоры употребляют свою власть только для собственного удовольствия и для обогащения? А кто же тогда собрал Россию, создал великую империю и столетиями правил ею? Кто возводил на полях ее дикости государственность? Кто укреплял военную мощь? Откуда взялись законы, которыми худо ли, плохо ли, но руководствовались?.. И почему, наконец, того же Петра Первого нарекли Великим?

— Все это мы проходили в школе! — Ирина смотрела на Глинского с некоторым разочарованием.

— «Проходили»! — Глинский раздраженно хмыкнул. — Вам втолковывали, что цари грабили народ и жили в свое удовольствие. А объясняли, откуда взялся Эрмитаж в Петро... в Ленинграде с его картинами, которым нет цены? Объясняли, что исторические ценности России, начиная от коронационных регалий, от шапки Мономаха...

— Да-да-да!.. Объясняли! — Ирина совсем распалилась: — Вы рассуждаете как буржуазный интеллигент, стоящий на бесклассовых пози-

циях! У нас даже двоечники понимали, что богатства той же Оружейной палаты были собственностью великих князей и царей! Они свидетельствовали о талантливости русских мастеров, но от народа были скрыты!

— Ну, завелась! — Ольга Васильевна укоряюще взглянула на дочь.

— Мама, у меня среднее образование, — умерив пыл, сказала Ирина.— Должна же я понимать и роль личности в истории, и то, что историю делает все-таки народ, что, например, капитализм прогрессивнее феодализма, а буржуазная республика с выборным парламентом человечнее монархии! А уж как сейчас прекрасно обходимся без царей!..

— Ну, все-таки и в наши дни есть великие мира сего, у которых в руках верховная власть,— с вкрадчивой осторожностью напомнил Глинский, оглянувшись на Ольгу Васильевну, словно ища у нее поддержки. — Был Ленин... Сейчас Сталин, Калинин, Ворошилов...

— Ну и что?! Разве они используют свою власть для обогащения? У них разве есть собственные дворцы, поместья? — Ирина раскраснелась, негодуя, что ее собеседник не понимает таких простых вещей.— Сталин живет на казенной даче, имеет казенную квартиру, нанимает на собственные деньги репетиторов своим детям! У нас есть знакомая учительница, у которой дочь и сын Иосифа Виссарионовича учатся. Она все знает!

— Да, наши вожди не умеют жить по-барски,— включилась в разговор Ольга Васильевна. — Когда умер Ленин, то своей супруге, Надежде Константиновне Крупской, никаких богатств не оставил.

Владимир Глинский, веря и не веря в услышанное, недоумевая и поражаясь, почувствовал себя так, словно ему вдруг завязали глаза и он не знает, куда ступить, чтобы не наткнуться на препятствие. О том, что сейчас услышал, он никогда не задумывался, полагая, что Сталин со своим правительством унаследовал образ жизни бывших хозяев России. Начал вспоминать прочитанное когда-то о Ленине и, чтобы закончить ставший трудным для него разговор, с напускным глубокомыслием сказал:

— Зато оставил Ленин огромное наследство другого характера: созданное на развалинах старого мира государство и свое учение, доказав этим, что Россия по-прежнему рождает время от времени гигантов мысли и энергии.

— Ну вы прямо как наш покойный Нил Игнатович выражаетесь!— Ольга Васильевна, окатив его дружелюбным взглядом, засмеялась, затем подошла к книжным полкам, взяла толстую тетрадь в сером сафьяновом переплете.— Тут тоже есть о царях, о мыслителях...

Когда начала она листать тетрадь, Глинский успел охватить глазами надпись на ее первой странице: «Мысли вскользь».

— Вот здесь, например. — И Ольга Васильевна напевно прочитала: — «Когда цари удаляют общественное мнение от своих престолов, то оно затем восседает на их гробницах...» Нет, это о другом. — Еще полистав, вновь стала читать. Изящным, музыкальным голосом она веско и отчетливо произносила каждое слово, отчего фразы приобретали почти зримость: — «Добролюбов верно утверждает, что историческая личность, даже и великая, составляет не более как искру, которая может взорвать порох, но не воспламенит камней и сама тотчас потухнет, если не встретит материала, скоро загорающегося... — Ольга Васильевна приумолкла — будто для того, чтобы оглядеться с высоты, на которую взлетела,— а потом опять продолжила, понизив голос и словно возвысив этим значимость каждого прочитанного ею слова: — Этот материал всегда подготовляется обстоятельствами исторического развития народа и что вследствие исторических-то обстоятельств и являются личности, выражающие в себе потребность общества и времени... И я бы добавил...» — Она подняла на

Глинского глаза, сделавшиеся почему-то строгими и печальными, и пояснила: — Дальше Нил Игнатович излагает уже лично свою точку зрения.— Вновь утопив взгляд в струившиеся на тетрадном листе фиолетовые ручьи фраз, повторилась: — «И я бы добавил, что исторические личности раскрываются только в борьбе, в утверждении великого, имея перед собой препятствия, противников и даже врагов, а вокруг себя — единомышленников, соратников. Эта формула сходна с огнивом: кремень не даст искру без удара им по железной тверди... Личности, возглавляющие революционные партии, должны видеться народам, по выражению Герцена, не как дальние родственники человечества. Они в своих усилиях обязаны быть так едины с партиями, как едины парус и ветер. Но о партии не скажешь проницательнее Ленина. Мудрый Ильич верно заметил: «Все революционные партии, которые до сих пор гибли, — гибли от того, что зазнавались и не умели видеть, в чем их сила, и боялись говорить о своих слабостях».

Когда Ольга Васильевна умолкла, Глинский спросил:

— А кто он, этот ваш Нил Игнатович? — В его голосе прозвучало далеко не праздное любопытство.

— Хороший, умный старик... совесть наша, — тихо ответила Ольга Васильевна, продолжая печально глядеть в раскрытую тетрадь. — А вот и о самом Ленине написано... — И опять полился ее размеренно-красивый голос; облаченный в слова, он звучал впечатляюще, значительно:— «Удивительное явление в истории человеческой мысли — Ленин. Он творец новой идеологии, основанной, говоря его же словами, «на всем материале человеческого знания». Эта идеология зримо влияет на дальнейшие судьбы континентов, государств, народов, классов. Гениальный мыслитель и продолжатель марксистского учения, Ленин родил великую веру народа в дело, которому посвятил жизнь. Ленина никому и никогда не свергнуть, ибо ему некуда падать: он со всей своей судьбой и системой своих философских взглядов неотторжим от живой жизни, от народа...— Ольга Васильевна перевернула страницу, вздохнула и, еще больше понизив голос, придав ему даже суровость, продолжила: — Нелегко будет тем руководителям — наследникам Ленина, которые не сумеют создать ленинского климата в жизни государства и в деятельности партии, или тем, кто станет жить только сиюминутными интересами, глядя на все поверх голов народа и не прислушиваясь к его, народа, голосу или, что еще хуже, его безмолвию... Горе тому, кто забудет предупреждение Ленина о том, что «диалектика в е щ е й создает диалектику и д е й, а не наоборот».

«Неужели старик с кем-то полемизирует, что-то взвешивает на весах?» — подумал Глинский, ощущая, что ему не под силу ответить на этот вопрос.

Закрыв тетрадь, Ольга Васильевна бережно, с видимым почтением, поставила ее на книжную полку за стекло и, скользнув по Глинскому то ли задумчивым, то ли отсутствующим взглядом, заспешила в спальню, чтобы открыть двери балкона, откуда послышалось мяуканье кошки Мики. Глинскому же почудился в этом взгляде какой-то упрек. Но в чем? В том, что ему чужды, ненавистны и непонятны эти разглагольствования какого-то старика? Если сказать честно, то Глинский ничего в них не понял. Его больше всего поразила вера этой привлекательной и неглупой женщины, да и ее милой дочери, в написанное стариком о Ленине и вера в самого Ленина, прозвучавшая в богатом интонациями голосе Ольги Васильевны.

Глинского вдруг в самое сердце ужалила мысль: может, они разгадали в нем врага и пытаются убедить его в той правде, которой живут сами?! Он повернулся к замершей в плену каких-то потаенных мыслей

Ирине и, маскируя притворной улыбкой нарастающий страх, уже другими глазами посмотрел на все, что его окружало и еще несколько минут назад радовало душу, как воскресшая в нем Россия... Куда он попал, что это за дом?.. Проследил за рукой Ирины, которая, взяв из вазочки на столе бумажную салфетку, подошла к стеллажам и начала вытирать пыль с корешков книг. Пробежался глазами по надписям на корешках: Суворов... Клаузевиц... Румянцев... Гофман... Ллойд... Медем... Кладо... Виллизен... Фош... Шлиффен... Дельбрук... Леваль... Михневич..: Все это история войн и конденсация военных теорий разных времен. А вот и о технике: переведенный с немецкого справочник Хейгля — о танках, который он, Глинский, совсем недавно штудировал в абверовской разведшколе!.. И книги Свечина?! Генерала царской армии Свечина Александра Андреевича, знакомого семьи Глинских по Петрограду?.. Большевики, оказывается, издали его «Эволюции военного искусства» и «Стратегию»?! Да это же конец света! Или, может, генерал Свечин не покидал Россию и служит большевикам?..[1]

Сразу столько неожиданных вопросов и родивших напряжение тревог, что Глинский почувствовал тяжесть в груди и звон в ушах. Надо было скорее уходить отсюда, скорее уединиться, чтобы все обдумать, взвесить.

— Скажите, Владимир Юхтымович, а с вами в окружении был один летчик?.. — спросила, преодолев смущение, Ирина. — Лейтенант Рублев... Виктором его зовут...

Глинский почувствовал, как заныла выше колена правая нога, где только-только затянулась пулевая рана, и сила памяти вернула его в те минуты, когда он, раненный первый раз, лежал во ржи, а прямо на него спускался на парашюте летчик сбитого «мессершмиттом» тупоносого советского истребителя; Глинский тогда не расстрелял летчика в воздухе только потому, что диск его автомата был уже пуст, а пистолет он не успел выхватить из кобуры...

— Почему вы молчите?

Уловив в голосе Ирины смешанное чувство неловкости и удивления, Глинский уже хотел было начать рассказывать, как он познакомился в отряде генерала Чумакова с лейтенантом Рублевым, но в прихожей вдруг протяжной трелью зашелся электрический звонок. И Ирина, прикусив от досады губу, выбежала.

Чей-то неожиданный визит еще больше взвинтил нервы Глинского. Он стал напряженно прислушиваться к тому, что происходило в прихожей, где уже рокотал басовитый, с хрипотцой и властными нотками, мужской голос. Глинский представил себе зашедшего в квартиру мужчину огромным, грудастым, с могучими руками и крупным каменным лицом. Ему было слышно, как тот шумно и радостно здоровался с Ириной и Ольгой Васильевной, затем стал корить их за неисправность телефона.

— Целый день названиваю! — с добродушной бранчливостью басил он. — Все занято!.. Ну, думаю, уходят Ирочкины кавалеры на фронт — прощаются, видимо! Звоню на станцию, приказываю, чтоб немедленно разъединили... Извини, Ирочка, надо!.. А мне говорят: у них трубка неправильно положена...

Глинский покосился на край стола, где отсвечивал черным лаком металлический телефонный аппарат, и тут же увидел, что вплотную придвинутый раскрытый календарь уперся деревянной подставкой в основа-

---

[1] Свечин А. А. (1878—1938) — русский, советский военный историк; с марта 1918 года служил в Красной Армии, автор многих трудов по военной истории, тактике и стратегии.

ние рычага-рогулек, на которых лежала телефонная трубка, и приподнял их вместе с трубкой. Тут же уловил ухом монотонно-нудное гудение трубки. Протянул руку, чтобы отодвинуть подставку с календарем, но вдруг замер. С чуть пожелтевшего календарного листка от 17 июня ему бросились в глаза две фразы, написанные угловатым неуверенным почерком: «Звонили от Сталина. Иосиф Виссарионович благодарит за письмо и желает побеседовать с Нилом Игнатовичем». А ниже этой записи, поразившей немецкого разведчика-диверсанта своей загадочностью и, возможно, значительностью, — номер телефона...

Преодолев охватившую его оторопь, Владимир Глинский еще раз повторил про себя этот номер, состоявший из буквы и пяти цифр, не зная еще, зачем он может ему понадобиться, и, убедившись, что буква и цифры прочно впаялись в его память, отпрянул от стола.

А в передней продолжал властвовать сочный голос Сергея Матвеевича. Да, это был он, видный авиационный инженер Романов, внучатый племянник покойного Нила Игнатовича, который в прошлый приезд уговаривал Ольгу Васильевну и Ирину ехать с ним в Сибирь, где ему предстоит возводить крупный авиационный завод.

Он стоял перед ними среди ярко освещенной прихожей, большой, широкогрудый, в легком светлом костюме; его полнокровное, пышущее здоровьем лицо, излучающие энергию и доброжелательность серые глаза как бы исключали своим выражением возможность перечить ему, не соглашаться с его словами.

Возвышаясь живой глыбой над Ольгой и Ириной и любовно глядя на них сверху вниз, как на неразумных, беспомощных детей, Сергей Матвеевич отдавал им распоряжения:

— Времени у вас на сборы — до заката солнца. Затем подъедет машина, грузитесь — и на Ярославский вокзал. Шофер доставит вас прямо к моему салон-вагону!

— Сережа, но так неожиданно... Право, я не знаю, как поступить.— Ольга Васильевна растерянно посмотрела на Ирину.

— Никуда мы не поедем! — Ирина, побледнев, обняла за плечи мать, будто пытаясь ее защитить. — Ждем ведь повестки из военкомата! Мы с мамой на фронт собрались!

— Я отменяю все повестки и ваши неразумные решения! — Сергей Матвеевич добродушно посмеивался. — У меня в кармане мандат Государственного Комитета Обороны, подписанный товарищем Сталиным. Я имею право приказывать... Вот подойду к любому телеграфному столбу и скомандую: «А ну, марш со мной в Сибирь, в Нижнемихайловск, строить авиационный завод!» И даже столб пошагает! — Довольный своим остроумием, он не подозревал, что выбалтывает военную тайну прямо в уши немецкому разведчику, ловившему из-за двери столовой каждое его слово. — Так что, милые мои, не чирикать, а собираться. Москва готовится к обороне, войне конца не видно, и вам здесь под бомбами... Дада, бомбежки ожидаются со дня на день, а вам тут, рядом с Киевским вокзалом, достанется больше всех!

— Мама, мы же сегодня письмо от папы получили! — Ирине почудилось, что мать колеблется, и она горячливо хваталась за любой аргумент. — Папа вышел из окружения, воюет под Смоленском. Это же рукой подать! Как мы можем оставить его и уехать куда-то в Сибирь?!

— Есть от Федора Ксенофонтовича вести? — Сергей Матвеевич посерьезнел.

В это время из кабинета-столовой вышел Глинский.

— Майор Птицын,— спокойно и с достоинством представился он Романову. Затем обратился к хозяйке: — Уважаемая Ольга Васильевна,

с вашего позволения я отбуду в госпиталь. Время моего увольнения истекает...

Все это было полторы недели назад, и сейчас Владимир Глинский не знал, уехала ли семья генерала Чумакова в Сибирь или он вновь застанет ее дома. Раздробленная кисть его левой руки, продолжая покоиться в гипсовой оболочке, подвешенной на марлевой косынке, не мешала ему совершать продолжительные прогулки по Москве, благо в госпитале не скупились на увольнительные записки для майора, тем более что госпитальное начальство распорядилось не ограничивать в увольнениях ходячих раненых — старших командиров.

Распоряжение это последовало не без стараний советской контрразведки. Военные чекисты уже заинтересовались личностью «майора Птицына», напав на след абверовца случайно: Глинский по просьбе соседа по палате, у которого были ампутированы обе руки, написал под диктовку письмо его жене куда-то на Рязанщину и в двух местах по оплошности употребил букву «ять», изъятую из русского алфавита более двадцати лет назад. Сосед обратил на это внимание и заподозрил неладное...

До сегодняшнего дня «майор Птицын» еще дважды выезжал в город, якобы интересуясь историческими достопримечательностями. В первый после посещения Чумаковых выезд он на трамвае добрался от Киевского вокзала до деревни Фили, разыскал музей — бывшую избу крестьянина Фролова, где 1 сентября 1812 года, после Бородинской битвы, Кутузов созвал военный совет, который решал: дать Наполеону сражение под Москвой или оставить город без боя. Музей оказался закрытым, и Владимир Глинский издали полюбовался церковью Покрова, посидел на скамеечке, покурил, а затем пешком направился по Можайскому шоссе к центру Москвы.

Он шел по «маршруту Сталина», как мысленно назвал путь от Филей до Боровицких ворот, пролегавший по Можайскому шоссе, Большой Дорогомиловской улице, Арбату, улице Фрунзе. Провожал цепким взглядом обгонявшие его машины, прикидывая в уме, можно ли нанести по ним удар. Ему казалось, что достаточно будет одного удачного выстрела гранатомета... Но тут же сомневался: удача ничем не гарантирована. Да и не совсем просто под недремлющим оком чекистов появиться на маршруте с такой «игрушкой», а уж о том, чтоб уцелеть после покушения, не могло быть и речи... Нужно какое-то специальное устройство: минипушка со снарядом особого действия. В лабораториях абвера создать для разового употребления смогут что угодно. Значит, надо немедленно налаживать связь с абвером и предлагать план покушения...

Во второй выезд Владимиру Глинскому удалось увидеть и промчавшиеся по Можайскому шоссе в направлении Кремля три черных лимузина. За белыми занавесками средней машины он никого не разглядел, но сомнений не было, что в ней ехал Сталин.

Опытный глаз разведчика заметил также переодетых работников службы безопасности — большинство были в однотипных костюмах из синего шевиота, многие при галстуках, некоторые в шляпах. Стояли они на углах улиц и посредине кварталов: одни — будто читали на витринах газеты, другие рассматривали афиши на тумбах, третьи старательно прикуривали папиросы, кидая по сторонам внимательные взгляды.

Недалеко от слияния Большой Дорогомиловской улицы и Можайского шоссе, напротив дома, глухой простенок которого был украшен уже поблекшим от времени огромным портретом Сталина, Глинский, остановившись прикурить, заговорил с молодым, мускулистым парнем, одетым в чуть измятый синий костюм из шевиота.

— Тяжела служба? — спросил Глинский, кивнув на портрет Сталина.

— Нужная, товарищ майор,— ответил парень и, попристальнее

взглянув на раненого командира, тоже задал вопрос: — Как там, на фронте?

— Горячо, — ответил Глинский и зашагал дальше.

Пройдя метров двести, он оглянулся, будто собираясь перейти на другую сторону улицы, и увидел, что с тем же парнем разговаривал какой-то низкорослый мужчина, глядя ему вслед. Сердце Глинского испуганно встрепенулось: неужели слежка?.. Однако, заметив, что низкорослый пошагал в обратную сторону, успокоился, хотя тень тревоги с тех пор так и не покидала его.

Сегодня Владимир Глинский появился на 2-й Извозной улице часов в десять утра и, зайдя в знакомый двор, увидел своего брата Николая в белом фартуке, подметающего березовой метлой ступеньки подъезда, в котором находилась квартира Чумаковых. Рядом, на скамейке, сидела молодая женщина, баюкая на руках запеленатого в белое ребенка.

— Гражданочка, здесь пыльно, — обратился дворник к женщине. — Шли бы с ребенком в сквер.

Женщина молча поднялась и ушла, а дворник, перестав мести, уже смотрел на приближающегося «майора» со сверкающими белизной бинтами на подвешенной к груди руке.

— Вы к кому, товарищ майор?

— К Чумаковым, в седьмую квартиру.

— Нету их. Уехали под Можайск рыть окопы.

— Окопы?..— Владимир Глинский, покосившись вслед удаляющейся женщине, с напускной растерянностью сообщил: — А у меня им послание с фронта — от генерала Чумакова.

— Бросьте в почтовый ящик на дверях квартиры, — посоветовал дворник.

— Придется.— Глинский оглянулся по сторонам и спросил: — А где бы листок бумаги достать для записки?

— Ну, пойдемте ко мне, — предложил дворник. — Для раненого фронтовика найдем и бумагу.

Когда они оказались в «дворницкой», Николай притишенным голосом сказал:

— Немцы уже в Смоленске.

— Они должны были там быть еще две недели назад, — угрюмо ответил Глинский.

— И еще новость: сына Сталина в плен взяли.

— Взяли или сам сдался?

— Взяли.

— А ты откуда знаешь?

— Кормил сегодня рыбок. Ученый один просил присмотреть за аквариумом в его квартире, пока он в командировке. А радиоприемник не сдал... Ну, я иногда и слушаю немцев...

Владимир Глинский снял фуражку, вытер платком испарину со лба и присел к столу.

— Ну вот что, дорогой мой брат,— строго сказал он.— Бросай-ка свою метлу да берись за серьезное дело.

— Какое?

— Записывайся в ополчение и отправляйся на фронт. Повезешь моим шефам за линию фронта послание от меня.

— В плен сдаваться?! — испуганно спросил Николай.

— В плен сдаются врагам! — отрезал Владимир.

Через несколько дней бывший дворник Никанор Губарин (он же бывший граф Николай Глинский) в набитом ополченцами вагоне электрички уезжал с Белорусского вокзала в сторону Голицына.

Иногда взгляд Сталина казался его помощнику и секретарю Поскребышеву невидящим — это когда случалось что-то особенно неприятное, поражавшее Сталина своей неожиданностью, или когда он, Сталин, узнавал, что его важное, не терпящее отлагательства поручение почему-то не выполнено. Неуютно чувствовал себя Поскребышев под таким взглядом. А ведь многие, кто встречался со Сталиным при неблагоприятных для себя обстоятельствах, тушевались вовсе при ином выражении его глаз, когда тот, разговаривая, клал локоть своей полусогнутой руки на стол или себе на колено, наклонялся к собеседнику и засматривал ему в глаза будто с сосредоточённой пытливостью. Такой взгляд чаще всего сопровождался каким-либо вопросом, который спокойно задавал Сталин, и на этот вопрос требовался немедленный и уверенный ответ.

Сегодня Поскребышев появился в своем кабинете, служившем приемной Сталина, несколько раньше обычного, в десять утра, хотя уехал домой в четвертом часу ночи. Случилось так, что и генерал армии Георгий Константинович Жуков (их квартиры находились в одном доме) подкатил к подъезду на своем черном «зисе» в то же самое время — перед восходом солнца; а в начале разгоравшегося полуденья они тоже одновременно вышли из своих квартир к дожидавшимся их машинам и по поводу такого совпадения обменялись какой-то будничной шуткой.

Зайдя к себе в кабинет, Поскребышев услышал звонок вертушки. Поспешно снял трубку, каким-то особым чутьем угадав, что звонит с кунцевской дачи Сталин, хотя обычно в это время он еще должен был спать. И не ошибся.

— Товарищ Поскребышев, — услышал в трубке знакомый, глухой голос с кавказским выговором, — позвоните, пожалуйста, товарищу Жукову и передайте ему мою просьбу — пусть немедленно вызовет с фронта маршала Тимошенко... Хорошо бы, чтоб часа через три Жуков и Тимошенко прибыли на заседание Политбюро.

Столь неурочный звонок Сталина означал, что он принял какое-то важное решение, и Поскребышев без промедления позвонил генералу армии Жукову, с которым виделся несколько минут назад. Начальник Генерального штаба удивился раннему звонку Сталина, но и насторожился, восприняв приказ о вызове в Москву маршала Тимошенко с недоумением.

— Как же можно в горячую пору срывать командующего фронтом с командного пункта?! — Голос Жукова был резок и тверд. — Там сейчас подходят резервы. Мы принимаем меры, чтоб отбить у немцев Смоленск. У Семена Константиновича по горло оперативной работы! Без связи с ним Генеральный штаб окажется с завязанными глазами.

— Георгий Константинович, я наперед знаю, как Верховный ответит на твое возражение. Он напомнит, что кроме Тимошенко под Смоленском есть Еременко, Булганин, Маландин!

На слова помощника Сталина Жуков ничего не ответил, а Поскребышев в который раз подумал, сколь сложно и трудно его положение в этом кремлевском кабинете, куда люди заходят то с благоговением, то с трепетом, даже иные наркомы и ответственные работники ЦК. А он, генерал Поскребышев, будто и чувствует себя здесь хозяином, будто все может, а на самом деле... Он между ним, Сталиным, и, кажется ему, всем миром. Любое деловое слово Поскребышева, кому он его скажет, может быть воспринято как слово и воля Сталина, и именно поэтому он чаще вынужден быть безмолвным. Ох как это нелегко и непросто. А уж если при крайней нужде надо было откликнуться на чью-либо просьбу и перед кем-то о чем-то похлопотать, то не уставал напоминать,

что это его глубоко личная просьба и ее можно и не выполнить, а тем более если она трудновыполнима.

По иронии судьбы, что ли, Поскребышев, как и Сталин, был сыном сапожника. Родился он в селе Успенском Вятской губернии в бедной многодетной семье. Судьба благосклонно отнеслась к нему в детстве, ибо мальчишка, которого отец приохочивал к сапожному ремеслу, пошел своей дорогой — окончил начальную школу, затем городское училище, работал на кожевенном заводе, где политические ссыльные стали открывать ему глаза на несправедливости жизни. Потом в Вятке одолел фельдшерскую школу и вновь вернулся в рабочую среду — на завод в Бранче. Там после Февральской революции стал председателем Совета рабочих и солдатских депутатов, вступил в большевистскую партию и зашагал дальше по трудным дорогам борьбы за новую жизнь. В марте 1922 года он уже работал инструктором по кадрам в ЦК партии, затем секретарем партийной организации ЦК, а через год поступил на правовой факультет Московского университета. Пять лет постижения обширнейшей университетской программы, а затем опять работа в аппарате ЦК...

Он был моложе Сталина на двенадцать лет. Сталин и относился к нему как к младшему другу — с вниманием и заботой, но без каких-либо скидок и послаблений в служебных делах. Как ни странно, самыми трудными для Поскребышева были на первый взгляд совсем простые вещи. Например, хотя Сталин всегда в общем-то с доверием относился к специалистам разных отраслей промышленности и сельского хозяйства или к деятелям науки и культуры — к их суждениям, оценкам, предложениям, но коль на Политбюро ЦК решался какой-либо касавшийся их вопрос, то он, Сталин, к этому моменту уже обязан быть осведомленным во всех его тонкостях, особенностях, главных сложностях. Поскребышеву вменялось в обязанность заблаговременно заказывать в Библиотеке имени Ленина те книги, которые могли помочь Сталину. И нельзя было ни на кого положиться в столь, казалось бы, несложном деле. Сталин не любил тратить время не только на легковесных людей, но и на пустые книги, и Александр Николаевич сам рылся в каталогах, переписывал ссылки на литературные и научные источники из энциклопедий, обращался с вопросами к специалистам, терпеливо размышлял над сложностями и особенностями проблем, которые намечалось обсуждать, и только потом посылал заказ в библиотеку — подчас на горы книг! Ошибиться в их подборе он не имел права... Помогала Александру Николаевичу его поистине феноменальная память. Трудно даже было поверить, что он, например, почти не пользовался телефонной книжкой, держа все нужные телефоны в памяти. А уж что касалось заданий Сталина и множества тех дел, из коих складывалась его каждодневная работа, в том числе и умение выхватить взглядом и мыслью из перечней книг, брошюр, монографий, из предметных каталогов, из оглавлений и содержаний печатных изданий самое нужное к данному моменту, то кроме удивительной памяти ему помогало необыкновенно развитое чутье, какая-то особая интуиция, наличие которых он обнаружил у себя еще в университетские годы. Возможно, именно поэтому Сталин так ценил Поскребышева и столь долгие годы не разлучался с ним, как с надежным помощником.

Поскребышев в свою очередь поражался, как Сталин справлялся с освоением того множества книг, справочников и других материалов, ложившихся на его стол и на полки шкафа, как успевал находить в них и изучать все то, что ему требовалось.

И еще очень нелегко было писать под диктовку Сталина, когда тот готовился к докладу, к речи или составлял проект какого-либо документа. Хотя Поскребышев любил музыку, имел тонкий слух, но временами ему не удавалось расслышать какое-либо слово Сталина — из-за его при-

глушенного и гортанного голоса с грузинским произношением. А переспрашивать — значило вызывать не то что раздражение, а нарушать течение мыслей Сталина и «возвращать» его из неведомых далей памяти, где он усилиями мышления отбирал самое нужное, главное, одевал его в словесную ткань и выстраивал фразу за фразой таким образом, что в них начинала звучать проблема, философская, политическая или экономическая формула. Он, размышляя вслух, говорил так, словно клал кирпич за кирпичом, возводя здание, уже существовавшее в его воображении. Поскребышев четким, округлым почерком выстраивал это здание на бумаге. Но если иногда плохо расслышанное слово он записывал по догадке и допускал ошибку, Сталин потом всегда обнаруживал ее и устремлял на своего помощника глаза, которые в это мгновение, как казалось Поскребышеву, ничего не видели. Трудно было выдержать этот загадочный взгляд, вроде и не сквозивший порицанием.

От размышлений Поскребышева оторвал телефонный звонок из Генерального штаба. Жуков со сдерживаемым раздражением сообщил, что маршал Тимошенко с ночи находится где-то в группе Рокоссовского, в районе Ярцева, и связи с ним сейчас нет.

— Что же мне доложить товарищу Сталину? — встревоженно спросил Поскребышев.

— Доложи все как есть, Александр Николаевич, — с недовольством в голосе ответил Жуков и вновь будто оборвал разговор на полуслове.

С генералами Жуковым и Мерецковым Поскребышев давно был в дружеских отношениях и обращался к ним, как и они к нему, на «ты». Сердиться сейчас на отрывочность ответов Жукова не имело смысла, но передавать так его ответы Сталину — значило навлечь на себя и на Жукова гнев: ведь командующий фронтом (и он же нарком обороны!) не иголка; Генштаб, как и Государственный Комитет Обороны, должен иметь с ним постоянно действующую связь.

Пока не приехал Сталин, Поскребышев заспешил в комнату связи, где царствовал у расставленных на столах телефонных и телеграфных аппаратов очень серьезный, деловой и собранный молодой человек — лейтенант Викулов. Через минуту позывной штаба фронта, повторенный девичьими голосами на многих промежуточных постах, уже был принят начальником войск связи Западного фронта генерал-майором Псурцевым.

Ответив на приветствие Поскребышева и выслушав переданный им приказ Сталина, адресованный маршалу Тимошенко, генерал Псурцев, как всегда невозмутимым голосом, сообщил, что маршал находится в группе генерала Рокоссовского, которая отражает попытки немцев переправиться в Ярцево через речку Вопь. Район командного пункта Рокоссовского сейчас жестоко бомбят немецкие самолеты, и находящаяся там радиостанция командующего фронтом, как и рация Рокоссовского, на вызов не отвечает. Устойчивая проводная связь ввиду нехватки полевого кабеля с группой пока отсутствует. Псурцев не удержался, чтобы не напомнить Кремлю о том, что на Западном фронте по-прежнему не хватает четырех фронтовых линейных батальонов связи, восьми батальонов армейских управлений, не говоря уже о ротах — кабельно-шестовых, телеграфно-эксплуатационных и телеграфно-строительных...

Короткие и четкие слова доклада и напоминания начальника войск связи, а за этими словами масса сложностей, трудностей и невероятного человеческого напряжения. Поскребышев закончил телефонный разговор с тревожной мыслью: «Что докладывать Сталину?»

Но докладывать ничего не требовалось: отвернувшись от стола с телефонными аппаратами, Поскребышев увидел Сталина стоявшим в полураскрытой двери комнаты связи. По его грустному и замкнутому лицу

и невидящему взгляду нетрудно было догадаться, что ему уже все было ясно и без доклада.

— Пригласите ко мне товарища Молотова, — спокойно сказал Сталин Поскребышеву. — И передайте Жукову, что сегодня можно приехать с оперативным докладом раньше, если Генеральный штаб уже справился с ним.

— Товарищ Мехлис тоже просил принять его по неотложному делу, — доложил Поскребышев, когда Сталин умолк.

— Хорошо, пусть едет и товарищ Мехлис, — ответил Сталин и направился в свой кабинет.

## 27

Это был один из таких дней, в который будто бы чуть развеялся туман или несколько унялась оглушенность: в Ставке и Генштабе стало дальше видеться и легче мыслиться; с обновленной силой ощутились нависшие опасности, обострив тревоги, настоятельно побуждавшие к поискам новых решений и дававшие начало новым делам.

Сталин, члены Политбюро и члены Государственного Комитета Обороны, не говоря уже о руководителях Генерального штаба и отделов Центрального Комитета партии, деятельность которых была связана с Вооруженными Силами, понимали, что дальнейшее пребывание главнокомандующего Западным направлением маршала Тимошенко одновременно и на посту народного комиссара обороны СССР немыслимо. После отъезда Тимошенко на фронт он не имел возможности выполнять функции наркома, связанные с деятельностью Генерального штаба, центральных управлений, военных округов и, наконец, со всем тем, что выражалось в руководстве действующими армиями на остальных фронтах и обеспечении их всем необходимым. Заместители наркома тоже оказались в трудном положении, не ощущая в такой неопределенной ситуации границ своих полномочий.

Решение столь очевидной, но непростой проблемы назрело само по себе: в критических условиях военного времени централизацию власти в стране надо было доводить до крайней черты. И коль Ставка Верховного Командования возглавлена Сталиным и если Сталин как Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) и Председатель Совета Народных Комиссаров с естественной закономерностью стал Председателем Государственного Комитета Обороны, объединяющего усилия Вооруженных Сил, народа, партии и государственного аппарата, то и народным комиссаром обороны, видимо, надо было быть ему же, Сталину. Об этом уже не раз говорилось в отделах ЦК и на заседаниях Политбюро. Особенно настойчив был Мехлис, ощущавший при отсутствии в Москве наркома обороны затруднения в повседневной работе как начальник Главного политического управления Красной Армии и заместитель наркома.

Но для Сталина было что-то и привлекательное в том, что маршал Тимошенко как нарком обороны в самый критический момент лично возглавил Западный фронт, откуда все больше нависала угроза над Москвой и где решался исход первого этапа войны, заметно стабилизировал там положение. Родившиеся было после падения Минска опасения, что военные руководители под тяжестью наших неудач на фронтах не справятся с растерянностью и допустят какую-либо трагическую неразумность, развеялись, и, возможно, стоило даже подумать над тем, не отозвать ли маршала Тимошенко в Москву, чтоб продолжал он возглавлять Наркомат обороны. Однако захват немцами Смоленска и обострение обстановки на всем Западном да и на других фронтах изменили настроения

в Политбюро и побудили Генштаб принимать новые важные решения. Более того: у Сталина родилась мысль, что командование Западным фронтом неправильно расходует подходящие из глубины страны резервные армии, бросая их в бой по мизерным частям и не создавая на наиболее опасных направлениях перевеса в силах. Сегодня Сталин намеревался на заседании Политбюро и Государственного Комитета Обороны в присутствии Жукова и Тимошенко обсудить все эти вопросы и заодно подвести самого маршала Тимошенко к мысли о нецелесообразности дальнейшего пребывания его на посту наркома обороны... Не получилось, как задумалось. Придется решать все без Тимошенко.

А тут еще оглушающая весть о пленении старшего сына. Может, провоцируют немцы? Если правда, то уже, наверное, донесли б с Западного фронта о случившемся... Тяжко было думать о Якове... В груди будто ворочались холодные камни, сдавливая сердце и сбивая дыхание. Не хотелось верить... Если Яков в плену, то как он, сын Сталина, поведет себя там? Не характер ведь у него, а бочка с порохом! Вспыльчив, упрям и... умен!..

Сталин размышлял над всем этим, сидя за своим рабочим столом. Перед ним громоздилась стопка папок с неотложными и важнейшими бумагами разных наркоматов; он поочередно открывал папки, читал документы, делал на них пометки, утверждал или отвергал, ставя в нужном месте свою подпись. Будто это и не стол, а какой-то магический пульт управления. Стоило здесь прикоснуться к чему-то мыслью ли, росчерком пера, стоило сказать слово, и где-то, может, за тысячи километров отсюда приходило в движение, обретая энергию, какое-то дело... а то и великое множество дел, что-то начинало созидаться или активизировалось ранее начатое созидание, побуждались к деятельности массы людей, соединяя в своем напряжении личные устремления и государственную целесообразность... Нет, кажется, невозможно постигнуть мыслью, сколь сложен механизм управления такой гигантской державой, как Советский Союз, и в этом механизме сей стол в кремлевском кабинете, сам этот кабинет с заседающим в нем Политбюро ЦК являются высочайшей точкой и тем главным местом, где родникам народной жизни определяются места их слияния в единую реку человеческого бытия, формы и цели которого зачаточно смоделированы Октябрьской революцией.

Когда в кабинет зашли Молотов и Калинин, Сталин как раз рассматривал подписанную наркомом авиационной промышленности Шахуриным сводку выпущенной за вчерашний день продукции самолетостроительных и авиамоторных заводов, а также утвержденный тем же Шахуриным и подписанный начальником Особстроя генералом Лепиловым квартальный график возведения комплекса самолетостроительных предприятий на левом берегу Волги близ Куйбышева. Строительство этих новых заводов началось меньше года назад, сейчас преодолевались там необычайно большие трудности, но уже грела надежда, что совсем скоро фронт получит грозные бронированные штурмовики Ил-2, трудности, правда, будут возрастать, ибо на площадях строящихся корпусов придется разместить и часть тех авиационных заводов, которые спешно демонтируются в западных областях страны и перебрасываются на восток. В этих условиях очень пригодился со своими стендами Центральный механический завод, которому в канун войны предстояло в числе других базовых объектов обеспечивать начавшееся было строительство Куйбышевской гидроэлектростанции... Сколько испытали тогда тревог и сомнений, прежде чем решились на консервацию этой стройки. А теперь все ее многоликое, громоздкое хозяйство, в том числе автомобильные дороги, железнодорожные подъезды, песчаный и гравийные карье-

ры, деревообделочные комбинаты, кирпичные заводы и многое другое, перешло в ведение Особого строительного управления и в это грозное время активно служит делу укрепления военной базы государства...

Где-то недалеко, возможно прямо над Кремлевской высотой, прогуркотало — будто железными ободьями по булыжнику груженая телега, затем внезапно и хлестко, как щелчок гигантского пастушьего хлыста в руке великана, ударил гром и, на мгновение захлебнувшись, вдруг загрохотал басовито, нарастающе раскатываясь по всему небу. О подоконники раскрытых окон железно застучали первые крупные капли дождя: начиналась наконец гроза, томившая своими потугами небо и землю уже несколько дней.

В кабинете потемнело, Сталин оторвался от бумаг, встал с кресла и словно только сейчас увидел за длинным столом Молотова и Калинина, хотя, когда они вошли, ответил на их приветствия и взглядом пригласил садиться.

Неслышно вошел Поскребышев, зажег электричество, отчего настенные дубовые панели кабинета сразу будто раздвинулись, и доложил о приезде Мехлиса. В ответ Сталин манящe махнул Поскребышеву рукой, в которой держал погасшую трубку, затем обратился к Молотову и Калинину:

— Я думаю, дождемся товарища Жукова, послушаем его доклад и новые предложения Генерального штаба, а потом начнем решать наши текущие дела.

При последних словах Сталина в дверях кабинета появился Мехлис — стройный, в форме армейского комиссара, подтянутый, но непривычно мрачный и даже бледный.

Поздоровавшись и не очень ладно щелкнув каблуками начищенных, сверкающих хромом сапог, он приблизился к Сталину и, глядя на него каким-то болезненно-опасливым взглядом, сказал:

— Товарищ Сталин, я обязан сообщить вам об очень неприятном для всех нас политдонесении с Западного фронта...

Последние слова Мехлиса были заглушены новым грозовым разрядом. Ворвавшийся в кабинет протяжный раскат грома будто шире открыл небесные заслонки, и хлеставший за окнами ливень превратился в седую кипящую стену. Сталин подошел к окну и, подставив лицо под клубившееся облачко водяной пыли, спокойно сказал:

— Садитесь, товарищ Мехлис...

Но Мехлис не сел. Напряженно глядя Сталину в спину, он с трудом подбирал нужные слова:

— Товарищ Сталин, очень неприятное... тяжелое донесение.

— Докладывайте, — не поворачиваясь, приказал Сталин.

И Мехлис доложил:

— Начальник политуправления Западного фронта сообщает, что, по всей вероятности, ваш сын, Яков Иосифович, попал к немцам в плен...

Сталин продолжал смотреть на ливень, и со стороны казалось, что он не расслышал слов начальника Главпура.

— Точных подтверждений политуправление не имеет, — мучительно продолжал Мехлис, будто страдая от того, что Сталин не желает повернуться к нему лицом, — но делается все возможное...

Сталин и сейчас даже не пошевельнулся, ибо заранее знал, с чем пожаловал к нему Мехлис. Молотов и Калинин, оглушенные дурной вестью, сочувственно и с болью смотрели на отвернувшегося к окну Сталина, не в силах понять, расслышал он в шуме ливня слова армейского комиссара или нет. А Мехлис, растерянно оглянувшись на них, заговорил вновь:

— Особый отдел фронта и специально созданная группа политуправленцев принимают все меры, чтобы или выяснить истину, или, если Яков Иосифович не у немцев, разыскать его, живого или мертвого...

Сталин продолжал молчать, будто не в силах оторваться от зрелища разбушевавшейся грозы.

— Коба, ты что, не слышишь?! — возвысив голос, взволнованно спросил Молотов. — Немцы схватили Яшу!..

Сталин медленно, будто тело ему плохо подчинялось, отвернулся от окна и посмотрел на Молотова пасмурным и каким-то затравленным взглядом. Затем неторопливо направился к своему столу, сел в кресло и спокойно, со скрытой укоризной, сказал:

— Сталин не глухой... Мне уже известно о пленении старшего лейтенанта Якова Джугашвили. Сейчас его допрашивают в штабе фельдмаршала Клюге.

У Мехлиса от этих слов перехватило дыхание, и словно пол качнулся под ногами. Он хорошо знал, что слухи о пленении сына Сталина пока держались в строгом секрете. Кто же сообщил Сталину?

— Подробности имеются в политдонесении?

Этот вопрос Сталина вывел Мехлиса из оцепенения, и он подрагивающими руками раскрыл принесенную с собой папку, взял из нее два скрепленных листа бумаги с машинописным текстом на них и, подойдя к столу, положил донесение перед Верховным. При этом сказал:

— Подробностей мало... Вашему сыну, когда он прибыл на фронт, настоятельно предлагали служить в штабе артиллерийского полка, но он потребовал послать его командиром батареи... Дралась батарея хорошо...

— Молодец, что не остался в штабе, — будто для самого себя произнес Сталин и, прочитав донесение, вернул его Мехлису, а затем, устремив печальные глаза в сторону Молотова и Калинина, спросил: — Так как теперь решать с товарищем Сталиным? Будем назначать его народным комиссаром обороны?.. — Видя, что его не поняли, с горькой усмешкой, похожей на гримасу боли, добавил: — По нашему закону близкие родственники тех, кто сдался врагу в плен, ссылаются... Я бы в таком случае выбрал себе Туруханск — все-таки знакомые места.— При последних словах Сталин вновь улыбнулся, и в вымученности этой улыбки, в притушенном и невидящем взоре и во всем выражении потемневшего лица были видны боль, тяжкая удрученность и скрытая растерянность.

— Вопрос серьезный, — с легкой усмешкой заметил Молотов и, забарабанив пальцами по зеленому сукну стола, повернулся к Калинину: — Или в Сибирь, или в наркомы... Есть предложение похлопотать перед товарищем Калининым как Председателем Президиума Верховного Совета... Как, Михаил Иванович, может, посодействуете по знакомству?

— Это называется «по блату». — Калинин, приняв шутку Молотова, невесело засмеялся. — А закон-то наш и без блата твердит, что наказанию подлежат только те родственники изменника, которые проживали совместно с ним или находились на его иждивении... Товарищ Сталин к таким родственникам, по-моему, не относится.

Армейский комиссар Мехлис все еще не мог переключить свое настроение в тональность, которую смягчил и задал Молотов.

— Товарищ Сталин, еще никому не известно, при каких обстоятельствах оказался в плену старший лейтенант Джугашвили! — горячливо напомнил начальник Главпура.

— Нет ничего тайного, что бы ни стало явным, — с грустной задумчивостью заметил Сталин.

— Совершенно справедливо! — согласился Мехлис. — Я беру на себя выяснить все до конца!.. Более того, можно устроить побег Якова: мобилизовать наших разведчиков. Я уже разговаривал с генералом Дроновым... Можно, наконец, если это не удастся, поторговаться с Гитлером!

— Поторговаться с Гитлером? — изменившимся голосом спросил Сталин и так посмотрел на Мехлиса, что тот смешался.

— Я имею в виду обмен, — сбивчиво начал объяснять Мехлис. — У нас есть несколько пленных генералов... Можно их отдать Гитлеру взамен Якова.

— Так-так... Начальник Главного политуправления армейский комиссар первого ранга предлагает Генсеку торговую сделку с Гитлером! — Сталин, выйдя из-за стола, начал прохаживаться по кабинету, то и дело с едкой иронией поглядывая на Мехлиса. — Армия воюет, люди умирают, а Мехлис торгуется...

— Товарищ Сталин, не ловите меня на слове! — взмолился Мехлис, и лицо его покрылось бурыми пятнами. — Гитлер — такая шкура, что к нему любое, даже самое бранное, выражение подойдет!

— Коба, ты, по-моему, перегибаешь палку, — поддержал Мехлиса Молотов, обращаясь к Сталину. — Ведь действительно существует международная практика обмена пленными между воюющими сторонами.

— Совершенно верно, — сказал свое слово и Калинин. — И ничего предосудительного тут нет.

— Ладно, защитники! — Сталин, остановившись посреди кабинета, уже миролюбиво заулыбался. — Я представил себя торгующимся с Гитлером... Немыслимо! — Он опять зашагал по ковровой дорожке и после недолгого молчания заговорил будто сам с собой: — Конечно, хорошо бы спасти Яшу... Ему в плену будет тяжелее, чем кому бы то ни было... С сыном Сталина постараются поиграться всерьез... Но что нам скажут те многие, многие тысячи наших бойцов и командиров, которых мы не выкрадем и не обменяем?.. — Он вновь остановился посреди кабинета и уже кричащим болью и безысходностью взглядом поочередно посмотрел в лицо Молотову, Калинину, Мехлису. Но тут же заговорил смягчившимся голосом: — Мы руководители партии и государства! И мы не имеем права никому внушать мысль о преимуществе плена перед смертью... Может, это и жестоко, но так требует логика борьбы, так научили нас враги в годы гражданской войны... Мы считали и по-прежнему будем считать, что сдача в плен не только проявление малодушия, но и предательство... Другое дело, если люди оказываются в плену случайно, не по своей воле, захваченные без сознания... Я верю, что и Яков не сам сдался в плен... Верю! — Потом Сталин подошел к Мехлису, который все продолжал стоять у длинного стола. Ткнув потухшей трубкой в сверкающую пуговицу гимнастерки армейского комиссара первого ранга, цепко посмотрел ему в глаза, словно в самую душу. Понизив голос, с прочувствованной удовлетворенностью сказал: — А ваша мысль, товарищ Мехлис, насчет обмена немецких генералов заслуживает внимания... Не торговля, а именно обмен... — Затем повернулся к Молотову, взмахнул рукой в его сторону и уточнил: — Это по твоей части, товарищ нарком иностранных дел... Только, видимо, надо несколько повременить с этим, пока к нам не попадет в плен побольше чинов... Я полагаю, что можно будет через Женеву, через Красный Крест, — Сталин продолжал то ли вопросительно, то ли утверждающе смотреть на Молотова, — обратиться к этому людоеду Гитлеру с предложением: пусть возьмет у нас своих генералов, кто ему нужен. Даже всех, сколько будет!.. Не жалко! А взамен пусть отдаст нам пока только одного человека...

Сталин умолк и направился к столу, чтобы заправить табаком трубку. Ливень за окном стал слабеть, и тишина в кабинете делалась все более тревожной: никто не понимал, к чему Сталин клонил свой разговор. И вот он, прикуривая трубку, бросил из-за стола взгляд на присутствующих, и в этом взгляде (невероятно!), в отсвете горящей спички, теплилась усмешка, за которой угадывалась какая-то мысль, приносившая Сталину удовлетворение. Выдохнув облако табачного дыма и помахав рукой перед своим лицом, он высказал эту мысль:

— Пусть за всех своих генералов Гитлер отдаст нам одного человека — Эрнста Тельмана!..

Все потрясенно молчали, размышляя над услышанным. Наконец тишину нарушил Молотов. Чуть заикаясь, он сказал:

— Такая операция, даже в нынешней трудной обстановке, вполне под силу нашим дипломатам... Но пойдет ли на это Гитлер? Ведь освободить из тюрьмы и отдать нам Тельмана — равнозначно, что позволить взметнуть над головами революционных рабочих не только Германии, но и всей Европы боевое Красное знамя!..

— Правильно говоришь, товарищ Молотов! Поэтому-то игра и стоит свеч. — Сталин, пососав мундштук трубки, с поощрительным прищуром посмотрел на Молотова. — Если есть хоть один из тысячи шансов на успех такой операции, ее надо планировать и при первой возможности попробовать осуществить. Это была бы огромная победа в борьбе за будущее Германии, за новую Германию...

...В кабинет вошел начальник Генерального штаба Жуков, и с его появлением настроение у всех постепенно начало меняться. Генерал армии привычно раскладывал на столе сводную оперативную карту, а Сталин выжидательно стоял рядом.

— Подытожьте нам, пожалуйста, события на Западном... Для начала, — сказал он Жукову, когда карта закрыла зеленое сукно стола.

Итог был неутешительным.

Жуков наклонился над картой и, устремив глаза в район Полоцка, Невеля, Великих Лук, напомнил, что наша 22-я армия генерал-майора Ершакова не сумела там объединить усилий с 19-й армией Конева, которая, как уже было известно, не успела сосредоточиться и развернуться после разрозненного прибытия на этот участок фронта. В итоге враг хоть и понес серьезные потери от контратак разрозненных частей Конева, все-таки продвинулся вперед на 150 километров, захватив Полоцк, Невель, Велиж, Демидов, Духовщину, и, загнув фланг на юго-восток, штурмует сейчас наши дивизии в районе Ярцева. Часть сил 22-й армии, нанеся тяжелые потери немцам, вырвалась из окружения, заняла оборону по реке Ловати и удерживает Великие Луки.

Южнее обстановка складывалась еще драматичнее. Немцы, нанеся своей 2-й танковой группой мощные удары севернее и южнее Могилева, обошли и полностью окружили героически сражавшийся город, прорвались двумя моторизованными корпусами к Смоленску, к Ельне и одним — к Кричеву. Войска 20-й армии Курочкина и 16-й армии Лукина (в которую влились отступившие войска 19-й армии Конева) оказались в оперативном окружении и продолжают вести борьбу за Смоленск.

Рассеченная противником на две части и охваченная с флангов 13-я армия генерал-лейтенанта Ремезова одним стрелковым и одним механизированным корпусами, весьма ослабленными, продолжает бои в районе Могилева, отвлекая на себя значительные силы врага и удерживая одной дивизией плацдарм на берегу Днепра. Окруженные было на кричевском направлении два других стрелковых корпуса 13-й армии

разорвали при содействии 21-й армии генерал-лейтенанта Герасименко вражеское кольцо и удерживают рубеж на реке Соже.

Не меньше тревог вызывала обстановка и на других фронтах, со всей очевидностью свидетельствуя, что немецкому верховному командованию пока в основном удавалось осуществлять свои планы, несмотря на колоссальные потери германских войск и большое нарушение сроков достижения ими намеченных рубежей.

Когда генерал армии закончил обзорный доклад и о положении на других фронтах и начал излагать проекты Генерального штаба новых оперативных решений, Сталин не очень деликатно перебил его:

— Обождите с решениями. Мы слышим их каждый день... Решения, решения... А немцы прут на восток! Нам надо понять, — Сталин указал рукой на сидевших за длинным столом, — почему неудовлетворительно выполняются командующими фронтами ваши прежние решения!

— Товарищ Сталин, — сдерживая обиду, спокойно и хмуро заговорил Жуков, — я только могу обосновывать предлагаемые планы и решения. А принимаете или отвергаете их вы как Верховный Командующий.

Слова Жукова будто ударили Сталина. Он непривычно резко повернулся к нему и посмотрел долгим, недобрым взглядом.

Жуков, выдержав потемневший взгляд Сталина, уточнил свою мысль:

— Я хотел сказать, что как начальник Генерального штаба обязан предлагать решения. Они берутся не с потолка. Управления и отделы Генштаба день и ночь собирают и группируют информацию с фронтов о противнике и наших войсках, непрерывно все взвешивают, вычисляют, предугадывают...

— Я вас понял, — сдерживая гнев, перебил его Сталин. — Я полагал, что мы, опираясь на вашу информацию, вместе вырабатываем и принимаем главные, кардинальные решения. Поэтому и директивы вдвоем подписываем...

Вы меня неправильно поняли...

Правильно понял! Мне ясно, что вы порой забываете о том, что решения командующих фронтами должны вытекать из директив Ставки Верховного Командования.

— Почему забываю?! Это элементарно!

— Вот я и вынужден напомнить вам о наших с вами элементарных функциях и о том, чем они отличаются от функций нижестоящих штабов.

— Пожалуйста, напомните, если вы полагаете, что начальник Генерального штаба не понимает таких простых вещей! — Уже откровенная обида Жукова будто выплескивалась из его сумрачно и колко глядевших глаз.

Сталин все-таки не смягчился. Недовольно посмотрев на Жукова, он чуть ускоренным шагом подошел к расстеленной оперативной карте и, постучав по ней трубкой, холодно сказал:

— Плохо, что вы заставляете меня повторять простые вещи. Да, в ходе меняющейся обстановки первые и немедленные решения должны приниматься командующими фронтами и командующими армиями. Мы же с вами, как одно целое, обязаны разрабатывать, исходя из слагающихся оперативно-стратегических ситуаций, общие планы и главные замыслы действий фронтов с далеко идущими целями... Обязаны координировать усилия фронтов и армий, вместе взятых. И поскольку нам бывает виднее общая картина войны на всех ее направлениях и участках и нам легче поэтому определять главные замыслы противника, наша задача непрерывно снабжать штабы фронтов оперативно-стратегической

информацией и четко направлять их деятельность через командующих и начальников штабов. А если они — командующие и начальники штабов — не справляются со своими функциями, не умеют пользоваться нашими разработками и опираться на них, им надо или помогать, или немедленно заменять их более способными генералами!..

Умолкнув, Сталин с вопросительной укоризной обвел всех взглядом, в котором сквозили, кроме неизвестно кому адресованных упреков, и недовольство самим собой — своим раздражением и своими не очень четко высказанными претензиями. Видимо, почувствовав неловкость и перед Жуковым, он уже спокойно, с подчеркнутой деловитостью спросил у него:

— Скажите, товарищ Жуков, а последние решения маршала Тимошенко вы считаете правильными?

— Я не понял вашего вопроса, товарищ Сталин.

— Мне кажется, — продолжал Сталин, — что Тимошенко крохоборничает, бросая навстречу немцам всего лишь по две-три дивизии... А вы его не поправляете, потому что вам, начальнику Генерального штаба, неудобно поправлять наркома обороны.

— Товарищ Сталин, на войне все удобно, что для пользы дела и во вред врагу, — озадаченно ответил Жуков.

— Вот это вы правильно сказали. — Сталин улыбнулся одними глазами. — Поэтому мы нашли удобным для пользы дела разгрузить товарища Тимошенко, освободив его от поста наркома обороны, чтоб он сосредоточил все свое внимание на командовании Западным направлением. Ему пора бить врага не растопыренными пальцами, а крепкими кулаками из группировок по семь-восемь дивизий, нацеливая их на самые угрожающие направления.

— Георгий Константинович, — обратился Калинин к Жукову, когда Сталин умолк, — поздравили бы вы товарища Сталина. С этого часа он Народный комиссар обороны Советского Союза.

Жукова эта новость не удивила. Он посмотрел на Сталина болезненно-печально и непривычно тихо произнес:

— Поздравляю, товарищ Сталин... И примите мое сочувствие... — Затем, тяжело вздохнув, добавил: — Здоровья вам крепкого!

Сталин ничего не ответил. После неловкой паузы он поднял на Жукова взгляд, в котором угадывалась разгоравшаяся энергия какой-то новой и важной мысли, и медлительно сказал:

— Сейчас наша с вами главная забота должна устремляться в двух направлениях: первое — наращивать и укреплять глубину обороны и второе — непрерывно ставить войскам наступательные задачи...

— А тыл, промышленность, вооружение? — извинительно напомнил Калинин. — Все заботы теперь главные.

— Это уже другой наш фронт! — с той же энергией во взгляде недовольно ответил Сталин. — Полководцы там испытанные, надежные — Шахурин, Косыгин, Устинов, Тевосян, Малышев, Паршин, Вахрушев!.. — В этом перечислении Сталиным фамилий народных комиссаров как бы звучало недовольство военными полководцами. — Вот вам пример поиска мысли, решение проблемы, когда Тевосян и Малышев, опираясь на опыт и знания своих ведущих кадров, уже сейчас, в эти июльские дни, сумели дать нам броневой лист, хотя броневой стан еще только вывозится на Урал!.. Трудно поверить: начали катать броневые листы на блюминге! На пороге решения этой проблемы и Кузнецкий металлургический комбинат!..

Об этом очень важном и необычайно своевременном инженерно-техническом новшестве, примененном на Магнитогорском и Кузнецком комбинатах, Молотов и Калинин, как и многие другие члены Полит-

бюро, уже знали, а Жуков и Мехлис не совсем разбирались в его технологической сути, поэтому слова Сталина никого особенно не поразили. Сталин же воспринял спокойствие присутствующих в его кабинете как непонимание того, насколько всколыхнула война промышленность и все народное хозяйство, приведя в движение новые рычаги.

— У нас сейчас что ни нарком, что ни директор завода, то ярчайшая личность, Казбек ума и знаний! Они и великие ученые, и опытнейшие практики одновременно! И превосходные руководители! А какого масштаба деятели среди наших секретарей обкомов?! Попов — Смоленского, Пальцев — Ивановского, Патоличев — Ярославского, Родионов — Горьковского!.. Их десятки, сотни!.. — Сталин устремил разгоревшийся взгляд на Молотова, будто укоряя его: — Так что тебе, товарищ Молотов, с Микояном, Вознесенским и Кагановичем есть на кого опираться и есть с кого спрашивать!

Сталин имел в виду то обстоятельство, что отдельным членам и кандидатам в члены Политбюро было поручено общее руководство главными отраслями военной промышленности.

— Товарищ Сталин, в ваших словах звучат претензии к военным руководителям, — со сдержанным недоумением заметил Жуков. — Я бы просил вас высказать их более конкретно.

— У меня претензии к самому себе, — без промедления ответил Сталин, словно ждал этих исподволь упрекающих его слов Жукова. — Мы подчас лучше знаем деловые качества руководителей нашей промышленности и секретарей областных комитетов партии, чем военных руководителей, потому что их полководческие качества начали выявляться только сейчас, когда главную роль на поле битвы играют уже не конница да пулеметные тачанки, на что ориентировали нас маршалы Ворошилов, Буденный да Кулик, а артиллерия, танки, бронетранспортеры, авиация! Наша с вами задача — искать и поднимать в этих новых условиях одаренных военачальников, разбирающихся в природе современного боя и умеющих влиять на него с включением в дело всех сил и технических средств...

---

На другой день, вызвав к прямому проводу главнокомандующего Западным направлением маршала Тимошенко, Сталин будто продолжал отвечать на вопрос, заданный ему Жуковым.

— У нас есть к вам претензии, товарищ Тимошенко, — сказал он маршалу без всяких предисловий. — То, что вы вводите из резервов в бой по две-три дивизии, не дает положительных результатов. Не пора ли отказаться от этой практики и начать создавать кулаки по семь-восемь дивизий с кавалерией на флангах и диктовать свою волю противнику?.. Я думаю, что пришло время перейти вам от крохоборства к действиям большими группами...

Тут же Сталин высказал маршалу предположительный вариант создания таких групп, с тем чтобы их концентрированным ударом на Смоленск разгромить противника и отогнать его хотя бы за Оршу.

Тимошенко, внимательно выслушав Сталина, доложил ему оперативную обстановку на Западном фронте, согласился с его предложениями насчет ввода в бой укрупненных войсковых формирований, но высказал опасения по поводу целесообразности больших обходов и охватов вражеских группировок, учитывая преимущества врага в технике и, следовательно, в его возможностях маневрирования.

В этот же день Сталин и Жуков послали маршалу Тимошенко директиву Ставки, которая предписывала за счет сосредоточившихся сил Фронта резервных армий — 30, 24 и 28-й — создать ударные группы

соединений для разгрома противника севернее и южнее Смоленска и для оказания помощи попавшим там в окружение нашим войскам. Из Фронта резервных армий маршалу Тимошенко передавалось двадцать дивизий для формирования пяти армейских групп во главе с генералами Рокоссовским, Хоменко, Калининым, Качаловым и Масленниковым.

Как и требовала директива Ставки, маршал Тимошенко поставил армейским группам задачу — нанести контрудары из районов Белого, Рославля и Ярцева в общем направлении на Смоленск, разгромить в прилегающих к нему пространствах войска противника и соединиться с дравшимися там в окружении частями армий Курочкина, Лукина и Конева.

Но необходимы были еще и дополнительные меры, чтобы сковать маневр врага резервами и парализовать снабжение его передовых эшелонов, тем более что у командования Западного фронта не имелось возможностей надежно поддержать контрудары своих армейских групп действиями авиации, а также не хватало танков. Поэтому Ставка Верховного Командования приказала бросить в тылы могилевско-смоленской группировки противника кавалерийскую группу из трех дивизий, которая сосредоточилась к тому времени в полосе 21-й армии в лесах близ Речицы; а севернее Смоленска приказывалось ударить по тылам 3-й танковой группы немцев кавалерийской группой из двух наших дивизий.

Вскоре последовало еще одно важное решение Ставки. Учитывая громоздкость Западного фронта и то обстоятельство, что в его полосе образовалось два главных направления и два главных очага сражений — Смоленско-Ельнинское и Гомельское,— было принято решение выделить 13-ю армию (передав ей остатки 4-й армии) и 21-ю армию, дравшиеся на рубеже Сеща, Пропойск и далее на юг по Днепру, в самостоятельный Центральный фронт под командованием генерал-полковника Ф. И. Кузнецова.

В такой сложной оперативно-стратегической ситуации и развернулся на огромных пространствах второй этап Смоленского сражения.

Начинались ожесточенные бои на направлении главного удара немецко-фашистских войск — в самом Смоленске, в его пригородах и на тысячах квадратных километров Смоленской и Духовщинской возвышенностей.

Советским войскам предстояло совершить немыслимое: сдержать продвижение численно превосходящего противника, чтобы не только обезопасить Москву, но и дать стране возможность подготовить и выдвинуть на рубежи стратегической обороны свежие резервы.

И немыслимое стало реальностью: немецко-фашистские войска впервые с начала второй мировой войны вынуждены были на главном стратегическом направлении фронта перейти к обороне. Агрессор наконец ощутил, что блицкриг пока не удается...

Великая Отечественная война народов Советского Союза против фашистских поработителей продолжалась...

*1967—1980*

ОГЛАВЛЕНИЕ

**Стаднюк И. Ф.**

С77 Война: Роман.— М.: Воениздат, 1982.— 495 с. с портр.

В пер.: 3 р. 20 к.

В получившем широкую известность романе автор показывает усилия Советского правительства по укреплению оборонной мощи страны накануне войны и сражения начального периода войны в Белоруссии и на Смоленской возвышенности. Описываемые события происходят не только на Западном фронте, но и в Генеральном штабе, Ставке Верховного Главнокомандования, в Политбюро ЦК.

С $\frac{70302\text{-}100}{068(02)\text{-}82}$ **без объявл. 4702010200.** **ББК84Р7** Р2

*Иван Фотиевич Стаднюк*

ВОЙНА

Роман

Редактор *А. П. Рогова*
Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*
Технический редактор *А. А. Пересконова*
Корректор *Г. С. Бедненко*

ИБ № 1903

Подписано в печать с матриц 01.02.82. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Гарн. обыкнов. новая. Печать высокая. Печ. л. 31. Усл. печ. л. 43,40+1 вкл. ¹/₁₆ печ. л.; 0,0875 усл. печ. л. Усл. кр.-отт. 43,49. Уч.-изд. л. 45,44. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4/8699. Зак. 57. Цена 3 р. 20 к.

Воениздат, 103160, Москва, К-160

Набрано в типографии № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Мало-Московская, 21

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Московской типографии № 2 Союзполиграфпрома при Государственном Комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 129085, Москва, пр. Мира, 105.